

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

Scan Kreyder - 06.02.2018 - STERLITAMAK

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

1

A decorative flourish consisting of two symmetrical, swirling lines that curve upwards and outwards from the base of the number 1, resembling a stylized infinity symbol or a calligraphic flourish.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания*
М. П. ЕРЕМИНА



Александръ Гурьевъ

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

Критико-биографический очерк

Литературный путь Писемского сложен и крайне противоречив. Автор «Тюфяка», «Старой барыни», «Горькой судьбины» — произведений, которыми русская литература вправе гордиться, он был также автором «Взбаламученного моря» — романа реакционного и антихудожественного.

Соратник Тургенева, Гончарова, Островского на первых порах своей литературной деятельности Писемский в последние годы своей жизни оказался в стороне от большой литературы, и ведущие критики 70-х годов упоминали о нем, кажется, лишь для того, чтобы привести пример падения некогда самобытного таланта.

Но, чтобы понять причины этих перемен, необходимо хотя бы в самых общих чертах познакомиться с тем, какова была позиция Писемского в общественной и литературной борьбе его времени.

1

Алексей Феофилактович Писемский родился 10 марта 1820 года в захолустном сельце Раменье, Чухломского уезда, Костромской губернии. По отцовской линии он происходил из старинного, некогда знатного, но оскудевшего дворянского рода. «Дед мой, — сообщает Писемский в автобиографии, — был безграмотен, ходил в лаптях и сам пахал землю»¹.

¹ А. Ф. Писемский, Избранные произведения, Л. — М. 1932, стр. 24.

Отец писателя — Феофилакт Гаврилович Писемский, обученный грамоте на средства дальнего родственника, пятнадцатилетним подростком был определен на военную службу рядовым солдатом. Более чем за двадцать лет пребывания в армии он дослужился лишь до чина майора. Выйдя в отставку, Феофилакт Гаврилович женился на Евдокии Алексеевне Шиповой, происходившей также из небогатой, но с известными культурными традициями и связями дворянской семьи.

Первоначальное образование его сын получил дома. Это образование было обычным для мелкопоместного захолустья. «Учиться меня особенно не неволили, да я и сам не очень любил учиться», — признавался Писемский. Наставники у него, по его собственной характеристике, были «очень плохие». К счастью, будущий писатель рано пристрастился к чтению: «...до четырнадцатилетнего возраста, — рассказывает Писемский в автобиографии, — я уже прочел, в переводе, разумеется, большую часть романов Вальтер Скотта, «Дон Кихота», «Фоблаза», «Жильблаза», «Хромого беса», «Серапионовых братьев» Гофмана и персидский роман «Хаджи Баба...»¹ В этом чтении не было никакой определенной системы, тем не менее оно будило фантазию, незаметно развивало задатки художественной одаренности будущего писателя.

Только в 1834 году Писемский был определен во второй класс костромской гимназии.

Писемский учился в гимназии в период разгула реакции 30-х годов. Тяготевший над всей умственной жизнью общества гнет особенно тяжело сказывался на университетах и гимназиях, — столичных и тем более провинциальных. Бессмысленное, отупляющее навязывание «сведений», находящихся в явном противоречии с жизнью; вдалбливание «идей» о мудрости и могуществе «обожаемого монарха»; издевательское восхваление положения народа, голодного и забитого крепостничеством; насаждение наушничества и доношительства, наконец, запугивание всевозможными наказаниями — таков далеко не полный перечень средств, которые применялись для оболванивания юношей, превращенных, по словам Герцена, «в арестантов воспитания». Соответственно этим «воспитательным» задачам подбились и преподаватели, в среде которых тон задавали чиновники от педагогики.

Костромская гимназия в этом смысле не представляла исключения. Царившие в гимназии порядки, по собственному признанию Писемского, воспроизведены в позднейшем его романе «Люди соро-

¹ А. Ф. Писемский, Избранные произведения, Л.—М. 1932, стр. 25.

ковых годов»: директор, «очень добрый в сущности человек», воровал казенные деньги и, окружив себя покорными невеждами, всеми средствами преследовал «строптивых» учителей и гимназистов; поп Никита — развратник, прикрывавший свои «грешки» личиной аскета, — внедрял в сознание гимназистов правила «нравственности», инспектор, добившийся этой должности только благодаря тому, что женился на директорской дочери, воспитывал в гимназистах «гражданские доблести».

К счастью, среди преподавателей были, повидимому, и такие, которые пытались противодействовать одуряющему влиянию казенщины. В тех же «Людах сороковых годов» выведен образ учителя математики Николая Силыча Дрозденки. Этот педагог, в отличие от своих благонамеренных коллег, приучал гимназистов критически относиться к окружавшему их миру пошлости и паразитизма, разоблачая перед ними механику служебного воровства и административных злоупотреблений, высмеивая крепостнические замашки «панычей», которые, как саркастически замечал он, «крестьянской слезой» питаются.

Под влиянием учителей прогрессивного направления Писемский в последние годы своего пребывания в гимназии резко осуждал господствовавший в ней дух рутины и пресмыкательства перед начальством. Неудовлетворенный гимназическими порядками и нравами окружавшей его дворянско-чиновничьей среды, Писемский ищет иных впечатлений в литературе и в театре. Он много читает и под воздействием этого чтения начинает писать сам.

Учась в последних классах, он сочинил две (не дошедшие до нас) повести: «Черкешенка» и «Чугунное кольцо». Об этих своих литературных дебютах Писемский позднее отзывался не без снисходительной иронии. Обе повести, по признанию самого Писемского, «отличались более стилем, так как я в них описывал такие сферы, которые совершенно были для меня неизвестны»¹.

В 1840 году Писемский поступил на математическое отделение Московского университета. Университетские годы — важнейшая пора в жизни Писемского: именно здесь, в демократически настроенной студенческой среде завершалось формирование его характера. «В нем всегда чувствовался московский студент сороковых годов», — вспоминает П. Боборыкин².

С первых шагов университетского учения Писемский понял, что вынесенные им из гимназии познания не выдерживают жизненной

¹ А. Ф. Писемский, Избранные произведения, Л.—М. 1932, стр. 26.

² П. Д. Боборыкин, За полвека, М. 1929, стр. 146.

проверки. Университет, отмечал Писемский в своей автобиографии, «отрезвил» и приучил «говорить только то, что сам ясно понимаешь». Круг его интересов значительно расширился. Однако увлечение литературой, а также театром, в это время не только не ослабевает, но становится более систематическим. Он вспоминал позднее: «Научных сведений из моего собственно факультета я приобрел немного, но зато познакомился с Шекспиром, Шиллером, Гете, Корнелем, Расином, Жан Жаком Руссо, Вольтером, Виктором Гюго и Жорж Зандом, сознательно оценил русскую литературу и при окончании курса, что было в 1844 году, стяжал... славу актера: я так сыграл Подколесина в пьесе Гоголя «Женитьба», что, по мнению тогдашних знатоков театра, был выше игравшего в то время эту роль на императорской сцене актера Щепкина»¹. Но и литературные познания Писемский почерпнул не столько из университетских лекций по словесности, их читал тогда реакционер Шевырев, сколько из журналов того времени и прежде всего из руководимых Белинским «Отечественных записок». Позднее Писемский признавал, что его эстетические взгляды сложились под влиянием Белинского и Гоголя.

Нельзя, однако, считать, что Писемский стал последовательным учеником Белинского как в области философско-эстетической, так и в области общественно-политической. О том, насколько еще шатко и расплывчато было его мировоззрение в 40-е годы, говорит хотя бы тот факт, что первые свои зрелые произведения он посылал на отзыв Шевыреву и прислушивался к его советам. Ученик Гоголя, воспринимавший его произведения «по Белинскому», Писемский в то же время еще не видел, что похвалы Шевырева Гоголю неискренни и лживы, что его истолкование гоголевских произведений насквозь реакционно.

В январе 1845 года Писемский был определен в число канцелярских чиновников костромской палаты государственных имуществ. Но здесь он прослужил только до осени того же 1845 года, после чего перевелся в московскую палату государственных имуществ. В Москве он встречается со своими университетскими товарищами и устанавливает связи с московскими литературными кружками. В 1846 году он заканчивает первое свое большое произведение — роман «Винювата ли она?», начатый еще в 1844 году. Те, кто прочел этот роман в рукописи, одобрили его. Это был первый, пусть пока еще очень скромный, но несомненный успех. Он ободрил Писемского, укрепил в нем веру в свое писательское призвание. «Я бросил службу, — вспоминает он, — и уехал в деревню с тем, чтобы попол-

¹ А. Ф. Писемский, Избранные произведения, Л.—М. 1932, стр. 26.

нить свое образование чтением и исключительно заняться литературой»¹. В деревне Писемский прожил около полутора лет. В это время он начал писать повесть «Тюфяк», тогда же, повидимому, была задумана и повесть «Брак по страсти».

Но в те годы существовать литературным трудом — даже в условиях, благополучных для развития писательской деятельности, — было невозможно, а его первый роман «Винювата ли она?» был запрещен цензурой (напечатан он был только в 1858 году под заглавием «Боярщина»). Без службы обойтись было нельзя. В октябре 1848 года Писемский вновь поступает на службу на этот раз младшим чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Больше пяти лет тянул он в Костроме чиновничью лямку.

Это были трудные годы в его жизни. Постоянные поездки в самые отдаленные и глухие углы Костромской губернии «по делам», выполнение которых часто шло вразрез с его собственными взглядами на жизнь, изнурили его и почти не оставляли свободного времени для творчества. Писать приходилось только ночью. К этому надо добавить, что как литератор в Костроме он был совершенно одинок.

Не удивительно, что в этой обстановке Писемский приходил в отчаяние. Временами он даже переставал верить в свое литературное призвание. Он вспоминает своих московских друзей и от них ждет поддержки; «...напишите мне, бедному служебному труженику, хоть несколько слов, — обращается он к А. Н. Островскому, с которым был знаком еще со студенческих лет. — Письмо ваше доставит слишком много удовольствия человеку, делившемуся прежде с вами своими убеждениями, а ныне обреченному волею судеб на убийственную жизнь провинциального чиновника; человеку, который, по несчастью, до сих пор не может убить в себе бесполезную в настоящем положении энергию духа»².

Поддержка действительно пришла из Москвы. А. Н. Островский, ставший в 1850 году членом так называемой «молодой редакции» «Москвитянина», просил Писемского прислать в журнал одно из его произведений. Писемский послал свою повесть «Тюфяк». В октябрьских и первой ноябрьской книжках «Москвитянина» за 1850 год эта повесть была напечатана и вскоре получила широкое одобрение читателей и критики.

¹ А. Ф. Писемский, Избранные произведения. Л.—М. 1932, стр. 23.

² А. Ф. Писемский, Письма. Под ред. М. Клемана и А. Могилянского, АН СССР, М. 1936, стр. 26. В дальнейшем ссылки на это издание указаны сокращенно: Письма и соответствующая страница.

Успех «Тюфяка» развеял сомнения Писемского в своем призвании. Он спешит окончить давно начатые, но незавершенные произведения, работает сразу над несколькими новыми вещами. Интенсивность его работы в 1851 году поразительна. В этом году он заканчивает большую повесть «Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына» («Брак по страсти»), рассказ «Комик», повесть «М-г Батманов», роман «Богатый жених» и комедию «Иппохондрик».

Но тот же успех, на время усилив творческую активность Писемского, до крайности обострил не оставлявшее его во все годы жизни в Костроме чувство одиночества и заброшенности. Он с каждым днем все тяжелее переносит свое вынужденное пребывание в провинциальной помещичье-чиновничьей среде. После творческого подъема 1851 года наступает упадок сил, раздражительность, боязнь за свое здоровье — словом, все то, что он называл иппохондрией. «Если бы вы знали, — пишет он М. П. Погодину, — как трудно и как неудобно заниматься беллетристикой мелкому губернскому чиновнику...»¹ «К литературному делу явилась лень и трусость, какое-то недоверие к самому себе, а ободрить некому, — признается он тому же Погодину. — Если я еще останусь на долгое время в Костроме, то решительно перестану писать»².

Он начинает хлопоты о переводе на службу в Москву, но безуспешно. В конце 1853 года Писемский вышел в отставку и переехал с семьей в Раменье. Однако он скоро понял, что в деревне долго задерживаться нельзя: «...жить во 1-х нечем, — жаловался он А. Н. Майкову, — во 2-х очень уж одичаешь»³. Писатель решает переехать в Петербург.

Кончился костромской период его жизни. Несмотря на большие трудности, которые ему довелось пережить, это время было для деятельности писателя чрезвычайно плодотворным. Здесь под непосредственным воздействием окружавшей его жизни он написал (кроме названных выше произведений) три рассказа из крестьянского быта — «Питерщик», «Леший», «Плотничья артель», повести «Фанфарон» и «Виновата ли она?», комедию «Раздел». Там же он начал писать рассказ «Старая барыня» и большой роман «Тысяча душ».

Эти произведения Писемского были созданы и большею частью опубликованы в годы так называемого «мрачного семилетия», когда русская литература испытывала невиданный напор реакционных сил. Напуганное все более и более усиливавшимся возмущением крестьянства против крепостного гнета, а также известиями о француз-

¹ *Письма*, стр. 532.

² *Там же*, стр. 537.

³ *Там же*, стр. 73.

ской революции 1848 года, правительство Николая I, видимо, потеряло последние остатки самообладания. «Красная опасность» чудилась ему повсюду и особенно в литературе. На нее-то и обрушились наиболее тяжелые удары. Во главе цензуры были поставлены самые озлобленные и самые невежественные сановники вроде Бутурлина или барона Корфа, которые до того были ослеплены страхом, что даже в евангельских притчах видели скрытую проповедь... социализма. Цензурные оковы, парализовавшие развитие литературы, Николай считал теперь явно недостаточными. Над всеми передовыми деятелями литературы нависла угроза расправы. Все враги передовой литературы в эти годы необычайно активизировались. Особенно, ничем не прикрытому глумлению подвергали они «натуральную» школу, то есть реалистическую школу, созданную Белинским и Гоголем. Произведения писателей этой школы объявлялись «грязными», «мизантропическими», односторонними, не показывающими «светлых» сторон жизни. На страницах большинства журналов того времени — «Москвитянина», «Библиотеки для чтения», «Отечественных записок» — усилилась проповедь теории «чистого» искусства, примиряющего читателей с жизнью, то есть с самодержавно-крепостнической действительностью.

В этих условиях необходимо было высокое гражданское мужество для того, чтобы, вопреки неистовствам реакции, продолжать дело правдивого воспроизведения жизни. Именно поэтому тургеневские «Записки охотника», например, или комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» были восприняты передовыми людьми тех лет не только как крупнейшие явления в истории русского искусства, но и как бесспорные свидетельства неодолимости освободительного движения в стране. Этим объясняется и широкая популярность раннего Писемского. Демократический читатель потому с таким сочувствием и встретил первые произведения Писемского, что почувствовал в них осуждение господствующего общественного зла.

2

Весной 1856 года Писемский, будучи участником литературно-этнографической экспедиции, организованной морским министерством, находился в Астрахани. Этот своеобразный, изобилующий природными богатствами край поразил его своей пустынностью и бедностью своих обитателей. Рыбачьи поселки ничем не отличались от нищих деревень где-нибудь под Костромой или Ярославлем. Места были иные, климат другой, а порядки — те же. В одном из писем к жене, рассказывая о поездке вдоль побережья, он как бы

мимоходом заметил: «...на всем этом пространстве меня более всего заинтересовали бакланы, черная птица, вроде нашей утки, которые, по рассказам, находятся в услужении у пеликанов, мы видели с тобой их в зверинце. Пеликан сам не может ловить рыбу, и это для него делает баклан, подгоняя ему рыбу, иногда даже кладя ему ее в рот, засовывая ему при этом в пасть свою собственную голову. Чем вознаграждают их за эти услуги пеликаны — неизвестно. Кажется, ничем. Очень верное изображение человеческого общества»¹.

Вопрос о смысле существования целого класса людей, живущих за счет чужого труда, волновал Писемского с самого начала его творческого пути. Он вошел в литературу в пору крайнего усиления кризиса всей крепостнической системы, когда крестьянско-помещичьи отношения обострились до последнего предела и в сознании передовых людей все более укреплялось убеждение в том, что дворянство является силой антинародной, что самым своим существованием оно тормозит прогрессивное развитие страны. Защитники крепостного права, стремясь опровергнуть подобного рода взгляды, особенно настойчиво проповедовали «теории» о просветительной миссии русского дворянства. Дворянские идеологи всех оттенков уверяли, что жизнь за счет труда крепостных развращает только непросвещенных помещиков, что не Простаковы и Скотинины, не Собакевичи и Плюшкины, а «просвещенные» помещики — наиболее характерные фигуры в дворянстве. По мере распространения просвещения, говорили они, «злых», непросвещенных дворян будет все меньше и меньше; просвещенных, добродетельных — все больше и больше — и участь народа постепенно будет облегчаться. Писемский был одним из тех передовых русских писателей, которые своим творчеством убедительно опровергали эти «теории». Одну за другой создавал он картины дворянской жизни, чтобы еще раз показать, насколько далеки крепостнические «теории» от реальной действительности. В сущности все его вещи костромского периода можно рассматривать, как цикл произведений, крепко сцементированных между собою именно этим идейным замыслом.

Нельзя, однако, не отметить, что эта его заслуга не всегда и не всеми признавалась. Существовало довольно распространенное мнение, будто Писемский даже в лучшие годы своей литературной деятельности творил, не преследуя никаких общественных целей. Державшиеся этого мнения критики и историки литературы говорили, как о чем-то само собой разумеющемся, — о «равнодушии», «холодности» и даже «цинизме» Писемского-художника.

¹ *Письма*, стр. 95.

Н. Г. Чернышевский, давший в своих статьях глубокое объяснение общественной значимости ранних произведений Писемского, опровергая измышления о его объективизме и «артистической незаинтересованности», писал: «Он (Писемский. — М. Е.) излагает дело с видимым бесстрашием докладчика, — но равнодушный тон докладчика вовсе не доказывает, чтобы он не желал решения в пользу той или другой стороны, напротив, весь доклад так составлен, что решение должно склониться в пользу той стороны, которая кажется правую докладчику»¹. «Нам кажется, — отмечал Чернышевский, — что хладнокровный рассказ его действует на читателя очень живо и сильно, и потому полагаем, что это спокойствие есть сдержанность силы, а не слабость»².

Таким образом, «равнодушный» тон, «хладнокровность» повествования вовсе не свидетельствуют о безразличии Писемского к изображаемой им жизни. По мнению Чернышевского, это «видимое бесстрашие» является лишь чертой своеобразия творческой манеры этого художника. Задача заключается, стало быть, в том, чтобы понять, как, говоря словами Чернышевского, «составлен доклад».

Тема дворянства и его отношения к народной жизни была одной из главных и в творчестве таких художников 40—60-х годов XIX века, как Тургенев, Гончаров или Салтыков-Щедрин. Писемский разрабатывал общую всем передовым писателям его времени тему. Однако каждый из писателей имел свое творческое своеобразие. Писемский воспроизводит жизнь дворянина, помещика в той сфере, в которой, казалось, наиболее прочно закрепились черты культуры, патриархальной непринужденности и даже поэтичности, то есть в сфере бытовой. Он ведет читателя прямо во внутренние покои дворянского гнезда, зная, что здесь, в домашней обстановке, вдали от посторонних взоров, облик дворянина предстает во всей своей неприкрашенной доподлинности. Со свойственной ему последовательностью Писемский убеждает читателя в том, что здесь господствует удушливая атмосфера всеобщей вражды и подозрительности, явного пренебрежения к человеческому достоинству, бессердечного стяжательства и откровенного разврата.

Примитивность, пошлость большинства героев раннего Писемского бросаются в глаза. Вот один из героев «Боярщины» — Задор-Мановский. Внешне это «атлет в сажень почти ростом с огромной курчавой головой», силач. «Впрочем, багровый, изжелта, цвет лица, — добавляет повествователь, — тусклые, оловянные глаза и осиплый голос ясно давали знать, что не в неге и не совсем скромно

¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, М. 1948, стр. 571.

² Там же, стр. 570.

провел он первую молодость...» Буквально на следующей же странице Писемский вводит нас во «внутренний мир» этого героя: он грубо допрашивает жену о том, что она сделала за день, и тут же попрекает ее, что «в два месяца какие-нибудь вышел пуд крупчатки», что она бесприданница. Другой персонаж того же романа, Иван Александрович Гуликов, до того ничтожен и подл, что читателю это ясно после первого же его появления на страницах повести. Откровенный пошляк, хвастун и мот Михаил Николаевич Масуров («Тюфяк») — это образцовый представитель провинциальной дворянской среды; безвольный, невежественный Иван Кузьмич Марасеев из повести «Виновата ли она?», Пионов — персонаж той же повести — звероподобный циник, кажется, рожденный быть преступником, — таковы все эти герои Писемского.

Однако картины, созданные Писемским в костромской период творчества, при всей их убедительности все-таки на первый взгляд могут показаться ограниченными по своему значению, поскольку отражают жизнь, повидимому только одной, именно деревенской, мелкопоместной части дворянства. А в этой среде, даже по признанию самих идеологов крепостничества, было немало «непросвещенных» помещиков.

Но Писемский обильно населил этими полулюдьми свои повести, рассказы и комедии не ради того, чтобы еще раз посмеяться над непросвещенными провинциальными помещиками. Это ведь делали и самые откровенные апологеты крепостничества — для того чтобы в сравнении с обитателем помещичьего захолустья еще ярче вырисовывались достоинства и доблести «просвещенного» дворянина. Писемский костромского периода ничего общего с подобного рода хвалителями не имел. Мы отчетливо видим, что в разработке взятой им темы он был непосредственным учеником Гоголя и Пушкина.

Пушкин в последние годы своей жизни пришел к мысли, что невежественные деревенские помещики не только не представляют какого-то исключения в дворянском сословии, но, наоборот, они-то и характеризуют с наибольшей полнотой все дворянство в целом. Идет ли речь о «непросвещенном» помещике или важном барине — разница между ними внешняя.

Для Гоголя этот принцип стал основой изображения дворянской жизни. Гоголь все время ревниво следит за тем, чтобы читатель не принял его образы за отражение только провинциальной жизни. Стремясь предостеречь читателя от этой ошибки, он «подсказывает» ему, насколько глубока типичность отраженных явлений. Кажется, что только в дремучей провинциальной глуши может сложиться «индивидуальность», подобная дубиноголовой Коробочке. Однако Гоголь сейчас же спешит отвести это ошибочное мнение: «...иной и

почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч от стены».

Гоголь делает своего рода вертикальный разрез социального явления и таким образом вскрывает его сущность. Взятые люди, обитающие в двух крайних ярусах дворянского общества — на самой вершине и в самом низу. Но их поведение и там и тут в основе одинаково. В «Повести о капитане Колейкине» рассказчик-почтмейстер и его слушатели вполне согласны с поведением генерал-аншефа. То, что произошло в Петербурге, вполне могло произойти в губернском городе Н. Вернее, что каждый день творится в губернском городе, сплошь и рядом случается и в Петербурге. Сущность одна и та же.

Этот в совершенстве разработанный Гоголем метод твердо был усвоен Писемским.

Задор-Мановские и Гуликовы; Масуровы и Перепетуи Петровны; Марасевы и Пионовы — это, так сказать, нижний этаж или даже полуподвал дворянского общества. Но в произведениях Писемского костромского периода есть и иного характера люди. Рядом с Задор-Мановским и Гуликовым живет губернский предводитель дворянства, дающий балы, всячески старающийся придать себе «просвещенный» вид. Его жена совсем уж великосветская дама, живущая большею частью в Петербурге. Украшением дворянского общества является племянница предводителя — Клеопатра Николаевна Маурова. У нее хорошие манеры, она способна — на «изящном» ли французском, или на «грубом» русском языке — подолгу со знанием дела обсуждать такие вопросы, как идеал женской красоты, разочарование и его причины и пр. в том же роде. Наконец, в «Боярщине» появляется граф Юрий Петрович Сапега — богатый помещик, принадлежащий к самому высшему кругу дворянства. В «Тюфяке» рядом с Перепетуйей Петровной мы видим Владимира Андреевича Кураева, кроме внушительной внешности имевшего необыкновенный дар слова, любившего рассуждать на самые отвлеченные темы, вплоть до народной нравственности включительно. Да и все его семейство — жена и дочери — в губернском городе считались одним из самых светских и образованных.

Это уже более «высокий» слой провинциального дворянского общества. Люди, его составляющие, не так просты, не так неприкрыто дики, как обитатели дворянского низа. Поначалу Писемский, повидимому, явно противопоставляет этих своих героев «непросвещенным», примитивным людям вроде Ивана Александровича Гуликова.

Но, повествуя о героях этого рода, Писемский постепенно, почти незаметно переводит повествование в иронический тон. Обычный для него прием легкой маскировки иронии — ссылка на слухи, которые он, кажется, только принимает к сведению, но которым едва ли верит. Жена губернского предводителя дворянства («Боярщина») живет в Петербурге потому, что, как нежная и чувствительная мать, она не может расстаться со своими детьми; но злые языки говорят о ее привязанности к некоему гвардейскому улану, как подлинной причине ее пребывания в столице. Кураев — красноречив и образован, но, «говорили в городе», будто бы он был «немного деспот в своем семействе», что жену свою он называл по имени и отчеству, то есть Марьей Ивановной, только для того, чтобы «дать ей вес в обществе». «Были слухи», будто бы Марья Ивановна жаловалась даже на Владимира Андреевича за то, что он «решительно ни в чем не дает ей воли, и все потому, что взял без состояния». Повествователь сообщает эти подробности, повидимому, без всякого возмущения. Однако эти иронические замечания уже настораживают. Читатель постепенно начинает убеждаться, что все эти Сапеги, Кураевы введены в соответствующие произведения не ради того, чтобы их «просвещенность» еще сильнее оттенила дикость представителей дворянских «низов». И в то же время по этим ироническим деталям нельзя еще судить о том, какова роль каждого из «просвещенных» в идейном замысле произведения.

Надо внимательно присмотреться к делам «просвещенных», и тогда станет ясно, многим ли они лучше непросвещенных.

3

Рассказывая об одной из своих героинь, Писемский замечает, что она «кажется, первое слово в жизни услышала: «О господи! денег нет!» Денег нет! — это повторялось в подавляющем большинстве дворянских семей. Никогда еще в дворянской среде нужда в деньгах не достигала такой остроты, как в конце 40-х и в 50-х годов, то есть в годы окончательного распада крепостнической системы.

Писемский сумел увидеть, что наиболее характерной особенностью жизни дворянства его времени является разорение. Оно бросает зловещую тень на все стороны дворянского существования — от кухни и туалета до любви и высшей политики. Дворяне мечутся, изворачиваются, лгут, подличают, вымогают, подхлестываемые грозным призраком разорения. Дружба, любовь — все лучшие человеческие чувства в буржуазно-дворянском обществе опоганены, втоптаны в грязь, превращены в предмет торга, и горе тому, кто возна-

мерится отстаивать независимость своих чувств от низменного расчета «просвещенных» и непросвещенных, столичных и провинциальных дворян.

Почти в каждом романе или рассказе Писемского, в каждой его повести есть образы людей, в сознании которых сохранились представления об иной человеческой жизни. Они не настолько еще развращены обывательской пошлостью, чтобы не видеть хотя бы самых кричащих ее уродств. Эти люди не наделены сильной волей, у них нет достаточной энергии для того, чтобы бороться с окружающими условиями, но они всегда стремятся найти хоть какой-нибудь просвет. И чаще всего он видится им в любви. При всем разнообразии частных обстоятельств, в которые они попадают, их судьбы положи одна на другую: все эти люди дорого расплачиваются за свою «страсть», гибнут.

Обманутая и оскорбленная в лучших своих чувствах и ожиданиях, умирает от скоротечной чахотки Вера Павловна Занзаева («Богатый жених»). Убит на дуэли (в ней он преднамеренно искал смерти) одаренный юноша Леонид Ваньковский («Виновата ли сна?»). Его сестра Лидия, обреченная выносить издевательства озлобленной матери и ее циничной подруги Пионовой, едва ли не завидует участи брата. Погублена внучка гоф-интендантши Пасмуровой — Ольга Николаевна («Старая барыня»). Сошла с ума, не вынеся бесконечных унижений и обманов, героиня «Боярщины» Анна Павловна Задор-Мановская. Ее судьба особенно типична.

За что травили ее обитатели Боярщины? Муж Анны Павловны женился на ней в расчете на приданое. Обманувшись в этом, он жестоко и неотступно мстил ей, не зная никаких пределов и ограничений. Соседи Задор-Мановского — все эти Уситковы, Мауровы, Симоновские — клеветают на Анну Павловну за то, что она не принимает участия в их сплетнях, что она не такая, как они, и, главное, за то, что она — бесприданница. Когда Задор-Мановский, избив свою жену, выбрасывает ее на улицу, то вся дворянская «общественность» обвиняет во всем Анну Павловну и горой встает на защиту Задор-Мановского от его «безнравственной» жены.

Но не одна только провинциальная Боярщина участвовала в травле Анны Павловны. Граф Сапега, которого уж никак нельзя обвинить в провинциальной дикости, оказывается таким же союзником Задор-Мановского, как и Уситковы, и Мауров, и Иван Александрович Гуликов. Разница только в том, что он до времени маскирует свои грязные поползновения более искусно, чем те.

С еще большей впечатляющей силой раскрываются перед нами нравы дворянской среды в повести «Тюфяк». В повествовании, по видимому, «бесстрастном» и «хладнокровном», Писемский сумел

показать, что общество, в котором живут герои «Тюфяка», ненормально, враждебно человеку. Все понятия здесь как бы перевернуты с ног на голову. То, что в этом обществе называют «хорошим тоном», на самом деле — обывательски претенциозная пошлость. Поэзерство провинциального «льва» Бахтиярова принимается за глубину характера, а непосредственность, искренность Павла Бешметева преследуются, как непростительный порок. Бешметев — это еще одна жертва дворянского общества.

Павел не похож на «образцовых» молодых людей дворянского круга. Он не умеет прилично одеться, не умеет поддержать легкого, ни к чему не обязывающего разговора, не умеет танцевать. Павел не очень и ценит все эти качества, но он в то же время не имеет ни энергии, ни уверенности в себе, чтобы отстоять свои взгляды, чтобы избрать иной жизненный путь. Оставив мечты об ученой карьере, Павел пытается приспособиться к требованиям окружавшей его среды, но эти попытки только делают его смешным и жалким — и в конце концов приводят к гибели. Он — тюфяк. Так думают Феоктиста Саввишна, Перепетуя Петровна, Масуров. Но тюфяк он и с точки зрения Кураева, Бахтиярова, Юлии, с таким самодовольством щеголяющих своей «просвещенностью». Для всех этих людей Павел интересен только как обладатель пятидесяти незаложенных душ. Ставка — не велика. Но в дворянском обществе незаложенные души — та реальность, которая определяет положение человека. В этом отношении Перепетуя Петровна и Кураев стоят на одинаковых позициях. Ради приобретения незаложенных душ и денег Кураев готов пойти на любую подлость, не забыв при этом прикрыть ее пышными фразами о «просвещении».

По своей жизненной убедительности, по широте и глубине обобщения образ Кураева смело можно поставить в один ряд с наиболее выдающимися образами, созданными великими русскими реалистами XIX века. Разве только тургеневский Аркадий Павлович Пеночкин с такой легкостью мог бы произнести знаменитую речь о голубях, обращенную к насильно выдаваемой замуж Юлии и бессовестно обманываемому Павлу. И с другой стороны, может быть только самодуры из пьес Островского в состоянии соперничать с Владимиром Андреевичем в семейном деспотизме и тирании.

Сопоставляя таких людей, как Гуликов и Сапега, Перепетуя Петровна и Кураев, Писемский подводит читателя к убеждению, что сущность у всех этих представителей дворянского общества — одинакова. Дело не в степени просвещенности, а в том, насколько дворянин связан с крепостническим укладом жизни.

По убеждению Писемского, эта закономерность с особой наглядностью проявляется в судьбе людей, которые, повидимому, осуждают

«порядочное» дворянское общество, людей, как будто бы относящихся к типу «лишнего» человека. Если послушать Эльчанинова («Боярщина»), Бахтиарова («Тюфяк»), Батманова («М-г Батманов»), Шамилова («Богатый жених»), то они могут показаться чуть ли не прямыми наследниками Онегиных, Печориных, Бельтовых и непосредственными предшественниками Рудиных. Постоянно твердят они как раз о том, что составляет основу характера «лишнего» человека. И Эльчанинов, и Бахтиаров, и Батманов, и Шамилов — «разочарованы», то есть находят общество, в котором они живут, скучным и неинтересным, так что им не к чему приложить своих «необъятных» сил.

Эльчанинов дошел даже до мысли о ненужности «общественных понятий, которые так стесняют свободу человека!..» Бахтиаров уверяет, что он «много страдал». «С юных лет он хотел быть чем-то выше посредственности и, может быть, достигнул бы этого; но люди и страсти испортили его на первых порах».

Но трезвый реалист Писемский дает им выговориться только для того, чтобы, показав их дела, резче подчеркнуть их сходство с наиболее типическими фигурами «порядочного» дворянского общества.

Между только что названными героями Писемского и «лишними» людьми на деле нет ничего общего. Бахтиарову, так же как Эльчанинову, Шамилову, Батманову, — глубокие, искренние страдания Онегина или Печорина просто непонятны. Им органически чужды те страстные искания полезной деятельности, которые столь характерны для людей типа Онегина и Печорина. Единственно, чем могут быть искренне озабочены и раздражены герои Писемского, — это отсутствием или недостатком как раз тех «благ», которые считаются особенно возжеленными в дворянском обществе, — роскоши, дорогостоящих развлечений и «соблазнительной» известности в свете. В отличие от Онегиных и Печориных, они осуждают светское общество только на словах, а на деле они всеми силами стремятся проникнуть в него. Чтобы стать там «своим» человеком, Бахтиаров в молодости спустил все свое состояние, давал «породистым приятелям лукулловские обеды, обливал их с ног до головы шампанским и старым венгерским». Эльчанинов потому и обрадовался «покровительству» Сапеги, что с его помощью он надеялся выйти в «светские» люди.

«Разочарованность», о которой твердят Эльчаниновы, Бахтиаровы, Шамиловы и Курдюмовы, это лишь дань моде. Она делает их «непонятными» и «загадочными». Она «украшает» их в глазах модных женщин и — что особенно «интересно и пикантно» — в глазах женщин, которые тяготеют атмосферой дворянской пошлости.

Это — не «лишние» люди. Это — губернские «львы», которые гораздо ближе к фанфаронам, чем к «лишним» людям. Это в сущности такие же любители «пожить», как Кураев и Шамаев (герой рассказа «Фанфарон»); такие же охотники до «клубнички», как и Сапега. Подобно дворянскому большинству, они — паразиты, только более опасные, потому что взятыми напрокат фразами и позами они обманывают людей, искренне стремящихся вырваться из цепких лап дворянско-обывательской пошлости. Когда гибнут жертвы дворянского общества, то среди их палачей Эльчаниновы, Бахтияровы, Шамиловы и Курдюмовы играют если не главную, то, бесспорно, самую отвратительную роль.

Развенчание людей, кокетничающих разочарованием, имело огромное общественное значение. Как одно из свидетельств действительности этих образов Писемского, характерна дневниковая запись семнадцатилетнего Добролюбова (1853), постепенно становившегося в тот период на путь революционного демократизма. «В начале прошлого года я как-то все сбивался: хотел походить на Печорина и Тамирина, хотел толковать, как Чацкий, а между тем представлялся каким-то Вихляевым и особенно похож был на Шамилова. Изображение этого человека глубоко укололо мое самолюбие, я устыдился, и если не тотчас принялся за дело, то по крайней мере сознал потребность труда, перестал заноситься в высшие сферы и мало-помалу исправляюсь теперь. Конечно, много здесь подействовало на меня и время, но не могу не сознать, что и чтение «Богатого жениха» также способствовало этому. Оно пробудило и определило для меня давно спавшую во мне... мысль о необходимости труда... и показало все безобразие, пустоту и несчастье Шамиловых. Я от души поблагодарил Писемского. Кто знает, — может быть, он помог мне, чтобы я со временем лучше мог поблагодарить его»¹.

4

Последователь Пушкина и Гоголя, Писемский, подобно другим передовым писателям 40—50-х годов, судил дворянство не с точки зрения отвлеченных норм разума, просвещения и т. п., а по его отношению к народу. Критика Писемского была тем более острой и беспощадной, что, по его убеждению, народ, несмотря на века крепостного рабства, в духовном отношении стоял неизмеримо выше дворянства. Именно в народе он видел воплощение лучших качеств нации. Любовь к народу и вдохновляла Писемского на создание

¹ Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. VI, М. 1939, стр. 384.

таких образов, как питерщик Клементий из рассказа «Питерщик», Петр из «Плотничьей артели», Ананий из «Горькой судьбины». Это — люди незаурядного ума, настоящие мастера-умельцы — представители тех миллионов талантливых трудолюбивых русских людей, которые строили города, инициативой и изобретательностью которых двигалась вперед русская промышленность. Пусть и на них сказался гнет крепостничества, но они не сломлены: независимость, искренность и глубина чувства — вот основные черты характера этих людей.

Почти в каждом произведении Писемский отчетливо дает понять, как и чем «вознаграждают» помещики крестьян за их труды. Следуя своей манере всегда сохранять некую объективность и беспристрастность, он нигде особо не подчеркивает фактов жестокого отношения дворян к крепостным, упоминая о них, как о самых заурядных, обычных явлениях, но тем более гнетущее впечатление производят эти факты.

Грубая Перепетуя Петровна без ожесточения, но и без угрозы совести говорит о том, что она девок сечет и ссылает в скотную. Претендующая на утонченность чувств и образованность Юлия Владимировна в сущности так же просто, как и Перепетуя Петровна, хочет заставить Павла наказать, то есть высечь, Марфу. Крепостные Писемского почти никогда не жалуются на свою судьбу. Они иногда даже хвалят своих господ. Крепостная Аграфены Кондратьевны Сальниковой («Богатый жених») — Аксинья — говорит о помещице: «На всем околотке спросите: нигде от нас жалоб нет: только вот насчет месячин маленько идет...» Она не договорила, но ясно, что хотела она сказать о вечном недоедании по милости «добрый» барыни.

От острого глаза Писемского не укрылось насаждаемое помещиками в крепостных лакейское самодовольство, собачья преданность своим господам и т. д. Стоит только вспомнить фигуру Спиридона Спиридоновича, лакея Кураевых, чтобы понять, как Писемский относился к лакейству крепостных. Тема лакейства, как неизменного спутника барства, пожалуй наиболее убедительно развита Писемским в «Старой барыне». Не говоря уже о Якове Ивановиче — этом «фанатике челядинства», как назвал его Чернышевский, — все, кто соприкасался с знатной барыней — гоф-интендантшей Пасмуровой, в той или иной мере заражены лакейством. Лакейство и во внуке Якова Ивановича — рекруте-охотнике Топоркове, лакейство в Грачихе, обличающей Якова Ивановича; наконец, лакейство в большинстве дворовых Пасмуровой, которые в храмовые праздники буйствуют на базарах, похваляясь тем, что они люди Пасмуровой и поэтому власти наказывать их не могут.

Несмотря на то, что отношение Писемского к дворянству было отрицательным, он, показывая развращающее воздействие крепостничества, редко подчеркивал личную вину дворянина. Барин Егора Парменыча (рассказ «Леший») лично, может быть, добрый человек. Но Егор Парменыч, прежде чем стать управителем, был у своего барина лакеем. Именно в этой школе он научился и изворотливости перед сильными и хамской жестокости в отношении к подчиненным крестьянам. Барин не является непосредственным виновником несчастий Марфуши, однако от преступления Егора Парменыча нити идут именно к барину. В конечном счете дело даже не в личности этого барина, а в системе отношений, то есть в крепостном праве, которое губительно по самой своей природе, и никакая барская доброта не может смягчить его.

Писемский был глубоко убежден, что поступки человека обуславливаются причинами общественного характера, часто весьма отдаленными, на первый взгляд почти неуловимыми. Поэтому в лучших своих произведениях он обязательно стремится отыскать причину любого явления изображаемой им жизни. И всегда находит ее в условиях общественной жизни, прежде всего в крепостных отношениях.

Писарев, сравнивая творческий метод Тургенева с методом Писемского, заметил: «Читая «Дворянское гнездо» Тургенева, мы забываем почву, выражающуюся в личностях Паншина, Марьи Дмитриевны и т. д., следим за самостоятельным развитием честных личностей Лизы и Лаврецкого; читая повести Писемского, вы никогда, ни на минуту не позабудете, где происходит действие: почва постоянно будет напоминать о себе крепким запахом, русским духом, от которого не знают куда деваться действующие лица, от которого порой и читателю становится тяжело на душе»¹.

О чем бы ни шла речь в произведении Писемского костромского периода, в нем всегда слышатся отзвуки жизни всего современного ему общества. В «Тюфяке» внимание читателя останавливает прежде всего судьба интеллигентного человека в дворянском обществе; в «Браке по страсти» — уродство семейных отношений и опошление любви; в «Комике» — судьбы искусства; в «Фанфароне» — авантюризм и мотовство дворян; в «Старой барыне» — неограниченный, поощряемый властями произвол титулованного барства, в «Питерщике», «Лешем», «Плотничьей артели» — судьба людей из народа. Каждое из этих явлений рассматривается писателем в свете тех процессов общественной жизни, которые Писемский считал глав-

¹ Д. И. Писарев, Избр. соч. в 2 томах, т. I, М. 1934, стр. 97.

ными. Читатель ни на минуту не забывает, что дело происходит в крепостническом обществе в определенную эпоху его развития! — то есть в эпоху его умирания.

Писемский не допускает, кажется, мысли, что какая-либо черта личности героя не была бы связана с обстоятельствами его жизни. Даже помещичьи болезни вызваны условиями помещичьей жизни. В этом отношении знаменателен рассказ Феокисты Саввишны о «гипохондрии». «Что такое гипохондрия — ничего!.. Да вот недалеко пример — Басунов, Саша, племянница моей, муж, целый год в гипохондрие, однако прошло, теперь здоров совершенно. Что же после открылось? Его беспокоило, что имение было в залоге; жена глядела-глядела — делать нечего, заложила свою деревню, а его-то выкупила, и — прошло». Помещики и помещицы часто болеют, особенно распространён «удар». «Этот проклятый паралич, — говорит кокинский исправник, — какая-то у нас общая помещичья болезнь: от ленивой жизни, что ли, она происходит; едят-то много, а другой еще и выпивает; а мощиону нет; кровь-то и накапливается».

Особо важное значение в процессе формирования личности героя, по мнению реалиста Писемского, имело воспитание. В воспитании, как в фокусе, сосредоточивается влияние всего общества на отдельного человека. Дворянскую молодежь воспитывали по девизу: «как принято в порядочном (а то и в лучшем) обществе». Анастасия Дмитриевна Шамаева («Фанфарон») любила блеск столичной жизни и поэтому сына своего, красавчика Митю, воспитывала для такой жизни. Любящая мать преподала сыну первые, но зато самые прочные уроки фанфаронства. Ее вина смягчается только тем, что не сама она эту мораль фанфаронов выдумала. Она всосала ее с молоком матери. В мире фанфаронства нельзя было не заразиться фанфаронством. Эльчаниновы, Бахтияровы, Батмановы, Шамиловы с детства утвердились в мысли, что их удел — «жизнь на широкую ногу», поэтому они так циничны и неразборчивы в средствах достижения своего идеала.

Низменные интересы и страсти господствуют в этом обществе лежебоков, сплетников, хвастунов, фанфаронов и развратников. Поэтому так низок уровень умственного развития этих людей, так примитивны и грубо циничны их чувства. В своей статье о втором томе «Мертвых душ» Писемский отмечает, что главный порок героев Гоголя заключается даже не в отсутствии образования и не в пред-рассудочных понятиях, а в чем-то посерьезнее, что «для исправления их мало школы и цивилизации»¹.

¹ А. Ф. Писемский, Полн. собр. соч., 1911, изд. А. Ф. Маркса, т. 7, стр. 438.

Речь идет, стало быть, о социальной вымороченности, о хламе, как говорил Щедрин, который тормозит развитие жизни. Этой характеристикой гоголевских героев Писемский определил и сущность подавляющего большинства героев своих произведений рассматриваемого периода. Они прочно срослись с крепостнической почвой и будут крепко держаться за нее до тех пор, пока она не разрушится окончательно.

Вместе с нею они обречены. Но не трагедию в этом процессе умирания целого класса видит Писемский, а грубый, пошлый и порою страшный фарс.

Все творчество Писемского костромского периода содействовало той великой борьбе против дворянской идеологии, которую вели в 50-е годы прошлого столетия революционные демократы.

Опровергая разглагольствования Дружинина о том, будто Писемский является одним из зачинателей литературы, свободной от влияния Гоголя и критики 40-х годов, то есть критики Белинского, что он якобы «наносит смертный удар старой повествовательной рутине, явно увлекавшей русское искусство к узкой, дидактической и во что бы то ни стало мизантропической деятельности»¹, Чернышевский характеризовал Писемского как одного из самых решительных последователей Гоголя: «...если о ком-нибудь, то именно о нем надобно сказать, что из-под пера его выходят «мрачные картины преднамеренно зачерненной действительности», — писал великий критик, употребляя дружининскую терминологию, — что в нем мы имеем самого энергического деятеля «узкой мизантропической тенденции»².

Поэтому вполне закономерна высокая оценка его произведений раннего периода Чернышевским, Добролюбовым и Писаревым.

5

Вскоре после выхода в свет первых произведений Писемского вокруг его имени между враждебными литературными группами завязалась борьба. Некрасовский «Современник» поддерживал и одобрял в его творчестве критическое начало, стремясь к тому, чтобы Писемский постепенно становился на путь последовательного отрицания всего самодержавно-крепостнического строя. Критики-эстеты, вроде Дружинина или Дудышкина, назойливо внушали ему, что сознательное отношение к изображаемой действительности только вредит творчеству.

¹ А. В. Дружинин, Собр. соч., т. II, СПб. 1865, стр. 264.

² Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, М. 1948, стр. 569.

Но сам Писемский, кажется, не спешил определить свое место в литературной борьбе тех лет. Он сотрудничает в журналах, противоположных по направлению, — в «Москвитяине» и в «Современнике». В его высказываниях по литературным вопросам то и дело попадаются явные противоречия; порой в них можно даже отметить отзвуки теории «чистого искусства», но в те же годы он неоднократно говорил о своей приверженности к реализму. Эта, повидимому, явная непоследовательность Писемского послужила одной из причин возникновения легенды о его «безразличии» и «равнодушии». Но от этой легенды не остается и следа, если попытаться определить основное, главное в его литературных взглядах.

Живя в своем костромском захолустье, Писемский внимательно следил за развитием русской литературы тех лет. И в его откликах на литературные события преобладает одна тенденция: он сурово осуждает мелкотравчатую, реакционную беллетристику, которую поощряло большинство критиков начала 50-х годов, и горячо приветствует любое произведение, отмеченное печатью глубоко осознанного критического отношения к существовавшей тогда действительности.

Борьбу с влиянием тех, по выражению Чернышевского, «элегантно отсталых» авторов, которые были особенно плодовиты в годы «мрачного семилетия», Писемский считал одной из главных задач литературы. Вот что писал он 17 августа 1851 года Краевскому после того, как получил из Петербурга запрещенного цензурой «Москвича в гарольдовом плаще» («М-г Батманов»). «Помарки «Москвича» произвели на меня тяжелое впечатление: писавши этот роман, я едва не потерял зрение, желая поспешнее исполнить данное мною слово вашему журналу, но весь мой усиленный труд пропал от прихоти цензора безвозмездно; но это еще не столько важно, сколько то, что отбило охоту... Видит бог, сколько я желаю трудиться и сделать хоть что-нибудь для русской литературы, и с каким грустным и тяжелым чувством пробегаю я повести, романы и рассказы моих собратьев, которые, кажется, и приучили цензоров к бесцветности и пошлости. Во всем этом нет не только таланта, но даже ума, ума загоскинского, то есть на анекдот, но все это скорее бредни кичливых людей, которые ходят около какой-то мысли и между тем только изощряются в диалектике»¹.

Не один раз испытав на себе произвол цензуры, Писемский был весьма далек от того, чтобы капитулировать перед ней; он требовал от писателей, журналистов и критиков активного противодействия «цензурному разбойничеству».

¹ Письма, стр. 41.

С неподдельной радостью он читает каждое новое произведение Тургенева, Толстого — особенно его «Севастопольские рассказы». Чрезвычайно высоко он ценил творчество А. Островского. «Ваш «Банкрут» — купеческое «Горе от ума» или, точнее сказать, купеческие «Мертвые души», — писал он после прочтения комедии Островского «Свои люди — сочтемся»¹. Но он осуждал малейшее отклонение Островского от направления «Своих людей». В комедии «Бедность не порок», например, Писемский отметил свойственные ей черты слащавости и идеализации старины. «...Надобно бы было больше развить левую (то есть сатирическую, обличительную. — М. Е.) сторону, — писал он Островскому, — для этого стоило прибавить хоть одну задушевную сцену между Г(ордеем) Кар(пови-чем) Торцовым и Коршуновым и в Гордее Карповиче выразить по ярче тиранию в семействе; это бы осветило много и правую сторону (то есть положительных персонажей. — М. Е.), которую, пожалуй, можно бы было посадить»².

Отношения Писемского с журналами вплоть до 1855 года также нельзя осмыслить, если не принять во внимание борьбу за упрочение критического направления в русском искусстве. Поучительна с этой точки зрения история сотрудничества Писемского в «Москвитянине».

Внутри так называемой «молодой редакции» «Москвитянина» с момента ее образования не было настоящего единства ни во взглядах на задачи литературы, ни тем более в общественно-политических вопросах. «Теоретик» «молодой редакции», критик Аполлон Григорьев, уже и в начале 50-х годов в сущности примыкал к официальной идеологии. Его сотрудничество с издателем «Москвитянина» — реакционером М. П. Погодиным — было вполне закономерно. Что же касается А. Н. Островского, то его участие в «Москвитянине» не было органическим. Пафос обличения «темного царства», одушевлявший автора комедии «Свои люди — сочтемся», определил и характер журнальной деятельности Островского.

Писемского и Островского объединяла общность критического отношения к изображаемой ими действительности. Именно поэтому Островский так настойчиво добивался привлечения Писемского к сотрудничеству в «Москвитянине», вовсе не заботясь о том, соответствует ли «дух» произведений этого писателя реакционным взглядам издателя журнала или критика А. Григорьева.

А. Григорьев, хлопотавший о цельности направления «Москвитянина», напротив, не один раз печатно высказывал претензии к творчеству Писемского. В статье «Русская изящная литература в

¹ Письма, стр. 26.

² Там же, стр. 75.

1852 году» А. Григорьев высказал свои обычные нападки на писателей «натуральной школы» за их «раздраженное», то есть критическое отношение к действительности и противопоставил им Писемского. Однако, рассматривая конкретные его произведения, Григорьев порицал их как раз за то, что в них господствует «отрицательное начало»¹. Он сокрушался по поводу того, что Писемский не отдает «должную справедливость... разумным законам действительности»². Ему, по словам Григорьева, недостает главного — «идеальности миросозерцания»³, такого миросозерцания, которое нашло свое высшее выражение в книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»⁴. Противопоставляя Писемского «натуральной» школе, Григорьев фактически предъявил ему те же обвинения, что и писателям этой школы. Это было равносильно отмежеванию «молодой редакции» от направления творчества Писемского.

Писемский, не входя непосредственно в состав «молодой редакции», пытался укрепить в ней позицию Островского в противовес влиянию А. Григорьева. В письмах к Погодину он всячески внушал ему недоверие к теориям А. Григорьева. «Посоветуйте больше говорить об авторах, чем о своих началах...»⁵ — писал он. «Я не советую вам верить Григорьеву на слово. Он завирается иногда». Правда, это стремление поссорить прямолинейного охранителя Погодина с чуть-чуть замаскированным охранителем А. Григорьевым было по меньшей мере наивно, но оно тем не менее говорит об известной последовательности Писемского в защите линии критического реализма.

В конце концов он решительно расходится с «молодой редакцией» «Москвитянина» как по эстетическим, так и по общественно-политическим вопросам, осуждая свойственные большинству членов этого кружка «лицемерие, ханжество...» и «возмутительное, бессмысленное славянофильство...»⁶. В 1853 году Писемский в «Москвитянин» не печатал уже ни одной своей вещи. С конца 1851 года Писемский начинает печататься в «Современнике».

Это был лучший журнал того времени. Но тяжелая атмосфера «мрачного семилетия» сказалась и на нем. До 1854 года, то есть до прихода в журнал Чернышевского, значительное влияние на направление «Современника», особенно на его критический отдел, оказывали сторонники теории «чистого» искусства — А. В. Дружинин,

¹ «Москвитянин», 1853, № 1 (январь), «Критика», стр. 29.

² Там же, стр. 27.

³ Там же, стр. 6—7, 29.

⁴ Там же, стр. 62.

⁵ Письма, стр. 47.

⁶ Там же, стр. 62.

П. В. Анненков, В. П. Боткин. В своих письмах Некрасову и другим литераторам Писемский резко осуждал выступления проповедников «чистого» искусства. Знаменателен такой эпизод из истории отношений Писемского с «Современником».

В январе и феврале 1854 года в «Современнике» была напечатана большая статья Анненкова «Романы и рассказы из русского простонародного быта в 1853 году». Анненков выступил против «грубых изображений», он призывал писателей так изображать крестьянскую жизнь, чтобы ее тяготы были скрыты подобно тому, как «...очертания крыльца и забора итальянской избы пропадают в гуще плюща и винограда, обвивающих их со всех сторон»¹. Стараясь смягчить антикрепостническую сущность таких рассказов Писемского, как «Питерщик», «Леший», Анненков внушал читателю мысль о том, что в них нет «современной истины»².

Анненков отмечает, что «...при рассказах г. Писемского вы наслаждаетесь собственно не сущностью жизни, о которой идет дело, а мастерским способом автора говорить о ней, извлекаете поучение и вывод не касательно быта, который описывается, а касательно искусства, с каким подступает к нему автор и им овладевает»³.

Несмотря на то, что в статье было не мало комплиментов в адрес Писемского, он резко осудил ее. «Статья Анненкова в «Современнике» по поводу романов и рассказов из простонародной жизни очень остроумная, если хочешь, но разве она критическая? — писал он А. Майкову. — Вместо того, чтобы вдуматься в то, что разбирает, он приступил с наперед заданной себе мыслью, что простонародный быт не может быть возведен в перл создания, по выражению Гоголя, да и давай гнуть под это все»⁴. В письме к Некрасову он насмешливо отозвался об этой статье, как об очень умной, но только не эстетической⁵.

Со студенческих лет Писемский был глубоко убежден, что цель искусства — в правдивом воспроизведении жизни, и основная задача эстетики и критики как раз в том и заключается, чтобы установить степень соответствия созданной художником картины и реальной действительности. Исходные принципы критики Анненкова были диаметрально противоположными. Он судил о произведении художников не с позиций действительности, а с точки зрения «вечных» законов искусства. Подобные взгляды Писемский не относил даже к области эстетики, он называл их «эстетической золотухой».

¹ П. В. Анненков, Воспоминания и критические очерки, СПб. 1879.

² Там же, стр. 68.

³ Там же, стр. 64.

⁴ Письма, стр. 71.

⁵ Там же, стр. 67.

Наиболее развернуто свои эстетические воззрения Писемский высказал в упомянутой выше статье о втором томе «Мертвых душ». Главное, в чем он видит силу искусства, — это правдивое отношение к действительности, суровая непреклонность к ее недостаткам. Сопоставляя творчество Диккенса и Теккерея, он писал: «Один успокаивает себя и читателя на сладеньких, в английском духе, героинях, другой хоть, может быть, и не столь глубокий сердцевед, но зато он всюду беспристрастно и отрицательно господствует над своими лицами и постоянно верен своему таланту»¹.

Силу образов Гоголя он расценивает с точки зрения их верности действительной жизни. Указав на образы Тентетникова, Хлобуева, Петуха, как на новые творческие достижения Гоголя, он в то же время с горечью констатировал фальшь положительных образов второго тома — Улиньки Бетрищевой и Костанжогло. «В Костанжогло вы видите резонера, а не живое лицо», — писал он.

Верность действительности — таков девиз Писемского

6

Приехав в конце 1854 года в Петербург, Писемский сразу оказался в центре литературной жизни столицы. К нему, наконец, пришла настоящая слава. В середине 50-х годов он — один из самых популярных писателей. Издатели журналов, вроде Краевского или Печаткина, стараются перебить друг у друга еще не опубликованные вещи Писемского. Его буквально «нарасхват» приглашают читать свои произведения (он был одним из лучших чтецов своего времени) и на собраниях известных литераторов, и на публичных чтениях, и в самых влиятельных салонах.

Отзыв Чернышевского о «Старой барыне», его статья об «Очерках из крестьянского быта», в которой роль Писемского в литературе названа блистательной, еще более укрепили репутацию Писемского как одного из самых выдающихся мастеров литературы того времени. Для Писемского, который свыше десяти лет прожил в глухой провинции, этот всеобщий интерес к нему был соблазнительно заманчив и привлекателен. Но, выступая в 1855—1859 годы в самых различных аудиториях с чтением своих ранних произведений, Писемский почти не работает над новыми. Правда, в его портфеле «Боярщина» и почти законченный большой роман «Тысяча душ». В начале 1858 года оба эти произведения были напечатаны.

¹ А. Ф. Писемский, Полн. собр. соч., 1911, изд. А. Ф. Маркса, т. 7, стр. 457.

Написанная свыше десяти лет назад «Боярщина» не внесла в сознание читателя, знакомого уже с «Тюфяком», «Браком по страсти», «Богатым женихом», «Фанфароном», чего-либо нового. Но роман «Тысяча душ» должен был, казалось, не только поддержать славу его автора, но и поднять ее еще выше. Однако получилось иначе.

В этом романе представлена широкая панорама дворянско-чиновничьего общества — от захолустной, мелкопоместной усадьбы и чиновничьей каморки в уездном городе до великосветских салонов и приемной важного столичного сановника. «Тысяча душ» открывается необычными для Писемского выдержанными почти в тоне умиления сценами из жизни семейства Петра Михайловича Годнева — бывшего смотрителя энского уездного училища. Спокойна и размеренна эта жизнь с ее тихими радостями и мимолетными светлыми печальми: добродушные, вечно повторяющиеся шутки Петра Михайловича, хлопотливая воркотня Галагеи Евграфовны — не то экономки в доме, не то подруги Петра Михайловича, ежедневные визиты внешне сурового и замкнутого, но на самом деле добрейшего и благороднейшего капитана Флегонта Михайловича Годнева; невинные капризы и увлечения дочери Петра Михайловича — Настеньки; мирные чаепития и чтения вслух — все это поначалу кажется так устойчиво, что невозможно и подумать о какой-либо опасности, которая могла бы угрожать этому идиллически-безоблачному существованию. По крайней мере Петр Михайлович не предвидел ее ниоткуда. Город Энск, по словам этого мягкого, гуманного человека, «исстари славится дружелюбием», все энские чиновники, по его убеждению, — «люди отличные, живут между собой согласно».

Однако чем больше и настойчивей расхваливает Петр Михайлович нравы энского общества, тем меньше ему веришь. Только наивному человеку, вроде Петра Михайловича, энские отношения могут показаться такими мирными и патриархальными. Сочувственно-умиленный тон, господствующий в первых главах романа, оказывается одним из проявлений иронии Писемского, которая от страницы к странице становится все более резкой, то и дело переходя в прямое обличение.

Энский почтмейстер — большой любитель чтения — оказывается бессердечным ростовщиком; простоватые купцы, которых Годнев так дружески укоряет или наставляет, на каждом шагу «обдирают» народ; исправник, человек тихий и незаметный, систематически предпринимает «стеснительные наезды на казенные имения», а с местных судопромышленников взыскивает незаконные поборы — конечно, для собственных нужд.

Но энские нравы вовсе не исключение. В «Тысяче душ» Писемский более рельефно, чем в любом другом своем произведении, по-

казал, что жизнь дворянско-чиновничьего общества сверху донизу характеризуется почти неприкрытым грабежом, продажностью и лихоимством. Соучастие в расхищении народного достояния — вот что связывает членов этого общества круговой порукой. Энский исправник изрядную долю награбленных им денег в виде ежегодных «приношений» отдает губернатору Базарьеву, а тот покрывает проделки исправника. Помещик Прохоров хочет присвоить имение своего родственника Язвина и добивается, чтобы губернские власти объявили Язвина сумасшедшим. И тут не обошлось без «приношений» губернатору и его ближайшим сообщникам по грабежу.

Взятки и куши связывают в один клубок и губернатора, и городского архитектора, и откупщика Четверикова, и подрядчика Папушкина, опутавшего нищий народ неоплатными долгами и бессовестно издевавшегося над ним, не боясь никакого наказания.

Писемский все шире раздвигает границы своего повествования. Нити от этих уездных и губернских преступлений тянутся в столицу. Нашлись же там защитники Базарьева, когда его «подвиги» стали уж слишком бросаться в глаза.

Повествуя о вакханалии всеобщего хищничества, Писемский вскрывает и его основную причину: «Автор дошел до твердого убеждения, — восклицает он, — что для нас, детей нынешнего века, слава... любовь... мировые идеи... бессмертие — ничто перед комфортом... Для комфорта чистым и нечистым путем ищут наследство; для комфорта берут взятки и совершают, наконец, преступления».

Эта особенность века, ознаменовавшего невиданным до того усилением буржуазного стяжательства, алчности и авантюризма, маниакальной приверженности к комфорту, — с огромной силой художественной убедительности воплощена Писемским в образе князя Ивана Раменского. Аристократ по происхождению и положению в обществе, князь Иван успел приобрести также и качества буржуа-авантюриста. Чтобы жить, как он привык, на широкую ногу, он пускается на всевозможные аферы. Он готов взять подряд на строительство дороги, заранее зная, что ничего строить не будет, лишь бы урвать покрупнее куш. Он отдает красавицу дочь за откупщика Четверикова, чтобы поживиться от его капиталов. Ради денег он становится любовником полусумасшедшей генеральши Шваловой — владелицы тысячи душ и миллионного состояния. Ради денег же он возвращает дочь генеральши — Полину, а потом сосватывает ей мужа — но и за эту «комиссию» урывает крупную сумму в пятьдесят тысяч рублей. Прелюбодей и развратник в корыстных целях, платный сводник, мошенник, пользующийся фальшивыми документами; шантажист, готовый каждую минуту перейти от угроз к беспардонной лести, — таков князь Иван Раменский — герой дворянско-чиновничьего общества.

Критики из либерально-дворянского лагеря старались или замолчать роман «Тысяча душ», или дискредитировать его тем, что созданная Писемским картина якобы не во всех своих частях убедительна с художественной точки зрения. Анненков, Дудышкин, Ахшарумов, как сговорившись, твердили одно и то же: где идет речь об энском уездном обществе, там «провинциал» Писемский своим материалом более или менее убеждает читателя, но когда дело доходит до высших сфер, до Петербурга и связанных с петербургским обществом людей (князь Иван, Полина, Базарьев), здесь его краски бледнеют, так как он, дескать, не знает великосветской жизни и нравов высшего чиновничества. А потому и образ князя Ивана Раменского, как образ светского человека, не убедителен. Ахшарумов, например, прямо утверждал, что это — схема, а не лицо, не индивидуальность¹. По-другому отнеслась к роману Писемского революционно-демократическая критика. В документе, не предназначенном для печати, Чернышевский назвал «Тысячу душ» «превосходным романом» именно за верность изображения действительной жизни губернских городов, то есть за правдивость картины всеобщего грабежа, царящего в среде защищаемого петербургским начальством губернского чиновничества². Но на страницах руководимого им журнала внимание читателей было обращено не на эту сторону романа. В третьей книжке «Современника» за 1860 год Добролюбов в своей статье «Когда же придет настоящий день?» писал: «Читатель видит, что для нас именно те произведения и важны, в которых жизнь сказала сама собою, а не по заранее придуманной автором программе. О «Тысяче душ», например, мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнению, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее»³.

Что же произошло? Почему журнал, еще недавно так хвалебно отзывавшийся о творчестве Писемского, подчеркивая прежде всего его правдивость, теперь резко изменил свое отношение к нему, предъявив самое тяжкое для всякого художника-реалиста обвинение в отсутствии правды жизни?

По мере углубления и расширения в России освободительного движения в конкретной литературной практике того времени спор о типе «лишнего» человека и о типе деятельного человека — человека-борца приобрел злободневное политическое значение. В этом споре нашли свое отражение взгляды различных политических групп на пути и методы переустройства общественной жизни. Для после-

¹ «Весна», Лит. сборник, СПб. 1859, стр. 329—330.

² Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. V, М. 1950, стр. 455.

³ Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., 1935, Гослитиздат, т. 2, стр. 207.

дователей Чернышевского и Добролюбова — это гражданин-революционер, девизом которого были стихи Некрасова, ставшие затем девизом всей революционной молодежи:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь...
Иди и гибни безупречно,
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь!

Разумеется, для писателей, отвергавших революцию как средство ликвидации самодержавно-крепостнического строя, этот герой был неприемлем. Они пытались противопоставить ему тип человека, который якобы мог плодотворно трудиться на благо народа и при существовавших в то время политических порядках. Такого рода попытки предпринимали в 50—60-х годах и Тургенев, и Гончаров, и некоторые другие писатели той эпохи.

Писемский в своем романе «Тысяча душ» выдвинул в качестве нового «положительного героя» Калиновича, в образе которого ярче всего и выразилась вся общественная сторона романа, то есть его политическая тенденция, о которой писал Добролюбов.

В первых трех частях романа Писемский в сущности не дает оснований предполагать, что именно Калинович явится героем, воплощающим положительный общественный идеал писателя. Конечно, Калинович — не безвольный Бешметев и не фанфаронствующий позер вроде Эльчанинова или Шамилова. Это — целеустремленный, энергичный и волевой характер. Эти качества выгодно отличают его от образованнейшего, утопченного, но бездеятельного Белавина. Однако уже его первые шаги на служебном поприще обнаруживают злую волю: он поражает и правых и виноватых без различия.

Все дальнейшее его поведение и в Энке и в Петербурге убеждает прежде всего в том, что его целеустремленность крайне эгоистична. Во что бы то ни стало вырваться из безвестности в верхи дворянского общества, достигнуть богатства и власти — вот самые задушевные мечты Калиновича. Он написал повесть, но не ради того, чтобы отстоять какую-то дорогую для него идею, а чтобы прославиться, приобрести деньги. Именно поэтому он избрал «модный» жоржзандовский сюжет. Как только Калинович убеждается в том, что писательство не принесет ему желаемой славы и денег, он без всякого сожаления оставляет литературное поприще. Калинович отличается от окружавших его дворян лишь тем, что умеет скрывать свои истинные намерения, цели и «идеи». Простодушный Годнев не замечает его маскировки, а князь Иван легко разгадывает Калиновича. Когда он предлагает ему жениться на Полине, он

знает, что вовсе не «соблазняет» Калиновича, а только высказывает ему его собственные желания. Он знает, что новый смотритель уездного училища также считает себя «забелкой» человечества. По надобилось немного времени, чтобы Калинович произнес свое знаменитое: «Я ваш».

«Идейности» этого героя достало только на то, чтобы признаться: «Мы, однако, князь, ужасные с вами мошенники!..» Калинович — такой же «герой» дворянского общества, как и князь Иван. Писемский своими многочисленными отступлениями в «защиту» своего героя вовсе не противопоставляет его дворянству. Он лишь подчеркивает, что в судьбе Калиновича с наибольшей резкостью обнаруживается бесчеловечная мораль этого общества. Она взлелеяла в Калиновиче мечту о богатстве и комфорте. Ради осуществления этой мечты он спокойно перешагивает через труп Годнева, легко бросает пожертвовавшую для него всем Настеньку. Любовь, дружба, чувство долга и признательности — все втоптанно в грязь в угоду божкам Калиновича — деньгам и славе. По силе обличения растлевающей власти денег и жадности богатства образ Калиновича перекликается с зловещей фигурой Германа из пушкинской «Пиковой дамы».

В четвертой части романа положение резко изменяется. Если в первых трех частях романа единственным положительным лицом является литератор Зыков, черты которого так живо напоминают Белинского, то в четвертой части положительным героем становится Калинович. Перед нами в сущности другой образ. Писемский всячески старается убедить читателя, что комфорт и слава — не конечная цель Калиновича. Они только ступеньки на пути к осуществлению «главной цели», определившейся в его сознании, оказывается, еще на университетской скамье. Эта главная цель — проведение «бесстрастной идеи государства с возможным отпором всех домогательств, сословных и частных».

Достигнув вице-губернаторства, Калинович повел жестокую борьбу с злоупотреблениями. Эта его деятельность дает, повидимому, немедленные плоды. Губернатора Базарьева отзывают в Петербург. Калинович собирает губернское чиновничество и обращается к нему с программной речью, в которой во имя безразличного к классам и сословиям закона обещает своим подчиненным за малейшее злоупотребление самые суровые кары.

В речи Калиновича к чиновникам и выразилась та идея «надклассового» внесословного государства, которую он исповедовал со студенческих якобы лет.

Эта идея не была чужда Писемскому с самого начала его творчества. В произведениях Писемского костромского периода есть, пожалуй, единственный герой, к которому он относится без всякой

иронии. Это кокинский исправник Иван Семенович Шамаев. Его устами Писемский рассказал историю фанфарона Дмитрия Никитича Шамаева, он же является рассказчиком и главным действующим лицом в рассказе «Леший».

В «Фанфароне» кокинский исправник — суровый обличитель тех самых чрезмерных сословных домогательств дворянства, против которых решил вооружиться по воле Писемского Каллинович. В «Лешем» исправник — носитель идеи «внесословного» государства. Это он напоминает помещику о его обязанностях перед крестьянами и заставляет его отстранить неугодного крестьянина Егора Парменюча.

Либеральная критика ухватилась за этот образ и всячески старалась поднять его на щит. «Жрецы современного поучения должны не нападать на героев подобного свойства, — писал Дружинин, — а изучать их с любовью, глядеть на них с уважением. Только тогда теории, так им дорогие, получают практическую устойчивость, перестанут быть голосами «неумелых людей»...¹

Чернышевский в статье об «Очерках из крестьянского быта» в ответ на выступление Дружинина ограничился лишь несколькими проницательными замечаниями в адрес кокинского исправника, который, по его словам, «честен, как Аристид, деятелен, как Цезарь, искусен в ведении дел, как Чичиков»². В марте 1857 года была еще надежда на то, что Писемский, подобно своему другу Островскому, прочно сойдется с литераторами, группировавшимися вокруг «Современника». Поэтому Чернышевский не считал тогда необходимым особо подчеркивать слабые стороны его творчества. Он только указал, что идея, которую олицетворяет образ кокинского исправника, не имеет под собой реальной почвы, что она в основе своей является антинаучной.

Нельзя также не отметить, что образ кокинского исправника, отражавший положительную политическую программу его автора, как-то терялся в массе обличительных образов, созданных Писемским в первое десятилетие своей литературной деятельности. При всем сочувствии кокинскому исправнику Писемский не подчеркивал программности этого образа. Видимо, борьба с социальным злом при помощи домашних средств, избранная исправником Шамаевым, в условиях николаевского режима, представлялась Писемскому все-таки наивной и недейственной.

Писемский работал над первыми тремя частями романа до 1855 года. Тогда трудно было надеяться, что правительство предпримет какие-либо меры по улучшению положения крепостного

¹ А. В. Дружинин, Собр. соч., т. VII, СПб. 1865, стр. 276.

² Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, М. 1948, стр. 565.

крестьянства и работы государственного аппарата. Поэтому идея «внесловного» государства не имела почти никакого подтверждения в практике управления страной. Естественно, что в тех условиях роман об энергичном человеке, стоящем на почве дворянско-чиновничьего общества, должен был превратиться в роман о карьеристе и стяжателе.

После поражения царского правительства в крымской войне положение, как думал Писемский вместе с многими своими современниками, изменилось в корне. Широковещательные обещания Александра II отменить крепостное право и реформировать государственный аппарат он воспринял как прямое подтверждение идеи «внесловной», «просвещенной» монархии. Ему казалось, что теперь дело было только за энергичными, бескорыстными людьми, которые помогли бы правительству осуществить взятую им на себя миссию. Фигура Калиновича показалась вполне подходящей для этой роли. Соответственно этой роли он, видимо, и был так «перестроен» в четвертой части романа, над которой Писемский работал в 1857 и начале 1858 года. Именно поэтому либеральные критики в своих отзывах о «Тысяче душ» всячески расхваливали образ Калиновича. Дружинин усиленно подчеркивал «благородство» этого героя, найдя даже романтику в его стяжательских стремлениях¹. Дудышкин желал только того, чтобы будущим последователям Калиновича было «покойнее» проходить служебное поприще².

В условиях назревания революционной ситуации в России эта реакционная тенденция прямо была направлена против политики революционных демократов. Добролюбов не мог, конечно, умолчать об этом и не осудить насквозь фальшивый образ Калиновича, каким он предстает перед читателями в четвертой части романа³.

Чуткий художник-реалист Писемский почувствовал и понял, что зашел слишком далеко, наделив Калиновича чертами самоотверженной положительности.

Поэтому, работая над четвертой частью романа, он пытался некоторыми ироническими деталями как-то смягчить ореол, окружающий образ Калиновича. Эта ирония сквозит уже в том, что среди сторонников Калиновича, наряду с Экзархатовым, находится уланский ротмистр, мужчина с лицом итальянского бандита, или племянник Базарьева — шалопай Козленев, «оппозиционность» которого проявлялась в том, что он в дни губернских балов собирал горнич-

¹ А. В. Дружинин, Собр. соч., т. VII, СПб. 1865, стр. 254.

² «Отечественные записки», 1859, т. СХХII, январь, отд. II, стр. 19.

³ Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., 1935. Гослитиздат, т. 2, стр. 345.

ных и «угощал» их так, что те возвращались в господские дома мертвецки пьяными.

Ирония чувствуется и в описании дела помещика Язвина. Калиновичу удалось доказать, что Язвин — не сумасшедший, и тем установить корыстную причастность губернатора к этой грязной истории. Но чем яснее то, что Язвин не сумасшедший, тем определеннее убеждение в том, что он прирожденный идиот. Калинович, таким образом, выступает в бессмысленной роли ревностного защитника «законных» прав идиота на владение нормальными людьми! Но эти сами по себе выразительные детали не могли восстановить цельного образа.

Выдвинутая на первый план декларативно подчеркнутая и насквозь фальшивая программность поведения вице-губернатора Калиновича заслонила собой в глазах передовых людей того времени художественно полноценные элементы этого романа.

Почти такую же была участь и другого написанного Писемским в это время произведения — драмы «Горькая судьбина», в котором он, пожалуй, как никогда глубоко и выразительно, показал крестьянско-помещичьи отношения. Здесь он еще раз с небывалой даже для него резкостью развивает ту мысль, что ужасы крепостничества нельзя объяснить только злой волей непросвещенных помещиков. В конце концов положение крестьян «доброе» барина мало чем отличается от положения крестьян «злого» крепостника.

Чеглов-Соковин на первый взгляд может показаться прямой противоположностью жестокому крепостнику Золотилову. Он образован, пространно говорит о том, что крепостные тоже люди, и даже высказывается в том смысле, что мужики в моральном отношении стоят выше дворян. Чеглов не в ладу со всем дворянством и чиновничеством. Хозяйствовать, как хозяйствуют крепостники, он не может, служить не хочет, потому, что «подслуживаться тошно».

Но эта «просвещенная» оппозиция Чеглова проявляется только на словах. Поступать сообразно своим «гуманным» принципам он не может потому, что для этого надо было бы отказаться от своих помещичьих прав и привилегий. Однако этого-то он и не в силах сделать. В деревне у него все идет так, как было заведено его отцом, бесчеловечным крепостником и развратником. И эти «отчески» порядки Чеглов принял, как наследство, вместе с имением отца. Не случайно поэтому устройством его хозяйственных дел и любовных походов распоряжается тот самый Калистрат, который с немалым успехом выполнял те же обязанности при отце Чеглова. Убежденный лакей, наглый сводник и увертливый плут — Калистрат как бы олицетворяет собой моральную преемственность между Чегловым-отцом — крепостником без всяких оговорок — и его «гуманным» сыном.

Когда Чеглов узнает, что Лизавета должна стать матерью его ребенка, он, вполне в духе правил своего отца, советует ей подкинуть младенца бурмистру. Низость этого «просвещенного» барина становится особенно наглядной, если вспомнить, что простая крестьянка Лизавета готова перетерпеть все мучения, какие ожидают ее за содеянный ею «грех», ради того, чтобы не отдать свое дитя «на маяту в чужие руки».

«Просвещенный» Чеглов без каких бы то ни было сомнений предлагает мужу Лизаветы — Ананию откуп за бесчестье. Ему и в голову не приходит, что этим он еще раз оскорбляет Анания. Чеглов не без самодовольной гордости щеголяет «гуманностью» перед помещиком Золотиловым, но как только дело дошло до объяснения с крепостным мужиком, он не замедлил произнести свое помещицье «не позволю». В конце концов он разрешил свой спор с Ананием точно так же, как сделал бы это и Золотилев, — приказал увести у Анания жену силой.

Образ Чеглова-Соковина, пожалуй, один из наиболее удачных в творчестве Писемского. В обстановке острой борьбы вокруг крестьянского вопроса писатель разоблачал фальшь либеральной болтовни о цивилизаторской миссии «просвещенного» дворянства в русской деревне.

Развращенным дворянам в драме противопоставлен народ. Превосходный знаток народной жизни Писемский в сущности впервые в русской драматургии вывел на сцену живых крестьян, показав их во всей сложности их духовной жизни и быта.

Из крестьянской массы выделяется прежде всего Ананий Яковлев. Он — из тех крестьян, которые уже не хотят мириться с помещицьею властью. С презрением он относится к мужикам вроде Давыда или выборного, которые покорно переносят барский произвол. Ананий и в Питер уехал, чтобы быть подальше от помещика и бурмистра. В столице он ко всему внимательно, по-хозяйски приглядывался.

О нем, как и о тургеневском Хоре, можно сказать, что это — государственный ум: стоит только вспомнить его рассуждения о «чугунке» и о необходимости сохранения лесов. Его нравственное и интеллектуальное превосходство над Чегловым и Золотиловым бросается в глаза. Убежденность и прямота его суждений, мужество и решительность в защите поруганной чести — все обнаруживает в нем незаурядного человека, носителя лучших качеств народного характера.

И этот сильный, гордый человек загублен крепостническими порядками. Семейная жизнь для него, убежденного и верного семьянина, оказалась изуродованной настолько, что этого не могли

прикрыть никакие внешние патриархальные приличия. Связь Лизаветы с Чегловым явилась для него последним ударом. Вся логика отношений Анания к помещику вела к возмущению, к бунту.

Но ограниченность общественно-политических воззрений Писемского помешала ему быть до конца верным правде жизни. Взбунтовавшийся Ананий отдается в руки властей и всенародно кается в своем «великом прегрешении». Непримирым конфликт Писемский разрешил в духе христианского всепрощения.

Это и предредило отрицательное отношение передовых людей 60-х годов к драме Писемского. В условиях подъема освободительного движения в России, когда революционная демократия все свои политические расчеты связывала с крестьянской революцией, такой финал был воспринят как призыв к покорности и смиренню.

Произведения Писемского — «Тысяча душ» и «Горькая судьбина» — при всех своих достоинствах все-таки лишены художественной цельности. Годы расцвета таланта Писемского явились в то же время годами начала кризиса и упадка его творчества.

7

Осенью 1860 года Писемский становится единоличным редактором «Библиотеки для чтения» и начинает выступать в новой для себя роли фельетониста. В первых трех книжках журнала за 1861 год он опубликовал ряд фельетонов: «Мысли, чувства, воззрения, наружность и краткая биография статского советника Салатушки». «Записки Салатушки» были по существу направлены против журнала революционной демократии — «Современника». Клеветническая мысль этих фельетонов сводилась к тому, что настоящим ценителем творчества Чернышевского, Добролюбова и Щедрина якобы является высшее русское чиновничество.

Писемский унизился в «Записках Салатушки» до грязных сплетнических выпадов против Некрасова и Панаева.

В декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1861 год Писемский опубликовал свои фельетоны за подписью Никиты Безрылова. В них он ополчился против всего демократического движения того времени. Писатель, создавший образы Анны Павловны Задормановской, Лидии Ваньковской, Настеньки Годневой, в своих фельетонах глумится над идеей эмансипации женщин, автор многих произведений, обличавших дворянскую дикость, теперь утверждал, что помещики и унтер-офицеры обучают детей гораздо лучше, чем передовые учителя в воскресных школах. Ободренный тем, что «Современник» не счел нужным отвечать на «Записки Салатушки»,

в которых задевалась личная жизнь его издателей, Писемский в своих фельетонах еще более ретиво размазывает клеветнические сплетни о лучших передовых русских литераторах.

Фельетоны Никиты Безрылова вызвали законное возмущение передовой русской журналистики. Сатирический журнал «Искра» напечатал резкую статью, в которой обвинил Писемского в прямом пособничестве реакции. Это выступление близкого к «Современнику» журнала напугало Писемского. Он знал, что своей популярностью обязан прежде всего тем, кто шел за Чернышевским и Добролюбовым, кто до известного времени считал Писемского своим союзником.

Друзья автора фельетонов Никиты Безрылова написали протест против статьи «Искры». Но Писемский хорошо понимал, что без подписей руководителей «Современника» этот документ не будет иметь никакого значения. Обратиться к ним прямо с просьбой подписать протест никто из его авторов, видимо, не решился. Вместо этого, очевидно не без ведома Писемского, был предпринят такой «ход». Газета «Русский мир» сообщила, что под протестом литераторов уже имеются подписи редакторов и сотрудников «Современника». Расчет был прост. Некрасов и Панаев, лично задеты в фельетонах Писемского, после опубликования заметки «Русского мира», едва ли осмелятся отказаться подписать протест. Что касается Чернышевского, когда-то написавшего положительную статью о Писемском, то он тем более не захочет отказаться. Но расчет оказался ошибочным. В 7 номере «Искры» от 16 февраля 1862 года было напечатано, подписанное Антоновичем, Некрасовым, Панаевым, Чернышевским и Пыпиным, письмо, в котором сотрудники «Современника» одобрили статью «Искры». Это положило конец хлопотам друзей Писемского.

После неудачи с протестом Писемский пошел еще «дальше», опубликовав новую серию фельетонов Никиты Безрылова, содержащих выпады не только против издателей «Искры», но и против Чернышевского. Дело дошло, наконец, до того, что издатели «Искры» В. Курочкин и Н. Степанов вызвали Писемского на дуэль. В сложившейся обстановке Писемский уже не мог продолжать редактирование журнала. В апреле 1862 года он уехал за границу и, пытаясь в какой-то мере себя реабилитировать, предпринял специальную поездку в Лондон, чтобы увидеться с Герценом.

Даже после скандальной истории с фельетонами Безрылова Писемского не покидала еще надежда поправить свою общественную репутацию. Ему все казалось, что произошло какое-то недоразумение.

Однакоже Писемский не мог не понимать того, что при объяснении с Герценом и Огаревым речь пойдет прежде всего о его воз-

мутительных и клеветнических фельетонах. На что же рассчитывал Писемский, добиваясь встречи с Герценом?

Некоторые обстоятельства, предопределившие назначение Писемского редактором «Библиотеки для чтения», позволяют понять поведение Писемского.

Прежний редактор этого журнала А. В. Дружинин занимал в общественной и литературной борьбе 50-х годов достаточно определенную позицию: безоговорочное сочувствие «реформаторам»-крепостникам — в крестьянском вопросе и проповедь «теории чистого искусства» — в литературной критике. Дружинин не устал повторять, что передовая литература, критически воспроизводящая действительность, нарушает «вечные» законы искусства, что писатели-реалисты преувеличивают ужасы крепостных отношений и т. п. Особенно откровенно эти реакционные наветы на подлинно обличительную литературу были высказаны в статье Дружинина о «Рассказах из народного русского быта» украинской писательницы Марко Вовчок (М. А. Маркович), которые он оклеветал, как «мерзостно-отвратительные картинки». Этот злобный отзыв окончательно разоблачил Дружинина в глазах демократически настроенных читателей, составлявших в то время основную массу подписчиков на журналы. Герцен в гневной статье «Библиотека» — дочь Сенковского» заклеил Дружинина как реакционера, за «эстетическим жеманством» которого кроется отвратительный облик крепостника¹. После этого Дружинину ничего больше не оставалось делать, как уйти с поста редактора «Библиотеки для чтения».

Писемский должен был внушить читателям, что с обновлением редакции журнала изменится и его направление. В объявлении об издании «Библиотеки» в 1861 году говорилось: «...не делая заранее никаких преувеличенных обещаний, редакция «Библиотеки для чтения» считает, однако, необходимым объяснить, что согласно с симпатиями лучшего большинства во внутреннем характере этого журнала должно произойти существенное изменение. По своему способу смотреть на вещи редакция «Библиотеки для чтения» столько же далека от того, чтобы проникнуться духом порицания и крайней неудовлетворенности, сколько и от того, чтобы приходить в восторг от характера того совершающегося на наших глазах движения, в которое вовлечены все действующие силы нашей страны»². Это объявление, написанное как будто бы в подчеркнуто объективном духе, на самом деле содержало едва замаскированные от цензуры

¹ А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. 10, Пг. 1919, стр. 308.

² Письма, стр. 555.

намеки на то, что новая редакция журнала по возможности будет идти по пути, указанному Герценом.

Писемскому казалось, что полемика, вспыхнувшая в 1859 году между Герценом и руководителями «Современника», не была результатом временного расхождения между ними. Вот почему в редакционном объявлении он отгораживается от тех, кто был проникнут «духом порицания и крайней неудовлетворенности», то есть прежде всего от лагеря «Современника». С другой стороны, Писемский объявил о намерении быть в оппозиции к тем «реформаторам», против которых вели постоянно борьбу издатели «Колокола». Что касается литературной политики, то Писемский в специальном примечании указывал на «Грозу» Островского и на собственную драму «Горькая судьбина», как на произведения, недвусмысленно характеризующие положительное отношение нового редактора к обличительной литературе. В ноябре 1860 года, когда сочинялось это объявление, Писемскому могло казаться, что Герцен такой же «государственник», как и он сам, как и многие либеральные дворяне того времени. Не один раз высказанные Герценом надежды на освободительную инициативу царя, попытки «Колокола» противопоставить Александра II окружавшей его придворной камарилье и верхушке дворянского общества; наконец, неоднократные, обращенные к «просвещенным» дворянам призывы деятельно трудиться на благо народа — все это как будто бы явным образом подтверждало указанное предположение Писемского, да и не только его одного. Но ни Писемский, ни его единомышленники не понимали того, что это были лишь временные отступления Герцена от демократизма к либерализму: издатели «Колокола» при всех своих колебаниях между демократизмом и либерализмом находились в одном лагере с Чернышевским и Добролюбовым.

Вот это непонимание подлинной позиции Герцена в общественной борьбе и привело Писемского в Лондон. Он был, повидимому, искренне убежден, что когда в «Записках Салатушки» он охарактеризовал «Современник» как журнал, выражающий воззрения высшего чиновничества, то этим он только поддержал мнение Герцена, будто своими насмешками над либеральными «обличителями» сотрудники «Современника» могут «досвистаться» не только до Булгарина и Греча, но (чего, боже сохрани) и до Станислава на шею!¹ Но Герцен отказался от этого мнения еще в 1859 году, чего Писемский, ослепленный ненавистью к «Современнику», не заметил.

Во время встречи с Герценом и Огаревым Писемскому могла раскрыться еще одна — уже трагикомическая деталь. Дело в том, что в тех самых фельетонах Никиты Безрылова, которые Писемский

¹ А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. 10, Пг. 1919, стр. 15.

намеревался положить перед издателями «Колокола» как доказательство своего единомыслия с ними, содержалась прямая полемика с Герценом, о которой сам Писемский, повидимому, и не подозревал. Писемский в первом фельетоне, между прочим, ополчился и против того, чтобы говорить ученикам воскресных школ «вы». Но, оказывается, в этом гонении на «вы» он не был оригинален. Сотрудник «Северной пчелы» за год с лишним до него уже начал поход против этого местоимения, за что и получил от Герцена следующую нахлобучку: «Эй ты, фельетонист! Мы читали в «Московских ведомостях», что ты в какой-то газете упрекал учителей воскресных школ, что они говорят ученикам «Вы». Сообщи, братец, нам свою статью, название газеты, твое прозвище, ты нас этим одолжишь»¹. Знай Писемский об этом выступлении Герцена, он понял бы, что оно полностью может быть отнесено и к автору фельетонов Безрылова.

Само собой разумеется, никакого сочувствия со стороны Герцена и Огарева Писемский не встретил. «С Писемским и Коршем были сильные и сильно неприятные объяснения», — писал Герцен Н. А. Огаревой². Писемский окончательно убедился в том, что третьего пути не существует. Выбор возможен только между лагерем крепостников и лагерем революционеров.

После встречи с Герценом и Огаревым Писемский задумал роман, в котором определилась его позиция в общественной борьбе той эпохи. Это было «Взбаламученное море», напечатанное в 1863 году в архиреакционном журнале Каткова «Русский вестник». Новый роман Писемского явился убедительнейшим свидетелем того, насколько прав был Добролюбов, разглядевший еще в «Тысяче душ» черты тех либерально-дворянских тсорий, которые в обстановке крайнего обострения классовой борьбы привели Писемского в лагерь реакции. «Взбаламученное море» является в сущности наспех состряпанной «художественной» иллюстрацией к политической доктрине вице-губернатора Калиновича, сиречь самого Писемского.

В бурных событиях 60-х годов Писемский проглядел главное, а именно — борьбу двух основных классов русского общества: революционного крестьянства, поднявшегося против цепей крепостничества, и дворянства, всеми силами охранявшего свои «священные» права. Причиной непонятной ему политической «сумятицы» 60-х годов Писемский считал все те же развившиеся до чрезвычайных размеров антинародные «сословные и частные» дворянские притязания, против которых пытался еще в николаевские времена бороться его

¹ А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. 10, Пг. 1919, стр. 400.

² Там же, т. XV, стр. 220, Е. Ф. Корш — редактор газеты «Санкт-петербургские ведомости».

любимый герой Калинович. Главными «деятелями» либеральной суетни, которая так характерна для этой эпохи, были падкие на моду дворяне вроде Бакланова. Писемский всячески подчеркивал, что этот центральный герой «Взбаламученного моря» — типичнейшая фигура «либерала» 60-х годов. «Он праздно вырос, недурно поучился, поступил по протекции на службу, благородно и лениво послужил, выгодно женился, совершенно не умел распоряжаться своими делами и больше мечтал как бы пошалить, порезвиться и поприятнее провести время. Он представитель того разряда людей, которые до 1855 года замирали от восторга в итальянской опере и считали, что это высшая точка человеческого назначения на земле, а потом сейчас же стали с увлечением и верой школьников читать потихоньку «Колокол». Из желания не отстать от моды эти люди охотно посещают социалиста Проскриптического и, будучи в душе крепостниками, «кричат и требуют в России фаланстерии». «Вояжируя» за границей, они, не зная куда деваться от праздности и скуки, бывают, между прочим, и у Герцена».

Еще больший вред обществу, по мнению Писемского, причиняли чуждые сознанию общественного долга помещики вроде Ионы Цинника. Это они своим ничем не сдерживаемым произволом возбуждали в народе дух недовольства и глухого протеста.

Писемский был убежден в том, что революционное движение ни в какой степени не связано с народным недовольством. При всем своем уважении к народу, он не видел в нем созидательной политической силы. Народ, по его мнению, был носителем богатых природных задатков. Однако эти задатки, как он думал, могли развиваться лишь под благодетельным руководством попечительного монархического государства, единственной реальной и полезной силы, призванной к такому руководству. Вот почему всякий, кто покушается на устои государства, действует вопреки подлинным интересам народа. Эта глубоко ошибочная, реакционная позиция и определяла отношение Писемского к революционерам. Образы этих людей в его насквозь клеветническом новом романе представляют собой по существу пасквильные фигуры, сделанные по рецептам матерого реакционера Каткова, размалеванные чучела, выставленные с единственной целью — напугать обывателя. Вор, вымогатель и провокатор Виктор Бассардин; уверенные в своей безнаказанности сыновья миллионера-откупщика Галкина, забавляющиеся революцией, как опасной игрой; развращенный дворовый, ставший на путь грабежей и убийств, — таким пытался Писемский представить лагерь революционеров.

Всем этим разрушительным, по убеждению Писемского, силам от Ионы Цинника и Бакланова до Собакеева и издателей «Колокола» —

противопоставлена в романе «упорядочивающая» сила правительства и его сторонников, которые олицетворены в образе ученого разночинца Варегина. Его устами Писемский оправдывает и расправы над бунтовщиками-крестьянами и дикие репрессии против революционеров. Дворянское просветительство, которое в годы реакции для многих лучших людей того времени было известной формой проявления сочувствия народу, с позиций которого передовые русские писатели обличали николаевскую тиранию, — это дворянское просветительство в эпоху революционного подъема, поставившего под угрозу само существование монархического государства, превратилось в орудие защиты крепостничества и самодержавного произвола.

Нарушив основу реалистического искусства — правдивое воспроизведение жизни, — Писемский утратил главное качество своего таланта. В его «Взбаламученном море» нет и следа той композиционной и сюжетной целесообразности, которая так характерна для его повестей и романов 40-х и 50-х годов. Видимо, почувствовав это, он старался возбудить читательский интерес при помощи приемов, заимствованных из арсенала бульварных романистов. Но ни «пикантные» подробности любовных отношений Бакланова и Софии Леневой, ни авантюрная история горничной Иродианы и ее любовника, кучера Михайлы, не помогли. Все это только еще сильнее подчеркивало художественную несостоятельность «Взбаламученного моря».

В 1863 году Писемский переезжает в Москву и становится одним из помощников Каткова по редактированию «Русского вестника». Но скоро он вынужден был отказаться от сотрудничества с главарем крепостнической реакции, третировавшим бывшего редактора «Библиотеки для чтения» как литературного поденщика.

Писемский, имя которого еще так недавно ставили в одном ряду с именами Тургенева и Островского, оказался совсем «не у дел». Чтобы заняться хоть чем-нибудь, он снова поступает на службу. Однако чиновничья карьера, если бы даже она и сложилась удачно, не могла удовлетворить его. «Как и чем я ни прикидывайся, — писал он П. В. Анненкову, — *проприетером, чиновником*, но в сущности я все-таки заражен до мозга костей моим писательством и *органически неизлечимый литератор...*»¹

В последние пятнадцать лет своего творческого пути он пишет, пожалуй, не меньше, чем в костромской период. Четыре больших романа, десять пьес, несколько рассказов и очерков — по объему это едва ли не больше всего, что написано было им до 1863 года. Но

¹ Письма, стр. 210.

напрасно было бы искать в произведениях московского периода прежнего Писемского. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что в подавляющем большинстве его произведений второй половины 60-х годов речь идет о прошлом, хотя и не отдаленном. «Русские лгуны» — очерки помещичьей жизни 40-х — начала 50-х годов; в основе трагедии «Самоуправцы» — события конца XVIII века, в трагедии «Поручик Гладков» воспроизведены придворные интриги середины XVIII века.

Писемский явно растерялся перед современностью. Он видел, что реформа 1861 года не разрешила общественных противоречий. Не соглашаясь с критиками «Взбаламученного моря», он тем не менее понял, что уверенность, с которой судил он в этом романе действительность своего времени, не имела под собой серьезных оснований.

После потрясений начала 60-х годов он хотел еще раз обзреть весь свой жизненный и творческий путь, осмыслить судьбу своего поколения. Однако к решению этой задачи Писемский приступил с прежним запасом идей, но уже без былой веры в их справедливость. В новом романе «Люди сороковых годов» он как бы боится высказать свои симпатии до конца. Какой-то растерянно-скептический тон господствует в этом романе. Это не могло не отразиться на образах романа. Им прежде всего недостает той определенности самобытной характерности, которые отличали образы Писемского 50-х годов. Это новое произведение не восстановило репутацию Писемского как первоклассного художника.

В 70-х годах Писемский уловил весьма важную тему, характерную для периода развития капитализма в России. Он пишет целый ряд антибуржуазных произведений: драмы «Вaal» (1873) и «Просвещенное время» (1875), комедию «Финансовый гений» (1876), роман «Мещане». Резко отрицательное отношение Писемского к буржуазному хищничеству подготавливало почву для сближения с «Отечественными записками» Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Но неопределенность исходных идейных позиций Писемского помешала этому сближению, которое только и могло если не восстановить его былую славу, то в какой-то мере «реабилитировать» в глазах передового читателя.

В последние годы жизни Писемский почти полностью утратил живые связи с современностью. Он как бы не замечал, что в стране поднималась новая революционная волна. Его новый роман — «Масоны», в котором описывались события полувековой давности, не имел в сущности никакой связи с переживаемыми в России в 70-х годах событиями.

Отверженность от большой литературы надломил Писемского. Некогда общительный, склонный к шутке собеседник, остроумный

рассказчик, он стал теперь эзжкнутым, подозрительным человеком. Только в семье и мог еще он успокаиваться. Его жена, Екатерина Павловна (дочь известного литератора 20—30-х годов П. Свиньина), терпеливо помогала ему преодолевать приступы уныния и растерянности. Но на Писемского обрушивался удар за ударом. В 1874 году старший его сын Николай, только что блестяще окончивший университет, по неизвестным причинам застрелился. Другой его сын — Павел, талантливый правовед, в 1880 году заболел тяжелой психической болезнью.

Это окончательно подорвало силы Писемского. 21 января (ст. ст.) 1881 года он умер.

* * *

Творческий путь Писемского убедительно свидетельствует о том, что лишь в той мере, в какой художник отдает свой талант делу служения народу, его передовым идеям и чаяниям, дарование писателя растет и крепнет. Творчество Писемского в первые пятнадцать лет его литературной деятельности сыграло в общественной борьбе второй половины XIX века безусловно положительную роль. И значение его лучших ранних вещей не ограничено эпохой их создания.

В современной ему буржуазно-дворянской действительности Писемский сумел увидеть, талантливо и реалистически воспроизвести наиболее существенные стороны эксплуататорского общества. Писемский ненавидел ложь и лицемерие, лесть и пресмыкательство, порождаемые социальными отношениями его времени. Он с особой любовью воспроизводил характеры принципиальных, деятельных, правдивых и честных людей. Мечта о хорошем, свободном человеке жила в нем даже тогда, когда он глубоко ошибался в решении конкретных общественных вопросов. И эта человечность особенно дорога нам, наследующим все лучшее в литературе прошлого.

М. ЕРЕМИИ

БОЯРЩИНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В одной из северных губерний, в С... уезде, есть небольшая волость, в которой, по словам ее обитателей, очень большое, а главное преприятное соседство. Всякий, кому только господь бог соблаговолил поездить по святой Руси, всякий, без сомнения, заметил, как пустеют нынче усадьбы. Ему, верно, случалось проезжать целые уезды, не набредя ни на одно жилое барское поместье, хотя часто ему метался в глаза господский дом, но, увы! верно, с заколоченными окнами и с красным двором, глухо заросшим крапивою; но никак нельзя было этого сказать про упомянутую волость: усадьбы ее были и в настоящее время преисполнены помещиками; немногие из них заключали по одному владельцу, но в большей части проживали целые семейства. Местечко это еще исстари прозвано было Боярщиной, и даже до сих пор, если приедет к вам владимирец-разносчик и вы его спросите:

— Откуда, плут, пробираешься?

— Из Боярщины, сударь... Около месяца там плутовал, — ответит он вам.

— Там?

— Там-с. Такое уж там для нас место притоманное.

Заседатель земского суда как, бывало, попадет туда на следствие, так месяца два, три и не выедет: все по гостям, а исправник, которого очень все любили, просто не выезжал оттуда: круглый год ездил от одного помещика к другому. На баллотировках боярщинцы всегда действовали заодно и, надобно сказать, имели там значительный голос, тем более что сам губернский предводитель был из числа их.

На северном краю этой волости есть усадьба Могилки, которая как-то резко отличалась от прочих усадеб тем, что вся обнесена была толстым деревянным забором. Двухэтажный, с небольшими окнами, господский дом был выкрашен серою краскою; от самых почти окон начинал тянуться огромный пруд, берега которого густо были обсажены соснами, разросшимися в огромные деревья, которые вместе с домом, отражаясь в тенистой и непрозрачной воде, делали пруд похожим на пропасть; далее за ним следовал темный и заглохший сад, в котором, кажется, никто и никогда не гулял. Высокие, покрытые острым колпаком флигеля, также с маленькими окнами и посеревшие от времени, тянулись от господского дома по обоим бокам и заключались скотными дворами, тоже серыми, которые были обильно, но неаккуратно покрыты соломою. При самом почти въезде в усадьбу, на правой руке, стояла ялуразвалившаяся часовня, около которой возвышалось несколько бугров, напоминавших о некогда бывшем тут кладбище. Одним словом — все как-то было серо и мрачно и наводило на вас грустное и неприятное чувство. Всякий раз, когда я проезжал мимо этой усадьбы, меня поражало необыкновенное ее сходство с раскольничьим кладбищем. Лет двадцать назад в этой усадьбе жил высокий, худощавый старик, Егор Егорыч Задор-Мановский, который один из всех соседних дворян составлял как бы исключение: он ни к кому не ездил, и у него никто не бывал. Про него носились весьма невыгодные слухи: говорили, что будто бы он уморил жену и проклял собственного сына за то, что тот потребовал в свое распоряжение материнское имение. Но это были одни слухи; достоверно же знали только то, что сын лет двенадцать не бывал у отца.

— Нужно бы нам подобраться к Задор-Мановскому, — часто говаривал губернский предводитель.

— Нужно бы, ваше превосходительство, — подхватывал с...кий исправник.

— Да как подберешься? — продолжал предводитель.

— Именно, как подберешься? — заключал исправник.

Между тем, покуда они решали этот вопрос, Задор-Мановский скоропостижно умер, и после него стало совершаться все то, что обыкновенно совершается по смерти одиноких людей: деньги и вещи, сколько возможно, были разворованы домашними, а остальные запечатаны. Некоторые из соседей приехали на похороны, пожалели о покойнике, открыли его несколько редких добродетелей, о которых при жизни и помину не было, и укоряли, наконец, неблагодарного сына, не хотевшего приехать к умирающему отцу. Пять лет после того Могилки пустели. Наконец, в них приехал новый господин — сын покойника, Михайло Егорыч Задор-Мановский, и приехал не один, а с молодою женою. Последнее обстоятельство не понравилось особенно тем из соседей, у которых на руках были взрослые дочери, потому что Мановский, несмотря на невыгодные слухи об отце, был очень выгодный жених. Все знали, что у него триста незаложенных душ, да еще, в придачу, на несколько тысяч ломбардных билетов; сверх того, он был полковник в отставке.

— Я думаю, — будет в батюшку и станет жить медведем, — проговорили многие.

Но предсказание это не сбылось. В продолжение двух недель после своего приезда Мановский посетил почти всех соседей и пригласил их к себе. Результатом таких посещений было то, что сам Задор-Мановский понравился всем; скажу более, внушил к себе уважение. Правда, приемы его были несколько угловаты, но вежливы, мысли резки, но основательны. Что касается до его наружности, то он был в полном смысле атлет, в сажень почти ростом и с огромной курчавой головой. По значительному развитию ручных мускулов не трудно было догадаться, что он имел львиную силу. Впрочем, багровый, изжелта, цвет лица, тусклые, оловянные глаза и осиплый голос ясно давали знать, что не в неге и не совсем скромно провел он первую молодость, но только железная натура его, еще более закаленная в нужде, не поддавалась ничему, и он, в сорок лет, остался тем же здоровяком, каким был и в осьмнадцать.

Но совершенно другое впечатление произвела на общество его жена. Посещая, вместе с мужем, соседей, она вела себя как-то странно: после обычных приветствий, которые исполняются при новых знакомствах и которые, надо отдать справедливость, Мановская высказывала довольно ловко и свободно, во все остальное время она молчала или только отвечала на вопросы, которые ей делали, и то весьма коротко. Более тонкий наблюдатель с первого бы взгляда заметил по грустному выражению лица молодой женщины, что молчаливость ее происходила от какого-то тайного горя, которое, будучи постоянным предметом размышлений, отрывало ее от всего окружающего мира и заставляло невольно сосредоточиваться в самой себе. Но не так показалось это соседям: «Она горда», — сказали победнее из них; «Она глупа», — решили богатые. Наружность ее тоже не понравилась. Это была блондинка; черты лица ее были правильны, но она была худа; на щеках ее играл болезненный румянец, а тонкие губы были пепельного цвета. Эти признаки органического расстройства и были причиной, что в наружности m-me Мановской соседи и соседки, привыкшие более видеть в своих дочках здоровую красоту, не нашли ничего особенного, за исключением довольно недурных глаз. Мановский в гостях обходился с женой не очень внимательно, дома же, при посторонних, он был с ней повелителен и даже почти груб. Это еще более уронило Мановскую в глазах соседей. «Ее, кажется, и муж-то не любит», — говорили одни; «и не за что», — подтверждали другие.

Так прошли два года. Задор-Мановский сделался одним из главных представителей между помещиками Боярщины. Его все уважали, даже поговаривали, что, вряд ли он не будет на следующую баллотировку предводителем. Дамам это было очень досадно: «Вот уж нечего сказать, будет у нас предводительша, дает же бог таким счастье», — говорили они...

Перенесемся, однако, на несколько времени в Могилки. Гостиная Мановских была самая большая и холодная комната в целом доме. Стены ее были голы; кожаная старинная мебель составляла единственное ее убранство. Она была любимым местопребыванием Михайла Егорыча, который любил простор и свежий воздух. Рядом с гостиной была спальная комната, в которой

целые дни просиживала Анна Павловна. Однажды, это было в начале мая, Михайло Егорыч мерными шагами ходил по гостиной. На лице его была видна досада. Он только что откуда-то приехал. Несмотря на то, что в комнате, по причине растворенных окон, был страшный холод, Мановский был без сюртука, без галстука и без жилета, в одних только широких шальварах с красными лампасами. Молодой, лет двадцати, лакей в сером из домашнего сукна казакине перекидывал со стула на руку барское платье.

— Вы, этта, соколики, — начал Мановский, — ездивши с барыней к обедне, весь задок отворотили у коляски, шельмы этакие? И молчат еще! Как это вам нелегкая помогла?

— Лошади разбили-с. Не то что нас, барыню-то чуть до смерти не убили, — отвечал лакей.

— Прах бы вас взял и с барыней! Чуть их до смерти не убили!.. Сахарные какие!.. А коляску теперь чини!.. Где кузнец-то?.. Свой вон, каналья, гвоздя сковать не умеет; теперь посылай в чужие люди!.. Одолжайся!.. Уроды этакие! И та-то, ведь как же, богу молиться! Богомольщица немудрая, прости господи! Ступай и скажи сейчас Сеньке, чтобы ехал к предводителю и попросил, нельзя ли кузнеца одолжить, дня на два, дескать! Что глаза-то выпучил?

— Семена дома нет-с, — отвечал лакей.

— Это как? Где же он?

— В город на почту уехал; барыня послали.

— Да ведь я говорил, — вскрикнул Мановский, — чтобы ни одна бестия не смела ездить без моего спосу.

— Барыня изволили послать.

— Как барыне не послать? Помещица какая! Хозяйством не занимается, а только письма пишет — писательница! Как же, ведь папеньку надобно поздравить с праздником, — только людей да лошадей гонять! Пошел, скажи кучеру, чтобы съездил за кузнецом.

Лакей ушел. Михайло Егорыч, надевши только картуз и в том же костюме, отправился на конский двор.

Анна Павловна, сидевшая в своей спальне, слышала весь этот разговор; но, кажется, она привыкла к подобным выходкам мужа и только покачала головой с какою-то горькою улыбкой, когда он назвал ее писательницей. Она была очень худа и бледна. Через четверть

часа Мановский вернулся и, казалось, был еще более чем-то раздосадован. Он прямо пошел в спальню.

— Что у нас теперь делают? — спросил он, садясь в угол и не глядя на жену.

— Ячмень сеют. Овес вчерашний день кончили, — отвечала та.

— Много ли высеяно ячменя?

— Сегодня я не знаю.

— Да что ж вы знаете? — перебил Мановский. — Я, кажется, говорил вам, чтобы вы сами наведывались в поле, а то опять обсевки пойдут.

— Но я больна, Михайло Егорыч!

— Вечная отговорка: я больна! Надели бы шубу, коли очень знобки. Для чего вы здесь живете? Последняя коровница и та больше пользы делает. Людей рассылать да коляски ломать ваше дело! Будь я подлец, если я не запрю все экипажи на замок; вон навозных телег много, на любой извольте кататься! Что это в самом деле, заняться ничем не хочет: столом, что называется, порядочно распорядиться не умеет! Идет бог знает сколько, а толку нет! Куда этта, в два месяца какие-нибудь, вышел пуд крупчатки? Знаете ли вы это? Ведь ничего не понимаете! Что у нас, — балы, что ли? Белоручка какая! Я больна!.. Я нездорова!.. Я не могу!.. вспомнили бы лучше, много ли приданого-то принесли, — только бабий хвост, с позволения сказать.

— Зачем же вы женились на мне?

— Кто вас знал, что вы аферисты этакие! За меня в Москве купчихи шли, не вам чета, со ста тысячами. Так ведь как же, фу ты, боже мой, какое богатство показывали! Экипаж — не экипаж, лошади — не лошади, по Петербургам да по Москвам разъезжали, миллионеры какие, а на поверку-то вышло — нуль! Этакой подлости мужик порядочный не сделает, как милый родитель ваш, а еще генерал!

Последние слова, кажется, более всего оскорбили и огорчили Анну Павловну: она вся вспыхнула и заплакала.

— Как же, ведь нюни распустить сейчас надобно!.. Ужасно как жалко! Я вот сейчас сам зарыдаю!..

Анна Павловна продолжала плакать.

— За что вы меня мучите, — проговорила, наконец, она грустным голосом, — что я вам сделала? Я просила

и прошу вас об одном, чтоб вы не бранили при мне моего отца. Он не виноват, он не знал, что вы женитесь не на мне, а на состоянии.

— Скажите, пожалуйста! Он не знал этого, какой малолеток! Он думал, что дочку в одной юбке отпустить благородно? Золото какое! Осчастливил!

— Я вас давно просила отпустить меня. Зачем я вам? Вы меня не любите и не уважаете!

— Смею ли я вас не уважать, помилуйте! Глубочайшее почтение должен питать! Как же, ведь такая красавица! такая образованная! Как мне вас не уважать? Вами только и на свете существую.

Мановский долго еще бранился; но Анна Павловна не говорила уже ни слова; наконец, видно и ему наскучило: он замолчал и все сидел насупившись.

Молодой лакей вошел и сказал, что обед готов. Михайло Егорыч пошел первый. Он выпил первоначально огромную рюмку водки, сел и, сам наливши себе полную тарелку горячего, начал есть почти с обжорством, как обыкновенно едят желчные люди. Анна Павловна сидела за столом больше для виду, потому что ничего не ела. Между тем выражение лица Мановского в той мере, как он наедался, запивая каждое блюдо неподслащенной наливкой, делалось как будто бы добрее. Вставши из-за стола, он выкурил залпом три трубки крепкого турецкого табаку и лег в гостиной на диван. Анна Павловна прошла в спальню.

Мановский, кажется, думал заснуть, но не мог.

— Анна Павловна! Подите сюда! — крикнул он.

Анна Павловна не отвечала. Михайло Егорыч снова позвал ее, но она не шла и даже не откликнулась, а потом, потихоньку вставши, хотела уйти из спальни, но Михайло Егорыч увидел ее в зеркале.

— Куда же вы? Говорят вам, подите сюда! — произнес он.

Анна Павловна остановилась в раздумье.

— Подите сюда, — повторил Мановский.

Анна Павловна вошла и села в некотором отдалении на кресло.

— Сядьте сюда поближе, — сказал Мановский.

Анна Павловна не трогалась. Михайло Егорыч достал ее рукою и посадил к себе на диван. Он, видимо, хотел

приласкаться к жене. У Анны Павловны между тем лицо горело, на глазах опять навернулись слезы.

— Оставьте меня, — проговорила она, отодвигаясь на другой конец дивана.

Михайло Егорыч молча придвинул ее к себе.

— Ну, помиритесь, поцелуйте меня, — проговорил он несколько ласковым голосом.

Анна Павловна поцеловала его. Слезы ручьями текли по ее щекам.

— О чем вы плачете? Что за глупости! — проговорил Мановский и, наклонив голову жены, хотел ее еще поцеловать. Анна Павловна не в состоянии была долее владеть собой: почти силой вырвалась она из рук мужа и, проговорив: «Оставьте меня!», ушла. Мановский посмотрел ей вслед озлобленным взглядом и по крайней мере около часу просидел на диване нахмуренный и молчаливый, а потом велел себе заложить беговые дрожки и уехал. Одевавший и провожавший его молодой лакей вернулся в прихожую в каком-то раздумье; постояв, он развел что-то руками и лег на залавок.

— Костя! Куда барин уехал? — спросила горничная девушка Анны Павловны, Матрена, заглянувши в лакейскую.

— В Спиридоново, чай, — отвечал тот.

— К Марфе?

— Ну, да.

— Ой, господи, согрешили грешные, — проговорила горничная в раздумье.

— Да тебе чего тут жаль? — проговорил лакей.

— Барыню больно жаль, сидит да плачет...

— Что плакать-то. Не сегодня у них согласия нет: все друг дружке наперекор идут. Он-то вишь какой облом, а она хворая.

— Что ж, хворая? — возразила горничная.

— Что хворая! Известно: муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую.

— Да уж это так, — отвечала горничная и ушла в девичью.

— Да, так... Знаем тоже и тебя... Пошто вот Марфе попадает, а не мне, — знаем! — произнес сам с собой лакей и, прикорнувши головой на левую руку, задремал.

Спустя месяц после описанного нами происшествия вся Боярщина собиралась в доме у губернского предводителя. Это был день именин его жены. Все почти общество было в гостиной. Самой хозяйки, впрочем, не было дома. Она уже года три жила без выезда в Петербурге, потому что, по ее собственным словам, бывши до безумия страшною матерью, не могла расстаться с детьми; а другие толковали так, что гвардейский улан был тому причиной. Не менее того, именины ее ежегодно справлялись в силу того обычая, что губернские предводители, кажется, и после смерти жен должны давать обеды в день их именин. Сам хозяин, маленький, седенький старичок, с очень добрым лицом, в камлотовом сюртуке, разговаривал с сидевшей с ним рядом на диване толстою барынею Уситковою, которая говорила с таким жаром, что, не замечая сама того, брызгала слюнями во все стороны. Она жаловалась теперь на станового пристава. Все кресла, которые обыкновенно в количестве полутора дюжин расставляются по обеим сторонам дивана, были заняты дамами в ярких шелковых платьях. Некоторые из них были в блондовых чепчиках, а другие просто в гребенках. Лица у всех по большей части были полные и слегка у иных подбеленные. Несколько мужчин, столпившись у дверей, толковали кой о чем. Другие ходили или, заложивши руки назад, стояли и только по временам с каким-то странным выражением в лице переглядывались с своими женами. Соседняя с гостиной комната называлась диванной. В ней также помещалось несколько человек гостей: приходский священник с своей попадьей, которые тихо, но с заметным удовольствием разговаривали между собою, как будто бы для этого им решительно не было дома времени; потом жена станового пристава, которой, кажется, было очень неловко в застегнутом платье; гувернантка Уситковой в терновом капоте и с огромным ридикюлем, собственно назначенным не для ношения платка, а для собирания на всех праздниках яблок, конфет и других сладких благодатей, съедаемых после в продолжение недели, и, наконец, молодой письмоводитель предводителя, напوماженный и завитой, который с большим вниманием глядел сквозь стекло во внутренность стоявших близ него столовых ча-

сов: ему ужасно хотелось открыть: отчего это маятник беспрестанно шевелится. Кроме этих лиц, здесь были еще три собеседника, которые, видимо, удалились из гостиной затем, чтобы свободнее предаваться разговорам, лично для них интересным. Это были: племянница хозяйина, довольно богатая, лет тридцати, вдова, Клеопатра Николаевна Маурова. Высокая ростом, с открытой физиономией, она была то, что называется *belle femme*¹, имея при том какой-то тихий, мелодический голос и манеры довольно хорошие, хотя несколько и жеманные; но главное ее достоинство состояло в замечательной легкости характера и в неподдельной, природной веселости. Сидевшая с нею рядом особа была совершенно противоположна ей: это была худая, желтая, озлобленная девственница, известная в околотке под именем барышни, про которую, впрочем, говорили, что у нее было что-то такое вроде мужа, что дома ее колотило, а когда она выезжала, так стояло на запятках. Третье лицо был молодой человек: он был довольно худ, с густыми, длинными, а ля мужик, и слегка вьющимися волосами; в бледном и выразительном лице его, если нельзя было прочесть серьезных страданий, то по крайней мере высказывалась сильная юношеская раздражительность. По модному черному фраку и гладко натянутым французским палевым перчаткам, а главное по стеклышку, которое он по временам вставлял в глаз, нетрудно было догадаться, что он недавно из столицы.

Эти три лица разговаривали о чувствах и страстях.

— Итак, *monsieur*² Эльчанинов, вы говорите, что ваш идеал — женщина страдавшая, вот уж не понимаю, — говорила Клеопатра Николаевна, пожимая плечами.

— Что тут непонятного? — отвечал молодой человек. — Горе облагораживает и возвышает душу женщины, как и человека вообще.

— Ах, боже мой! — подхватила вдова. — После этого всякая женщина может быть идеалом, потому что всякая женщина страдает. Полноте, господа! Вы не имеете идеала. Я видела мужчин, влюбленных в таких милых, прекрасных женщин, и что же после? Они влюблялись в уродов, просто в уродов! Как вы это объясните?

¹ красавица, (франц.)

² господин (франц.).

— Я могу объяснить только то, что сам переживал, — отвечал молодой человек.

— Клеопатра Николаевна вас спрашивает про наружность вашего идеала, — заметила барышня с ядовитой улыбкой. — Страдает ведь всякая женщина, — прибавила она.

— Про наружность я не могу вам сказать определенно, — отвечал молодой человек. — Впрочем, мне лучше нравятся женщины слабые, немножко с болезненным румянцем и с лихорадочным блеском в глазах.

— Станный вкус! — сказала с усмешкой вдова. — Здесь есть одна такая женщина, только жаль, что несколько глупа.

— А, понимаю, о ком вы говорите, — заметила барышня, — о Зе?

— Конечно, о ком же больше, — отвечала Клеопатра Николаевна.

— Кто такая Зе? — спросил молодой человек.

— Женщина слабая, с болезненным цветом лица, с лихорадочным блеском в глазах и вдобавок еще глупенькая, — отвечала Клеопатра Николаевна.

— Худая и больная женщина вряд ли может быть глупа? — возразил молодой человек. — Все дураки пользуются обыкновенно благом здоровья: у них тело развивается на счет души.

— Желаю вам отыскать поскорее ваш идеал, — сказала вдова, поспешно вставая. — Пойдемте, Nathalie, — прибавила она, взяв за руку свою собеседницу. Обе дамы пошли в гостиную.

Несмотря на старание скрыть, досада промелькнула в лице Клеопатры Николаевны.

Молодой человек с насмешливой гримасой посмотрел им вслед. Это был один из соседних помещиков, некто Валерьян Александрыч Эльчанинов. Мнение соседей об нем было такое, что матушкин баловень, которая возилась с ним, как курица с яйцом, и, ни много ни мало, проучила и прожила на него двести душ. Ну, и выучить, конечно, выучила многому, но проку из того, кажется, вышло мало, потому что молодой человек вряд ли служил где-нибудь и имел ли даже какой-нибудь чин. После смерти матери он жил по столицам, а теперь приехал на житье в свою разоренную усадьбу — на какую-нибудь сотню душ; и вместо того чтобы как-нибудь поустроить

именно, только и занимался тем, что ездил по гостям либо ходил с ружьем да с собакой на охоту. Прекрасное занятие для молодого образованного человека!

Шум в зале возвестил о приезде новых гостей. Хозяин привстал с места. В гостиную вошел Мановский, сопровождаемый женой. Мужчины приветливо и с почтением подавали руку первому.

— Милости просим, дорогой гость, — говорил хозяин, тоже протягивая обе руки Задор-Мановскому. — Как ваше здоровье, Анна Павловна? — прибавил он.

Мановский и жена поздравили предводителя с дорогой именинницей и справились, давно ли от нее получал письма.

— Недавно, очень недавно, — отвечал старик и согнул.

Новоприезжие разошлись: Анна Павловна, поклонившись некоторым дамам, села на отдаленное кресло; Задор-Мановский подошел к мужчинам.

В это время в гостиную вошел Эльчанинов, прислонился к колонне и, стараясь принять несколько изысканное положение, вставил стеклышко в глаз и взором наблюдателя начал оглядывать общество. Вдруг глаза его неподвижно остановились на одном предмете; бледное лицо его вспыхнуло.

— Кто эта дама? — спросил он торопливо и не без волнения, схватив за руку проходившего мимо исправника.

— Которая-с?

— На крайнем кресле, в коричневом платье.

— Это жена Задор-Мановского.

— Что ж, она здешняя?

— Нет, он женился там где-то, далеко.

В это время мимо них прошла Клеопатра Николаевна с своей спутницей.

— Ваш идеал приехал, можете адресоваться, — сказала она Эльчанинову. Тот ей ничего не ответил и вряд ли даже слышал ее замечание. Он, не спуская глаз, глядел на Мановскую.

— Как имя этой madame Мановской? — спросил он опять исправника.

— Анна Павловна, — отвечал тот.

— Это она, — почти вслух сказал Эльчанинов и быстро пошел в ту сторону, где сидела Мановская.

Исправник с усмешкою посмотрел ему вслед.

— Ну, теперъ пошел, — сказал он, подмигнув стоявшему возле толстому Уситкову и тоже наблюдавшему эту сцену. — Видно, Мановского еще не видал.

— Да, — отвечал тот, усмехнувшись, — тут на счет этого небезопасно! И не такому жиденькому кости переломают.

Между тем Эльчанинов стоял уже перед Мановской.

— Вы ли это, Анна Павловна? — сказал он, все еще в недоумении, глядя на молодую женщину.

Мановская взглянула на него, и судорожный трепет пробежал по ее лицу. Она хотела что-то ответить, но голос ей изменил.

— Валерьян Александрыч, как вы здесь? — проговорила, наконец, она.

— Я здешний уроженец! Скажите лучше, как вы попали сюда? — сказал Эльчанинов, садясь около нее.

— Я замужем.

— Замужем? За кем? Мне говорили...

— За Мановским.

— Но вы больны, голос ваш слаб, вы не похожи на себя?

Анна Павловна ничего не отвечала.

— Неужели мои пророчества, — продолжал молодой человек, — которые я предсказывал вам в шутку, неужели они сбылись? Неужели вы?..

— Бога ради, не говорите со мною, — прервала шепотом молодая женщина, — на нас смотрят, отойдите от меня.

— Я не отойду от вас, покуда вы мне не скажете, что с вами? Отчего эта перемена? Вспомните, вы называли меня когда-то вашим другом! Вы должны быть со мною откровенны!..

— Только не здесь, бога ради, не здесь, — подхватила Анна Павловна.

— Где же?

— Где хотите: в лесу, в поле, только не при людях!.. Отойдите!

— По крайней мере назначьте время и место.

— Я гуляю в поле, близ Лапинской рощи, — сказала шепотом Анна Павловна, — будьте там в пятницу, в четыре часа!.. Отойдите!

Эльчанинов повиновался ей, и первым его делом было — выйти на балкон. Лицо его горело. Несколько минут простоял он, наклонившись над перилами, и, как бы желая освежиться от внутреннего волнения, вдыхал довольно свежий воздух, потом улыбнулся, встряхнул волосами и весело возвратился в гостиную.

— Вам нечего меня опасаться, — сказал он тихо Мановской, проходя мимо ее. — Здесь всем известно, что я влюблен в madame Маурову.

Молодая женщина взглянула на него и, кажется, поняла этот намек.

Эльчанинов подошел к вдове, которая на этот раз была одна и сидела опять в наугольной, задумчиво перебирая концы своего шарфа.

— Как я рад, — сказал он, усаживаясь около нее, — что, наконец, встретил вас без вашей гувернантки.

— Это что значит? — спросила вдова, внимательно посмотрев на молодого человека.

— Это значит, что я могу с вами, наконец, говорить откровенно.

— Право?.. А я не замечала в вас притворства. Напротив, вы слишком откровенны.

— А мой идеал?

— Что ж ваш идеал?

— Я изобрел его, чтобы скрыть настоящий.

— Или вы тогда хитрили, или теперь хитрите, — сказала Клеопатра Николаевна, снова внимательно взглянув на молодого человека.

«Она умнее, нежели я полагал», — подумал про себя Эльчанинов.

— Позвольте мне с вами рядом сесть за столом, — сказал он вслух.

— Извольте.

Он поцеловал ее руку.

— Еще одна просьба!

— А именно?

— Чтобы не было около вас вашей спутницы.

— Это почему?

— Я ее терпеть не могу: она сплетница, и я должен буду невольно притворяться.

— За что же вы ее не любите? Вот что значит наружность! Ах, господа, господа мужчины!

— Прошу вас!

— Извольте! впрочем помните, это жертва!

— Мерсі, — сказал Эльчанинов и снова поцеловал руку Клеопатры Николаевны.

— Вы мне скажете ваш идеал, — сказала вдова, не отнимая руки.

— Скажу, — отвечал молодой человек с притворным смущением и сжал ей руку.

Они разошлись.

Через полчаса сели за стол. Эльчанинов был рядом с Клеопатрой Николаевной. Вдова была, говоря без преувеличения, примадонною всех съездов Боярщины. Она была исключительным предметом внимания и любезности со стороны мужчин, хоть сколь-нибудь претендующих еще на любезность. Причина этому, конечно, заключалась в независимости ее положения, в ее живом, развязном характере, а больше всего в кокетстве, к которому она чувствовала чрезмерную склонность. В числе ее поклонников был, между прочим, и Задор-Мановский, суровый и мрачный Задор-Мановский, и надобно сказать, что до сего времени Клеопатра Николаевна предпочитала его прочим: она часто ездила с ним верхом, принимала его к себе во всякое время, а главное, терпеть не могла его жены, с которой она, несмотря на дружеское знакомство с мужем, почти не кланялась.

Судьба посадила Задор-Мановского напротив вдовы.

— Кто этот молодой человек? — спросил он у своего соседа, указывая на Эльчанинова.

— Это сосед его превосходительства, недавно приехал, — отвечал тот.

— Где же он живет?

— В Коровине.

— В Коровине?.. Что же, он служил, что ли, где-нибудь?

— Бог его знает, неизвестно.

В это время Эльчанинов что-то с жаром начал говорить вдове. Она краснела несколько. Мановский стал прислушиваться, но — увь! — Эльчанинов говорил по-французски. Задор начал кусать губы.

— Клеопатра Николаевна! — сказал он, не вытерпев. Ответа не было.

— Клеопатра Николаевна! — повторил еще раз Мановский. Вдова взглянула на него.

— Когда же мы с вами поедem на охоту? — спросил он.

— Я не буду больше ездить на охоту, — отвечала торопливо Клеопатра Николаевна. — Ну, продолжайте, бога ради, продолжайте; это очень интересно, — прибавила она, обращаясь к Эльчанинову.

— Почему же вы не хотите ездить? — спросил неотвязчиво Мановский.

— Ах, боже мой, почему? Потому что... не хочу.

— А вы ездите на охоту?.. Странное для дамы удовольствие, — заметил с усмешкой Эльчанинов.

— А почему оно страннее удовольствия — беседовать с вами? — заметил дерзко Мановский.

Эльчанинов посмотрел на своего противника.

— А вам это, видно, очень неприятно? — сказал он опять с усмешкой.

Мановский только взглянул на него своими выпуклыми серыми глазами.

— Неужели? — подхватила с громким смехом вдова: — это очень лестно. Благодарю вас, monsieur Эльчанинов, вы открываете мне глаза.

Эльчанинов многозначительно улыбнулся.

Мановский был совершенно уничтожен: его не только предпочли, но еще и осмеяли.

Есть люди, в душе которых вы никакой любовью, никаким участием, никакой преданностью с вашей стороны не возбудите чувства дружбы, но с которыми довольно сказать два-три слова наперекор, для того, чтобы сделать их себе смертельными врагами. Таков был и Задор. Ревнивый по натуре, он тут же заподозрил вдову в двусмысленных отношениях с молодым человеком и дал себе слово — всеми силами мешать их любви. Таким образом, судьба как бы нарочно направила пронизательный взор этого человека совершенно не в ту сторону, куда бы следовало.

— Кто это такой? — спросил Эльчанинов Клеопатру Николаевну, — он, кажется, равнодушен к вам.

— Не знаю, — отвечала она кокетливо и прибавила: — Это Задор-Мановский.

— Задор-Мановский, — повторил Эльчанинов.

Последнее известие его весьма обеспокоило.

В это время в залу вошел низенький, невзрачный человек, но с огромной, как обыкновенно бывает у карликов,

головой. В одежде его видна была страшная борьба опрятности со временем, щегольства с бедностью. На плоском и широком лице его сияло удовольствие. Он быстро проходил залу, едва успевая поклониться некоторым из гостей. Хозяин смотрел, прищурившись, чтобы узнать, кто это был новоприезжий.

— Честь имею, ваше превосходительство, — начал бойко гость, — поздравить с драгоценнейшей именинницей и позвольте узнать, как их здоровье?

— Благодарю, Иван Александрыч, благодарю! Пишет, что здорова, — отвечал с обязательной улыбкой Алексей Михайлыч, — прошу покорно садиться!.. Малый! Поставь прибор.

— Извините, ваше превосходительство, — продолжал Иван Александрыч, — что не имел времени поутру засвидетельствовать моего поздравления: дядюшка изволили прибыть.

— Граф Юрий Петрович приехал! — почти вскрикнул хозяин.

— Граф приехал, — повторилось почти во всех концах стола.

— Вчерашний день, — начал Иван Александрыч, — в двенадцать часов ночи, совершенно неожиданно. Конечно, он мне писал, да все как-то двусмысленно. Знаете, великие люди все любят загадки загадывать. Дом-то, впрочем, всегда ведь готов. Вдруг сегодня из Каменки ночью верховой... «Что такое, братец?..» Перепугался, знаете, со сна. — «Дядюшка, говорит, его сиятельство, приехал и желают вас видеть». Я сейчас отправляюсь. Старик немножко болен с дороги, ну, конечно, обрадовался. Так мы и просидели. Приятное родственное свидание!

— А надолго приехал Юрий Петрович? — спросил хозяин. — Да садитесь около меня, Иван Александрыч!.. Эй, переставьте сюда прибор!

Иван Александрыч сел.

— Надо полагать, что на год, если только не соскучится, — начал он, а потом, склонивши головку немного набок, продолжал: — Сегодня за кофеом уморил меня со смеху старик. — «Тесен, говорит, Ваня, у меня здесь дом». Каменской дом тесен, в тридцать комнат!

— Да зачем же ваш дядюшка приехал так надолго? Видно, в Петербурге уж ненадобен? — спросил Мановский.

Иван Александрыч только усмехнулся.

— Дядюшка, — начал он внушительным тоном, — может жить, где захочет и как захочет.

— Будто? — спросил Задор.

Иван Александрыч точно не слышал этого вопроса.

— Для здоровья, надо полагать, он больше приехал, чтобы здоровье свое поправить, которое точно что потратил от трудов своих, — проговорил он, обращаясь к хозяину.

— Конечно, конечно, — подтвердил тот.

— Браки! — произнес как бы сам с собою, впрочем довольно громко, Мановский.

Известие о приезде графа заняло всех. Во всю остальную часть обеда только и говорили об нем. Граф Юрий Петрович Сапега был совсем большой барин по породе, богатству и своему официальному положению, а по доброте его все почти окружные помещики были или обязаны им, или надеялись быть обязанными. Сверх того, может ли маленький человек не почувствовать живого интереса к лицу важному. Все себе дали слово: на другой же день явиться к графу для засвидетельствования глубочайшего почтения, и только четыре лица не разделяли общего чувства; это были: Задор-Мановский, который, любя управлять чужими мнениями, не любил их принимать от других; Анна Павловна, не замечавшая и не видевшая ничего, что происходило вокруг нее; потом Эльчанинов, которого в это время занимала какая-то мысль, — и, наконец, вдова, любовавшаяся в молчании задумчивым лицом своего собеседника. Что касается до Ивана Александрыча, то он был просто на небе. Все к нему адресовались с вопросами, все желали говорить с ним. О такой минуте он давно и постоянно мечтал. В околотке он был известен не столько под своим собственным именем и фамилией, сколько под именем *графского племянника*, хотя родство это было весьма сомнительно, и снискан некоторым вниманием Сапег он собственно был за то, что еще в детстве рос у них в доме с предназначением быть карликом; но так как вырос более, чем следовало, то и был отправлен обратно в свою усадьбу с назначением пожизненной пенсии. Проживая таким образом лет около двадцати в Боярщине, Иван Александрыч как будто не имел личного существования, а был каким-то телеграфом, который разглашал

помещикам все, что делал его дядя в Петербурге или что делается в имении дяди; какой блистательный бал давал его дядя, на котором один ужин стоил сто тысяч, и наконец, какую к нему самому пламенную любовь питает его дядюшка. — «Да что ж вы не едете в Петербург?» — спрашивали его некоторые из соседей, видя его очень небогатую жизнь, которую он вел в своей деревнюшке.

— А имение-то дяди? — отвечал Иван Александрыч, хотя при имении был особый немец-управитель, который, говорят, даже не пускал и в усадьбу племянника по каким-то личным неудовольствиям. Но возвращаюсь к рассказу моему: после обеда Эльчанинов тотчас же отошел от вдовы; ему было досадно на себя за несколько колких слов, которые он, по незнанию, сказал Задор-Мановскому. «Мне бы надобно было с ним познакомиться, сойтись, сделаться частым его гостем, а там и приятелем, а теперь... как теперь поедешь с визитом? Впрочем, нельзя ли как-нибудь еще поправить, — думал он сам с собою, — можно с ним опять заговорить, приласкаться, счесться дальним родством и посмеяться даже над вдовой».

С этим намерением он вошел в гостиную. Первый предмет, представившийся его глазам, был Задор-Мановский с картузом в руках. Он прощался с хозяином, отговариваясь болезнью жены; недалеко от него стояла Анна Павловна уже в шляпке.

Все надежды рушились... Теперь прошу ожидать, когда удастся встретиться с Мановским где-нибудь в доме. Он посмотрел на Анну Павловну, и ему показалось, что ей тоже не хотелось уезжать. Как она была хороша в эту минуту, и как позавидовал он ее мужу, который поедет вместе с нею вдвоем в коляске, будет ласкать ее, поцелует, тогда как ему нельзя даже проститься с ней; хоть бы еще два слова сказать, хоть бы еще раз условиться в свидании. «Боже мой! К чему эти общественные понятия, которые так стесняют свободу человека!..» Так думал Эльчанинов, и, когда Мановские уехали, ему сделалась страшная скука. Походя без всякой цели из комнаты в комнату, он решил ехать домой. А потому, взявшись за шляпу, простился с хозяином и пошел отыскивать Клеопатру Николаевну.

Вдова сидела в диванной с исправником и еще с некоторыми мужчинами.

— Это что значит? — сказала она, увидев Эльчанинова со шляпою в руках. — Вы едете?

— Я еще поутру говорил вам, что мне после обеда нужно будет ехать, — отвечал он, как бы стараясь оправдаться.

— Полно, так ли? — спросила вдова, устремив пронизательный взор на молодого человека. — Полноте, не ездите.

— Нужно-с.

— Когда же вы у меня будете?

— Когда прикажете.

— Приезжайте завтра.

— Хорошо.

— На целый день?

— На целый день.

— Adieu¹, ужасный человек.

III

Чтобы объяснить читателю те отношения, в которых находилась Мановская с Эльчаниновым, я должен несколько вернуться назад.

Хорошенький собой и очень умный Валер перебывал, я думаю, во всех пансионах московских. Мать везде находила, что или дурно кушать ему дают, или строго учат.

Лет восемнадцати, наконец, оставшись после смерти ее полным распорядителем самого себя, он решился поступить в тамошний университет с твердым намерением трудиться, работать, заниматься и, наконец, образовать из себя ученого человека, во славу современникам и для блага потомства, намерение, которое имеют почти все студенты в начальные месяцы первого курса. Он накупил себе книг, записался во все возможные библиотеки и начал слушать лекции; но все пошло не так, как он ожидал: на лекциях ему была страшная скука; записывать слова профессора он не мог; попробовал читать дома руководства, источники; но это оказалось еще скучнее. А между тем жизнь пахнула уже на него своим обаянием: он ходил в театры, на гулянья, познакомился с

¹ Прощайте, (франц.)

четырекурсными студентами, пропировал с ними целую ночь в трактире и выучился без ошибки петь «*Gaudeamus igitur*»¹. Рядом с ним стояла актриса; он познакомился с актрисой и стал с нею декламировать Шекспира. Время между тем шло: Эльчанинов опомнился только перед экзаменом; в три-четыре дня списал он пропущенные лекции и в один месяц с свойственной только студентам быстротой приготовился к экзамену. Его перевели. Этот успех сделал то, что Эльчанинов в продолжение года решительно перестал думать об университете. Жизнь сделалась главной его целью. У него были приятели, были знакомые. Он кутил, танцевал, изъяснялся в любви, играл на домашних театрах и писал в бессонные ночи стихи. Теряя таким образом в отношении образования, Эльчанинов в то же время натирался, что называется, в жизни: он узнал хорошо женщин, или, лучше сказать, их слабости, и был с ними смел и даже дерзок. Он умел с первого взгляда разгадывать людей или по крайней мере определить: богат ли человек, или нет, питает ли он к своей личности уважение, или вовсе не дерзает на самолюбие. Бывая в разнородных обществах, Эльчанинов сделался в некоторой степени тонок в обращении с людьми. Он старался подделаться к тем, которые были его выше, и не чужд был давнуть тех, которых считал ниже себя. Но хуже всего Эльчанинов, как и большая часть людей, понимал самого себя. Впечатлительный по характеру, энергический и смелый в своих предприятиях, но слабый при исполнении их, он стал предполагать в себе сильные страсти, а вследствие их глубокие страдания.

Один из приятелей Эльчанинова познакомил его с своей теткой, радушной старухой, у которой была внучка, только что выпущенная из Смольного монастыря. Это была пухленькая брюнетка, с розовыми щечками и с быстрыми, как у дикой серны, глазками. Она очень понравилась Эльчанинову. Он начал ласкаться к старухе, более и более стал учащать свои посещения и через месяц сделался уже совершенно домашним человеком. Все шло как нельзя лучше для студента: старушка его полюбила, маленькая брюнетка час от часу к нему привыкала, и вот, в один вечер Эльчанинов, оставшись

¹ «Будем веселиться» (лат.).

наедине с Верочкой (так звали брюнетку), долго и высокопарно толковал ей о любви, а потом, как бы невольно схвативши ее пухленькую ручку, покрыл ее страстными поцелуями. Верочка заплакала от стыда. Студент утешал ее, умолял любить его и говорил, что если она сейчас же не скажет, что любит его, так он пойдет и застрелится. Верочка испугалась и сказала, что она действительно его любит, что ей без него страшная скука, и в заключение просила, как можно чаще ходить к ним. Эльчанинов был в восторге: он целовал, обнимал тысячу раз свою Лауру (так называл он Веру), а потом, почти не помня себя, убежал домой. Эта минута была пафосом любви его к Вере. В последующее затем время он уже ничего нового не открывал в своей Лауре: она оставалась такой, какой была в первую минуту, то есть хорошенькой девушкой, которую с удовольствием можно целовать, ласкать и которая сама очень мило ласкалась, но затем больше ничего. Верочка была действительно небогата внутренним содержанием. Эльчанинову начинало становиться скучно у старой немки, и он ходил к ней более уже по привычке. Но вот однажды, это было в воскресенье, он пришел к ним обедать. Верочка выбежала к нему навстречу.

— Валерьян! — сказала она, взявши его за руки, — поздравь меня, Анета приехала. Ах, как нам троим будет весело. — С последними словами Вера потащила студента в гостиную.

— Вот она, — сказала брюнетка, указывая на молодую девушку, сидевшую возле старой немки.

Эльчанинов невольно остановился в смущении, несвязно пробормотал что-то такое старухе и поклонился приятельнице Веры, которая поразила его своей наружностью. Она была блондинка. Никогда еще Эльчанинов не встречал такой нежной красоты, никогда еще не видал такого кроткого и спокойного взгляда, каким взглянула на него девушка своими карими глазами из-под длинных ресниц. Она была так стройна и воздушна, что показалась Эльчанинову одной из тех пери, которые населяют заоблачный мир, и как бы нарочно была одета в белое газовое платье. Это была Анна Павловна, теперь больная, худая Анна Павловна, но тогда счастливая, не знакомая ни с одним из житейских зол, жившая в кругу

людей, которые истинно любили и берегли ее. Анна Павловна вместе с Верой вышла из Смольного монастыря и теперь только что воротилась из деревни, где почти целый год прожила с отцом своим. Она, видно, искренне любила приятельницу свою, потому что на другой же день по возвращении приехала навестить ее. Обе девушки, по выходе из учебного заведения, далеко были раскинуты общественным положением. Анна Павловна, как дочь одного из значительных людей, стала принадлежать совершенно иному миру, нежели бедная Вера, которая, бывши не более как дочерью полкового лекаря, поселилась у своей бабушки с тем, чтобы, проскучав лет пять, тоже выйти за какого-нибудь лекаря.

Эльчанинов поправился и начал разговаривать со старухой, между тем Вера, усевшись возле приятельницы, начала ей что-то шептать.

— Кто эта девица? — спросил студент тихо у старухи.

— Дочь генерала Кронштейна, — отвечала та. — Очень добрая девушка, как любит мою Верочку, дай ей бог здоровья. Они обе ведь смолянки. Эта-то аристократка, богатая, — прибавила старуха. И слова эти еще более подняли Кронштейн в глазах Эльчанинова. Он целое утро проговорил со старухой и не подходил к девушкам, боясь, чтобы Анна Павловна не заметила его отношений с Верочкой, которых он начинал уже стыдиться. Но не так думала Вера.

После обеда старуха ушла в спальню, а студент остался с девушками.

Он сел поодаль.

— Валерьян, — сказала Вера, — поди сюда! Анета знает все, я ей рассказала.

Эльчанинову легче было бы провалиться сквозь землю; впрочем, он совладел с собой.

— Вера Александровна, — начал он, обращаясь к Анне Павловне, — могла быть с вами откровенна; но я не имею на это никакого права.

Анна Павловна опять взглянула на него из-под длинных ресниц своих.

— Я могу желать только одного, — продолжал Эльчанинов, — чтобы вы сами убедились, что я достоин вашего участия. Позвольте мне с вами видеться как можно

чаще, бывать перед вами в горькие и отрадные минуты моей жизни.

— Я без вашей просьбы дала себе слово строго наблюдать за вами, — отвечала с легкой улыбкой Анна Павловна.

Таким образом, то, чего боялся Эльчанинов, послужило ему в пользу. Он много рассчитывал на этом дружеском сближении и все остальное время был очень занимателен: он говорил, как говорят обыкновенно студенты, о любви, о дружбе, стараясь всюду выказать благородство чувств и мыслей, и в то же время весьма мало упоминал, по известной ему цели, о своей любви к Вере. Из этой беседы он увидел, что Анна Павловна далеко превосходила свою подругу умом и образованием, несмотря на равенство лет и одинаковость воспитания. Эльчанинов возвратился домой совершенно очарованный своей новой знакомой. План его был таков: сблизившись и подружившись с молодой девушкой, он покажет ей, насколько он выше ее подруги, и вместе с тем даст ей понять, что, при его нравственном развитии, он не может истинно любить такую девушку, какова была Вера, а потом... потом признаться ей самой в любви, но — увы! — расчет его оказался слишком неверен. Правда, он более и более сближался с Анной Павловной, но в то же время увидел, что она чрезвычайно искренне любит добренькую и пустую Веру, и у него духу даже не доставало хоть бы раз намекнуть ей, что он не любит, а только обманывает ее приятельницу. Он увидел, напротив, что чем более будет обнаруживать любви к Вере, тем выше будет становиться в глазах Анны Павловны, и он принялся за последнее. Благодаря усердному чтению романов, а частью и собственным опытам, Эльчанинов успел утончить свои чувства, знал любовь в малейших ее подробностях и все это высказывал перед молодыми девушками, из которых Вера часто дремала при этом, но совершенно другое было с Анной Павловной: она заслушивалась Эльчанинова до опьянения. Он видел это и постоянно старался держать себя на высоком строю. Впрочем, судьба скоро изменила ход этой маленькой драмы и надолго растолкнула эти три лица, жившие почти в продолжение года в таких тесных между собою отношениях. Вера занемогла. Бабушка, Анна Павловна и Эльчанинов не отходили от больной, но все было тщетно: через две

недели она умерла. Эльчанинов обнаружил сильную горесть; Анна Павловна утешала его, хотя сама гораздо более нуждалась в этом. Почти со слезами умолял он ее не прекращать с ним дружбы и позволить ему видаться с ней. Анна Павловна согласилась; она еще раз два приезжала к старой немке, которая почти ослепла, плача день и ночь по своей внучке. Эльчанинов был, конечно, тут же, и в оба раза молодая девушка показалась ему несколько странной: она как будто бы остерегалась его, боялась за самое себя и беспрестанно говорила о Вере. «Она любит меня», — подумал Эльчанинов, и надежда снова зародилась в душе его. Дня через два он пошел к старой немке, в надежде встретить там Анну Павловну. Старуха была одна и, по обыкновению, плакала.

— У меня еще горе, — сказала она, — Анна Павловна вчера приезжала ко мне прощаться: она уехала навсегда из Москвы с батюшкой. Вам она велела отдать письмо.

В глазах потемнело у студента, руки и ноги задрожали. Он проворно схватил записку и проворно пробежал ее строки, как бы стараясь разувериться в том, что он слышал. Письмо было следующее: «Прощайте, добрый и благородный человек! Я с вами расстаюсь и расстаюсь, может быть, навсегда; но где бы я ни была, что бы со мною ни было, я сохраню о вас воспоминание, вместе с воспоминанием о моей доброй подруге. Да награждает вас бог счастьем, вы его достойны по благородству ваших чувств. Не забудьте меня, я вас очень любила и буду любить всегда. Adieu!»

Эльчанинов почти обеспамятел: он со слезами на глазах начал целовать письмо, а потом, не простясь со старухой, выбежал из дому, в который шел за несколько минут с такими богатыми надеждами, и целую почти ночь бродил по улицам. Москва ему опротивела. Первым его намерением было ехать вслед за Анной Павловной, но где она будет жить и как с нею будет видаться? С отцом он не знаком, тайных свиданий никакого права не имел требовать! И этих мыслей было достаточно, чтобы он отменил свое намерение и остался в Москве; целую неделю после того никуда не выходил из квартиры, не ел, не спал, одним словом, страдал добросовестно, а

потом, как бы для рассеяния, пустился во все тяжкие студенческой жизни.

Приближающийся экзамен заставил его, наконец, опомниться, и он принялся готовиться. Необходимость заниматься лекциями, а не собственными своими чувствами, очень ослабила горесть впечатления, которое произвел на него отъезд Анны Павловны. Окончивши курс, он совершенно уж не тосковал, и в нем только осталось бледное воспоминание благородного женского существа, которое рано или поздно должно было улететь в родные небеса, и на тему эту принимался несколько раз писать стихи, а между тем носил в душе более живую и совершенно новую для него мысль: ему надобно было начать службу, и он ее начал, но, как бедняк и без протекции, начал ее слишком неблистательно. Его определили куда-то сверхштатным писцом, обещаясь, впрочем, впоследствии, за прилежание и когда узнает канцелярский порядок, сделать столначальником, — но не таков был Эльчанинов. В две недели служба опротивела ему насмерть. И мог ли он, никогда постоянно не трудившийся, убивший первую молодость на интриги с женщинами, на пирушки с друзьями, на увлечение искусствами, мог ли он, говорю я, с его подвижным характером, привыкнувши бежать за первым ощущением, сдружиться с монотонной обязанностью службы и равнодушно выдерживать канцелярские сидения, где еще беспрестанно оскорбляли его самолюбие, безбожно перемарывая сочиненные им бумаги. Эльчанинов начал падать духом; жизнь ему стала казаться несносной. Друзей, этих беззаботных, но умных юношей, около него уже не было: все они или разбрелись, или начали, как выражался он, подлеть в жизни; волочиться ему не хотелось, или, лучше сказать, не попадалось на глаза женщины, в выборе которых он сделался строже. Сначала он думал выйти в отставку и жить так в Москве; но расстроенное состояние не давало ему на то никакой возможности. Ехать в деревню и жениться... на этой мысли Эльчанинов остановился; она казалась ему лучшей и единственной: по крайней мере он будет иметь цель, а если достигнет ее, так войдет в совершенно новые обязанности. С таким намерением вышел он в отставку и приехал в деревню, дав себе слово никого из соседей не знакомить с своим формуляром и непременно влюбить в себя какую-нибудь

богатую невесту. Клеопатра Николаевна была первая женщина, которую он заметил; но она была вдова, ей было тридцать лет, и, кроме того, несколько провинциальные манеры и легкость победы, которую заметил он в ней, значительно уронили ее в его глазах. Возвести ее на степень своей жены он считал недостойной и волочился за нею от нечего делать, любя иногда подразнить ее, что было весьма нетрудно, потому что вдова заметно им интересовалась и была немного вспыльчива. Появление Мановской показалось Эльчанинову каким-то чудом, совершившимся для того, чтобы вознаградить его за все страдания и несчастья, которых он себе очень много насчитывал. Мысль, что она живет от него в таком близком соседстве, обрадовала его, а так быстро назначенное тайное свидание подало ему полную надежду достигнуть взаимности. В одну минуту забыл он свое намерение жениться. Любить эту женщину, заставить ее полюбить себя, вот на что он решился теперь. У них будет интрига, будут тайные свидания, будут сплетни общества, над которыми они станут смеяться и с помощью Клеопатры Николаевны сбивать всех с толку, — вот о чем он мечтал. Небольшая размолвка с Задор-Мановским стала казаться ему еще в пользу. «Это лучше, — думал он, — мы будем видаться тайно, а при тайных свиданиях скорее можно достигнуть цели». Возвратившись домой, он совершенно погрузился в мечтания о своей любви и будущих наслаждениях. Он воображал, как эта женщина после долгой борьбы уступит, наконец, его желаниям и предастся ему в полное обладание, а далее затем ее самоотвержение: вот он делается болен, она обманывает мужа, приезжает к нему, просиживает целые ночи у его изголовья... Мечты его и на этом не остановились; ему представлялось, что у них уже есть прекрасный ребенок, к которому впоследствии очень кстати можно будет проговорить стихи Лермонтова:

С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.
О! Если б знало ты, как я тебя люблю, и пр.

Этого ребенка надобно будет воспитывать. Он будет его руководителем, наставником. Мечтая и размышляя таким образом, Эльчанинов ни разу не подумал, отчего это так изменилась Анна Павловна и не повредит ли он

ей еще более своей любовью? Болезненный и печальный вид Мановской, поразивший его при первой встрече, совершенно изгладился из его воображения, когда он перестал ее видеть. Он мечтал и думал только о себе и о своих будущих наслаждениях.

IV

Но что было после этого свидания с Анной Павловной, о чем думала и мечтала она? Чтобы ответить на эти вопросы, я снова должен вернуться назад.

Анна Павловна действительно была некоторым образом достойна той высоты, на которую возносил ее Эльчанинов. Немка по отцу, она была девушка умненькая, но более того — добрая, чувствительная и страшно мечтательная. В сердце своем она носила самую теплую веру в провидение. Она любила своих подруг, своих наставниц, страстно любила своего отца, и, конечно, если бы судьба послала ей доброго мужа, она сделалась бы доброй женой и нежной матерью, и вся бы жизнь ее протекала в выполнении этого чувства любви, как бы единственной нравственной силы, которая дана была ей с избытком от природы. В Эльчанинова она влюбилась с самого первого свидания, хотя совершенно была уверена, что чувствует к нему только дружбу. Смерть Веры как бы раскрыла ей самое себя. Она сделалась осторожна в обращении с Эльчаниновым, потому что стыдилась его. Расставшись с ним навсегда и ехавши в Петербург, она всю дорогу обливалась слезами, думая об нем. Ни театры, ни вечера не развлекали ее. Почти с восторгом поехала она с отцом в деревню, рассчитывая мечтать об Эльчанинове целые дни, никем и ничем не развлекаемая, но и тут неудача: с первых же дней к ним нахлынули офицеры близ стоящего полка и стали за ней ухаживать. Они ей были противны. Ей могли нравиться только студенты, потому что Эльчанинов был студент. Новый удар окончательно убил ее счастье. Старый генерал объявил дочери о предложении полкового командира Мановского. Анна Павловна сначала и не поняла хорошенько, что ей предстоит, потом плакала, страдала, молилась, — отец убеждал, просил и, наконец, настаивал. Результат был тот, что бедная девушка, как новая Татьяна, полная

самоотвержения, чтоб угодить отцу, любя одного, отдала руку другому, впрочем, обрекая себя вперед на полное повиновение и верность своему мужу; и действительно, с первых же дней она начала оказывать ему покорность и возможную внимательность, но не понял и не оценил ничего Мановский. Это был неглупый, но необразованный человек. Упрямый и злой по природе, он был в то же время честолюбив и жаден. Служба польстила первой из его страстей и возвела его на степень полковника и полкового командира; чин генерала был у него почти под рукой; но ему этого было еще мало: он хотел богатства и женитьбой хотел окончательно устроить свою карьеру. Дочь генерала Кронштейна казалась ему выгодной партией: все очень хорошо знали богатые поместья, которыми владел старик. Мановский сделал предложение, не будучи еще сам уверен в успехе своих исканий, но сверх ожидания отец согласился, а вскоре затем и невеста дала слово. Свадьбу назначили через две недели. В продолжение этого времени Анна Павловна так изменилась и так похудела, что, когда она стояла под венцом, многие ее не узнавали. Мановский еще ни слова не говорил тестю о приданом и рассчитывал на будущее время, как вдруг неожиданный случай расстроил все его планы: имение Кронштейна, как лопнувшего откупщика, было конфисковано в казну, у него осталось только шестьдесят заложных душ. При этом известии с Задор-Мановским сделалось что-то вроде удара; но он скрыл это от всех и выздоровел и только с каждым днем начал хуже и хуже обращаться с женой. Никакой покорностью, никаким вниманием не могла она угодить ему. Он непрестанно сердился, кричал и бранил ее. Анна Павловна, никогда не любившая мужа, начала к нему чувствовать страх и отвращение. Несмотря на все ее старание уничтожить или по крайней мере скрыть это страшное чувство, Мановский заметил, и это был последний удар, который навсегда уничтожил их семейное спокойствие. Мановский вынужденным нашелся выйти в отставку и уехать в свои Могилки. Живши в полку, среди молодых офицеров, он боялся измены жены, а кроме того, увезя несчастную жертву от родных, он получил более возможности вымещать на ней свою ошибку и нелюбовь к себе. Сцены, которые я вначале описал, повторялись каждодневно. Бедная женщина, не видя ничего в будущем, отторгнутая

В настоящем от всего, что ей было дорого, сосредоточилась на прошедшем и, с помощью мечтательного характера, составила из него целый мирок. Эльчанинов был на первом плане, он был ее брат, друг, покровитель. В своем уединении, среди хозяйственных забот, даже в минуты брани и укоров мужа, она думала и мечтала об Эльчанинове. Она шептала ему страстные речи, припоминала его голос, его наружность, пробегала в памяти эти долгие беседы, на которых он так много и так прекрасно говорил о дружбе, о любви. В бессонные ночи, которые проводила она постоянно, ей казалось, что ее мечтательный друг стоял близ нее. Она жаловалась ему на судьбу свою, рассказывала свои страдания, просила защиты и участия, и в то же время какое-то тайное предчувствие говорило ей, что она рано или поздно встретит этого человека, — и вдруг это предчувствие сбылось в самом деле. Я уж, конечно, не в состоянии выразить того, что было с Анной Павловной в первые минуты этого свидания. Ей сделалось весело, страшно и стыдно; тоска сдавила ей сердце: ей хотелось плакать, у ней едва достало памяти, чтоб попросить его отойти и прекратить разговор, который мог заставить обнаружить тайну перед обществом, перед ним самим; но он не отходил, он желал говорить, вызывал ее на откровенность. Что было делать? Не помня себя, она назначила ему свиданье и во все остальное время как бы лишилась сознания: во всем теле ее был лихорадочный трепет, лицо горело, в глазах было темно, грудь тяжело дышала; но и в этом состоянии она живо чувствовала присутствие милого человека: не глядя на него, она знала, был ли он в комнате, или нет; не слышавши, она слышала его голос и, как сомнамбула, кажется, чувствовала каждое его движение. По приезде домой мысли ее стали мало-помалу приходить в порядок. Она вспомнила о назначенном свидании и решила не ходить на него, решила никуда не выезжать, чтоб только не встретиться с Эльчаниновым: видеться с этим человеком — чего она так давно, так страстно желала — видеться с ним теперь ей было страшно! Она боялась за самое себя, боялась, что не в состоянии будет скрыть своей тайной любви. Но, боже мой! ей хотелось еще раз видеть его, посмотреть, не изменился ли он, ей хотелось рассказать ему о своем положении, попросить у него совета. Неужели она должна

была отказать себе и в этом? Нет, это выше ее сил. «Я пойду, я буду говорить с ним только о Вере... он, верно, любит еще Веру; ему приятно будет говорить со мною об ней, он помнит еще и меня... Он непохож на других людей... Я пойду!..»

V

Село Каменка графа Сапеги, сделавшееся в настоящее время главнейшим пунктом внимания окружающих дворян, превосходило все прочие усадьбы красивым местоположением и богатством строений. Огромный каменный дом стоял на самом возвышенном месте. По крутому скату горы, которая начинала склоняться от переднего его фаса, разбит был в виде четверугольника английский сад, с своими подстриженными деревьями и песчаными дорожками. Весь сад был обхвачен чугунной решеткой. Прочие усадебные строения и службы были тоже каменные. Село это с незапамятных времен находилось во владении Сапег. Несмотря на то, что владельцы никогда не жили в нем, оно постоянно поддерживалось и улучшалось, что было, я думаю, не столько по желанию самих графов, сколько делом немцев-управителей, присылаемых из Петербурга. Настоящий владелец, граф Юрий Петрович Сапега, всего раза три в жизнь свою приезжал в Каменку и проживал в ней обыкновенно лето.

Часов в шесть пополудни, это было в пятницу, граф, принявши от всех соседей визиты, сам никуда еще не выезжал, — и теперь, отобедавши, полулежал на широком канаве в своем кабинете.

В углу, около курильницы, на маленьком табурете, в почтительном положении сидел Иван Александрыч Сапега, как видно, был в самом приятном, послеобеденном расположении духа. Это был лет шестидесяти мужчина, с несколько измятым лицом, впрочем, с орлиным носом и со вздернутым кверху подбородком, с прямыми редкими и поседевшими волосами; руки его были хороши, но женоподобны; движения медленны, хотя в то же время серые пронизательные глаза, покрывавшиеся светлой влагой, показывали, что страсти еще не совершенно оставили графа и что он не был совсем старик.

— Что, Иван, все уж у меня перебивали здешние помещики? — спросил Сапега, даже не взглянув на того, к кому относились эти слова.

— Все, ваше сиятельство, решительно все, — отвечал, вытянувшись, Иван Александрыч, — или нет... позвольте, не все... Задор-Мановский не был.

— Задор-Мановский? Кто же это Задор-Мановский и почему он не был?

— Я полагаю, ваше сиятельство, — отвечал Иван Александрыч протяжно, придумывая средство оправдать Мановского, которого в эту минуту считал уже погибшим. — Я полагаю, что у него или жена умирает, или сам он при смерти болен.

— Жена умирает! — повторил граф, — а он женат?

— Женат, ваше сиятельство.

— На хорошенькой?

— Нет-с, не очень счастлив партией.

— А на ком он женат? — спросил граф.

— На... на... дай бог памяти, она не здешняя, на... на... на немке какой-то, на Кронштейн.

— На дочери генерала Кронштейна? — спросил стремительно граф.

— Именно, ваше сиятельство, должно быть, что генерала Кронштейна.

— Анета Кронштейн! — говорил граф, как бы припоминая. Глаза его заблестали. — Помню, — продолжал он, — стройная блондинка, хорошенькая, даже очень хорошенькая. А что, Иван, нравится тебе она?

— Кто, ваше сиятельство?

— Ну, жена этого Задора, что ли?

— Задор-Мановского? Худа очень, ваше сиятельство.

— Да ты знаток, Иван, в женской красоте? — спросил граф.

— Ха-ха-ха, ваше сиятельство! Как вам сказать, конечно-с, больших красавиц не случилось видеть.

— А разве ты не видал Анеты Кронштейн?

— То есть Задор-Мановской-с, ваше сиятельство? Как же-с, сколько раз обедал, ночевал у них.

— Как же ты говоришь, что не видал красавиц? Вот тебе красавица!

— Красавица, ваше сиятельство? — спросил удивленный Иван Александрыч.

— Трудное, брат, дело понимать женскую красоту; ни ты, да и многие не понимают ее.

— Конечно, ваше сиятельство, мы люди необразованные.

— Тут не образование, мой милый, а собственное, внутреннее чутье, — возразил граф. — Видал ли ты, — продолжал он, прищуриваясь, — этих женщин с тонкой нежной кожей, подернутой легким розовым отливом, и у которых до того доведена округлость частей, что каждый член почти незаметно переходит в другой?

Иван Александрыч слушал, покраснев и потупившись.

— А замечал ли ты, — продолжал Сапега, одушевляясь, — у них эти маленькие уши, сквозь которые как будто бы просвечивает, или эти длинные и как бы без костей пальцы? — Сапега остановился.

Иван Александрыч решительно не знал, что ему отвечать.

— Или эта эластичность тела, — продолжал граф, как бы более сам с собою. — Это не опухлость и не надутость жира; напротив: это полнота мускулов! И, наконец, это влияние свежей, благоухающей женской теплоты? Что, Иван, темна вода во облацех? — заключил Сапега, обратившись к Ивану Александрычу.

— Вы, ваше сиятельство, так говорите, что... — начал было тот.

— Что — что?

— Ничего, ваше сиятельство, я говорю, что вы уж очень хорошо говорите.

— Словами не передашь всех тонкостей! — произнес граф, вздохнув, и замолчал.

— Вот, если осмелюсь доложить, — начал Иван Александрыч, ободренный вниманием дяди, — здесь есть еще красавица.

— Красавица?

— Да, ваше сиятельство, прелесть женщина, только ух какая!

— Какая же?

— Кокетка, ваше сиятельство, ужасная.

— Девушка?

— Вдова, ваше сиятельство.

— Вдова? — произнес граф, — чем же она красавица?

— Да уж, этак, женщина высокая, белая-с, — начал Иван Александрыч, — глаза карие... нет, позвольте... голубые, зубы тоже белые.

— Купчиха!.. Мерзость какая-нибудь, должно быть! Расскажи лучше, нет ли других? — перебил Сапега.

— Других, ваше сиятельство, лучше этой нет.

— Дрянь же, брат, видно, у вас женщины.

— Известное дело, ваше сиятельство, не в Петербурге!

— Нынче и в Петербурге ничего нет порядочного, — возразил граф, — или толстая, или больная!

— Последние, видно, времена приходят, ваше сиятельство. Народ уж заметно очень мельчает.

— Послушай, Иван, — перебил Сапега, — отчего это у меня не был этот Мановский?

— Болен, должно быть, ваше сиятельство.

— Кто он такой?

— Помещик-с.

— Как бы заставить его приехать ко мне?

— Заставить, ваше сиятельство? Заставить-то трудно: очень упрям...

— Упрям? — сказал граф, подумав. — Стало быть, он не был у меня не потому, что болен, а потому, что не хочет.

Иван Александрыч, пойманный во лжи, побледнел.

— Богат он? — перебил граф.

— Богат, ваше сиятельство, триста душ да денег куча! Вряд ли не будет на следующую баллотировку губернским.

— Чин его?

— Полковник-с.

— Завтра я поеду к нему, — сказал граф, вставая.

— К Задор-Мановскому, ваше сиятельство? — спросил Иван Александрыч, как бы не веря ушам своим.

— Да, — отвечал отрывисто граф, — ты теперь ступай в их усадьбу и как можно аккуратней узнай: будут ли дома муж и жена? Теперь прощай, я спать хочу!

Граф лег на диван и повернулся к стене, Иван Александрыч на цыпочках вышел из кабинета.

— Иван! — крикнул граф.

Племянник снова появился в дверях.

— Вели к восьми часам приготовить мне карету: я еду к предводителю, а сам сегодня же исполни, что я говорил.

— Будьте покойны, ваше сиятельство, — отвечал Иван Александрыч и вышел.

— Приготовить карету его сиятельству к восьми часам, — сказал он, проходя важно по официантской.

Несколько слуг посмотрели ему вслед с усмешкой.

— Вишь, какой командир! — сказал один из них.

— Видно, граф дал синенькую на бедность, так и куражится, чучело гороховое! — подхватил другой.

VI

В ту самую минуту, как Иван Александрыч вышел с поручением от графа, по небольшой тропинке, идущей с большой дороги к казенной Лапинской роще, верхом на серой заводской лошади пробирался Эльчанинов, завернувшись в широкий черный плащ. Он ехал на тайное свидание с Анной Павловной. Лошадь шла шагом. Герой мой придумывал, как начать ему объяснение в любви: сказать ли, что прежде любил ее, признаться ли ей, что Вера была одним предлогом для того только, чтобы сблизиться с нею?.. Но она знала, что он Веру любил, еще не выдавши ее. Гораздо лучше сказать, что теперь она осталась одна для него в целом мире, что он только ее одну может любить; а что она к нему неравнодушна, в этом нет сомненья: он заметил это еще в Москве, и к чему бы, в самом деле, назначать свиданье; она теперь дама и, как видно, не любит мужа и несчастлива с ним, а в этом положении женщины очень склонны к любви. Ему только надобно быть решительным. С такими мыслями подъехал он к роще, привязал лошадь к дереву и пошел пешком в ту сторону, которая прилежала к могилковскому полю.

Глубокое молчание царствовало в лесу, только шум его шагов да по временам взмах поднявшегося из-под куста тетерева нарушал тишину. Огромные сосны, поросшие мохом, часто заслоняли ему дорогу своими длинными ветвями, так что он должен был или нагибаться, или отводить руками упругие сучья. С приближением в середину, лес становился чаще и темнее. Под ногами у него хрустели беспрестанно сухие сучья, которые покрывали землю целым пластом. Кроме того, ему часто приходилось перелезть через толстые колоды упавших

сухих дерев. Преодоление этих небольших препятствий несколько отвлекало моего героя от главного предмета его мыслей; вместе с физическим утомлением уменьшалась в нем и решительность. Мысли его приняли печальное и несколько боязливое направление. «Что, если мы разойдемся», — подумал он и посмотрел вдаль. Перед ним расстилалось широкое желтеющее поле, вдали были видны Могилки. «Так здесь-то живет она, — подумал он, глядя на высокий дом, выходящий верхним этажом из-за стеной ограды, которою обнесена была усадьба. — Где-то ее комната, у которого сидит она окна? И где теперь она?» Небольшой шум листьев перервал его размышления. Он обернулся назад: перед ним стояла Анна Павловна, в белом платье и соломенной шляпке. Эльчанинов, ни слова не говоря, бросился к ней и начал целовать ее руку.

— Сядемте, — проговорила Анна Павловна, указывая на сухое дерево. Голос ее дрожал. Видно было, что она делала над собой усилие. — Я хочу с вами поговорить, — продолжала она, — спросить вас, не изменились ли вы? Любите ли вы еще бедную Веру?

Этого вопроса Эльчанинов никак не ожидал.

— Я... Веру?.. — пробормотал он и далее ничего не мог придумать.

Анна Павловна, с своей стороны, тоже, казалось, не знала, о чем ей говорить и что начать.

— Вы ее еще любите, вы не забыли ее? — начала, наконец, она. — Вы не забыли и меня?

— Нет, я не забыл вас, я не мог вас забыть, — подхватил Эльчанинов и схватил себя за голову.

Молодые люди замолчали на некоторое время.

— Но, боже мой, как вы переменялись! — произнес он, всплеснув руками и всматриваясь в лицо Анны Павловны. — Вы или больны, или несчастливы!

— Я несчастлива! — отвечала она.

— Мужем? Так?..

— Да. Он не любит и не уважает меня. Я беспрестанно должна выслушивать упреки, что я бедна, что его обманом женили на мне.

Эльчанинов сделал движение.

— Он не позволяет мне, — продолжала Анна Павловна, — читать, запретил мне музыку. При всем моем

старании угодить ему, он ничем не бывает доволен. Он бранит меня.

Эльчанинов встал и начал ходить.

— Я способен убить этого человека! Он с первого раза показался мне ненавистен, — вскричал он задышающим голосом и в эту минуту действительно забыл свою любовь, забыл самого себя. Он видел только несчастную жертву, которую надобно было спасти.

— Нет, добрый друг, — возразила Анна Павловна, — убить его нельзя, но вы посоветуйте, что я должна делать... Я думала ехать к батюшке, но это его ужасно огорчит; я думала бежать, скрыться где-нибудь в монастыре...

— Но отчего вам не разойтись просто с ним? — спросил Эльчанинов, несколько пришедши в себя. — Отчего вам не жить врозь?

— Мне нечем жить: я бедна!

— Но ваш батюшка?

— Батюшка мне не дал ничего, потому что все наше имение конфисковано.

— Вы не должны жить с мужем, — начал Эльчанинов решительным тоном. — Уезжайте от него на этих же днях, сегодня, завтра, если хотите... У меня есть небольшое состояние, и с этой минуты оно принадлежит вам.

Слезы показались на глазах Анны Павловны. Она вся вспыхнула.

— Вы меня очень любите? — невольно проговорила она, протягивая ему руку.

Эльчанинов на этот вопрос мог или не отвечать, или открыться во всем.

— Вы удостоиваете меня вашей дружбой, — начал он не без волнения, — вы почтили меня доверием; возьмите все это назад: я не стою того.

Мановская робко взглянула на него.

— Я не могу быть вашим другом, я вас люблю, — произнес Эльчанинов.

Силы совершенно оставили бедную женщину. Она не могла более притворяться, не могла более выдерживать заученной роли и зарыдала. Потом, как бы обеспамятев, пристально взглянула на Эльчанинова и схватила его за руку.

— Правду ли вы говорите, не обманываете ли вы меня? Поклянитесь мне в том, что вы сказали.

— Клянусь богом! — вскричал Эльчанинов.

— Хорошо, — продолжала Мановская, — любите меня!.. Я сама вас давно люблю! Но теперь прощайте: отпустите меня, я не могу дольше оставаться.

Эльчанинов обезумел от восторга.

— Человек ты или ангел! — вскричал он, обхватив за талию Анну Павловну и целуя ее в лицо. — Я тебя не пущу, ты моя, хоть бы целый мир тебя отнимал у меня.

— Пустите меня! Я слаба, пощадите меня!

— Но когда я увижу тебя еще? Я с ума сойду, если это будет долго!

— Хорошо, я буду здесь.

— Но когда же?

— В воскресенье.

Раздавшийся в это время невдалеке голос заставил их оглянуться. К ним подходил Иван Александрыч. Эльчанинов, как можно было судить по его движению, хотел бежать, но уж было поздно.

— Наконец-то я вас нашел, Анна Павловна, — начал Иван Александрыч. — Бегал-бегал, обегал все поле, — дело очень важное. Приезжаю, спрашиваю: «Дома господа?» — «Одна, говорят, только барыня, да и та в поле». — «В каком?» — «В оржаном». — «Валяй в оржаное». Наше вам почтение, Валерьян Александрыч! Вы как здесь?

— Так же, как и вы, — отвечал Эльчанинов, — приехал, — говорят, Анна Павловна в поле, я и пошел в поле.

— Вот как-с, а я ведь думал, что вы незнакомы с Михайлом Егорычем. Матушка Анна Павловна, первой всего: я ведь к вам с важным поручением. Где супруг-то?

— Он уехал в город, — отвечала Анна Павловна, едва приходя в себя.

— Пошлите за ним, бога ради, нарочного. Завтра вам надобно быть дома обоим. Его сиятельство приедет к вам. Он говорит, что знает вас, и ужасно как хвалит.

— Мы будем дома, — отвечала Анна Павловна. — Пойдемте! Доведите меня, Иван Александрыч.

— А мне позвольте проститься, — сказал Эльчанинов, — я пройду прямо.

— Прощайте.

Эльчанинов ушел в лес; Иван Александрыч подал руку Анне Павловне, и они пошли.

— Отчего это Валерьян Александрыч не пошел в усадьбу? — спросил будто с простодушным любопытством Иван Александрыч.

— Верно, не хочет.

— А отчего ж он не хочет?

— Он незнаком с мужем; я его прежде знала.

— Прекрасный он молодой человек, умный, образованный, — заметил Иван Александрыч.

Анна Павловна ничего не ответила, и они молча вошли в усадьбу.

Стало уже смеркаться, когда Иван Александрыч выехал на своих беговых дрожках из Могилок.

— Какова соколена! — начал он рассуждать вслух. — Тихая ведь, кажется, такая; поди ты, узнай бабу. А молодец-то... ловкой малый! Рассказывать или нет? Подожду пока! Кажется, его сиятельство тут того... Слабый старик по этой части.

На этих словах он почувствовал, что его кто-то схватил за воротник шинели. Иван Александрыч обернулся. Это был верхом Эльчанинов.

— Ба! Вы все еще едете, — сказал он, — не тяните, пожалуйста, шинели: сукно тонкое, как раз лопнет.

— Остановите вашу лошадь, мне нужно с вами поговорить, — сказал мрачно Эльчанинов.

Иван Александрыч повиновался.

— Вы никому не должны говорить, что сегодня видели меня в Могилках, — продолжал Эльчанинов, колотя рукой по седлу, — в противном случае я вас убью.

— Да мне-то что за дело? — возразил Иван Александрыч. — Сам бывал в таких переделках.

— Нет, вы должны поклясться.

— Ей-богу, не скажу! Я не из таких: не люблю из избы выносить сору.

— Хорошо, помните же! — проговорил Эльчанинов и, поворотивши свою лошадь, поскакал в галоп.

«Вот оно, какую передрягу наделал, — думал Иван Александрыч, — делать нечего, побожился. Охо-хо-хо! Сам, бывало, в полку жиду в ноги кланялся, чтобы не сказывал! Подсмотрел, проклятый Иуда, как на чердаке целовался. Заехать было к Уситковым, очень просили сказать, если граф к кому-нибудь поедет!» — заключил он и поехал рысцой.

VII

На другой день, часу в двенадцатом, Анна Павловна, совсем забывшая об известии, сообщенном Иваном Александрычем, сидела в гостиной. Она как будто бы была повеселее, как будто бы все изменилось в ее глазах. Эта мрачная и темная гостиная не казалась ей так скучна и печальна; ей думалось, что легче, наконец, будет жить на свете, потому что теперь у ней есть человек, который поучаствует в ней, который разделит с ней ее горе. Муж, общество, да что ей за дело до них! У нее есть друг, который заменит ей все, защитит ее от всех. Он сам говорил это: разве не доказал он своего самоотвержения, когда предложил ей свое состояние для того только, чтобы облегчить ее участь.

Приезд мужа прервал эти мысли. Михайло Егорыч вошел в гостиную и сухо поздоровался с женой.

— Здоровы ли вы? — спросил он.

— Здорова.

— Велите дать мне есть.

Анна Павловна вышла. Мановский осторожно вынул какие-то бумаги из кармана и запер в стоявшую под диваном железную шкатулку.

В это время на дворе раздался шум подъехавшего экипажа. Мановский взглянул в окно: к крыльцу подъезжала запряженная четверней карета.

— Кто это такой? — сказал Мановский, не узнавая гостя по экипажу, и вышел на половину залы.

Через несколько минут вошел граф. Мановский, не двигаясь с места, глядел в глаза новопривывшему.

— Честь имею рекомендоваться: я граф Сапега, — начал тот, подходя к хозяину, — сосед ваш, и приехал, чтобы начать знакомство с вами, которое тем более интересно для меня, что супруга ваша уже знакома мне. Она дочь моего приятеля.

— Очень вам благодарен, ваше сиятельство, за сделанную мне честь, — вежливо отвечал Мановский, — и прошу извинения, что первый не представился вам, но это единственно потому, что меня не было дома: я только что сейчас вернулся. Прошу пожаловать, — продолжал он, показывая графу с почтением на дверь в гостиную. — Жена сейчас выйдет: ей очень приятно будет встретить

старого знакомого. Просите Анну Павловну, — прибавил он стоявшему у дверей лакею.

Гость и хозяин вошли в гостиную. Мановский, очень хорошо знавший, что граф ни к кому еще в губернии первый не приезжал, с первых же слов понял, что тот приехал не для него, а для жены. О сердечных слабостях графа давно уже ходили слухи в Боярщине. Ревность и оскорбленное самолюбие забушевали в душе Мановского. Впрочем, очень хорошо убежденный, что Анна Павловна, полюбя другого, могла изменить ему, он в то же время знал, что никогда ничего не добьется от нее Сапега, и потому решил всеми средствами способствовать намерениям графа, а потом одурачить его, насколько только возможно. Извинившись еще раз, что не представлялся первый, он вышел из гостиной, как бы по хозяйственным распоряжениям, и прошел в комнату жены.

— Граф Сапега приехал, друг вашего отца, будьте с ним полюбезнее, он человек богатый, — сказал он Анне Павловне. Та пошла. Приезд графа ее несколько обрадовал. Она помнила, что отец часто говорил о добром графе, которого он пользовался некоторой дружбой и который даже сам бывал у них в доме.

— Здравствуйте, Анна Павловна, — сказал Сапега, вставая и подходя к ее руке. — Помните ли вы меня?

— Помню, граф, — отвечала Анна Павловна, — мне нельзя забыть вас. Вас так любит мой батюшка.

Граф и хозяйка уселись на диван.

— Я так был удивлен и обрадован, — начал Сапега, — что вы здесь в нашем соседстве, что сейчас же поспешил приехать, чтобы только скорее увидеть мою милую и добрую знакомую, надеюсь, что она лично сама заплатит мне визит.

Анна Павловна отвечала ему улыбкой.

Между ними завязался обычный при встрече старых знакомых разговор. Граф расспрашивал ее об отце, давно ли она вышла замуж, давно ли переселилась в эти места?

— Как вы худы и болезненны, Анна Павловна, — сказал, наконец, он, всматриваясь ей в лицо. — Не скучаете ли вы в деревне? Имеете ли вы книги? Есть ли, наконец, у вас рояль? Я помню, вы премило играли, и покойная ваша матушка подозревала в вас решительно музыкальные дарования, — это я очень хорошо помню.

— Рояля у меня нет еще покуда, — отвечала Анна Павловна, сконфузившись.

— Как это не грех, как это не стыдно! Что ж смотрит ваш супруг?

В это время вошел Мановский.

— Вы мало заботитесь, Михайло Егорыч, об удовольствии вашей супруги, — продолжал граф, обращаясь к нему. — Отчего вы не выпишете для них рояль?

— Всего вдруг нельзя, ваше сиятельство, — отвечал Мановский, — и то вот, как видите, живем в пустых стенах и с необитой почти мебелью.

— Слишком ничтожное оправдание, — возразил Сапега. — Мы с вами, Анна Павловна, сделаем вот какой заговор против вашего мужа: у меня в доме есть довольно порядочный рояль, ездите ко мне, старику, как можно чаще, занимайтесь музыкой, а мужа оставляйте дома. Соскучится об вас, да и купит вам рояль. Согласны?

— Благодарю вас, граф, — отвечала Анна Павловна.

— Она и без того должна за честь, которую вы ей сделали, быть у вашего сиятельства, — сказал Мановский, — и так как я нисколько не принимаю ваше посещение на свой счет, то она должна ехать одна, а я уж буду иметь честь представиться после.

— Благодарю, — сказал граф, протягивая Мановскому руку. — Вы очень оригинально хотите отомстить мне за любовь к вашей супруге.

— Она сама вам отомстит за эту любовь, — отвечал с усмешкой Мановский.

— Чем же?

— Тем, что наскучит вам.

— Анна Павловна не наскучит мне! — сказал граф сладким голосом, целуя руку хозяйки.

В зале раздался шум: это были новые гости. В каждый приезд графа между помещиками Боярщины заводился странный обычай. Они приезжали обыкновенно вслед за ним во все дома, которым он делал честь своим посещением, частью для того, чтобы более и более сблизиться с знатным туземцем, а частью и для наслаждения его беседой. Новоприбывшие были: толстый Уситков с женой, той самой барыней в блондовом чепце, которую мы видели у предводителя и которая приняла теперь намерение всюду преследовать графа в видах помещения

своего седьмого сынишки в корпус. Их сопровождала молодая чета Симановских, недавно женившаяся по страсти. Муж был высокий и необыкновенно худой отставной уланский корнет, м-те Симановская, несмотря на молодость лет, уже замечательно обнаруживающая в себе практические способности, в силу которых тоже решившаяся искать в графе для определения мужа в какую-нибудь доходную службу, без которой он будто бы ужасно скучает. При входе мужчины отдали почтительный поклон Сапеге, а дамы, присевши ему, поместились на диван с хозяйкой.

Всем им граф слегка кивнул головой, и на лице его заметно отразилось неудовольствие: ему было досадно, что Анна Павловна, кроме него, должна будет заниматься с прочими гостями.

Мановский, все это, кажется, заметивший, сейчас же подошел с разговором к дамам, а мужчины, не осмеливаясь говорить с графом, расселись по уголкам. Таким образом, Сапега опять заговорил с Анной Павловной. Он рассказывал ей о Петербурге, припомнил с нею старых знакомых, описывал успехи в свете ее сверстниц. Так время прошло до обеда. За столом граф поместился возле хозяйки. Мановский продолжал занимать прочих гостей.

— Анна Павловна, верно, прежде была знакома с графом? Она, говорят, ему крестница? — спросила его Уситкова.

— Крестница, — отвечал Мановский.

— Михайло Егорыч, — сказал граф, обращаясь к хозяину, — когда же вы доставите мне удовольствие видеть вас и Анну Павловну у себя в доме?

— Я сегодня ночью должен буду ехать в город, ваше сиятельство, — отвечал Мановский. — Что касается до жены, то она, я полагаю, завтра же должна отплатить вам визит, чтобы тем хоть несколько извинить невольную мою против вас невежливость.

— Bravo! — вскричал граф. — А вы что скажете, Анна Павловна?

Мановская побледнела. Она очень хорошо знала, что слово *полагаю* на языке ее мужа значит — она приедет. Но завтра! Завтра был день, назначенный ею для свидания с Эльчаниновым.

— Позвольте мне, граф, приехать к вам в понедельник, — сказала она, — я чувствую себя не так здоровою.

— Зачем же откладывать? — возразил Мановский, не любивший исполнять ни малейшего желания жены. — Приличие заставляет, кажется, поторопиться.

— Но, может быть, Анна Павловна действительно дурно себя чувствует, — сказал граф отеческим голосом, в душе радовавшийся поспешности мужа.

— Она постоянно не так здорова, потому ей все равно. Она приедет завтра, — отвечал Мановский.

Тоска сдавила сердце Анны Павловны. Что ей было делать, на что решиться! Сначала она думала притвориться больной, но в таком случае нельзя будет выйти в поле, тем более, если муж не уедет. Эльчанинов будет ее дожидаться, он подумает, что она не хотела сдержать обещания. Когда она опять с ним увидится, и как ему дать знать? Оставалось одно средство: идти и оставить на месте свидания записку, в которой уведомить Эльчанинова о случившемся и назначить ему прийти туда в понедельник. На этом намерении она несколько успокоилась и снова начала говорить с графом.

Обед кончился. Граф не отходил от хозяйки и не давал ей решительно заниматься с дамами.

— О чем это говорит граф с Анной Павловной? — шепнула, обращаясь к мужу, Уситкова, немного тупая на ухо.

— Не знаю, — отвечал тот.

— Николай Николаич, Николай Николаич, — отнеслась Уситкова к Симановскому, смотревшемуся в зеркало.

Симановский подошел.

— Вы отсюда к нам?

— Жена к вам проедет, а мне надобно в Новинское на панихиду.

— К кому, батюшка? — произнесла с испугом Уситкова.

— Бахулов помер.

— Опекун Клеопатры Николаевны? Скажите! Царство небесное! Истинно добрый был человек. Что-то теперь Клеопатра Николаевна? Как она была им довольна! Кого-то ей теперь назначат, потому что, надобно сказать, она порядочно порасстроила дочкино состояние: для нее это очень важно, кого ей назначат.

— Да вряд ли не здешнего.

-- Кого? Михайла Егоровича?

Симановский подтвердительно кивнул головой.

— Посмотрите, посмотрите, — продолжала Уситкова, показывая глазами на графа, который целовал руку у Анны Павловны.

— Да-с, — отвечал Симановский и взглянул на жену, которая сидела в заметно щекотливом положении около Анны Павловны.

Вскоре после чая граф уехал, а вслед за ним поднялись и прочие гости, глубоко обиженные невниманием Сапеги и предпочтением, которое оказал он Анне Павловне.

— Завтра, часу в двенадцатом, вы поедете к графу, — сказал Мановский, оставшись один с женой, — а я после.

— Хорошо, — отвечала та, — а я теперь, Михайло Егорович, пойду гулять, — прибавила она с невольной боязнью.

— Ступайте, — отвечал Мановский.

Анна Павловна почти вбежала в свою комнату и написала к Эльчанинову записку: «Простите меня, что я не могла исполнить обещания. Мой муж посылает меня к графу Сапеге, который был сегодня у нас. Вы знаете, могу ли я ему не повиноваться? Не огорчайтесь, добрый друг, этой неудачей: мы будем с вами видеться часто, очень часто. Приходите в понедельник на это место, я буду непременно. Одна только смерть может остановить меня. До свиданья».

Спрятавши эту записку за перчатку, она вышла и через несколько минут была на том месте, где в первый раз встретилась с Эльчаниновым. Записка была положена в трещину дерева таким образом, что часть ее была видна.

Воротившись домой, она не видала уж мужа. Он что-то писал в гостиной.

VIII

В воскресенье, часу в третьем пополудни, Эльчанинов снова ехал на своей серой лошади, погруженный в тихую задумчивость. Он предвкушал, так сказать, наслаждения любви, которые готовила для него эта женщина, предмет его страстных мечтаний. Подъехавши к роще, он уже не пошел на этот раз пешком, а объехал ее кругом

и, остановясь невдалеке от назначенного места, посмотрел вокруг себя: попрежнему перед ним расстилалось широкое поле, вдали были видны Могилки, которые на этот раз показались ему еще мрачнее, еще печальнее. Небо покрыто было серыми тучами, которые, как бы перегоня одна другую, гигантскими массами плыли от севера. Эльчанинов слез с лошади и, привязав ее, подошел к сухому дереву, на котором сидел с Анной Павловной. Еще раз окинул он глазами окрестность и сел; при этом движении его записка юркнула в довольно глубокую трещину, и, таким образом, не сбылись надежды Анны Павловны — известие не дошло по назначению. Прошло полчаса, беспокойство и скука начали овладевать Эльчаниновым: напрасно смотрел он на Могилки, напрасно вставал на дерево, садился на лошадь верхом, даже вставал на седло ногами, чтоб таким образом окинуть взором большее пространство, — никого не было видно. Беспокойство и скука все более и более возрастали. «Не больна ли она? — подумал он, — прошлый раз она могла простудиться, захворать, и теперь, может быть, умирает». При этой мысли он решился идти в усадьбу: но если встретится с мужем? «Что же такое! — подумал Эльчанинов, — я могу сказать, что меня сшибла лошадь и убежала, мог же я ехать невдалеке». С таким намерением он выбрался на большую дорогу, слез с лошади, оборвал поводья, свернул немного набок седло и ударил ее несколько раз арапником. Лошадь понеслась марш-марш по дороге. Эльчанинов, вымарав себе, для большего вероятия, в грязи лицо, платье и руки, отправился в Могилки. Первая представилась ему толстая баба с засученными рукавами, вешавшая на забор белье.

— Эй, любезная, — сказал Эльчанинов, подходя к ней, — нет ли у вас кого-нибудь поймать мою лошадь?

Баба посмотрела на него с любопытством и с удивлением.

— Лошадь!.. А кое место ваша лошадь? — спросила она.

— Должно быть, в здешнем поле. Она меня сшибла и убежала.

— Ишь ты!.. А вы чьи такие?

— Я из Коровина.

— Так, знаем. Барин, что ли?

— Барин, моя милая. Кто бы мне лошадь поймал?

— Ой, батюшка, кого посылать-то, разве ребятишек... больших-то нет дома. Кучера с барями уехали, а другие на работе.

— С барями уехали? — спросил Эльчанинов. — А куда ваши баря уехали?

— А бог их знает, куда уехали. Неизвестно. Барыня, говорят, в Каменки, а барин неизвестно.

— Куда в Каменки?

— А вон в село Каменки, к енералу. Он вчера-то был здесь, так, слышь, барыня и поехала к нему, в карете, шестериком, такая нарядная.

Эльчанинов ничего не мог понять. Он догадался, впрочем, что Анна Павловна уехала к графу Сапеге, о котором он слышал от многих. Но зачем уехала, и как одна, и в тот именно день, когда назначено было свидание? Ему сделалось не на шутку грустно и досадно.

— Ребятишек послать, что ли? — спросила баба, видя, что Эльчанинов стоял, задумавшись.

— Пошли, любезная, — сказал он.

Баба влезла на забор.

— Ванька... Федька... подьте сюда!.. — закричала она. — Вот из Коровина барина лошадь сшибла, так пригоньте ее.

На этот зов за ворота выбежали три мальчишки в пестрядинных рубашках, с грязными руками и ногами. Они все трое стали в недоумении: им нужно было снова растолковать, в чем дело.

— Да кое место лошадь-то? — спросил старший из них, — поле-то велико.

— Да, поди, чай, у воротец к Коровину, — отвечала догадливая баба.

— Так туда, что ли, бежать?

— Вестимо, что туда; а может, что и в болоте.

— Пойдемте, — сказал старший, и все вприскокку пустились по дороге.

Эльчанинов стоял в раздумье.

— Барыня-то есть у вас? — спросила словоохотливая баба.

— Нет, я не женат, — отвечал Эльчанинов. — А что, у вас хороша барыня?

— Хороша, добрая такая, только барин-то ее не больно любит; у него есть другая, еще и не одна, пожалуй; да и тем житье не больно хорошо: колотит часто.

Послышался конский топот. Это были мальчишки, которые, усевшись все трое на лошадь Эльчанинова, гнали ее во весь опор.

— Вот и пригнали, — проговорила баба.

— Спасибо, любезная, — сказал Эльчанинов, садясь на лошадь и оделяя мальчишек по пятаку. — Вот и тебе, — прибавил он, давая гривенник женщине.

Все поклонились ему.

Эльчанинов скорой рысью поехал обратно; но, миновав могилковское поле, остановился. Слезы чуть не брызнули из его глаз, так ему было тошно.

«Вот женщины, — подумал он, — вот любовь их! Забыть обещание, забыть мою нетерпеливую любовь, свою любовь, — забыть все и уехать в гости! Но зачем она поехала к графу и почему одна, без мужа? Может быть, у графа бал? Конечно, бал, а чем женщина не жертвует для бала? Но как бы узнать, что такое у графа сегодня? Заеду к предводителю: если бал, он должен быть там же».

Принявши такое намерение, Эльчанинов пришпорил лошадь и поворотил на дорогу к предводительской усадьбе. Через полчаса езды он въехал на красный двор и отдал свою лошадь попавшемуся навстречу кучеру.

--- Дома Алексей Михайлыч? — спросил он.

-- У себя-с, — отвечал тот.

Эльчанинов быстро вбежал на лестницу, сбросил на пол плащ и вошел в гостиную.

Предводитель сидел в вольтеровских креслах и с величайшим старанием сдирал с персика кожицу, которых несколько десятков лежало в серебряной корзинке, стоявшей на круглом столе. Напротив него, на диване, сидела Уситкова, попрежнему в блондовом чепце; толстый муж ее стоял несколько сбоку и тоже ел персик; на одном из кресел сидел исправник с сигарой в зубах, и, наконец, вдали от прочих помещался, в довольно почтительном положении, на стуле, молодой человек, с открытым, хотя несколько грубоватым и загорелым лицом, в синем из толстого сукна сюртуке; на ногах у него были огромные, прошивные, подбитые на подошве гвоздями, сапоги, которые как-то странно было видеть на паркетном полу.

Увидя входившего Эльчанинова, предводитель несколько пригнулся.

— Здравствуйте, Валерьян Александрыч! — сказал он. — Но, господи, что с вами, вы все в грязи?

Эльчанинов, начавший уже раскланиваться, тут только вспомнил, что был весь испачкан.

— Меня сейчас сшибла лошадь, — отвечал он.

— Скажите, пожалуйста! Ах, молодые, молодые люди, — произнес предводитель. — Долго ли до беды. Не ушиблись ли вы, однако?

— Никак нет-с. Я только, как видите, перепачкался, да и про то забыл, — отвечал Эльчанинов и вышел.

— Ну, матушка Татьяна Григорьевна, — продолжал хозяин, обращаясь к Уситковой, — вы начали, кажется, что-то рассказывать?

— Странные, просто странные вещи, — начала та, пожимая плечами, — сидим мы третьего дня с Карпом Федорычем за ужином, вдруг является Иван Александрыч: захлопотался, говорит, позвольте отдохнуть, сейчас ездил в Могилки с поручением от графа.

На этих словах Эльчанинов вернулся и начал вслушиваться.

— Что такое за поручение? — продолжала Уситкова, — а порученье, говорит, сказать Михайлу Егорычу, чтоб он завтрашний день был дома, потому что граф хочет завтра к нему приехать. «Как, говорит Карп Федорыч, да являлся ли сам Михайло Егорыч к графу?» — «Нет, говорит, да уж его сиятельству по доброте его души так угодно, потому что Анна Павловна ему крестница». Ну, мы, — так я и Карп Федорыч, ну, может быть, и крестница.

— Конечно, что ж тут удивительного? — сказал предводитель, — очень возможно, что и крестница.

— Ну, да-с, мы и ничего, только я и говорю: «Съездим-ка, говорю, и мы, Карп Федорыч, завтра в Могилки; я же Анны Павловны давно не видала». — «Хорошо», говорит. На другой день поутру к нам приехали Симановские. Мы им говорим, что едем. «Ах, говорят, это и прекрасно, и мы с вами съездим». Поехали. Граф уж тут, и, ах, Алексей Михайлыч! вы представить себе не можете, какие сцены мы видели, и я одному только не могу надивиться, каким образом Михайло Егорыч, человек не глупый бы...

— Что ж такое? Что такое? — спросил с любопытством предводитель.

— Это интересно, — отнесся исправник к Эльчанинову, который, казалось, весь превратился в слух.

— Вспомнить не могу, — продолжала Уситкова, — ну, мы вошли, поздоровались и начали было говорить, но ни граф, ни хозяйка ни на кого никакого внимания не обращают и, как голуби, воркуют между собою, и только уж бледный Михайло Егорыч (ему, видно, и совестно) суется, как угорелый, то к тому, то к другому. «Вот тебе и смиренница», — подумала я.

— Не может, кажется, быть, — нерешительно возразил предводитель.

— Ах, Алексей Михайлыч, не знаю, может или не может быть, — возразила в свою очередь барыня, — но вы только выслушайте: мало того, что целый день говорили, глазки делали друг другу, целовались; мало этого: условились при всех, что она сегодня приедет к нему одна, и поехала; мы встретили ее. Положим, что крестница, но все-таки — она молодая женщина, а он человек холостой; у него, я думаю, и горничных в доме нет... ну, ей поправить что-нибудь надобно, башмак, чулок, кто сй это сделает, — лакей?

— Конечно, — подтвердил предводитель и потом шепотом прибавил, — что граф к этому склонен, то...

— Без всякого сомнения, — подхватила рассказчица. — Господи! До чего нынче доводят себя нынешние женщины. Ну, добро бы молодой человек — влюбилась бы, а то старик: просто разврат, чтоб подарил что-нибудь.

При последних словах Эльчанинов встал.

— Что с вами, Валерьян Александрыч? — спросил предводитель.

— Ничего-с, это, кажется, последствия падения, — проговорил он и вышел.

— Савелий, — сказал предводитель, обращаясь к молодому человеку, тоже, кажется, принимавшему большое участие в их разговоре, — поди к Валерьяну Александрычу, посмотри, что там с ним, да спроси, не хочет ли он прилечь в моем кабинете.

Молодой человек встал и вышел в залу.

— Напрасно вы рассказываете при этих дворянишках, — сказал исправник, показывая глазами на ушедшего молодого человека, — как раз перенесут графу.

— Ай, батюшки, что я наделала! — вскричала в испуге Уситкова.

— Ты всегда так неосторожна на язык, — заметил ей муж, махнув рукой.

— Нет, Савелий не такой, я его знаю, — сказал предводитель.

— Вы, пожалуйста, скажите ему, чтобы он не говорил, — сказала Уситкова почти умоляющим голосом.

— Не беспокойтесь, Савелий не болтун.

Молодой человек, которого называли одним только полуименем Савелий, был такой же дворянин, как Эльчанинов, как предводитель, как даже сам граф; но у него было только несколько десятин земли и выстроенный на той земле маленький деревянный флигель. Он с трудом умел читать, нигде не служил, но, несмотря на бедность, на отсутствие всякого образования, он был в высшей степени честный, добрый и умный малый. Он никогда и никому не жаловался на свою участь и никогда не позволял себе, подобно другим бедным дворянам, просить помощи у богатых. Он неусыпно пахал, с помощью одного крепостного мужика, свою землю и, таким образом, имел кусок хлеба. Кроме того, он очень был искусен в разных ремеслах: собственными руками выстроил себе мельницу, делал телеги, починивал стенные часы и переплетал, наконец, книги. Ни отца, ни матери не было у него с двенадцатилетнего возраста. Жил он в одной усадьбе со вдовою.

Эльчанинов между тем стоял на задней галерсе дома, прислонившись к деревянной колонне, и вовсе не обратил внимания на Савелия, когда тот подошел к нему и внимательно посмотрел на него.

Героя моего мучила в настоящую минуту ревность, и он ревновал Анну Павловну к графу. Раздосадованный и обманутый ожиданием, он поверил всему. Если бы Анна Павловна поехала к графу не в этот день, в который назначено было свидание, то, может быть, он еще усомнился бы в истине слов Уситковой; но она забыла его, забыла свое слово и уехала. Это явно, что если она не любит графа, то все-таки ей приятно его искание; что граф за ней ухаживал, Эльчанинов не имел ни малейшего сомнения в том. «Теперь прошу верить в нравственную высоту женщин, — думал он, — если она, казавшаяся ему столь чистой, столь прекрасной, унизила себя до благосклонности к старому развратнику и предпочла его человеку, который любит ее со всюю искренностью,

который, мало этого, обожает ее, — забыть все прошедшее и увлечься вниманием Сапеги, который только может ее позорить в глазах совести и людей; бояться со мною переговорить два слова и потом бесстыдно ехать одной к новому обожателю. О женщины! Ничтожество вам имя! — проговорил Эльчанинов мысленно, — все вы равны: не знаю, почему я предпочел это худенькое созданыще, например, перед вдовою. Если уж входить в сношения с женщиной, так уж, конечно, лучше со свободной — меньше труда, а то игра не стоит свеч. Хорошо, Анна Павловна, мы поквитаемся. Вы поехали любезничать к графу, а я поеду ко вдове». На последней мысли застал его Савелий.

— Алексей Михайлыч приказали мне сказать вам, не хотите ли вы прилечь в его кабинете, — проговорил он.

— Нет-с, благодарю, я сейчас еду, — отвечал сухо Эльчанинов и пошел в гостиную.

— Прощайте, Алексей Михайлыч, — сказал он, берясь за шляпу.

— Куда это вы? Отдохните лучше.

— Благодарю покорно, мне теперь лучше, а воздух меня еще больше освежит.

Он поклонился гостям, вышел и через несколько минут был уж на дороге в усадьбу Ярцово, где жила вдова. Лошадь шла шагом. Несмотря на старание Эльчанинова придать мыслям своим более ветрености и беспечности, ему было грустно. Он ехал ко вдове, потому что был ожесточен против Анны Павловны. Он ей хотел за неверность отплатить тою же монетой. Раздавшийся сзади лошадиный топот заставил, наконец, его обернуться. Его нагонял Савелий, ехавший тоже верхом на маленькой крестьянской лошаденке.

— Как вы тихо едете, — сказал он, кланяясь с доброю улыбкой Эльчанинову.

— Мне некуда торопиться, — отвечал тот рассеянно.

— А куда вы, смею спросить, едете? — спросил Савелий, которому хотелось, видно, завести разговор.

— В Ярцово, — отвечал Эльчанинов.

— И я туда же; позвольте мне ехать вместе с вами.

— Сделайте милость, — отвечал Эльчанинов.

— Вы уже меня, я думаю, не помните, Валерьян Александрыч, — сказал Савелий, — я с вами игрывал и гащивал у вас в Коровине.

— Теперь припоминаю, — отвечал Эльчанинов, вглядываясь в своего спутника и действительно узнавая в нем сына одного бедного дворянина, который часто ездил к ним в усадьбу и привозил с собою мальчика, почти ему ровесника.

— Где ваш батюшка? — спросил он.

— Отец мой умер.

— И вы теперь одни?

— Один, — отвечал Савелий. — Вы много переменялись, Валерьян Александрыч! Я вас не узнал было, — прибавил он.

— Немудрено, — произнес Эльчанинов со вздохом, — переменишься, проживши на свете, — прибавил он.

— Да вы много ли еще нажили; разве горе какое особенное у вас есть, а то, что бы, кажись... — возразил Савелий.

— Горе? — повторил Эльчанинов, — горя нет, а так скучаю!

— Отчего же вы скучаете?

— От нечего делать.

Савелий улыбнулся.

— Вот как, — проговорил он, — нам работа руки намозолила; а есть на свете люди, которым скучно оттого, что делать нечего.

— И очень много, — подхватил Эльчанинов, — большая часть людей несчастны оттого, что не знают, что им делать. Из них же первый — аз есмь, — заключил он и зевнул.

— Вам, я думаю, надобно служить, — заметил Савелий.

— Служить-то бы я рад, подслуживаться тошно, — проговорил с усмешкой Эльчанинов.

— Ну, женитесь.

— Жениться? На ком?

— Я не знаю; а думаю, за вас пойдет хорошая невеста.

— Сыщите.

— Я не сват, — сказал с улыбкой Савелий. — Сыщите сами.

— Легко сказать. Сами вы, например, отчего не женитесь?

Савелий при этом вопросе покраснел.

— Какой я жених? За меня девушка, у которой есть кусок хлеба, не пойдет.

— А вы бедны?

— Три души у меня-с, из них одна моя собственная.

— Чем же вы живете?

— Да хлебопашеством больше-с.

— И сами пашете землю?

— Пашу-с.

— Это ужасно! — воскликнул Эльчанинов, — дворянин по рождению...

Молодые люди на некоторое время замолчали.

— Любили ли вы когда-нибудь в жизни? — спросил вдруг Эльчанинов, у которого поступок Анны Павловны не выходил из головы и которому уж начинал нравиться его новый знакомый.

— Любил ли я женщин? — спросил Савелий. — Нет еще.

— И не любите.

— Почему же?

— Потому что они этого не стоят. Слышали ли вы у предводителя, что говорили про Мановскую? Это еще лучшая из всех.

— Это неправда, что про нее говорили!

— Вы ее знаете?

— Как же-с: соседское дело, бываю у них, видал ее; а вы ее знаете?

— Я еще ее в Москве знал. Она недурна.

— Да-с, и очень добрая и не гордая, — сказал Савелий.

Эльчанинову пришлось в голову сделать Савелию поручение к Анне Павловне, но он боялся.

— А когда вы будете опять у них? — спросил он.

— Не знаю, как случится. А вы ездите к ним?

— Нет, мне не нравится ее муж.

— Я поклонюсь ей от вас, коли угодно, — сказал Савелий, как бы угадывая намерение своего спутника.

— Ах, сделайте милость, — сказал Эльчанинов, обрадованный этим вызовом, — и скажите ей, что в Москве она лучше держала свое обещание.

— А разве она не сдержала какого-нибудь обещания?

— Да, пустяки, конечно: обещалась у предводителя танцевать со мною кадрили и уехала.

- Ее, может быть, муж увез.
- Очень может быть. Скажете?
- Извольте.
- Только с глазу на глаз.
- Это для чего-с?

— Потому что этот господин муж может подумать бог знает что.

— Так я лучше ничего не буду говорить, — сказал, подумавши, Савелий.

— Нет, нет, бога ради, скажите, — проговорил Эльчанинов, испуганный мыслью, что не догадывается ли Савелий.

- А вам очень хочется? — спросил тот.
- Очень...
- Да тут ничего такого нет?
- Решительно ничего.
- Хорошо, скажу-с.

Разговаривая таким образом, молодые люди подъехали к Ярцову.

— Прощайте! — сказал Савелий.

— Доброй ночи, — проговорил Эльчанинов, протягивая к нему руку, — приезжайте ко мне, мы старые знакомые.

— Хорошо-с, — отвечал тот и поворотил лошадь к своему флигелю, а Эльчанинов подъехал к крыльцу дома Клеопатры Николасвны.

При входе в гостиную он увидел колоссальную фигуру Задор-Мановского, который в широком суконном сюртуке сидел, развалившись в креслах; невдалеке от него на диване сидела хозяйка. По расстроенному виду и беспокойству в беспечном, по обыкновению, лице Клеопатры Николасвны нетрудно было догадаться, что она имела неприятный для нее разговор с своим собеседником: глаза ее были заплаканы. Задор-Мановский, видно, имел необыкновенную способность всех женщин заставлять плакать.

При появлении Эльчанинова хозяйка издала восклицание.

— Боже мой! Monsieur Эльчанинов! — сказала она. — Так-то вы исполняете ваше обещание, прекрасно!

— Извините меня, — начал Эльчанинов, не кланяясь Задор-Мановскому, который в свою очередь не сделал

ни малейшего движения. — Я не мог приехать, потому что был болен. Но, кажется, и вы чем-то расстроены?

— Ах, у меня горе, Валерьян Александрыч: мой опекун помер.

— Опекун? Зачем у вас опекун?

— Опекун над именем моей дочери; вы не знаете, с какими это сопряжено хлопотами. Нужно иметь другого; вот Михайло Егорыч, по своей доброте, принимает уж на себя эту трудную обязанность.

— Напротив, я полагаю, приятную, — возразил Эльчанинов.

— Может быть, это вам так кажется; для меня ни то, ни другое... Я назначен опекою, — проговорил Задор-Мановский.

— Что ж тут для вас, Клеопатра Николаевна, за хлопоты? — сказал Эльчанинов. — Все равно, кто бы ни был.

Вдова вздохнула.

— Чем вы были больны? — спросила она, помолчав.

— Я был более расстроен, — отвечал Эльчанинов.

— Нельзя ли узнать, чем?

— Я полагаю, вы знаете.

Эльчанинов нарочно стал говорить намеками, чтобы досадить Мановскому, которого он считал за обожателя вдовы.

— Нет, я не знаю, — сказала вдова.

— Ну, так я вам скажу.

— Когда же?

— Когда будем вдвоем.

Задор-Мановский повернулся в креслах.

— Позвольте мне остаться у вас ночевать, — сказал Эльчанинов, — я боюсь волков ночью ехать домой.

— Даже прошу вас.

— Это не предосудительно по здешним понятиям?

— Нисколько... А вы, Михайло Егорыч?

— Ночую-с, — отвечал тот лаконически.

Разговор прекратился на несколько минут. Веселая и беспечная Клеопатра Николаевна была решительно не в духе. Задор-Мановский сидел, потупя голову. Эльчанинов придумывал средства, чем бы разбесить своего соперника: об Анне Павловне... Увы!.. она не приходила ему в голову, и в Задор-Мановском он уже видел в эту минуту не мужа ее, а искателя вдовы.

— Чем же вы занимались в это время? — спросила Клеопатра Николаевна.

— Думал, — отвечал Эльчанинов.

— О чем?

— О том, что наши северные женщины любят как-то холодно и расчетливо. Они никогда, под влиянием страсти, не принесут ни одной жертвы, если только тысячи обстоятельств не натолкнут их на то.

— Потому что северные женщины знают, как мало ценят их жертвы.

— Да потому жертвы мало и ценятся, что они приходят не от страсти, а от случая.

— Я вас не понимаю.

— Извольте, объясню подробнее, — отвечал Эльчанинов. — Положим, что вы полюбили бы человека; принесли бы вы ему жертву, не пройдя этой обычной колеи вздохов, страданий, объяснений и тому подобного, а просто, непосредственно отдались бы ему в полное обладание?

— Но надобно знать этого человека, — сказала вдова, несколько покрасневши.

— Вы его знаете, как человека, а не знаете только... простите за резкость выражения... не знаете, как любовника.

Задор-Мановский, наблюдавший молчание, при этих словах посмотрел на вдову. Она потупилась и ничего не отвечала. Эльчанинову показалось, что она боится или по крайней мере остерегается Мановского, и он с упорством стал продолжать разговор в том же тоне.

— Что ж вы на это скажете? — повторил он снова.

— Какой вы странный, — начала Клеопатра Николаевна, — надобно знать, какой человек и какие жертвы. К тому же я, ей-богу, не могу судить, потому что никогда не бывала в подобном положении.

«Она отыгрывается», — подумал Эльчанинов.

— Жертвы обыкновенные, — начал он, — например, решиться на тайное свидание, и пусть это будет сопряжено с опасностью общественной огласки, потому что всегда и везде есть мерзавцы, которые подсматривают.

— Я не знаю, — отвечала вдова, — всего вероятнее, что не решилась бы.

— Не угодно ли вам, Клеопатра Николаевна, поверить со мною описи, так как я завтра уеду чем свет, — сказал, вставая, Мановский и вынул из кармана бумаги.

— Извольте, — отвечала Клеопатра Николаевна. — Извините меня, Валерьян Александрыч, — прибавила она, обращаясь ласково к Эльчанинову, — я должна, по милости моих проклятых дел, уделить несколько минут Михайлу Егорычу. — Они оба вышли.

Эльчанинов чуть не лопнул от досады и удивления.

«Что это значит? — подумал он. — Кажется, сегодня все женщины решили предпочесть мне других: что она будет там с ним делать?» Ему стало досадно и грустно, и он так же страдал от ревности к вдове, как за несколько минут страдал, ревнуя Анну Павловну.

Через полчаса вдова и Мановский возвратились. Клеопатра Николаевна была в окончательно расстроенном состоянии духа и молча села на диван. Мановский спокойно поместился на прежнем месте.

Эльчанинов, не могший подавить в себе досады, не говорил ни слова. На столовых часах пробило двенадцать. Вошел слуга и доложил, что ужин готов. Хозяйка и гости вышли в залу и сели за стол.

Эльчанинов решился наговорить колкостей Клеопатре Николаевне.

— Отчего вы, Клеопатра Николаевна, не выходите за муж? — спросил он.

— Женихов нет, — отвечала та.

— Помилуйте, — возразил Эльчанинов, — мало ли есть любезных, милых, красивых и здоровых помещиков!

— Вот, например, сам господин Эльчанинов, — подхватил Мановский.

— Я не считаю себя достойным этой чести; вот, например, вы, когда овдовеете, — это другое дело.

— Типун бы вам на язык, у меня жена еще не умирает, — сказал Мановский.

— Потому что вы, видно, бережете ее здоровье; это, впрочем, не в тоне русских бар, — заметил Эльчанинов.

— Да, из боязни, чтоб, овдовев, не перебить у вас Клеопатры Николаевны.

— Господа! — сказала она, — вы, стараясь кольнуть друг друга, колете меня.

— Что ж делать, — отвечал Эльчанинов, — мы не можем при вас и об вас говорить с господином Мановским без колкостей; в этом виноваты вы.

— Не знаю, как вы, а я с вами говорю просто, — проговорил Мановский.

— Прекратите, бога ради, господа, этот неприятный для меня разговор, — сказала Клеопатра Николаевна.

— А мне кажется, он должен приятно щекотать ваше самолюбие. Вам принадлежат нравственно все, а вы — никому! — возразил, с ударением на последние слова, Эльчанинов.

Вдова не на шутку обиделась; но в это время кончился ужин.

— Покойной ночи, господа, — сказала она, вставая из-за стола. — Я вас прошу переночевать вместе, в кабинете моего покойного мужа.

Эльчанинов очень хорошо заметил, что при этих словах Мановский нахмурился. Оба они подошли к руке хозяйки.

— Вы ужасный человек; я на вас сердита, — сказала она шепотом Эльчанинову.

— Что для вас значит этот человек? — спросил он тихо.

— Многое!..

Вдова ушла.

Два гостя, оставшись наедине, ни слова не говорили между собою и молча вошли в назначенный для них кабинет. Задор-Мановский тотчас разделся и лег на свою постель. Эльчанинову не хотелось еще спать, и он, сев, в раздумье стал смотреть на своего товарища, который, вытянувшись во весь свой гигантский рост, лежал, зажмурив глаза и тяжело дыша. Грубое лицо его, лежавшее на тонкой наволочке подушки и освещенное слабым светом одной свечи, казалось еще грубее. Огромная красная рука, с напряженными жилами, поддерживала голову, другая была свешена. Он показался Эльчанинову страшен и гадок. «Так этому-то морскому чудовищу, — подумал он, — принадлежит нежная и прекрасная Анна Павловна. Когда я, мужчина, не могу без отвращения смотреть на него, что же должна чувствовать она!» Ему хотелось убить Задор-Мановского. «Зачем это она поехала к графу? Видно, женщина при всех несчастиях останется женщиной. Когда и как я ее увижу? Но отчего же мне не приехать к ним? С мужем я уже знаком».

Мановский повернулся.

— А что, вы скоро свечу погасите? — проговорил он.

— Вы, верно, рано любите ложиться спать? — спросил Эльчанинов.

— Гасите, пожалуйста, поскорее, — сказал вместо ответа Мановский.

— Я еще не хочу спать, — возразил Эльчанинов.

Задор-Мановский, не отвечая, повернулся к стене.

«Черта с два, познакомишься с этим медведем», — подумал Эльчанинов и лег, решившись не гасить свечу, чтобы хоть этим досадить Мановскому. Истерзанное душевным волнением, усталый физически, он задремал. Уже перед ним начинал носиться образ Анны Павловны, который как бы незаметно принимал наружность вдовы. Этот призрак улыбался ему, манил его и потом с громким смехом отталкивал от себя. Голова его закружилась, сердце замерло, он чувствовал, что падает в какую-то пропасть, и проснулся. Окинув глазами комнату, он увидел, что Задор-Мановский, вставший в одной рубашке с постели, брался за свечу.

— Что вы делаете? — спросил он.

Мановский, не отвечая ни слова, погасил свечу и опять лег на постель.

Эльчанинов видел необходимость повиноваться.

«Этакая скотина», — думал он, и досада и тоска не давали ему спать.

Прошел уже целый час в мучительной бессоннице, как вдруг ему послышалось, что товарищ его начинает приподниматься. Эльчанинов напряг внимание. Задор-Мановский действительно встал с постели, тихими шагами подошел к двери, отпер ее и вышел; потом Эльчанинову послышалось, что замок в дверях щелкнул:

— Что вы делаете? — воскликнул было он. Ответа не было. Эльчанинов встал с постели и подошел к двери: она была действительно заперта снаружи. «Что это значит?» — думал он и, решившись во что бы то ни стало разгадать загадку, подошел к окну, которое было створчатое, и отворил его. До земли было аршина три, следовательно выпрыгнуть было очень возможно. Одевшись на скорую руку, Эльчанинов соскочил на землю и очутился в саду. Ночь была темная. Почти ощупью пробрался он на главную аллею и вошел на балкон, выход на который был из гостиной, где увидел свечку на столе, Клеопатру Николаевну, сидевшую на диване в спальном капоте, и Мановского, который был в халате и ходил взад и вперед по комнате. Эльчанинов приложил ухо к

железной форточке в нижнем стекле и стал прислушиваться.

— Я вас прошу об одном, чтобы вы ушли, потому что он может проснуться и прийти сюда же, — говорила Клеопатра Николаевна умоляющим голосом.

— Не придет: я его запер, — отвечал Мановский. — А мне надобно с вами переговорить.

— Ну, говорите же по крайней мере, я вас слушаю, — отвечала Клеопатра Николаевна и кокетливо завернулась в платок.

Эльчанинову показалось отвратительным это движение.

— А говорить то, что я из-за вас в петлю не полезу. Если вы ко мне так, так и я к вам так. Считать тоже умеем. Свою седьмую часть вы давно продали. Всего семьсот рублей платят за девушку в институт. Прочие доходы должны идти для приращения детского капитала, следовательно... — говорил Мановский.

— Это ужасно! — воскликнула Клеопатра Николаевна, всплеснув руками.

Первым движением Эльчанинова было вступить за бедную женщину и для того войти в гостиную и раскроить стулом голову ее мучителю. С такого рода намерением он соскочил с балкона, пробрался садом на крыльцо и вошел в лакейскую; но тут мысли его пришли несколько в порядок, и он остановился: вся сцена между хозяйкой и Мановским показалась ему гадка. Подумав немного, он вынул из кармана клочок бумаги и написал: «Я все видел и могу только пожалеть об вас; вам предстоит очень низко упасть. Удержитесь». Разбудив потом лакея и велев ему отдать письмо барыне, когда она проснется, спросил себе лошадь и через четверть часа скакал уже по дороге к своей усадьбе.

IX

В то же самое воскресенье, в которое, по воле судеб, моему герою назначено было испытать столько разнообразно неприятных ощущений, граф, начавший ждать Анну Павловну еще с десяти часов утра, ходил по своей огромной гостиной. В costume его была заметна изысканность и претензия на молодость: на нем был англий-

ского тонкого сукна довольно коротенький сюртучок; нежный и мягкий платок, замысловато завязанный, огибал его шею; две брильянтовые пуговицы застегивали батистовую рубашку с хитрейшими складками. Жилег был из тонкого индийского кашемира; редкие волосы графа были слегка и так искусно подвиты, что как будто бы они вились от природы. Пробыло двенадцать. Граф начинал ходить более и более беспокойными шагами, посматривая по временам в окно.

Тихими шагами вошел Иван Александрыч, с ног до головы одетый в новое платье, которое подарил ему Сапега, не могший видеть, по его словам, близ себя человека в таком запачканном фраке. Граф молча кивнул племяннику головой и протянул руку, которую тот схватил обеими руками и поцеловал с благоговением. Улыбка презрения промелькнула в лице Сапеги, и он снова начал ходить по комнате. Прошло еще четверть часа в молчании. Граф посмотрел в окно.

— Что, если она не придет! — сказал он как бы про себя.

— Придет, ваше сиятельство, непременно придет, — подхватил Иван Александрыч.

— А ты почему знаешь?

— А уж знаю, ваше сиятельство, непременно придет.

— Ничего ты не знаешь.

В это время вдали показалась шестериком карета.

— А что, ваше сиятельство, это что? — воскликнул Иван Александрыч, смотревший так же внимательно на дорогу, как и сам граф.

— А что такое? — спросил Сапега, как бы боясь обмануться.

— Это-с карета Задор-Мановского, вот и подседельная ихняя, — я знаю.

— Будто? — сказал граф; глаза его заблестали радостью. — Поди, Иван, скажи, чтобы люди встретили.

Иван Александрыч выбежал.

— Милочка моя, душечка... ах, как она хороша! Глазки какие! О, чудные глазки! — говорил старик, потирая руки, и обыкновенно медленные движения его сделались живее. Он принялся было глядеть в зеркало, но потом, как бы не могли сдержать в себе чувства нетерпения, вышел в залу. Анна Павловна, одетая очень мило и к лицу, была уже на половине залы.

— Милости просим, моя бесценная Анна Павловна, — говорил старик, протягивая к ней руки.

Мановская поклонилась.

— Ручку вашу, ручку... или нет, я старик, меня можно поцеловать... поцелуйте меня!

— Извольте, граф, — отвечала с улыбкой Анна Павловна.

Они поцеловались. Граф под руку ввел ее в гостиную. Иван Александрыч остался в зале (при гостях он не смел входить в гостиную). В этой же зале, у дверей к официантской, стояли три лакея в голубых гербовых ливреях.

— Иван Александрыч, Иван Александрыч! Кто эта барыня? — спросил один из них.

Иван Александрыч ни слова не отвечал: он очень сбижался, когда с ним заговаривали графские лакеи.

— Иван Александрыч! Что вы, сердиты, что ли? А еще старый приятель, — продолжал насмешник, и лакеи захохотали.

Сконфуженный и раздраженный, Иван Александрыч глядел в окно.

Между тем граф усадил свою гостью на диван и сам поместился рядом.

— Ах, если б вы знали, с каким нетерпением я вас ждал, — начал он.

— Благодарю, граф.

— И... только-то?

Анна Павловна ничего не отвечала.

— Я вас очень люблю! — продолжал старик, ближе подвигаясь к Анне Павловне, — дайте мне еще поцеловать вашу ручку: вы все что-то печальны... Скажите мне, любите ли вы вашего мужа?

Анна Павловна вспыхнула.

— Всякая женщина должна любить своего мужа, — сказала она.

— Нет, вы скажите мне откровенно, как другу вашего отца, как человеку, который дорожит вашим счастьем и который готов сделать для вас все.

— Я люблю моего мужа, — отвечала молодая женщина, не решившаяся быть откровенной.

— Нет, вы не любите вашего мужа, — возразил Сапега, внимательно смотря на свою гостью. — Вы не мо-

жете любить его, потому что он сам вас не любит и не понимает.

— Кто вам сказал это, граф?

— Мои собственные наблюдения, милая Анна Павловна. Будьте со мною откровенны, признайтесь мне, как бы вы признались вашему отцу, который, помните, любил меня когда-то. Скажите мне, счастливы ли вы?

Анна Павловна начала колебаться: ей казалось, что граф говорил искренне, и слезы невольно навернулись на ее глазах.

— Я вижу, вы не любите мужа, и он вас не любит, продолжал граф, едва скрывая внутреннее удовольствие.

Анна Павловна не могла долее воздержаться и зарыдала.

— Бедная моя, — говорил граф, — не плачьте, ради бога, не плачьте! Я не могу видеть ваших слез; чем бесполезно грустить, лучше обратиться к вашим друзьям. Хотите ли, я разорву ваш брак? Выхлопочу вам развод, обеспечу ваше состояние, если только вы нуждаетесь в этом.

— Граф, — возразила молодая женщина, — я должна и буду принадлежать моему мужу всегда.

Сапега увидел, что он слишком далеко зашел.

— По крайней мере позвольте мне участвовать в вашей судьбе, облегчать ваше горе, и за все это прошу у вас ласки, не больше ласки: позвольте целовать мне вашу ручку. Не правда ли, вы будете меня любить? Ах, если бы вы в сотую долю любили меня, как я вас! Дайте мне вашу ручку. — И он почти силой взял ее руку и начал целовать.

Внутреннее волнение графа было слишком явно: глаза его горели, лицо покрывалось красными пятнами, руки и ноги дрожали.

Анна Павловна заметила это, и неудовольствие промелькнуло по ее лицу. Она встала с дивана и села на кресло.

— О, не убегайте меня! — говорил растерявшийся старик, протягивая к ней руки. — Ласки... одной ничтожной ласки прошу у вас. Позвольте мне любить вас, говорить вам о любви моей: я за это сделаюсь вашим рабом; ваша малейшая прихоть будет для меня законом. Хотите, я выведу вашего мужа в почести, в славу...

я выставлю вас на первый план петербургского общества: только позвольте мне любить вас.

Негодование и горечь изобразились на кротком лице Анны Павловны.

— Умоляю вас, граф, не унижайте меня; я несчастлива и без того! — сказала она, заливаясь слезами, и столько глубоких страданий, жалоб и моления, столько чистоты и непорочности сердца послышалось в этих словах, что Сапега, несмотря на свое увлечение, как бы невольно остановился.

В первый почти раз женщина не гневом и презрением, а слезами просила его прекратить свои искания, или, лучше сказать, в первый еще раз женщина отвергнула его, богатого и знатного человека. Он решился притвориться и ожидать до времени. «Ее надобно приучить к мысли любить другого, а не мужа, — подумал он, — а я ей не противен, это видно».

— Простите моему невольному увлечению и оставайтесь друзьями, — сказал он, подходя к Анне Павловне и подавая ей руку.

Во весь остальной день граф не возобновлял первого разговора. Он просил Анну Павловну играть на фортепиано, с восторгом хвалил ее игру, показывал ей альбомы с рисунками, водил в свою картинную галерею, отбирал ей книги из библиотеки. Узнавши, что она любит цветы, он сам повел ее в оранжерею, сам вязал для нее из лучших цветов букеты, одним словом, сделался внимательным родственником и больше ничего.

Часу в шестом вечера Анна Павловна начала собираться домой. При прощании граф, как бы не могший выдержать своей роли, долго и долго целовал ее руку, а потом почти умоляющим голосом просил дать ему прощальный поцелуй.

На этот раз Анна Павловна исполнила его желание почти с неудовольствием. Провожая ее до крыльца, граф взял с нее честное слово приехать к нему через неделю и обещался сам у них быть после первого визита Задормановского.

Анна Павловна уехала.

Граф остался один: наружное спокойствие, которое он умел выдержать в присутствии Мановской, пропало.

«Что это значит, — думал он, — она не любит мужа — это видно, почему же она отвергает и даже оскорбляется

моими исканиями? Я ей не противен, никакого чувства отвращения я не заметил в ней... напротив! Если я круто повернул и если только это детская мораль, ребяческое предубеждение, то оно должно пройти со временем. Да и что же может быть другое? Уж не любит ли она кого-нибудь?»

На этой мысли граф остановился.

«Отчего я не узнал, — подумал он с досадой, — она начинала быть так откровенна. Но узнать ее любовь к другому от нее самой — значит потерять ее навсегда. Но от кого же узнать? Соседи... их неловко спрашивать». Граф вспомнил об Иване Александрыче и позвонил в колокольчик.

— Позвать Ивана Александрыча, — сказал он вошедшему лакею.

Не прошло секунды, Иван Александрыч был уже в гостиной. Он давно стоял у дверей и боялся только войти.

— Пойдем, Иван, в кабинет, — сказал граф, уходя из гостиной. Оба родственника вошли в знакомый уже им кабинет. Граф сел на диван. Иван Александрыч стал перед ним, вытянувшись.

— Говори что-нибудь, Иван, — произнес граф.

— Что прикажете, ваше сиятельство?

— Например, сплетни здешние.

— Сплетни, ваше сиятельство?

— Да, сплетни, например, что здесь говорят про эту даму, которая у меня была здесь сейчас?

— Что говорят, ваше сиятельство, да мало ли что говорят! Хвалят-с, — отвечал Иван Александрыч, который, видя внимание, оказанное графом Мановской, счел за лучшее хвалить ее.

— За что же хвалят?

— За красоту, ваше сиятельство, — отвечал племянник, припоминая, что граф называл ее красавицей.

— А каково она живет с мужем?

— Дела семейные трудно судить, ваше сиятельство, кажется, что не очень согласно; впрочем, он-то..

— Он боров!

— Именно боров, ваше сиятельство, — отвечал Иван Александрыч и засмеялся, чтоб угодить графу.

— Так, стало быть, она не любит мужа?

— Не любит, ваше сиятельство, будьте спокойны, не любит.

— А другого кого-нибудь не любит ли?

— Другого-с?

— Да, нет ли слухов?

— Слухов-то нет, ваше сиятельство! — начал Иван Александрыч и остановился. Он вспомнил угрозы Эльчанинова.

— Ну, так что же, если слухов нет? — повторил граф.

— Слухов нет-с, а я кой-что знаю, — ответил Иван Александрыч. Он решительно не в состоянии был скрыть от графа узнанной им про Анну Павловну тайны, которой тот, как казалось ему, интересовался.

— Что же такое ты знаешь? — спросил Сапега с беспокойным любопытством.

— А знаю, ваше сиятельство... только, бога ради, не говорите, что от меня слышали.

— Не торгуйся, — сказал нетерпеливо граф.

— Извольте припомнить, как вы изволили посылать меня в Могилки, чтобы известить о вашем приезде?

— Ну?

— Вот я и приезжаю. Спрашиваю: «Дома господа?» — «Нет, говорят, барин уехал в город, а барыня в оржаном поле прогуливается». Ах, думаю, что делать?.. Пометался по полю туда-сюда; однако думаю: дай-ка пойду к Лапинской роще; там грибы растут, — не за грибами ли ушла Анна Павловна? Только подхожу к опушке, глядь, она как тут, да еще и не одна.

— Как не одна! С кем же?

— С Валерьяном Александрычем Эльчаниновым.

— Кто такой Эльчанинов?

— Помещик-с, молодой человек, образованный, умный. Ба-ба, думаю себе, вот оно что! Подхожу; переконфузились; на обоих лица нет; однако ничего: поздоровались. Я передал приказание вашего сиятельства. Анна Павловна ничего уж и не понимает! Иван Александрыч... Валерьян Александрыч... говорит и сама не знает что.

— Ты не лжешь ли, Иван? — спросил граф.

— Скорее жизни себя лишу, чем солгу вашему сиятельству! — отвечал Иван Александрыч.

— Но, может быть, он как гость приехал, и они гуляли? — спросил Сапега.

— Вот в том-то и штука, ваше сиятельство, что с мужем он незнаком. После, как поздоровались мы: «Пойдемте, — говорит Анна-то Павловна, — в усадьбу», а Эльчанинов говорит: «Прощайте, а я не пойду!» — «Ну, прощайте», говорит. Вот мы и пошли с нею вдвоем. «Что это, — говорю я, — Валерьян Александрыч не пошел в усадьбу?» — «Не хочет, говорит, незнаком с мужем». А сама так и дрожит. Ну, я что ж, и не стал больше спрашивать; еду потом назад, гляжу: Валерьян Александрыч дожидается и только что не стал передо мной на колени. «Вы, говорит, благородный человек, Иван Александрыч! Не погубите нас, не говорите никому!.. Люди мы молодые». — «Что мне, говорю, за дело, помилуйте». — «Нет, говорит, побожитесь». Я и побожился. Да уж для вашего сиятельства и божба нипочем: вам сказать и бог простит.

Теперь для графа все было ясно: Анна Павловна отвергала его искания, потому что любила другого. Мысль эта, которая, может быть, охладила бы пылкого юношу и заставила бы смиренно отказаться от предмета любви своей, эта мысль еще более раздражила избалованного старика: он дал себе слово во что бы то ни стало обладать Анной Павловной. Первое, что считал он нужным сделать, это прекратить всякое сношение молодой женщины с ее любовником; лучшим для этого средством казалось ему возбудить ревность Мановского, которого, видев один раз, он очень хорошо понял, какого сорта тот гусь, и потому очень верно рассчитывал, что тот сразу поставит непреодолимую преграду к свиданиям любовников. В деревне это возможно: молодой человек, после тщетных усилий, утомится, будет скучать, начнет искать развлечений и, может быть, даже уедет в другое место. Анна Павловна будет еще хуже жить с мужем; она будет нуждаться в участии, в помощи; все это представит ей граф; а там... На что женщина не решается в горьком и безнадежном положении, когда будут предлагать ей не только избавить от окружающего ее зла, но откроют перед ней перспективу удовольствий, богатства и всех благ, которые так чаруют молодость. Не удивляйтесь, читатель, тому отдаленному и не совсем честному плану, который так быстро построил в голове своей граф. Он не был в сущности злой человек, но принадлежал к числу тех сластолюбивых стариков, для которых

женщины — всё и которые, тонко и вечно толкуя о красоте женской, имеют в то же время об них самое грубое и материальное понятие. «Но как дать знать мужу? — продолжал рассуждать граф, — самому сказать об этом неприлично». Иван Александрыч был избран для того.

— Послушай, Иван, — сказал граф, — ты скверно поступаешь.

— Я, ваше сиятельство? — спросил тот, удивленный и несколько испуганный.

— Да, ты, — продолжал граф. — Ты видел, что жена твоего соседа гибнет, и не предупредил мужа, чтобы тот мог и себя и ее спасти. Тебе следует сказать, и сказать как можно скорее, Мановскому.

— Сказать!.. Да что такое я скажу, ваше сиятельство?

— Что ты видел его жену на тайном свидании с этим, как его?..

— Нет, ваше сиятельство, не могу, вся ваша воля, не могу; меня тут же убьет Мановский. Я знаю его: он шутить не любит!.. Да и Эльчанинов уж очень обидится!

— Ты страшный болван, — сказал граф сердито. — За что же тебя убьет Мановский? Ты еще сделаешь ему добро!.. А другой не может этого узнать: как он узнает?

— Оно так, ваше сиятельство! Все-таки сами посудите: я человек маленький!.. Меня всякий может раздать!.. Да и то сказать, бог с ними! Люди молодые... по-божески, конечно, не следует, а по-человечески...

— Поди же вон, — сказал граф. — Я не люблю мерзавцев, которые способствуют разврату!

Иван Александрыч чуть не упал в обморок.

— Помилуйте, ваше сиятельство, — сказал он плачевным голосом, — я не к тому говорю... Извольте, если вам угодно, я скажу.

— Давно бы так! — сказал граф более ласковым голосом. — Ты, по чувству чести, должен сказать, как дворянин, который не хочет видеть бесчестия своего брата.

— Конечно, ваше сиятельство. Я так и скажу; скажу, как дворянин дворянину.

— Так и скажи! Ступай! Но обо мне чтобы и помину не было; я только так говорю.

— Как можно-с!.. Можно ли ваше сиятельство мешать в эти дела?

— Ну, ступай!

Иван Александрыч вышел из кабинета не с такой поспешностью, как делал это прежде, получая от графа какое-либо приказание. В первый раз еще было тяжело ему поручение дяди, в первый раз он почти готов был отказаться от него: он без ужаса не мог представить себе минуты, когда он будет рассказывать Мановскому; ему так и думалось, что тот с первых же слов пришибет его на месте.

Х

Теперь прошу читателя вместе со мною перенестись на несколько минут в усадьбу Коровино, принадлежащую Эльчанинову, и посмотреть на домашнюю жизнь моего героя. Он жил в большом, но очень ветхом доме, выстроенном еще его отцом. Гостиная этого дома, как и в доме Задор-Мановского, была, по преимуществу, то место, где хозяин проводил свое время, когда бывал дома. Странный представляла вид эта комната с тех пор, как поселился в ней молодой барин. Вместо церемонности и чистоты, которыми обыкновенно отличаются гостиные в семейных помещичьих домах, она представляла страшный беспорядок: на столе и на диванах валялись разные книги, из которых одни были раскрыты, другие совершенно лишены переплета. По большей части это были прошлогодние журналы, переводные сочинения и несколько французских романов; ббльшим почтением, казалось, пользовались: Шекспир в переводе Кетчера и полные сочинения Гете на немецком языке. Они стояли на стоявшей в углу этажерке и даже были притиснуты мраморной дощечкой с сидящею на ней собакой. На круглом столе стояла матовая лампа; на полу и на окне были целые кучи табачного пепла и валялось несколько недокуренных сигар. На столе, под зеркалом, стоял очень хороший мраморный бюст Вальтер-Скотта. За рамкой портрета отца был заткнут портрет Щепкина. Рядом с портретом матери висела гравюра какой-то полуобнаженной женщины. Словом, тут было все, что бывает обыкновенно в грязных и холодных номерах, занимаемых студентами.

Спустя четыре дня с тех пор, как мы расстались с Эльчаниновым, он в длинном, польского покроя, халате

сидел, задумавшись, на среднем диване; на стуле близ окна помещался Савелий, который другой день уж гостил в Коровине. Молодые люди были почти друзья. Случилось это следующим образом: на другой день после приезда от вдовы Эльчанинов проснулся часов в двенадцать. Ему была страшная тоска и скука: он грустил по Анне Павловне. Забыв и ревность и неисполненное обещание, он страстно желал ее видеть. Ехать прямо не было никакой возможности. Задор-Мановский, конечно, не пустит его и на крыльцо. Два раза он подъезжал к Могилкам; два раза приходил на место свиданья, обходил кругом поле; но все было напрасно. Он не видал никого...

Грустный и растерзанный, возвратился он домой. «Что мне делать, что мне предпринять? — говорил он сам с собою, — нельзя ли послать человека, но где и как лакей может ее видеть?» Тут он вспомнил о поручении, которое сделал Савелию: может быть, он исполнил его, может быть, он был там и что-нибудь ему скажет.

С этим намерением он послал к Савелью письмо, которым приглашал его приехать к нему и посетить его, больного. Вместе почти с посланным явился и Савелий. После первых же приветствий нетерпеливый Эльчанинов спросил своего гостя: был ли он у Мановского?

— Нет еще, — отвечал тот.

— А скоро ли думаете быть?

— Дня через два.

— Зачем же так долго?

— Я видел Михайла Егорыча. Он велел мне послезавтра побывать у него.

Еще два дня, страшные, мучительные два дня, должен был дожидаться Эльчанинов, один, в скуке; в гости ехать он никуда не мог.

— Не сделаете ли вы мне одолжение? — сказал он, обращаясь к своему гостю?

— Какое?

— Пробудьте эти два дня у меня.

— Работа у нас теперь спешная: сенокос-с.

— Я к вам пошлю двух-трех мужиков, сколько вы хотите, — сказал Эльчанинов.

— Хорошо, — отвечал Савелий и остался.

Молодые люди начали разговаривать. Эльчанинов много говорил о женщинах, об обязанностях человека,

о различии состояний, о правах состояний, одним словом — обо всем том, о чем говорит современная молодежь. Савелий слушал со вниманием и только изредка делал небольшие замечания, и — странное дело! — при каждом из этих замечаний, сказанном простым и необразованным человеком, Эльчанинов сбивался с толку, мешался и принужден был иногда переменять предмет разговора. Результатом этой беседы было то, что Эльчанинов начал с полным уважением смотреть на Савелья. Он видел в нем очень умного человека. Целый день друзья проговорили без умолку. Ночью Эльчанинову пришлось в голову попросить Савелья передать Анне Павловне письмо. С этой мыслью он проснулся часу в девятом. Савелий, привыкший рано вставать, давно уже сидел, одевшись, у окна.

— Вы поздно встаете, — сказал он хозяину.

— Привычка, — отвечал Эльчанинов. — Впрочем, я вчера долго не спал. Мне было грустно.

— О чем?

— Я много имею причин грустить.

Савелий молча посмотрел на него.

— Например, мне теперь ужасно хочется видиться с одной женщиной, — продолжал Эльчанинов, — и не имею на это никаких средств.

— Что же вам мешает?

— Что обыкновенно мешает в этих случаях... Муж!..

Савелий улыбнулся.

— Вы говорите про Анну Павловну? — проговорил он.

— Однако вы догадливей, нежели я думал, — сказал Эльчанинов, решившийся окончательно посвятить в свою тайну Савелья, в благородство которого он уже верил.

— Да нетрудно и догадаться, — сказал тот.

— Я надеюсь, — сказал Эльчанинов, пожимая руку новому поверенному.

Савелий ничего не отвечал. В лице его видно было какое-то странное выражение.

— Я вас хотел попросить Савелий Никандрович, — начал Эльчанинов с небольшим волнением, — не передадите ли вы от меня письмо Анне Павловне?

Удивление изобразилось в лице Савелья.

— Письмо! — сказал он... — Разве вы переписываетесь?

— Я знал ее еще в Москве и там уже любил ее. Шесть лет, как я люблю ее одну, шесть лет, как для меня не существует другой женщины.

— Отчего же вы не женились на ней?

— Нас разлучили!.. И притом же она была дочь богатого человека!

— А может, она и пошла бы за вас?

— Может быть; но дело в том, что нас разлучили совершенно нечаянно: отец ее почти в один день собрался и уехал в свое имение.

— Отчего же вы за ними не поехали?

— Я не знал, куда они уехали.

— А разве этого нельзя было узнать?

Эльчанинов смешался.

— Я и сам не знаю, как это случилось, — начал он, поправившись, — но только мы потеряли друг друга из виду. Три года прожил я в адских мучениях, как вдруг услышал, что она здесь; бросил все, бросил службу, все надежды на будущность и приехал сюда, чтоб только жить близ этой женщины, видаться с нею; но и на этот раз удачи нет. Маленькая неприятность, которую я имел недавно с ее мужем, не позволяет мне бывать у них в доме. Переписка осталась единственным утешением; но и та, без вашей помощи, невозможна. Не откажитесь, добрый друг, сделать человека счастливым, дайте возможность хоть несколько вознаградить мои страдания. Вы себе представить не можете, как это ужасно! Желать!.. Стремиться!..

Эльчанинов вздохнул. Савелий слушал его очень внимательно.

— А Анна Павловна вас любит? — спросил он.

— Это очень щекотливый вопрос, — отвечал Эльчанинов, — впрочем, я вам скажу: она любит меня.

— Она очень несчастлива в замужестве! — сказал Савелий.

— Знаю, — отвечал мрачно Эльчанинов. — Я готов был почти убить этого господина; но что из этого — какая может быть польза! Скажите лучше, друг, исполните ли вы мою просьбу?

— Извольте! — отвечал Савелий.

Эльчанинов бросился его обнимать.

Весь остальной день приятели только и говорили, что об Анне Павловне, или, лучше сказать, Эльчанинов один

беспрестанно говорил об ней: он описывал редкие качества ее сердца; превозносил ее ум, ее образование и всякий почти раз приходил в ожесточение, когда вспоминал, какому она принадлежит тирану. Ночью он изготовил к ней письмо такого содержания:

«Бог вам судья, что вы не исполнили обещания. Боюсь отыскивать тому причины и заставляю себя думать, что вы не могли поступить иначе. Безнадежность увидеться с вами заставляет меня рисковать: письмо это посылаю с С... Н... Он добрый и благородный человек, в глубоком значении этого слова. Чтобы не умереть от грусти, я должен с вами видеться. Если пройдет несколько дней и я не увижусь с вами, не ручаюсь, что со мной будет... Я не застрелюсь... Нет! Я просто умру с печали... Прощайте, до свиданья».

Савелий ушел поутру, обещаясь в тот же день принести Эльчанинову ответ.

XI

В Могилках между тем шло, повидимому, прежним порядком. Задор-Мановский только что приехал из города. Анна Павловна не так хорошо себя чувствовала и почти лежала в постели. Прием графа сделал на нее самое неприятное впечатление. Оскорбленная его обращением, она едва в состоянии была скрыть неприятное чувство, которое начал внушать ей этот человек, и свободно вздохнула тогда только, как выехала от него и очутилась одна в своей карете; а потом мысли ее снова устремились к постоянному предмету мечтаний — к Эльчанинову, к честному, доброму и благородному Эльчанинову. Тотчас по приезде своем, не переменив даже платья, пошла она к Лапинской роще, в нетерпении скорее узнать, взял ли он письмо, и нет ли еще его там, потому что было всего восемь часов вечера, но никого не нашла. Со вниманием начала она осматривать то место дерева, где положена была записка, — там ее не было. На сердце Анны Павловны начинало становиться легче; но вдруг она заметила что-то белое, лежавшее на дне трещины, и с помощью прутика вытащила бумажку. — Это была ее записка. Все надежды рушились: она не будет его видеть завтра, может быть, никогда. Он рассердился и

оставил ее одну, опять одну, среди ее мук, в то время, когда ей угрожает еще новая опасность от графа. Не помня почти себя, она возвратилась домой и бросилась на кровать. Тысяча средств было придумано, чтобы известить Эльчанинова, но ни одно не было возможно, и, таким образом, прошли три страшные, мучительные дня; от Эльчанинова не было ни весточки. В припадке иступления Анна Павловна решилась идти пешком в усадьбу его, которая, она слыхала, в десяти всего верстах; идти туда, чтобы только видеться с ним и выпросить у него прощение в невольном проступке, и, вероятно бы, решилась на это; но приехал муж, и то сделалось невозможно. Сама не зная, что делать, бедная женщина притворилась больной и легла в постель. Михайло Егорыч возвратился на этот раз в более, казалось, добром и веселом расположении духа, нежели обыкновенно. Узнавши о болезни жены, он вошел в ее спальню и, чего никогда еще не бывало, довольно ласково спросил, чем именно она больна, и потом даже посоветовал ей обтереться вином с перцем, единственным лекарством, которым он сам пользовался и в целительную силу которого верил.

— Уж не сиятельные ли любезности уложили тебя в постель? — сказал он шутя.

Анна Павловна ничего не ответила.

Постояв еще немного в спальней, Мановский вышел, отобедал и потом, вытянувшись на диване в гостиной и подложив под голову жесткую кожаную подушку, начал дремать; но шум мужских шагов в зале заставил его проснуться.

Это был Савелий.

— Здорово, брат, — сказал хозяин, не поднимаясь с дивана и протягивая свою огромную руку гостю.

Мановский обходился с Савельем ласково, потому что часто нуждался в нем по хозяйству.

— Здравствуйте, — отвечал тот, садясь на ближайшее кресло.

— Что скажешь новенького?

— Вы говорили мне побывать у вас.

— Да, похлмости, брат, у меня на мельнице; черт ее знает что сделалось: не промалывает. Мои-то, дурачье, никак в толк взять не могут.

— Камни плохи?

— Новые: с полгода как купил. Посмотри, пожалуйста; сегодня некогда, а завтра.

— Мне до завтра нельзя остаться.

— Ну, полно, Савелий, погости, братец; скажи-ка лучше, здорова ли соседка твоя Клеопатра Николаевна?

— Я ее не видал. А ваша Анна Павловна?

— Больна, братец; должно быть, простудилась. Хилая она ведь такая.

— И очень больна? — спросил Савелий.

— Да, лежит.

«Увижу ли я ее, — подумал Савелий, — придется ночевать. Ахось, утром выйдет».

— Кто там? — закричал Мановский, услышавши небольшой шум.

Вместо ответа в комнату вошел Иван Александрыч, бледный, на цыпочках, как бы удерживая дыхание.

— А, ваше сиятельство! — сказал хозяин. — Прошу покорнейше пожаловать. Сколько лет, сколько зим не видались.

Мановский был в очень добром расположении духа.

Но Иван Александрыч вместо ответа только кланялся.

— Что это вы такие пересовращенные? Уж не уехал ли ваш дядюшка?

— Никак нет-с. Его сиятельство еще долго проживут.

— Благодарение господу!.. Садитесь, батюшка Иван Александрыч.

Иван Александрыч сел.

— Расскажите-ка нам, что поделывает ваш сиятельнейший дядюшка, какво поживает, какво кушает?

— То есть какво здоровье его сиятельства?

— Да, хоть какво здоровье?

— Очень хорошо-с.

— Благодарение господу! Да сохранит он его на долгие дни.

Иван Александрыч переминался.

— Я имею вам, Михайло Егорыч, нечто сказать, — проговорил он нетвердым голосом.

— Мне?.. А что бы такое?..

— Я могу сказать только один на один.

— Странно!.. Уж не хотите ли у меня для дядюшки попросить денег взаймы? Вперед говорю: не дам.

— У его сиятельства у самих денег целые горы.

— Так что бы такое это было?

— При людях не могу, Михайло Егорыч, ей-богу, не могу...

— При людях не можете?.. Делать нечего... выдь, брат Савелий, пройди к жене в спальню... Знаешь, где?

— Знаю, — сказал Савелий, обрадованный случаем повидаться с Анной Павловной, и вышел.

— Ну, говорите, — сказал Мановский.

Иван Александрыч медлил; лицо его было бледно, руки и ноги дрожали.

— Да что это с вами? — спросил Задор-Мановский, видя смущение его.

— Михайло Егорыч, — начал, наконец, дрожащим голосом Иван Александрыч, — я дворянин; не богатый, но дворянин; понимаете, в душе дворянин!

— Черт вас знает, что у вас там в душе? — сказал Мановский, которого начинали бесить загадочные речи соседа.

— В душе у меня сердце, Михайло Егорыч, — продолжал тот. — Я дворянин... мне горько, когда другого дворянина обижают.

— Что за околесица: дворянин... дворянина обижают!.. Да что вы такое городите?

— Михайло Егорыч! Вы не знаете, а вас обижают.

— Меня обижают? Кто меня обижает?

— Валерьян Александрыч Эльчанинов, — отвечал Иван Александрыч.

— Эльчанинов... Да вам кой черт на бересте это написал? — сказал, покрасневши, Мановский, думая, что Иван Александрыч хочет говорить про происшествие у вдовы.

— Я сам видел, Михайло Егорыч.

— Сами видели... да где же и что вы видели?

— Видел их вместе.

— Где вместе?

— Здесь, в поле, и, кажется, целовались.

При последних словах досада и беспокойство показались на лице Мановского.

— Да по кой черт в поле-то они сюда зашли? — спросил он.

— Видно, так согласились; я их нашел вдвоем и после с ней пришел сюда в Могилки.

— Сюда? Да сюда зачем же?

— Она меня пригласила к себе.

— Ну, так вы к ней бы и шли.

— Я и пришел к ним.

— Как пришел к ним? Да ведь кто вас пригласил?

— Анна Павловна-с...

— Жена моя? — произнес Мановский.

— Супруга ваша-с, — отвечал Иван Александрыч.

— Да ее-то где вы видели?

— Я вам докладывал, что я их видел в поле с Валерьяном Александрычем.

— Так это жена моя была... Ты ее видел с Эльчаниновым? — начал глухим голосом Мановский, приподнимаясь с дивана — и глаза его налились кровью и страшно взглянули на Ивана Александрыча, который ни жив ни мертв сидел на стуле и не мог даже ничего отвечать.

— А, милостивая государыня, — сказал Мановский, переломивши первое движение гнева, — так вот ты чем больна? Эй! — закричал он.

Явился лакей.

— Пошли сюда барыню, сейчас же... сию секунду.

Иван Александрыч поднялся со стула.

— Прощайте, Михайло Егорыч, — проговорил он тихим голосом.

— Сидите, вы мне нужны, — сказал Мановский повелительным голосом.

Иван Александрыч сел, и после нескольких минут молчания в гостиную вошла Анна Павловна, с довольно веселым лицом: она сейчас получила письмо от Эльчанинова. Вслед за ней вошел и Савелий.

— Поди сюда ближе, — сказал Мановский. — Этот человек, — продолжал он, указывая на Ивана Александрыча, — говорит, что видел тебя с любовником в здешнем поле... уличи его, что он лжет.

Смертная бледность покрыла лицо бедной женщины; дыхание остановилось у ней в груди.

— Вы, Иван Александрыч... — начала она, но голос ее прервался.

— Говорят тебе, оправдывайся, или я тебя убью! — заревел Мановский и схватил ее одной рукой за ворот капота, а другой замахнулся. В первый еще раз поднял он на жену руку. Негодование и какое-то отчаяние отразилось на бледном ее лице.

— Он не лжет, я люблю того человека и ненавижу вас! — вскричала она почти безумным голосом, и в ту же минуту раздался сильный удар пощечины. Анна Павловна, как пласт, упала на пол. Мановский вскочил и, приподняв свою громадную ногу, хотел, кажется, сразу придавить ее; но Савелий успел несчастную жертву схватить и вытащить из гостиной. Она почти не дышала.

— А! — ревел Мановский, — так ты так-то!.. — и обратился было к Ивану Александрычу, но тот уж скрылся и, что есть силы, гнал на беговых дрожках в Каменку.

— Люди! — произнес Мановский, как бы обеспамятев от гнева и садясь на диван.

В комнату вошел бледный лакей.

— Сейчас выгнать ее из моего дома! — сказал он каким-то страшно спокойным голосом.

В дверях показался Савелий.

— Михайло Егорыч, вспомните, что вы делаете! — сказал он. — Куда пойдет Анна Павловна?

— К черту! Пускай идет к любовнику.

— Бог вас накажет, Михайло Егорыч, вы и себя и ее губите.

Мановский не отвечал.

— Малой! — крикнул он.

В комнату явился прежний лакей.

— Выгнали ли?

— Барыня лежит в обмороке, — произнес робко лакей.

— Вытащить ее на руках! — проревел Мановский.

— Михайло Егорыч, — произнес Савелий.

— Убирайтесь к черту! — продолжал Мановский.

— Михайло Егорыч! Я на вас донесу предводителю!

— Хо-хо-хо! Ах, ты, лапотник! Пошел вон!

— Вспомните, Михайло Егорыч, бога! Не раскайтесь! — сказал Савелий и вышел.

Через несколько минут страшная сцена совершилась на могилковском дворе. Двое лакеев несли бесчувственную Анну Павловну на руках; сзади их шел мальчик с чемоданом. Дворовые женщины и даже мужики, стоя за углами своих изб, навзрыд плакали, провожая барыню. Мановский стоял на крыльце; на лице его видна

была бесчувственная холодность. Мщение его было удовлетворено. Он знал, что обрекал жену или на нищету, или на позор. Между тем двое слуг, несших Анну Павловну, прошли могилковское поле и остановились.

— Уж не умерла ли она?

— Боюсь, Сеня, дальше-то идти; положим здесь, авось опомнится и добредет куда-нибудь...

— Да только бы опомнилась.

— Ну, так класть, что ли? Лучше ночью можно сбегать сюда.

В это время из опушки леса вышел Савелий.

— Оставьте, братцы, ее, — сказал он, — как опомнится, я доведу ее куда-нибудь.

— Доведите, Савелий Никандрович, — сказали лакеи, — мы уж в той надежде будем.

Они сложили свою ношу. Мальчик положил возле небольшой чемодан.

— Прощайте, матушка Анна Павловна, — сказал Сенька, целуя бесчувственную руку госпожи.

Все они отправились в обратный путь. Савелий один остался с Анной Павловной. Что было ему делать? Куда отвести? К кому-нибудь из соседей? Он знал, что все ее не любят и не дадут прибежища, тем более, когда узнают причину ее изгнания. К Эльчанинову? Но это было... Он холостой человек, он любовник ее: скажут, что она убежала к нему. К себе? Не все ли это равно, что к Эльчанинову. Отвести ее к графу и просить его покровительства и защиты? Это казалось ему всего лучше. А что скажет Эльчанинов? Да и куда захочет она сама?

Размышления его были прерваны стоном, вырвавшимся из груди Анны Павловны. Она опомнилась и приподнялась с земли.

— Где я? — проговорила страдалица, обводя вокруг себя мутным взором.

— Здесь, со мной, Анна Павловна, — сказал Савелий.

— Здесь... Где здесь? Мне помнится, он кричал на меня... он хотел убить меня.

— Да-с... — отвечал Савелий; на глазах его навернулись слезы. — Но теперь вы, однако, успокойтесь: вам лучше. Пойдемте.

— Идти — куда? Домой?

Савелий ничего не отвечал.

— Куда же мы пойдем? Я не пойду домой. Мне страшно.

— Мы не пойдем в Могилки, — отвечал Савелий.

— Куда же идти?

— Мы пойдем... куда вы захотите.

— Погодите... Я понимаю... муж меня выгнал, он не убил меня, а только выгнал, и за что? За то, что я сказала, что люблю этого человека... Что же? Ведите меня к нему. Я хочу его видеть, хочу рассказать ему, как меня выгнал муж за него. Ведите меня, я давно его не видала, я обманула его.

— Но, Анна Павловна, как же это?.. Неприлично, — возразил было Савелий.

— Ведите меня к нему: у меня никого, кроме него, нет! Бога ради, ведите! — воскликнула бедная женщина, почти вставая перед Савельем на колени.

— Ну, суди меня бог, — проговорил он, махнув рукою, и потом поднял ее и почти на руках понес в Коровино к Эльчанинову.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Прошло два месяца после того дня, как в Могилках разыгралась страшная драма. Она исключительно была предметом разговоров всех соседей. В настоящее время их удивляло то странное положение, в котором держали себя лица, заинтересованные в этом происшествии, которое рассказывалось следующим образом: Анна Павловна еще до замужества вела себя двусмысленно — причина, по которой Мановский дурно жил с женою. Граф, знавший ее по Петербургу и, может быть, уже бывший с нею в некоторых сношениях, приехав в деревню, захотел возобновить с нею прошедшее, а потому первый приехал к Мановскому. Михайло Егорыч, ничего не подозревая собственно насчет графа, отпустил ее в Каменку одну. Но Анна Павловна отвергнула на этот раз искание графа, потому что уж любила другого, молодого, Эльчанинова. Граф из ревности велел присматривать за нею Ивану Александрычу, который застал молодых людей

в лесу и сказал об этом Мановскому. Михайло Егорыч, очень естественно, вышел из себя и сказал сгоряча жене, чтоб она оставила его дом, и Анна Павловна, воспользовавшись этим, убежала к своему любовнику, захвативши с собою все брильянтовые вещи, с тем чтобы бежать за границу, — самое удобное, как известно, место для убежища незаконных любовников. До сих пор все это было очень понятно; но далее становились втупик самые проныцательные умы. Анна Павловна не уезжала за границу, а жила, к стыду и поношению своего мужа, в усадьбе Эльчанинова. Михайло Егорыч, человек с амбицией, все это терпел и допускал ее жить невдалеке от него. С часу на час ожидали все с его стороны какого-нибудь решительного поступка; но он не предпринимал ничего и никуда не выезжал. К нему же ехать никто не смел. Не менее того удивлял и граф. Вместо того чтоб бросить и забыть изменившую ему Анну Павловну, он везде и всем ее хвалил и совершенно извинял и оправдывал ее поступок и, при всей своей деликатности, называл Мановского мерзавцем.

Между тем как в обществе ожидали с таким нетерпением развязки, менее всего, кажется, думали о своем положении главные действующие лица. Почти целые сутки после страшной катастрофы Анна Павловна находилась в каком-то бесчувственном состоянии. Наконец, к ней возвратилось сознание, и первый человек, которого она увидела и узнала, был бледный и худой Эльчанинов. Она настоятельно просила рассказать ей обо всем случившемся. Эльчанинов повиновался. Выслушав рассказ, она протянула руку к своему покровителю и со слезами благодарила за данное ей убежище.

— Анна! — вскричал в иступлении Эльчанинов. — Сам бог вырвал тебя из рук злодея и отдал мне. Ты навеки моя и должна мне принадлежать, как собственность.

— У меня никого нет, кроме тебя. Я хочу и должна принадлежать тебе! — сказала бедная женщина и без борьбы, без раскаяния бросилась в пропасть, в которую увлекал ее энергический, но слабый и ветреный человек. Но, как бы то ни было, с этой минуты для них началось блаженство. Целые дни проходили незаметно: они гуляли по полям, с лихорадочным трепетом читали и перечитывали, какие только были у них под рукой романы, которые

им напоминали их собственные чувства, и, наконец, целовались и глядели по целым часам друг на друга. Они забыли о толках людей, о двусмысленности своего положения, об опасностях, о будущем. Один только человек стал нарушать счастье Эльчанинова, — это Савелий. С тех пор как выздоровела Анна Павловна, он непрестанно говорил своему приятелю о необходимости куда-нибудь уехать, об опасности со стороны Мановского, который не остановится на этом. Но Эльчанинов никуда не мог тронуться с места: у него не было денег. Сначала он скрывал истинную причину от своего приятеля и старался выдумывать различные предлоги отложить отъезд. Наконец, должен был признаться откровенно. Лицо Савелья нахмурилось. В первый еще раз он увидел для любовников опасность с этой стороны. «При самом начале они нуждаются, — думал он, — но что же будет дальше?»

— Когда же у вас будут деньги? — спросил он Эльчанинова.

— У меня должны быть скоро небольшие... Впрочем, можно заложить имение, — отвечал Эльчанинов и со-лгал.

Имение было давно заложено. Кроме того, он имел еще долги, о которых, с тех пор как перестал видеть своих кредиторов, почти совершенно забыл.

— Ну, так поезжайте и заложите скорее, — говорил Савелий.

— Да, я поеду скоро, — отвечал Эльчанинов, чтоб что-нибудь сказать.

Анна Павловна не знала этих разговоров, которые происходили между друзьями, и только замечала, что Эльчанинов всякий раз, поговоривши с Савельем, становился скучным, но, впрочем, это проходило очень скоро.

Между тем время шло. Савелий попрежнему настаивал об отъезде; Эльчанинов попрежнему отыгрывался. Наконец, он, казалось, начал избегать оставаться вдвоем с своим приятелем, и всякий раз, когда это случалось, он или кликал слугу, или сам выходил из комнаты, или призывал Анну Павловну. Савелий замечал, хмурился и все-таки старался найти случай возобновить свои убеждения; но Эльчанинов был ловчее в этой игре: Савелью ни разу не случилось остаться наедине с ним.

Неожиданное обстоятельство несколько изменило порядок их жизни. Однажды, это было уже спустя два месяца, от графа привезли письмо. На конверте было написано: «Анне Павловне, в собственные руки». Оно было следующее:

«Милая моя Анна Павловна!

С прискорбием и радостью услышал я о постигшей вас участи и о перемене в вашей жизни. Не могу вас судить, потому что в глубине сердца оправдываю ваш поступок. Но за что же вы забыли меня? За что же вы поставили меня наряду с людьми, которые вам сделали много зла и желают еще сделать? Зачем же вы, отторгнувшись от них, отторглись и от меня? Я с этими людьми не разделяю и вообще мнений, а тем более мнения о вас. Я — старый друг вашего отца! Не отвергайте моей отеческой привязанности, которую питаю к вам. Может быть, она послужит вам в пользу, особенно в теперешних обстоятельствах. Приезжайте ко мне и приезжайте с ним! Я хочу видеть, достоин ли он любви вашей. Скажите ему, что я начинаю уже любить его, потому что он любим вами.

Остаюсь преданный вам

Граф Сапега».

Анна Павловна, прочитавши письмо, отдала его Эльчанинову. Оно ей было неприятно. Инстинкт женщины очень ясно говорил, что участие графа было не бескорыстное и не родственное, так что она не хотела было даже отвечать; но совершенно иными глазами взглянул на это Эльчанинов. Несмотря на то, что Анна Павловна пересказала ему еще прежде об объяснениях графа и об его предложениях, он обрадовался покровительству Сапеги, которое могло быть очень полезно в их положении, потому что хоть он и скрывал, но в душе ужасно боялся Задор-Мановского.

— Мне кажется, граф любит тебя просто, — сказал он, — иначе к чему бы ему предлагать при теперешних обстоятельствах свое участие?

Анна Павловна ничего не отвечала.

— Что ж мне написать к нему? — спросила она после минутного молчания.

— Поблагодарить и принять приглашение; я сам поеду с тобой, — отвечал Эльчанинов, решившийся, впрочем, никогда не отпускать Анну Павловну одну к графу, и тотчас же продиктовал ей ответ:

«Милостивый государь,
граф Юрий Петрович!

Благодарю вас за ваше участие. Бог вам заплатит за него! Я не забывала вас, я не отторгалась от вашей признательной дружбы; я помнила вас всегда, ценила и надеялась на вас, но не обращалась к вам потому, что только теперь еще едва поправляюсь от тяжелой болезни. Принимаю ваше приглашение и буду у вас с *ним*, когда вы прикажете; прошу только, чтобы нам не встретиться в вашем доме с кем-нибудь из соседей, так враждующих теперь против нас. Еще раз повторяя мою благодарность, имею честь пребывать

обязанная вами и проч.»

Письмо это было запечатано и отдано посланному.

Вскоре после того пришел Савелий. Эльчанинов на этот раз не избегал остаться с ним наедине. Савелий тотчас воспользовался удобным случаем.

— Наконец, я вас поймал, — сказал он. — Когда же вы, Валерьян Александрыч, поедете закладывать имение?

— Теперь, Савелий Никандрыч, не нужно схать; оставаться здесь больше нет опасности.

— Как не нужно? Мановский живехонек; вчера видел: к Клеопатре Николаевне приезжал!

— Он может жить, сколько ему угодно; но дело в том, что сегодня граф прислал к нам письмо и советовал быть спокойными, обещая своим покровительством охранить нас от всего.

— Я не понимаю, каким манером он может охранить вас и особенно Анну Павловну от мужа.

— Ах, Савелий Никандрыч, как вы мало знаете жизнь! — вскричал Эльчанинов. — Богатый и знатный человек... Да чего он не может сделать! Знаете ли, что одного его слова достаточно, чтобы усмирить мужа и заставить его навсегда отказаться от жены.

— Мужа, хоть бы и какого-то ни было, вряд ли кто может заставить отказаться от жены, а уж Мановского

и подавно! Вы, ей-богу, Валерьян Александрыч, очень уж как-то беспечны.

— Не беспечен я, а только лучше вас знаю людей и знаю, как они терпеливы к подобным проступкам.

— Так вы и не думаете уехать отсюда?

— Не вижу надобности.

— Валерьян Александрыч, уезжайте! — сказал умоляющим голосом Савелий. — Бога ради, уезжайте! Что такое вас удерживает?.. Неужели вам жаль денег?

При последних словах Эльчанинов вспыхнул.

— Я не дал вам, кажется, повода так думать обо мне. Я рискую для этой женщины, оставаясь здесь, может быть, жизнью; так что тут значат деньги?

— Зачем же рисковать жизнью? Лучше уезжайте!.. Отчего же вы не едете?

— Невозможно!

— Отчего невозможно?

— Во-первых, оттого, что Анна Павловна больна, во-вторых... да я не вижу: какая будет польза, если мы уедем? Мановский, если захочет сделать зло, сделает везде: будем ли мы здесь, в Петербурге или Москве! Там еще более!.. Здесь по крайней мере есть покровитель!..

— Как это можно! В городе большая разница, — возразил Савелий. — Там вы будете у него не на глазах. Вы можете жить по разным домам!.. Будет подозрение, да улики, по крайности, не будет... А покровитель? Помните, что вы сами мне говорили об этом покровителе?

— Что ж такое?.. Это была ошибка с моей стороны. Я сам хорошо вижу, что граф ее любит как друг ее отца, тем больше, что он ей дальний родственник.

При этом слове Савелий только усмехнулся.

— Уезжайте, Валерьян Александрыч, — повторил он, — вы еще, видно, и не знаете, что может быть.

— Что ж может быть? — произнес Эльчанинов с поддельной беспечностью.

— А то может, что Мановский, говорят, хочет выписать тестя, да и приедет сюда с ним!.. Каково это будет для Анны Павловны? А не то, пожалуй, и к правительству обратится... Не скроешь этого дела.

При последних словах Эльчанинов побледнел.

— Я знаю, все знаю, — проговорил он, — но что ж мне делать, если я не имею, с чем мне теперь ехать.

— Поезжайте и заложите имение, а там поступите на службу.

— Но как я поеду? Как ее оставлю одну? Я не могу с нею расстаться. Это выше моих сил.

— Поезжайте вместе.

— Вместе? Но вместе... на это у меня просто не хватит денег, — сказал, совершенно растерявшись, Эльчанинов.

— Граф вам обещал покровительство; попросите у графа, — сказал Савелий.

— У графа? Никогда! Да он и не даст.

— Может, и даст!.. Вы сами говорите: он любит Анну Павловну и родственник ей. Вы объясните ему откровенно.

— Ни за что на свете, чтобы я унизил себя до того, чтобы у подобного господина стал ханжить денег! Ни за что! — произнес решительно Эльчанинов.

— Что ж тут за унижение? — возразил Савелий. — Не хотите только!.. Кабы я знал, я бы лучше отвез Анну Павловну в город к отцу протопопу знакомому... Он, может, подержал бы ее, пока она своему папеньке написала.

— Благодарю вас, что вы так меня понимаете, — сказал обиженным голосом Эльчанинов.

— Что мне вас понимать? Я человек простой, а вы образованный!.. Взял я только на свою душу грех!..

— Очень сожалею, что прийняли для меня на свою душу грех, — сказал Эльчанинов, начинавший уже окончательно выходить из терпения.

Приход Анны Павловны прекратил их разговор.

Дня через четыре граф прислал человека с письмом, в котором в тот же день приглашал их к себе и уведомлял, что он весь день будет один. Часу в двенадцатом Анна Павловна, к соблазну всех соседей, выехала с Эльчаниновым, как бы с мужем, в одной коляске.

— Я встретил сейчас новобрачных! — сказал исправник губернскому предводителю, приехавши к нему и повстречавши действительно наших любовников.

— Каких новобрачных? — спросил тот.

— Эльчанинова с Мановской.

— Неужели они обвенчались?

— Нет-с, я шучу, — сказал исправник. — Только едут вдвоем и поворотили в Каменки.

— Господи, твоя воля! — сказал предводитель. — Что это такое делается!.. Этакая бесстыдница!..

— Да, ваше превосходительство, нечего сказать, еще и не бывало такой!.. Что-то Мановский?

— Бог его знает, сидит, — сказал предводитель.

— Да уж он что-нибудь и высидит, — заметил исправник.

— Но мне всех тут страннее граф, — продолжал предводитель, — то он действует так, то иначе.

— Непонятно, — подхватил исправник.

Одно и то же почти говорили во всех домах, с тою только разницею, что мужчины старались больше понять и разгадать, а дамы просто бранили Анну Павловну, объясняя все тем, что она женщина без всяких правил.

Между тем граф часу в первом пополудни был по-прежнему в своей гостиной: хотя туалет его был все так же изыскан, но он, казалось, в этот раз был в более спокойном состоянии духа, чем перед первым визитом Анны Павловны: он не ходил по комнате тревожными шагами, не заглядывал в окно, а спокойно сидел на диване, и перед ним лежала раскрытая книга. Ивана Александрыча не было около него. Граф прогнал его вскоре после того, как он произвел кутерьму у Задор-Мановского, чтобы отклонить от себя всякое подозрение насчет участия в открытии тайны. Бедный племянник скрывал это от всех и притворился больным. Вошедший слуга доложил о приезде Анны Павловны и Эльчанинова.

— Просить! — сказал граф и привстал с дивана.

Анна Павловна вошла первая, а за нею Эльчанинов.

— Здравствуйте, гордая Анна Павловна! — сказал граф. — Нет, я опять за старое, поцелуйте!

Анна Павловна повиновалась.

— Здравствуйте и вы, тоже гордый молодой человек, — прибавил он, протягивая Эльчанинову руку, которую тот принял с некоторым волнением: ему было как-то совестно своего положения.

— Здоровы ли вы?.. Поспокойнее ли? — спросил граф Анну Павловну, усадивши ее на диване.

Эльчанинов сел поодаль.

— Я здорова, граф, — отвечала она.

— Вас я не спрашиваю, — продолжал Сапега, обращаясь к Эльчанинову, — вы должны быть здоровы, потому что счастливы. Сядьте к нам поближе.

Эльчанинов пересел на ближнее кресло.

— Вы давно живете в деревне? — спросил его граф.

— Полгода, ваше сиятельство, — отвечал Эльчанинов.

— Только полгода? — повторил граф, посмотревши на Анну Павловну. — А где вы жили?

— В Москве.

— Служили там?

— Сначала учился в университете, а потом служил.

— А!.. — произнес протяжно граф и потом, как бы сам с собою, прибавил, — в Москве собственно службы для молодых людей нет.

— Кажется, или по крайней мере я это на себе очень чувствовал, — подхватил Эльчанинов. — Меня сдсдлали сверхштатным писцом, тогда как я и сносного почерка не имею.

Граф с улыбкой покачал головой.

— Вы, вероятно, не имели никаких связей, — произнес он совершенно равнодушным голосом.

— Решительно никаких, ваше сиятельство, кроме добросовестного желания трудиться, — отвечал Эльчанинов.

— Бог даст, вам и придет это время трудиться, а теперь покуда мы вас не отпустим на службу; живите здесь, в деревне, честолюбие отложите в сторону, вам всело и без службы.

— Мне надобно бы служить, граф, хоть затем, чтобы уехать отсюда.

— Да, я понимаю, что вы хотите сказать, — проговорил Сапега, — но я думаю, что я так люблю Анну Павловну и что покуда я здесь, то зорко буду следить за ее спокойствием; а там, бог даст, переедем и в Петербург, где я тоже имею некоторую возможность устроить вас.

Будь другой человек на месте Эльчанинова, он бы, может, понял, на что бил граф; он бы понял, что Сапега с намерением будил в нем давно уснувшее честолюбие; он бы понял, что тот хочет его удержать при себе, покуда сам будет жить в деревне, а потом увезти вместе с Анной Павловной в Петербург. Но — увы! — Эльчанинову только мелькнула богатая перспектива, которую может открыть ему покровительство такого человека, каков был граф. В первый раз еще мой герой вспомнил о службе, о возможности жить ею в Петербурге вместе с Анной Павловной и привязался к этой мысли.

— Мне очень нужно служить, ваше сиятельство, — сказал он.

— Увидим, увидим, — отвечал граф. — Не помешает ли еще нам Анна Павловна? Мы еще ее не спрашивали, да и не будем спрашивать покуда.

Во весь остальной день Сапега, бывши очень ласков с Анною Павловной, много говорил с Эльчаниновым и говорил о серьезных предметах. Он рассказывал, между прочим, как много в настоящее время молодых людей единственно посредством службы вышло в знать и составляют теперь почти главных деятелей по разным отраслям государственного управления. Так прошел целый день. Молодые люди уехали после ужина.

Граф сделал более, чем предполагал. Услышавши о страшной развязке, которою кончилось объяснение Ивана Александрыча с Мановским, и о бегстве Анны Павловны к Эльчанинову, Сапега, удивленный этим, еще более раздражился. Старческая прихоть превратилась в страсть; но в то же время он видел, что действовать решительно нельзя, а надобно ожидать времени. Привязать к себе участием молодых людей, гонимых всеми, казалось ему первым шагом, а там возбудить в душе молодого человека другую страсть — честолюбия, которая, по мнению его, должна была вытеснить все другие. Оставленная мужем, забытая любовником, Анна Павловна не могла уйти от него; Мановского он боялся и не боялся, как бояться и не бояться медведей. Но, однако, мы заметим, что граф выждал целый месяц войти в прямые сношения с молодыми людьми и в продолжение этого времени только хвалил и защищал Анну Павловну; но Мановский ни к чему не приступал, и граф начал.

II

Прошло еще три месяца. Действующие лица моего рассказа оставались в прежнем положении. Анна Павловна все так же жила у Эльчанинова; граф приглашал их к себе и сам к ним ездил; Мановский молчал и бывал только у Клеопатры Николаевны, к которой поэтому все и адресовались с вопросами, но вдова говорила, что она не знает ничего. Более любопытные даже приезжали к ней в усадьбу, чтобы посмотреть на оставленного мужа,

но им никогда не удавалось встретить Мановского, хотя они и слышали, что в этот самый день он проезжал в Ярцово.

У предводителя назначен был обед. Общество было прежнее, за исключением Мановского и Эльчанинова. Клеопатра Николаевна сидела на диване между Уситковой и Симановской. Перед ними стоял исправник. Прочие дамы сидели на креслах. Мужчины стояли и ходили. Все ожидали графа.

— Давно ли вы видели вашего несчастного опекуна? — спросил исправник Клеопатру Николаевну.

— Он был вчера у меня, — отвечала Клеопатра Николаевна. — Почему же несчастного? — прибавила она.

— Да как же? Жену отняли! — возразил исправник.

— Он, кажется, забыл об ней и думать; впрочем, я с ним никогда об этом не говорю.

— Я ее встретил, — сказал исправник, — пополнила, такая хорошенькая.

— Желаю ей, — отвечала с презрением вдова, — все подобные ей — хорошенькие, и вам, мужчинам, обыкновенно нравятся.

— Оно лучше; а то что толку, например, в вас, Клеопатра Николаевна? Ни богу, ни людям! — заметил с усмешкою исправник, немного волокита по характеру и некогда тоже ухаживавший за Клеопатрою Николаевною, но не успевший и теперь слегка подсмеивающийся над ней.

— Пожалуйста, избавьте меня от таких сравнений, — отвечала вдова обиженным тоном.

— Я вас не смею и сравнивать, — сказал исправник.

— Граф едет! — произнес громко Уситков, уже давно смотревший в окно.

При этом известии мужчины встали; дамы начали поправляться и сели попрямее; на всех лицах было небольшое волнение. Одна только Клеопатра Николаевна не увлеклась этим общим движением и еще небрежнее развалилась на диване. Хозяин был в наугольной. Услышав о прибытии графа, он проворно пробежал гостиную и, вышедши в залу, остановился невдалеке от дверей из лакейской. За ним последовали почти все мужчины. Граф быстро, но гордо прошел залу, приветствовал хозяина, поклонился на обе стороны мужчинам и вошел в гостиную. Казалось, это был другой человек, а не тот,

которого мы видели в его домашнем быту, при посещении Анны Павловны и даже при собственном его визите Мановскому. На лице его, бывшем тогда приветливым и радушным, написана была теперь важная холодность. Он сделал общий поклон дамам и, сопровождаемый хозяином, подошел к дивану. Две звезды светились на его фраке. Уситкова проворно вскочила, чтоб уступить ему свое место.

— Не беспокойтесь, сударыня, — сказал граф, вежливо поклонившись, и сел на пустое кресло, стоявшее у того конца дивана, где сидела Клеопатра Николаевна.

Вдова сделала движение, чтобы повернуться к нему лицом; она еще в первый раз видела графа. Хозяин и несколько мужчин стояли на ногах перед Сапегою.

— Как здоровье вашего сиятельства? — спросил хозяин.

— Благодарю вас, я здоров, только скучаю.

— Что мудреного, ваше сиятельство, после Петербурга, — заметил Уситков, — вот наше дело привычное, да и тут...

— Меня не любят здешние дамы! — прибавил граф, искоса взглянув на вдову. — Ни одна из них не посетила меня.

— Дамы, вероятно, боятся обеспокоить вас, граф, — сказала с жеманною улыбкою вдова.

— В том числе и вы, сударыня? — спросил Сапега.

— Я не имею чести быть знакома с вами, граф, — отвечала Клеопатра Николаевна, приподняв с гордостью голову.

Графу, видимо, понравился тон этого ответа.

— Так позвольте же мне завтрашний день устранить это препятствие и сделать вам визит.

— Много обяжете, граф.

— Ваш супруг?

— Я вдова и потому боюсь, что вам скучно будет у меня.

— Вы позволили мне быть у вас? — сказал граф с легким наклоном головы.

Вдова отвечала улыбкою: она торжествовала.

После этого легкого разговора граф встал и пошел к балкону, чтобы рассмотреть окружные виды. Лицо его, одушевившееся несколько при разговоре с Клеопатрою Николаевною, сделалось попрежнему важно и холодно.

Вслед за ним потянулись мужчины; граф начал разговаривать с хозяином.

— Мне говорили, что он совершенный старик! — сказала Клеопатра Николаевна Симановской.

— Какой же старик; я вам говорила, — отвечала та, — теперь еще что? А посмотрели бы вы на него у Мановских.

Вдова сделала гримасу.

— Каждый мужчина с подобными женщинами бывает любезнее, потому что они сами вызывают их на то, — сказала она с презрительною улыбкою.

В это время в гостиную вошел высокий мужчина. Удивление и любопытство показалось на всех лицах. Это был Задор-Мановский. Он прямо подошел к хозяину, отдал вежливый поклон графу, на который Сапега отвечал сухо, потом, поклонившись дамам, подал некоторым мужчинам руку и начал с ними обыкновенный разговор. При его приходе Клеопатра Николаевна несколько изменилась в лице; физиономия графа сделалась еще важнее и серьезнее. Что касается до хозяина и прочих гостей, то они чувствовали некоторый страх и не знали, как себя держать. Оказать внимание Мановскому? Но как покажется это графу, который называл его мерзавцем и покровительствовал его жене. Не замечать Мановского они не могли, потому что чувствовали к нему невольное уважение; кроме того, им хотелось поговорить с ним и, если возможно, выведать, что у него на душе, тем более, что все заметили перемену в лице Мановского. Он как будто бы постарел, обрюзг и похудел. Недоумевая таким образом, все, однакож, были суще обыкновенного с Михайлом Егорычем; но он как бы не замечал этого и, поговоря с мужчинами, подошел к дамам, спросил некоторых о здоровье и сел около Клеопатры Николаевны, которая опять несколько сконфузилась.

— Поздравьте меня, Михайло Егорыч, — сказала она, — ко мне завтра будет граф.

— Зачем? — спросил Мановский, взглянувши пристально на вдову.

— Сам напросился.

— Знаю я, как он напросился, — сказал Михайло Егорыч, насупившись. — Мне бы нужно переговорить с Алексеем Михалычем, — продолжал он, помолчав.

— С дядей?

— Да.

— О чем?

— Черт знает, — говорил Мановский, не отвечая на вопросы Клеопатры Николаевны, — никогда нельзя приехать по делу: вечно полон дом сволочи... Где его кабинет?

— Из коридора первая комната, стеклянные двери.

— Там никого нет?

— Я думаю.

— Я теперь пойду туда, позовите его ко мне; я ему имею кой-что сказать.

Проговорив это, Мановский встал и ушел.

— О чем это с вами говорил Михайло Егорыч? — спросила Клеопатру Николаевну Симановская, давно уже обмиравшая от любопытства.

— Все по этой проклятой опеке, — отвечала вдова.

— А о жене ничего не говорил?

— Отвяжитесь вы, бога ради, с этой женой, — отвечала Клеопатра Николаевна, которая после разговора с Мановским была не в духе.

— Ах, как интересно знать, что он думает о жене, — произнесла Симановская.

— Спросите его сами.

— Сохрани бог!

— Напрасно, я бы советовала...

— Я могу обойтись и без ваших советов! — возразила, вспыхнувши от досады, Симановская, и затем обе дамы замолчали. Клеопатра Николаевна, посидев немного, вышла в диванную и прошла в девичью, где, поздоровавшись с целою дюжиною горничных девушек и справившись, что теперь они работают, объявила им, что она своими горничными очень довольна и что на прошлой неделе купила им всем на платья прехорошенькой холстинки. После того она снова вернулась в гостиную и, подошедши к дяде, который с глубоким вниманием слушал графа, ударила его потихоньку по плечу. Старик обернулся.

— Вас спрашивают, mon oncle! ¹

— Зачем, душа моя?

— Нужно-с.

¹ дядя! (франц.)

Старик, извинившись перед графом, пошел было в диванную.

— В кабинет, топ описе.

— Завертела ты меня, — говорил старик, повернувшись.

— Я люблю командовать! — проговорила, как бы ни к кому собственно не обращаясь, Клеопатра Николаевна.

— Право? — спросил граф, весьма хорошо понявший, что эта фраза сказана была собственно для него.

— Очень... Однако я у вас отняла слушателя, позвольте мне занять его место, — сказала Клеопатра Николаевна, вставая на место дяди.

— Вы очень снисходительны, сударыня, — сказал граф с улыбкою, — мы говорили о весьма скучном для молодой дамы предмете.

— О каком же это?

— О хозяйстве.

— Ах, боже мой! Я очень люблю сельское хозяйство, хочу даже у себя сделать эту шестипольную систему. Это очень удобно и выгодно. — Клеопатра Николаевна, видимо, хотела похвастать перед графом своими агрономическими сведениями.

— Ба!.. Да вы большая агрономка, — сказал граф.

— Нет! Я только деревенская жительница.

— У Клеопатры Николаевны всегда рождается прекрасный хлеб! — заметил Уситков.

— Это в новом вкусе, — заметил граф, — молодая, прекрасная и — образованная хозяйка.

— Благодарю, граф, за насмешку.

— Почему ж такая недоверчивость к моим словам?

— Недоверчивость?.. — повторила с довольно милой гримасой вдова. — Мужчинам нельзя доверять не только в важных вещах, но даже и в пустяках.

— Я принадлежу к старому поколению.

— Это все равно: никому нельзя доверять, и я одному только человеку в жизнь мою верила.

— А именно?

— Моему мужу.

— А теперь?

— А теперь никому не верю, не верила и не буду верить.

— Это ужасно!

— Ничего нет ужасного!.. «Я мертвецу святыней слова обречена!» — произнесла с полунасмешкою Клеопатра Николаевна и хотела еще что-то продолжать, но в это время вошел хозяин с озабоченным и сконфуженным лицом. Он значительно посмотрел на Клеопатру Николаевну и подошел к графу.

— Вы не dokonчили вашей мысли, — сказал Сапега замолчавшей Клеопатре Николаевне.

— Нет, я все сказала, — отвечала та, взглянув искоса в залу и увидев входящего Мановского. — Теперь мое место опять займет дядюшка.

С этими словами Клеопатра Николаевна отошла, села на прежнее место и начала разговаривать с Уситковой. Михайло Егорыч подошел к толпе мужчин, окружавшей графа, и, казалось, хотел принять участие в разговоре. Но Сапега отошел и сел около дам. Он много шутил, заговаривая по преимуществу с Клеопатрой Николаевной, которая, впрочем, была как-то не в духе. Мановский уехал, поклонясь хозяину и графу и сказав что-то на ухо Клеопатре Николаевне. Вдова, по отъезде его, сделалась гораздо веселее и любезнее и сама начала заговаривать с графом, и вечером, когда уже солнце начало садиться и общество вышло в сад гулять, граф и Клеопатра Николаевна стали ходить вдвоем по одной из отдаленных аллей.

— Отчего вы нам, граф, не дадите бала? — сказала она.

— У меня нет хозяйки! — возразил граф.

— Ах, боже мой! Каждая из нас готова с радостью принять на себя эту обязанность.

— Например, если я вас попрошу?

— С большим удовольствием, только сумею ли? Впрочем, вы меня научите.

— Я буду сам вас слушаться.

— Желала бы хоть ненадолго повелевать вами.

— Скоро соскучитесь; старики, как дети, скоро надоедают.

— Их не надобно дразнить.

— А каким образом вы это сделаете? — спросил граф.

— Очень просто: надобно их, как и детей, то пожурить, то приласкать, — отвечала вдова.

— Вы опасная для стариков женщина! — проговорил Сапега.

— И они для меня опасны!

— Желал бы убедиться в том.

— Испытайте. Но, впрочем, вам невозможно, вы не старик! — объяснила Клеопатра Николаевна.

Граф посмотрел на нее: не совсем скромное и хорошего тона кокетство ее, благодаря красивой наружности, начинало ему нравиться. В подобных разговорах день кончился. Граф уехал поздно. Он говорил по большей части со вдовою. Предпочтение, которое оказал Сапега Клеопатре Николаевне, не обидело и не удивило прочих дам, как случилось это после оказанного им внимания Анне Павловне. Все давно привыкли сознавать превосходство вдовы. Она уехала вскоре после графа, мечтая о завтрашнем его визите.

Хозяин после разговора с Мановским был целый день чем-то озабочен. Часа в два гости все разъехались, остался один только исправник.

— Вы, Алексей Михайлыч, изволите сегодня быть как будто расстроены! — сказал он, видя, что предводитель сидел, потупя голову.

— Будешь расстроен, — отвечал старик, — неприятность на неприятности.

— Что такое случилось?

— Как что? Видели, сокол-то приезжал.

— Какой?

— Мановский, господи боже! Что это за человек!

— Да что такое? — повторил исправник, сильно заинтересованный.

— Просит у меня... да вы, пожалуйста, никому не говорите... просит, дай ему удостоверение в дурном поведении жены. Хочет производить формальное следствие и хлопотать о разводе. Вы, говорит, предводитель, должны знать домашнюю жизнь помещиков! А я... бог их знает, что у них там такое!.. Она мне ничего не сделала.

— Как же вы намерены поступить?

— Сам не знаю; теперь покуда отделался, сказал, что даже и не слыхал ничего; так, говорит, сделайте дознание. Что прикажешь делать! Придется дать. Всем известно, что она живет у Эльчанинова; так и напишу, что действительно живет, а в каких отношениях — не знаю.

— Да, так и напишите, что точно живет, а как — неизвестно.

— Оно так, да все кляузы.

— Конечно, кляузы, и кляузы неприятные; а мы вот, ваше превосходительство, земская полиция, век живем на этаких кляузах.

— И не говорите уж лучше! — подтвердил добродушно старик.

III

В Коровине тоже происходили своего рода сцены. Эльчанинов после поездки к графу сделался задумчивым и рассеянее против прежнего. Казалось, какая-то мысль занимала его. Он не говорил уже беспрестанно с Анной Павловной и часто не отвечал даже на ее ласки. С Савельем он был как-то сух и попрежнему избегал оставаться с ним наедине. Впрочем, тот однажды нашел случай и спросил его: придумал ли он какое-нибудь средство уехать, но Эльчанинов, рассказав очень подробно весь свой разговор с графом, решительно объявил, что он без воли Сапеги ничего не хочет делать и во всем полагается на его советы. После этого Савелий перестал говорить и только иногда долго и долго смотрел на Анну Павловну каким-то странным взором, потом вдруг опускал глаза и тотчас после того уходил. Посещения его стали реже, но продолжительнее; как будто бы ему было тяжело прийти, а пришедши — трудно уйти.

Анна Павловна начала замечать перемену в Эльчанинове. Сперва она думала, что он болен, и беспрестанно спрашивала, каково он себя чувствует. Эльчанинов клялся, божился, что он здоров, и после того старался быть веселым, но потом вскоре впадал опять в рассеянность. Мой герой думал о службе.

Жизнь в столице, — обширное поле деятельности, наконец, богатство и почти несомненная надежда достигнуть всего этого через покровительство знатного человека, — вот что занимало его теперь. Любовь, не представлявшая ничего рельефного, ничего выпуклого, что обыкновенно действует на характеры впечатлительные, но не глубокие, не могла уже увлекать Эльчанинова; он был слишком еще молод да и по натуре вряд ли способен к семейной жизни. Ему хотелось перемен, новых впечатлений, и он думал, что все это может доставить ему служба, и думал о том беспрестанно. Были даже минуты, когда ему приходило в голову, что как бы было хорошо,

если бы он был совершенно свободен — не связан с этой женщиною; как бы мог он воспользоваться покровительством графа, который мог ему доставить место при посольстве; он поехал бы за границу, сделался бы секретарем посольства, и так далее... Увлечшись, он начинал верить, что Сапега оказывает ему ласки и обещает покровительство за личные его достоинства. В этой мысли поддерживал его сам граф, который, бывши с ним весьма любезен, постоянно и тонко намекал на его необыкновенные способности и жалел только о том, что подобный ему молодой человек не служит и даром губит свой век. Эльчанинов очень часто ездил в Каменку и каждый раз возвращался погруженный в самого себя.

Когда Анна Павловна убедилась, что Эльчанинов здоров, вдруг страшная мысль, что он разлюбил ее, пришла ей в голову. Ей представилось, что он тяготится ею, он, единственный человек, который остался у ней в мире. Это было выше сил. Она хотела молиться, чтобы хоть несколько облегчить свои муки, и не могла. О, как эти страдания далеко превосходили все прежние! Ее опять не любит близкий человек, и какой близкий, которого она сама страстно любила, привязанность к которому наполняла все ее сердце. Он, может быть, не позволит ей любить себя. Ее ласки будут ему в тягость. Он бросит ее одну, без имени, без средств, — и что будет тогда с нею? Целую ночь она протравила и проплакала и, проснувшись, была так худа и бледна, как бы после тяжелой болезни. Эльчанинов заметил это.

— Что с тобою, Анета? — спросил он.

— Я дурно спала, — отвечала Анна Павловна слабым голосом.

— Ты на себя непохожа, — продолжал Эльчанинов, взглядываясь ей в лицо. — Что с тобою?

— Я ночью думала: что если ты меня разлюбишь, покинешь?..

— К чему эти мысли, ангел мой?.. Я люблю тебя и буду любить! — отвечал довольно холодно Эльчанинов.

Анна Павловна не могла долее скрывать мучительной для нее мысли. В невыносимом волнении упала она головой на колени Эльчанинова и зарыдала.

— О, не покидай меня! — вскричала она. — Я вижу, ты скучаешь со мною?.. Я тебе в тягость?.. Ты разлюбил меня?..

Этого сильного движения отчаяния и мольбы, которые сверх обыкновения обнаружила Анна Павловна, слишком было достаточно, чтобы снова хоть на некоторое время возбудить в Эльчанинове остывающую страсть. Он схватил ее в объятия.

— Мне разлюбить тебя! Когда моя жизнь, мои надежды, вся моя будущность сосредоточены в тебе! Оттолкнуть тебя!.. О господи!.. Скорей я сделаюсь самоубийцею!.. Anette! Anette! И ты могла подумать?.. Это горько и обидно!.. Откуда пришли тебе эти черные мысли?..

— Ты был все это время печален и задумчив! — говорила, несколько успокоившись, молодая женщина.

— Задумчив?.. Да знаешь ли ты, о чем я думал? — начал Эльчанинов. — Я думал о тебе, о твоей будущности; думал, как бы окружить тебя всеми удобствами, всеми благами жизни, думал сделать себя достойным тех надежд, которые ты питаешь ко мне. А ты меня ревнуешь к этим мыслям?.. Это горько и обидно! — И он снова обнял ее и посадил с собою на диван.

— Прости меня, — сказала Анна Павловна, — ты был задумчив, и я подумала...

— Подумала... Вот как вы, женщины, дурно знаете нас. Но ты не должна быть похожа на других. Наша любовь ни с кем ничего не должна иметь общего: из любви ко мне, ты должна мне верить и надеяться; из любви к тебе, я буду работать, буду трудиться. Вот какова должна быть любовь наша!

Говоря это, Эльчанинов не лгал ни слова, и в эти минуты он действительно так думал; в голосе его было столько неотразимой убедительности, что Анна Павловна сразу ему поверила и успокоилась. Во весь остальной день он не задумывался и говорил с нею. Он рассказывал ей все свои надежды; с восторгом описывал жизнь, которую он намерен был повести с нею в Петербурге. Вечером пришел Савелий. Лицо его было мрачнее обыкновенного; он молча поклонился и сел.

— На меня сегодня поутру рассердилась Анна Павловна, — сказал Эльчанинов.

Савелий посмотрел на Мановскую.

— За что-с? — спросил он.

— За то, что я иногда задумывался.

Савелий ничего на это не сказал.

— Тогда как, — продолжал Эльчанинов, как бы стараясь оправдаться перед приятелем, — я и задумывался о ней самой, об ее будущности.

— Что же вы думали об их будущности? — сказал Савелий и потупился.

Эльчанинов несколько замялся; впрочем, после минутного размышления, он начал:

— Во-первых, я думал о моей службе в Петербурге. Я буду получать две тысячи рублей серебром, это верно, — граф сказал. И если к этому прибавить мою тысячу рублей серебром, значит, я буду иметь три тысячи рублей — сумма весьма достаточная, чтобы жить вдвоем.

Что-то вроде улыбки пробежало по лицу Савелья, но Эльчанинов, увлеченный своею мыслью и потому ничего уже не замечавший, что вокруг него происходило, продолжал.

— Как это будет хорошо! — воскликнул он. — А тут, бог даст, — прибавил он, обращаясь к Савелью, — и вы, мой друг Савелий Никандрыч, переедете к нам в Петербург. Мы вам отведем особую комнату и найдем приличную службу. Что, черт возьми, губить свой век в деревне?.. Дай-ка вам дорогу с вашим умом, как вы далеко уйдете.

Савелий опять ничего не отвечал. Видимо, что ему было даже досадно слушать этот вздор.

— Мне бы с вами надобно переговорить, Валерьян Александрыч! — сказал он после минутного молчания и сам встал.

— Что такое? — спросил Эльчанинов, уж нахмурившись.

— По одному моему делу, — отвечал Савелий, показывая головой на зало.

«Ну, старые песни», — подумал Эльчанинов, и оба приятеля вышли.

— Вчера я был на почте, — начал Савелий, — и встретил там человека Мановского. Он получил письмо с черною печатью. Я, признаться сказать, попросил мне показать. На конверте написано, что из Кременчуга, а там живет папенька Анны Павловны. Я боюсь, не умер ли он?

— Если он и умер, я в этом совершенно не виноват. Что же мне делать? — отвечал Эльчанинов, пожав плечами.

— Вы прикажите по крайней мере, чтобы оно не дошло как-нибудь до Анны Павловны.

— Дойти до Анны Павловны оно никоим образом не может. Я давно так распорядился, чтобы собаки из Могилок сюда не пускали.

— Да вы ведь так только это говорите! А тут смотришь... — проговорил Савелий и, не докончив фразы, ушел вскоре домой.

— О чем с тобою по секрету говорил Савелий Никандрыч, — спросила Анна Павловна.

— Хлеба у меня займы просил; бедняк ведь он ужасный! — отвечал Эльчанинов.

— Он очень добрый и хороший человек, — сказала Анна Павловна.

— О, это идеал честности и благородства! — отвечал Эльчанинов и потом, обняв и прижав к груди Анну Павловну, начал ей снова говорить о службе, о петербургской жизни.

Анна Павловна тоже была счастлива, потому что единственный друг ее любил ее попрежнему.

Проснувшись на другой день, Эльчанинов совершенно забыл слова Савелья о каком-то письме и поехал в двенадцать часов к графу. Анна Павловна, всегда скучавшая в отсутствие его, напрасно принималась читать книги, ей было грустно. В целом доме она была одна: прислуга благодаря неаккуратности Эльчанинова не имела привычки сидеть в комнатах и преблагополучно проводила время в перебранках и в разговорах по избам. Кашель и шаги в зале вывели Анну Павловну из задумчивости.

— Кто там? — спросила она. Вместо ответа послышались снова шаги. Анна Павловна вышла.

— Здравствуйте, матушка Анна Павловна! Еще привел бог вас видеть, — говорил могилковский Сенька, подходя к руке ее.

Анна Павловна вся побледнела.

— Что тебе надобно? — сказала она испуганным голосом.

— Барин прислал вам письмо, — отвечал Сенька и подал ей большой конверт.

— От кого? — говорила Анна Павловна, принимая дрожащими руками конверт.

— Не знаю, сударыня-матушка, вчерась я барину привез с почты, не знаю.

— Благодарю, — сказала Мановская, стараясь скрыть беспокойство. — Вот тебе, — продолжала она, взяв синенькую бумажку из брошенного бумажника Эльчанинова, — вот тебе.

Сенька взял ассигнацию, поклонился и ушел. Анна Павловна вошла в гостиную. Тайное предчувствие говорило ей, что письмо было для нее роковое. Она едва имела силы разломить печать. Из конверта выпали два письма. Одно из них было от мужа, другое написано женской рукой. Анна Павловна схватила последнее и быстро пробежала глазами, но болезненный стон прервал ее чтение, и она без чувств упала на пол, и долго ли бы пробыла в этом положении, неизвестно, если бы Эльчанинов не вернулся домой. Увидев Анну Павловну одну без чувств, он сначала не мог сообразить, что такое случилось, и стал кликать людей. Старуха-ключница, прибежавшая на его зов, переложила бесчувственную Анну Павловну на постель и стала на нее брызгать водою с камушка, думая, что барыню кто-нибудь изурочил. Эльчанинов, как полоумный, вошел в гостиную. Ему попались на глаза письма. Вспомнив тут о предостережениях Савелья, он схватил их и прочитал.

— Лев просыпается! — воскликнул он, схватив себя за голову.

Лев действительно начинал просыпаться. Одно письмо было его руки и такого содержания:

«Посылаю вам, милостивая государыня, письмо вашей тетки, извещающее о смерти вашего отца, которая последовала сейчас же по получении им известия о побеге вашем в настоящее местожительство ваше.

Остаюсь известный вам

Задор-Мановский».

Теткино письмо было следующее:

«Почтеннейший Михайло Егорыч!

Ужасное известие ваше о побеге от вас недостойной моей племянницы мы получили, и бедный Павел Петрович, не в состоянии будучи вынести посрамления чести своей фамилии, получил паралич и одночасно скончался.

И и прочие родные навсегда отказываемся от дочери почтенного Павла Петровича, который лежит теперь покойно в сырой земле. Не могу вам описать, в какую повержена я горесть. Теперь жду из гимназии племянников; за ними я тотчас же послала после смерти их родителя. Похороны справили, как следует, хоть и пришлось занять. После покойного осталось всего 15 руб.; а один покров стоил полтораста. Не забывайте нас и не можете ли нам чем-нибудь.

Остаюсь с почтением тетка ваша

Марья Кронштейн».

Прошло полчаса. Анна Павловна начинала приходить в чувство, а Эльчанинов все еще продолжал бесноваться. Сидя в гостиной, он рвал на себе волосы, проклинал себя и Мановского, хотел даже разбить себе голсу об ручку дивана, потом отложил это намерение до того времени, когда Анна Павловна умрет; затем, несколько успокоившись, заглянул в спальню больной и, видя, что она открыла уже глаза, махнул ей только рукой, чтоб она не тревожилась, а сам воротился в гостиную и лег на диван. Через несколько минут он спросил себе трубку, крикнув при этом довольно громко, и снова начал думать о петербургской жизни и о службе при посольстве.

IV

На другой день после предводительского обеда, часу в первом, Сапега, в богатой венской коляске, шестериком, ехал в Ярцово с визитом к Клеопатре Николаевне. Он был в очень хорошем расположении духа. Он видел прямую возможность приволокнуться за очень милою дамой, в которой заметил важное, по его понятиям, женское достоинство — *эластичность тела*.

Клеопатра Николаевна встретила графа в зале и ввела его в гостиную. На тех же самых широких креслах, как и при посещении Эльчанинова, сидел Задор-Мановский. При входе графа он встал, поклонился и опять сел на прежнее место. Гость и хозяйка уселись на диване. Граф начал разговор о бале, который намерен был дать и на котором Клеопатре Николаевне предстояло быть хозяйкою. Он думал этим вызвать вдову на любезность, но

Клеопатра Николаевна конфузилась, мешалась в словах и не отвечала на вопросы, а между тем была очень интересна: полуоткрытые руки ее из-под широких рукавов капота блестели белизной; глаза ее были подернуты какою-то масляною и мягкою влагою; кроме того, полная грудь вдовы, как грудь совершенно разившейся тридцатилетней женщины, покрытая легкими кисейными складками, тоже производила свое впечатление. Граф начал таять. Задор-Мановский, ни слова не проговоривший, но в то же время, кажется, внимательно следивший за гостем и хозяйкой, вдруг встал и взялся за картуз.

— Куда же? — спросила с живостью Клеопатра Николаевна.

— Домой! — отвечал Мановский.

В лице его было видно что-то вроде улыбки.

— Посидите, — проговорила вдова.

Мановский, не отвечая, поклонился графу и вышел. Клеопатра Николаевна как будто ожила.

— Слава богу! — сказала она, не могши удержать радостного движения.

— Как я рад, что вы разделяете со мною одно чувство к этому человеку! — заметил Сапега.

— Ах, да... — произнесла Клеопатра Николаевна, — я до того его ненавижу, что не могу ни думать, ни говорить ничего при нем.

— Зачем же вы принимаете его? — сказал граф, взглянув пристально на вдову.

— Он опекун моей дочери, — отвечала Клеопатра Николаевна.

— Обожатель ваш! — прибавил граф с улыбкой.

— *Fi donc!*¹ — вскричала вдова. — Он не смеет этого и подумать. Забудемте его. Я еще не поблагодарила вас за ваше посещение.

— Готов с вами забыть всех, кроме вас! — отвечал Сапега.

— Не льстите, граф, а то я не стану верить вашим словам.

— Одному слову только поверьте.

— Какому?

— Вы прекрасны.

Вдова жеманно опустила голову.

¹ Фи! (Франц.)

— Верите? — спросил граф.

— К чему вы это говорите? — сказала Клеопатра Николаевна.

— Сердце заставляет говорить меня.

Вдова сделала кокетливую гримасу.

— Знаете ли, какую горькую истину я скажу вам про ваше сердце? Оно влюбчиво, — проговорила она внушительным тоном.

— Да, это была бы правда, если бы все женщины походили на вас..

— А разве Мановская похожа на меня?

Граф немножко смешался.

— Что ж Мановская? — проговорил он. — Я покровительствую ей, и больше ничего.

— А из чего вы ей покровительствуете?

— Боже мой! Она дочь моего старого друга, — сказал граф совершенно невинным голосом.

— Желала бы верить, — проговорила Клеопатра Николаевна после нескольких минут молчания.

— О, верьте, верьте мне во всем! — подхватил Сапега.

— В чем еще? — спросила вдова, как бы удивленная.

— В то, что я вас люблю, — прошептал старик, прижимая руку к сердцу.

Клеопатра Николаевна вздрогнула.

— Меня, граф? — повторила она, как бы совершенно растерявшись. — Что вы это говорите?.. К чему вы это говорите?.. Вы, меня?.. Так скоро?.. Нет, граф, это невозможно!..

— Люблю вас! — воскликнул Сапега и, сразу схватив Клеопатру Николаевну за руки, начал их целовать и прижимать к груди.

— Пустите, граф, пустите! Нет, это ужасно!.. Это невозможно, — говорила Клеопатра Николаевна, слабо вырывая у него руки; но граф за них крепко держался.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы в гостиную не вошел вдруг Задор-Мановский. Граф и вдова отскочили в разные стороны. Последняя не могла на этот раз сохранить присутствия духа и убежала вон.

— Я забыл мои бумаги, — говорил как бы не заметивший ничего Мановский.

Он начал первоначально смотреть по окнам, а потом, будто не сыскав того, что было ему нужно, прошел в

спальню вдовы, примыкавшую к гостиной, где осмотрел тоже всю комнату, потом сел, наконец, к маленькому столику, вынул из кармана клочок бумаги и написал что-то карандашом. Оставив эту записочку на столе, он вышел.

Между тем граф сидел в гостиной, совершенно растерявшись.

Не находя, что бы такое предпринять, он вздумал прилaskаться к Мановскому и постараться придать всему происшествию вид легкой шутки.

— Как вы нас перепугали! — сказал он. — Я позволил себе маленькую шалость с хозяйкой; она очень милая и веселая дама!.. Вы, я думаю, удивились.

Мановский посмотрел на графа.

— Ни крошки, — отвечал он спокойным голосом. — Я и сам с нею шучивал.

— Право? — спросил граф.

— Да; она ведь уж давно этакая!.. Вчера со мной, сегодня с вами, а завтра с третьим. Уж такая у нее натура, — проговорил Мановский и вышел.

Между тем Клеопатра Николаевна забежала на мезонин и села за небольшие, стоявшие там ширмы. Она, видно, знала, что ее будут искать. Не прошло десяти минут, как стук отъезжавшего экипажа заставил, наконец, ее переменить положение.

Она бросилась к окну и, увидев выезжавшего Мановского, тотчас же сбежала вниз, выглянула из спальни в гостиную, чтобы посмотреть, не уехал ли граф, но Сапега сидел на прежнем месте. Клеопатра Николаевна, несмотря на внутреннее беспокойство, поправила приведенный в беспорядок туалет и хотела войти в гостиную, как вдруг глаза ее остановились на оставленной Мановским записке. Она схватила ее, прочитала и окончательно растерялась.

Мановский ей писал:

«Прошу вас к будущему четвергу приготовить все брильянтовые, хозяйственные и усадебные вещи по составленной после смерти вашего мужа описи. Я намерен принять и приступить к управлению имением, а равным образом прошу вас выехать из усадьбы, в которой не считаю нужным, по случаю отсутствия вашей дочери, освещать, отапливать дом и держать горничную прислугу,

чтобы тем прекратить всякие излишние расходы, могущие, при вашей жизни в оной, последовать из имения малолетней, на каковое вы не имеете никакого права.

Задор-Мановский».

Что было делать Клеопатре Николаевне?.. Прибегнуть к графу — казалось ей единственным средством. С этим намерением она, взявши письмо, вошла в гостиную и молча бросилась, в отчаянии, на диван; горесть ее на этот раз была неподдельная.

— Успокойтесь, успокойтесь, — говорил граф.

— Ах, я погибла! — отвечала вдова и подала ему письмо Мановского.

Граф прочитал письмо.

— Я дурно понимаю, — сказал он.

— Ах! — отвечала вдова, — он опекун моей дочери, он выгоняет меня из этой усадьбы; мне нечем будет жить!.. Все, что вы видите, все это принадлежит моей дочери!.. Покойный муж мой устранил меня от опекунства!..

Сапега думал. Теперь он понял все: Мановский был опекуном Клеопатры Николаевны и интриговал с нею; но, верно, наскучил вдове, и она хочет отделаться от него, — и это возможно в таком только случае, когда Михайло Егорыч будет устранен от опекунства. Ему легко будет это сделать. И за это одолжение можно будет получить от вдовы все, что только он желал от женщины, особенно если прибавить к тому обещание — взять ее в Петербург с собою. Кроме того, он замаскирует этим себя перед обществом и Мановским, который станет подозревать его в интриге с Клеопатрою Николаевной, а в участии к Анне Павловне будет видеть одно дружеское расположение.

Обдумав все это и очень хорошо понимая, с какою женщиною имеет дело, граф начал прямо:

— Ваши обстоятельства очень неприятны!.. Я могу помочь вам.

— Ах, помогите, помогите, граф! Я буду вам всю жизнь благодарна!

— Благодарна? Этого мало.

— Я вас буду любить, — отвечала вдова, которой обращение графа возвратило веселость и кокетство.

— Вы будете любить? Я сам вас буду любить. Дайте мне вас обнять.

Вдова повиновалась.

Граф обнял ее, и потухший в глазах его огонь снова заблестал.

— Поцелуйте меня! — произнес он.

Вдова поцеловала.

— Вы избавите меня от Задор-Мановского?

— А вы будете любить меня?

— Буду, только избавьте меня поскорее, — до этого я не могу любить вас.

— Нет! Наперед вы полюбите меня, а там и я для вас сделаю все, что только захотите.

— А вы меня будете любить, граф?

— Я вас люблю и буду любить.

— Вы возьмете меня в Петербург? Без вас я не в состоянии буду здесь остаться.

— Я вас никогда не оставлю.

— Вы демон! — сказала Клеопатра Николаевна и склонила голову к себе на грудь.

Граф уехал из Ярцова часу в двенадцатом. Клеопатра Николаевна, оставшись одна, долго и даже очень долго сидела задумавшись; в лице ее показалось даже что-то вроде страданий. Потом взяла она с своего туалетного столика портрет молоденькой девочки, поцеловала и проговорила: «Простишь ли ты когда-нибудь меня?» Это был портрет ее дочери. Поставив его на прежнее место, она вынула из ящика небольшой альбом, развернула его. На одной из страниц приклеено было знакомое нам письмо Эльчанинова, которое он написал ей, уезжая от нее ночью. «Прости и ты меня!» — сказала Клеопатра Николаевна, глядя на записку и целуя ее; потом опустилась на диван и снова задумалась. Нравственный инстинкт женщины говорил в ней как бы помимо ее воли.

Граф тоже возвратился домой в каком-то странном расположении духа. «Однако мне здесь не так скучно, как я ожидал», — сказал он, усаживаясь на диван. Но потом сделал презрительную гримасу и задумался.

Дня через два после того становой привез Мановскому указ из опеки об устранении его от опекуинства над именем малолетней Мауровой.

— Я еще не принимал имения, — сказал Мановский, подавая описи, крепости и другие документы станово-

му, — а получил только бумаги. Вот они, передайте их, кому будет следовать.

— А знаете, кто назначен на ваше место?..

— Нет, не знаю.

— Иван Александрыч Гуликов. Нечего сказать, славный опекун. Я сейчас везу к нему указ.

Мановский ничего не отвечал.

V

Время шло. Анна Павловна очень грустила с отцом, считая себя виновницею его смерти; но старалась это скрыть, и, когда слезы одолевали ее, она поспешно уходила и плакала иногда по целым часам, не переставая. Положение Эльчанинова в свою очередь тоже делалось день ото дня несноснее; он, не скрываясь, хандрил. Анна Павловна начинала окончательно терять в его глазах всякую прелесть, она стала казаться ему и собой нехороша, и малообразованна, и без всякого характера. Он не находил, что с нею говорить; ему было скучно с нею сидеть и даже глядеть на нее. Уединенная и однообразная жизнь, к которой он вовсе не привык и на которую обречен был обстоятельствами, сделалась ему невыносима. «Хоть бы выехать куда-нибудь к соседям, — думал он: стыдно... да, пожалуй, встретишься еще с Мановским». Уехать куда-нибудь с Анной Павловной, где бы он мог по крайней мере выезжать из дому, но на это не было никакой возможности, потому что у него ни копейки не было денег. Однажды, это было поутру, Анна Павловна сидела в гостиной на креслах. Савелий стоял и смотрел в окно. Эльчанинов лежал вниз лицом на диване.

— Что ты, Валер, все лежишь? — проговорила Анна Павловна.

— Так, — отвечал Эльчанинов и позевнул. — Кажется, и не дождешься этого счастливого дня, — продолжал он, — когда выберешься отсюда. Мне, наконец, никакого терпения недостает здесь жить.

— Тебе скучно? — проговорила Анна Павловна. Голос ее дрожал.

— Нет, мне не скучно, с тобой я никогда не могу скучать; но это ожидание, эта неопределенность положения — это ужасно!

— Чего же вы ожидаете? — спросил Савелий.

— Места, которое могло бы обеспечить мою и Анны Павловны будущность и которое обещал мне дать граф.

— Отчего же он не дает? — заметил Савелий.

— Ах, господи боже мой, да разве это можно заочно сделать? Это не то, что определить куда-нибудь писцом или становым приставом.

— Но какое же вам хочет дать место граф?

— Какое? Я не знаю собственно, какое, — отвечал с досадою Эльчанинов, которому начинали уже надоедать допросы приятеля, тем более, что он действительно не знал, потому что граф, общаясь, никогда и ничего не говорил определенительно; а сам он беспрестанно менял в голове своей места: то воображал себя правителем канцелярии графа, которой у того, впрочем, не было, то начальником какого-нибудь отделения, то чиновником особых поручений при министре и даже секретарем посольства.

— Я знаю только то, — присовокупил он, — что граф может дать место и выгодное и видное.

Савелий, кажется, хотел что-то возразить ему, но, взглянув в это время в окно, вдруг остановился и проговорил каким-то страшным голосом.

— Михайло Егорыч, кажется, сюда едет!

Эльчанинов вскопчил и поблелел как мертвец. Анна Павловна задрожала всем телом.

— Эй, люди! Не пускать там, кто приедет, — вскрикнул было Эльчанинов.

— Нельзя не пускать. Ступайте туда и задержите его в зале; говорите, что Анны Павловны у вас нет, — перебил Савелий и, почти вытолкнув приятеля, захлопнул за ним дверь, а сам взял проворно Анну Павловну за руку и увел в задние комнаты. К крыльцу подъехал Мановский, с которым рядом сидел исправник, а на передней скамейке помещался у них стряпчий, корявсйшая физиономия, когда-либо существовавшая в мире. Все троем они вошли в зало. Эльчанинов, бледный, но насколько возможно владея собой, встретил их и спросил, что им угодно?

Исправник начал сконфуженным голосом, показывая на Мановского:

— Мы приехали по поданному прошению Михайло Егорыча, что супруга их проживает в здешней усадьбе.

— Что ж вам собственно угодно от меня? — болтнул Эльчанинов, и сам не зная хорошенько, что говорит.

— Приступайте к следствию; что тут разговаривать? — проговорил Мановский и сел.

— Конечно, лучше к следствию, — подтвердил стряпчий и нюхнул, отвернувшись в сторону, табаку, причем одну ноздрю зажал, а в другую втянул всю щепотку, а потом, вынув из бокового кармана бумагу, подал ее исправнику, проговоря: «Вопросные пункты». Исправник некоторое время переминался.

— Не угодно ли вам, — начал он, подавая Эльчанинову бумагу, — ответить на эти вопросы.

Эльчанинов взял. Кровь бросилась у него в голову, он готов был в эти минуты убить всех троих, если бы достало у него на это силы.

— Может быть, вам угодно, чтобы я здесь при вас отвечал? — проговорил он с некоторою гордостью.

— По закону следует здесь, в присутствии господ следователей, — произнес стряпчий и опять нюхнул.

Эльчанинов взял чернильницу, поставил ее на ближайший стол, сел и начал писать. На вопрос: как его зовут, какой он веры и прочее, он ответил сейчас же; но далее его спрашивали: действительно ли Анна Павловна бежала к нему от мужа, живет у него около года и находится с ним в любовном отношении? Эльчанинов остановился. Что было отвечать на это? Припомнив, впрочем, слова Савелья, он поставил одну общую скобку и написал: «ничего не знаю». Исправник взял у него потом ответы дрожащими руками и начал читать. Стряпчий заглянул ему через плечо.

— Стало быть, госпожа Мановская и теперь проживает не в вашем доме? — спросил он, обращаясь к Эльчанинову.

— Я уж на это ответил и с вами разговаривать больше не желаю, — сказал тот, с презрением взглянув на стряпчего.

Мановский встал; молча взял ответы у исправника, прочитал их и произнес ровным голосом:

— Я прошу вас, господа, сделать обыск в усадьбе и в доме.

Исправник пожал плечами и обратился к стряпчему, проговоря: «Следует ли?»

— Без сомнения, следует; желание истца на то есть, — отвечал тот и как-то значительно откашлянулся и плюнул в сторону, как бы желая этими движениями намекнуть Мановскому: «Помни жё мои услуги».

Следователи и Мановский пошли по дому. Эльчанинов потерялся: он прислонился к косяку окошка и не мог ни говорить, ни двинуться с места.

— Это шаль моей жены! — говорил Мановский, проходя по гостиной и видя лежавший на диване платок Анны Павловны, — запишите, — отнесся он к стряпчему.

— Помню и так, без записки, — подхватил тот.

Пройдя наугольную и чайную, они вошли в спальню.

— Это женин салоп, — сказал Мановский стряпчему.

— Вижу, вижу, — отвечал тот.

— Женино платье, — заключил Михайло Егорыч, отворив шкаф и вынув оттуда два или три платья Анны Павловны.

Из спальни следователи перешли в другие комнаты. Михайло Егорыч осматривал каждый угол, заставляя отпирать кладовые, чуланы, лазил в подвал, и все-таки Анны Павловны не нашли.

Осмотрев дом, Мановский пошел по избам, лазил на полаты, заглядывал в печи — и все ничего.

— Где моя жена? — спросил он, проходя по двору, попавшуюся ему навстречу бабу.

— В горнице, поди, чай, батюшка, — отвечала та, простодушно и низко кланяясь.

— Записать это надо? — сказал Мановский, обращаясь опять к стряпчему.

— Непременно, непременно, — отвечал тот.

— Куда уехала Анна Павловна? — озадачил Мановский проходившего мимо эльчаниновского кучера.

— Ничего я не знаю-с, — отвечал тот бойко.

— Скотина, — произнес Мановский и пошел далее.

Потом они возвратились в зало, где Эльчанинов стоял все еще на прежнем месте.

— Составьте постановление нашему осмотру, — проговорил Михайло Егорыч.

— Сейчас, сию секунду, — отвечал стряпчий, понюхал табаку, откашлянулся, сел и написал минут в пять лист кругом.

— Прочитайте вслух, — сказал Мановский.

Стряпчий прочитал.

— Подпишите, — проговорил Михайло Егорыч.

Следователи подписались.

— Ну, теперь и вы удостоверьте, что все это справедливо, иначе мы повторим осмотр, — отнесся Задор к Эльчанинову.

— Извольте, — отвечал тот, совершенно уже потерянный, и подписал постановление.

— Ну, пока будет, — сказал Мановский и пошел.

Исправник и стряпчий пошли за ним. Через минуту они все уехали.

— Вы куда теперь? — спросил Михайло Егорыч исправника.

— На минуточку к вам, а тут к графу на бал.

— Черт бы драл их с их балами!.. Смотрите, не болтайте там о деле.

— Чтой-то, господи, не молодой мальчик, — отвечал исправник.

— После поблагодарю, — продолжал Мановский, — а теперь надо другой еще раз, хоть на той неделе, наехать, чтобы обоих захватить.

— Для видимости в деле непременно надо обоих захватить, — подтвердил стряпчий.

Исправник только вздохнул. Эльчанинов между тем вошел в гостиную, бросился на диван и зарыдал. Это было выше сил его! В настоящую минуту он решительно не думал об Анне Павловне; он думал только, как бы ему спасти самого себя, и мысленно проклинал ту минуту, когда он сошелся с этой женщиной, которая принесла ему крупицу радостей и горы страданий.

Через четверть часа вошел к нему Савелий, который спас Анну Павловну от свидания с мужем тем, что выскочил с нею в окно в сад, провел по захолустной аллее в ржаное поле, где оба они, наклонившись, чтобы не было видно голов, дошли до лугов: Савелий посадил Анну Павловну в стог сена, обложил ее так, что ей только что можно было дышать, а сам опять подполз ржаным полем к усадьбе и стал наблюдать, что там делается. Видя, что Мановский уехал совсем, он сбегал за Анной Павловной и привел ее в усадьбу.

— Что они тут делали? — спросил он Эльчанинова. Тот едва в состоянии был рассказать. Савелий несколько времени думал.

— Поезжайте сейчас же к графу, Валерьян Александрович, и просите, чтобы он или взял к себе Анну Павловну, либо помог бы вам как-нибудь, как знает, а то Мановский сегодня же ночью, пожалуй, опять приедет.

Эльчанинов всплеснул руками и схватил себя за голову.

— Боже мой, боже мой, что я за несчастный человек! — воскликнул он и зарыдал.

— Да полно вам реветь! Точно женщина какая: хуже Анны Павловны, ей-богу, та смелее вас. Одевайтесь! — проговорил с досадою Савелий.

Эльчанинов как бы механически повиновался ему. Он начал одеваться и велел закладывать лошадей. Савелий прошел к Анне Павловне, которая сидела в гостиной.

— Что Валер? — спросила она.

— Ничего, одевается, хочет сейчас ехать к графу и пожаловаться ему на исправника.

— А я одна останусь? Я боюсь, Савелий Никандрович, — произнесла бедная женщина.

— Ничего-с; я у вас останусь, — отвечал Савелий.

— Добрый друг, — произнесла Анна Павловна, протягивая ему руку, которую Савелий в первый еще раз взял и поцеловал, покраснев при этом как маков цвет.

Эльчанинов вошел совсем одетый, во фраке и раздушенный, как обыкновенно он ездил к графу.

— Что, Валер? — спросила Анна Павловна, протягивая к нему руку.

— Ничего, вздор, — отвечал он, как-то судорожно поживаясь и торопливо целуя ее руку, и тотчас же уехал.

VI

В тот самый день, как Эльчанинов ехал к графу, у того назначен был бал, на котором хозяйкою должна была быть Клеопатра Николаевна. Пробыло семь часов. Эльчанинов первый подъехал к графскому крыльцу.

— Дома его сиятельство? — спросил он, войдя в официантскую, где стояла целая стая лаксеев, одетых в парадные ливрейные фраки и штиблеты.

— У себя-с, в гостиной, — отвечал вежливо один из них. Эльчанинов пошел.

— Ах, monsieur Эльчанинов, — произнес ласково граф, сидевший уже во фраке и завитой на диване, ожидая гостей. — Очень рад вас видеть на моем вечере, хоть и не звал вас по нежеланию вашему встречаться с здешними господами.

— Знаю, ваше сиятельство, — отвечал Эльчанинов, — и приехал собственно не на бал, а с просьбой.

— С просьбой? — повторил граф. — Все, что только могу, поверьте, будет исполнено, — прибавил он.

Эльчанинов хотел было начать рассказ, но раздавшийся сзади голос остановил его.

— Я исполнила, граф, ваше желание и нарочно приехала раньше затем, чтобы занять свою должность.

— Je vous remercie, madame, je vous remercie¹, — сказал граф, вставая. Эльчанинов обернулся. Это была Клеопатра Николаевна в дорогом кружевном платье, присланном к ней по последней почте из Петербурга, и, наконец, в цветах и в брильянтах. В этом наряде она была очень представительна и произвела на героя моего самое выгодное впечатление. С некоторого времени все почти женщины стали казаться ему лучше и прекраснее его Анны Павловны.

— Валерьян Александрыч! Вас ли я вижу? — полу-вскрикнула Клеопатра Николаевна.

— А вы знакомы? — спросил граф.

— Мы были друзья, — отвечала Клеопатра Николаевна, — по крайней мере я могу это сказать про себя, но monsieur Эльчанинов за что-то разлюбил меня.

— Напротив, но... — начал было Эльчанинов.

— Забудемте прошлое, мы еще с вами объяснимся, — перебила Клеопатра Николаевна, подавая ему руку.

— О, да между вами что-то интересное, — заметил с улыбкою граф.

— Что делать? Валерьян Александрыч сам очень интересен для женщин; это не одна я так думаю, — произнесла вдова с кокетливою улыбкою.

Видимо, что она заискивала в Эльчанинове.

«Или эта женщина дьявол, или она невинна», — подумал тот про себя и обратился к графу.

— Могу ли я с вами переговорить, ваше сиятельство? Мне очень нужно.

¹ Благодарю вас, сударыня, благодарю, (Франц.)

— Если очень нужно... — проговорил граф.

— Нужно, ваше сиятельство, — повторил Эльчанинов.

— Извольте, — отвечал Сапега, — *pardon, madame*¹, — прибавил он, кивнув головой Клеопатре Николаевне, и вышел с Эльчаниновым в кабинет.

Герой мой пересказал ему все, с некоторыми даже прибавлениями и описал в таких ярких красках, что граф, слушая, пожимал только плечами.

— Для счастья, для спасения этой женщины я должен уехать отсюда! — заключил Эльчанинов.

Граф прошелся несколько раз по кабинету.

— Да, вам надобно уехать, и не мешкая, — произнес он. Эльчанинов замер от восторга.

— Меня одно только беспокоит, ваше сиятельство, — начал он, — как она?

— Да, но это уж ваше дело, — проговорил Сапега.

— Она не согласится, она будет проситься со мною. Да и как действительно ее оставить?

— Оставить вам ее нет никакой опасности. Мановский ничего не может сделать, когда вас не будет, да к тому же и я здесь. Но вам с собою ее брать не вижу ни малейшей возможности. Этим вы и себя свяжете и ей повредите. Вам надобно по крайней мере на некоторое время разлучиться совершенно, чтобы дать позатихнуть всей этой истории.

— Решительно надобно расстаться, — подхватил Эльчанинов, — но я наперед знаю, — она не будет отпущать.

— Урезоньте.

— Я думаю ее обмануть, ваше сиятельство.

— Ложь позволительна, если служит ко спасению, разрешаю вам. Но чем же вы ее обманете?

— Я скажу, что поеду закладывать имение, чтобы иметь деньги, с чем подняться.

— Хорошо!.. А в самом деле, есть ли у вас деньги? — спросил граф.

Эльчанинов покраснел и не отвечал.

— Нет?.. Что тут за скрытность, *fi, mon cher!*² Позвольте мне вам услужить этой мелочью.

— Граф...

¹ извините, сударыня, (франц.)

² фи, мой дорогой! (франц.)

— Без церемонии, друг... Когда же вы думаете выехать?

— Послезавтра.

— Что ж, можно и послезавтра. Заезжайте ко мне, и я снабжу вас рекомендательными письмами и деньгами.

— Граф, чем мне отблагодарить вас? — сказал Эльчанинэ.

— Любите меня и слушайтесь, — отвечал старик и хотел было идти, но Эльчанинов переминался и, видно, хотел еще что-то сказать.

— Я даже и теперь, ваше сиятельство, — начал он с принужденною улыбкою, — боюсь ехать домой, потому что сегодня-завтра ожидаю, что господин Мановский посетит меня.

Граф опять прошелся по кабинету.

— Ни сегодня, ни завтра не будет этого, потому что все эти здешние господа власти будут у меня, и я их остановлю, а вы подождите, побудьте у меня. Я скажу вам, когда можно будет ехать.

— Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал Эльчанинов.

Граф, во всех своих действиях относительно Анны Павловны пока выжидавший, очень обрадовался намерению Эльчанинова уехать. Он очень хорошо видел, что тот не любит уже Мановскую и скучает ею, а приехавши в Петербург, конечно, сейчас же ее забудет, а потом... потом граф составил, по обыкновению, план, исполнение которого мы увидим в дальнейшем ходе рассказа.

Сопровождаемый Эльчаниновым, он возвратился в гостиную. Там уже были все почти званые гости, приехавшие ровно в восемь часов, как было назначено в приглажительных билетах, и все были разряжены, насколько только могли: даже старуха Уситкова была в корсете, а муж ее напонадил такой пахучей помадою, что даже самому было это неприятно. М-те Симановская приехала с красными и распухшими глазами: она два дня их не осушала, не получив к сроку из губернского города бального платья, которое она заказала на последние деньги. Старая девица-барышня была в легком платье и совершенно обнаживши костлявую шею. Молодых девиц было очень много привезено, и в этом случае, должно отдать справедливость, преобладала порода Марковых, двух братьев, одного вдовца, а другого женатого, у которых было по семи дочерей у каждого. Из кавалеров были

лучшими два молоденькие брата, мичманы Жигаловы, только что приехавшие к больной матери в отпуск и бывшие совершенно уверенными, в простоте юношеского сердца, что бал собственно и устроился по случаю приезда их. Граф всех и каждого оприветствовал и, открыв потом польским с Клеопатрою Николаевной бал, пригласил молодых людей продолжать танцы, а сам начал ходить то с тем, то с другим из гостей, которые были постарше и попочтеннее. Проходя мимо исправника и других уездных чиновников, которые приехали в мундирах, Сапега произнес:

— О господа, это немножко лишнее, к чему эта церемония в деревне, — а потом тут же, обратившись к исправнику, сказал мимоходом вполголоса. — Потрудитесь прийти через четверть часа в мой кабинет, мне надобно с вами поговорить.

Исправник побледнел; предчувствие говорило ему, что на него пожаловался Эльчанинов. Желая прилажаться к нему и порасспросить его, он подошел было к моему герою и начал:

— Меня граф зачем-то зовет в кабинет.

Но Эльчанинов в ответ на это отвернулся от него.

Исправник только вздохнул и, проведя потом мучительные четверть часа, отправился, наконец, в кабинет, где увидел, что граф стоит, выпрямившись и опершись одною рукою на спинку кресел, и в этой позе он опять как будто был другой человек, как будто сделался выше ростом; приподнятый подбородок, кажется, еще выше поднялся, ласковое выражение лица переменилось на такое строгое, что как будто лицо это никогда даже не улыбалось.

Исправник окончательно растерялся и стал на вытяжку, как говорится руки по швам.

— Извините, что я вас обеспокоил, — начал граф очень серьезным тоном, — я хотел вас спросить, какой вы в усадьбе и в доме господина Эльчанинова делали обыск?

— Ваше сиятельство, так как от господина Мановского поступило прошение в том, что супруга их не живут с ними и имеют местожительство в доме господина Эльчанинова, — отвечал исправник, суя руками туда и сюда.

На весь этот ответ его граф только кивнул головою.

— А вам известны причины, по которым госпожа Мановская не живет с мужем? — спросил он.

Исправник молчал.

— Вы знаете это? — повторил граф и слегка притопнул своей небольшой ногой.

— Как не знать, ваше сиятельство, все знаем-с, — отвечал исправник.

— Как же вы знаете, и что делаете? — начал Сапега. — Вы приезжаете в усадьбу, производите обыск, как в доме каких-нибудь делателей фальшивых монет или в вертепе разбойников; вы ходите по кладовым, открываете все шкафы, сундуки, выкидываете оттуда платье, белье, наконец ходите по усадьбе, как мародеры! Так служить, мой милый, нельзя!

Исправник начинал замирать.

— Если, наконец, эта несчастная женщина и тут, вы должны были только бумагой ее спросить, потому что в законе прямо сказано: больные и знатные женщины по уголовным даже следствиям не требуются лично, а спрашиваются письменно, — произнес Сапега.

— Ваше сиятельство, я тут ничего... видит бог, ничего... — говорил исправник почти со слезами на глазах, — тут у нас все стряпчий: он все дела этикие делает, хоть кого извольте спросить.

— Слова ваши о стряпчем, мой милый, даже смешны, — возразил Сапега, — вы полицейская власть, вы цензор нравов, а не стряпчий.

— У меня, ваше сиятельство, есть удостоверение господина предводителя дворянства, — отвечал исправник, — как мне было тут делать, а собственно я ничего, спросите хоть Валерьяна Александрыча, я бы никогда не позволил себе так сделать. Я третьи выборы служу, и ни один дворянин от меня никакой обиды не видал...

— Попросите сюда Алексея Михайлыча и сами пожалуйте, — перебил его с досадою граф.

Исправник юркнул в двери, и чрез минуту он и предводитель вошли. Граф сейчас же посадил Алексея Михайлыча и сам сел.

— Я хочу вас, ваше превосходительство, просить, — начал Сапега, — нельзя ли как-нибудь затушить это неприятное дело Мановских. Вы, как предводитель, лучше других знаете, кто тут виноват.

— Знаю, ваше сиятельство, все знаю, — отвечал Алексей Михайлыч, — но что ж мне делать? — продолжал он, разводя руки. — Еще отец этого Мановского был божеское наказание для меня, а сын — просто мое несчастье!

— Именно несчастье, ваше сиятельство, — подхватил исправник, — и теперь вот они с стряпчим сошлись, а от стряпчего мы уж давно все плачем... Алексей Михайлыч это знает: человек он действительно знающий, но ехидный и неблагонамеренный до последнего волоса: ни дня, ни ночи мы не имеем от него покоя, он то и дело пишет на нас доносы.

— Ваш стряпчий, мой любезнейший, может писать доносы сколько ему угодно, — перебил опять с оттенком легкой досады граф, — дело не в том; я вас прошу обоих, чтобы дело Мановских так или иначе, как вы знаете там, было затушено, потому что оно исполнено всличайшей несправедливости, и вы за него будете строго отвечать. Оберегитесь.

— Как затушить, я уж не знаю, можно ли теперь? — спросил Алексей Михайлыч, взглянув на исправника.

— Можно, — отвечал тот.

— И прекрасно, — подхватил граф. Потом, обратившись к исправнику, прибавил: — А я вас прошу еще, чтобы нога ваша не была в усадьбе господина Эльчанинова, иначе мы с вами поссоримся.

— Зачем мне ездить! — отвечал исправник.

Граф попросил его возвратиться в гостиную наклоением головы, а Алексея Михайлыча движением руки.

— Как нам делать? — спросил, выходя, старик-предводитель исправника.

— Как делать? Скажу, что первый обыск потерял, а больше не поеду; пускай хоть в Сибирь ссылают.

Пока происходили все эти сцены в кабинете, в зале танцевали уж польку. Бойцами на этом поприще оказались только два мичмана, из коих каждый танцевал по крайней мере с девятой барышнейю. Местные кавалеры, по новости этого танца, не умели еще его. Впрочем, длинный Симановский принялся было, но оказалось, что он танцевал одну польку, дама — другую, а музыка играла третью, так что никакого склада не вышло.

Клеопатра Николаевна, как игравшая роль хозяйки дома, не танцевала, но сидела и наблюдала, чтобы никто не скучал.

— Валерьян Александрыч, — сказала она Эльчанинову, одиноко ходившему по зале.

Тот подошел и сел около нее.

— Дайте мне посмотреть на вас, — продолжала Клеопатра Николаевна, — вы еще интереснее стали.

— Право? — спросил небрежно Эльчанинов, но внутренне довольный этим замечанием.

— В лице у вас какая-то грусть, — отвечала Клеопатра Николаевна и сама о чем-то вздохнула.

— Не мудрено, я много страдал, — проговорил Эльчанинов.

— Но были и счастливы.

— Очень редко.

— Зато вполне.

— Конечно.

— Вы на меня сердитесь? Отчего вы тогда уехали? — продолжала Клеопатра Николаевна, почти уже шепотом.

Эльчанинов посмотрел ей в лицо.

— Я не хотел вам мешать, — отвечал он.

Клеопатра Николаевна вспыхнула.

— Чему мешать? — спросила она.

Эльчанинов не отвечал на этот вопрос.

— Довольны ли вы вашим опекуном? — спросил он вдруг.

— Которым?

— Разумеется, Мановским.

— Ах, боже мой, какую вы старину вспомнили! Мой опекун давно уж Иван Александрыч. Вот он, легок на помине. Приблизьтесь ко мне, милый мой Иван Александрыч! — продолжала Клеопатра Николаевна, обращаясь к графскому племяннику, который входил в это время в залу и хотел было уже подойти на этот зов; но вдруг быстро повернулся назад и почти бегом куда-то скрылся.

— Он, верно, вас испугался, — сказала Клеопатра Николаевна Эльчанинову, — скажите, какой мерзавец!

— Здесь много таких господ, — отвечал тот. — Зачем вы сменили вашего опекуна; вы, кажется, с ним начинали так ладить?

— Это с чего пришло вам в голову?

— Припомните хорошенько ту ночь, когда я от вас уехал, — сказал Эльчанинов, устремив на вдову пронизывающий взгляд.

— Что же такое?

— Он имел с вами тайное свидание.

Клеопатра Николаевна опять несколько покраснела.

-- Да вы почему это знаете? — спросила она, впрочем, довольно спокойно.

— Я подсмотрел в окно.

— Что ж вы из этого заключили?

— Заключил, что обыкновенно заключают из этого.

— Подите от меня! Я не думала, чтобы вы были обо мне такого мнения, — проговорила Клеопатра Николаевна обиженным голосом.

Эльчанинов посмотрел ей в лицо, в котором не заметил ни малейшего расстройства.

— Однакож он был у вас? — сказал он.

— Был! Ему нужно было взять у меня бумаги, а вечером он забыл и поутру хотел чем свет уехать. Он послал за мной горничную, чтобы я вышла, и я вышла в гостиную. Вот вам и история вся.

— О чем же вы плакали? — спросил Эльчанинов.

— Плакала о том, что он, человек жадный, скупой и аккуратный, стал учитывать меня в каждой копейке — как мне было не плакать, когда я самая дурная, я думаю, в мире хозяйка.

— Желал бы верить, — проговорил Эльчанинов.

Клеопатра Николаевна потупилась.

— Если бы я что-нибудь за собой чувствовала, — начала она, — неужели бы я могла говорить об этом так равнодушно? Ах, как вы меня мало знаете! Бог вам судья за это подозрение.

При этих словах Эльчанинову показалось, что у ней как будто бы навернулись слезы.

— Как вы меня, я думаю, презирали, — продолжала вдова после минутного молчания и взяв себя рукой за лоб, — получивши вашу записку, я решительно была в недоумении и догадалась только, что вы меня в чем-то подозреваете, и, видит бог, как я страдала. Этот человек, думала, меня презирает, и за что же?

Разговор продолжался в том же тоне. Клеопатра Николаевна на этот раз очень ловко держала себя с Эльчаниновым: она не кокетничала уж с ним, а просто хвалила его, удивляясь его глубокой привязанности к Анне Павловне, говоря, что так чувствовать может только человек с великой душой. Словом, она всеми средствами щекотала самолюбие молодого человека.

Эльчанинов окончательно с ней помирился: он рассказал ей о своей поездке в Петербург, поверил ей отчасти свои надежды, просил ее писать к нему, обещался к ней сам прежде написать. Клеопатра Николаевна благодарила его и дала слово навещать больную Анну Павловну, хоть бы весь свет ее за это проклинал.

В залу вошел граф и прямо подошел к Эльчанинову. Тот встал.

— Ваше дело устроено, — сказал вполголоса Сапега, — вы можете свободно ехать и собираться в путь, а там ко мне заедете.

Эльчанинов глубоким поклоном поблагодарил графа и отошел. Сапега занял его место. Эльчанинов, впрочем, не поехал сейчас домой; он даже протанцевал одну кадрили и перед ужином, проходя в буфет, в одном довольно темном коридоре встретил Клеопатру Николаевну.

— Ах, это вы, — сказала она и протянула Эльчанинову руку, которую тот взял и поцеловал.

Вдова, желая ему ответить обыкновенным поцелуем в голову, как-то второпях поцеловала его довольно искренно в губы.

— Прощайте! — проговорила она.

— Прощайте!.. — отвечал он ей с чувством.

В продолжение всего ужина Эльчанинов переглядывался с Клеопатрою Николаевною каким-то грустным и многозначительным взглядом. Ночевать, по деревенскому обычаю, у графа остались только Алексей Михайлыч, никогда и ниоткуда не ездивший по ночам, и Клеопатра Николаевна, которая хотела было непременно уехать, но граф ее решительно не пустил, убедив ее тем, что он не понимает возможности, как можно по деревенским проселочным дорогам ехать даме одной, без мужчины, надеясь на одних кучеров.

VII

Эльчанинов возвращался домой, волнуемый различными чувствованиями: уехать в Петербург, оставить эти места, где он претерпел столько неприятностей, где столько скучал, — все это приводило его решительно в восторг; но для этого надобно было обмануть Анну Павловну, а главное — обмануть Савелья. «Что ж такое, — думал он, — это ненадолго, я могу тотчас по получении

места вызвать ее к себе в Петербург, а оставаться здесь и дожидаться, пока она выздоровеет, нет никакой возможности. Надобно только пролавирировать поискусней», — сказал он сам себе, входя на крыльцо дома.

В гостиной встретил его Савелий.

— Тише, — сказал тот, когда Эльчанинов довольно громко и неосторожно вошел в комнату.

— Что Анна? — спросил уж шепотом Эльчанинов.

— Ничего, порасстроились, а теперь заснули, — отвечал Савелий.

Приятели некоторое время молчали.

— Савелий Никандрыч, — начал Эльчанинов, усаживаясь на диван, — посидимте здесь рядом, мне нужно с вами поговорить.

Савелий сел.

— Я хочу ехать отсюда.

Савелий посмотрел на него.

— Во-первых, все эти дразги, — продолжал Эльчанинов, — граф прекратил сейчас же. У него был бал, был, между прочим, и исправник и такую получил головомойку, что, как сумасшедший, куда-то ускакал, и граф говорит, что оставаться мне так вдвоем с Анною Павловною превышает всякие меры приличия и что мы должны по крайней мере на полгода разойтись, чтобы дать хоть немного позатихнуть всей этой скандальной истории.

— А Анна Павловна, стало быть, останется здесь у вас же в доме? — возразил Савелий.

— Нет, не у меня, а у себя, я это имение ей продал, подарил, оно не мое, а ее.

— Кто ж этому поверит?

— Нет, поверят, потому что я из первого же города пришло крепость на ее имя: удостоверение, кажется, верное; одной ей здесь ничего не могут сделать, но оставаться и жить таким образом, как мы до сих пор жили, это безумие.

— Не знаю, как хотите, так и делайте, я и сам с вами разума лишился, — возразил Савелий и махнул рукой.

Эльчанинов испугался, что Савелий рассердился.

— Простите меня и ее, мой добрый Савелий Никандрыч, — подхватил он, протягивая приятелю руку, — но что ж делать, если, кроме вас и графа, у нас никого нет в мире? Вас бог наградит за ваше участие. Дело теперь уже не в том: уехать я должен, но каким образом я скажу об этом Анете, на это меня решительно не хватит.

Савелий молчал.

— Савелий Никандрыч, скажите ей, предуведомьте, — продолжал Эльчанинов.

— Что же я ей скажу?

— Ну, скажите... скажите, что я должен ехать непременно, обманите ее, скажите, что я еду закладывать это имение, всего на две недели.

Савелий думал: жить молодым людям вместе действительно было невозможно; совет графа расстаться на несколько времени казался ему весьма благоразумным. Неужели же Эльчанинов такой гнусный человек, что бросит и оставит совершенно эту бедную женщину в ее несчастном положении. Он ветрен, но не подл, — решил Савелий и проговорил:

— Извольте, я скажу.

Эльчанинов бросился обнимать его.

Анна Павловна проснулась на другой день часов в девять. Она была очень слаба.

— Подите, Савелий Никандрыч, — сказал Эльчанинов, почти толкая в спальню приятеля, — подите, поговорите.

Савелий вошел.

— Он приехал, я слышала его голос, — говорила Анна Павловна.

— Валерьян Александрыч приехал, он сейчас придет, — отвечал Савелий.

— А где же он?

— Он вышел.

— Мне хочется видеть его поскорее.

— Он сейчас придет, поговорите лучше со мной. Я скажу вам новость, мы все скоро отсюда уедем.

— Ах, как это хорошо! Мне здесь страшно: что если он опять приедет... Куда же мы уедем?

— В Москву, Анна Павловна.

— А скоро?

— Скоро, только выздоравливайте, а Валерьян Александрыч прежде съездит один и заложит имение, — говорил Савелий.

— А я? — спросила Анна Павловна.

— А мы с вами после.

— Нет, я без Валера не останусь, я умру без него.

— Но как же? Вы больны, вам ехать нельзя.

— Мне теперь лучше; с чего вы это взяли? — говорила Анна Павловна. — Ей-богу, лучше, я могу ехать с ним.

— Как же вам ехать, Анна Павловна?.. Это нехорошо, вы не бережете своего здоровья для Валерьяна Александрыча, ему это будет неприятно.

— Так он хочет оставить меня одну... Что ж он не идет? Я упрошу его взять меня с собою, — произнесла Анна Павловна и залилась горячими слезами.

— Успокойтесь, Анна Павловна, успокойтесь, — говорил Савелий, с глазами, полными слез, — Валерьян Александрыч едут только на две недели.

— На две недели! Нет, я поеду с ним, я пойду за ним пешком, если он не возьмет меня.

— Отпустите, Анна Павловна! Валерьян Александрыч едет всего на две недели, это необходимо для его счастья.

— Ах, как я желаю счастья Валеру, — говорила Анна Павловна.

— Ну вот видите, а не хотите его отпустить на две недели.

— Да я не могу, вы видите, я не могу, — произнесла она раздирающим голосом, прижав руки к груди.

— Укрепитесь, Анна Павловна, вы должны это сделать для счастья и спокойствия Валерьяна Александрыча.

— Когда же он едет?

— Послезавтра.

— Послезавтра?.. Отчего он не идет! Скажите ему, чтоб он пришел по крайней мере. Пошлите его.

Эльчанинов, стоявший у дверей и слушавший весь разговор, вбежал в комнату.

— Анна! Друг мой! — вскричал он, обнимая и целуя ее.

Анна Павловна ничего не могла говорить и только крепко обняла его голову руками и прижала к груди.

— Ты едешь? — проговорила она.

— Еду, мой ангел! Это необходимо, чтобы упрочить общую нашу будущность.

— Поезжай, это необходимо для твоего счастья, я буду молиться за тебя.

— Я поеду ненадолго, мой ангел; скоро увидимся, — сказал Эльчанинов, — мне надо заложить только мое имя, и ты приедешь ко мне.

— Да, чтобы недолго, пожалуйста, недолго! Сядь ко мне поближе, посмотри на меня. Ах, как я люблю тебя! — И она снова обвила голову Эльчанинова своими руками и крепко прижала к груди. — Завтра тебя не будет уже в это время, ты будешь далеко, а я одна... одна... — И она снова залилась слезами.

— С тобой останется Савелий Никандрч, он будет тебя утешать, — говорил растроганный Эльчанинов, и готовый почти отказаться от своего намерения и опять остаться в деревне и скучать.

Всю ночь просидел он у кровати больной, которая, не в состоянии будучи говорить, только глядела на него — и, боже! сколько любви, сколько привязанности было видно в этом потухшем взоре. Она скорее похожа была на мать, на страстно любящую мать, чем на любовницу. Во всю ночь, несмотря на убеждения Савелья, на просьбы Эльчанинова, Анна Павловна не заснула.

Начинало уже рассветать.

— Дай мне руку, Валер, — сказала она.

Эльчанинов подал. Она долго держала ее в своих слабых руках, прижимая ее к своей груди, и потом, залившись слезами, произнесла:

— Не оставляй меня, не оставляй, Валер! Мне сердце говорит, что я без тебя умру!

— Анета! Друг мой, успокойся! — говорил Эльчанинов, сам готовый плакать.

— Да, я буду спокойна, ты этого хочешь, и я буду!.. Поезжай с богом. В чем же ты поедешь, велел ли ты приготовить экипаж?

— Я покуда поеду в коляске.

— Непременно же в коляске, тебе будет спокойнее! А кто с тобой поедет?

— Я думаю взять Николая.

— Возьми Николая, он любит тебя. Позовите ко мне Николая, я попрошу, чтоб он тебе хорошо служил.

Эльчанинов вышел и через несколько минут возвратился вместе с лакеем лет сорока, рябым, но добродушным из лица и с серебряною серьгою в ухе.

— Николай, ты поедешь с баринном, успокоивай его и береги, — начала больная.

— Будьте покойны, Анна Павловна, все исправим.

— Ах, как ты счастлив, Николай: ты поедешь с Валером, ты будешь видеть его, ты счастливее меня, Николай.

— Не пожалуемся, господа любят, — отвечал тот.

— Ты будешь беречь Валера, если он делается болен, ты мне сейчас же напиши, и я тотчас приеду.

— Будьте покойны, Анна Павловна!.. Слава богу, нам не в первый раз.

— А готово ли у вас?

— Коляску вытащили, теперь укладываемся. Какую прикажете, Валерьян Александрыч, на пристяжку? Кучера говорят, что каурая очень шибко хромает.

— Какую хотите, — отвечал Эльчанинов. Ему было невыносимо грустно. — Савелий Никандрыч, потрудитесь распорядиться, — прибавил он.

Савелий и Николай вышли.

Анна Павловна обняла Эльчанинова. Он чувствовал, как на лицо его падали горячие ее слезы, как она силилась крепче прижимать его своими слабыми руками. Прошло несколько минут в глубоком и тяжелом молчании.

Вошел Савелий.

— Уж начали запрягать, — сказал он.

— Пора! — проговорила больная удушливым голосом. — Собирайся и ты, Валер; что ты наденешь? Одевайся теплее.

Эльчанинов вышел; ему хотелось только одного, чтобы как можно поскорее уехать.

— Проворнее, — сказал он попавшемуся навстречу Николаю, одетому уже в дорожную шинель.

— Готово-с, прикажете подавать?

— Подавайте!

— Люди хотят проститься, Валерьян Александрыч, — присовокупил Николай.

— Посылай! — произнес с досадою Эльчанинов.

Николай вышел, и вслед за ним вошло человек двенадцать дворовых баб и мужиков.

— Прощайте, батюшка Валерьян Александрыч, — говорили они, подходя к руке барина.

— Прощайте, прощайте, — повторил торопливо Эльчанинов и забыл даже напомнить им беречь Анну Павловну и слушаться ее. Надев теплый дорожный сюртук, он вошел в спальню больной. Анна Павловна сидела на кровати, Савелий стоял у окна в задумчивости.

— Ты совсем? — сказала больная довольно спокойным голосом.

— Прощай, Анета, до свиданья! — проговорил Эльчанинов, целуя ее руку.

— Прощай! — тихо проговорила она. — Дай мне обнять тебя, я тебя провожу.

— Не делай этого, Анета, ты слаба.

— Позволь мне хоть проводить тебя, дай мне руку. — И она встала, опираясь на руку Эльчанинова.

— Прощайте, Савелий Никандрыч, — говорил тот, подавая свободную руку приятелю.

— Прощайте, Валерьян Александрыч, — отвечал Савелий, крепко сжав руку друга.

Они поцеловались и все трое вышли в залу.

— Постой, — сказала Анна Павловна, как бы вспомнив что-то, — ты будешь писать ко мне?

— Буду, друг мой!

— А часто ли?

— Часто.

— Пиши два раза в неделю, непременно пиши. Теперь благослови меня.

Эльчанинов перекрестил ее.

— Прощай, Анета, останься здесь, ты слаба.

— Я провожу тебя на крыльцо. — Анна Павловна хотела идти, но силы ее совершенно оставили.

— Не могу... Прощай! — произнесла она и уж в беспамятстве обхватила Эльчанинова за стан.

— Примите ее, — сказал Эльчанинов, разводя ее холодные руки, и, почти бегом выбежав на крыльцо, вскочил в коляску.

— Пошел скорее в Каменки! — крикнул он.

Кучер ударил по лошадям, и коляска с шумом выехала в поле. Эльчанинову стало легче; как бы тяжелое бремя спало у него с души; минута расставанья была скорей досадна ему, чем тяжела.

«Как эти женщины слабы, — думал он, — я люблю ее не меньше, да что ж такое? так необходимо, и я повинуюсь». Размышляя таким образом, он мало-помалу погрузился в мечты о будущем. Впрочем, надо отдать справедливость, что он выехал из своей усадьбы с твердым намерением выписать Анну Павловну при первой возможности.

Между тем граф только что еще проснулся и сидел в своем кабинете.

— А! Вы уж совсем, — сказал он, увидя входящего Эльчанинова в дорожном платье. — Исправны. Присядьте. Как здоровье Анны Павловны? Как она вас отпустила?

— Не спрашивайте лучше, ваше сиятельство, одна только неизбежная необходимость заставила меня не отказаться от моего намерения, — отвечал Эльчанинов.

— Честь вашей воле! Это прекрасно в молодом человеке. Поверьте: все к лучшему! Вам надобны теперь письма и деньги.

С этим словом граф подошел к письменному столу и начал писать. Через полчаса он вручил Эльчанинову четыре пакета и 200 рублей серебром.

— Извините, что мало, — сказал он, подавая деньги, — там, по письму, вы можете, в случае нужды, адресоваться к моему поверенному.

Эльчанинов встал и начал раскланиваться.

— Прощайте, милый друг, — говорил граф, обнимая молодого человека, — не забывайте меня, пишите; могу ли я бывать у Анны Павловны?

— Граф! Я вас хотел просить об этом. Позвольте мне предоставить ее в полное ваше покровительство. Вы один, может быть, в целом мире...

— Все будет хорошо! Все будет хорошо! — говорил старик, еще раз обнимая Эльчанинова, и, когда тот, в последний раз раскланявшись, вышел из кабинета, граф опять сел на свое канапе и задумался. Потом, как бы вспомнив что-то, нехотя позвонил.

В кабинет вошел камердинер в модном синем фраке.

— Какой сегодня день?

— Четверг, ваше сиятельство.

— А когда почта в Петербург?

— Сегодняшний день, ваше сиятельство.

— Вели приготовить верхового в город.

Камердинер вышел. Граф снова подошел к бюро и начал лениво писать:

«Любезный Федор Петрович!

К тебе явится с моими письмами, от 5 сентября, молодой человек Эльчанинов. Он мне здесь мешает, затяни его в Петербурге, и для того, или приищи ему службу повидней и потрудней, но он вряд ли к этому способен, а потому выдавай ему денег понемногу, чтобы было ему на

что фланерствовать. Сведи его непременно с Надей. Скажи ей от меня, чтобы она занялась им, я ей заплачу; а главное, чтобы она вызвала его на переписку, и письма его к ней пришли ко мне. Надеюсь, что исполнишь.

Граф Сапега».

Написавши письмо, граф опять позвонил нехотя. Вошел тот же камердинер.

— Отправить страховым, — сказал Сапега и начал ходить скорыми шагами по комнате, вздыхая по временам и хватаясь за левый бок груди. Ему не столько нездоровилось, сколько было совестно своих поступков, потому что, опять повторяю, Сапега был добрый в душе человек, — но женщины!.. Женщин он очень любил и любил, конечно, по-своему.

VIII

Спустя неделю после отъезда Эльчанинова граф приехал в Коровино. Анна Павловна была по большей части в беспамятстве. Савелий встретил графа в гостиной.

— Могу ли, любезный, я видеть больную? — спросил граф, приняв Савелья за лакея.

— Она в беспамятстве теперь, ваше сиятельство, — отвечал почтительно Савелий.

— Все-таки я могу войти?

— Пожалуйста.

Граф вошел в спальню.

— Боже мой! боже мой! — вскричал он, всплеснув руками, — ах, как она больна! Она в отчаянном положении! Кто же ее лечит? Кто за ней ходит?

— Я за ней хожу, ваше сиятельство, — отвечал Савелий.

— Но как же ты можешь ходить? Это неприлично даже, — ты мужчина.

— Мне поручил ее Валерьян Александрыч, — отвечал Савелий.

— Очень неосмотрительно сделал Валерьян Александрыч; ты можешь любить госпожу, быть ей верен, но никак не ходить за ней больною.

Савелий не отвечал.

— Как сыро, как холодно в комнате! — продолжал граф, — бедная... бедная моя Анета! Часто ли ездит к ней по крайней мере лекарь?

— Лекарь не ездит, ваше сиятельство, — отвечал Савелий.

— Господи боже мой! — вскричал граф. — Что вы с нею делаете! Вы хотите просто ее уморить! Это ужасно! Сегодня же, сейчас же перевезу ее к себе.

— Нет, ваше сиятельство, — возразил было Савелий.

— Что такое нет? Оставить вам ее здесь уморить? — перебил граф.

— Я не могу отпустить Анны Павловны: она мне поручена, — сказал с твердостью Савелий.

— А я не могу оставить ее здесь, — отвечал граф, несколько удивленный дерзостью Савелья. — Оставить, когда у ней нет ни доктора, ни прислуги даже, которая могла бы ходить за ней.

Слова его были отчасти справедливы. Служанки, редко бывавшие в комнатах и в бытность Эльчанинова, теперь совершенно поселились в избах. Один только Савелий был безотлучно при больной. Пригласить медика не было никакой возможности; Эльчанинов, уехавши, оставил в доме только десять рублей. Савелий, никак не предполагавший подобной беспечности со стороны приятеля, узнал об этом после. Услышавши намерение графа взять к себе Анну Павловну, он сначала не хотел отпустить ее, не зная, будет ли на это согласна она сама и не рассердится ли за то; но, обдумавши весь ужас положения больной, лишенной всякого пособия, и не зная, что еще будет впереди, он начал колебаться.

— Я не знаю, ваше сиятельство, — начал он не с прежнею твердостью, — захочет ли больная переехать к вам.

— Чего тут больная! Она умирает, а ее спрашивать, хочет ли она помощи. Я сейчас возьму ее.

— Я не могу совсем оставить Анны Павловны; если вам угодно взять ее, то позвольте и мне быть при них.

— Ты можешь навещать, пожалуй.

— Я должен быть непрестанно при них. Я поклялся в этом Валерьяну Александрычу.

— Это совершенно не нужно; у Анны Павловны и без тебя будет много прислуги.

— Я не слуга, ваше сиятельство, — сказал, наконец, Савелий, вынужденный объявить свое настоящее имя.

Граф с удивлением и с любопытством посмотрел на молодого человека.

— Но кто же вы? — спросил он.

— Я знакомый Валерьяна Александрыча, — отвечал Савелий.

— Фамилия ваша?

— Молотов.

— Имя ваше, звание?

— Савелий Никаандрыч, а звание — дворянин-с.

— И вы говорите, что Валерьян Александрыч поручил вам Анну Павловну?

— Да, ваше сиятельство.

— Но я полагаю, что это не мешает мне взять к себе в дом Анну Павловну; вы можете быть у меня, сколько вам угодно.

— Нет уж, ваше сиятельство, позвольте, — я буду при них неотлучно.

— Как вам угодно, — отвечал Сапега, слегка пожав плечами, и потом прибавил: — Потрудитесь велеть подать карету.

Савелий вышел.

«Что это за человек? — подумал граф. — Он, кажется, очень привязан к больной и пользуется доверием Эльчанинова. Он может повредить мне во многом, но все-таки оттолкнуть его куда невозможно, а там увидим».

Савелий воротился.

— Карета готова, ваше сиятельство.

— Ну, теперь прикажите положить постель, я полагаю — это необходимо.

— Я уже все сделал, теперь только вынести Анну Павловну.

— Оденьте ее, бога ради, потеплее, — произнес граф.

— Одену-с, — отвечал Савелий и вышел.

Граф еще раз с удивлением посмотрел на молодого человека и вышел в гостиную.

Между тем Анна Павловна, бывшая с открытыми глазами, ничего в то же время не видела и не понимала, что вокруг нее происходило. Савелий позвал двух горничных, приподнял ее, надел на нее все, какое только было, теплое платье, обернул сверх того в ваточное одеяло и

вынес на руках. Через несколько минут она была уложена на перине вдоль кареты.

Граф сел с другой стороны.

— Позвольте уж и мне, ваше сиятельство, — сказал Савелий, влезая вслед за графом в экипаж.

Но тот ничего не отвечал и только продолжал с удивлением смотреть на него.

От Коровина до Каменки было не более семи верст, но так как граф, по просьбе Савелья, велел ехать шагом, чтоб не беспокоить больной, то переезд их продолжался около двух часов. Во всю дорогу Савелий и граф молчали; первый со всей внимательностью следил за больной; что же касается до Сапеги, то его занимала, кажется, какая-то особенная мысль. Часа в два пополудни карета остановилась у крыльца, граф вышел первый и тотчас распорядился, чтоб была приготовлена отдельная комната, близ библиотеки, и велел сию же секунду скакать верховому в город за медиком. Анну Павловну перенесли и уложили в постель, две горничные поставлены были на бессменное дежурство к ней; однако Савелий, несмотря на это, последовал за ней и поместился на дальнем стуле. Граф прошел в свой кабинет; его беспокоило, что скажет Анна Павловна, пришедши в чувство, и не захочет ли опять вернуться в Коровино. Он придумывал различные средства, которыми мог бы заставить ее остаться у него. Кроме того, его начинал беспокоить Савелий, которого живое участие казалось весьма ему подозрительным. Сапега еще дорогой решился подслушать, что будет говорить больная с своим поверенным, и таким образом узнать, в каких отношениях находятся между собою молодые люди. Он с намерением поместил Анну Павловну рядом с библиотекою, в которую никто почти никогда не входил и в которой, над одним из шкафов, было сделано круглое окно, весьма удобное для наблюдения, что делалось и говорилось в комнате больной. Теперь Сапега размышлял, кому поручить подслушать. Ему самому невозможно; для этого, может быть, нужно будет просидеть целый день, ночь в библиотеке и влезть, наконец, на шкаф, над которым было окно. Употребить для того кого-нибудь из людей граф не хотел; Иван Александрыч лучше всех оказался удобным исполнить это поручение... За ним был послан гонец, и через полчаса изгнанный племянник, в

восторге от возвращенной к нему милости, стоял в кабинете.

— Мне до тебя маленькая надобность, Иван, — сказал граф ласково. — Сядь поближе.

Иван Александрыч сел.

— Какой есть дворянин Молотов, Савелий, кажется, Макарыч, что ли? — продолжал Сапега.

— Савелий, ваше сиятельство, точно так-с, — подхватил Иван Александрыч.

— Что ж он такое за господин? — спросил Сапега.

— Какой господин, ваше сиятельство, бедняк, лет тридцати дубина, нигде еще и не служил. Делает вон телеги, — подхватил Иван Александрыч.

— Он часто бывает у Эльчанинова?

— Не могу знать, ваше сиятельство.

— Он теперь у меня, вместе с Мановской, я ее, больную, привез к себе.

— У вас, ваше сиятельство?

— Да, у меня. Я их обоих привез из Коровина; больная в беспамятстве. Хочешь посмотреть?

— Для чего же, ваше сиятельство, не посмотреть!

— Ну, так ступай в библиотеку, знаешь, там окно над шкафом, влезь на шкаф и посмотри.

— На шкаф влезть, ваше сиятельство? Нет, бог с ними. Нельзя ли как-нибудь в щелочку?

— Не нарочно же для тебя делать щели.

— Ну, так и не надо, ваше сиятельство, я не хочу.

— Ты-то не хочешь, да я хочу. Мне надобно знать, что будет говорить больная, когда придет в себя. Сослужи мне эту службу.

— Помилуйте, ваше сиятельство, если вам угодно, так я сейчас же... Я ведь думал, что вы говорите это так, для меня-с.

— Именно сейчас же, только вот в чем дело: тебе, может быть, придется просидеть целую ночь да и завтрашний день.

— Это ничего, ваше сиятельство, лишь бы вам было угодно.

— Ну, значит, спасибо, только слушай: ты как можно внимательнее должен смотреть, что будут они делать и что говорить. Я нарочно оставил их вдвоем.

— С кем же вдвоем, ваше сиятельство?

— Да я тебе говорил, с этим Молотовым.

— Понимаю-с, понимаю-с теперь, а то никак еще в ум-то хорошенько не мог сразу взять, — подхватил Иван Александрыч.

— Тебе нечего тут в ум и брать, — перебил его граф, — твое дело будет только подслушать и подсмотреть все, что будет делаться в комнате, и мне все передать, хотя бы стали бранить меня. Понимаешь?

— Понимаю, ваше сиятельство.

— Ну, так пойдем... я тебя запроу в библиотеке.

— Только ночью-то, ваше сиятельство, больно темно там будет.

— Да что ты, чертей, что ли, боишься?

— Маленького нянька напугала, вот теперь, если комната чуть-чуть побольше да темно, так уж ужасно боюсь.

— Полно вздор молоть, пойдем.

Граф и племянник вошли в библиотеку. Начинало уже смеркаться. Невольно пробежала холодная дрожь по всем членам Ивана Александрыча, когда они очутились в огромной и пустой библиотеке, в которой чутко отдались их шаги; но надобно было еще влезть на шкаф. Здесь оказалось немаловажное препятствие: малорослый Иван Александрыч никак не мог исполнить этого без помощи другого.

— Дай я тебя подсажу, — сказал граф.

— Вы, ваше сиятельство?.. Как это можно вам беспокоиться. Позвольте уж, я лучше сбегая за стулом.

— Давай сюда ногу.

— Не могу, ваше сиятельство, грязна очень, я, признаться сказать, приехал без калош.

— Говорят тебе давай, несносный человек.

Иван Александрыч вынул из кармана носовой платок, обернул им свой сапог и в таком только виде осмелился поставить свою ногу на руку графа, которую тот протянул. Сапега с небольшим усилием поднял его и посадил на шкаф. Иван Александрыч в этом положении стал очень походить на мартышку.

— Ну, прощай, смотри хорошенько, я побываю у тебя, — сказал граф, вышедши, и запер дверь.

Ивану Александрычу сделалось очень страшно, и он решил все внимание обратить на соседнюю комнату, в которой уже показался огонь.

Сапега вошел в комнату больной.

— Вы здесь? — сказал он, подходя к Савелью и садясь на ближний диван.

— Я попрошу позволения провести здесь всю ночь.

Сапега хотел что-то отвечать, но приехавший медик прервал их разговор. Он объявил, что Анна Павловна в горячке, но кризис болезни уже совершился.

— Когда она придет в себя? — спросил заботливо граф.

— Я полагаю, сегодняшнюю ночь или поутру.

— Сегодняшнюю ночь, — повторил граф. — Послушайте, — прибавил он, обращаясь к Савелью, — мне кажется, вам лучше одному остаться у больной, чтобы вид незнакомых лиц, когда она придет в себя, не испугал ее.

— Это очень хорошо, ваше сиятельство, — отвечал Савелий.

— Мы так и распорядимся... Вы сегодня не будете дежурить, — сказал Сапега горничной. — Впрочем, не нужно ли чего-нибудь сделать? — спросил он медика.

— Теперь ни к чему нельзя приступить, надобно ожидать от природы, я должен остаться до завтрашнего дня, — отвечал медик.

— Благодарю; стало быть, мы можем уйти. До свиданья.

Хозяин, медик и горничная вышли из комнаты.

Савелий, оставшись один в спальне, сейчас пересел ближе к больной. Глаза его, полные слез, с любовью остановились на бледном лице страдальцы, которой, казалось, становилось лучше, потому что она свободнее дышала, на лбу у нее показалась каплями испарина, этот благодетельный признак в тифозном состоянии. Прошло несколько минут. Савелий все еще смотрел на нее и потом, как бы не могши удержать себя, осторожно взял ее худую руку и тихо поцеловал. При этом поступке лицо молодого человека вспыхнуло, как обыкновенно это бывает у людей, почувствовавших тайный стыд. Он проворно опустил руку, встал с своего места и пересел на отдаленное кресло.

Предсказание врача сбылось, больная часа через два пришла в себя; она открыла глаза, но, видно, зрение ее было слабо и она не в состоянии была вдруг осмотреть всей комнаты. Савелий подошел.

— Это вы? — сказала она слабым голосом.

— Я, Анна Павловна, слава богу, вам лучше, — отвечал Савелий.

— Погодите, — начала больная, осматриваясь и водя рукой по лбу, как бы припоминая что-то, и глаза ее заблестали радостью. — Где мы? Верно, в Москве, у Валера, — сказала она с живостью. — Мы приехали к нему, где же он? Бога ради, скажите, где он?

— Мы не у Валерьяна Александрыча, а только скоро к нему поедем.

— Так не у него! Господи, я его не увижу! Где же мы?

— Мы у графа, Анна Павловна.

— У графа! — вскрикнула она. — Зачем же мы у графа? Посдемте, бога ради, посдемте поскорее, я не хочу здесь оставаться.

— Вам здесь покойнее, Анна Павловна, — сказал Савелий. — Граф нарочно пересвез вас; он очень заботится, пригласил медика, и вот вам уж лучше.

— Уедемте, бога ради, уедемте, — просила она, — мне здесь нехорошо.

— Если мы поедем в Коровино, вам опять будет хуже, вам нельзя будет ехать к Валерьяну Александрычу, а уж он, я думаю, скоро напишет.

— Мне будет и там лучше, я буду беречь себя, я буду лечиться там.

— Вам нельзя будет лечиться, у вас нет денег; это я виноват, Анна Павловна; мне оставил Валерьян Александрыч двести рублей, а я их потерял.

— Вам Валер оставил двести рублей? Какой он добрый!.. Мы напишем ему, он еще пришлет нам, только уедемте отсюда.

— Куда же мы будем писать, Анна Павловна? Мы не знаем еще, где Валерьян Александрыч. Поживите здесь покуда.

— Здесь? Ах нет, я не могу, не верьте графу, я боюсь его.

— Но чего же вам опасаться, Анна Павловна? Я при вас неотлучно буду.

— Нет, уедемте, бога ради, уедемте, мне сердце говорит. Вы не знаете графа, он дурной человек, он погубит меня.

— Анна Павловна, вспомните, что вы будете здесь жить для Валерьяна Александрыча, чтобы поскорее

выздороветь и ехать к нему... Что если он напишет и станет ждать вас, а вы не сможете ехать?

— Ах, как мне тяжело! — сказала бедная женщина и закрыла лицо руками.

— Мы останемся здесь недолго... Бог даст, Валерьян Александрыч напишет, мы и поедem. До тех пор я буду беспрестанно около вас.

— Да, будьте, непременно будьте. Я без вас здесь не останусь, не отходите от меня ни на минуту, граф ужасный человек.

Вся эта сцена, с малейшими подробностями, была Иваном Александрычем передана Сапеге, который вывел из нее три результата: во-первых, Савелий привязан к Анне Павловне не простым чувством, во-вторых, Анна Павловна гораздо более любила Эльчанинова, нежели он предполагал, и, наконец, третье, что его самого боятся и не любят. Все это весьма обеспокоило графа.

IX

О переезде Анны Павловны в Каменки точно ворона на хвосте разнесла в тот же почти день по всей Боярщине. «Ай да соколена, — говорили многие, по преимуществу дамы, — не успел еще бросить один, а она уж нашла другого...» — «Да ведь она больна, — осмеливались возражать некоторые поддлее, — говорят, просто есть было нечего, граф взял из человеколюбия...» — «Сделайте милость, знаем мы это человеколюбие!» — восклицали им на это. «Что-то Михайло-то Егорыч, батюшки мои, что он-то ничего не предпринимает!..» — «Как не предпринимает, он и с полицией приезжал было», — и затем следовал рассказ, как Мановский наезжал с полицией и как исправника распек за это граф, так что тот теперь лежит больнехонек, и при этом рассказе большая же часть восклицали: «Прах знает что такое делается на свете, не поймешь ничего». Впрочем, переезд Мановской к графу чувствительнее всех поразил Клеопатру Николаевну. Помирившись с своей совестью и испытавши удовольствие быть любимой богатым стариком, она решительно испугалась пребывания в доме графа Мановской, которую она считала своей соперницей. Очень естественно, что она навсегда утратит покровительство

Сапеги, который оставит и не возьмет ее с собою в Петербург, чего ужасно ей хотелось, — и оставит, наконец, в жертву Мановскому, о котором одна мысль приводила ее в ужас. Под влиянием этих опасений она решилась объяснить с графом и написала к нему письмо, которым умоляла его приехать к ней, но получила холодный ответ, извещающий ее, что граф занят делами и не может быть впредь до свободного времени. Она послала еще письмо, на которое ничего уж ей не отвечали. Видя тщетность писем, что еще более усилило ее опасения, она сама решилась ехать к графу и узнать причину его невнимания.

Между тем, как все это происходило, один только Задор-Мановский, к которому никто не ездил, ничего не знал.

В воздвиженьев день бывает праздник в Могилковском приходе. Михайло Егорыч, впрочем, был дома и обходил свои поля, потом он пришел в комнаты и лег, по обыкновению, в гостиной на диване. Вошла тихими шагами лет двадцати пяти горничная девка в китайчатом капоте и в шелковой косынке, повязанной маленькой головкой, как обыкновенно повязываются купчихи. Это была уже знакомая нам горничная Анны Павловны, Матрена, возведенная в степень ключницы и называемая теперь от двора Матреною Григорьевною, хотя барии попрежнему продолжал называть ее Матрешкой. Постоявши немного и видя, что Михайло Егорыч не замечает ее, она кашлянула.

— Кто там? — спросил Мановский.

— Я, батюшка, — отвечала Матрена.

— Ты? — повторил Михайло Егорыч.

— Я-с, — отвечала ключница. — Благодарим покорно за лошадку, — прибавила она, подходя и целуя руку барина.

— Ну, что там?

— Ничего, батюшка, молились, таково было много народу! Соседи были, — отвечала ключница. Она была, кажется, немного навеселе и, чувствуя желание поговорить, продолжала: — Николай Николаич Симановский с барыней был, Надежда Петровна Карина да еще какой-то барин, я уж и не знаю, в апалетах.

— Да что вы долго? Поди, чай, по деревням ездили?

— Ой, полноте, батюшка, — возразила Матрена, — как это можно, тихо ехали-с, да я и не люблю: что? бог с ними. Только и зашли, по совести сказать, к предводительскому вольноотпущенному, к Иринарху Алексеичу, изволите знать? Рыбой еще торгует. Он, признаться сказать, увидел меня в окошко, да и закликал. «Матрена Григорьевна, говорит, сделайте ваше одолжение, пожалуйста...» Тут только, батюшка, и посидела.

— Только?

— Только-с. Да я бы ведь и тут бы не засиделась, — нечего сказать, дом гребтит, — да разговор такой уж зашел, что нельзя было...

— Какой же?

— Про нашу Анну Павловну, батюшка.

— Про жену?

— Да-с.

— Что ж такое?

— Да изволите видеть, — начала Матрена, вздохнув и приложивши руку к щеке, — тут был графский староста, простой такой, из мужиков. Они, сказать так, с Иринархом Алексеичем приятели большие, так по секрету и сказал ему, а Иринарх Алексеич, как тот уехал, после мне и говорит: «Матрена Григорьевна, где у вас барыня?» А я вот, признаться сказать, перед вами, как перед богом, я говорю: «Что, говорю, не скроешь этого, в Коровине живет». — «Нет, говорит, коровинского барина и дома нет, уехал в Москву».

— Как в Москву? — проговорил Мановский, приподымаясь с дивана.

— Да, батюшка, в Москву, а барыня наша уж другой день переехала в Каменки.

Мановский, как бы не могший еще прийти в себя, посмотрел на ключницу каким-то странным взглядом.

— Как в Москву? Как в Каменки? — повторял он, более и более краснея.

— Да, в Москву, — отвечала Матрена, побледнев в свою очередь.

— Так что ж ты мне, бестия, прежде этого не сказала? — заревел вдруг Мановский, вскочивши с дивана и опрокинув при этом круглый стол.

— Батюшка, Михайло Егорыч, лопни мои глаза, сегодня только узнала.

— Заговор! Мошенничество! — кричал Мановский. — По праздникам только ездить пьянствовать!..

— Отец мой, Михайло Егорыч, успокойтесь, может, и неправа.

— Пошла вон!.. Уехал! Переехала!.. Старая-то крыса эта! А!.. Это его штуки... его проделки. Уехал!.. Врешь, нагоню, уморю в тюрьме! — говорил Мановский, ходя взад и вперед по комнате, потом вдруг вошел в спальню, там попались ему на глаза приданные ширмы Анны Павловны: одним пинком повалил он их на пол, в несколько минут исщипал на куски, а вслед за этим начал бить окна, не колотя по стеклам, а ударяя по переплету, так что от одного удара разлеталась вся рама. После трех-четырёх приемов в спальне не осталось ни одного стекла, и Мановский, видно уже обессиленный, упал на постель. Холодный ветер, пахнувший в разбитые стекла, а может быть, и физическое утомление затушили его горячку. Почти целый час пролежал он, не изменив положения, и, казалось, что-то обдумывал, потом крикнул:

— Эй, кто там!

Вошла опять та же Матрена.

— Вели сейчас лошадей готовить, — проговорил он. Матрена ушла.

Часу в двенадцатом ночи Михайло Егорыч был уже в уездном городе, взял там почтовых лошадей и поскакал в губернский город.

В этот же самый день граф Сапега сидел в своей гостиной и был в очень дурном расположении духа. У него не выходила из головы сцена, происходившая между Савельем и Анной Павловной и пересказанная ему Иваном Александрычем. «Как она любит его», — думал он и невольно оглянулся на свое прошедшее; ему сделалось горько и как-то совестно за самого себя. Любила ли его хоть раз женщина таким образом! Все было наемное, купленное. Вот теперь он старый холостяк, ему около шестидесяти лет; он, может быть, скоро умрет... Умрет!.. Как это страшно! Да, он чувствует, что силы его час от часу слабеют, и что же он делает? Интригует с одной женщиной и хочет соблазнить другую. На этих печальных мыслях доложили ему о приезде Клеопатры Николаевны.

Граф сделал гримасу, и, когда вдова вошла и подала ему по обыкновению руку, он едва привстал с места.

Клеопатра Николаевна села.

— Извините меня, граф, — начала она, — что я не могла себе отказать в желании видеть вас, хоть вам это и неприятно.

— Напротив, я всегда радуюсь вашему посещению, — возразил Сапега.

— Вы не хотели, однако, исполнить моей просьбы и приехать ко мне, вы даже не хотели отвечать мне, бог с вами! — проговорила вдова.

— Я не имел времени, — ответил граф, и оба они замолчали на некоторое время.

— Опасения мои, кажется, сбываются, — начала Клеопатра Николаевна.

— Какие опасения? — спросил Сапега.

— В вашем доме, — продолжала Клеопатра Николаевна, как бы отвечая на вопрос, — живет женщина, которую вы любите и для которой забудете многое.

— Не обижайте этой женщины, — перебил ее строго граф, — она дочь моего старого друга и полумертвая живет в моем доме. В любовницы выбирают здоровых.

Клеопатра Николаевна вспыхнула, она поняла намек графа.

— Простите мою ревность, — начала она, скрывая досаду, — но что же делать, вы мне дороги.

— И вы мне дороги, — сказал двусмысленно граф.

Клеопатра Николаевна поняла тоже и этот каламбур. Она ясно видела, что граф хочет от нее отделаться, и решила на последнее средство — притвориться страстно влюбленною и поразить старика драматическими эффектами.

— Теперь я понимаю, граф, — сказала она, — я забыта... презрена... вы смеетесь надо мной!.. За что же вы погубили меня, за что же вы отняли у меня спокойную совесть! Зачем же вы старались внушить к себе доверие, любовь, которая довела меня до забвения самой себя, своего долга, заставила забыть меня, что я мать.

— Отчего вы не адресовались с подобными вопросами к Мановскому? — спросил насмешливо граф. Это превышало всякое терпение. Клеопатра Николаевна сначала думала упасть в обморок, но ей хотелось еще поговорить, оправдаться и снова возбудить любовь в старике.

— Это клевета, граф, обидная, безбожная клевета, — отвечала она, — я Мановского всегда ненавидела, вы сами это знаете.

— Тем хуже для вас, — возразил Сапега.

— Граф! Я вижу, вы хотите обижать меня, но это ужасно! Если вы разлюбили меня, то скажите лучше прямо.

— А вы меня любили? — спросил немилосердно Сапега.

— И вы, граф, имеете духу меня об этом спрашивать, когда я принесла вам в жертву свою совесть, утратила свое имя. Со временем меня будет проклинать за вас дочь моя.

— Что ж вам собственно от меня угодно? — спросил Сапега.

— Я хочу вашей любви, граф, — продолжала Клеопатра Николаевна, — хочу, чтоб вы позволили любить вас, видеть вас иногда, слышать ваш голос. О! не покидайте меня! — воскликнула она и упала перед графом на колени.

Презрение и досада выразились на лице Сапеги.

— Встаньте, сударыня, — начал он строго, — не заставляйте меня думать, что вы к вашим качествам прибавляете еще и притворство! К чему эти сцены?

— Ах! — вскрикнула вдова и упала в обморок, чтобы доказать графу непритворность своей горести.

Сапега только посмотрел на нее и вышел в кабинет, решившись не посылать никого на помощь, а сам между тем сел против зеркала, в котором видна была та часть гостиной, где лежала Клеопатра Николаевна, и стал наблюдать, что предпримет она, ожидая тщетно пособия.

Прошло несколько минут, Клеопатра Николаевна лежала с закрытыми глазами. Граф начинал уже думать, не в самом ли деле она в обмороке, как вдруг глаза ее открылись. Осмотревши всю комнату и видя, что никого нет, она поправила немного левую руку, на которую, видно, неловко легла, и расстегнула верхнюю пуговицу капота, открыв таким образом верхнюю часть своей роскошной груди, и снова, закрывши глаза, притворилась бесчувственной. Все эти проделки начинали тешить графа, и он решился еще ожидать, что будет дальше.

Прошло около четверти часа, терпения не стало более у Клеопатры Николаевны.

— Где я? — произнесла она, приподымаясь с полу, как приподымаются после обморока в театрах актрисы, но, увидя, что попрежнему никого не было, она проворно встала и начала подходить к зеркалу.

Граф, не ожидавший этого движения, не успел отвернуться, и глаза их встретились в зеркале. Сапега, не могший удержаться, покатился со смеху. Клеопатра Николаевна вышла из себя и с раздраженным видом почти вбежала в кабинет.

— Что это вы со мной делаете! Подлый человек! — Развратный старичишка! Мало того, что обесчестил, еще насмеяется!.. — кричала она, забывши всякое приличие и задыхаясь от слез.

— Тише! тише, сумасшедшая женщина! — говорил граф.

— Нет, я не сумасшедшая, ты сумасшедший, низкий человек!

— Тише, говорят, не кричите.

— Нет, я буду кричать на весь дом, чтобы слышала твоя новая любовница. — Последние слова она произнесла еще громче.

— Поди же вон! — сказал в свою очередь взбесившийся Сапега и, взявши вдову за плечи, повернул к дверям в гостиную и вытолкнул из кабинета, замкнувши тотчас дверь.

Х

На тех же самых днях, поутру, начальник губернии сидел, по обыкновению, таинственно в своем кабинете. Это уже был старик и, как по большей части водится, плешивый. Смолоду, говорят, он известен был как масон, а теперь сильно страдал ипохондрией. Слывя за человека неглупого и дальновидного, особенно в сношениях с сильными лицами, он вообще был из хитрецов меланхолических, самых, как известно, непроходимых.

Часов около двенадцати дежурный чиновник доложил:

— Полковник Мановский.

— Просите, — сказал губернатор с некоторою даже строгостью.

Задор вошел.

— Здравствуйте, полковник, — произнес губернатор, ласково указывая ему на стул. Тот сел и, видимо, был чем-то встревожен. Губернатор между тем устремил грустный взор на видневшуюся перед ним реку, тоже как-то мрачно взъерошенную осенним ветром.

— Какая погода скверная, — произнес он.

— Нехороша, — отвечал Мановский. — И меня вот третий день так ломает, черт знает что такое и отчего.

— Погода, поверьте, — решил губернатор.

Мановский на это вздохнул и, помолчавши, начал официальным тоном:

— Я к вам с просьбой, ваше превосходительство.

— Что такое? — спросил губернатор, несмотря на свою меланхолию, не совсем равнодушным тоном. Он давно уже слышал об ужасных неприятностях Мановского в семейной жизни.

— У меня жена убежала, — отвечал Михайло Егорыч с свойственной ему твердостью и резкостью, хотя в то же время все лицо его покрылось красными пятнами. — Целый год уже, — продолжал он, — она не только что не живет со мной в супружеском сожитии, но даже мы не видались с ней.

Губернатор грустно посмотрел на него.

— Несмотря на это, — снова продолжал Мановский, — я известился, что она находится в беременном состоянии, а потому просил бы ваше превосходительство об освидетельствовании ее через кого следует, и выдать мне на то документ, так как я именем своим не хочу покрывать этой распутной женщины и желаю иметь с ней развод.

Губернатор думал.

— А где же ваша супруга теперь проживает? — спросил он вдруг, и вопрос этот озадачил немного Мановского.

— Она живет теперь в усадьбе графа Сапеги, — отвечал он.

— Живет уж? — повторил губернатор и позвонил. Вошел дежурный чиновник.

— Потрудитесь, любезный, принести мне от правителя конфиденциальное письмо графа Сапеги, запечатанное в пакете, — проговорил он кротчайшим голосом. Чиновник поклонился и вышел.

— А от графа есть письмо по моему делу? — спросил Мановский.

— Есть, — отвечал значительно губернатор и, чтобы не распространить далее разговора, начал опять грустно смотреть в окно. Чиновник принес дело. Губернатор, взяв от него, выслал его из кабинета и приказал поплотней притворить дверь.

— Это самое письмо и есть, собственной рукой графа написанное, — продолжал губернатор таинственным голосом. — Позвольте прочесть вам? — прибавил он

Мановский кивком головы изъявил согласие.

Губернатор начал: — «Сверх чаяния, зажившись в губернии, вверенной управлению вашего превосходительства, я сделался довольно близким свидетелем одной неприятной семейной истории. Сосед мой, г. Мановский, в продолжение нескольких лет до того мучил и тиранил свою жену, женщину весьма милую и образованную, что та вынуждена была бежать от него и скрылась в усадьбе другого моего соседа, Эльчанинова, молодого человека, который, если и справедливы слухи, что влюблен в нее, то во всяком случае смело могу заверить, что между ними нет еще такой связи, которая могла бы положить пятно на имя госпожи Мановской. Несмотря на это, местная полиция, подкупаемая варваром-мужем, производила совершенно выходящие из пределов их власти в усадьбе господина Эльчанинова обыски, пугая несчастную женщину и производя отвратительный беспорядок в доме. Прекратив все эти незаконные действия, я вместе с тем поставляю себе долгом уведомить о том и ваше превосходительство для надлежащего с вашей стороны распоряжения, которым вы удержите полицию от дальнейших ее притязаний и примете под непосредственное ваше покровительство несчастную женщину, в пользу которой все сделанное с вашей стороны я приму за бесконечное и собственно для меня сделанное одолжение».

При чтении этих строчек Мановский только бледнел.

— Что ж мне делать после того, ваше превосходительство? — проговорил он.

— А мне-то тоже что делать? — спросил губернатор.

— Поеду теперь, значит, в Петербург, — проговорил Мановский, — и буду там ходатайствовать. Двадцать пять лет, ваше превосходительство, я служил честно. Я на

груди своей ношу знаки отличия и надеюсь, что не позволят и воспретят марать какой-нибудь позорной женщине мундир и кресты офицера. — При последних словах у Михайла Егорыча навернулись даже слезы.

Губернатор развел руками и потупил голову.

— Самый лучший и единственный путь, — проговорил он.

— Я и на вас, ваше превосходительство, буду жаловаться, извините меня, — продолжал Мановский, уже вставая, — так как вы выдаете хоть бы нас, дворян, допуская в домах наших делать разврат кому угодно, оставляя нас беззащитными. Перед законом, полагаю, должны быть все равны: что я, что граф какой-нибудь. Принимая присягу, мы не то говорим перед крестом.

— Ваше дело будет жаловаться, а мое будет отвечать, — возразил на это губернатор с заметною сухостью, и Мановский, поклонившись ему гордо, вышел. Несмотря на свою свирепую запальчивость, он на этот раз себя сдержал, насколько мог, понимая, что губернатор не захочет да и не может даже ничего сделать тут. Выйдя из губернаторского дома и проходя бульваром, он, как бы желая освежиться, шел без шапки и все что-то хватался за голову.

Остановился он на этот раз на квартире, как и всегда, у одного бедного приказного, который уже несколько десятков лет ко всему ихнему роду чувствовал какую-то рабскую преданность, за которую вознаграждаем был každогодно несколькими пудами муки и еще кой-чем из домашнего запаса. Пришедши на квартиру, Мановский спросил себе обедать, впрочем ничего почти не ел и все пил воду; потом прилег как бы соснуть, но не прошло и полчаса, как знакомый наш Сенька, вместо обычного барского крика: «Эй, милый!» — услышал какое-то мычанье и, вошедши в спальню, увидел, что Михайло Егорыч лежал вверх лицом. При входе его он хотел, видно, встать, но вместо того упал на правую руку.

Сенька постоял немного, поглядел и, видя, что ничего ему не приказывают, опять ушел в свою маленькую прихожую.

— Хмелен, видно!.. Ловко, знать, где-то попало!.. Привстать-то даже не сможет, — решил он, мотнув головой.

Так прошло время до трех часов; хозяин-чиновник, возвратясь из должности, зашел, как делал он это каждый день, на половину Михайла Егорыча, ради того чтобы изъяснить ему свое почтение, а другое, может быть, и для того, что не удастся ли рюмочку-другую выпить водочки, которая у Мановского была всегда отличная.

— А что, их милость дома или нет? — спросил он у Сеньки.

— Дома-то, дома, хмелен только, — отвечал тот.

— Ну, вот на здоровье; почивать, значит, теперь изво-лит.

— Бог его знает, спит не спит, а лежит да глазами только хлопает. Слышите, вон замычал.

— Ай, батенька, царица небесная! Да чтой-то это такое, поглядеть надо, — проговорил добряк и заглянул в спальню. Михайло Егорыч лежал вверх лицом сначала неподвижно, потом приподнял левой рукой правую, поддержал ее в воздухе и отпустил; она как плеть упала на постель.

— Отцы мои! Да у него владенья, знать, нет, — вскрикнул приказный, всплеснувши руками. — Отец мой! Михайло Егорыч! — произнес он, подходя к постели.

— Хмы! Хмы! Хмы! — мычал Мановский.

— Не сходить ли за доктором, Михайло Егорыч?

Мановский мотнул головой.

— Сейчас, батюшка, — сказал добряк и выбежал. — Поди к барину-то, — произнес он Сеньке, пробегая лакейскую.

Вскоре приехавший с ним лекарь осмотрел Мановского и велел ему пустить кровь и растирать правую сторону щетками.

— Что это такое, батюшка, что такое с благодетелем-то случилось? — спросил приказный, когда они вышли из спальни.

— Ничего, паралич, — отвечал мрачно и лаконически доктор и потом, севши на дрожки, проговорил сам с собою: — Скоты этакие, зовут и не платят.

Положение графа в свою очередь тоже становилось час от часу неприятнее. Конечно, ему писали из Петербурга, что Эльчанинов приехал туда и с первых же дней начал пользоваться петербургскою жизнью, а о деревне, кажется, забыл и думать, тем более что познакомился с Наденькой и целые вечера просиживал у ней; кроме

того, Сапега знал уже, что и Мановский, главный враг его, разбит параличом и полумертвый привезен в деревню. Несмотря на все эти благоприятные извне обстоятельства, Сапега более и более терял надежду склонить Анну Павловну на свои искания. Горесть ее была так велика, так непритворна, что он даже никогда не решался намекнуть ей о любви своей, чему еще, надобно сказать, мешал и Савелий, оттолкнуть которого не было никакой возможности, а между тем Иван Александрыч пересказывал дяде всевозможные сплетни, которые сочинялись в Боярщине насчет его отношений к Анне Павловне. Терпение Сапеги начинало ослабевать, роль бескорыстного покровителя решительно была не в его духе. Он начинал не на шутку скучать и досадовать. Он даже жалел, что расстался с Клеопатрой Николаевной, и решился было снова возобновить с ней прежние отношения, но вновь полученные письма из Петербурга изменили его планы. Ему писали, что, по приказанию его, Эльчанинов был познакомлен, между прочим, с домом Неворского и понравился там всем дамам до бесконечности своими рассказами об ужасной провинции и о смешных помещиках, посреди которых он жил и живет теперь граф, и всем этим заинтересовал даже самого старика в такой мере, что тот велел его зачислить к себе чиновником особых поручений и пригласил его каждый день ходить к нему обедать и что, наконец, на днях приезжал сам Эльчанинов, сначала очень расстроенный, а потом откровенно признавшийся, что не может и не считает почти себя обязанным ехать в деревню или вызывать к себе известную даму, перед которой просил даже солгать и сказать ей, что он умер, и в доказательство чего отдал послать ей кольцо его и локон волос. Прочитав эти известия, даже граф удивился.

— Ах, какой дрянной и ветреный мальчишка! — проговорил он.

Чтоб оправдать хоть сколько-нибудь моего героя, я должен упомянуть здесь об одном обстоятельстве. Вскоре после его приезда в Петербург Клеопатра Николаевна писала ему:

«Добрый друг!

Не могу удержаться, чтобы не известить вас об одном, конечно, неприятном для вашего сердца случае, но призвите, добрый друг, на помощь религию, ваш рассудок.

и будьте благоразумны. Женщина, которую вы любите, не стоит того. Ах! Если б вы знали, как мне тяжело это сказать! Она на другой же день переехала к графу и теперь очень спокойно живет у него. Нужно ли говорить, в каких они отношениях? Теперь очень понятно поведение этого ужасного старика. Как можно теперь верить женщинам! Мы еще иногда обвиняем мужчин, но они против нас просто ангелы. Услышавши, что эта особа переехала в Каменки и еще кой-что, я решилась сама убедиться в том и поехала к графу, но жестоко была наказана за мое любопытство. Когда я вошла в гостиную, то увидела совершенно аркадскую сцену, от которой ужас овладел мною, и я тотчас уехала. Не огорчайтесь и не отчаивайтесь, добрый друг! Вы мужчина, должны быть тверды, должны забыть недостойную. Я очень боюсь, чтобы вы не предприняли чего-нибудь решительного и не захотели бы кровью отомстить коварному вашему покровителю. Конечно, он стоит смерти, но поберегите себя, хоть для меня, если попрежнему считаете меня вашим другом.

Любившая и любящая вас *Cléopâtre*.

Эльчанинов, получивший это письмо и желавший в душе, чтобы это было так, поверил всему безусловно. Считая потом себя вправе окончательно отказаться от этой женщины, нагнал при этом случае, сколько только возможно нагнать. Граф между тем рассуждал сам с собой: «Что делать?.. Объявить ли Анне Павловне о мнимой смерти Эльчанинова, раскрыть перед нею страшную перспективу бедности, унижения и обещать ей все это исправить при известных условиях? Неужели же эта женщина скорее решится умереть с голоду, чем приневолить себя полюбить его? Конечно, благоразумие требовало бы некоторой постепенности, надобно, чтоб она привыкла к мысли, что для нее более не существует любимый человек; но, может быть, это продолжится еще долго», — заключил граф и принял намерение действовать, не отлагая времени и решительно. Следующая же ночь была избрана для того, потому что Савелий только на это время и оставлял Анну Павловну одну и уходил спать в отдаленную комнату.

С приближением решительной минуты графом начало живей и живей овладевать беспокойство. Рассудок гово-

рил о безрассудной его дерзости, советовал повыждать для более верного успеха; но известен закон, что самые запальчивые и безрассудные люди в любви — это старики и молодые юноши. Когда пробило на часах двенадцать и все в доме, казалось, улеглось и заснуло, Сапега вышел из кабинета, почти бегом пробежал коридор и тихонько отворил дверь в спальню Анны Павловны. Ночная лампада слабо освещала комнату, и только ярко блестел золотой оклад старинной иконы. Граф невольно отвернул глаза от образа и взглянул на кровать: Анна Павловна крепко спала; на бледном лице ее видна была улыбка, как будто бы ей снились приятные грезы; из-под белого одеяла выставлялась почти до плеча голая рука, несколько прядей волос выбивались из-под ночного чепчика. Этого было достаточно, чтобы графа остановило всякое другое чувство. Он быстро подошел к кровати и поцеловал спящую Анну Павловну в лоб. Она открыла глаза и болезненно вскрикнула.

— Тише, бога ради, тише, — начал граф, — я пришел к вам говорить, я буду говорить о Валерьяне Александрыче, я о нем вам скажу.

Анна Павловна не могла еще опомниться.

— Я сейчас получил о Валерьяне Александрыче известие, я хочу с вами говорить, — продолжал торопливо Сапега.

— О Валере?.. Вы от Валера получили письмо? Он меня, верно, зовет, — сказала Анна Павловна, приподымаясь. — Покажите мне письмо, дайте мне поскорее. Боже! Неужели это правда? Дайте, где оно у вас? — И она хватала графа за руки.

— Позвольте мне сесть около вас, — сказал тот, садясь на кровать.

— Дайте мне письмо! Здоров ли Валер? Дайте поскорее.

— Хорошо, хорошо, — отвечал Сапега, — только вы прежде скажите мне, за что вы его так любите?

— Граф! — воскликнула уже со слезами бедная женщина, — вы терзаете меня, вы злой человек, я не хочу с вами говорить.

— Нет, Анна Павловна, я должен с вами говорить, — произнес с твердостью Сапега, уже овладевши собою.

— Покажите мне письмо Валера.

— Покажу, но прежде позвольте мне сказать вам хоть несколько слов о себе. Знаете ли, как я вас люблю, как я страдал за вас; вы ничего этого не видите, вы не чувствуете даже ко мне благодарности.

— Я благодарна вам.

— Нет, и этого нет: вы только опасаетесь и почти ненавидите меня. Вы не понимаете, чего мне стоило покровительство вашему любимцу, когда я сам в вас влюблен. Поставьте себя хоть на минуту в мое положение.

— Граф!..

— Дайте мне договорить: я целые полгода скрывал себя и обрек себя на полное самоотвержение. Любя вас, я покровительствовал вашей любви к другому человеку, потому что думал, что в этой любви ваше счастье.

— Я буду вам вечно признательна, граф, — покажите мне письмо.

— Еще два слова: я думал, что если она и не любит меня, то по крайней мере благословит когда-нибудь мою память, но бог не дал мне и этого: я не сделал вас счастливою, я обманулся, как обманулись и вы. В этой любви ваша погибель, если только вы сами не будете благоразумны.

— Граф, выйдите вон! — сказала Анна Павловна с какой-то несвойственной твердостью. — Вы нарочно сюда пришли, выйдите, иначе я закричу, вы обманываете меня, вы не получили письма.

— Извольте, я уйду, но только я получил письмо, — отвечал хладнокровно Сапега и встал.

— Постойте! — вскричала Анна Павловна, останавливая его рукою. — Покажите мне письмо, бога ради, покажите!

— Поцелуйте меня за это, так и покажу, — проговорил Сапега как бы с отеческою улыбкою.

— Извольте, я буду целовать, сколько хотите, — отвечала Анна Павловна и сама, обняв его шею руками, начала торопливо целовать.

У графа опять кровь бросилась в голову, он обхватил ее за талию, целовал ее шею, глаза... Анна Павловна поняла опасность своего положения. Чувство стыда и са-

мосохранения, овладевшее ею, заставило забыть главную мысль. Она сильно толкнула графа, но тот держал ее крепко.

— Помогите! — вскрикнула бедная женщина.

— Не кричите или вы погибли, — начал шепотом Сапега. — Я вас оставлю одну, на нищету, на позор, забуду мою любовь и предам вас мужу. Любовник ваш умер, вот известие о его смерти, — прибавил он и выбросил из кармана особо присланное письмо поверенного, извещавшее о смерти Эльчанинова. Все забывшая, Анна Павловна схватила его, развернула, и при этом выпали кольцо и волосы Эльчанинова. Прочитав первые же строки, бедная женщина что-то приостановилась. Граф с невольным удивлением взглянул ей в лицо, на котором как бы мгновенно изгладилось всякое присутствие мысли и чувства: ни горя, ни испуга, ни удивления — ничего не было видно в ее чертах; глаза ее, взглянув на икону, неподвижно остановились, рот полураскрылся, опустившиеся руки вытянулись.

— Анна Павловна, что с вами? — спросил Сапега, взяв ее за руку.

Ответа не было.

— Господи! Что с вами? Анна Павловна, придите в себя, перекреститесь! — продолжал он испуганным тоном, поднимая ее руку и складывая пальцы в крест.

— Дайте мне письмо, дайте, — проговорила больная каким-то странным голосом.

— Письмо у вас, но вы ему не верьте, это все ложь. Эльчанинов жив, он только изменил вам, но я заставлю его силой полюбить вас, если вы этого хотите! Но только теперь, бога ради, прилягте, успокойтесь, — говорил окончательно растерявшийся старик, взяв Анну Павловну за плечи и стараясь уложить ее.

— Прочь! — закричала она раздирающим голосом, сильно толкнув Сапегу в грудь. — Мне душно! Жарко! — кричала она. Граф тут только догадался, что Анна Павловна помешалась.

— Душно! Жарко! — продолжала она кричать, метаясь по кровати. — Ох душно!

Граф дрожал всем телом, ужас, совесть и жалость почти обезумели его самого. Он выбежал из комнаты, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, но вместо того

прошел в свой кабинет и в изнеможении упал на диван. Ему все еще слышалось, как несчастная кричала: «Душно! жарко!». Сапега зажал себе уши. Прошло несколько минут, в продолжение которых криков не было слышно.

— Она умерла! — проговорил он и, вскочивши с дивана, что есть силы начал звонить в колокольчик: вбежал полусонный камердинер.

— Вели... беги... стой... Я слышал в комнате Анны Павловны крик, поди, попроси Савелия Никандрыча сюда. Нет, — говорил Сапега, но в это время снова раздался крик, и он опять упал на диван и зажал уши. Ничего не понимавший камердинер не трогался с места.

— Пошли, говорят тебе, Савелия Никандрыча, — произнес взбешенным голосом граф.

Камердинер вышел и скоро возвратился со свечою.

— Савелий Никандрыч у Анны Павловны, — проговорил он.

— Что с ней, что она? — спросил дрожащим голосом Сапега.

— Не могу доложить, ваше сиятельство, должно быть, хуже, Савелий Никандрыч укладывают их в постель.

Крики снова раздались.

— Господи, сохрани ее! — воскликнул граф. — Послушай, теперь можно ехать.

— Куда, ваше сиятельство?

— В Петербург; вели готовить лошадей, я сейчас еду в Петербург.

Камердинер стоял в недоумении.

— Сейчас еду, — повторил граф, — вы приедете после. Вели готовить лошадей.

Камердинер вышел.

Оставшись один, граф подошел к рабочему бюро и взял было сначала письменный портфель, видно, с намерением писать; но потом, как бы что-то вспомнив, вынул из шкатулки пук ассигнаций и начал их считать. Руки его дрожали, он беспрестанно ошибался. Вошел камердинер, и граф, как пойманный школьник, поспешно бросил отсчитанную пачку опять назад в шкатулку.

— Вам угодно переодеться? — спросил тот.

— Приготовь.

Камердинер вышел.

Сапега вынул из портфеля лист почтовой бумаги и написал скорей какими-то каракулями, чем буквами:

«Мой любезный Савелий Никандрыч! Нечаянное известие заставляет меня сию минуту ехать в Петербург. Я слышал, что Анне Павловне хуже, посылаю вам две тысячи рублей. Бога ради, сейчас поезжайте в город и пользуйте ее; возьмите мой экипаж, но только не теряйте времени. Я не хочу больную обеспокоить прощаньем и не хочу отвлекать вас. Прощайте, не оставляйте больную, теперь она по преимуществу нуждается в вашей помощи. Эльчанинов оказался очень низким человеком.

Сапега».

Граф торопливо свернул письмо, вложил в конверт и запечатал.

— Лошади готовы-с, — сказал вошедший камердинер.

Сапега проворно переоделся в дорожное платье.

— Отдай это письмо Савелию Никандрычу, — сказал он, подавая ему пакет, — и вели управителю дать ему мой экипаж, он с больной скоро уедет. Вы соберитесь послезавтра.

Эти слова граф говорил, уже проходя залу и последующий камердинером, который нес за ним шкатулку и портфель. Лестницу Сапега пробежал бегом.

— Постойте, ваше сиятельство, — раздался голос сверху. — Скажите, жив или нет Валерьян Александрыч?

— Жив, — отвечал граф. — Пошел! — крикнул он, и экипаж помчался.

На крыльце остался бледный Савелий, в руках у него было письмо Эльчанинова, найденное им на постели больной.

— Его сиятельство приказали вам отдать письмо! — сказал камердинер, подавая ему письмо графа.

— Куда уехал, граф?

— В Петербург.

— Анна Павловна очень тоскует, — слышался голос горничной.

Савелий бросился в комнаты.

Савелий снова поселился в своем домике. Вместе с ним жила больная и помешанная Анна Павловна. Граф, растерявшийся, как мы видели, вконец, написал к Савелью письмо, в котором упоминал о деньгах, но самые деньги забыл вложить. Савелий, пораженный припадком безумия Анны Павловны, потом известием о смерти Эльчанинова, нечаянным отъездом самого графа и, наконец, новым известием, что Эльчанинов жив, только на другой день прочитал это письмо и остался в окончательном недоумении. Он начал было спрашивать людей, не оставили кому-нибудь граф, но те отвечали, что его сиятельство приказали только приготовить экипаж для отъезда Анны Павловны, куда ей будет угодно. Поступок графа крайне удивил его. «Он, верно, был ночью у Анны Павловны и показал письмо о смерти Эльчанинова, а теперь, когда она помешалась, он бежал, будучи не в состоянии выгнать ее при себе из дома; но как же в деньгах-то, при его состоянии, сподличать, это уж невероятно!..» Подумав, Савелий в тот же день потребовал экипаж и перевез больную к себе в Ярцово.

Флигелек его разделялся на две половины, в одной из них жил его мужик с семейством и пускались по зимам коровы и овцы, а другую занимал он сам. Последняя была, в свою очередь, разгорожена на две комнатки — на прихожую и спальню, в которой он поместил больную.

Прошла неделя, Анне Павловне было все хуже. Савелий сидел, облокотясь на деревянный некрашенный стол и понутив голову. Боже! Как изменился он с тех пор, как мы в первый раз с ним встретились: здоровый и свежий цвет лица его был бледен, густые волосы, которые он прежде держал всегда в порядке, теперь безобразными клочками лежали на голове; одет он был во что попало; занятый, как видно, тяжелыми размышлениями, он, впрочем, не переставал прислушиваться, что делалось в соседней комнате. Наконец, двери оттуда тихо открылись: вышла баба в нагольном тулупе и ситцевом повойнике.

— Что, Аксинья? — спросил Савелий.

— Мечется, сердечная, больно, — отвечала та.

— Что-то Кузьма, скоро ли приедет? — проговорил Савелий.

— Ну, где еще скоро, поди, чай, дешево дают. Только мне жаль больно, Савелий Никандрыч, кобылы-то: коро-ва пускай, нешто, плоха была к молоку, кобылы-то больно жаль, славная была и жереба еще к тому.

— Ну, что тут вздор жалеть, лекарь бы только приехал.

— Ох, уж вы с вашими лекарями-то: ну, что оно-нясь: постоял, да и уехал, а еще красненькую дали.

— Холодной водой хотел попробовать облить, — проговорил Савелий как бы сам с собою.

— Вон еще, холодной водой облить, словно пьяного мужика, — подхватила баба. — Послушались бы меня, отслужили бы учетный молебен: ей вчера, после причастья, словно полегче стало. Отец Василий больно вон горазд служить. Я спосылаю парнишку.

— Спосылай! — отвечал Савелий.

Баба ушла, воротилась и опять прошла в спальню. Савелий все сидел, не переменяя своего положения; наконец, Аксинья снова вышла.

— Батюшка, Савелий Никандрыч, — начала она, — голубушка-то наша что-то больно уж тяжело дышит и ручки вытянула, уж не кончается ли она?

Савелий вскочил и торопливо вошел в спальню. Аксинья последовала за ним.

Больная лежала вверх лицом, глаза ее были закрыты, безжизненное выражение лица безумной заменилось каким-то спокойствием. Она действительно тяжело дышала. Савелий приблизился и взял ее за руку, больная взмахнула глазами; Савелий едва не вскрикнул от радости; в глазах ее не было прежнего безумия.

— Анна Павловна! Узнали ли меня? — спросил он.

Но она только ласково улыбнулась и, ничего не ответив, снова закрыла глаза. Бог судил ей в последний раз прийти в себя и посмотреть на истинно любящего ее человека. Дыханье ее стало учащаться, лицо более и более бледнело.

Приехал священник и вместо учетного молебна начал читать отходную. Через несколько минут она скончалась. Аксинья завывала во весь голос, священник, несмотря на привычку, прослезился. Окончив отходную, он отер глаза бумажным платком и в каком-то раздумье сел на стул.

Савелий стоял, прислонясь к косяку, и глядел на покойницу.

— Умерла она, батюшка? — спросил он священника.

— Померла, сударь, прияла успокоение, — отвечал священник. — Сном праведника почила, на редкость у младенцев такой тихой кончины.

— Холоднешенька, моя родная, — говорила Аксинья, щупая руки умершей и заливаясь слезами.

Савелий вышел в другую комнату и сел на прежнее место. Аксинья ушла позвать на помощь соседок, обрывать покойницу. Священник зажег несколько восковых свечей и начал кадить ладаном.

Вошел воротившийся Кузьма.

— Лекарю-то некогда, к нему какой-то генерал приехал, так, слышь, все и сидит у него, — сказал он после минутного молчания, видя, что барин ничего его не спрашивает.

— А продал ли, что я велел? — спросил, наконец, Савелий.

— Продал, Савелий Никандрыч, да только дешево дали, за обеих-то семьдесят пять рублей. — С этими словами он положил деньги на стол.

— Довольно на похороны? — спросил Савелий священника.

— Да ведь как повернете? Надо полагать, что довольно.

Савелий вздохнул.

В Могилках тоже были слезы. В той же самой гостиной, в которой мы в первый раз встретили несокрушимого, казалось, физически и нравственно Михайла Егорыча, молодцевато и сурово ходившего по комнате, он уже полулежал в креслах на колесах; правая рука его висела, как плеть, правая сторона щеки и губ отвисла. Матрена, еще более пополневшая, поила барина чаем с блюдечка, поднося его, видно, не совсем простывшим, так что больной, хлебнув, только морщился и тряс головою.

— Что поп?.. Помолится, — проговорил намеками Михайло Егорыч.

— Послали, батюшка... не замешкают, приедут, — отвечала Матрена. — Похороны, слышь, у них сегодня! — прибавила она, вздохнув.

— Чьи? — намекнул Михайло Егорыч.

Матрена некоторое время медлила.

— Нашей Анны Павловны, батюшка, — ответила, наконец, она.

Мановский вдруг заревел на весь дом.

— Батюшка! Да о чем это? Что это, полноте...

— Мне жаль ее, — промычал явственно Мановский и продолжал рыдать.

Пришли священники и стали служить всенощную. Михайло Егорыч крестился левой рукой и все что-то шептал губами, а когда служба кончилась, он подозвал к себе Матрену, показал ей рукой на что-то под диван. Та, видно, зная, вынула оттуда железную шкатулку.

— Топри, топри, — бормотал Михайло Егорыч.

Матрена отперла ключом, навязанным на носовом платке барина. Мановский вынул левой рукой пук ассигнаций и подал священнику.

— Ради чего это? — спросил тот Матрену.

— За покой души! Памятник!.. — намекнул Мановский.

— Чьей, сударь, души? — спросил священник.

— Аннушки! Мне жаль ее, — промычал Михайло Егорыч и опять заревел.

XII

Прошел год после смерти Анны Павловны. Предводительша возвратилась из Петербурга; Боярщина еще чаще стала ездить в Кочарево. Возвратившаяся хозяйка принимала гостей по большей части в диванной, которую она в последнее время полюбила перед прочими комнатами, потому что меблировала ее привезенною из Петербурга премиленькой мебелью.

Однажды вечером она полулежала на маленьком диване; это была очень еще нестарая дама, искренне или притворно чувствительная и вечно страдавшая нервами, в доказательство чего, даже в настоящую минуту, она держала флакон с одеколоном в руках. Около ее ног на креслах помещался старый ее супруг, с какой-то собачьей преданностью смотревший ей в глаза. Из гостей были самые частые их гости: Симановская с мужем, Уситкова в своем бессменном блондовом чепце и, наконец, сам Уситков, по загорелому и красному цвету лица которого

можно было догадаться, что он недавно возвратился из дальней дороги.

— Наконец, вы поместили вашего ребенка, — сказала хозяйка, обращаясь к нему, и он разинул уже было рот, чтобы отвечать, но жена перебила его.

— Ничего бы ему не поместить, кабы не граф и не мои к нему просьбы, — проговорила она.

— А вы видели графа? — спросила предводительша Уситкова.

— Видел-с, как же: постарел очень, узнать нельзя, говорит, что, как приехал из деревни, все хворает: простудился.

— А еще кого-нибудь из наших знакомых не видали ли? — спросила молоденькая Симановская, имевшая наклонность по известному свойству характера знать как можно больше и больше.

— Да кого еще из знакомых-то, — отвечал с расстановкою Уситков. — Эльчанинова видел, — прибавил он.

— Что ж он там делает? — спросил хозяин.

— Сочинителем сделался, сочинения, говорит, пишет... только в тонких, кажется, обстоятельствах: после третьего же слова денег попросил взаймы... — отвечал Уситков.

— Эльчанинова? — повторила хозяйка, прищутив глаза и обращаясь к мужу. — Не о нем ли, папаша, ты писал ко мне, еще какое-то *романическое приключение*, что-то такое, он увез кого-то, женился, что ли?

— Да, у Задор-Мановского жену увез.

Предводительша произнесла: «А!» — и с каким-то особым выражением сжала губы.

— Что, господа, не видали ли кто Михайло Егорыча? — продолжал старик, обращаясь к гостям.

— Я на днях заезжал и видел, — отвечал Симановский, — жалко смотреть-то стало: из этакого сильного мужчины сделался какой-то малый ребенок.

— Бог знает, что делает! — произнесла Уситкова, качнув головой. — Хотя, конечно, — прибавила она, — по милости женушки в таком положении.

— Что ж ему женушка сделала? — спросила предводительша.

— Как, Софья Михайловна, помилуйте, что сделала? — возразила Уситкова почти обиженным голосом. — Осрамила на весь мир; ну, человек с амбицией — не

вынес этого и свалился, хотя опять-таки скажу: бог знает, что делает.

— Где ж теперь она? — спросила хозяйка.

— Она и сама, бедненькая, умерла, — отвечала грустным голосом Симановская.

— Очень бедненькая! Как этаких бедненьких жалеть, так жалости неостанет. Была в связи с Эльчаниновым, тот бросил, подделалась к графу, а тут и к лапотнику перешла! — произнесла Уситкова.

— Нет, нет, — перебила Симановская, — что у графа и у Савелия она жила, лишившись рассудка, это я наверное знаю.

— Да ведь и я тоже знаю, не моложе вас и, может быть, поопытней, — возразила Уситкова.

— У вас никто и не перебивает вашего права, — возразила Симановская.

— Она тут, у этого бедняка Савелия, и умерла? — перебила их хозяйка, обращаясь к Симановской.

— Тут и умерла, — отвечала та.

Предводительша вздохнула.

— Незадолго до моего отъезда из Петербурга одна девушка умерла решительно от любви, — произнесла она, и разговор на некоторое время прекратился.

— Про графа, кажется, тут пустяки говорили... — начал было хозяин.

— Неужели еще он думает нравиться женщинам? — перебила его стремительно и с некоторым негодованием предводительша.

— Как же, — отвечал старик, — он и за нашей Клеопашей ухаживал.

— Неужели? Ах, это мило! Что ж она?

— Конечно, мазала по губам.

— Ах да, она ужасная шалунья в этих случаях, не все имеют такие легкие характеры, — произнесла хозяйка и опять вздохнула.

— Клеопатра Николаевна, при всей своей веселости, женщина с правилами, — начала Уситкова, имевшая привычку и хвалить и бранить человечество резко, где, по ее расчетам, было это нужно. — Я недавно была у нее целый день и не могла налюбоваться, как она обращается с своей дочерью: что называется и строго и ласково, как следует матери, — прибавила она, чтоб угодить хозяевам, но предводительша не обратила никакого внимания на ее

слова, потому что терпеть ее не могла, испытав на собственном имени остроту ее зубов.

— Меня все занимает это романическое приключение, — начала она: — где ж этот Савелий? Я у тебя, Alexis, его не вижу, отчего он не ходит к тебе?

— В службу, милушка, ушел, на Кавказ, — отвечал предводитель, — едва и дворянство-то ему выхлопотали.

— Славный будет служака, — заметил Уситков.

— Малый здоровый, пешком ушел на Кавказ-то, — произнес Симановский, поежившись от беспрерывной ревматической ломоты в сухих своих ногах.

— Пешком? Ах, бедненький, ему, верно, не на что было ехать, — произнесла предводительша и покачала головой.

ТЮФЯК

Семейные дела судить очень
трудно и даже невозможно!

Местная поговорка.

I

РОДСТВЕННИЦА

Однажды — это было в конце августа — Перепетуя Петровна уже очень давно наслаждалась послеобеденным сном. В спальне было темно, как в закупоренной бочке. Средство это употреблялось ради спасения от мух, необыкновенно злых в этом месяце. Часу в шестом Перепетуя Петровна проснулась и пробыла несколько минут в том состоянии, когда человек не знает еще хорошенько, проснулся он или нет, а потом старалась припомнить, день был это или ночь; одним словом, она заспалась, что, как известно, часто случается с здоровыми людьми, легшими после сытного обеда успокоить свое бременное тело. Это полусознательное состояние Перепетуи Петровны было прервано приходом горничной девки со свечою.

— Палашка! Это ты? — сказала барыня, жмуря глаза, которым, видно, было неприятно ощущение света.

— Я, матушка.

— Что тебе?

— Феоктиста Саввишна приехали.

— Что же ты, дура, давно мне не скажешь, — проговорила Перепетуя Петровна, вставая проворно с постели, насколько может проворно встать женщина лет около пятидесяти и пудов шести веса, а потом, надев перед зеркалом траурный тюлевый чепец, с печальным лицом, медленным шагом вышла в гостиную. Гостья и хозяйка молча поцеловались и уселись на диване.

— Я, в моем горестном положении, — сказала печальным тоном Перепетуя Петровна, — сижу больше там, у себя, даже с закрытыми окнами: как-то при свете-то еще грустнее.

— Что мудреного, что мудреного! — повторяла гостья тоже плачевным голосом, покачивая головою. — Впрочем, я вам откровенно скажу, бога ради, не убивайте вы себя так... Конечно, несчастье велико: в одно время, что называется, умер зять и с сестрою паралич; но, Перепетуя Петровна, нужна покорность... Что делать! Ведь уж не можешь. Я, признаться сказать, таки нарочно приехала проведать, как и вас-то бог милует; полноте... берегите свое-то здоровье — не молоденькие, матушка.

Перепетуя Петровна ничего не отвечала на эти утешительные слова; но с половины монолога начала рыдать, закрыв лицо носовым платком. Этот обычный прием плачущих был весьма кстати для Перепетуи Петровны, потому что выражение лица ее в эту горькую минуту очень было некрасиво; слезы как-то не шли к ее полной, отчасти грубоватой и лишенной всякого выражения физиономии. Феокиста Саввишна, *тождественная* своею наружностью и весом тела Перепетуге Петровне, смотрела на нее несколько минут с участием, а потом и сама дряхлялась плакать.

— Я видеть ее не могу, мою голубушку, — проговорила, наконец, Перепетуя Петровна, всхлипывая, — представить ее даже не могу.

— Это-то и дурно, Перепетуя Петровна, — перебила утешительница, — ну, зять, конечно, уж не воротишь, человек мертвый; а сестрица, вот вам как бог свят, выздоревает. У меня покойник два раза был в параличе, все лицо было сворочено на сторону, да прошло; это ведь проходит.

— Нет, матушка! — говорила Перепетуя Петровна. — Я уже советовалась о ней с Карлом Иванычем — с ней не пройдет. Ох, господи! Грудь даже начала болеть; никогда

прежде этого не бывало; он говорит, у ней началось с помешательства, с гипохондри.

— Что ж такое гипохондрия! Ничего! — возразила Феоктиста Саввишна. — Да вот недалеко пример — Басунов, Саши, племянницы моей, муж, целый год был в гипохондри, однако прошла; теперь здоров совершенно. Что же после открылось? Его беспокоило, что имение было в залоге; жена глядела, глядела, видит, делать нечего, заложила свою деревню, а его-то выкупила, и прошло.

— Как странно, однако, это случилось! — начала Перепетуя Петровна. — Она сначала, как умер Василий Петрович... ничего... Конечно, грустила, только слез как-то не было: не плакала... Ну, без сомнения, я каждый день то сама, то посылаю; не поверите, все ночи не сплю, не знаю, как и самое-то бог подкрепляет; вот, сударыня моя, накануне троицына дня приходит ее Марфутка-ключница и говорит мне: «Что это, говорит, матушка, у нас барыня-то все задумывается?» А я и говорю: «Как же, я говорю, не задумываться; это по-вашему ничего, кто бы ни умер, мать ли, муж ли — все равно». А она мне на это и говорит (она, даром что простая, умная этакая, сметливая, славная женщина): «Нет, говорит, матушка, барыня-то что-то очень сумнительна: все нас изволит высылать вон и все перебирает письма Василья Петровича да Павла Васильича, а вчера как будто бы и заговариваться стала: говорит, а что — и понять невозможно». Я так и не опомнилась! Ох, боже мой! Рассказывать даже тяжело. Как сидела вот на этом диване, так руки и ноги охолодели; ничего не помню!.. В беспамятстве меня одели, снарядили, привезли к ней, и вижу: паралич во всей; кажется, и меня даже не узнала.

Перепетуя Петровна замолчала и вздохнула; Феоктиста Саввишна тоже сидела задумавшись.

— Да, вот, можно сказать, истинное-то несчастье, — начала последняя, — непритворное-то чувство! Видно, что было тяжело перенести эту потерю; я знаю это по себе. Ах, как это тяжело! Вот уж, можно сказать, что потеря мужа ни с чем не может сравниться! Кто ближе его? Никто! Друг, что называется, на всю жизнь человеческую. Где дети-то Анны Петровны?

— Лиза писала, что приедет и с мужем сюда совсем на житье; а Паша уж месяца с три как приехал из

Москвы он, слава богу, все ихные там экзамены кончил хорошо; в навеситете ведь он был.

— Это я слышала. Что-то он, бедненький? Его-то положение ужасно: он был, как говорится, маменькин сынок.

Перепетуя Петровна вздохнула.

— Что он? Ничего... мужчина! У них, знаете, как-то чувств-то этаких нет... А уж он и особенно, всегда был такой неласковый. Ну, вот хоть ко мне: я ему, недалеко считать, родная тетка; ведь никогда, сударыня моя, не придет; чтобы этак приласкался, поговорил бы, посоветовался, рассказал бы что-нибудь — никогда! Придет, сидит да ногой болтает, согрешила грешная. Я с вами, Феоктиста Саввишна, говорю откровенно...

— Эй, полноте, Перепетуя Петровна, — перебила Феоктиста Саввишна, — вы, я думаю, знаете: я не болтушка какая-нибудь; слава богу, десятый год живу здесь, а никогда, можно сказать, ни в одной скандалезности не была замешана.

— Потому-то я с вами и говорю. Грустно этак на сердце-то носить, особенно семейные неприятности, — продолжала Перепетуя Петровна. — Ох, боже мой! Опять забыла, о чем начала?..

— О Павле Васильиче.

— Да, о Паше. Конечно, я хоть и родная тетка, а всегда скажу: он не картежник, не мот какой-нибудь, не пьяница — этого ничего нет; да ученья-то в нем как-то не видно, а уж его ли, кажется, не учили? Шесть лет в гимназии сидел да в Москве лет пять был; ну вот хоть и теперь, беспрестанно все читает, да только толку-то не видать: ни этакое, знаете, обращения, ловкости этакой в обществе, как у других молодых людей, или этаких умных, солидных разговоров — ничего нет! Лениость непомерная, моциону никакого не имеет: целые дни сидит да лежит... тюфяк, совершенный тюфяк! Я еще его маленького прозвала тюфяком.

— Что это за странность? Стало быть, он и в военную службу не пойдет?

— Какой он военный? Сама сестра тут виновата; конечно, уж теперь про нее говорить нечего... человек больной... не внушала ему никогда, надзору настоящего не было: «Паша! Паша!» — и больше ничего; что Паша ни делай, все хорошо. Паша не выходит при гостях в гости-

ную и сидит там у себя... Прекрасно, батюшка: бегай хорошего общества!.. Отдали танцевать учиться, через месяц пришел: «Я не хочу, маменька, учиться танцевать, я не способен!» Какая тут способность? Всякий молодой человек способен! — И то прекрасно: не учишься, сынок, будь медведем. А опять хоть бы за столом... у меня всегда, бывало, ссора: черного хлеба совершенно не ест, а теперь вот на здоровье жалуется... Ему, бывало, очень не по нутру, как я приеду; я ведь не люблю, беспрестанно замечаю: «Паша, сиди хорошенько, Паша, будь поразвязнее, поди умой руки!», ну и получше, поисправится... как быть дворянский мальчик. Сестра добрая женщина, а мать была слабая. Говорят, в собственных детях нельзя видеть недостатков; пустое: будь у меня дети, я бы первая все видела! Вот Лиза совсем не то; как была отдана с малолетства в чужие люди, так и вышла другая! Ее еще четырех лет увезла сестра Василья Петровича, классная дама... ну, а как сюда приехала, манеры-то тоже очень начала терять. Хорошо, что я же нашла жениха, а то, пожалуй, и теперь бы сидела в девках... никто бы и не заметил. Ну, сначала было все хорошо, очень были рады, что выходит замуж, а после на меня же была претензия; Василий Петрович часто говаривал: «Бог с вами, сестрица, сировадили от нас Лизу за тридевять земель, жила бы лучше поближе к нам; зять — человек неизвестный, бог знает как и живет». Что же вышло? Человек прекрасный, каждую почту пишет ко мне преласковые письма: «Почтеннейшая тетушка!» и потом все так умно излагает. Очень, очень неглупый человек.

В продолжение всей этой речи Феокиста Саввишна качала головой и по временам вздыхала.

— Сколько у вас неприятностей-то было, Перепетуя Петровна, — начала она после непродолжительного молчания, — особенно зная вашу родственную-то любовь... Как ведь это грустно, когда видишь, что делается не так, как бы хотелось.

— Что делать, Феокиста Саввишна? Вся жизнь моя, можно сказать, прошла в горестях: в молодых годах жила с больным отцом, шесть лет в церкви божией не бывала, ходила за ним, что называется, денно и нощно, никогда не роптала; только, бывало, и удовольствия, что съезжу в ряды да нарядов себе накуплю: наряжаться любила... Говорили после, что я вдвое больше получила

против сестры... пустое! Дело уж прошлое: лишней копейки нет на моей совести. А и теперь, для чего я живу? Племянники не родные дети; нынче и на родных-то детей нельзя положиться; и в них иногда нет утешения.

— Именно так, именно... — подтверждала Феоктиста Саввишна.

Разговор еще несколько времени продолжался на ту же тему. Наконец, Феоктиста Саввишна начала прощаться. Перепетуя Петровна умоляла ее пробыть вместе с нею вечер; но Феоктиста Саввишна решительно отказалась: она почувствовала непреодолимое желание передать в одном дружественном для нее доме все, что она узнала от Перепетуи Петровны насчет ее семейных неприятностей. Хозяйка, видя невозможность оставить у себя свою гостью на вечер, решила сама, от нечего делать, исполнить священный долг и навестить свою больную сестру. Таким образом, обе дамы сошли вместе с крыльца и расселись по своим экипажам.

Феоктиста Саввишна... но здесь я должен несколько остановиться и обратить внимание читателя на дружественный для нее дом. Дом этот состоял из отца, матери и двух дочерей и принадлежал к высшему губернскому кругу. Владимир Андреич Кураев был представитель и родоначальник его. Жил он открыто и был человек в обществе видный, резкий немного на язык, любил порезонерствовать и владел даром слова; наружность имел он очень внушительную, солидную и даже несколько строгую. Говорили в городе, что будто бы он был немного деспот в своем семействе, что у него все домашние плясали по его дудке и что его властолюбие прорывалось даже иногда при посторонних, несмотря на то, что он, видимо стараясь дать жене вес в обществе, называл ее всегда по имени и отчеству, то есть Марьей Ивановной, относился часто к ней за советами и спрашивал ее мнения, говоря таким образом: «Как вы думаете, Марья Ивановна? — Что вы на это скажете, Марья Ивановна?» Покупая какую-нибудь вещь в лавках, он обыкновенно говорил приказчику: «Принеси, братец, на дом, я посоветуюсь с Марьей Ивановной!» Вещь приносили, и Владимир Андреич оставлял ее за собою в долг. Что касается до Марьи Ивановны, то это было какое-то существо совершенно безличное, и она служила только слабым отражением своего супруга: что бы она вам ни говорила, вы не-

пременно это слышали, за несколько дней, от Владимира Андреича. Были слухи, будто бы Марья Ивановна говорила иногда и от себя, высказывала иногда и личные свои мнения, так, например, жаловалась на Владимира Андреича, говорила, что он решительно ни в чем не дает ей воли, а все потому, что взял ее без состояния, что он человек хитрый и хорош только при людях; на дочерей своих она тоже жаловалась, особенно на старшую, которая, по ее словам, только и боялась отца. В обществе Марья Ивановна слыла за женщину недалнюю, но добрую и решительно не сплетницу. Две дочери их, Юлия и Надежда, были первые красавицы во всем городе, или по крайней мере так убеждены были их родители. Стоявшие в этом городе армейские офицеры старшую прозвали гордою брюнеткой, а младшую — резвою блондинкой. Брюнетка была похожа на отца и вела себя в обществе скромно и даже несколько гордо; дома же, особенно у себя в комнате, была гораздо говорливее, давала своей горничной беспрестанные нотации за различные упущения по туалету. Блондинка была одинакова как в обществе, так и у себя в комнате, то есть немного сгора и необдуманна; с девками больше смеялась, никогда не давала им наставлений и очень скоро одевалась на балы. О состоянии Кураевых носились какие-то двусмысленные слухи. По моему мнению, судя по их образу жизни, прямо бы надобно было заключить, что они богаты; но нашлись подозрительные умы, которые будто бы очень хорошо знали, что у Кураевых всего 150 мотанных и промотанных душ, что денег ни гроша и что хотя Владимир Андреич и рассказывал, что он очень часто получает наследства, но живет он, по словам тех же подозрительных умов, не совсем благородными аферами, начиная с займа, где только можно, и кончая обделыванием разного рода маленьких подрядцев. Вот что говорили подозрительные умы.

Феоктиста Саввишна, несмотря на то, что могла быть отнесена к вышеозначенным подозрительным умам, являлась и теперь явилась в дружественный для нее дом с почтением, похожим даже несколько на подобострастие. Хозяйке и барышням раскланялась она жеманно, свернув несколько голову набок, а Владимиру Андреичу, видно для выражения своего почтения, присела ниже, чем прочим. Усевшись, она тотчас же начала рассказывать, что вчера на обеде у Жустковых Махмурова наговорила за

мужа больших дерзостей Подслеповой, что Бахтиаров купил еще лошадь у ее двоюродного брата, что какой-то Августин Августинович третий месяц страдает насморком и что эта несносная болезнь заставляет его, несмотря на твердый характер, даже плакать. Владимир Андреич сидел, развалясь в креслах, и решительно не обращал внимания на рассказы Феокисты Саввишны; барышни также мало ею занимались: они в это время от нечего делать рассматривали модную картинку и потихоньку растолковывали ее друг другу. «Это, должно быть, тюлевая пелеринка», — говорила одна. «Нет, та chère¹, это блондовая», и тому подобное. Слушала Феокисту Саввишну одна только Марья Ивановна, но и та скоро вышла к себе в комнату.

— Чем это вы, Юлия Владимировна занимаетесь? — отнеслась Феокиста Саввишна к девушкам.

— Смотрим, — отвечала брюнетка.

— Что это такое смотрите?

— Картинку из журнала.

Феокиста Саввишна пододвинулась к барышням.

— Что же это такое? Моды?

— Моды.

— Нынешние?

— Нынешние.

— Нынче наряжайтесь, барышни, наряднее: у вас зимой будет новый кавалер.

— Их всегда много, — отвечала с гримасою брюнетка.

— Кто такой? — спросила блондинка.

— Ловкий... красавец из себя... богатый.

— Кто же это такой? — проговорил Владимир Андреич.

— Василья Петровича Бешметева сын; чай, изволите знать?

— Знаю. Да откуда же ему богатство-то досталось?

— Я ведь смеюсь. Месяц только и танцевать-то учился: молодой еще человек, только просто медведь; сидит да ногой болтает; и родные-то тюфяком зовут. Не больно, кажется, и умен; говорить решительно ничего не умеет.

— Жалкий какой! — заметила брюнетка.

— А собой хорош? — спросила блондинка.

¹ милая, (франц.)

— Не так красив: волосы взъерошенные, руки невымытые.

— Фи, гадость какая! Хочется вам это рассказывать, — произнесла брюнетка.

— За что же его зовут тюфяком? — спросила блондинка.

— Очень уж неловок, не развязен, — отвечала Феоктиста Саввишна.

— Как это смешно! Тюфяк! — продолжала блондинка. — Я непременно пойду с ним танцевать; я очень люблю танцевать с этими *несчастливыми*.

— Вот этого-то тебе и не позволят сделать, — возразил Владимир Андреич. — Я уж заметил, что ты всегда с дрянью танцуешь. А отчего? Оттого, что все готово! Как бы своя ноша потянула, так бы и знала, с кем танцевать; да! — заключил он выразительно и вышел.

Блондинка покраснела.

На другой день Феоктиста Саввишна на крестинах у своего двоюродного брата, у которого Бахтиаров купил лошадь, рассказала, что Перепетуя Петровна до сих пор все еще плачет по зяте и очень недовольна приехавшим из Москвы племянником, потому что он вышел человек грубый, без всякого обращения, решительно тюфяк. На этот ее рассказ по преимуществу обратили внимание: рябая дама, знакомая Перепетуи Петровны, и какой-то мозглый старичок, пользовавшийся, по его словам, расположением Анны Петровны. А дней через несколько с помощью Феоктисты Саввишны и исчисленных мною особ многие, очень многие узнали, что после покойного Бешметева приехал сын, ужасный чудак, неловкий, да, кажется, и недалкий — просто тюфяк.

II

БРАТ, СЕСТРА И ТЕТКА

Между тем как таким образом разносился слух о молодом Бешметеве, он сидел, задумавшись, в своей комнате. Невдалеке от него помещалась молодая женщина: это была его сестра, Лиза, как называла ее Перепетуя Петровна. Бешметев действительно никаким образом не мог быть отнесен по своей наружности к красивым и

статным мужчинам: среднего роста, но широкий в плечах, с впалую грудью и с большими руками, он подлинно был, как выражаются дамы, очень дурно сложен и даже неуклюж; в движениях его обнаруживалась какая-то вялость и неповоротливость; но если бы вы стали всматриваться в его широкое бледное и неправильное лицо, в его большие голубые глаза, то постепенно стали бы открывать что-то такое, что вам понравилось бы, очень понравилось. Говорят, что это — оттенки мысли и чувств, которые в иных лицах не дают себя заметить при первом взгляде. Белые волосы его не были взъерошены, как говорила Феокиста Саввишна, но, умеренно подстриженные, они, конечно, лежали, как им хотелось, что, впрочем, очень шло к его бледному и большому лбу; одет он был небрежно.

Совершенно другой наружности была Лизавета Васильевна: высокая ростом, с умным, выразительным лицом, с роскошными волосами, которые живописно соби- рались сзади в одну темную косу, она была почти красавица в сравнении с братом. В одежде ее заметны были вкус и опрятность, что, как известно, дается в удел не многим губернским барыням. В выражении лица молодой женщины высказывалось что-то грустное, почему она и казалась как бы старше двадцати пяти лет, которые прожила на белом свете. Брат и сестра сидели задумавшись; глаза Лизаветы Васильевны были заплаканы. Они только вышли от больной матери. Старуха была разбита параличом, отнявшим у нее движение и язык и затмившим почти совершенно умственные способности; она помнила и узнавала одного только Павла. Большею частью она была в беспамятстве, а пришедши в себя, то истерически смеялась, то плакала. Лизавету Васильевну она совершенно не узнала: напрасно Павел старался ей напомнить о сестре, которая с своей стороны начала было рассказывать о детях, о муже: старуха ничего не понимала и только, взглядывая на Павла, улыбалась ему и как бы силилась что-то сказать; а через несколько минут пришла в беспамятство.

Павел, получивший от медика приказание не беспокоить мать в подобном состоянии, позвал сестру, и оба они уселись в гостиной. Долго не вязался между ними разговор: они так давно не видались, у них было так много горя, что слово как бы не давалось им для выра-

жения того, что совершалось в эти минуты в их сердцах; они только молча менялись ласковыми взглядами.

— Как мы с тобой давно не видались, Поль! — начала, наконец, Лизавета Васильевна.

— Давно, Лиза.

— Переменилась я с тех пор?

— Очень переменилась.

— У меня двое детей; старший сын ужасно похож на тебя.

— А муж твой, Лиза?

— Муж у меня, братец... он немного ветрен; но, впрочем, добрый человек и, кажется, любит меня.

— Зачем же ты за него вышла? — спросил Павел, глядя на сестру.

— Богу так угодно! Нас сосватала тетушка: она уговорила батюшку и матушку, насаказавши им о бесчисленном богатстве моего мужа.

— И что ж? Это вышло правда?

— Правда, — отвечала с торьюкою улыбкою молодая женщина.

— Помнишь, что ты мне говорила?

— Что я тебе говорила?

— Что ты...

Молодая женщина улыбнулась.

— Это давно уж прошло, — отвечала она, вспыхнув.

— Тебя не уговаривали выйти за другого?

— Нет, Поль, я сама первая согласилась, — отвечала молодая женщина.

— Не может быть!

— Отчего ж не может быть?.. Но, впрочем, перестанем говорить об этом, Поль... Это была глупость и больше ничего.

— А я на днях еще встретил Бахтиарова.

Лизавета Васильевна вдруг побледнела.

— Разве он здесь? — спросила она, стараясь скрыть внутреннее волнение; но голос ее дрожал, губы слегка посинели...

Павел молчал и только внимательно посмотрел на сестру.

— Лучше поговорим о тебе, — начала Лизавета Васильевна, стараясь переменить предмет разговора. — Что ты с собой хочешь делать?

Этот вопрос, в свою очередь, смутил Павла.

— Не знаю, — отвечал он после минутного молчания.

— Ты думаешь здесь служить?

— Нет.

— Так, стало быть, ты хочешь уехать, опять с нами расстаться надолго?

— Да мне надобно бы было ехать.

— Но матушка? Как ты ее оставишь?

Павел задумался.

— Мое положение, — начал он, — очень неприятно... Я думал непременно ехать.

— Поживи, братец, с нами.

— Нельзя, Лиза, мне бы хотелось поподготовить себя и выдержать на магистра.

— Ну, а потом что?

— А потом... потом может быть очень хорошо... это лучшая для меня дорога.

— Так поезжай.

— А матушка?..

Лизавета Васильевна несколько минут ничего не отвечала.

— Ей, может быть, сделается лучше, — начала она, — и ты поедешь; она тоже к тебе приедет.

Разговор этот был прерван приходом Перепетуи Петровны.

— Лизанька! Друг мой! Ты ли это? — вскрикнула она, почти вбежавши в комнату, и бросилась обнимать племянницу; затем следовало с полдюжины поцелуев; потом радостные слезы.

— Давно ли ты, милушка моя, приехала? — говорила тетка, несколько успокоившись и усаживаясь на диване.

— Сегодня утром.

— Ну, слава богу, слава богу! Что сестричущка-то? Я и не спросила об ней.

— Матушка заснула, — отвечал Павел.

— Ну, слава богу, слава богу! Пусть ее почивает. Здравствуй, Паша. Я тебя-то и не заметила; подвинь-ка мне скамеечку под ноги: этакий какой неловкий — никогда не заметит. — Павел подал скамейку. — Погляди-ка на меня, дружочек мой, — продолжала Перепетуя Петровна, обращаясь к племяннице, — как ты похорошела, пополнела. Видно, мать моя, не в загоне живешь? Не с прибылью ли уж? Ну, что муженек-то твой? Я его, голубчика, уж давно не видала.

— Он дома остался; слава богу, здоров, — отвечала Лизавета Васильевна, целуя у тетки руку.

Перепетуя Петровна больше любила племянницу, чем племянника, потому что та была к ней ласковее.

— Что деточки-то твои? Михайло Николаич писал, что они просто милашки.

— Я завтра их привезу к вам, тетушка.

— Непременно привези! Смотри же, одна и не езди! Паша, полно сидеть букой-то; пододвинься, батюшка, к нам, поговори хоть с сестрой-то; ведь, я думаю, лет пять не видались?

— Мы с ним уж, тетушка, наговорились и наплакались.

— Счастье твое, мать моя! А со мной — так он не больно говорлив. О чем это с тобою-то говорил?

— Рассказывал свои обстоятельства.

— Мне никогда ни слова не говорил. Какие же его обстоятельства? Да скажи, батюшка, хоть что-нибудь. Что ты скрываешь? Что, я тебе чужая, что ли? Зла, что ли, я тебе желаю? Я, кажется, ничего тебе не показывала, кроме моего расположения: грех тебе, Паша! Какие же это обстоятельства?

— Сестра вам лучше расскажет; она знает все, — отвечал Павел, с величайшим терпением выслушивавший претензии тетки.

— Какие же обстоятельства? — спросила снова любопытная Перепетуя Петровна, уже обращаясь к племяннице.

— Вот видите, тетушка, брату нужно ехать в Москву.

— Это зачем? — почти вскрикнула Перепетуя Петровна.

— Ему надобно выдержать на магистра.

— Что же это, должность, что ли, какая?

— Все равно что должность, — отвечал Павел.

— А жалованье велико ли?

— Жалованья нет.

— Так какая же это должность? Эдаких-то должностей и здесь много. Как же ты мать-то оставишь?

— Это-то меня и беспокоит, тетушка.

— Отчего ты не хочешь здесь служить? Не хуже тебя служит Федосья Парфентьевны сын; уж именно, можно сказать, прекрасный молодой человек, с обращением: по-французски так и режет; да ведь служит же; скоро,

говорят, чин получит; а тебе отчего не служить? Ты вспомни мать-то свою, чем она для тебя ни жертвовала? Здоровья своего, что называется, не щадила; немало с тобой возилась, не молоденькая была; а тебе не хочется остаться успокоить ее в последние, что называется, минуты. Лиза... конечно! Ну, да что же делать? Она ту меньше любила, да ведь она уж и отрезанный ломоть: у нее свои обязанности, свое семейство: иной бы раз и рада угодить матери, да не может, впору и мужу угождать да тешить его, а ты свободный человек, мужчина! Нет, сударь, не следует; за это бог тебе всю жизнь не даст счастья! Нечего сúpиться-то, я правду говорю.

— Все это хорошо... и я сам знаю, тетушка, — возразил Павел.

— Нет, видно, не знаешь, коли хочешь делать другое.

— Я думаю ехать, если матушка сама мне это позволит, а после и ее к себе перевезти.

Перепетуя Петровна при этих словах покраснела, как вареный рак.

— Нет уж, Павел Васильич, извините, — начала она неприятно звонким голосом, — этого-то мы никак не допустим сделать: да я первая не позволю увезти от меня больную сестру; чем же ты нас-то после этого считаешь? Чужая, что ли, она нам? Она так же близка нашему сердцу, может быть ближе, чем тебе; ты умница, я вижу: отдай ему мать таскать там с собой, чтобы какой-нибудь дряни, согрешила грешная, отдал под начал.

— Тетушка! — начал было Павел.

— Не смейте, сударь, этого и думать! — возразила Перепетуя Петровна. — Она, конечно, человек больной... пожалуй, он это сделает, увезет ее... Да вот, дай господи мне на этом месте не усидеть: я первая до начальства пойду, ей-богу! Губернатору просьбу подам...

— Успокойтесь, тетушка! — сказала Лизавета Васильевна.

— Что это, сударыня, как это возможно? Вишь какой финти-фант! Пожалуй, гляди ему в зубы-то... Пусть один сдет, уморит ее: по крайней мере на совести-то у нас не будет лежать. Ему, я думаю, давно хочется ее спровадить.

Павел весь вспыхнул...

— Бог с вами, тетушка! — проговорил он и ушел к себе в комнату.

Больная в это время простонала.

— Матушка-то моя простонала, — заговорила вдруг совершенно другим голосом Перепетуя Петровна и вошла в спальню к сестре. — Здравствуй, голубушка! Поздравляю тебя с радостью; вот у тебя обе твои пташки под крылышками. О голубушка моя! Какая она сегодня свежая; дай ручку поцеловать.

При этих словах Перепетуя Петровна поцеловала у сестры руку.

— Позови, матушка, Павла-то сюда, — прибавила она, обращаясь к племяннице.

Лизавета Васильевна пошла за братом. Павел стоял, приклонясь к окну; слезы, неведомо для него самого, текли по его щекам.

— Братец! Пойдем к матушке, — сказала тихо Лизавета Васильевна.

Павел, как бы пробудившись от сна, вздрогнул; потом, увидев, что это была сестра, обнял ее, крепко поцеловал, утер слезы и пошел к матери.

— Вот тебе и Паша! Подойди к матери-то, приласкайся, — говорила Перепетуя Петровна, усевшаяся на кровати рядом с сестрою.

Больная, не обращая внимания на ее слова, взяла сына за руку и начала глядеть на него.

— Будь спокойна, матушка сестрица, он не поедет, — заговорила Перепетуя Петровна, — как ему ехать? Он не может этого и подумать; его бог накажет за это.

На глазах старухи показались слезы.

— Не уедет, матушка, ей-богу, не уедет! Как это возможно? Мы все его не отпустим. Скажи, сударь, сам-то, что не поедешь. Что молчишь?

Больная сначала расхохоталась, потом перешла к слезам и начала рыдать.

— Что это, Павел Васильич! — вскрикнула Перепетуя Петровна, вышед из себя. — До чего ты доводишь мать-то? Бесстыдник этакий! Бога не боишься!

— Поль! Успокой маменьку, — сказала Лизавета Васильевна брату.

— Я не поеду, матушка, — проговорил, наконец, Павел.

Но старуха не унималась и продолжала плакать.

— Я не уеду, матушка, я всю жизнь буду при вас, — говорил он, целуя мать.

Лизавета Васильевна и Перепетуя Петровна плакали; последняя даже рыдала очень громко, приговаривая:

— Давно бы так, сударь, что это за неблагодарность такая, за нечувствительность?

Еще с полчаса продолжалась эта сцена. Наконец, больная успокоилась и заснула. Тетка уехала вместе с Лизаветой Васильевной, за которой муж прислал лошадей, а Павел ушел в свою комнату.

— Господи! Что мне делать? — сказал он, всплеснув руками, и бросился на постель.

Целый час почти пролежал он, не изменив положения; потом встал и, казалось, был в сильном волнении: руки его дрожали; в лице, обычно задумчивом и спокойном, появилось какое-то странное выражение, как бы все мышцы лица были в движении, темные глаза его горели лихорадочным блеском. Он начал разбирать свои бумаги и, отложив из них небольшую часть в сторону, принялся остальные рвать. Через несколько минут все мудрые рукописи, как то: лекции, комментарии, конспекты, сочинения, были перерваны на несколько кусков. Павел принялся было и за книги, но корешковые переплеты устояли против его рук, и он удовольствовался только тем, что подложил их к печке, видно, с намерением сжечь их на другой день. Этот энергический припадок, кажется, был не в духе Павла: он, видно, не был похож на тех горячих людей, которые, рассердившись, кричат, колотят стекла, часто бьют своих лакеев и даже жен, если таковые имеются, а потом, через четверть часа, преспокойно курят трубку. Мой студент после варварского поступка с своими тетрадами упал в изнеможении на постель; в полночь, однако, он встал и, кажется, несколько успокоился, потому что бережно начал собирать разорванные бумаги и переложил книги от печки на прежнее место. Заснул он, впрочем, уж утром.

III

МИХАЙЛО НИКОЛАИЧ МАСУРОВ

На другой день, часу в первом пополудни, Михайло Николаич Масуров, муж Лизаветы Васильевны, стоял у себя на дворе, в шелковом казакине, в широких шароварах, без шапки, с трубкою в зубах и с хлыстом в руке. Перед ним гоняли на корде лошадь, приведенную ему для

продажи цыганом. Масуров имел курчавые волосы, здоровое, смазливое лицо и довольно красивые усы. Его шелковый казакин, его широкие шаровары, даже хлыст в руке и трубка в зубах очень шли к его наружности: во фраке или сюртуке он был бы, кажется, гораздо хуже.

Цыган нахваливал лошадь, а Масуров, как знаток, находил в ней недостатки.

— Смотри, барин, — говорил цыган, — передние-то ноги как несет! Корабли пройдут.

— Передние-то хорошо несет, да задними-то хлябит; на двуногой-то, брат, далеко не уедешь. Ванька! Подведи-ка ее сюда! — Ванька подвел лошадь к барину. — Вот она где хлябит-то, — говорил Масуров, толкая сильно кулаком лошадь в заднюю лопатку, так что та покачнулась, — шею-то, смотри, ничего нет; вот и копыта-то точно у лошака: это уж, брат, значит, не тово, не породиста.

— Что копыта? — говорил цыган, поднимая ногу у лошади. — Ты посмотри, какая нога-то у лошади.

— Сашка! Куда ты бежишь? — сказал Масуров, хватая за платье горничную, которая бежала из избы с утюгом.

— Полноте, сударь, гладить пора. Ей-богу, обожгу: вон барыня смотрит в окошко.

— Эка важность, барыня! — И он уж хотел было обхватить ее за талию, но она дотронулась до дерзкой руки утюгом; тот невольно отдернул ее, и горничная, пользуясь минутой свободы, юркнула в сени. — Эка, пострел, хорошенькая! — заметил Масуров, глядя ей вслед.

Горничная действительно была хорошенькая. Лизавета Васильевна, несмотря на слабость своего супруга в отношении прекрасного пола, не оберегала себя с этой стороны, подобно многим женам, выбирающим в горничные уродов или старух. Она в это время точно сидела с братом у окна; но, увидев, что ее супруг перенес свое внимание от лошади к горничной, встала и пересела на диван, приглашая то же сделать и Павла, но он видел все... и тотчас же отошел от окна и взглянул на сестру: лицо ее горело, ей было стыдно за мужа; но оба они не сказали ни слова.

На круглом столе, стоявшем около дивана, лежала какая-то бумага. Лизавета Васильевна машинально взяла

ее и развернула: это была записка следующего содержания: «Приезжайте сегодня: мы вас ждем. Вы вчера зарвались; нужно же было понадеяться на шельму валета». Лизавета Васильевна побледнела. Она очень хорошо знала смысл подобных записок: беспокойство ее еще более увеличилось, когда вспомнила она, что вчерашний день, сверх обыкновения, оставила ключи от шкатулки дома. «Он, верно, вчера играл», — подумала она и вышла в спальню. Увы! Подозрения ее оправдались; шкатулка была даже не заперта; из пяти тысяч, единственного капитала, оставшегося от продажи с аукционного торга мужнина имения, она недосчиталась ровно трех тысяч. Видно, Лизавете Васильевне было очень жаль этих денег: она не в состоянии была выдержать себя и заплакала; она не скрыла и от брата своего горя — рассказала, что имение их в Саратовской губернии продано и что от него осталось только пять тысяч рублей, из которых прекрасный муженек ее успел уже проиграть больше половины; теперь у них осталось только ее состояние, то есть тридцать душ. Но чем этим будешь жить? А главное, на что воспитывать детей, которых уже теперь двое? Вот что узнал Павел о ее семейных обстоятельствах. Лизавета Васильевна просила его поговорить мужу. Павел обещался.

— Ты только сама начни, сестрица: вдруг неловко, — заметил он.

В то же время послышался голос Масурова.

— Ух! Ой, батюшки, отцы родные! — говорил он, входя в комнату. — Ой, отпустите душу на покаяние! — продолжал он, кидаясь в кресла. — Ой, занемогу! Ей-богу, занемогу! — и залился громким смехом.

— Что тебе так весело? — спросила Лизавета Васильевна.

— Ах, душка моя! Ты себе представить не можешь, что видел сейчас. Вообрази... вспомнить не могу... — Но звонкий смех, которым разразился он, снова прервал его речь.

Брат и сестра невольно улыбнулись, глядя на наивную веселость Михайла Николаича.

— Да что такое? — повторила Лизавета Васильевна.

— Вы сами умрете со смеха, — продолжал Масуров, утирая выступившие от смеха на глазах слезы. — Можешь себе представить: вхожу я в кухню, и что же?

Долговязая Марфутка сидит на муже верхом и бьет его кулаками по роже, а он, знаешь, пьяный, только этак руками барахтается. — Тут он представил, как пьяный муж барахтается руками, и сам снова захохотал во все горло, но слушатели его не умерли со смеха и даже не улыбнулись: Лизавета Васильевна только покачала головой, а Павел еще более нахмурился. «И это человек, — думал он, — семьянин, который вчера проиграл почти последнее достояние своих детей? В нем даже нет раскаяния; он ходит по избам и помирает со смеха, глядя на беспутство своих дворовых людей». Михайло Николаич еще долго смеялся; Павел потихоньку начал разговаривать с сестрой.

— Ну, душка, — говорил, унявшись, Масуров и обращаясь к женс, — велика нам подать закусить, знаешь, этого швейцарского сырку да хереску. Вы, братец, извините меня, что я ушел; страстишка! Нельзя: старый, знаете, коннозаводчик. Да, черт возьми! Славный был у меня завод! Как вам покажется, Павел Васильич? После батюшки мне досталось одних маток две тысячи.

Павел с удивлением взглянул на зятя; Лизавета Васильевна только улыбнулась: она, видно, привыкла к подобным эффектным выходкам своего супруга.

— У тебя, Мишель, всегда есть привычка прибавлять по два нуля, — заметила она ему.

— Вот прекрасно! Да ты-то почему знаешь? Когда ты приехала, я их давно проиграл. Много, черт возьми, я в жизнь мою проиграл!

— А вчера много ли проиграл? — спросила Лизавета Васильевна.

Масуров очень сконфузился.

— Я вчера не проиграл, — отвечал он, запинаясь.

— Где же три-то тысячи?

Масуров покраснел и ничего не отвечал; он только мотал головой жене, показывая глазами на брата, который сидел в задумчивости.

— Нечего живать головой-то, — говорила Лизавета Васильевна, — при брате я могу говорить все. Ну, скажи, Поль, хорошо ли это в один вечер проиграть три тысячи рублей?

— Очень нехорошо! — начал Павел. — Женатому человеку не следует рисковать не только тысячами, но даже рублями.

Говоря это, он, видимо, делал над собой большое усилие.

Михайло Николаич переминался.

— Не стыдно тебе? — сказала Лизавета Васильевна.

— Ну, душка, извини, — говорил Масуров, подходя к жене, — счастье сначала ужас как везло, а под конец как будто бы какой черт ему нашептывал: каждую карту брал, седая крыса. Ты не поверишь: в четверть часа очистил всего, как липку; предлагал было на вексель: «Я вижу, говорит, вы человек благородный».

— Это еще лучше! Сколько же ты по векселю-то проиграл?

— Ей-богу, душка, ни копейки. Что я? сумасшедший, что ли? Ты думаешь, я не понимаю, — что братец не скажет! — я семейный человек, мне стыдно это делать. Вот как три тысячи проиграл, так и не запираюсь: действительно проиграл. Ну, прости меня, ангельчик мой Лиза, ей-богу, не стану больше в карты играть: черт с ними! Они мне даже опротивели... Сегодня вспомнил поутру, так даже тошнит.

— Немудрено после такого проигрыша, — заметил Павел.

— Ну, душка моя, — продолжал Масуров, ласкаясь к жене, — скажи, простила меня? Дай ручку поцеловать!

Лизавета Васильевна, кажется, мало верила в раскаяние своего мужа.

— Пустой ты человек! — сказала она, отнимая у него свою руку.

— Лизочка, душка моя! Ну, дай хоть мизинчик поцеловать! Хочешь, я встану на колени? — И он действительно встал перед женой на колени. — Павел Васильич, попросите Лизу, чтобы она дала мне ручку.

Павел молчал; ему, видимо, неприятна была эта сцена. Лизавета Васильевна глядела на мужа с чувством сожаления, очень похожим на презрение, но подала ему руку, которую тот звонко поцеловал.

— Важно! Гуляй теперь: жена простила! — вскричал Масуров, поднявшись на ноги и потирая руки. — Ну, теперь, душка, вели же нам подать хересок и закусить... О милашка! Славная у меня, черт возьми, жена! — продолжал он, глядя на уходящую Лизавету Васильевну. — Я ведь ее очень люблю, даже побаиваюсь.

— Вам нужно поосторожнее издерживать деньги, — начал Павел, когда сестра ушла, — вы небогатый и семейный человек.

— Да ведь, братец, я, ей-богу, даже очень скуп: спросите хоть жену; вчера вот только, черт ее знает, как-то промахнулся. Впрочем, что ж такое? У меня еще прекрасное состояние: в Орловской губернии полтораста отлично устроенных душ, одни сады дают пять тысяч годового дохода.

— Мне сестра говорила, — возразил Павел, не могши снести этой лжи, — что у вас имение осталось только в здешней губернии.

— Вот пустяки-то, так уж пустяки! — вскричал Масуров, несколько не сконфузившись. — Верьте ей: она ужасная притворщица!

Подали закуску.

— Выпьемте-ка, любезный братец, по стаканчику хереску в честь нашего знакомства.

От стаканчика Павел отказался и выпил только рюмку; но Масуров выпил целый стакан.

— Послушайте, братец, — начал он, садясь около Павла, — что, если я вас о чем попрошу, исполните?

— Что такое?

— Нет, скажите наперед, что вы не откажете.

— Я не знаю, в чем еще состоит просьба.

— Нет ли у вас рублей двухсот займа? Я так издержался, что, ей-богу, даже совестно! Только жене, ради бога, не говорите, — продолжал он шепотом, — она терпеть этого не может; мне, знаете, маленькая нуждишка на собственные депансы.

Мороз пробежал по коже Павла; он почувствовал полное отвращение к зятю.

— Я не имею денег, — отвечал он сухо.

— Ах, черт возьми, это скверно! Не знаете ли по крайней мере у кого занять? — продолжал не унывавший Масуров. — Покутили бы, канальство, вместе!

Павел на это ничего не ответил, но молча встал и пошел было в соседнюю комнату.

— Куда это вы? — спросил его Масуров.

— Я ищу сестру; хочу проститься.

— Посидите! Она сейчас выйдет. Вы, видно, не охотники пошालить? А еще... — Продолжение этой речи было прервано приходом Лизаветы Васильевны.

— Прощай, сестрица, — сказал Павел, не могши подавить в себе неприятного чувства.

— Обедай у нас, Поль!

Павел хотел было отказаться, но ему жаль стало сестры, и он снова сел на прежнее место. Через несколько минут в комнату вошел с нянькой старший сын Лизаветы Васильевны. Он, ни слова не говоря и только поглядывая искоса на незнакомое ему лицо Павла, подошел к матери и положил к ней головку на колени. Лизавета Васильевна взяла его к себе на руки и начала целовать. Павел любовался племянником и, кажется, забыл неприятное впечатление, произведенное на него зятем: ребенок был действительно хорош собою.

— Поленька! Кто это сидит? — спрашивала его Лизавета Васильевна, указывая на брата.

Ребенок глядел на Павла и молчал.

— Постой, я тебе на ушко шепну, — продолжала мать и, пригнув его головку, что-то ему шепнула.

— Кто же? — снова повторила она, указывая на брата.

— Дада, — отвечал шепотом ребенок.

— Полька! Поди сюда, — кричал Масуров, видно, желавший тоже приласкать сына.

Ребенок посмотрел на него и не думал сходить с коленей матери.

— Поди сюда, говорят тебе, — повторил Масуров, протягивая руки. — Лиза, душа моя, пошли его ко мне.

— Поди к отцу, — сказала Лизавета Васильевна, ссаживая Поля с коленей.

Ребенок нехотя начал переходить комнату; но только что подошел к папеньке, как сейчас же заревел: Михайло Николаич, по обыкновению, ухватил его пухленькую щечку между пальцами и начал трясти.

— Экий какой! Сейчас и заплакал!

Лизавета Васильевна молча встала и взяла опять сына к себе на колени; дитя тотчас же замолчало.

Обед прошел обыкновенным своим порядком. Павел и Лизавета Васильевна мало ели и больше молчали; но зато много ел и много говорил Михайло Николаич. Он рассказывал шурины довольно странные про себя вещи; так, например, он говорил, что в турецкую кампанию какой-то янычар с дьявольскими усами отрубил у него у правой ноги икру; но их полковой медик, отличнейший

знаток, так что все петербургские врачи против него ни к черту не годятся, пришел ему эту икру, и не его собственную, которая второпях была затеряна, а икру мертвого солдата. О своей физической силе и охотничьих своих способностях он тоже отзывался не очень скромно: с божбой и клятвою уверял он своих слушателей, что в прежние годы останавливал шесть лошадей, взявшись обеими руками за заднее каретное колесо, бил пулей бекасов и затравливал с четырьмя борзыми собаками в один день по двадцати пар волков.

Павел ушел от сестры с грустным и тяжелым чувством. «Она более чем несчастна, — говорил он сам с собою. — Добрая, благородная! И кто же ее муж? Кто этот человек, с которым суждено ей провести всю жизнь? Он мот, лгун, необразованный, невежа и даже, кажется, низкий человек!»

IV

ПАВЕЛ

С наступлением зимы губернский город, где происходили описываемые мною происшествия, значительно оживился: составились собрания и вечера. Общество, как повествует предание, было самое блистательное, так что какой-то господин, проживавший в том городе целую зиму, отзывался об нем, по приезде в Петербург, в самых лестных выражениях, называя тамошних дам душистыми цветками, а все общество чрезвычайно чистым и опрятным. Все веселились, даже Перепетуя Петровна ездила в два-три дома играть в преферанс. Родным племянником она была очень недовольна. «Что это за молодой человек, — говорила она, — скажите на милость? Не хочет показаться в общество; право, в нем ничего нет дворянского-то, совершенный семинарист. Вон посмотришь на другую-то молодежь: что это за ловкость, что это за вежливость в то же время к дамам, — вчуже, можно сказать, сердце радуется; а в нем решительно ничего этого нет: с нами-то насилу слово скажет, а с посторонними так и совсем не говорит. Чего у него недостает? Платье бесподобное, фрак отличнейший — самого тонкого сукна, выезд хороший: слава богу, после покойника-то одних городских саней осталось двое; мать бы ему никогда

в этом не отказала, по крайней мере был бы на виду у хороших людей; нет, сударь ты мой, сидит сиднем, в рождество даже никого не съездил поздравить». Но зато везде являлся и всех поздравлял со всевозможными праздниками другой ее племянник, Михайло Николаич Масуров. Он очень успел, по словам тетки, заискать в обществе, а все потому, что ласков и обходителен; и к ней он тоже был очень ласков. Она начинала к нему чувствовать более и более родственного расположения. «Что он мне? — говорила она. — Ведь почти посторонний человек, а лучше родного-то племянника, ей-богу! Приедет, расскажет, где был, что видел и куда опять поедет: прекраснейший человек!»

Перепетуя Петровна была совершенно права в своих приговорах насчет племянника. Он был очень не говорлив, без всякого обращения и в настоящее время действительно никуда не выезжал, несмотря на то, что владел фраком отличнейшего сукна и парными санями. Но так как многие поступки человека часто обуславливаются весьма отдаленными причинами, а поэтому я не излишним считаю сказать здесь несколько слов о детстве и юношестве моего героя.

Павел родился на свет очень худеньким и слабым ребенком; все ожидали, что он на другой же день умрет, но этого не случилось: Паша жил. В продолжение всего своего младенчества он почти не давал голоса и только, бывало, покряхтит, когда захочет есть. Ходить он начал на третьем году и еще позднее того заговорил. Мать с восторгом рассказывала, что Паша с превосходным характером; и действительно, ребенок был необыкновенно тих, послушен и до невероятности добр: сын ключницы, ровесник Павла, приходивший в горницу играть с барчонком, обыкновенно выпивал у него чай, обирал все игрушки и даже не считал за грех дать ему при случае туза; Павел не сердился за это, но сносил все молча и никогда не жаловался. Другие дворовые люди были тоже очень довольны барчонком, потому что он никогда на них не ябедничал, и они обыкновенно делали при нем все, что им вздумается. Павел никогда не резвился и не бегал, а сидел больше в детской на лежанке, поджавши ноги. Любимым его занятием было вырезать из бумаги людей с какими-то необыкновенно узкими талиями и раскрашивать их красками; целые дни он играл ими, как в куклы, водил их по

лежанке, сажал, заставлял друг другу кланяться и все что-то нашептывал. Собою был Паша очень нехорош и страшно неопрятен. Нанковые казакинчики, в которые его одевали, были вечно перепачканы; сапоги свои он обыкновенно стаптывал и очень скоро изнашивал; последнего обстоятельства даже невозможно и объяснить, потому что Паша, как я и прежде сказал, все почти сидел. Ребенок, кажется, сознавал, что он нехорош собою, потому что очень не любил, когда приезжали гости, особливо нарядные, которые часто привозили с собою прехорошеньких детей и говорили с ними по-французски; ему было очень совестно сидеть при них в гостиной; он прятал свои руки и ноги, или, лучше сказать, весь старался спрятаться в угол, в котором обыкновенно усаживался. Ему казалось, что все смотрят на него с пренебрежением и сожалением; его никто никогда, кроме матери, не ласкал; молодые барыни никогда не подзывали его для поцелуя и для разговоров, как это бывает с хорошенькими детьми; в его старообразном лице было действительно что-то отталкивающее.

Василя Петровича отдали под суд, и с этого времени к ним решительно перестали ездить гости. Паша этому душевно радовался и с тех пор почти никого не видал, кроме отца и матери. Для образования его был нанят семинарист. Перепетуя Петровна пришла в отчаяние и чуть не поссорилась с сестрою, доказывая ей, что семинаристы ничему не научат, потому что они без всякого обращения. Однажды (Павлу минуло в это время двенадцать лет) к Бешметевым приехал какой-то дальний родственник из Петербурга. Видно, этот господин был не кое-кто, потому что хозяева безмерно ему обрадовались, приняли с каким-то подобострастием и беспрестанно называли его: ваше превосходительство.

— Что это, Василий, твой сын, что ли? — спросил генерал за столом, взглянув на Павла.

— Сын, ваше превосходительство, — отвечал Василий Петрович.

— Чему ты, милый мой, учишься? — сказал генерал, обращаясь к ребенку.

— Мы еще его многому-то, по слабости здоровья, не начинали учить; теперь иногда семинарист ходит, — отвечала мать.

Генерал покачал головой.

— Да что же такое тут здоровье-то? За что же вы ребенка-то губите, оставляя его в невежестве? — У Павла навернулись на глазах слезы. — Смотрите, уж он сам плачет, — продолжал генерал, — сознавая, может быть, то зло, которое причиняет ему ваша слепая и невежественная любовь. Плачь, братец, и просись учиться: в противном случае ты погиб безвозвратно.

Много после того генерал говорил в том же тоне и очень убедительно доказал хозяевам, что человек без образования — зверь дикий, что они, то есть родители моего героя, если не понимают этого, так потому, что сами необразованны и отстали от века.

Василий Петрович и Анна Петровна, пристыженные генералом, на другой же день решились готовить сына в гимназию. Паша обрадовался этому решению: он очень хорошо понял, что генерал прав, и ему самому хотелось учиться. Семинарист, имевший, между прочим, известную слабость Александра Македонского, был заменен приходским священником и учителем математики из уездного училища. Ребенок оказал невероятные успехи и через год был совершенно готов в первый класс гимназии. Пашу повели на экзамен. Богу одному разве известно, чего стоило моему герою прийти в первый раз в школу; но экзамен он выдержал очень хорошо, хотя и сконфузился чрезвычайно. Товарищи приняли Павла, как обыкновенно принимают новичков: только что он уселся в классе, как один довольно высокий ученик подошел к нему и крепко треснул его по лбу, приговаривая: «Эка, парень, лбина-то!» Потом другой шалун пошел и пожаловался на него учителю, говоря, что будто бы он толкается и не дает ему заниматься, тогда как Павел сидел, почти не шевелясь. Учитель, любивший задавать новичкам острастку, поставил на целый день Павла на колени. После этого Бешметев начал бояться учителей и чуждаться товарищей и обыкновенно старался прийти в гимназию перед самым началом класса, когда уже все сидели на местах. Учиться ему, впрочем, было очень легко.

Незаметно шел год за годом. Павел подрастал. Из некрасивого и робкого ребенка он сделался мешковатым юношей. Перепетуя Петровна просто приходила в отчаяние, глядя на своего племянника, и не называла его иначе, как тюфяком. В гимназии Павел решительно не

шалил, не грубил учителям и хорошо учился. Директор называл его «благонравный господин Бешметев», но товарищи его называли зубрилой; они не то чтобы не любили Бешметева, но как-то мало уважали. Все почти товарищи, некоторые из зависти, а другие просто для удовольствия, любили подтрунить над ним, рассказывая, что будто бы он спит с нянькою и по вечерам беспрестанно долбит уроки, а трубки покурить не смеет и подумать, потому что маменька высечет. Молча переносил Павел эти насмешки, но видно было, что они ему неприятны: он очень не любил бывать с товарищами, ни к кому из них никогда не ходил и к себе не звал. Дома Павел не беспрестанно долбил, как думали товарищи: он даже не много занимался, часто сидел с матерью и рассказывал ей что-нибудь. Анна Петровна внимательно слушала сына, хотя ничего не понимала из его слов; но более всего Павел любил быть один, лежать на кровати и мечтать. Восемнадцати лет он кончил курс в гимназии и начал собираться в Москву, чтобы поступить в университет. Анна Петровна еще за месяц перед отъездом сына принялась плакать, а в минуту расставания с ним упала в страшный обморок и целые полгода после того не осушала глаз.

Павел приехал в Москву и отыскал квартиру со столом на Смоленском рынке, у одной титулярной советницы Подхлебовой, по рекомендательному письму от Перепетуи Петровны, находившейся с Подхлебовой когда-то в большой дружбе. Титулярная советница очень опасалась взять к себе на квартиру молодого человека, потому что вообще в числе молодых людей очень много пьяниц, развратных и буянов; но Перепетуя Петровна писала весьма убедительно, и Подхлебова решилась, тем более что третья комната нанимаемой ею квартиры была решительно ей не нужна. Скоро страх титулярной советницы совершенно рассеялся: молодой человек оказался скромн и тих, даже более, чем следовало. Она прозвала его *старичком* и всем своим знакомым рассказывала, что «постояльца ей просто бог послал, что он второй феномен, что этаким скромности она даже сама в девицах не имела, что он, кроме университета, никуда даже шагу не сделал, а уж не то чтобы заводить какие-нибудь дебоширства. Придет, пообедает, полежит, почитает книжку, попишет и, видно, чрезвычайно много занимается науками; даже

с ней мало вступает в разговоры, хотя она и старается его обласкать».

С озабоченным и несколько сердитым лицом явился Павел в университет, сел на самую дальнюю скамейку и во все время экзаменов не сказал почти ни с кем ни слова. Так же начал он ходить и на лекции: приходил, садился где-нибудь вдаль, записывал слова профессора, а потом уходил. Он не сошелся ни с одним из товарищей и ни с одним из них даже не кланялся. Дома он действительно, как говорила титулярная советница, вел самую однообразную жизнь, то есть обедал, занимался, а потом ложился на кровать и думал, или, скорее, мечтал: мечтою его было сделаться со временем профессором; мечта эта явилась в нем после отлично выдержанного экзамена первого курса; живо представлял он себе часы первой лекции, эту внимательную толпу слушателей, перед которыми он будет излагать строго обдуманые научные положения, общее удивление его учености, а там общественную, а за оной и мировую славу. С течением времени, однако, такого рода исключительно созерцательная жизнь начала ему заметно понаедать: хоть бы сходить в театр, думал он, посмотреть, например, «Коварство и любовь»; но для этого у него не было денег, которых едва доставало на обыденное содержание и на покупку книг; хоть бы в гости куда-нибудь съездить, где есть молодые девушки, но, увы! знакомых он не имел решительно никого. Часто часу в десятом-одиннадцатом вечера выходил он из дома и долго ходил по улицам без всякой цели и только иногда останавливался перед каким-нибудь освещенным домом... Внутри было светло: в каком-то фантастическом свете являлись ему движущиеся там фигуры людей; ему казалось, что там должно быть очень хорошо и весело. Лежа по вечерам на кровати, он с каким-то странным чувством прислушивался к говору женских голосов, раздававшемуся в комнате хозяйки. К ней очень часто ходили ее приятельницы, но все, как нарочно, были очень дурны собой.

За два года перед выпуском Бешметев, приехав домой на вакацию, увидел в первый раз сестру свою. Сначала он очень дичился ее, но Лиза была живее брата; она начала его мало-помалу приучать к себе, и к концу вакации он даже просиживал с нею целые дни и разговаривал. Перед отъездом она ему намекнула, что ей по преиму-

ществу нравится некто Бахтиаров. Павла, кажется, это очень заинтересовало: он в каждом письме после того намекал сестре на это обстоятельство. На третьем курсе Бешметев переменил квартиру. Хозяйка его, титулярная советница Подхлебова, несмотря на то что двенадцатый год вдовела, была женщина строгой нравственности. Сначала она, как мы видели, очень опасалась взять к себе на квартиру молодого студента, но потом успокоилась, увидев, что этот студент совершенный старичок, и очень скоро к нему привыкла. Она вместе с ним обедала, поила его чаем, часто приходила в его комнату и даже упросила быть при ней в халате, очень справедливо замечая, что, живши вместе, на всякий час не уберешься. Потом... Титулярная советница, несмотря на сорок пятый год жизни, хранила еще в груди своей сердце, способное любить: когда Бешметев уехал на вакацию, она с ужасом догадалась, что питает к своему постояльцу не привычку, а чувство более нежное, более страстное, потому что, в продолжение трех месяцев его отсутствия, безмерно грустила и скучала, а когда Павел приехал, она до сумасшествия обрадовалась ему и чрезвычайно сконфузилась. В голове ее образовалась довольно смелая мысль: она вздумала выйти замуж за Павла, когда он кончит курс, а до тех пор постараться внушить ему любовь к себе. С этого времени жизнь Павла сделалась гораздо комфортабельнее: в комнате его поставлена была новая мебель, и даже приделано было новое драпри к окошку; про стол и говорить нечего: его кормили как на убой; сама титулярная советница начала просиживать целые дни в его комнате; последнее, кажется, очень надоедало Павлу, потому что он каждый раз, когда входила к нему хозяйка, торопился раскрыть книгу и принимался читать. «Я вам не буду мешать, а только так посижу», — говорила хозяйка и, сев напротив, начинала пристально на него смотреть, вздыхать и даже набивала ему трубки; холодность Павла относил она к робости. Титулярная советница чувствовала непреоборимое желание объясниться с своим постояльцем и ободрить его. 10 октября, в день своего рождения, она, кажется, исполнила свое намерение: за ужином она много поила Павла вином, а потом пришла к нему в комнату и очень долго там сидела. Но на другой день Павел чуть свет ушел из дома и нанял другую квартиру. К титулярной советнице он более не

возвращался; даже за вещами своими просил съездить своего нового хозяина, честного немца, питаемого повивальным искусством своей супруги. Госпожа Подхлебова, кажется, не ожидала такого поступка со стороны своего постояльца. «Что вам угодно? Я вас не знаю... Не может быть... Я не могу верить!..» — говорила она и решительно было не хотела отдавать вещей пришедшему за ними немцу. «Моя Каролин Ивановна кочет, я кочет, господин студент кочет: ви не может не давать... Когда ви, мой дам, не катите, то я пашель на квартальный», — сказал немец и действительно пошел было за квартальным; но титулярная советница сочла за лучшее покориться судьбе и отпустить вещи... Впрочем, она написала к Павлу предлинное письмо и послала его к нему с горничною девочкой. Содержание этого письма мне тоже неизвестно, потому что и сам Бешметев, не прочитав его, разорвал и бросил в печь.

На новой квартире Павел начал жить так же однообразно и еще уединеннее. Хозяева его не беспокоили: повивальная бабка почти никогда не бывала дома, а честный немец предавался по целым дням невинному и любимому его занятию: он все переписывал прописи, питая честолюбивые замыслы попасть со временем в учителя каллиграфии. Вскоре у Павла появилось новое занятие: он очень долго начал засиживаться у окна и все смотрел на крыльцо противоположного дома, откуда часто выходила молоденькая девушка в сопровождении пожилой дамы, садилась в парные сани, куда-то уезжала и опять приезжала. В теплые дни девушка выходила с какою-то дамой, а иногда с господином в бекешке, гулять пешком и была одета, в таком случае, в теплый шелковый капот. Боже мой! Как хороша казалась Павлу его соседка! Какая была чудная у ней талия! А глаза... даже на таком дальнем расстоянии видно было, что у ней чудные черные глаза! Жизнь Павла как будто бы сделалась полнее. Каждый день он просыпался с надеждою увидеть соседку и действительно каждый день ее видел. Он очень хорошо заучил, в котором часу она ходит гулять, долго ли гуляет; знал дни, в которые она уезжала часов в двенадцать и возвращалась уже поздно. По праздникам девушка и дама выезжали из дома часу в одиннадцатом и часу в двенадцатом возвращались домой; Павел догадался, что они ездят к обедне, а потом узнал — и куда

именно; оказалось, что в соседний приход. Он сам пошел туда, видел ее, видел вблизи, и каждое воскресенье, каждый праздник начал ходить в эту церковь. С этого времени он почти перестал заниматься и вполне предался своим мечтам. Ему очень хотелось, чтобы девушка его заметила, но этого ему никак не удавалось достигнуть.

В конце первой недели великого поста соседний дом запустел; ни девушки, ни дамы, ни господина в бекешке не стало видно: они уехали. Трудно описать, как Павлу сделалось скучно и грустно; он даже потихоньку плакал, а потом неимоверно начал заниматься и кончил вторым кандидатом. Профессор, по предмету которого написал он кандидатское рассуждение, убеждал его держать экзамен на магистра. Все это очень польстило честолюбию моего героя: он решился тотчас же готовиться; но бог судил иначе.

Через несколько времени Павел получил письмо от тетки, которая уведомляла его, что отец его умер, а мать в параличе, и просила его непременно приезжать как можно скорее домой. Павла это очень огорчило, и он тотчас же поехал, с твердым, однако, намерением снова возвратиться в Москву. Мы видели, какие печальные обстоятельства встретили Бешметева на родине; видели, как приняли родные его намерение уехать опять в Москву; мать плакала, тетка бранилась; видели потом, как Павел почти отказался от своего намерения, перервал свои тетради, хотел сжечь книги и как потом отложил это, в надежде, что мать со временем выздоровеет и отпустит его; но старуха не выздоравливала; герой мой беспрестанно переходил от твердого намерения уехать к решению остаться, и вслед за тем тотчас же приходила ему в голову заветная мечта о профессорстве — он вспоминал любимый свой труд и грядущую славу. Грустно, тошно становилось Павлу. «Поеду, непременно поеду», — говорил он сам с собою, и только день отъезда откладывал в дальний ящик... Он не мог себе без ужаса представить той минуты, когда мать, прощаясь с ним, может быть не перенесет этого и умрет на его руках; кроме того, не будучи самонадеян, он, кажется, не слишком твердо был убежден, что достигнет своей любимой цели, профессорства, или по крайней мере эта цель была слишком еще далека. Весьма естественно, что в настоящем своем положении Бешметев не был спокоен: он чувствовал несвободно-

симую тоску, грусть и скуку; заниматься ему почти не давали, потому что то кликали к матери, то приезжала тетка или сестра, да, кажется, и сам он был не слишком расположен к деятельности. Оставаясь один, он обыкновенно ложился на кровать и бог знает о чем начинал думать, а сердце между тем беспрестанно ныло и тосковало. Семейная жизнь сестры была для Бешметева новым источником неприятностей; Масуров казался ему отвратительнейшим существом, а сестра страдальцею, тем более что ей угрожало впереди существенное зло — бедность. Впрочем, Лизавета Васильевна впоследствии ни слова не говорила брату о своих семейных неприятностях, была как будто бы спокойна и очень ласкалась к Павлу. Целые дни проводили они вдвоем. Бешметев начал все более сближаться с сестрою, сделался с нею говорлив, откровенен и даже поверил ей свою мечту. Женщины, как известно, очень находчивы. Лизавета Васильевна нашла, что брат может заниматься, не уезжая в Москву, и что, если ему нужны книги, он может их выписать. Бешметев счел эту мысль довольно справедливою и решился при первом же получении оброков выписать рублей на двести книг и начать приготовляться. Успокоившись на этом решении, он между тем целые дни начал просиживать у сестры.

Случайно или умышленно, но только разговоры их по преимуществу стали склоняться на любовь. Лизавета Васильевна в этом отношении была гораздо опытнее брата: она знала любовь в самых тонких ее ощущениях; она, как видно, очень хорошо знала страдания и счастье влюбленного. С отрадою и не без волнения прислушивался Павел к словам сестры и понимал их каким-то неясным чувством; в первый раз еще сблизился он с женщиною и взглянул в ее сердце.

— Где это ты, сестрица, все узнала? — спросил он однажды, прослушав от сестры живой рассказ о нечаянной встрече одной молодой девушки с любимым человеком.

— Я много читала романов, — отвечала она.

Павел сомнительно покачал головою.

— Женщина в двадцать лет много знает, много чувствовала, — продолжала Лизавета Васильевна.

— И много испытала? — перебил Павел.

— Может быть, и так, — отвечала Лизавета Васильевна.

Результатом таких бесед было то, что Павел, приходя от сестры и улегшись на постель, не сознавая сам того, по преимуществу начал думать о женщинах. Московская соседка была припомнена в малейших подробностях. «Как хороша вообще женщина! — думал он. — Какое блаженство любить хорошенькую женщину!» Праздное воображение его дополняло ему то, что не досказывала сестра. Он потом рассказал ей слегка о своей любви в Москве к соседке, которую он, по его словам, до сих пор слишком хорошо помнит, как будто бы видел ее вчера.

V

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Лизавете Васильевне случилась надобность уехать на целый месяц в деревню. Павлу сделалось очень скучно и грустно. Он принялся было заниматься, но, увы! все шло как-то не попрежнему: формулы небесной механики ему сделались как-то темны и непонятны, брошюрка Вирея скучна и утомительна. «Не могу!» — говорил он, оставляя книгу, и вслед за тем по обыкновению ложился на кровать и начинал думать о прекрасной половине рода человеческого.

Проскучав недели две, Павел вздумал съездить к тетке. Перепетуя Петровна, при его приходе, стояла перед зеркалом и надевала что-то вроде мантильи, сшитой по ее собственному воображению.

— Насилу-то, батюшка, пожаловал, — сказала она, увидев племянника. — Ну что, какова маменька-то?

— Все так же-с, — отвечал Павел.

— Палашка, — говорила Перепетуя Петровна, отряхая шелковое платье, — ведь юбка-то у меня все-таки видна.

— Нет, матушка, это так.

— Какое, дура, так! Паша, видна у меня юбка-то?

— Я ничего не вижу.

— Наклонись, батька, пониже, посмотри хорошенько; нехорошо... растрепой-то приедешь.

— Я ничего не вижу.

— Ну, уж и этого-то не умеешь сделать порядочно; экий какой! Еще кавалер! Что у меня сегодня какой

нехороший цвет лица? Этакая краснота неприятная! Палашка! Поддай-ка мне лодиколону обтереться. Оботришь-ка, Павел, и ты.

— Да мне-то зачем, тетушка?

— Пустяки, сударь, изволь-ка обтереться да поедем вместе со мной.

— Это куда?

— К Феоктисте Саввишне. Небось не привезу в какое-нибудь неприличное место.

— Помилуйте, тетушка! Я с ней незнаком.

— Это что за вздор? А я-то на что? Я знакома, все равно. Нечего, извольте-ка собраться: вместе и поедем, отпусти свою лошадь-то. Палашка, вели его лошади домой ехать!

— Тетушка...

— Вздор, сударь, вздор! — затараторила Перепетуя Петровна.

Как мой герой ни противился, но через несколько минут он был вытерт из собственных рук Перепетуи Петровны одеколоном и повезен в гости. Он едва мог опомниться у крыльца Феоктисты Саввишны. Перепетуя Петровна, всходя по деревянной лестнице, освещенной фонарем, опиралась на руку племянника как для поддержания своей особы, так и для прекращения Павлу всякой возможности улизнуть, что уже и было им прежде того один раз сделано. Они вошли в лакейскую, где было с десяток шуб, три лакея и сильный запах салом. В зале... Но я предварительно должен сказать несколько слов о хозяйке дома и ее гостях. Феоктиста Саввишна, так как и Перепетуя Петровна, не принадлежала к высшему губернскому кругу, но имела из этого круга один только дружественный дом — Кураевых; сфера же ее знакомства ограничивалась незначительным чиновным людом. В настоящее время у Феоктисты Саввишны были в гостях некто помещик Иван Иваныч, дающий деньги под проценты, уездный стряпчий, человек очень бы хороший, но, к несчастью, по несколько раз в год предающийся запою, и, наконец, учитель гимназии, метивший в инспекторы, и еще кое-кто. Все эти господа привезли с собою жен, а некоторые и своячениц; но вечера свои Феоктиста Саввишна обыкновенно скрашивала, приглашая к себе дружественное для нее семейство из высшего круга — Кураевых. Владимир Андреич никогда сам не ездил к Феок-

тисте Саввишне, но, занимая иногда через нее деньги, жену и дочерей отпускал. Брюнетка, как сама она говорила, очень скучала на этих жалких вечерах; она с пренебрежением отказывалась от подаваемых ей конфет, жаловалась на духоту и жар и беспрестанно звала мать домой; но Марья Ивановна говорила, что Владимир Андреич знает, когда прислать лошадей, и, в простоте своего сердца, продолжала играть в преферанс с учителем гимназии и Иваном Ивановичем с таким же наслаждением, как будто бы в ее партии сидели самые важные люди; что касается до блондинки, то она выкупала скуку, пересмеивая то красный нос Ивана Ивановича, то неуклюжую походку стряпчего и очень некстати поместившуюся у него под левым глазом бородавку, то... по, одним словом, всем доставалось! Гости же Феокисты Саввишны в отношении особ высшего круга держали себя почтительно, а хозяйка оказывала им исключительное внимание, хотя в то же время все почти знали, что эти особы — пуф, или, как говорили многие, *сидят на овчинах, а бьют с соболей*, то есть крепко небогаты. Но их изящная форма? Что делать: их изящная форма внушала невольное к ним уважение.

Хозяйка встретила еще в зале Перепетуя Петровну и Павла.

— Честь имсю представить племянника, — сказала Перепетуя Петровна, целуясь с хозяйкой.

— Очень приятно, — отвечала Феокиста Саввишна, жеманно кланяясь Павлу и глядя на него с некоторым удивлением: она представляла его себе вовсе не таким. — Милости прошу, Перепетуя Петровна, — продолжала она, указывая на дверь в гостиную, — Павел Васильич, сделайте одолжение.

Но Павел не сделал одолжения, не пошел в гостиную. Постояв несколько минут, он сел недалеко от гостя в коричневом фраке, который тоже, видно, не принадлежал к числу дамских любезников, а потому сидел один-одинехонек в зале. Брюнетке и блондинке сделалось очень скучно и жарко в гостиной, в которой действительно была страшная духота. Обе девушки, взявшись под руки, вышли в залу; они взглянули вскользь на Павла и на его соседа, а потом насмешливо переглянулись между собою: Павел тоже заметил их, и страшное изменение произошло в его паружности: он сначала вздрогнул всем телом, как бы дотронувшись до лейденской банки, потом побледнел,

покраснел, взглянул как-то странно на гостя в коричневом фраке, а вслед за тем начал следить глазами за ходившими взад и вперед девушками: в брюнетке мой герой узнал свою московскую соседку. Барышни с своей стороны не глядели более ни на Павла, ни на его собеседника, а разговаривали громко о недавно бывшем маскараде на французском языке, что они всегда делали в укор невежественным гостям Феоктисты Саввишны. Вскоре вошла хозяйка и начала умолять Юлию Владимировну что-нибудь пропеть: Юлия отказывалась.

— Вы не поверите, — говорила Феоктиста Саввишна, обращаясь к Павлу и к господину в коричневом фраке, — что у них за ангельский голосочек.

Коричневый фрак встал, кашлянул и ничего не сказал: выражение лица его как будто бы говорило: «Не могу знать-с, не мое дело!» Но еще страннее вел себя Павел; он даже не встал и не сказал ни слова хозяйке.

— Кто это такой? — шепнула блондинка.

— Бешметев, — отвечала хозяйка.

Блондинка сжала губки и слегка кивнула головой.

— Юлия Владимировна, — заговорила снова Феоктиста Саввишна, мучимая меломанией, — сжальтесь над нами, доставьте нам это наслаждение.

Юлия Владимировна сжалилась и с кислую миною уселась за фортепиано. С первым же ее аккордом все гости, игравшие и не игравшие в карты, вышли в залу, а потом со второго куплета (она пела: «*Что ты, ветка бедная...*») многие начали погружаться в приятную меланхолию.

— Я не могу без слез слушать этого романса, — говорила растроганная Марья Ивановна, — так, знаете, много в нем души!

— Да-с, — отвечал Иван Иванович, — прекрасная песенка, да и Юлия Владимировна прекрасно изволят петь.

— У ней хорошенький голосок, — подтвердила мать.

Между тем Павел все сидел на прежнем месте и в том же положении. Блондинке очень хотелось поговорить с ним, по похвальной ее склонности сблизиться с несчастными.

— Вы любите музыку? — спросила она его.

— Я не знаю музыки, — отвечал Бешметев.

— Вы ни на чем не играете?

— Ни на чем-с.

— А как вам нравится голос сестры?

При этом вопросе Павел заметно сконфузился и молчал.

«Какой он странный! — подумала блондинка. — Как бы его заставить поговорить? Может быть, скажет что-нибудь смешное».

В этом намерении она села рядом с Павлом.

— Вы бываете в собрании? — спросила она.

— Нет-с.

— Отчего же?

— Я не люблю собраний.

— Отчего вы не любите собраний?

В это время брюнетка подошла к сестре.

— Послушай, та sœur¹, — продолжала блондинка, — monsieur не любит собраний.

Юлия отвечала сестре улыбкою и, взяв ее за руку, отвела от Павла.

Часу в двенадцатом за Кураевыми были присланы лошади, и они, несмотря на убедительные просьбы хозяйки — закусить чего-нибудь, уехали домой. Павел уехал вместе с теткою после ужина. Придя в свою комнату, он просидел с четверть часа, погруженный в глубокую задумчивость, а потом принялся писать к сестре письмо. Оно было следующее:

«Лиза, друг мой! Ты себе представить не можешь, что сегодня со мною случилось. Пришел я к тетке; она собиралась в гости на вечер и требовала, чтобы и я с ней ехал. Я, разумеется, не хотел; но она закричала, забранилась, почти насильно посадила меня в сани и привезла к Феоктисте Саввишне, и здесь я встретил, знаешь ли, кого? Я встретил ее... ту, которую видел в Москве. До сих пор я не могу еще хорошенько опомниться. Тетка говорит, что она здешняя: фамилия ее Кураева. Боже мой, как она еще похорошела! Лицо ее сделалось еще правильнее... Что за чудные у ней ручки, Лиза! Когда она играла на фортепиано, это была не женщина, а античная статуя, совсем как есть статуя...»

Написав это, Павел лег на кровать. Губернский учитель музыки был, впрочем, совершенно другого мнения: он всегда выговаривал брюнетке за то, что она реши-

¹ сестра, (франц.)

тельно не умеет держать себя за фортепиано, потому что очень ломается. Пролежав несколько минут, Павел встал и снова принялся писать:

«Я решительно влюблен: во мне совершается что-то странное и непонятное. Бог знает что бы я готов был отдать, если бы она меня полюбила! Я бы за это готов был отказаться от всего».

На этом месте он снова остановился, снова полежал на постеле и, вставши, еще приписал:

«Приезжай, Лиза, бога ради, скорее, — мне без тебя смертная скука; мне так много надобно с тобою переговорить... Что ты там делаешь? Приезжай! Остаюсь любящий тебя и влюбленный

Бешметев».

Заклучивши таким образом письмо, он запечатал его и улегся уже совсем, но долго еще не спал и ворочался с боку на бок. Встав на другой день, Павел распечатал свое письмо, перечитал его несколько раз и, видно, раздумав посылать его, разорвал на мелкие куски; но тотчас же написал другое:

«Милая Лиза! Что ты делаешь в деревне? Приезжай скорее: мне очень скучно. Матушка в том же положении, тетка бранится; мужа твоего не видал, а у детей был: они, слава богу, здоровы. Приезжай! Мне о многом надобно с тобой переговорить. Брат твой...» и проч.

Это письмо Павел отправил и принялся читать какую-то книгу, но через четверть часа швырнул ее, лег вниз лицом на кровать и почти целый день пролежал в таком положении.

VI

ПОЕЗДКА В СОБРАНИЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Бешметев, в своем бездействии, думал решительно об одной брюнетке: ему страшно хотелось видеть ее. Он узнал, где их дом, и часа по два прохаживался недалеко от него и поджидал, не пойдет ли она, как бывало

это в Москве, гулять или по крайней мере не поедет ли куда-нибудь; был даже раза два в театре, но ничто не удавалось. Приехала Лизавета Васильевна. Павел только через неделю, и то опять слегка, рассказал сестре о встрече с своею московскою красавицей; но Лизавета Васильевна догадалась, что брат ее влюблен не на шутку, и очень этому обрадовалась; в голове ее, в силу известного закона, что все сестры очень любят женить своих братьев, тотчас образовалась мысль о женитьбе Павла на Кураевой; она сказала ему о том, и герой мой, хотя видел в этом странность и несбыточность, но не отказывался. Страшно и отрадно становилось ему, когда он начинал думать, что эта девушка, столь прекрасная и которая теперь так далека от него, не только полюбит его, но и отдастся ему в полное обладание, будет принадлежать ему телом и душой, а главное, душой... Как все это отрадно и страшно! Впрочем, Павел все это только думал, сестре же говорил: «Конечно, недурно... но ведь как?..» Со времени появления в голове моего героя мысли о женитьбе он начал чувствовать какое-то беспокойство, постоянное волнение в крови: мечтания его сделались как-то раздражительны, а желание видеть Юлию еще сильнее, так что через несколько дней он пришел к сестре и сам начал просить ее ехать с ним в собрание, где надеялся встретить Кураевых. Лизавета Васильевна с удовольствием согласилась: ей самой очень хотелось видеть Юлию. Но здесь явилась новая забота: Павел боялся показаться в собрание и несколько раз был готов отказаться от своего намерения; даже мороз пробежал по телу при одной мысли, как неловко и неприятно будет его положение в ту минуту, когда он войдет в залу, полную незнакомых людей! Что ему там делать? Как вести себя? О чем и с кем говорить? Не удивляйтесь, светский читатель, последним чувствованиям моего героя. Вы образовывались совершенно под другими условиями, вы, может быть, подобно Онегину, выйдя из-под ферулы вертлявого, но с прекрасными манерами француза, еще с семнадцати лет, вероятно, сделались принадлежностью света и балов. Но Бешметев во всю жизнь был только на одном бале, куда его еще маленького привезла мать, и он до сих пор не забыл, как было ему неловко и скучно в светлой зале. В день собрания он очень много занимался своим туалетом, долго смотрелся в зеркало, несколько

раз умылся, завился сначала сам собственноручно, но, оставшись этим недоволен, завился в другой раз через посредство цирюльника, и все-таки остался недоволен; даже совсем не хотел ехать, тем более что горничная прескверно вымыла манишку, за что Павел, сверх обыкновения, рассердился; но спустя несколько времени он снова решился. Часов в восемь он нарядился в черный фрак и какой-то цветной жилет. Фрак отличнейшего сукна сидел на нем не отлично. Когда Павел пришел к сестре, она была еще в блузе; но голова ее была уже убрана по-бальному. В лице Бешметева очень заметно было волнение; поздоровавшись с сестрою, он беспокойными шагами начал ходить по комнате.

— О чем ты думаешь, Польш? — спросила Лизавета Васильевна.

— Так, ни о чем.

— Как ни о чем? Ты чем-то расстроен.

— Право, так; мне что-то не хочется ехать.

— Но ведь ты сам меня звал.

— Знаю, — но, видишь...

— Нет, ничего не вижу.

— Мне что-то нездоровится.

— Полно, Польш, пустяки-то говорить; что за робость. Павел не отвечал.

— Что ж, мы не едем? — спросила Лизавета Васильевна после минутного молчания.

— Я не знаю, — отвечал Павел.

— Что это у тебя, братец, за дикость? Отчего это?

— Вовсе не дикость.

— Как не дикость? Чего же ты боишься людей?

— Я не боюсь, но не люблю общества; мне как-то неловко бывать с людьми; все на тебя смотрят: нужно говорить, а я решительно не нахожусь, в голове моей или пустые фразы, или уж чересчур серьезные мысли, а что прилично для разговора, никогда ничего нет.

Лизавета Васильевна покачала головой.

— Станный ты человек! Другой на твоём месте еще в Москве бы познакомился с Кураевыми.

— Вот прекрасно! Каким же образом я мог бы познакомиться?

— Очень просто: приехать в дом, да и только.

— С какой же стати я приехал бы?

— Да как же другие-то знакомятся?

— Я не знаю: их, верно, зовут.

— Вовсе нет: сами приезжают.

— В таком случае это нахальство.

— Никакого тут нет нахальства.

— Конечно, нахальство; вдруг ни с того ни с сего приехать и рекомендоваться. Очень, я думаю, интересен я для них.

— Всякий молодой человек интересен в семейном доме, потому что он жених. Нет, Польш, это не оттого... ты еще мало влюблен.

— Нет, Лиза.

— Что же?

— Так... ты неправду думаешь.

Сказав эти слова, Павел вспыхнул.

Брат и сестра замолчали.

— Послушай, Польш, — начала Лизавета Васильевна, — вот мы теперь съездим в собрание; ты еще посмотришь на нее, и я посмотрю, а потом...

— Что же потом?

— Потом стороной и разузнаем, что и как... а там ты съездишь в дом раза два...

— Ни за что не поеду.

— Нет, это пустяки: ты поедешь, а тут и я съезжу, и, смотришь, вдруг скажут: «Павел Васильич с супругою приехали!»

— Нет, сестрица, это невозможно... это так, одно пустое предположение...

— А вот посмотрим... Что ж? Прикажете одеваться? Угодно вам ехать? — шутила Лизавета Васильевна, вставая.

— Одевайся, — отвечал Павел каким-то странным голосом.

Лизавета Васильевна вышла, Павел задумался, и через полчаса она возвратилась уже совсем одетая. Бешметев, несмотря на внутреннее беспокойство, чуть не вскрикнул от удивления: так была она хороша с своею стройною талиею, затянутою в корсет, с обнаженными руками и шеею, покрытыми белою и нежною кожею, с этим умным, выразительным лицом, оттененным роскошными смолистыми кудрями. Павел невольно взглянул в зеркало, и, боже мой! как некрасива и непредставительна показалась ему его собственная фигура! С приближением к собранию беспокойство его увеличивалось,

сердце ныло; он несколько раз покушался просить сестру воротиться назад, но промолчал.

В залу Бешметев вошел в лихорадочном состоянии; лицо его было бледно и с каким-то странным выражением. Масурову тотчас же заметили.

— Лизавета Васильевна! Наконец-то вы показались, — говорила толстая, почтенная дама, пожимая ей руку. — С кем это вы, — продолжала она, увидя Павла, — с мужем?

— Нет, это мой брат, — отвечала Лизавета Васильевна и взглянула было на брата, в намерении представить его почтенной даме; но Павел очень серьезно глядел на сестру и не трогался с места. Масурову окружили еще многие старые знакомые; некоторые уже знали о ее приезде, другие же, подходя к пей, издавали звуки удивления и радости: «*Mon Dieu! Est-ce bien vous?*» — «*C'est vous, madame?*»¹ Даже слышалось: «*ma bonne Lise*», «*ma chère*» и «*Lisette*»², — но никто не заметил, никто не приветствовал Павла. Ему сделалось, как и ожидал он, страшно неловко: он решительно не знал, что делать с руками, ногами, с шляпою, или, лучше сказать, он решительно не находил, как прилично расположить всю свою особу. Павел не знал ни одного обычного в то время приема молодых людей: он не умел ни закладывать за жилет грациозно руку, ни придерживать живописно эту рукою шляпу, слегка прижав ее к боку, ни выступить умеренно вперед левою ногою, а тем более не в состоянии был ни насмешливо улыбаться, ни равнодушно смотреть; выражение лица его было чересчур грустно и отчасти даже сердито. Постояв несколько минут в положении смешавшегося в своей роли трагического актера, он счел за лучшее сесть. Не излишним считаю здесь заметить, что Павел по своей наружности был не самый последний в собрании. Не говоря уже о толстых, усевшихся играть в преферанс или вист, было даже несколько тоненьких молодых людей с гораздо более неприличными, чем он, для бала физиономиями и фраками: некоторые из них, подобно ему, сидели вдали, а другие даже танцевали. Конечно, были и такие, которые далеко превосходили Бешметева;

¹ Боже мой! Вы ли это? — Это вы, сударыня? (*франц.*)

² милая Лиза; дорогая; Лизочка, (*франц.*).

к числу таких, по преимуществу, принадлежал высокий господин лет тридцати пяти, стоявший за колонною: одет он был весь в черном, начиная с широкого, английского покроя, фрака, до небрежно завязанного атласного галстука. Желтоватое лицо его, покрытое глубокими морщинами и оттененное большими черными усами, имело самое модное выражение, выражение разочарования, доступное в то время еще очень немногим лицам. Карие глаза его лениво смотрели на составляющую невдалеке от него французскую кадрили. Высоким господином интересовались, кажется, многие дамы: некоторые на него взглядывали, другие приветливо ему кланялись, а одна молодая дама даже с умыслом села близ него, потому что, очень долго заставив своего кавалера, какого-то долговязого юношу, посидеть по зале стул, наконец показала на колонну, около которой стоял франт; но сей последний решительно не обратил на нее внимания и продолжал лениво смотреть на свои усы. Молодая дама, усевшись, несколько раз поворачивала к нему голову и поднимала на него большие серые глаза.

— Monsieur Бахтиаров, — сказала, наконец, она, не утерпев.

Франт лениво взглянул на нее.

— Посмотрите, — продолжала дама, указывая глазами на Бешметева, — за что этот господин сердится?

— Я вдали не вижу.

— Да это недалеко, на стуле у третьего окпа.

— Не вижу-с.

— Да что это!.. Посмотрите.

— Право, не вижу.

Дама несколько обиделась и отворотилась от Бахтиарова.

— Вы сегодня не в духе? — начала снова она.

— Как и всегда.

— Пожалуйста, посмотрите на этого сердитого господина!

Бахтиаров насмешливо улыбнулся.

— Странное желание! — проговорил он и, нехотя приложив к глазу одностекольный лорнет, взглянул на Павла: равнодушное выражение лица его мгновенно изменилось, он как будто бы покраснел. — Какое сходство! — проговорил он как бы сам с собою.

— С кем? — спросила она.

Бахтиаров не отвечал.

— С кем сходство? — повторила дама.

— С вами, — отвечал Бахтиаров.

Дама пожала плечами и надула губы.

— Вы забываете, вам начинать, — сказал Бахтиаров после небольшого молчания.

Дама начала ходить в первой фигуре, но смешалась в шене. Между тем Бахтиаров взглянул в ту сторону, где танцевала Лизавета Васильевна, и лицо его снова изменилось. Когда соседка его возвратилась на свое место, он выдвинулся из-за колонны и начал с нею весело разговаривать.

— У вас, должно быть, сегодня истерика? — сказала дама.

— Это отчего?

— Да как же? Вы то грустны, то веселы чересчур. Со мною бывало это.

— Со мною не то, что с вами, — ответил Бахтиаров. — Знаете ли что? Судьба иногда дарит человека в его скучной жизни вдруг, неожиданно, таким... как бы это выразить? — удовольствием, или, пожалуй, даже счастьем...

— Право? — перебила дама. — Не случилось ли с вами того же?

— Отчасти.

— Поздравляю вас! Стало быть, вы счастливы?

— Отчасти.

— Нельзя ли узнать причину?

— Невозможно.

— Почему же?

— Потому что вы всем расскажете.

— Честное слово, никому не скажу.

— Извольте: я встретил одного старого приятеля.

Дама сомнительно покачала головою и старалась угадать по направлению взгляда Бахтиарова, на кого он смотрит.

— Полно, не приятельницу ли? — сказала она.

— У меня нет приятельниц.

— Это почему?

— Приятельницами могут быть только женщины.

— Ну так что же?

— А женщин я давно не люблю.

— А М., а К., а Д.? А дама в очках?

— Это они меня любили, а не я их.

— Послушайте: это неблагородно так говорить о женщинах.

— А еще неблагороднее сплетничать на приятельниц.

— Кто же на них сплетничает?

— Вы.

— Ах, боже мой!.. Это все говорят... Это вы сами сейчас говорили.

— Я хотел подделаться под ваш тон.

— Под какой же мой тон?

— Посплетничать.

— Это ни на что не похоже, — сказала дама, очень обидевшись, и встала с своего места.

Кадриль в это время кончилась. Бахтиаров тоже довольно быстро пошел на другой конец залы: там стояла Лизавета Васильевна и разговаривала с каким-то плешивым господином. Бахтиаров подошел к ней и несколько минут оставался в почтительном положении.

— Je vous salue, madame! ¹ — произнес он потом довольно тихо. Лизавета Васильевна вздрогнула и обернулась: все лицо ее вспыхнуло, и она ответила одним молчаливым поклоном; Бахтиаров тоже, кажется, не находил, что говорить, и только пригласил ее на следующую кадриль: Лизавета Васильевна колебалась.

— Извольте, — отвечала она после минутного размышления. Оба они простояли еще несколько минут в странном молчании; наконец, Лизавета Васильевна опомнилась и подошла к брату.

— Поль, которая же она? — спросила молодая женщина, не могши скрыть внутреннего беспокойства.

— Ее здесь нет, — отвечал Павел, сидевший в это время в прежнем положении.

— Пойдем, походим, — сказала она, взяв его за руку.

— Нет, я не пойду.

— Бога ради, Поль; ты мне нужен.

— Не могу, сестрица.

— По крайней мере сядь около меня, когда я буду танцевать. Пожалуйста, Поль.

— Хорошо.

¹ Приветствую вас, сударыня! (франц.)

Лизавета Васильевна тотчас подхватила какую-то рыжую даму и начала с ней ходить по зале; Бахтиарову, кажется, очень хотелось подойти к Масуровой; но он не подходил и только следил за нею глазами. Проиграли сигнал. Волнение Лизаветы Васильевны, когда она села с своим кавалером, было слишком заметно: грудь ее подымалась, руки дрожали, глаза искали брата; но Павел сидел задумавшись и ничего не видел.

Всю эту сцену видела молоденькая дама, рассердившаяся на Бахтиарова: она видела, как он встал и пошел к Лизавете Васильевне; видела обоюдное их смущение и, сообразивши слова Бахтиарова о неожиданном его счастье, тотчас поняла все.

— Как я сейчас взбесила Бахтиарова! — сказала она, подойдя к даме в очках.

— Он всегда зол.

— Я открыла тайну его сердца.

— Давно ли у него стало сердце?

— А вот посмотрите, — сказала молоденькая дама, — каким тигром смотрит он за дамою в коричневом платье. Бледная дама в очках еще более побледнела.

— У них старая интрига. Она еще в девушках...

— Я догадалась, — перебила молоденькая дама и отошла по случаю начала французской кадрили. — Посмотрите, как счастлив Бахтиаров, — заметила она своему кавалеру, очень еще молодому человеку, но с замечательно решительною наружностью.

— Именно, — подтвердил тот, — он даже перестал кисло улыбаться.

Молодой человек, постоянно сердившийся на Бахтиарова за то, что на том всегда был фрак самой последней моды, придя в буфет и решительно бросившись на диван, сказал сопровождавшему его приятелю, армейскому офицеру:

— Как эти господа не умеют себя выдержать!

— А что? — спросил тот, безбожно затягиваясь изделием Жукова.

— Мрачный Бахтиаров целую кадрили, как аркадский пастушок, любезничал с своей дамой.

— Он танцевал с Лизаветой Васильевной Масуровой, — отвечал офицер, имевший необыкновенную способность знать имена и фамилии всех, даже незнакомых ему, дам.

Офицер, выйдя в залу, встал около другого офицера, тоже своего приятеля. Сей последний, увидев проходившую мимо их Лизавету Васильевну, заметил:

— Посмотри-ка, брат, какие плечи-то... тово...

— Нет, брат, тут не тово... занята ваканция.

— А кто?

— Да Бахтиаров.

— Ну, так уж, конечно, не тово...

Между тем Бахтиаров действительно вел себя как-то странно и совершенно не попрежнему: в лице его не было уже обычной холодности и невнимания, которое он оказывал ко всем городским дамам и в которых, впрочем, был, как говорили в свете, очень счастлив; всю первую фигуру сохранял он какое-то почтительное молчание. Лизавета Васильевна тоже молчала и беспрестанно взглядывала на брата. В половине кадрили Павел, наконец, взглянув на сестру и увидев, что она танцует с Бахтиаровым, тотчас встал, быстро подошел к танцующим и сел невдалеке от них. В это время Бахтиаров заговорил.

— Я не могу еще опомниться, — начал он, — я так неожиданно вас увидел, так поражен был...

— Мы года четыре с вами не видались, — перебила Лизавета Васильевна.

Бахтиаров несколько смешался.

— Ваш супруг здесь? — спросил он.

— Он остался дома... я с братом.

— Боже мой! Как я вас давно не видал... — начал было Бахтиаров прежним тоном.

Лизавета Васильевна прежде времени отошла делать соло.

— Вы несправедливы ко мне, — продолжал он, одушевляясь, — мало того, вы были жестоки ко мне!..

— Поль, поддержи мой веер, — сказала Лизавета Васильевна, обращаясь к Павлу.

— Это ваш брат?

— Да...

И она снова отошла.

Бахтиаров с досады начал щипать усы.

— Вы позволите мне быть у вас?.. — спросил он, уведя Лизавету Васильевну в последней фигуре на другую сторону от брата.

Молодая женщина несколько колебалась.

— Это от вас зависит, — отвечала она.

Кадриль кончилась.

— Поедем, Лиза, — сказал тихо Павел.

— Поедем, — отвечала молодая женщина.

— Accordez-moi la mazurque?

— Pardon, monsieur, je pars.

— Mais...

— Allons, Paul...¹

Лизавета Васильевна вышла с братом.

Бахтиаров, расстроенный, снова встал у колонны.

— Вы, верно, скучаете, не видя одной особы, — сказала бледная дама в очках, проходя мимо его с молоденькою дамою.

— Гораздо менее, чем видя другую особу, — отвечал Бахтиаров.

Постояв еще несколько времени, он ушел в бильярдную и сел между зрителями на диван. Ему, видно, было очень скучно. Около бильярда ходили двое игроков: один из них был, как кажется, человек солидный и немного сердитый на вид, другой... другой был наш старый знакомый Масуров.

Солидный игрок дал промах.

— А вот мы так не так!.. — сказал Масуров, живо перекинувшись через борт бильярда, и, вывернув неимоверно локти, принялся целиться. — Бац! — вскрикнул он, сделав довольно ловко желтого шара в среднюю лузу. — Вот оно что значит на контру-то, каков удар! А? — продолжал он, обращаясь к зрителям.

— Отлично играют! — отнесся к Бахтиарову худошавый господин, которого в городе называли плательной вешалкой.

— Кто? — спросил Бахтиаров.

— Я говорю: Михайло Николаич отлично играют.

— Какой Михайло Николаич?

— Масуров.

— Это разве Масуров?

— Масуров... ловкий игрок.

Бахтиаров сейчас же встал с своего места и подошел к игрокам.

¹ — Позвольте вас пригласить на мазурку?

— Извините, сударь, я уйду!

— Но... (франц.)

— Идем, Павел! (франц.)

— Каков удар-то? — повторил Масуров, заметив его около себя.

— Славный! — отвечал Бахтиаров.

— Вот как долго целитесь, а еще говорите, что с Тюрей играли... на «себя», ей-богу, на «себя»! — повторил Масуров, между тем как прицеливался его партнер.

— Перестаньте говорить под руку, — возразил тот, отнимая с досадою кий.

— Да я и так ничего не говорю; играйте; что мне за надобность.

— Как же не говорите! Как колокол над ухом, — возразил партнер, снова принимаясь целиться.

— Сами вы колокол. Ну, смотрите... так и есть: на «себя»! — вскрикнул он и залился смехом.

Партнер действительно сделал на «себя».

— С вами невозможно играть, — сказал он, отнимая кий.

— Ну, уж вы и сердитесь... всяко бывает! А вот мы так поиграем: красного сделаем да под желтого выход!.. Есть! Вот тут-то мы вас, батенька, и поймали! Эй ты, маркерина, считай; раз двенадцать, два двенадцать; честь имею вас поздравить: партия кончена!

— Будет! — сказал партнер, выкидывая на бильярд десятирублевую.

— Давайте играть; что за пустяки?

— Не буду я играть, беспрестанно говорите под руку.

— Я не стану, ей-богу, не стану; слова не скажу.

— Не буду, — отвечал лаконически партнер и вышел.

— Экий какой! — проговорил ему вслед Масуров. — Кутнул на красненькую, да и испугался.. я, черт возьми, по десяти тысяч проигрывал в вечер, да и тут не отставал.

— Не хотите ли со мной? — сказал Бахтиаров.

— Очень рад, — отвечал, обрадовавшись, Масуров, — вы ведь, кажется, гусар?

— Гусар.

Они начали играть. Масуров был в восторге: как-то так случилось, что он то с одного удара кончил партию, то шары разбивались таким образом, что Бахтиарову оставалось делать только белого.

— Что это с вами? — говорили некоторые зрители, обращаясь к Бахтиарову.

— Он хорошо играет, — отвечал тот и начинал как будто сердиться.

— Нет, вам нельзя играть со мной так и так, — сказал Масуров, — возьмите десять вперед.

— Я оттого проигрываю, что мы играем по маленькой: давайте по пятидесяти рублей.

— Вот еще что вздумали! Как это возможно? Это значит наверняка взять у вас деньги. На вино давайте.

— Извольте.

И вино проиграл Бахтиаров.

— Будет! — сказал Масуров. — Нет, вам нельзя со мной играть, давайте пить.

Они сели за дальний столик.

— Я очень рад, что с вами познакомился, — произнес Михайло Николаич, протягивая руку к Бахтиарову.

— Взаимно и я, — отвечал тот, пожимая ему руку.

— Фамилия моя Масуров.

— А я Бахтиаров.

— Ну и прекрасно.

— Славно вы играете.

— Так ли я еще прежде играл? Не поверите: в полку, бывало, никто со мной не связывался. Раз шельма жид какую штуку выкинул в Малороссии на ярмарке: привозит бильярд без бортов; как вам покажется?

— Не может быть.

— Честью моей заверяю. Но... каким же образом, однако, играть?.. Тот... другой: были хорошие игроки; посмотрели; нет, видят; хитро! Что, я думаю... «Послушай, свиное ухо, — говорю я жиду, — когда у тебя пуста бильярдная?» — «От цетырих часов ночи до восьми утра, васе благородие», — говорит. Хорошо! Прихожу в четыре часа ночи, начинаю катать шарами, всю ночь проиграл один, — что же? Поутру его, каналью, самого обыграл на две партии. Тут было схватились со мной другие: было человек десять уланов; всех обдул, как липок; а смешнее всего, один чиновник, с позволения сказать, все белее с себя проиграл.

— Но я не понимаю, каким же образом играют? — сказал Бахтиаров, внимательно выслушав весь этот рассказ.

— Очень просто: дублетов вовсе нет, и тише бьют шары, чтоб не падали на пол. Чокнемся, monsieur... позвольте узнать ваше имя.

— Александр Сергеич.

— Чокнемтесь, Александр Сергеич!

Они чокнулись.

— Я сейчас имел удовольствие танцевать с вашей супругой.

— Что вы? Да разве она здесь?

— Была здесь; а вы, видно, и не знаете?

— А я и не знаю... Я дома целый день не был: помню, что-то говорила.

— Я знал их еще девушкой.

— Не правда ли, что славная женщина?

— Чудная!

— Да, черт возьми, кабы не была жена, даже при-
волокнулся бы за нею.

— А вы разве охотники волочиться?

— Даже очень люблю. Допьемте другую бутылку и пойдете волочиться.

— Пойдемте.

— Там я, еще в прошлое собрание, видел даму: ух, черт возьми, с какими калеными глазами!

Новые знакомцы вышли под руку в залу, но Масуров скоро юркнул от Бахтиарова; он был в зале собрания как у себя дома, даже свободнее, чем ловкий и светский Бахтиаров: всем почти мужчинам подавал руку, дамам кланялся, иным даже что-то шептал на ухо; и Бахтиаров только чрез четверть часа заметил его усевшимся с дамою во ожидании мазурки. Михайло Николанч, увидя своего приятеля, показывал ему пальцем на свои глаза и в то же время подмигивал на свою даму. У дамы были действительно странные глаза: они были, если хотите, и черные, но как будто бы кто-то толкал их изнутри, и им сильно хотелось выпрыгнуть. Бахтиаров чуть не засмеялся и, желая не поддаться приятелю в выборе дамы, отыскал какую-то девушку тоже с довольно необыкновенными глазами. Эти глаза были, впрочем, совершенно другого свойства: они уходили внутрь, и как владелица их ни растягивала свои красноватые веки, глаза прятались и никак не хотели показаться на свет. Масуров захохотал во все горло, увидев помещающегося с своей дамой около него Бахтиарова.

— Bravo, Александр Сергеич! То, что у вас очень закрыто, у меня очень открыто!

Оба знакомя немного дурачились в мазурке: они очень шибко вертели дам, подводя их к местам, то чересчур выделявали па, то просто ходили выдумывая какие-то странные пословицы. В отношении же дам своих они вели себя несколько различно: Бахтиаров молчал и даже иногда зевал, но зато рекой разливался Масуров: он говорил даме, что очень любит женские глаза, что взгляд женщины для него невыносим, что он знал одну жишовочку и... тут он рассказал такую историю про жишовку, что дама не знала — сердиться на него или смеяться; в промежутках разговора Масуров обращался к Бахтиарову и спрашивал его вслух, знает ли он романс: «Ах, не глядите на меня, вы, пламенные очи», и в заключение объявил своей даме, что он никогда не забудет этой мазурки и запечатлел ее в сердце. Дама молча поворотила на него свои глаза и отошла.

Бахтиаров и Масуров отужинали вместе, выпили еще бутылки две шампанского, и Масуров начал называть своего приятеля просто — *mon cher*.

Дружеское сближение Бахтиарова с Масуровым заметили многие, и многие угадали настоящую причину: это были по преимуществу дамы, которые, как известно, в подобных случаях обнаруживают необыкновенное любопытство и невыразимую сметливость. На другой же почти день было решено, что гордец Бахтиаров заискивает в Масурове и подделывается под его дурной тон, потому что интригует с его женой. Слух об этом дошел и к Куряевым: брюнетка, говорят, услышав об этом, тотчас вышла к себе в комнату и целый день не выходила, жалуясь на головную боль. Горничная ее даже рассказывала, что будто бы барышня все это время изволила лежать в постеле и плакала.

VII

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Еще печальнее, еще однообразнее потекла жизнь Павла после его неудачной поездки в собрание; целые дни проводил он в совершенном уединении. С сестрою видался он гораздо реже. Лизавета Васильевна как-то изменилась, сделалась несколько странною и совершенно иначе держала себя в отношении к брату. По приезде из собрания

она несколько дней была больна, или по крайней мере сказывалась больною, и лежала в постеле. На другой же день поутру приехал к ним Бахтиаров. Михайло Николаич просил было жену выйти к его новому знакомому, который, по его словам, был старинный его приятель, видел ее в собрании и теперь очень желает покороче с ней познакомиться. Лизавете Васильевне очень неприятно было это посещение, и она решительно сказала мужу, что больна и не может выйти.

— Бог с тобой, Лиза, ты мне все делаешь напротив; этот ведь совершенно непохож на других моих приятелей: человек с огромным весом, для детей наших даже может быть полезен.

Сказав это, Масуров вышел из спальни. Гость и хозяин, кажется, скоро совершенно забыли о Лизавете Васильевне. Они уселись играть в бостон и проиграли до вечера. На третий день, когда снова приехал Бахтиаров, Лизавета Васильевна спросила мужа: долго ли этот человек будет надоедать им?

— Нет, душа моя, — почти закричал Михайло Николаич, — ты хоть зарежь меня, а мы каждый день будем играть: этакое отличнейшего и благороднейшего игрока я во всю жизнь не видал.

— Что же вы не играете у него?

— У него невозможно, ей-богу, невозможно: во всем доме переделывают печи; нам бы все равно.

— Это несносно, Мишель: целый день чужой человек.

— И не говори лучше, Лиза: это невозможно; в чем хочешь приказывай.

— Но как же?

— Душа моя, ангелочек, бога ради, не говори, — произнес Масуров и ушел проворно.

На четвертый день повторилась та же сцена. На пятый день Лизавета Васильевна проснулась бледнее обыкновенного, глаза ее были красны и распухли. Видно было, что она провела не слишком спокойную ночь. Часу в двенадцатом приехал Бахтиаров, и Михайло Николаич тотчас уселся с ним за карты. На этот раз Лизавета Васильевна не сказалась больною: она вышла в гостиную и довольно сухо поклонилась гостю, проговорившему ей свое сожаление о ее болезни; в лице Бахтиарова слишком было заметно волнение, и он часто мешался и даже забывал карты. Что касается до Лизаветы Васильевны, то

она была как будто бы спокойна: работала, занималась с детьми, выходила часто из комнаты и, повидимому, решительно не замечала присутствия постороннего человека; но к концу дня, ссылаясь на головную боль, легла снова в постель. На следующие дни стали повторяться те же сцены. Павел был всему постоянным свидетелем. Он очень подозревал, что Бахтиаров неравнодушен к сестре и что она если и не любит, то когда-то очень любила этого человека: ему очень хотелось поговорить об этом с нею, но Лизавета Васильевна заметно уклонялась от искренних разговоров и даже по приезде из собрания перестала говорить с братом о его собственной любви. Когда начинал Павел думать об отношениях сестры к Бахтиарову, ему становилось как-то грустно; неприятное предчувствие западало на сердце; положение его в доме Масуровых начало становиться неловким: Бахтиаров и Масуров его мало замечали, сестра чуждалась; он перестал к ним ходить. «Для чего это сестра переменялась ко мне? — часто думал Павел. — Отчего ж она не скажет мне, если точно любит этого человека? Но достоин ли он? Он светский человек; он мне не нравится». Павел прощал сестре чувство любви, но только ему казалось, что избранный ею предмет был недостойн ее; впрочем, при таких размышлениях Павлу всегда как-то становилось грустно и неприятно. «Лучше, если бы этого не было, — заключал он, — и что будет из этой любви?» На последний вопрос Павел боялся отвечать. Больше всего он сердился на Михайла Николаича. «Этот пустой человек, — думал он, — решительно погубит все свое семейство, он в состоянии продать жену; он подл, низок, развратен... Как сестре не предпочесть Бахтиарова, который, может быть, тоже развратный человек, но по крайней мере приличен, солиден». Были даже минуты, когда Павел завидовал сестре и Бахтиарову: они любят, они любимы, тогда как он?.. Здесь в воображении его невольно начинал воскресать образ брюнетки, не той холодной брюнетки, которую он видел, которая не приехала в собрание, нет, другой — доброй, ласковой, приветливой к нему брюнетки; она подавала ему руку, шла с ним... Но мечты прерывались, его то звали к матери, то приезжала тетка или сестра и заставляли его рассказывать, что делала и как себя чувствовала старуха в продолжение двух дней и не хуже ли ей? На все вопросы Павел отвечал односложно. Тетка

при этих посещениях обыкновенно выговаривала Павлу, почему он не служит, почему не бывает у нее и как ему не грех, что он так холоден к матери, которая для него была истинно благодетельница?

Однажды — это было в начале великого поста — Перепетуя Петровна приехала к сестре. Она была очень взволнована, почему с несвойственной ей быстротою и небрежливостию сбросила на пол салоп и вошла в залу: все лицо ее было в красных пятнах.

— Где Паша? — спросила она.

— У себя в комнате, — отвечала горничная.

Перепетуя Петровна прошла к Павлу.

— Здравствуй, Паша! Полно, нечего одеваться-то, и в халате посидишь. Что это у тебя какая нечистота в комнате? Пол не вымыт; посмотри, сколько на столе пыли; мало, что ли, батюшка, этих оболтусов-то? Притвори дверь-то: мне нужно с тобою поговорить.

Павел затворил дверь. Перепетуя Петровна уселась в кресла.

— Давно ли ты видел сестру?

— Дня с три.

— У них был?

— Нет, Лиза у нас была.

— А у них давно ли был?

— У них был неделю назад.

— Что она, с ума, что ли, сошла?

— Кто?

— Да сестрица-то твоя. — Павел с удивлением посмотрел на тетку. — Я себя не помню; можно сказать, если бы не мой твердый характер, я не знаю, что... Кто у них был при тебе?

— Никого.

— Нет, ты лжешь, что никого: у них был Бахтияров; бывает каждый день, только что не ночует: вот что!

Павел тут только начал догадываться, в чем дело.

— Это приятель Михайла Николаича, — сказал он.

— Нет, не приятель; он скорей злодей его: он злодей всего нашего семейства. Прекрасно! Михайло же Николаич виноват!.. Сваливайте на мужа вину: мужья всегда виноваты! Ты и этого не понимаешь.

— Мне нечего понимать.

— Нет, ты должен понимать: ты брат.

— Что же мне такое понимать?

— А то понимать, что сестра твоя свела интригу.

— Тетушка...

— Нечего «тетушка». Ты думаешь — мне легко слышать, как целый город говорит, что она с этим Бахтиаровым в интриге, и в интриге мерзкой, скверной.

Павел весь вспыхнул.

— Это клевета! Прошу вас, тетушка, не говорите этого при мне.

— Нет, я буду при тебе говорить: ты должен действовать.

— Мне нечего действовать: это сплетни подлых людей.

— Ты не можешь этого сказать: это говорили мои хорошие знакомые, это говорят везде... люди постарее, по-solidнее тебя; они жалеют тут меня, зная мое родственное расположение, да бедного Михайла Николаича, которого спаивают, обыгрывают, может быть отправят на тот свет. Вот что говорят везде.

— Тетушка, пощадите сестру! — произнес Павел почти умоляющим голосом.

— Нет, мне нечего ее щадить; она сама себя не щадит, коли так делает; я говорю, что чувствую. Я было хотела сейчас же ехать к ней, да Михайла Николаича пожалела, потому что не утерпела бы, при нем же бы все выпечатала. А ты так съезди, да и поговори ей; просто скажи ей, что если у них еще раз побывает Бахтиаров, то она мне не племянница. Слышишь?

— Я не поеду, тетушка.

— Как тебе ехать? Я наперед это знала; давно уж известно, что ты никаких родственных чувств не имеешь, что сестра, что чужая — все равно; в тебе даже нет дворянской гордости; тебе ведь нипочем, что бесславят наше семейство, которое всегда, можно сказать, отличалось благочестием и правственностью.

— Это одна клевета.

— Да за что же вы меня-то мучите, за что же я-то терзаюсь? Вы, можно сказать, мои злодеи; в ком мое утешение? О чем я всегда старалась? Чтобы было все прилично... хорошо... что же на поверку вышло? Мерзость... скверность... подлость... Я девок своих за это секу и ссылаю в скотную. Бог с вами, бог вас накажет за ваши собственные поступки. Съездить не хочешь! Лентяй ты,

сударь, этакый тюфяк; ты решительно без всяких чувств, жалости ни к кому не имеешь!

В продолжение этой речи голос Перепетуи Петровны делался более и более печальным, и, наконец, она начала всхлипывать.

— Нет, видно, мне в жизни утешения ни от чужих, ни от родных: маятница на белом свете; прибрал бы поскорее господь; по крайней мере успокоилась бы в сырой земле!

Перепетуя Петровна очень расстроилась.

Вошла горничная и сказала, что больная проснулась.

— Не сказывайте ей обо мне, — говорила Перепетуя Петровна, — я не могу ее видеть, мою голубушку; страдалицы мы с ней, по милости прекрасных детушек! Я сейчас уеду..

И действительно уехала, не простясь даже с Павлом.

Перепетую Петровну возмутила Феоктиста Саввишна. Она рассказала ей различные толки об Лизавете Васильевне, носившиеся по городу и по преимуществу развиваемые в дружественном для нее доме, где прежде очень интересовались Бахтиаровым, а теперь заметно на него сердились, потому что он решительно перестал туда ездить и целые дни просиживал у Масуровых.

Феоктиста Саввишна, поговорив с Перепетуей Петровной, вздумала заехать к Лизавете Васильевне посидеть вечерок и собственным глазом кой-что заметить. Она непременно ожидала встретить там Бахтиарова; но Лизавета Васильевна была одна и, кажется, не слишком обрадовалась гостье. Сначала разговор шел очень вяло.

— А вы не выезжаете? — спросила Феоктиста Саввишна.

— Нет, я не выезжала эти дни... Голова болит.

— Время такое, насморки везде. А я так сегодня целый день не бывала дома; бездомовница такая сделалась, что ужас; теперь вот у вас сижу, после обеда была у вашей тетушки... как она вас любит! А целое утро и обедала я у Кураевых... Что это за прекрасное семейство!

— А вы знакомы?

— Господи помилуй! Мало что знакома: я, можно сказать, дружна, близка к этому семейству.

— Которая из дочерей у них лучше? — спросила Лизавета Васильевна.

— Ах, Лизавета Васильевна, я просто не могу вам на это отвечать! Они обе, можно сказать, как два амура или какие-нибудь две белые голубки.

— Которая у них брюнетка?

— Старшая.

— Она мне лучше нравится.

— Да, это Юлия Владимировна: прекрасная девица. Дай только бог ей партию хорошую, а из нее выйдет превосходная жена; наперед можно сказать, что она не огорчит своего мужа ни в малейших пустяках, не только своим поведением или какими-нибудь неприличными поступками, как делают в нынешнем свете другие жены. — Последние слова Феоктиста Саввишна произнесла с большим выражением, потому что, говоря это, имела в виду кольнуть Лизавету Васильевну.

— Она очень нравится одному молодому человеку, — сказала та, не поняв последних слов Феоктисты Саввишны.

— Право? Кому же это?

— Этот молодой человек видел ее раза два. Он говорит, что она чудо как хороша собой, грациозна и бесподобно поет.

— Ай, батюшки! Кто же это такой? — спросила Феоктиста Саввишна, и у ней уже глаза разгорелись, как будто дело шло об ее собственной красоте или о красоте ее дочери.

— Он меня очень просил, — продолжала Лизавета Васильевна, — чтобы узнать стороной, как о нем думают у Кураевых и что бы они сказали, если бы он сделал предложение.

— Ах, боже мой! Кто бы это был? — сказала Феоктиста Саввишна, еще более заинтересованная. — Пойдите, я ведь догадываюсь: не Бахтиаров ли?

Лизавета Васильевна покраснела.

— Это с чего вам пришло в голову? С какой мне стати говорить за него?

— Ну, я думала, так, по дружбе; он так часто бывает у вас.

— Он часто бывает у моего мужа. Нельзя ли вам, Феоктиста Саввишна, переговорить с Кураевыми?

— Да про кого, матушка, поговорить-то: я еще не знаю, про кого.

— Нет, вы наперед дайте слово, что переговорите.

- Извольте; про кого же?
- Про моего брата.
- Про Павла Васильича? Не может быть!
- Отчего же не может быть?
- Нет, вы шутите!
- Вовсе не шучу.
- Да как же? Ведь он еще не служил.
- Что ж такое! У него уж три чина.
- Да кто их дал?
- Царь дал. Он кандидат.
- Ей-богу, не знаю... Позвольте, мне от своего слова

отпираться не следует: поговорить поговорю; конечно, женихи девушке не бесчестье; только откровенно вам скажу — не надеюсь. Главное дело — нечиновен. Как бы при должности какой-нибудь был — другое дело... Состояние-то велико ли у них?

— У него своих пятьдесят душ, да после тетки еще достанется.

Феоктиста Саввишна размышляла. Она была в чрезвычайно затруднительном положении: с одной стороны, ей очень хотелось посватать, потому что сватание издавна было ее страстью, ее маниею; половина дворянских свадеб в городе началась через Феоктисту Саввишну, но, с другой стороны, Бешмстев и Кураева в голове ее никоим образом не укладывались в приличную партию, тем более что она вспомнила, как сама она невыгодно отзывалась о Павле и какое дурное мнение имеет о нем невеста; но мания сватать превозмогла все.

— Поговорю, Лизавета Васильевна, с большим удовольствием поговорю, я так люблю все ваше семейство! Мне очень будет приятно устроить это для вас. Вы говорите: у него пятьдесят душ и три чина?

Разговор этот прервался приходом бледного и расстроенного Павла. Лизавета Васильевна очень ему обрадовалась.

— Вот и он! Легок на помине. Как я тебя давно не видала, Польш, — говорила она, целуя брата в лоб и глядя на него, — но что с тобой? Чем ты расстроен?

Павел ничего не отвечал и, почти не кланяясь Феоктисте Саввишне, сел поодаль; Лизавета Васильевна долго вглядывалась в брата и сама задумалась. Феоктиста Саввишна, внимательно осмотрев Павла, начала с ним разговаривать, вероятно для узнавания его умственных

способностей; она сначала спросила его об матери, а потом и пошла допытываться — где он, чему и как учился, что такое университет, на какую он должность кандидат; и вслед за тем, услышав, что ученый кандидат не значит кандидат на какую-нибудь должность, она очень интересовалась знать, почему он не служит и какое ему дадут жалованье, когда поступит на службу.

Павел говорил очень неохотно, так что Лизавета Васильевна несколько раз принуждена была отвечать за него.

Часу в восьмом приехал Масуров с клубного обеда и был немного пьян. Он тотчас же бросился обнимать жену и начал рассказывать, как он славно кутнул с Бахтияровым. Павел взялся за шляпу и, несмотря на просьбу сестры, ушел. Феоктиста Саввишна тоже вскоре отправилась и, еще раз переспросив о состоянии, чине и летах Павла, обещалась уведомить Лизавету Васильевну очень скоро.

VIII

СВАТОВСТВО

Феоктиста Саввишна, возвратясь от Лизаветы Васильевны, почти целую ночь не спала; сердце ее каждый раз замирало и билось, когда она вспоминала, что судьба сжалилась, наконец, над ней и доставила ей случай по-сватать. Будь другая на месте Феоктисты Саввишны, не имея для этого дела истинного призвания, она, конечно бы, не решилась сватать какого-либо полуплебея губернской аристократке, по причинам, выше уже изложенным. Собственно, два только благоприятные шанса имела Феоктиста Саввишна: во-первых, она слышала стороной, что будто бы у Кураевых продают имение с аукциона и что вообще дела их сильно плохи, а во-вторых, Владимир Андрейч, обыкновенно человек гордый и очень мало с нею говоривший, вдруг на днях, ни с того ни с сего, подсел к ней и сказал: «Чем вы, любезная Феоктиста Саввишна, занимаетесь? Хоть бы молодым девушкам женихов приискивали», — а она, как будто бы предчувствуя, и ответила, что она очень рада, но только в состоянии ли будет найти достойных молодых людей. Владимир же Андрейч на это возразил: «Нынче девушкам копать не-

чего!» и что вот хоть у него две дочери, девушки не из последних, а он зарываться не будет, был бы человек хороший.

На другой день Феоктиста Саввишна сходила к заутрене, к обедне и молилась, чтобы хорошо начать и благополучно кончить, и вечером же решила отправиться к Кураевым. Ехав дорогой, она имела два опасения: первое, чтоб не было посторонних, а второе, чтобы Владимир Андреич не очень уж был важен и сердит, потому что она его безмерно уважала и отчасти побаивалась; даже, может быть, не решилась бы заговорить с ним, если бы он сам прежде не дал тону. Первое ее опасение было напрасно: Кураевы только своей семьей сидели в угольной комнате; второе же, то есть в отношении Владимира Андреича, отчасти оправдалось: он был, видно, чем-то очень серьезным расстроен, а вследствие того и вся семья была не в духе; но Феоктиста Саввишна не оробела перед этим не совсем благоприятным для нее обстоятельством и решилась во что бы то ни стало начать свое дело.

— Что это нынче за времена, — начала она, просидев с полчаса и переговора о различных предметах, — что это нынче за годы? Прошла целая зима... танцевали... ездили на балы... тоже веселились, а свадьбы ни одной.

На это замечание никто не ответил; Владимир Андреич поднял, впрочем, нахмуренные глаза и поглядел на нее.

— А ведь женихи-то есть: и очень бы желали, — продолжала она.

— Да где вы нашли женихов? — проговорил Владимир Андреич. — И танцевали, наша братья, женатые да мальчишки.

— Мало ли есть, которые и не выезжают. Право, нынче молодой человек, который посolidнее то и не поедет в общество-то. Не те времена: жизнь как-то не веселит. Вот, например, Василья Петровича Бешметева сын: прекраснейший человек, а никуда не ездит, все сидит дома.

— Это тюфяк-то? — перебила блондинка. — Мы еще у вас его видели: смиренный такой.

— И который еще рук не моет? — прибавила насмешливо брюнетка.

— То-то и есть! Я не знаяши это говорила, а вышло не то, — возразила увертливая Феоктиста Саввишна. — После, как узнала, так вышел человек-то умный; не

шаркун, правда; что ж такое? Занимается своим семейством, хозяйством, читает книги, пятьдесят душ чистого имения, а в доме-то чего нет? Одного серебра два пуда, да еще после тетки достанется душ восемьдесят. Кроме того, у Перепетуи Петровны и деньги есть; я это наверно знаю. Чем не жених? По моему мнению, так всякую девушку может осчастливить.

Родитель и родительница весь этот рассказ выслушали очень внимательно.

— Да это его сестра за Масуровым? — спросила мать.

— Его самого.

— Семейство-то очень уж дурное: тетка Перепетуя Петровна... сестра Масурова — бог знает что такое! — говорила Кураева, глядя на мужа и как бы спрашивая его: «Следует ли это говорить?»

— Что ж такое сестра? — возразила Феоктиста Саввишна. — Она совершенно отделена. Если и действительно про нее есть там, как говорят, какие-то слухи, она не указчица брату.

— Это пустяки: что такое сестра? — проговорил Кураев. — Служит он где-нибудь?

— Нет, нигде не служит.

— Отчего же? Ленив, что ли?

— Ай нет; как это возможно! Холостой человек, одинокий: думает, не для чего: состояние обеспеченное, у него уж три чина: он какой-то коллежский регистратор, что ли.

— Коллежский секретарь?

— Так точно, коллежский секретарь.

Феоктиста Саввишна, сметливая в деле сватанья, очень хорошо поняла, что родители были почти на ее стороне; впрочем, она даже несколько удивилась, что так скоро успела. «Видно, больно уж делишки-то плохи», — подумала она и прямо решилась приступить к делу.

— Я, признаться сказать, — начала она не совсем твердым голосом, — нарочно сегодня к вам и приехала. В своем семействе можно говорить откровенно — он очень меня просил узнать, какое было бы ваше мнение насчет Юлии Владимировны?

— Насчет меня? — спросила брюнетка и побледнела.

— То есть в каком же отношении насчет? — сказал Владимир Андрейч, переглянувшись с женою.

— Ну, то есть известно, в каком. Он видел Юлию Владимировну: она ему очень понравилась, так он очень бы желал быть очастливлен. Конечно, его мало знают, но он говорит: «Я, говорит, со временем постараюсь, говорит, заслужить».

Владимир Андреич думал. Впрочем, по выражению его глаз заметно было, что слова Феоктисты Саввишны были ему не неприятны.

— Что ж, он делает формальное предложение, что ли? — спросил он.

— Да!.. Конечно... все равно и через меня... делает формальное предложение.

— Формальное предложение, — проговорил как бы сам с собою Владимир Андреич и поглядел на дочь.

Юлия сидела почти не жива; на глазах ее навернулись слезы. Блондинка с испуганным и жалким лицом смотрела на сестру: у нее тоже показались слезы. Марья Ивановна глядела то на дочь, то на мужа. Несколько минут продолжалось молчание.

— Как ты думаешь, Марья Ивановна? — начал Владимир Андреич, обращаясь к жене.

Та глядела ему в глаза и ничего не отвечала.

— Ну, а ты что, Юлия? — отнесся он к дочери.

Юлия Владимировна едва собралась с духом отвечать.

— Я не хочу еще замуж, папенька.

— Это пустое ты говоришь: всякая девушка замуж хочет.

— Он мне не нравится, папенька.

— И это пустое...

Решив таким образом, Владимир Андреич встал и начал ходить по комнате; все другие сидели молча и потупившись. У Феоктисты Саввишны очень билось сердце, и она беспокойным взором следила за Кураевым.

— Пойдем туда, Маша, — проговорил, наконец, Владимир Андреич, показав жене глазами на кабинет.

Марья Ивановна встала и пошла за мужем. Барышни тоже недолго сидели в угольной. Брюнетка взглянула исподлобья на Феоктисту Саввишну и, взяв сестру за руку, ушла с нею в другую комнату.

Феоктиста Саввишна, чтобы не мешать семейному соещанию, тоже вышла в залу и, прислонившись к печке, с удовольствием начала припоминать ту ловкость, которую

обнаружила в этом деле. «Задала же им я задачу, — думала она: — господи, хоть бы мне эту свадьбу устроить: четвертый год без всякого дела. Старики-то, кажется, на моей стороне; невеста, пожалуй, заупрямится; ну да Владимир Андреич не очень чувствительный родитель: у него и не хочешь, да запляшешь. Признаться сказать, не ожидала я для себя этого. Делишки-то, главное, делишки, видно, больно плохи. Как бы подслушать, что барышни-то говорят?» — подумала Феоктиста Саввишна и, зная очень хорошо расположение дружественного для нее дома, тотчас нашла дверь в комнату барышень и, подойдя весьма осторожно, приложила к небольшой щели ухо. В комнате царствовало молчание и только слышались глухие рыдания. Феоктиста Саввишна тотчас же догадалась, что это плачет невеста.

— Не плачь, та соеиг, — заговорила блондинка, — папенька, может быть, еще не согласится... Ты скажи, что просто не можешь, что у тебя к нему антипатия.

— Какая тут антипатия? Больше, та соеиг, чем антипатия. Я представить его не могу, имя его теперь уж мне противно. Что это такое? Выдают за дурака!

— Именно, — подхватила блондинка, — лицо гадкое, ноги кривые. Очень весело... такой муж своими невымытыми руками будет обнимать. Фу! гадость какая!

Брюнетка ничего не отвечала: несколько минут не было слышно ни слова.

— Если меня выдадут за него, — начала довольно тихо брюнетка, — я знаю, что делать.

— А что такое, та соеиг?

— А вот увидишь.

— Скажи, душенька!

— А то, что я буду держать его, как лакея...

— Конечно: он того и стоит.

— Еще как стоит!

Снова продолжалось несколько минут молчание.

— Мне тебя, та соеиг, — начала блондинка, — очень жаль: мы с тобой уж не будем жить вместе.

Брюнетка молчала.

— Все это гадкая Феоктиста Саввишна, — продолжала блондинка.

— Конечно она, урод проклятый! — подхватила Юлия.

— Дыня гнилая!

— Киевская ведьма!

— Черт с хвостом!

Феоктиста Саввишна не сочла за нужное долее подслушивать и снова вышла в залу. Ей очень была обидна неблагодарность Юлии Владимировны, о счастии которой она старалась. «Впрочем, бог с ней! — подумала она. — Это происходит от глупости и молодости: им бы все за богачей выдавай; где же их взять? Для меня бы все равно сватать; сами виноваты; хороший-то жених спросит и приданого, а приданое в трубе прогорело, даром что модницы этакие! Вот посмотрим, сколько отвалят; ан смотришь: старую перину, новый веник да полтину денег; конечно, тряпок много, да ведь на тряпки-то хорошего человека не приобретешь». Феоктиста Саввишна много еще думала в этом же роде: в голове ее проходили довольно серьезные мысли. Так, например: что если нет в виду хорошего приданого, так девушек не следует по моде и воспитывать, а главное дело — не нужно учить по-французски: что от этого они только важничают, а толку нет, и тому подобное.

Но еще более серьезные мысли, как и надобно было ожидать, высказывал Владимир Андреич в своем совещании с супругою.

— Как ты думаешь, Марья Ивановна? — начал он.

— Я, ей-богу, еще, Владимир Андреич, опомниться не могу. Мне кажется это даже дерзостью.

— Пустое! Где же тут дерзость?

Марья Ивановна не отвечала.

— Я тебя спрашиваю: где же тут дерзость?

— Конечно, если уж не дерзость, так, сам согласишься, странность.

— И странности никакой нет. А это не странность, что у насимение-то все с молотка продадут? Это не странность, что я в пятьдесят лет должен ехать в Петербург — надевать лямку и тереться в частной службе за какие-нибудь четыре тысячи в год? Это не странность, по-вашему, это не странность? Понимаете ли вы, что из этого выйдет?

— Я сама знаю, Владимир Андреич, что наше состояние очень расстроено.

— Не расстроено, сударыня, а совсем его нет. Что теперь у нас? Домашняя рухлядь да экипажи; далеко-то не уедешь. Хорошо, что еще хоть частное место удастся приятелям выхлопотать, а то хоть по миру ступай; впору с одной-то возиться. Слава богу, что выискался добрый

человек да берет, что называется, из одного расположения. Нет уж, сударыня, по милости вашей у меня шея-то болит давно; вам все готово, а я, может быть, целые ночи верчусь, как карась на горячей сковороде; у меня только и молитвы было, чтобы взял кто-нибудь; знаешь ли ты, что через месяц мы должны ехать отсюда? Ну, если б еще здесь оставались, можно было бы погодить, да и то... четыре зимы их вывозили, а что толку-то? Ездили, ухаживали, обедали, а ни один не присватался; припомни, сколько было этих франтов-то: Портнов, Караев, Мелуса, Коваревский, Умнов, Глазопалов, Бахтиаров; а ведь ни одного не умели завлечь хорошенько; сами виноваты, мне делать нечего, в самого себя уж не влюбишь.

— Конечно... впрочем, все-таки... ты не рассердись, Владимир Андреич, я говорю это так: все-таки ужасно пожертвовать дочерью...

— Да какой черт ею жертвует? Не в Сибирь ссылают, замуж выдают; она, я думаю, сама этого желает. Жертвуют ей! В этом деле скорей наш брат жертвует. Будь у меня состояние, я, может быть, в зятя-то пригнул бы и не такого человека.

— Да ведь это я так только сказала...

— И так говорить не следует. Надобно ли нам о себесто подумать?

— Конечно, надобно.

— Наш ведь век еще не определен!

— Конечно, еще не определен: может быть, мы еще долго будем жить.

— То-то и есть: долго жить. Теперь позови-ка Юлию... Я поговорю с ней, а после и ты ей внуши хорошенько: во-первых, что она бедная девушка, что ей лучше жениха быть не может, а в девках оставаться нехорошо, да и неприлично в наш век.

Марья Ивановна вышла. Владимир Андреич, оставшись один, погрузился в размышления. Через несколько минут вошла, в сопровождении матери, невеста, с заплаканными глазами и бледная, как полотно.

— Поди, поцелуй меня, Юлия, — сказал Владимир Андреич ласковым тоном, — сядь поближе. — Юлия поцеловала отца и села.

— Знаешь ли ты, — начал он своим внушительным тоном, — что всякая порядочная девушка в двадцать лет должна думать выйти замуж?

— Знаю, папа.

— Ты порядочная девушка?

Юлия молчала.

— Тебе двадцать лет? Что ж из этого следует? То, что ты должна думать выйти замуж.

— Но, папа, я еще не хочу.

— Ты не можешь не хотеть, на том основании, как я сказал, что порядочная девушка в двадцать лет хочет замуж; но теперь другой вопрос: за кого выйти замуж?

— Мне он очень гадок.

— Хорошо: этот гадок, положим, так. Стало быть, ты кого-нибудь имеешь в виду. Может быть, в тебя кто-нибудь влюблен и уж делал тебе предложение? Кто ж это такой? Бахтиаров, что ли?

— Мне никто не делал предложения, — отвечала, вспыхнув, Юлия Владимировна. — Я пойду, папенька, в монастырь.

— Прекрасно! Ступай в монастырь, только завтра же; зачем же тебе отягощать нас? Мы, стало быть, ничего уже не можем для тебя сделать. Мы поедем в Петербург, а ты ступай в монастырь.

Юлия залилась слезами.

— Вот видишь, — начал Владимир Андреич, — это только пустые слова, а в таком важном деле пустых слов говорить не следует. Плакать нечего, а надобно слушать, что говорят.

— Мне хочется, папенька, пожить с вами.

— Пожить с нами! Это лучше всего! На все, сударыня, свое время: с нами ты уж пожила; теперь тебе надобно выйти замуж, — ведь ты с этим сама согласна. Ну, скажи, согласна ли?

— Согласна.

— Прекрасно! Что ж тебя останавливает? Каков этот человек?

— Он совершенный тюфяк, папа.

— Вот то-то и есть; тебе, по молодости, не должно ни в чем полагаться на собственные понятия. А я тебе лучше растолкую, что это за человек. Во-первых, я знал его отца и мать; отец был очень честный человек, а мать умная и добрая женщина; во-вторых, он сам учился в университете и имеет уже три чина. Что же из этого выходит? Этот жених умный человек, по месту своего воспи-

тания, потому что это высшее заведение, и должен быть добрый человек, по семейству, в котором он родился, а главное — состояние: пятьдесят душ не заложенных; это значит сто душ; дом как полная чаша; это я знаю, потому что у Василья Петровича бывал на завтраках; экипаж будет у тебя приличный; знакома ты можешь быть со всеми; будешь дамой, муж будет служить, а ты будешь веселиться; народятся дети, к этому времени тетка умрет: вот вам и на воспитание их. Чего ж недостает в этом женихе?

— Он очень необразован, папа.

— Нет, необразован быть он не может; разве только неловок, не шаркун; да ведь муж не танцевальный учитель. Это ведь в танцмейстеры да в паяцы выбирают ловких.

Владимир Андреич замолчал. Из всех его рассуждений Юлия поняла, кажется, только то, что папенька непременно решил ее выдать за Бешмстева и что теперь он говорит ласково, только убеждает, а потом, пожалуй, начнет кричать и, чего доброго, посадит в монастырь.

— Ну, Марья Ивановна, ты теперь с нею поговори, — сказал Владимир Андреич и вышел.

Юлия по уходе отца принялась плакать. Марья Ивановна тоже едва удерживалась.

— Он меня, пожалуй, прогонит, — говорила Юлия, утирая слезы.

— Что мудреного, друг мой? Выходи лучше, Джульинька. Что? Бог милостив.

— Да он мне гадок, татап.

— Привыкнешь, душа моя, ей-богу, привыкнешь. Этого ведь нельзя наперед сказать; сначала не нравится, а после полюбишь; а иногда и по любви выходят, да после ненавидят друг друга. Он добрый человек: по крайней мере он будет тебе повиноваться, а не ты ему.

— Да, уж если я выйду, — сказала разгневанным голосом Юлия, — так я ему дам знать себя; я ему докажу, что значит жениться насильно. У него пятьдесят душ, татап?

— Пятьдесят душ, мой ангел.

— Сколько же это доходу?

— Я думаю, тысяч до трех; да еще, я думаю, деньги у них должны быть.

— Все деньги себе буду брать; ему никогда копейки не дам; буду ездить по знакомым, по балам; дома решительно не стану сидеть.

— Да это как ты хочешь... — говорила мать. — Ну, что пользы-то, посуди ты сама: вот я вышла за Владимира Андреича; ну, молодец, умен и богат. Конечно, жила в обществе, зато домашнего-то удовольствия никакого не имела. Решись, мой друг; в наше время в девушках оставаться даже неприлично.

И на это замечание Юлия ничего не отвечала и, казалось, была в раздумье.

— Позвольте мне, татап, поговорить с сестрой, — сказала она после минутного размышления.

Марья Ивановна вышла в угольную комнату: там сидели Владимир Андреич и Надя.

— Ну, что? — спросил он, увидя жену.

— Она почти согласна, — отвечала Марья Ивановна, — хочет только с сестрой поговорить.

Надя встала и хотела было идти.

— Постой, — сказал Владимир Андреич. — Ты смотри не разбивай сестру; я ведь после узнаю. Ты скажи, что ты бы на ее месте тотчас пошла.

— Да ведь он смешон, папа, — возразила блондинка.

— Я тебе за это уши выдеру! Болтунья этакая! — прикрикнул Владимир Андреич.

У блондинки на глазах навернулись слезы.

— Ты должна ей говорить, что ей необходимо выйти замуж, потому что этого хотят родители, а родителей должно уважать, — что папенька, то есть я, рассердится и отдаст в монастырь... ступай!

Блондинка вошла к сестре, которая сидела в задумчивости.

— Меня за тебя, та соеиг, прибрал папа, — сказала она, садясь, надувши губы, на диван.

— За что?

— Что ты замуж не выходишь. Выходи, пожалуйста, скорее... Я-то чем виновата? Он и тебя хочет посадить в монастырь.

— Я лишу его этого удовольствия, потому что выйду замуж.

— Я сама бы вышла за кого-нибудь замуж; все браются беспрестанно: сегодня третий раз.

— Знаешь, та soeur, кого мне хочется взбесить, если я выйду замуж?

— Кого?.. Б...?

— Ну да. Ты не знаешь еще, какой он ужасный человек. Мне именно хочется выйти замуж, чтоб доказать ему...

— Он славно ездит верхом, — перебила блондинка.

— Конечно, хорошо. А все-таки ужасный человек: ты не знаешь еще всего... Помнишь, как он летом за мной ухаживал? Ну, я думала, что он в самом деле ко мне равнодушен.

— Ты в него, та soeur, была ведь очень влюблена, — перебила блондинка, — целые ночи все говорила об нем.

— Ну да, конечно. Но вообрази себе, что он сделал со мной на обеде у Жарковых: я стою у окна, он подходит ко мне. «Что вы делаете, говорит, на что вы смотрите? Не заветные ли вензеля пишете?» А я и говорю: «Да, заветный вензель». Он говорит: «Напишите при мне». Я думаю, что ж такое? Взяла да и написала его вензель. Он посмотрел на окошко, сделал, знаешь, эту его насмешливую гримасу и отошел. Самолюбие у меня вспыхнуло, и с этих же пор я перестала его замечать. После он очень опять ухаживал: нет, извините, — теперь пусть поймет, что это значит. Я сделаюсь дамой и решительно не буду обращать на него внимания. Он, говорят, дам гораздо больше любит.

Сестры несколько минут молчали.

— Где папенька? — спросила, наконец, брюнетка.

— В угольной: сидит с мамã.

— Поди, скажи, что я согласна... — произнесла Юлия Владимировна решительным тоном.

— В самом деле, та soeur? — спросила та,

— В самом деле.

— Я пойду скажу.

— Поди.

— Ты не шутишь?

— Нет.

Наденька постояла еще несколько минут, ожидая, что не откажется ли сестра от своего намерения. Но Юлия Владимировна молчала, и Надя вошла в угольную комнату.

— Сестра согласна, папа, — сказала она, войдя к Владимиру Андреичу.

— И прекрасно! — сказал тот с просветлевшим лицом. — Что ж она сама нейдет?

— Она там, папа.

Владимир Андреич вошел в кабинет.

— Ну что, Джули?

— Я согласна.

— Поцелуй меня, душа моя... нет, поцелуй три раза... в этих торжественных случаях целуются по три раза. Ты теперешним своим поступком очень хорошо зарекомендовала себя: во-первых, ты показала, что ты девушка умная, потому что понимаешь, что тебе говорят, а во-вторых, своим повиновением обнаружила доброе и родителям покорное сердце; а из этих данных наперед можно пророчить, что из тебя выйдет хорошая жена и что ты будешь счастлива в своей семейной жизни.

Юлия хотела поцеловать руку отца, но Владимир Андреич не позволил этого сделать и сам поцеловал ее в лоб.

— Ты посиди здесь, а я переговорю с Феоктистой Саввишной.

Сказав это, Владимир Андреич вышел в угольную и снова уселся на диване. Через четверть часа предстала перед ним и Феоктиста Саввишна.

— Ну что, любезнейшая моя Феоктиста Саввишна? — начал Владимир Андреич. — Так как вы, я думаю, и сами знаете, что дочери моей, с одной стороны, торопиться замуж еще нечего: женихов у ней было и будет; но, принимая во внимание, с другой стороны, что и хорошего человека обегать не следует, а потому я прошу, не угодно ли будет господину Бешметеву завтрашний день самому пожаловать к нам для личных объяснений; и я бы ему кое-что сообщил, и он бы мне объяснил о себе.

— Да верно ли это, батюшка Владимир Андреич? Верно ли это по крайней мере?

— Почти верно.

— Он, признаться сказать, мало надеется и говорил мне: «Я бы, говорит, Феоктиста Саввишна, и сам сделал предложение, да сами посудите, я ведь решительно не знаю, как обо мне разумеют».

— Невеста и все наше семейство разумеют об нем очень хорошо. Вы его ободрите.

— Можно ли, Владимир Андреич, надежду-то ему подать?

— Даже больше чем надежду. Мы хорошего человека никогда не обегали.

Феоктиста Саввишна была почти в восторге. Она очень хорошо поняла, что Владимир Андреич делает эту маленькую проволочку так только, для тону, по своему самолюбивому характеру, и потому, не входя в дальнейшие объяснения, отправилась домой. Ехавши, Феоктиста Саввишна вспомнила, что она еще ничего не слыхала от самого Бешметева и что говорила только его сестра, и та не упоминала ни слова о формальном предложении.

«Что, если он откажется, даже потому только, — подумала она, — что у них к свадьбе ничего не готово?»

Эта мысль сильно беспокоила немного далеко взявшую сваху. Она тотчас было хотела ехать к Лизавете Васильевне, но было уже довольно поздно, и потому она только написала к ней письмо, содержание которого читатель увидит в следующей главе.

IX

ПОМОЛВКА С ПРЕДЫДУЩИМИ И ПОСЛЕДУЮЩИМИ ЕЙ СЦЕНАМИ

Павел ничего не знал о переговорах сестры с Феоктистой Саввишной, и в то самое время, как Владимир Андреич решал его участь, он думал совершенно о другом и был под влиянием совершенно иных впечатлений. Долго не мог он после посещения тетки опомниться. Ему очень было жаль сестры.

«Бедная Лиза, — думал он, — теперь отнимают у тебя и доброе имя, бесславят тебя, взводя нелепые клеветы. Что мне делать? — спрашивал он сам себя. — Не лучше ли передать ей об обидных сплетнях? По крайней мере она остережется; но каким образом сказать? Этот предмет так щекотлив! Она никогда не говорит со мною о Бахтиарове. Я передам ей только разговор с теткою», — решил Павел и приехал к сестре.

Но ему, как мы видели, не удалось этого сделать. С расстроенным духом возвратился он домой и целую почти ночь не спал. «Что, если она его любит, если эти сплетни имеют некоторое основание?» — думал Павел и, сам не желая того, начинал припоминать небольшие странности, которые замечал в обращении сестры с Бахтиаровым.

Так, например, Лизавета Васильевна, не любившая очень карт, часто и даже очень часто садилась около мужа в то время, как тот играл с своим приятелем, и в продолжение целого вечера не сходила с места; или... это было, впрочем, один только раз... она, по обыкновению как бы совершенно не замечавшая Бахтиярова, вдруг осталась с ним вдвоем в гостиной и просидела более часа. Павел в это время под диктовку Масурова переписывал какую-то бумагу в соседней комнате, и когда он вошел, то заметил на лицах обоих собеседников сильное волнение; видно было, что они о чем-то говорили, но при его появлении замолчали, и потом Бахтияров, чем-то расстроенный, тотчас же уехал, а Лизавета Васильевна, ссылаясь на обыкновенную свою болезнь — головную боль, улсглась в постель.

Размышления Павла были прерваны присездом Лизаветы Васильевны, которая прошла прямо к нему в комнату. Увидя сестру, он несколько смешался. Ему предстояло рассказать ей все, что говорила тетка; но герою моему, как уже, может быть, успел заметить читатель, всегда было трудно говорить о том, что лежало у него на сердце. Лизавета Васильевна вошла с веселым лицом и, почти ни слова не говоря, подала Павлу какое-то письмо. Бешметев, ничего не подозревая, начал читать и, прочитав, весь растерялся: лицо его приняло такое странное и даже смешное выражение, что Лизавета Васильевна не могла удержаться и расхохоталась.

— Что с тобой, Поль? — проговорила она.

Павел молчал.

Письмо это было от Феоктисты Саввишны, довольно оригинальной орфографии и следующего содержания:

«Почтеннющая Илисавета Василевна, ни магу выразить, скаким нетерпенем спишу ваз уведомить, што я, пожеланию вашему, вчера была у В. А., зделала предложение насчет вашего браца к Юли Владимировны, оне поблагородству собственной души незахотят мне зделать неприятности и непреставять миня лгуньюю прид таким прекрасным семейством, сегодняшнего числа в двенацат часов поедут кним знакомитца, там они все узнают, принося мое почтение и цолуя ваших милых детачек остаюсь

покорная к услугам

Феоктиста Панамарева».

— Я тебе все скажу, — начала Лизавета Васильевна. — Вчера мне пришлось в голову попросить Феоктисту Саввишну узнать, как о тебе думают у Кураевых, а она не только что узнала, но даже сделала предложение, и они, как видишь, согласны.

Павел все еще не мог прийти в себя.

— Извольте одеваться и ехать: вас ждут, — продолжала Масурова.

— Но это, должно быть, какая-нибудь болтовня, — возразил, наконец, Бешметев.

— Нечего тут рассуждать, а извольте одеваться и ехать. Константин! Дай барину одеться.

И Лизавета Васильевна вместе с лакеем начали наряжать брата. Герой мой как будто был не совсем в своем уме, по крайней мере решительно не имел ясного сознания и, только одевшись, немного опомнился: уселся на диван и объявил, что не поедет, потому что Феоктиста Саввишна врунья и что, может быть, все это вздор. Лизавета Васильевна начала терять надежду; но от свахи получено было новое, исполненное отчаяния письмо, в котором она заклинала Павла ехать скорее и умоляла не губить ее. Этот новый толчок и убеждения Лизаветы Васильевны подействовали на Павла как одуряющее средство: утратив опять ясное сознание, он сел на дрожки и, не замечая сам того, очутился в передней Кураевых, а потом объявил свое имя лакею, который и не замедлил просить его в гостиную.

Простояв несколько минут на одном месте и видя, что уже нет никакой возможности вернуться назад, Павел быстро пошел по зале, решившись во что бы то ни стало не конфузиться, и действительно, войдя в гостиную, он довольно свободно подошел к Кураеву и произнес обычное: «Честь имею представиться».

— Очень приятно, весьма приятно, — перебил Владимир Андреич, взяв гостя за обе руки, — милости прошу садиться... Сюда, на диван.

Павел сел. Владимир Андреич внимательным взором осмотрел гостя с головы до ног. Бешметеву начало становиться неловко. Он чувствовал, что ему надобно было что-нибудь заговорить, но ни одна приличная фраза не приходила ему в голову.

— Я знал вашего батюшку и матушку, — начал опять Владимир Андреич. — Мне очень приятно вас видеть у

себя в доме. Вы, как слышно, не любитель общества: сидите больше дома, занимаетесь науками.

— Да, я больше бываю дома, — проговорил, наконец, Павел.

— Это очень похвально.,, Рассеянные молодые люди как-то бывают неспособны к семейной жизни: теряются... заматываются... Конечно... кто говорит? С одной стороны, не должно бегать и людей...

Владимир Андреич остановился с тем, чтобы дать возможность заговорить своему собеседнику; но Павел молчал.

«Уж чересчур неговорлив: видно, самому придется начать», — подумал Владимир Андреич и начал:

— Вчерашний день Феоктиста Саввишна...

Здесь опять он замолчал и остановился в ожидании, не перебьет ли его речь Бешметев; но тот сидел потупившись и при последних словах его весь вспыхнул.

— Через Феоктисту Саввишну, — продолжал Владимир Андреич, — угодно было вам сделать нам честь... искать руки нашей старшей дочери.

— Я был бы очень счастлив... — проговорил, наконец, Павел.

— Очень верю и благодарю вас за это, — возразил Владимир Андреич, — но позвольте мне с вами говорить откровенно: участь ваша совершенно зависит от выбора дочери, которой волю мы не смеем стеснять. Очень естественно, и в чем я даже почти уверен, что она, руководствуясь своим сердцем, согласна. Но мы, старики-родители, на эти вещи смотрим иначе: во-первых, нам кажется, что дочь наша еще молода, нам как-то страшно отпустить ее в чужие руки, и очень натурально, что нас беспокоит, как она будет жить? Любовь — сама по себе, а средства жизненные — сами по себе, и поэтому, изъявляя наше согласие, нам, по крайней мере для собственного спокойствия, хотелось бы знать, что она, будучи награждена от нас по нашим силам, идет тоже не на бедность; и потому позвольте узнать ваше состояние?

— У меня пятьдесят душ.

-- Чистые?

— Чистые-с.

— И деньги есть?

— Есть небольшие.

— Примерно — сколько?

— Тысяч пять.

— Стало быть, после старика-батюшки ничего еще не продано, не заложено и не истрчено?

— Нет, ничего-с.

— Благодарю вас за откровенность; я, признаться сказать... вы извините меня; теперь, конечно, прошлое дело, — я, признаться, как-то не решался... мало даже советовал... но, заметя ее собственное желание... счел себя не вправе противоречить; голос ее сердца в этом случае старше всех... у нее были прежде, даже и теперь много есть женихов — очень настоятельных искателей; но что ж делать? не нравятся.. Так богу угодно... Родством своим я могу похвастать: вот вы, когда войдете в наше семейство, увидите сами, и надеюсь, что вы любовью своею и уважением вознаградите нас за нашу в этом случае жертву... Сейчас я приглашу жену... Марья Ивановна!

Марья Ивановна вошла и, жеманно поклонившись Павлу, села на ближайшее кресло.

— Павел Васильич, — начал Кураев, — делает честь нашему семейству и просит руки Юлии. Я говорил им, что это зависит от нее самой.

— Конечно, это зависит совершенно от ее желания, — отвечала Марья Ивановна.

— Нынче на брак, — подхватил Владимир Андреич, — не так уже смотрят, как прежде: тогда, бывало, невест и связанных венчали. Мы этого себе уж не позволим сделать.

— Как можно? Мы этого никогда не позволим себе сделать, — подтвердила Марья Ивановна.

— Позовите же Юлию.

Марья Ивановна вышла и скоро возвратилась с Юлиею.

— Подойди сюда поближе, Джули, — начал Владимир Андреич. — Павел Васильевич делает тебе честь и просит твоей руки, на что ты вчерашний день некоторым образом и изъявила уже твое согласие. Повтори теперь твои слова.

Юлия, с бледным лицом, с висящими на ресницах слезами, тихо проговорила:

— Я согласна.

Павел, кажется, ничего не слышал, ничего не понимал; он стоял потупившись, как бы не смея ни на кого

взглянуть, и только опомнился, когда Владимир Андреич сказал ему, подавая руку дочери:

— Примите, Павел Васильич, и, как водится, поцелуйте.

Бешметев схватил руку и поцеловал. Он чувствовал, как рука невесты дрожала в его руке, и, взглянув, наконец, на нее, увидел на глазах ее слезы! Как хороша показалась она ему с своим печальным лицом! Как жаль ему было видеть ее слезы! Он готов был броситься перед ней на колени, молить ее не плакать, потому что намерен посвятить всю свою жизнь для ее счастья и спокойствия; но он ничего этого не сказал и только тяжело вздохнул.

— Как вы думаете насчет сговора, Павел Васильич? — спросил Владимир Андреич.

— Я не знаю.

— Не угодно ли вам сегодня?

— Очень рад.

— И прекрасно! Священник готов.

Все вошли в залу.

Священник был действительно готов и сидел около образов. При появлении Кураевых он указал молча жениху и невесте их места. Павел и Юлия стали рядом, но довольно далеко друг от друга; Владимир Андреич, Марья Ивановна и Наденька молились. Несколько горничных девок выглядывало из коридора, чтобы посмотреть на церемонию и на жениха; насчет последнего сделано было ими несколько замечаний.

— Ой, какой нехороший! — говорила белобрысая девка.

— Нехорош и есть, девонька, — подхватила женщина с сердитым лицом.

— Лицо-то какое широкое! — заметила девчонка лет тринадцати.

— Пойдите, чертовки, дайте-ко посмотреть, — говорила, продираясь сквозь толпу, прачка. — Ах, какой славный! Красавец!

Горничные потихоньку засмеялись над простодушием прачки. Лакеи тоже выдвинулись из лакейской, но они стояли молча; только один из них, лет шестидесяти старик, в длинном замасленном сюртуке и в белых воротничках, клал беспрестанно земные поклоны и потихоньку подтягивал дьячку. Церемония кончилась.

— Шампанского! — закричал Владимир Андреич.

Но шампанское что-то долго не подавалось. В буфете вышел спор. Старик в белых воротничках никому не хотел уступить честь разносить.

— Полно, старый хрен: разобьешь, ведь оно двенадцать рублей, — говорил молодой лакей, отнимая у старика поднос.

— Ах ты, молокосос! Давно ли был ты свинопасом-то? Туда же, учить... Анна Семеновна, разлей, матушка, напиток-то, — говорил старый лакей, не давая подноса и обращаясь к ключнице.

— Не тронь, Сеня, его, — говорила та и разлила вино.

Спиридон Спиридоныч (так звали старика) с довольным лицом вынес шампанское в залу. Он шел очень модно, как следует старинному лакею.

— Разве там других нет? — спросил Кураев, недовольный тем, что перед женихом явился лакей в замасленном сюртуке.

— Извините, батюшка Владимир Андреич, — отвечал старик, — по собственному моему расположению я отнял у Семена: молоденец еще.

— Это слуга моего отца, — сказал Кураев, обращаясь к Павлу, — и по сю пору большой охотник до всех церемоний. Батюшка жил баринном.

— Блаженной памяти Андрей Михайлыч, — отвечал старик, — изволили меня любить и имели всегда большие празднества: нас по трое за каретой ездило.

— Довольно. Подавай, — проговорил Владимир Андреич.

Начались поздравления. Первый поздравил жениха и невесту сам хозяин, потом Марья Ивановна, потом Надежка и, наконец, священник.

— Осмелюсь, батюшка Владимир Андреич, — заговорил опять Спиридон, — и я поздравить от моей персоны.

Все захохотали, даже Павел улыбнулся.

— Ну, поздравь, — сказал Владимир Андреич, — да, знаешь, повысокопарнее, своим слогом...

— По недоразумению моему готов: честь имею вас поздравить, батюшка Владимир Андреич, и честь имею вас поздравить, благодетельница наша Марья Ивановна. Поздравление мое приношу вам, Надежда Владимировна, — говорил он, подходя к руке барина, барыни и барышни, — а вам и выразить не могу, — отнесся он к невесте. — А вам осмеливаюсь только кланяться и воз-

носить за вас молитвы к богу, — заключил он, обращаясь к жениху, и раскланялся перед ним, шаркнувши обеими ногами.

— Позови же и других, — сказал Владимир Андреич, желая перед зятем похвастать количеством дворни.

— Не молоденьки ли еще, батюшка Владимир Андреич? — заметил Спиридон, видно, не желавший, чтобы прочая прислуга удостоилась чести поздравления.

— Нет, позови, — повторил Кураев. — Преуморительный старик! — продолжал он, когда Спиридон вышел. — Впрочем, довольно еще здоровый: больше делает у меня молодых-то.

— Какое, папа, больше делает, ничего не может делать, — перебила блондинка.

Владимир Андреич значительно посмотрел на дочь.

— Он преусердный, престарательный, — заметила Марья Ивановна, вторя мужу.

Между тем Спиридон Спиридоныч прошел в девичью.

— Ступайте вы, егозы: проздравьте господ-то!

— Да что, приказано, что ли? — спросила баба с сердитым лицом.

— Приказано не приказано, а порядок такой. Эх вы, необразованные! Смотрите, хорошенько поцелуйте у всех руки.

— Спиридон Спиридоныч, поучи-ко, как поздравить-то, — сказала с насмешкою молоденькая горничная, очень хорошенькая собой, так что в нее был, говорят, влюблен какой-то поручик.

— Ну, как проздравлять! — отвечал Спиридон Спиридоныч, очень довольный тем, что у него просят советов. — Известно как: имею-де счастье обличить вам свое проздравление.

Научивши таким образом, старый лакей прошел в лакейскую и там велел идти к поздравлению.

В залу начала входить целая гурьба горничных, с различными лицами и талиями. Все начали подходить сначала к руке жениха и невесты, а потом к Владимиру Андреичу, Марье Ивановне и Наденьке. Молодые свои поздравления бормотали сквозь зубы и улыбались, но старые говорили ясно и с серьезными лицами. Спиридон Спиридоныч и в этот раз не утерпел, чтоб не поздравить еще: он подошел к жениху, говоря: «Чсть имею еще раз кланяться!» — поцеловал руку и шепнул ему на ухо:

«Я, батюшка, иду в приданое за Юлией Владимировной». Павел хотел было дать ему денег, а вместе с тем вспомнил, что и всем следовало бы дать; но денег с ним не было; это еще более его сконфузило.

Наконец, поздравления кончились, и скоро сели за стол. Жениха и невесту поместили, как следует, рядом, но они в продолжение целого обеда не сказали друг другу ни слова. Юлия сидела с печальным лицом и закутавшись в шаль. Что же касается до Павла, то выражение лица его если не было смешно, то, ей-богу, было очень странно. Он несвязно и отрывисто отвечал Владимиру Андреичу, беспрестанно вызывавшему его на разговор, взглядывал иногда на невесту, в намерении заговорить с ней, но, видно, ни одна приличная фраза не приходила ему в голову. Блондинка нехотя рассказывала матери, что поутру их поваренок очень больно треснул чью-то чужую собаку, зашедшую в кухню ради ремонта, так что та, бедная, с полчаса бегала, поджавши хвост, кругом по двору, визжала и лизала, для уврачевания, расшибленный свой бок. Вообще всем как-то было неловко.

После обеда Павел хотел ехать домой, но Владимир Андреич не отпустил. К вечеру невеста сделалась внимательнее к Павлу: она получила от папеньки выговор за то, что была неласкова с женихом, и обязана была впредь, особенно при посторонних людях, как можно больше обнаруживать чувства любви и не слишком хмуриться. Часу в восьмом съехались друзья Владимира Андреича: откупщик, председатель уголовной палаты, статский советник Коротаев, одним словом, тузы губернские. Пошли новые поздравления. Павел очень сконфузился, невеста делала над собою видимое усилие, чтобы казаться веселою. Скоро гости уселись за карты. Юлия подошла, села около жениха и начала с ним разговор.

— Вы не любите играть в карты?

— Нет-с, не люблю.

— А я так очень люблю... я умею даже в штос... Меня выучил один мой cousin¹; он теперь, говорят, совсем проитрался.

Павел ничего не отвечал; разговор прервался.

— А вы где до сих пор жили? — заговорила опять Юлия.

¹ двоюродный брат; (франц.)

— Я жил в Москве.

— Что ж вы там делали?

— Я учился в университете.

— Учились? Который же вам год?

— Двадцать второй.

— Зачем же вы так долго учились?

— У нас велик курс: я был четыре года в гимназии да четыре в университете.

— Сколько же вы времени учились?

— Восемь лет.

— Как долго!.. Вам, я думаю, очень наскучило. Я всего два года была в пансионе, и то каждый день плакала.

— Я не скучал.

Разговор опять прервался.

— Я здесь не думал остаться, — начал Павел после продолжительного молчания.

— Зачем же остались?

Читатель, конечно, согласится, что на этот вопрос Павлу следовало бы отвечать таким образом: «Я остался потому, что встретил вас, что вы явились передо мною каким-то видением, которое сказало мне: останься, и я...» и проч., как сказал бы, конечно, всякий молодой человек, понимающий обращение с дамами. Но Павел если и чувствовал, что надобно было сказать нечто вроде этого, проговорил только:

— Я остался по обстоятельствам.

— Напрасно. В Москве, я думаю, веселей здешнего жить.

И здесь опять следовало Павлу объяснить, что ему теперь в этом городе веселее, чем во всей вселенной; но он даже ничего не сказал и только в следующее затем довольно продолжительное молчание робко взглядывал на Юлию. Она вздохнула.

— Вы так печальны! — едва слышным голосом проговорил Бешметев.

— На моем месте каждая была бы грустна.

— Отчего же?

Невеста отвечала только горькою улыбкою.

Вечер кончился. При прощании Юлия сказала жениху довольно громко, так что все слышали:

— Жду вас завтра.

Павел вышел от Кураевых в каком-то тревожном и полусознательном состоянии. Приехав домой, он с несоответственной ему быстротою вбежал, не снимая шинели, к матери и бросился обнимать старуху.

— Матушка! Я женюсь, — повторял он несколько раз.

Но больная не отвечала ничего на ласки сына и, кажется, ничего не понимала, хотя он и старался в продолжение получаса втолковать ей, что он нашел невесту, сговорился и теперь счастлив. Старуха ничего не отвечала и только крестила его, глядя на него каким-то грустным взором. Он вышел от матери и лег на постель. Но, видно, ему не спалось и, кажется, очень хотелось поделиться с кем-нибудь своими ощущениями, потому что он велел было закладывать себе лошадь, но, не дождавшись ее, пошел пешком к сестре. Пройдя несколько переулков, он задохнулся и принужден был остановиться.

«Не спит ли сестра? Теперь уже поздно, — подумал он. — Конечно, спит. Досадно... ей-богу, досадно!.. Как бы мне хотелось ее видеть! Не обязаны же все не спать ночи, потому что нам не спится. Она, я думаю, никак не ожидает, что со мной случилось. Впрочем, я лучше завтра к ней пойду!»

Проговоря это, Павел пошел обратно домой. Возвратившись к себе в комнату и снова улегшись на постель, он не утерпел и сказал раздевавшему его лакею:

— Константин, ты слышал? Я женюсь.

— Слышал-с. Хороша ли невеста-то, Павел Васильич?

— Хороша.

— И крестьяне есть?

— Есть. Я и тебе невесту приведу, и ты женишься.

— Коли ваша милость, Павел Васильич, будет, я не прочь.

Х

ОПЯТЬ ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

На другой день Павел проснулся часу в двенадцатом, потому что с вечера раздумался и заснул только на утре. Различные мысли без всякого порядка приходили ему в голову в продолжение целой ночи; то представлялся ему добрый Владимир Андреич, так обласкавший его (Владимир Андреич показался Павлу очень добрым), то

невеста девушка, от которой он еще поутру был так далек, которой почти не надеялся никогда видеть, но вдруг не только видел ее, но сидел с нею, говорил: она невеста его, она, говорят, влюблена в него, и недели через две, как объявил уже Владимир Андреич, она сделается его женою. Не похоже ли все это на сон?

Он с восторгом помышлял, что завтрашний день опять увидит брюнетку, будет видеть каждый день, может быть найдет случай сказать ей, как он ее давно любит, может быть она сама ему признается в том. «Как-то она об этом скажет? — Я думаю, вся вспыхнет, и как будет она хороша в эту минуту». Но нет, я решительно не в состоянии проследить все то, что Павел перемечтал о своей невесте, о ее возвышенных чувствах, о взаимной любви, одним словом, о всех тех наслаждениях, которые представляет человеку любовь и которых, впрочем, мой герой еще хорошо не знал, но смутно предполагал. Самая прекрасная будущность представлялась ему: вот он теперь женится, выпишет из Москвы книг, будет заниматься; выдержит экзамен, сделается профессором; весь погрузится в науку. Боже мой! Что может быть лучше этого? — счастье в домашней жизни, слава в публике.

Проснувшись, Павлу очень не хотелось вставать; ночные мечтания снова начали овладевать его воображением. Он лежал, повернувшись к стене, как вдруг почувствовал, что с него сдернули одеяло. Бешметев обернулся: перед ним стоял Масуров.

— Здравия желаем, господин жених! — вскричал гость. — Разве так долго спят? Какую вы, батенька, выкинули штуку! Славно, право, славно... я сегодня только узнал. Вставайте да давайте шампанское пить!

Павел, несколько сконфузившись, торопился надевать халат и спальные сапоги.

— Фу ты, канальство, какая пышная фигура! — говорил Масуров.

— Что сестра?

— Чего сестра? Еще вчера ночью уехала в деревню. Такая досада, что ужас; ну, сами посудите, зачем теперь в деревню ехать?

— Зачем же она уехала? — спросил Павел, удивленный и озабоченный этим известием.

— Бог ее знает; вчера приступила, чтобы я не был знаком с Бахтиаровым. «Это, говорит, неприлично; я

молодая женщина, в обществе могут перетолковать»; черт знает какая чушь пришла в голову! Очень мне нужно, что болтают там сороки.

Павел очень хорошо понял причину нечаянного отъезда сестры: видно, она была у тетки, а та передала ей по-своему все сплетни.

Вот теперь он один. Ему даже не с кем посоветоваться в столь важное для него время; но, размыслив, что это почти необходимо для Лизаветы Васильевны, потому что только этим одним могли прекратиться городские толки насчет ее отношений к Бахтиарову, он был рад ее отъезду.

— Надолго ли же Лиза уехала? — спросил он.

— Право, не знаю; и детей увезла; — скука смертная! Сегодня всю ночь не спал. Досадно, ей-богу, смерть досадно. Напишите, пожалуйста, братец, ей письмо; что это за глупости? Сегодня уж Перепетуге Петровне на нее жаловался. Ну, батюшка, как она на вас сердится! Так просто, я вам скажу, и не ходите лучше: высечет. От нее я и узнал, что ваша милость женится на Кураевой. Важно! Очаровательная, черт возьми, девушка. Тетка всех пушит: и вас, и Лизу, и Кураевых со всем их потрохом. С Феоктистой Саввишной, за сватанье, такую при мне пановщину сочинила, что я хотел послать за квартальным; ругательски разругались... Меня только хвалит: на днях денег хотела дать взаймы. Вы лучше не ходите; ей-богу, если не высечет, так непременно прибьет, «и на свадьбу, говорит, не поеду; знать их не буду, на нищей, говорит, женится, по миру пойдут». Когда у вас свадьба-то?

— Скоро.

— Меня в шафера возьмите.

— Извольте.

— Смотрите же. А я новый фрак себе шью: вчера пятьсот рублей выиграл у Бахтиарова. У вас есть ли деньги-то на свадьбу? А то я, пожалуй, дам взаймы. Какой славный малый Бахтиаров! Чудо просто, а не человек! От вас просто он в восторге. Напишите, пожалуйста, Лизе-то, чтобы приехала; меня-то она не слушает. Прощайте. Я сегодня вечером приеду к Кураеву; я, правда, с ним мало знаком, да ничего: так, мол, и так... честь имею рекомендоваться. Влюблена в вас невеста?

— Я не знаю.

— Кто же знает? Славная вам будет теперь жизнь! Прощайте. Мне надобно еще к Бахтиарову. К матушке не заходить? Отчего она меня никогда не узнает?

— Оттого, что вы редко бываете.

— Некогда, братец, ей-богу, некогда; прощайте, напишите к Лизе-то; я нарочно за этим приезжал к вам. Прощайте, вечером увидимся.

По отъезде Масурова Павел начал одеваться. Туалетом своим в этот раз он занимался еще более, чем перед поездкою в собрание; раз пять заставлял он цирюльника перевивать свои волосы, и все-таки остался недоволен. Фрак свой он назвал мерзейшим фракком, а про жилет и говорить нечего; даже самого себя Павел назвал неопрятным дураком, который в Москве не умел завестись порядочным платьем. Часу в двенадцатом он был готов; но доложили о приезде Владимира Андрейча. Павел сконфузился: ему совестно было принять будущего тестя в своем доме, который, конечно, ни в каком отношении не мог равняться с аристократическим домом Кураевых, и поэтому он встретил гостя с озабоченным лицом. Что касается до Владимира Андрейча, то он вошел, как надобно было ожидать, с прилично-важным видом. Сначала объявил, что он желал сам быть у него, с тем чтобы поклониться ему от всего своего семейства, и по преимуществу от невесты, которая будто бы уже ожидает его с восьми часов утра, а потом, спрося Павла о матери и услышав, что она заснула, умолял не беспокоить ее, а вслед за тем он заговорил и о других предметах, коснувшись слегка того, что у него дорогой зашалила необыкновенно злая в упряжке пристяжная, и незаметно перешел к дому Павла (у Бешметева был свой дом).

— Теплый должен быть домик, — заметил Владимир Андрейч, — впрочем, все-таки вам надобно сделать небольшие поправки. Вы извините меня: я, по праву будущего тестя, желал бы дать вам в этом отношении маленький совет.

— Мне очень приятно, — отвечал Павел.

— Иначе я и не думаю. Я советовал бы вам, так как уже теперь штукатурить некогда, попросту обить французскими обоями: это будет недорого и красиво.

— Я сделаю.

— Да... ну, уж и мебель надобно другую. После покойного Калинина продается отличнейшая мебель,

решительно за безделицу: отдадут за какие-нибудь рублей девятьсот, на две комнаты — на спальную и гостиную. В первой вся мебель без дерева, обита малиновым бараканом, с черными стальными пуговицами: прелесть, просто прелесть! подушки все эластик, и эластик-то неминуемый; красного дерева трюмо с двумя бронзовыми бра, необыкновенного искусства; а для гостиной все орех, самой утонченной нежности в работе.

И на этот совет Владимира Андреича Павел согласился и объявил, что готов купить, с большим даже удовольствием. Кураев также поинтересовался узнать, каковы у Павла экипажи, и так тонко довел разговор, что Бешметев сам пригласил будущего тестя в сарай и конюшню. Здесь Кураев учтиво раскритиковал пару карих лошадей, желтую коляску, дрожки с разбитыми колесами и даже двое городских сани, о которых с такою похвалою отзывалась Перепетуя Петровна. По его словам, у всякого порядочного человека должно быть не более трех экипажей, но только чтоб они были в своем виде, а именно, нужно всего только: парную карету для выезда жены по парадным визитам и на балы, пролетки собственно для себя и хорошенькие городские парные сани, да три лошади: две чтобы были съезжены парю у дышла, а одна ходила в одиночке. Павел с этим вполне согласился и объявил, что он готов бы все это сейчас купить, но только не знает где. Оказалось, что Владимир Андреич знает, где все это можно приобрести по самой умеренной цене: двухместная карета, например, продается у того же покойного Калинина, на венском ходу и с кузовом петербургской работы, и продается за какие-нибудь ничтожные полторы тысячи рублей. Лошадей он советовал купить на заводе у Киркина, у которого лошади, при чистоте во всех статьях, необыкновенно добронравны и крепки в езде. Говоря таким образом, Кураев и Павел возвратились в комнаты.

— Свадьба такое дело, — продолжал Владимир Андреич, — что тут каждый человек, начиная с самого себя, обновляется во всем, вступает некоторым образом в другую сферу и запасается уже на новую жизнь. Возьмите даже в пример мужика: и тот для свадьбы делает синий армяк; для этого случая даже занять не стыдно, потому случай экстренный. Даже у древних греков, как известно по описаниям, устраивались свадебные пиршества и

празднования, потому что тут человек хочет показать себя обществу в самом приличном виде. Вот, с пустого взять, как семейная-то жизнь далеко не походит на жизнь холостого человека. Вот, например, взять с посуды, тарелок, мисок, плошек и тому подобной дряни... пустяки... а все деньги, всем надобно завестись; хорошо у кого много, а у другого молодого человека ничего этого нет. Вот у вас так, я думаю, после батюшки много этого хлама осталось?

— У нас этого очень много, — отвечал Павел.

— Я припоминаю, что у покойного Василья Петровича видел вазу серебряную, что ли, или поднос, или самовар, но только удивительно древней работы рококо.

— Это, верно, вы стопку видели.

— Нет, не стопку, а что-то такое вроде бокала, что ли? Решительно не помню. Сами посудите: может быть, тому уже несколько лет; помню только, что видел преинтересную большую серебряную вещь. У вас есть серебро?

— Есть.

— Перечислите, пожалуйста, покрупнее вещи: мне очень хочется припомнить.

— Стопка: серебряная.

— Нет.

— Поднос, кофейник, чайник.

— Нет, не то.

— Корзинка, два большие бокала. — Павел остановился.

— Ну-с!

— Все-с.

— Все? Серебра больше нет?

— Есть еще ложки и ножи.

— Ну, да этих, я думаю, много у вас.

— Я, право, и не знаю; ложек, кажется, дюжин с семь есть.

— Ну так, стало быть, это я действительно корзинку видел.

— Может быть.

— Позвольте мне ее видеть. Признаться сказать, я очень люблю античные вещи.

Павел хотел было идти за корзинкой; но Владимир Андреич был столько вежлив, что не позволил ему этого сделать и просил его просто подвести к шкафу, где хранилось серебро. Павел провел своего гостя в угольную

комнату и представил ему на рассмотрение два огромные стеклянные шкафа с серебром, фарфором и хрусталем.

Владимир Андреич, кажется, весьма остался доволен тем, что видел. Серебра было, с придачей ложек и ножей, по крайней мере с пуд; а про фарфор и хрусталь и говорить нечего. Возвратившись в гостиную, Владимир Андреич продолжал разговор с свойственною ему тонкостью; выспросил у Павла, в каком уезде у него имение, есть ли усадьба и чем занимаются мужики. Услышав, что мужики по большей части обручники и стекольщики и что они ходят по летам в Петербург и Москву, он очень справедливо заметил, что подобное имение, с одной стороны, спокойнее для хозяев, но зато менее выгодно, потому, что на чужой стороне народ балуется и привыкает пить чай и что от этого убывает народонаселение и значительно портится нравственность. Наконец, он начал прощаться, изъявив предварительно искреннее свое сожаление о том, что не видел старушки, и поручил ей передать свое глубочайшее уважение, и потом, объявив Павлу, что его ожидают через полчаса, сел молодцевато на дрожки. Сердитая пристяжная варварски согнулась, а коренная с места же пошла крупною рысью.

Когда Владимир Андреич уехал, Павел несколько минут думал об нем. «Какой он умный, практический человек! — говорил он сам с собою. — Он будет мне очень полезен своими советами. Боже мой! Думал ли я когда-нибудь об этакоем счастье: женюсь на девушке, в которую страстно влюблен; вступаю в умное, образованное семейство? Как досадно, что нет теперь Лизы здесь! Как бы она порадовалась со мною! Чудная она женщина!» Когда Павел вспомнил о сестре, ему сделалось как-то грустно, и он с нетерпением начал поглядывать на часы: до назначенного Владимиром Андреичем срока оставалось еще с час. Тут Бешметеву пришло в голову, что до свадьбы осталось очень немного: нужно торопиться делать закупки и надобно скорее взять из приказа пять тысяч. Решившись исполнить это, он пришел к матери и начал ей толковать, что ему нужны деньги и чтобы она дала ему билет. Старуха опять, кажется, не вполне поняла, в чем дело, впрочем, подала сыну ключ, перекрестила его и поцеловала в лоб.

Между тем Владимир Андреич заехал к Перепетуге Петровне, но хозяйки не было дома. Кураев велел к себе

вызвать кого-нибудь поумнее из людей. На зов его явилась Пелагея.

— Скажи, любезная, — начал Владимир Андреич, — Перепетуе Петровне, что приезжал Кураев, будущий ее родственник, и что-де очень сожалеет, что не застал их дома, и что на днях сам опять заедет и пришлет рекомендовать все свое семейство, которое все ее очень уважает. Ну, прощай; не переври же!

От Перепетуи Петровны Кураев поехал к Феоктисте Саввишне, которую застал дома.

— Здравствуйте, моя любезнейшая Феоктиста Саввишна! Во-первых, позвольте поцеловать вашу ручку и передать вам низкий поклон от наших.

Феоктиста Саввишна сильно переполошилась от приезда почтенного Владимира Андреича и его ласкового обращения; она выбежала в девичью, заказала в один раз «для дорогого гостя» чай, кофе и закуску, а потом, накинув на обнаженные свои плечи какой-то платок и вышед к Курасву, начала перед ним извиняться, что она принимает его не так, как следует.

Владимир Андреич говорил, что ничего, чтобы не беспокоилась, а потом объявил, что он был сейчас у Бешметева, в котором нашел прескраснейшего и благороднейшего человека; но что он, то есть Бешметев, еще немного молод и, как видно, в свадебных делах совершенно неопытен и даже вряд ли знает обычай дарить невесту вещами, материсю на платье и тому подобными безделушками, но что ему самому, Владимиру Андреичу, говорить об этом было как-то неловко: пожалуй, еще покажется жадностию, а порядок справить для общества необходимо.

Догадливая Феоктиста Саввишна тотчас поняла, в чем дело.

— Что это, батюшка Владимир Андреич? Да я-то на что? Худа ли, хороша ли, все-таки сваха. В этом-то теперь и состоит мое дело, чтобы все было прилично: на родных-то нечего надеяться. Перепетуя Петровна вышла гадкая женщина, просто ехидная: я только говорить не хочу, а много я обид приняла за мое, что называется расположение.

— Так уж вы, пожалуйста, — начал Владимир Андреич, — знаете... эдак слегка замечайте ему: вот то-то, это-то необходимо. Вот, например, фермуар нужно

подарить невесте, какие-нибудь браслеты, не для себя, знаете, а больше для общества: в обществе-то чтоб знали. Прощайте, матушка.

— Почтеннейший Владимир Андреич! Да покушайте чего-нибудь, хоть бы кофейку или бы водочки выкушали: ведь свежо на дворе-то.

— Не могу, ей-богу, не могу; вы ведь, я думаю, знаете: до обеда не пью, не ем. Прощайте.

Павел ехал к Кураевым в этот раз с большим присутствием духа; он дал себе слово быть как можно разговорчивее с невестою и постараться с ней сблизиться. Он даже придумал, что с ней говорить; он расскажет ей, что видел сон, а именно: будто бы он живет в Москве, на такой-то улице, в таком-то доме, а против этого дома другой, большой желтый каменный дом; вот он смотрит на него; вдруг выходит девушка, чудная, прекрасная девушка; ему очень хотелось к ней подойти, но он не решился и только каждый день все смотрел на эту девушку; потом вдруг не стал ее видеть. Юлия, конечно, догадается, что эта девушка она сама; таким образом он даст ей знать, что он еще в Москве в нее был влюблен; все это думал Павел, ехав дорогой; но, войдя в гостиную, где сидели дамы, опять сконфузился.

Марья Ивановна сказала ему, что они давно уже его ожидают, а невеста сухо поклонилась; Павел сел поодаль. Владимир Андреич был в кабинете; разговор не вязался, хотя Марья Ивановна несколько раз и начинала: спросила Павла об матери, заметила, что сыра погода и что поэтому у Юлии очень голова болит, да и у нее самой начинает разбалчиваться. Юлия молчала. Надежда играла с собачкою. Павел, несмотря на свое желание заговорить, решительно не находил; ему очень хотелось сесть рядом с Юлией, но у него не доставало даже смелости глядеть ей в лицо, и он, потупя глаза, довольствовался только тем, что любовался ее стройною ножкой, кокетливо выглядывавшей из-под платья.

Пришел Владимир Андреич.

— А! Вы здесь, — сказал он, увидя Павла, и пожал ему руку; потом велел подавать порячее.

— Ну что, где вы побывали? — продолжал он.

— Я был в приказе, — отвечал Павел.

— Это зачем?

— Деньги получал.

— А!.. — произнес протяжно Владимир Андреич. — А много ли получили?

— Пять тысяч.

— Славно... что ж, вы закупки думаете делать?

— Да-с, но я не знаю, где и как...

— Об этом хлопотать нечего; я сам, пожалуй, с вами поеду; вот после обеда же и поедем. Давайте скорее обедать! Вы уж, Юлия Владимировна, извините нас! Мы у вас опять жениха увезем, нельзя; бог даст, женитесь, так все будет сидеть около вас. Что, покраснела? Ну поди, поцелуй же меня за это.

Юлия молча и с несколько сердитым лицом подошла и поцеловала ласкового папеньку.

За столом занимал всех разговорами, как и прежде, Владимир Андреич. Он рассказывал Павлу об одном богатом обеде, данном от дворянства какому-то важному человеку, и что он в означенном обеде, по его словам, был выбран главным распорядителем и исполнил свое дело очень недурно, так что важный человек после обеда расцеловал его. К концу стола Павлу подали письмо. Эта была записка от Феоктисты Саввишны, следующего содержания и уже известной ее орфографии:

«Милъастивеющий Государь
Павил Василич!

Сичас я была у ваши маминке и ваз састат ни магла, вы, верна, нахотетес у сваи дарагии нивезты, и патаму рашъаюсь писать квам, у атной знакомой моеи Аграфены Матьвевны Сальубиевой продаютца по самой дешово́й цене расные дамъскийи украшения, брислет, фармуар и два кольца, и неугодно ли вам повашим в сем опстоятельствам их купит для вашии Юли Владимировны, я могу их привестии когда ежели наъзначете, вождъянии приятнава вашаго гли миня атвас отвъета остаюс

пакорноя куслугам

Фиктиста Панамарева».

Вышед из-за стола, Павел написал Феоктисте Саввишне ответ, в котором благодарил ее за беспокойство и просил привезти к нему вещи на другой день, а потом тотчас же вместе с Владимиром Андреичем отправился делать покупки. Более достопримечательного в этот день ничего не случилось. Павел проездил с Владимиром

Андреичем до девяти часов и, возвратившись, услышал, что у Юлии сильно болит голова, а потому она теперь лежит в постеле. Марья Ивановна вязала шерстяную ко-сынку, а Наденька читала какой-то французский роман. Владимир Андреич, услышав о болезни дочери, прошел в комнату к барышням и, через несколько минут вернувшись, предложил Павлу, не угодно ли ему повидать невесту. Павел без сомнения согласился и с трепещущим сердцем пошел за Владимиром Андреичем по темному коридору, ведущему в комнату к барышням.

Странное, обаятельное впечатление производит на нас, в пору молодости, комната всякой молоденькой девушки, и, особенно комната той, в которую мы влюблены. Доказательством тому может служить значительное число стихотворений, написанных собственно по этому предмету. Один модный когда-то поэт сказал, что воздух в комнате девушки напоен девственным дыханием. Когда Павел вошел в комнату, то почувствовал, кроме девственного дыхания, сильный запах *л'о-де-колоном*, которым Юлия примачивала голову. Боже мой! Нет, я откажусь... слабому перу моему не выразить того, что чувствовал Павел. Юлия лежала на постеле, в широкой блузе, прикинув повязанною головою к батист-декоссовой подушке. Напротив самой постели стояло зеркало с комодом, на комодке стояли в футляре часы, две склянки с духами, маленький портфель для писем, колокольчик, гипсовый амур, грозящий пальчиком, и много еще различных кабинетных вещей; у окна стояли вольтеровские кресла и небольшой столик, оклеенный вырезным деревом, а у противоположной стены помещалась кровать Наденьки, покрытая шелковым одеялом и тоже с батист-декоссовыми подушками. Чудно хорошо показалось все это Павлу.

— Ну, вот тебе и Павел Васильич! — сказал Владимир Андреич, войдя в комнату дочери. — Посидимте-ка здесь, садитесь на вольтерово-то кресло, а я усядусь на кровать.

— Вы больны? — проговорил Павел едва слышным голосом.

— Да, у меня очень голова болит.

У Бешметева было такое печальное лицо, что это даже заметил Владимир Андреич.

— Посмотри, Джули, он чуть не плачет. Ничего, молодой человек, не теряйте присутствия духа; к свадьбе выздоровеет. Садитесь; что же вы не садитесь.

Павел сел и молча продолжал глядеть на невесту.

— Вы долго не приезжали, — проговорила Юлия, заметив, что папенька кидает на нее значительные взгляды.

— Мы были во многих местах, — отвечал Павел.

— Лучше скажите, что мы купили на две тысячи. Да-с, Юлия Владимировна, вот каковы мы! Вы только лежите, а мы, черт возьми, мужчины, народ деятельный.

— Я бы сама умела покупать, — отвечала Юлия, — покупать очень весело.

— Видишь, какая храбрая... а что, голова болит?

— Болит, папа.

— Хочешь, я тебе лекарство скажу?

— Скажите.

— Поцелуй жениха, сейчас пройдет; не так ли, Павел Васильич?

— Что это, папа? — сказала Юлия.

Павел покраснел.

— Непременно пройдет. Ну-ка, Павел Васильич, лечите невесту; смелей.

Он взял Павла за руку и поднял со стула.

— Поцелуй, Юлия: с женихом-то и надобно целоваться.

Павел дрожал всем телом, да, кажется, и Юлии не слишком было легко исполнить приказание папеньки. Она нехотя приподняла голову, поцеловала жениха, а потом сейчас же опустила на подушку и, кажется, потихоньку отерла губы платком, но Павел ничего этого не видел.

— Ну, оба сконфузились!.. Ох, дети, дети! Как опасны ваши... — «лета», конечно, думал сказать Владимир Андреич, но остановился, видно найдя, что подобное окончание решительно нейдет в настоящем случае.

Вскоре Владимир Андреич увел Павла от невесты, ради толкования с пришедшим торговаться обойщиком.

По уходе их Юлия, всплеснув руками, начала плакать.

Павел уехал от Кураевых после ужина. Он заходил прощаться к невесте и на этот раз поцеловал только у ней руку.

Ехав домой, он предавался сладостным мечтаниям. Перспектива будущей семейной жизни рисовалась пред

ним в чудном свете; вот будет свадьба: какой это чудный и в то же время страшный день! Какое нужно иметь присутствие духа и даже некоторое... а там, там будет лучше, там пойдет все ровнее, по привычке к новому положению; тут-то вот и можно наслаждаться мирно, тихо. В это время Павел подъехал к крыльцу, и необходимость вылезть из дрожек остановила на несколько времени его мечтания.

По приезде его домой ему подали записку от Лизаветы Васильевны:

«Прости меня, Поль, — писала она, — что я уехала, не сказав тебе, оставила тебя в такое время. Я не могла поступить иначе: этого требуют от меня мой долг и мои бедные дети. О самой себе я расскажу тебе после, когда буду сама в состоянии говорить об этом, а теперь женись без меня; молись, чтобы тебе бог дал счастья, о чем молюсь и я; но ты, ты должен быть счастлив с своею женою. Прощай».

Письмо это прочитал герой мой почти механически: так был он занят новым положением, своими новыми чувствованиями!

XI

СВАДЬБА

Две недели, назначенные Владимиром Андреевичем до свадьбы, прошли очень скоро. Это поэтическое время для каждого почти жениха прошло для Павла слишком прозаически. Он обыкновенно отправлялся рано поутру к Кураевым, и каждый раз с твердым намерением сблизиться с невестой; но это ему никогда не удавалось, во-первых, по застенчивости собственного характера и по холодности невесты, а во-вторых, и потому, что решительно было некогда. Владимир Андреевич беспрестанно ездил с ним закупать для него различные вещи. Дом был уже оклеен французскими обоями, экипажи и лошади куплены, подарки невесте сделаны, вследствие чего пяти тысяч как будто бы и не бывало у Павла в кармане, но расходов предстояло еще очень много; нужно было занимать, но у кого занять? Павел был в очень

трудном положении и сел бы совершенно на мель, если бы сама судьба, в образе Перепетуи Петровны, не подала ему руку помощи. Тетка, сердившаяся на Павла за то, что он, по словам ее, не хотел принять участия в гибели сестры, совершенно разобиделась сватовством моего героя без предварительного совета с нею; но, сверх ожидания, вдруг умилилась, искренне расположилась к новому родству и приняла живейшее участие в хлопотах племянника. Причина такой перемены заключалась в тонкой вежливости Владимира Андреича, захавшего к Перепетуе Петровне и приславшего к ней потом все свое семейство. Старая девушка была очень честолюбива. Это, не заслуженное еще с ее стороны, внимание от Кураевых изменило совершенно ее образ мыслей насчет женитьбы Павла. Она приехала к нему и, намылив, как водится, ему голову за то, что он начинал хорошее дело тайком, стала хлопотать и даже снова помирилась с Феоктистой Саввишной. Обе приятельницы беспрестанно переезжали одна к другой в дом, заезжали к Павлу, в один голос кричали на людей его и удивлялись тому, как скоро идет время. Перепетуя Петровна, узнав стороной, что Павел ездил занимать к кому-то деньги и не занял, намылила в другой раз ему голову и сама предложила из собственной казны три тысячи рублей ассигнациями, впрочем, под вексель и за проценты. Павел ожил духом. О невесте во все это время некогда было ему и подумать; он как угорелый день и ночь ездил по лавкам и по мастеровым, исполняя поручения, которые давал ему каждое утро Владимир Андреич. Сам Кураев был решительно в это время полководец: он ездил сам, посылал Павла, посылал жену, Наденьку и людей — и все это делал, впрочем, для Павла, то есть на его деньги. Менее всех принимала участия во всех хлопотах сама невеста. Она обыкновенно, встав поутру, завивала с полчаса свои волосы в папильотки, во время кофе припекала их, а часу в первом, приведя в окончание свой туалет, выходила в гостиную, где принимала поздравления, здоровалась и прощалась с женихом, появлявшимся на несколько минут; после обеда она обыкновенно уходила к себе в комнату и не выходила оттуда до тех пор, покуда не вызывали ее внимательные родители, очень прилежно следившие за нею. Бедная Юлия! В настоящее время она одна переживала драму, она одна страдала;

всем было хорошо, все делали, что им хотелось, и были довольны собою. Владимир Андреич был счастлив, потому что пристроивал дочь, обделывал довольно трудное дело и только силою характера *преоборал* препятствия и утонченностию ума заинтриговывал зятя, Марья Ивановна наслаждалась тем, что Владимир Андреич, занятый хлопотами, не кричал на нее. Ей, впрочем, было иногда жаль Юлии, но, по размышлении, она постоянно доходила до той мысли, что часто и по страсти женившиеся живут как кошка с собакой. Перепетуя Петровна сделалась похожа на индийского петуха, растопырившего крылья. Она начала ходить подняв голову, в необыкновенно накрахмаленных юбках, и неизвестно для чего принялась говорить в нос. Внимание Кураевых сильно развило в ней важность. «Эта подлая семейка так обошла ее, — говорила она впоследствии, — что ей даже не пришло в голову спросить племянника, дают ли что-нибудь за невестой». Феоктиста Саввишна была тоже очень счастлива. Она до того говорила со всяким встречным и поперечным о свадьбе, ею устроенной, что решительно потеряла голос. Про жениха и говорить нечего: неопытный, доверчивый, увлеченный первою еще страстию к женщине, Павел ожидал, что вот так и окунется в море блаженства, не видел и не понимал, что невеста почти не может его равнодушно видеть. Хитрый Владимир Андреич беспрестанно ему твердил, что Юлия чрезвычайно скромна и никогда не выражает того, что чувствует. Наденька более всех обнаруживала участия к положению сестры, но, впрочем, и та часто увлекалась мечтою о грядущем бале и об обещанном новом бальном платье. Юлия же оставалась постоянно грустною. Боже мой! Таковую ли думала она составить партию? Она думала, что непременно выйдет за какого-нибудь гвардейского офицера, который увезет ее в Петербург, и она будет гулять с ним по Невскому проспекту, блистать в высшем свете, будет представлена ко двору, сделается статс-дамой. И что же вместо этих роскошных мечтаний давала ей горькая существенность: всю жизнь прожить в губернском городе, и добро бы еще женою какого-нибудь ловкого богатого человека, а то выйти за тюфяка, с которым даже стыдно в люди показаться. Сверх того, сердце... читателю уже известно, что сердце Юлии не было свободно и принадлежало жестокому, но все-таки интерес-

ному Бахтиарову. Размышляя таким образом, она начала чувствовать к жениху еще более неприязненное чувство. «Урод этакой! Тюфяк!» — шептала она сама с собою и начинала с досады плакать. Чтобы избавиться от предстоящего брака, несколько несбыточных планов составлялось в голове ее; так, например, броситься перед отцом на колени и просить его не губить ее; объясниться с самим Павлом: сказать ему, что она не может быть его женою, потому что любит другого, и просить его как благородного человека не принуждать ее делать жертву, которая, может быть, сведет ее во гроб. Мало этого — она вздумала было написать письмо к Бахтиарову, признаться ему, что она его любит и умоляет его спасти несчастную от ужасного брака, увезти куда-нибудь дальше, например в Париж. Эта мысль нравилась Юлии более других. Но, отчасти по робости, а отчасти от самолюбия, она не решилась сделать этот неосторожный шаг. Хорошо, если Бахтиаров поймет ее, а если станет смеяться, и потом узнает об этом папенька? Одно только утешало Юлию в ее положении: это мысль, что она, наконец, выйдет из-под родительской ферулы, будет дамою, станет выезжать одна и куда ей будет угодно.

Свадебные чины были розданы следующим образом.

Перепетуя Петровна, несмотря на девическое состояние, никому не уступила чести быть посаженой матерью жениха, пунктуально доказывая, что девушка в пятьдесят лет все равно что дама; а в посаженные отцы для Павла Владимиром Андреичем был вызван сосед по деревне, который по сю пору все со слезами вспоминал Василья Петровича, его друга, соседа и сослуживца. Феоктиста Саввишна возведена была в звание почетной дамы; шафером со стороны жениха определен был Масуров, который, несмотря на свое обещание, не познакомился еще с новыми родственниками и неизвестно где пропал. Со стороны невесты, как водится, отец, мать. Почетной дамой была баронесса Клуштук, очень похожая на пиковую даму; шафером — двоюродный брат невесты, известный в городе под именем Петруши Масляникова, который, по случаю своего звания, купил около дюжины перчаток и всех спрашивал, что ему нужно будет делать? Здесь я должен заметить, что Владимир Андреич, как сам после рассказывал, обставил бы свадьбу и другими людьми поважнее, да со стороны жениха родство-то

было уже слишком плоховато; так этаких-то людей с такими-то людьми не так ловко было свести.

Наконец, наступил день свадьбы. Павел проснулся очень рано; он был в каком-то истеричном состоянии: ему было грустно и весело, ему хотелось плакать и смеяться. Старуха проснулась тоже очень рано. Перепетуя Петровна, с помощью горничных, наконец втолковала ей, что Павел женится и что высокий господин, приезжавший к ней и целовавший у ней руку, тещь его. Она расплакалась. Павел сам рыдал, как ребенок. Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна, бывшие при этой сцене, тоже плакали. Плакал, кажется, и весь дом, по крайней мере Константин, нашивавший в лакейской на новую шинель галуны, заливался слезами и беспрестанно сморкался, приговаривая: «Эк их пустилось!» Венчание было назначено в четыре часа, потом молодые должны были прямо проехать к Кураеву и прожить там целую неделю; к старухе же, матери Павла, заехать на другой день. Часу в первом Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна разъехались по домам, чтобы одеться. Они непременно хотели присутствовать при венчании и потом уже проехать к Кураевым, где был назначен парадный танцевальный вечер. Обе дамы весьма хлопотали о своих нарядах и обе гневались на своих горничных: одна за то, что измят был блондовый чепец, а другая — другая даже и не знала за что, но только дала своей *femme de chambre*¹ урок... Павел, кажется, совсем растерялся; как бы не понимая ничего, он переходил беспрестанно из комнаты матери в свой кабинет, глядел с четверть часа в окошко на улицу, где, впрочем, ничего не было замечательного, кроме какого-то маленького мальчишки, ходившего босыми ногами по луже. Отошедши от окна, он ложился на кровать, вздыхал и наконец, затворясь в своей комнате, молился.

Часа за два до венчанья Павел вспомнил, что он не видал еще своего шафера Масурова, хоть и писал к нему. Очень естественно, что зять, по своей ветрености, забудет и не приедет! Он послал за ним лошадь. Через четверть часа кучер явился и объявил, что он объехал весь город, но Масурова не мог отыскать нигде. Что было делать? Приехали Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна,

¹ горничной (франц.).

приехал, наконец, посаженный отец — шафер не являлся. Тетка и сваха были просто в отчаянии. Перепетуя Петровна, несмотря на свою привязанность к Масурову, назвала его в присутствии постороннего человека мерзавцем, а сосед пожал плечами. Но времени терять невозможно было; надобно было ехать. Павел, одетый в новый фрак, цветом аделаид, в белом жилете-пике и белом галстуке, который, между нами сказать, к нему очень не шел, начал принимать благословения сначала от матери, посаженного отца, а потом и от тетки.

Плач и вопль снова начались; старуха была очень дурна; посаженный отец со слезами вспомнил Василья Петровича, благословил Павла, поцеловал его и пожелал ему жить в счастье и нажить кучу детей, и потом понюхал табаку, посмотрел на часы и взялся за шляпу. Перепетуя Петровна, проплакавшись и осушивши батистовым платком слезы, начала так:

— Ну, Павел Васильич, дай тебе бог счастья, дай бог, чтобы твоя будущая жена была тебе и нам на утешение. Нас тоже не забывай: мы тебе не чужие, а родные. Можно сказать, что все мы живем в тебя; конечно, супружество дело великое, хоть сама и не испытала, а понимаю: тут иной человек, иные и мысли. Ну, с богом, тронемтесь.

Павел, накинувши шинель, сел в свой фаэтон. Пара вороных жеребцов дружно подхватила его от подъезда, так что у Константина едва удержалась круглая шляпа; и весь поезд двинулся к церкви ни шибко, ни тихо, но как следует свадебному дворянскому поезду.

С большею торжественностью и в лучшем порядке шли предсвадебные сцены в доме Кураевых. Избранный в шаферы Петруша Масляников давно уже был в зале и наивно рассказывал барону Клуکشтук, супругу почетной дамы, что он не бывал еще ни на одной свадьбе и даже венчание видел только один раз, когда женился его лакей. Невесту одевали. При туалете ее присутствовали: почетная дама, троюродная сестра Владимира Андреича, очень обижавшаяся тем, что не получила никакой должности в свадебной церемонии, Наденька, которая, как известно, была обязана подать сестре крест и серьги, и еще три девицы, из коих две были дочери троюродной сестры Кураева. Юлия была вся в слезах до такой степени, что ее несколько раз принимались утирать мокрым

полотенцем и все убеждали не плакать, потому что будут очень красны глаза.

Марья Ивановна сидела в гостиной на диване и тоже плакала, взглядывая по временам на Владимира Андреича, ходившего с заложенными на спину руками взад и вперед по комнате. На столе стояли приготовленные для благословения образа. Наконец, невесту вывели, и все сошлись в гостиную. Владимир Андреич взял икону. Юлия поклонилась отцу в ноги: дыхание у нее захватило, она не могла уже сама встать, ее подняли на руках, и на этот раз уже все советовали проплакаться. Кураев поцеловал дочь и сам прослезился. С Марьей Ивановной сделалась истерика, она решительно не могла благословить дочери. Невесту под руки вывели и посадили в карету с почетной дамой. Шафер сел на парные дрожки; барон Клухштук — с троюродной сестрою Владимира Андреича, а барышень усадили всех в карету. Им очень хотелось посмотреть на венчание, но они, как не принадлежавшие к поезду, должны были приехать после. Владимир Андреич и Марья Ивановна остались дома. Венчание началось и кончилось своим порядком. В церкви было пропасть народу, и целая толпа еще ломилась извне. Квартальный надзиратель несколько раз принужден был прибегать к мерам строгости. Он еще до приезда невесты поставлен был в необходимость ударить какую-то личность в фризовой шинели, порывавшуюся в церковь, толкнул, и толкнул довольно больно, в шею звонкоголосую мещанку и жестоко надрал волосы мальчишке, перепачканному в саже и очень похожему, по словам квартального, на дьяволенка. Жених и невеста во время всей церемонии даже не взглянули друг на друга. На их счет зрителями было произнесено несколько суждений, по которым оказалось, что у жениха нос велик и лицо плоско, а что невеста гораздо лучше его. Какой-то маленький гимназист прозвал Перепетую Петровну дыней-канталупкой. Почетная дама, баронесса Клухштук, имела довольно длинный и серьезный разговор с Феоктистой Саввишной насчет того, что у жениха нет шафера.

Наконец, молодые возвратились. Владимир Андреич и Марья Ивановна встретили их в зале. Они, сопровождаемые всем своим поездом, вошли и начали принимать благословения.

— Дети мои! — начал Владимир Андреич своим внушительным тоном. — Позвольте мне в настоящем, важном для вас, случае сказать небольшую речь. — При этих словах Владимир Андреич вынул из бокового кармана небольшую тетрадку. Такое намерение Кураева, кажется, всем присутствующим показалось несколько странным, и некоторые из них значительно между собою переглянулись.

— Ныне вы вступили, дети мои, — начал Владимир Андреич, — в новую жизнь, в новые обязанности: для некоторых эти обязанности легки и приятны, а для некоторых цепи брака тяжелее кандалов преступника. Отчего же это происходит? Это происходит от нас самих. Мужья хотят слишком много власти, а жены слишком мало повиноваться. Возьмите вы в пример двух голубков: эти пернатые могут служить прекрасным образцом для человека. Они искренне любят друг друга. Голубь трудолюбив и нежен к своему семейству и заботится о нем; голубка покорна, нежна к своему другу. Будьте подобны двум голубкам, мои дети, и вы будете счастливы. Вы, Павел Васильич, можно сказать, отрываете от нашего сердца лучшую часть, берете от нас нашу чистую, нежную голубицу, а потому на вас лежит священная обязанность заменить для нее некоторым образом наше место, успокоить и разогнать ее скуку, которую, может быть, она будет чувствовать, выпорхнув из родительского гнезда. Может быть, вы сами будете отцом и тогда узнаете, как тяжелы теперешние наши чувствования; одно, может быть, только приличие удерживает нас от непрерывных слез, которыми бы мы готовы разлиться, отпуская наше милое дитя в чужие люди. Да, примите еще раз от меня благословение!

С этими словами Владимир Андреич проворно спрятал речь в боковой карман и, поклонившись, осенил молодых руками.

— Отличная речь! — заметил шафер барону Клуштук. Барон только пожал губами и ни слова не отвечал.

Все вошли в гостиную; начали подавать чай; невесту повели переодевать из венчального платья в бальное. Часов в восемь пришли музыканты и начали съезжаться гости.

Честолюбивый Владимир Андреич не утерпел, чтобы не позвать на свадебный вечер знакомых своего круга.

Также приглашены были, ради танцевания, и молодые люди, в числе которых был и Бахтиаров. Молодая еще не выходила. Павлу, кажется, было очень неловко: он видел, что на него взглядывали искоса все дамы, а некоторые из мужчин, хотя почти ему незнакомые, никак не могли удержаться, чтобы не сделать несколько двусмысленных намеков. Перепетуя Петровна была не в духе, потому что Кураев ее принял не с подобающею честью, как следовало бы принять посаженую мать жениха, и, пройдя в гостиную, попросил сесть на диван не ее, а баронессу Клукушук. Даже Марья Ивановна не занялась с нею, а под села к троюродной сестре Владимира Андреича, тоже усевшейся на другом конце дивана. Таким образом, Перепетуге Петровне почти пришлось сесть на крайнем кресле, чего она никак не хотела сделать, и села к окошку.

Наконец, вышла невеста, и вскоре за тем приехала Марья Николаевна, помещица трех тысяч душ. Дам и кавалеров было уже достаточное число. Из приглашенных молодых людей не явился только один Бахтиаров. Владимир Андреич махнул музыкантам: заиграли польский.

— Не угодно ли вам начинать? — сказал Кураев, обращаясь к зятю.

Бедный Павел решительно смешался. Он даже не понимал, какой это начинается танец. Он стоял и все еще не брал руки невесты, давно уже стоявшей около него. Юлия догадалась и, сделав гримасу, сама взяла его за руку и повела в залу.

— Вы, верно, не умеете танцевать? — спросила она его тихо.

Павел покраснел: ему было очень совестно.

— Я... нет-с... но, знаете... давно очень учился...

— Так вы скажите папеньке, что у вас нога болит, а то неловко: будете путать.

Вслед за молодыми следовал Владимир Андреич с Марьей Николаевной. Этот поступок Кураева жестоко оскорбил Перепетую Петровну. Она думала, что он непременно возьмет ее на польский.

— Это уж, видно, не свадебный вечер, а бал какой-то, — сказала она проходившей мимо Феоктисте Савишне.

— А что? — спросила та.

— Да так уж... Нас уж с вами, кажется, совсем забыли, всё знатными людьми занимаются.

Не знаю, что бы ответила на это Феоктиста Саввишна, но ее в это время кликнули к Марье Ивановне.

Польский кончился. Юлия подошла к отцу.

— Папа, он совсем не умеет танцевать.

— Кто?

— Бешметев.

— Не может быть: французскую пройдет.

— Какое французскую: он и польский не умеет. Я с ним ни за что не пойду; я уж ему велела сказать, что у него нога болит.

Владимир Андреич махнул рукой, говоря: «Хорошо!»

— Какая неприятность! — сказал он потом, выходя в залу. — У нас молодой наш отказывается от танцев: вчерашний день ногу ушиб, выскакивая из кареты. Павел Васильич, — сказал он, обращаясь к вдали стоящему Бешметеву, — что, ваша нога болит еще?

— Болит-с, — отвечал Павел.

— Досадно, а делать нечего. Постойте-ка, батюшка, у косячка да полюбуйтесь, как жenuшка с другими будет любезничать; вот и узнаете, каково мужнино-то дело: ничего, привыкайте.

Все это Владимир Андреич говорил довольно громко, так что слышали все почти кавалеры и многие дамы. Началась французская кадрили; молодая танцевала с шафером.

Во время другой кадрили в залу вошел Бахтиаров. В этот раз, кажется, он еще был молодцеватее и интереснее собою. Лицо его было бледнее обыкновенного. Он прямо подошел к невесте, поздравил ее, потом поздравил попавшегося ему навстречу Владимира Андреича и поклонился Павлу. А вслед за тем в своей обычной равнодушной позе расположился стоять у окна, объявив решительно хозяину, что он танцевать не будет. Молодая, несмотря на то, что очень была грустна и расстроена, заметила, что Бахтиаров приехал очень бледен и чем-то рассержен; она слышала его отказ танцевать и перетолковала все это решительно в свою пользу. «Он, верно, влюблен в меня, — думала она, — страдал, услышав, что я выхожу замуж, и потому очень бледен и расстроен»; но она этому очень рада и начнет его мучить с этого же вечера. По окончании кадрили Юлия подошла к Павлу, сидевшему невдалеке от Бахтиарова.

— Как жаль, Поль, что ты не танцуешь! Я бы желала с тобою только танцевать!

Павел быстро встал на ноги; на глазах его, кажется, навернулись слезы; он никак не ожидал подобной вы-ходки; ему было и стыдно и приятно. Юлия Владимировна подала ему руку. Павел едва догадался, что ему надобно было поцеловать эту руку.

Начались снова танцы. Бахтиаров не танцевал; Юлия Владимировна, чтобы окончательно взбесить губернского льва, казалась веселою, счастливою и несколько раз обра-щалась с нежными выражениями к Павлу; но Бахтиаров уехал, и она сделалась грустна, задумчива и решительно не стала замечать мужа. Павел все стоял у притолоки и все глядел на жену. Наденька очень любезничала с одним молодым чиновником, необыкновенно ловко танцевавшим вальс. Перепетуя Петровна решительно выходила из себя от невнимания, оказанного ей хозяином: ее даже не поса-дили играть в преферанс. Владимир Андреич решительно был занят губернскими тузами, а Марья Ивановна все егостила около помещицы трех тысяч душ.

За ужином Перепетуя Петровна поставлена была в такое положение, что только от стыда не расплакалась. Мало того, что она, как бы следовало посаженной матери, не была посажена на первое место, мало этого, — целый стол голодала она, как собака, и попила только кваску. Вот в чем дело: свадебный день был постный, а стол был приготовлен скоромный, и у доброго хозяина не стало настолько внимания, чтобы узнать, нет ли таких гостей, которые не едят скоромного. Что она, попадья, что ли, какая? Она, кажется, дворянка и, можно сказать, тут первое лицо: для нее бы для одной можно приготовить стол приличный. Феоктиста Саввишна — известное *ме-лево*, — ей хоть козла подай на страстной неделе, так съест. Сами посудите, в какое она поставлена была по-ложение, точно проклятая какая-нибудь, ни к чему при-коснуться не может; не скоромиться же нарочно для этого раза; кроме греха, тут некоторые знают, что она со-блюдает посты. Это просто насмешка! — Вот что думала Перепетуя Петровна, сидя за столом; гнев ее возрастал с каждым блюдом, у ней едва доставало присутствия духа сказать, что она не ужинает; сами же хозяева как будто бы этого ничего не замечали и не видели. Невеста была бледна и ничего не ела, Павел тоже сидел потупившись и ни к чему не прикасался.

— Посмотрите, им уж хлеб нейдет на ум, — заметил армейский офицер сидевшему около него молодому человеку с решительными манерами, с которым мы еще в собрании познакомились.

Молодой человек с прическою à la diable m'emporte¹ сделал гримасу и, проговоря: «Это всё глупости!», залпом выпил стакан красного вина. После ужина бальные гости все разъехались, остались одни только непосредственные участники свадьбы. Молодых проводили в спальню с известными церемониями. Видимым образом, кажется, все шло своим порядком. Впрочем, Перепетуя Петровна никак не могла удержаться, чтобы не высказать своего недовольствия Владимиру Андреичу.

— Позвольте вас поблагодарить за ваше внимание и угощение, — говорила она, прощаясь с хозяевами. — Мы хоть, конечно, и небогаты, но все-таки понимаем что-нибудь и постараемся с своей стороны отплатить тем же, что сами получили. — Проговоря это, она раскланялась и ушла в лакейскую.

На другой день свадьбы в чайной дома Кураевых происходил следующий разговор, который ключница Максимовна, пользовавшаяся от господ большим доверием за пятнадцатилетние перед ними сплетни на всю остальную братию, вела с одною ее знакомой торговкою.

— Ну что, матушка Марья Максимовна, каков ваш молодой-то барин? — спрашивала та.

— Смирненок очень, Федотовна; не под пару нашей-то, я люблю сказать правду: ей бы надобно муженька посердитее, чтобы побранивал да пошколивал. А этому она скоро голову свернет.

— Вишь ты, какое дело! — заключила глубокомысленно торговка.

XII

ДОМАШНИЕ СЦЕНЫ

Более полугода прошло после женитьбы Павла. Наступила снова зима, снова начались удовольствия. В городе ничего не случилось достопримечательного. Значительной перемены в жизни главных лиц моего рассказа

¹ черт меня побери (франц.).

никакой не было. Павел жил с женою и с матерью; Куряев не уезжал еще в Петербург; хорошие приятели его по сию пору еще не приискали ему там частного места. Лизавета Васильевна жила в деревне; Перепетуя Петровна решительно разошлась с своим родным племянником, даже голубушку сестрицу третий месяц не видала. Она некоторым образом действительно была права в своем неудовольствии на Бешметевых: во-первых, если читатель помнит поступок с нею Владимира Андреича на свадьбе, то, конечно, уже согласится, что это поступок скверный; во-вторых, молодые, делая визиты, объехали сначала всех знатных знакомых, а к ней уже пожаловали на другой день после обеда, и потом, когда она начала им за это выговаривать, то оболтус племянник по обыкновению сидел дураком, а племянница вздумала еще вздернуть свой нос и с гримасою пропищать, что «если, говорит, вам неприятно наше посещение, то мы и совсем не будем ездить», а после и кланяться перестала. Она уж сама не станет заискивать: извините — не такого характера, и потому совершенно прервала с неблагоприятными всякое сношение и подала на Павла ко взысканию вексель. Впрочем, она очень тосковала, что не видит бедную сестрицу, и каждый день посылала Палашку наведываться о ее здоровье, а тут, к слову конечно, спрашивала, каково поживают и молодые. Палашка обыкновенно на вопрос Перепетуи Петровны сначала отвечала, что все — слава богу! — хорошо, а уж после кой-что и порасскажет. Из рассказов ее Перепетуя Петровна узнала, что Владимир Андреич по сию пору еще ничего не дал за дочкою; что в приданое приведен только всего один Спиридон Спиридоныч, и тот ничего не может делать, только разве пыль со столов сотрет да подсвечники вычистит, а то все лежит на печи, но хвостун большой руки; что даже гардероба очень мало дано — всего четыре шелковые платья, а из белья так — самая малость. Хозяйством молодая барыня ничего не занимается, даже стол приказывает сам Павел Васильич, а она все для себя изволит делать наряды, *этта* на днях отдала одной портнихе триста рублей; что молодые почивают в разных комнатах: Юлия Владимировна взяла себе кабинет Павла Васильича и все окошки обвешала тонкой-претонкой кисеей, а барин почи-вает в угольной, днем же постель убирается; что у них часто бывают гости, особенно Бахтиаров, что и

сами они часто ездят по гостям, — Павлу Васильичу иногда и не хочется, так Юлия Владимировна сейчас изволят закричать, расплачутся и в истерику впадут. Слушая эти рассказы, Перепетуя Петровна обыкновенно приговаривала: «Так ему, дураку, и надобно, — еще по щекам будет бить; как бы родство-то свое больше уважал да почитал, так бы не то и было!»

Вечером накануне Нового года Павел сидел в комнате у матери. Старуха целую осень заметно слабела, а этот день с нею повторился параличный припадок; послали за доктором, который поставил ей около десятка горчичников и обещался ночью еще раз заехать. Видно было, что он даже опасался за жизнь больной, которая была в совершенном беспомоществе и никого не узнавала. Павел послал сказать Перепетуге Петровне и отправил нарочного к сестре. Несмотря на болезнь матери, Юлии Владимировны не было дома — она находилась у модистки, где делалось для нее новое платье, в котором она должна была явиться на бал в дворянское собрание. Павел был худ и бледен. Видно, золотое время для новобрачных не слишком-то счастливо прошло для него. Он сидел около больной и держал ее за руку; ключница Марфа стояла в ногах, пригорюнившись, и вздыхала; молодая горничная девка готовила новый горчичник, перемарав в нем руки и лицо. Приехала Юлия Владимировна в сопровождении гризетки, бережно несшей новое платье. Сначала она прошла в свой кабинет, или, как она его называла, будуар, и еще раз начала примеривать обнову. Платье сидело необыкновенно ловко. Юлия Владимировна с полчаса любовалась пред большим зеркалом своим платьем и собой; она оглядывала себя во всевозможных положениях — и спереди, и с боков, и загибала даже голову, чтобы взглянуть на свою турнюру, и потом подвигала стул и садилась, чтоб видеть, каково будет платье, когда она сядет. Платье было отличное. Переодевшись, Юлия Владимировна вошла в комнату больной.

— Что ж вы не собираетесь? По сю пору не бриты, — сказала она, даже не поздоровавшись с мужем.

— Я сегодня не могу ехать, Юлия, — проговорил Павел.

— Вот прекрасно! Вот хорошо! — вскрикнула Юлия каким-то неприятно-звонким голосом. — Зачем же я платье делала? Зачем вы это меня дурачите?

— Вы видите, матушка умирает.

— Скажите, пожалуйста, что выдумал! Во-первых, матушка не умирает, а обыкновенно больна; а во-вторых, разве вы поможете, что тут будете сидеть?

— Воля твоя, я не в состоянии.

— И вы это решительно говорите?

— Вы знаете, когда можно ехать, я еду.

— Нет, вы скажите мне, что вы решительно не хотите ехать.

— Я не могу ехать.

— Очень хорошо! Отлично! Вы думали меня испугать — ужасно испугалась, — я одна поеду.

Павел ничего не отвечал.

— И непременно поеду. Нарочно, знал, что мне хочется, выдумал предлог, какого совсем нет.

— Предлог у вас перед глазами, Юлия.

— Никакого у меня нет перед глазами предлога, а есть только ваши выдумки... Я одна поеду.

Проговоря это, Юлия вышла в угольную и, надувши губы, села на диван. Спустя несколько минут она начала потихоньку плакать, а потом довольно громко всхлипывать. Павел прислушался и тотчас догадался, что жена плачет. Он тотчас было встал, чтоб идти к ней, но раздумал и опять сел. Всхлипывания продолжались. Герой мой не в состоянии был долее выдержать свой характер: он вышел в угольную и несколько минут смотрел на жену. Юлия, при его приходе, еще громче начала рыдать.

— О чем же вы плачете? — спросил он.

— Всегда напротив, — говорила сквозь слезы Юлия: — если бы я знала, я просила бы папеньку. Как я поеду одна? Зачем же я делала платье? Вечно с вашими глупостями; я не служанка ваша смеяться надо мной; поутру сбиралась, а вечером сиди дома!

— Ах, как вы малодушны!

— Сам ты малодушен — тюфяк!

Павел улыбнулся и сел около жены, но Юлия отодвинулась на другой конец дивана.

— Не извольте садиться около меня... неблагодарный... вчера что вечером говорил?

— Я и теперь скажу то же.

— Очень нужны мне твои слова, притворяется туда же: умереть для вас готов, а съездить на вечер не хочется!

— Как вы несправедливы ко мне. Что, если мы поедем, а матушка умрет, — что даже посторонние скажут? С какими чувствами мы будем веселиться?

— Вот прекрасно — с какими чувствами! Не прикажете ли все сидеть да плакать? Подите вон: видеть вас не могу! Наказал меня бог, по милости папеньки. Наденька теперь, я думаю, уж совсем оделась. — При этих словах Юлия снова залилась слезами и упала на подушку дивана.

— Юлия! Это ведь смешно — вы ребячитесь, — сказал Павел, подходя снова к жене.

— Отойдите от меня, — вскрикнула Юлия, оттолкнув мужа рукой, и продолжала плакать.

Павлу жаль было жены: он заметно начал сдаваться.

— Не плачьте, Юлия, я поеду, — проговорил он.

Юлия не унималась.

— Я поеду, я пойду сейчас бриться. Ну, вот видите, я пошел бриться, — говорил Павел и действительно пошел в залу.

По уходе мужа Юлия тотчас встала и отерла глаза.

«Дурак этакой, — говорила она про себя, глядясь в зеркало, — вот теперь с красными глазами поезжай на бал — очень красиво!»

Муж и жена начали одеваться. Павел уже готов был чрез четверть часа и, в ожидании одевавшейся еще Юлии, пришел в комнату матери и сел, задумавшись, около ее кровати. Послышались шаги и голос Перепетуи Петровны. Павел обмер: он предчувствовал, что без сцены не обойдется и что тетка непременно будет протестовать против их поездки.

— Батюшки мои! Что это у вас наделалось? — говорила Перепетуя Петровна, входя впопыхах в комнату и не замечая Павла. — Господи! Она совсем кончается... Матушка сестрица! Господи! Какой в ней жар! Да был ли у нее лекарь-то?

— Лекарь был, тетушка, — произнес Павел.

Перепетуя Петровна, наконец, заметила племянника.

— Что, батюшка, — сказала она, — уморил матушку-то? Дождался такого счастья? Смотри, каким франтом, модный какой!.. На какой радости-то?.. Что мать-то умирает, что ли?

Павел не смел объявить тетке, что он едет в собрание. Но Перепетуя Петровна сама догадалась.

— На бал, что ли, они куда едут праздновать кончину матери? — спросила она, обращаясь к ключнице.

Марфа молчала.

— На бал, что ли, едете с супругой-то? — продолжала она, обращаясь к Павлу.

— Нас звали, тетушка, на дворянский бал.

— Да что, Павел Васильич, с ума, что ли, вы сошли, помешались, что ли, вы совсем с своей благоверной-то? Царица небесная! Не позволю вам этого сделать, не позволю срамить вам нашего семейства! Извольте сейчас раздеваться и остаться при матери, и жену не пускайте. Что такое? На что это похоже? Вы, пожалуй, и на похороны-то цыганский табор приведете — цыгане этикие... фигуранты! Только по балам ездить! Проюрдонитесь еще, по миру пойдете! Много отвалили за женушкой-то? В кулаке, я думаю, все приданое унесешь! Не смейте, сударь, ездить!

Старуха в это время застонала.

— Матушка моя! Голубушка! И ты мучишься — как не мучиться, видя такую неблагодарность и бесстыдство! Мое не такое здоровье, да и то в груди закололо.

В это время в комнату вошла совсем одетая Юлия. Увидев тетку, она нахмурила брови и даже не поклонилась ей, но обратилась к мужу.

— Что ж? Поедем, пора!

Павел решительно не знал, что делать. Перепетуя Петровна вся вспыхнула.

— Нет, не пора и не может быть пора, потому что у него мать умирает.

Юлия сделала гримасу и продолжала натягивать французские перчатки.

— Велите подавать лошадей, — сказала она стоявшей тут горничной.

— Велите отложить лошадей, — перебила Перепетуя Петровна, поднимаясь со стула и придя в совершенный азарт. — Павел Васильич! Что ж вы молчите? Велите сейчас отложить лошадей. Оставайтесь дома и оставьте и ее: она не смеет против вашего желания делать!

Юлия взглянула на Перепетую Петровну и залилась самым обидным смехом.

— Что, ваша тетка, верно, сумасшедшая? — спросила она Павла.

Перепетуя Петровна, не слишком осторожная в собственных выражениях, не любила, впрочем, чтоб ей говорили дерзости.

— Нет, я не сумасшедшая, а сумасшедшие-то вы с муженьком! Как вы смели мне это сказать? Я, сударыня, дворянка... почище вас: я не выходила в одной рубашке замуж... не командовала своим мужем. Я не позволю ругаться нашим семейством, которое вас облагодетельствовало, — нищая этакая! Как вы осмелились сказать мне это? Не смей ехать! Говорят тебе, Павел, не смей ехать! Командирша какая!.. Много ли лошадей-то привели? — Клячи не дали. Франтить, туда же! Слава богу, приютили под кровлю, кормят... так нет еще...

Юлия сначала с презрением улыбалась; потом в лице ее появились какие-то кислые гримасы, и при последних словах Перепетуи Петровны она решительно не в состоянии была себя выдержать и, проговоря: «Сама дура!», вышла в угольную, упала на кресла и принялась рыдать, выгибаясь всем телом. Павел бросился к жене и стал даже перед нею на колени, но она толкнула его так сильно, что он едва устоял на месте. Перепетуя Петровна, стоя в дверях, продолжала кричать:

— Вишь как кобенится, вишь как гнет, — вставай, батюшка, на колена, еще пощечину даст; вот так, в губу бы еще ногой-то! Таковский!

— Ой-ой! Умираю! — кричала Юлия.

Больная, обеспокоенная криком, застонала. Павел был точно помешанный: не помня себя, вошел снова в комнату матери и сел на прежнее место.

Чтобы окончательно дорисовать эту драматическую сцену, явился Михайло Николаич Масуров, весь в мелу, с взъерошенными волосами и с выбившеюся из-под жилета манишкой. Вошел он по обыкновению быстро. Первый предмет, попавшийся ему на глаза, была лежавшая на диване Юлия.

— Это что такое? — проговорил он. — Верно, умерла матушка? Юлия Владимировна! Юлия Владимировна! Что вы такое делаете?

Вслед за тем Масуров вошел в спальню матери и увидел там сидевшего Павла, державшегося обеими руками за голову. Перепетуя Петровна в это время была в девичьей и пред лицом девок ругательски ругала их

молодую барыню и, запретив им строго ухаживать за ней, велела тотчас же отложить лошадей.

— Что они, угорели все, что ли? Матушка-то, кажется, жива... еще дышит. Павел Васильич! Братец! Полноте, что вы тут делаете?

— Спасите жену, она умирает, — проговорил Павел, — бога ради, спасите!

Масуров пожал плечами и пошел к Юлии.

— Должно быть, угорели; старуху, верно, оттого и схватило.

Юлия попрежнему лежала на диване с закрытыми глазами, всхлипывая и вздрагивая всем телом; по щекам ее текли крупные слезы.

— Сестрица! Юлия Владимировна! Вставайте, перестаньте плакать, что это вы делаете? Перестаньте гнущься, шею сломаете; стойте, хоть я вам платье-то расстегну. Платье-то какое славное, видно, бальное.

Масуров остановился и несколько минут посмотрел на невестку.

— Что ж мне с ней делать? Ей-богу, не знаю; разве водой вспрыснуть?.. Пожалуй, умрет еще — никого нет, проклятых.

С этими словами он вышел в залу, в лакейскую; но и там никого не было из людей. Делать было нечего — Масуров вышел на двор, набрал в пригоршни снегу и вслед за тем, вернувшись к своей пациентке, начал обкладывать ей снегом голову, лицо и даже грудь. Юлия сначала задрожала, чихнула и, открыв глаза, начала потихоньку приподыматься. Павел, подглядывавший потихоньку всю эту сцену, хотел было, при начале лечения Масурова, выйти и остановить его; но увидя, что жена пришла в чувство, он только перекрестился, но войти не решился и снова сел на прежнее место. Между тем Юлия совершенно уже опомнилась и, вода рукою по лбу, как бы старалась припомнить все, что случилось.

— Здравствуйте, сестрица! Что это такое с вами? — Я думал, что вы совсем уж умерли.

— Велите подать лошадей мне, — говорила она, — я не могу здесь оставаться: меня скоро бить начнут. Скорей лошадей мне! Они заложены.

Масуров вышел и скоро вернулся.

— Лошади отложены, сестрица! — сказал он.

Юлия пожала плечами.

— Есть с вами лошади? Дайте мне ваших лошадей!

— У меня извозчик, та соеиг.

— Ничего, проводите меня.

— Извольте, сестрица, да вот как же Павел-то Васильич? Ему надобно сказать: он очень беспокоится.

— Пусть он беспокоится о своей мерзкой тетушке! Дайте мне салоп — он в лакейской висит.

Масуров повиновался. Юлия уехала.

— Куда это Юлия поехала? — спросил Павел, выйдя к Масурову.

— Право, не сказала. Вот узнаем от извозчика, как вернется. Что такое у вас вышло?

Павел вздохнул и не в состоянии был ничего сказать. Явилась Перепетуя Петровна и рассказала Масурову, в чем дело было.

Вернувшийся извозчик донес, что Юлия поехала к отцу. Масуров еще с полчаса пробыл у брата и по своему успокаивал его и тетку. Павлу он говорил, что это ничего, что у него Лиза первый год, вышедши замуж, каждый день падала в обморок, что будто бы девушки, сделавшись дамами, всегда бывают как-то раздражительны, чувствительны и что только на это не надобно смотреть и много уважать. У Перепетуи Петровны он внимательно выслушал трижды рассказ о злодейских поступках племянницы и вполне согласился с нею, что Юлия даже не стоит названия благородной женщины; а потом, объяснив, что он еще не доиграл партию в бостон, отправился, куда ему нужно. Перепетуя Петровна осталась у сестры и говорила, что она пробудет у ней всю ночь и день, хоть бы от этого ее племянницу разорвало пополам, потому что для ней, Перепетуи Петровны, обязанности сестры всего дороже.

Между тем как происходили такого рода происшествия, Владимир Андреич сидел дома и встречал Новый год один. Он слегка страдал подагрой и потому, боясь простуды, не выезжал. Семейство же свое он не хотел лишить удовольствия и отпустил Марью Ивановну с Наденькой на дворянский бал. Владимир Андреич был на этот раз в очень хорошем расположении духа. Он только сегодня поутру получил письмо из Петербурга, извещавшее его, что, наконец, нашли ему там место, и в настоящее время он рассчитывал свои средства. От заложенного в опекунский совет имения он совсем хотел отступиться.

Частные долги у него были все по мелочи и по распискам. Следовательно, об них беспокоиться было нечего. Он продаст дом, экипажи, лошадей, мебель, всю домашнюю утварь, — всего будет тысяч пятнадцать, — и, следовательно, приехать в Петербург и обзавестись на первый раз будет у него с избытком. Наденьку сейчас же по приезде в Петербург выдаст замуж, а Марье Ивановне на весь домашний расход будет давать две тысячи, а остальные две тысячи на собственное удовольствие, — недурно, право, не дурно!

На этой самой мысли Владимира Андреича вошла Юлия.

— А! Ты как появилась? Что это значит, и в бальном платье? Отчего ты не на бале?

Юлия молча поцеловала руку отца и, бросившись в кресла, закрыла глаза платком.

— Что с тобой, Джули? — спрашивал удивленный и несколько испуганный Владимир Андреич.

— Я не могу с ним жить, папа.

— С кем не можешь жить?

— С мужем... Меня разругали, обидели... выгнали...

Владимир Андреич сильно обеспокоился.

— Кто тебя разругал? Кто тебя выгнал?

— Он со своей мерзкой теткой; она говорит, что я нищая, что они меня хлебом кормят... Это ужасно, папа!

При этих словах Юлия залилась слезами.

— Ей-богу, ничего не понимаю! Перестань плакать-то; расскажи, что такое?

— Сегодня поутру...

— Ну?

— Сегодня поутру я собиралась ехать на бал, он — ничего... хотел ехать...

— Дальше.

— Потом я после обеда поехала за этим платьем; приезжаю — уж совсем не то: «Я, говорит, не могу ехать, матушка умирает...» Ну ведь, знаете, папа, она каждый день умирает.

— Ну, конечно. Старуха полумертвая — давно бы уж сй пора в Елисейские поля! Продолжай.

— Я начала ему говорить, что это нехорошо, что я сделала платье; ну, опять ничего — согласился: видит, что я говорю правду. Совсем уж собрались. Вдруг черт приносит этого уroda толстого, Перепетую, и кинулась

на меня... Ах! Папа, вы, я думаю, девку горничную никогда так не браните — я даже не в состоянии передать вам. С моим-то самолюбием какво мне все это слышать!

— Ну, что же он-то?

— Ну, что он... как будто вы, папа, не знаете его, тюфяка; ведь он очень глуп. Я не знаю, как вы этого не видите.

Владимир Андреич задумался и начал ходить по комнате.

— Во-первых, тебя, стало быть, не выгоняли, а бранилась только эта дура Перепетуя. Отчего же ты сама ее не бранила?

— Я не могу, папа. Я только и назвала ее дурой: у меня грудь захватило, и сделалась со мною по обыкновению истерика.

Владимир Андреич снова задумался и начал ходить большими шагами по комнате.

— Все это пустяки, — произнес он после долгого молчания. — Я сейчас выпишу его сюда и дам ему хорошую головомойку, чтоб он дурьей породе своей не позволял властвовать над женою.

— Выпишите, папа, и поговорите, чтоб он просто не пускал в дом эту мерзавку тетушку.

Владимир Андреич сел и написал зятю записку следующего содержания:

«Павел Васильич! Прошу вас покорно немедля пожаловать ко мне; мне нужно очень с вами объясниться. Надеюсь, что исполните мое желание.

Доброжелатель ваш такой-то...»

— Припиши и ты, Юлия, — сказал Кураев, подавая дочери записку.

Юлия написала:

«Павел! Приезжай сию секунду к папеньке; в противном случае ты никогда меня не увидишь».

Человек был отправлен.

— Есть ли вам жить-то чем? Деньги есть ли у вас? — спросил Кураев.

— Какие, папа, деньги! На днях пятьсот рублей заняли, а теперь всего двести осталось. Вы ему поговорите о службе — служить не хочет.

— Отчего же он не хочет?

— Оттого, что в Москву хочет ехать; профессором, говорит, меня там сделают. Какой он профессор — я думаю, ничего и не знает.

— Что ж, ему там обещали, что ли?

— Я не знаю. Поговорите ему, пожалуйста; нам скоро будет нечем жить совсем.

— То-то и есть поговорить... Самой надобно не мало душничать... Он человек добрый; из него можно, как из воску, все делать. Из чего сегодня алярму сделали! Очень весело судить вас! Где нельзя силой, надобно лаской, любовью взять... так ведь нет, нам все хочется повернуть, чтобы сейчас было по-нашему. Ну, если старуха действительно умирает, можно было бы и приостаться, не ехать, — что за важность?

Юлия слушала выговор папеньки потупившись.

Явился Павел.

— Ну, что у вас там такое? Садитесь-ка сюда, — начал довольно ласково Владимир Андреич.

Павел сел и, кажется, решительно не смел взглянуть на жену.

— Я вас хочу попросить, Павел Васильич, — начал Владимир Андреич, — пожалуйста, не позволяйте тетке в вашем доме делать этаких комеражей!.. Что это такое? На что это похоже? Между благородными людьми, образованными, браниться... Фу ты, мерзость какая! Дочь моя так воспитана, что она решительно не только не испытала на себе, даже не видала, не слыхала ничего подобного; даже не в состоянии была передать мне всех сальных выражений: у нее язык не поворачивается! Конечно, это происходит от невежества Перепетуи Петровны — так ваша обязанность остановить ее. Вы, кажется, человек, получивший воспитание. Не нравится, не ездит... Какая вам надобность в ней?

— Она приехала к матушке.

— Прекрасно! Так она и сидит у матушки, — на вас-то она какое имеет влияние? До вас ей какое дело? Помилуйте, в нашем образованном веке отцы родные не мешаются в семейные дела детей. Ну вот я, скажите, пожалуйста, мешался ли хоть во что-нибудь? Позволил ли я

себе оскорбить вас хоть каким-нибудь ничтожным словом? Вы вежливы, а я еще того вежливее, и прекрасно.

Павел сидел потупившись и, кажется, вполне согласился с словами Владимира Андреича, будучи сам убежден, что Перепетуге Петровне не в свое дело не следовало мешаться.

— Ну, что матушка-то, скажите, пожалуйста, плоха?

— Очень слаба. Сейчас был доктор и пустил ей кровь.

— Да, вот еще кстати. Я, признаться сказать, хотел с вами давно поговорить об этом, — начал Владимир Андреич. — Что вы с собой думаете делать? Отчего вы не служите?

Этот вопрос очень смешал Павла.

— Я приготавлиюсь на магистра-с.

— Что ж, вы занимаетесь? Повторяете старое, что ли, или вперед учите?

— Ничего не делает, — подхватила Юлия.

— Нет еще. Я буду заниматься, — отвечал Павел, совершенно сконфузившись.

С самой свадьбы, или, лучше сказать, с самого сговора, он почти не брал книги в руки. Сначала, как мы видели, хлопотал о свадьбе и мечтал о грядущем счастье, а потом... потом... мы увидим впоследствии, что занимало ум и сердце моего героя.

— Вот видите, что я вижу из ваших предположений, — рассуждал Владимир Андреич. — Вы еще не начали заниматься, а времени уж у вас много пропущено; а следовательно, я полагаю, что вам трудно будет выдержать экзамен. Это я знаю по себе — я тоже первые чины получал по экзаменам; так куда это трудно! Ну, положим, что вы и выдержите экзамен, что ж будет дальше?

— Я надеюсь получить кафедру профессора.

— Как же, то есть вас сейчас и сделают профессором после экзамена?

— Нет еще... но большая надежда получить.

— Так, стало быть, это пустяки — одни только надежды. Нет, Павел Васильич, на жизнь нельзя так смотреть: жизнь серьезное дело; пословица говорится: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки». Полноте, батюшка, прискивайте-ка здесь место; терять время нечего, вы теперь человек женатый. Вот уж двенадцать часов. Честь имею вас поздравить с Новым годом. Малый! Дай шампанского! Вот видите, жизнь-то какова: пришел

Новый год, нужно бутылку шампанского, а это стоит двенадцать рублей. Вот жизнь-то какова!

Подали бутылку шампанского. Владимир Андреич заставил дочку выпить целый бокал, а Павла стакан, и сам тоже выпил стакан, а вслед за тем, разгулявшись, предложил детям еще, и сам тоже выпил.

— Ну, теперь помиритесь же, да смотрите не ссориться, жить в любви. Юлия! Поцелуй мужа, да крепче, чтоб сердце мое родительское радовалось.

Юлия подошла к мужу и, все-таки нехотя, поцеловала его, но Павел... Вино великое действие оказывает на человека. Он обхватил жену и начал целовать ее. Напрасно Юлия толкала его в грудь, напрасно делала гримасы; он не выпускал ее и целовал ее лицо, шею и грудь.

— Bravo... важно! — говорил старик. — Выпьемте еще по стакану, а ты, Юлия, еще полбокала, непременно. Чокнемтесь!

Павел на этот раз не заставил себя упрашивать, залпом выпил стакан и совершенно ожил.

— Батюшка! Я сделаю все, что вы прикажете! Я готов умереть для Юлии! Юлия! Я вас боготворю.

— А тетка где?

— Тетка у нас.

— Я, Павел, не поеду домой, если тетка у нас, — возразила Юлия.

— Я ее прогоню, я ее в шею вытолкаю, если хочешь.

— В шею толкать не следует, — заметил Владимир Андреич, — а напишите ей отсюда письмо, в котором попросите ее убираться, куда ей угодно.

— Хоть двадцать напишу, — сказал Павел.

— И прекрасно, — сказал Владимир Андреич, — вот вам бумага.

Павел начал писать, но, написав: «Милостивая государыня Перепетуя Петровна!», остановился.

— Позвольте мне вам продиктовать, — сказал Владимир Андреич.

— Сделайте одолжение.

Кураев начал: «Давешний ваш поступок, выходящий из всяких границ приличия, поставляет меня в необходимость попросить вас немедленно удалиться из моего дома, в который ни я, ни моя жена в противном случае не можем возвратиться, опасаясь скандальных сцен, столь не-

приличных и невыносимых для каждого образованного человека».

Павел написал и тот же час отправил это письмо к себе на дом. Бешметев еще часа два сидел у тестя. Допили всю бутылку. В припадке нежности Павел дал слово Владимиру Андреичу отказаться от своей мысли о профессорстве и завтра же начать приискивать себе должность. Возвратившийся слуга донес, что Перепетуя Петровна по получении письма тотчас же уехала.

Павел, возвращаясь с женою домой, обхватил ее, сверх обыкновения, за галию и начал целовать.

— Оставь, пожалуйста, завтра Бахтиарова у нас обедать: он такой милый, так любит тебя!

— Оставлю, душа моя, оставлю, чего я для тебя не сделаю, хоть это, знаешь, для меня...

— Что такое?

— Так, ничего... горько немного...

— Вот какие глупости выдумал!

Приехав домой, они застали священника, который соборовал старуху.

ХИ

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Старуха умерла. Смерть ее не произвела на Павла того сильного впечатления, какого бы следовало ожидать по его искренней к ней любви. Герой мой думал о себе, о своем тяжелом и безотрадном положении. Несмотря на свою неопытность, он скоро, и очень скоро, догадался, что жена не любит его, что вышла за него замуж так, может быть для того только, чтоб сделаться дамой, может быть даже, ее принудили к тому. Павел проклинал свою недалекновидность, помешавшую ему узнать чувства Юлии, когда она еще была невестой. «Что теперь мне делать? — думал он. — Буду стараться внушить ей любовь к себе: буду угождать малейшим ее желаниям, прихотям, даже капризам. Постараюсь ей объяснить самого себя». Утвердившись на этой мысли, Павел каждый день просыпался с твердым намерением высказать жене, как он ее любит, как он страдает, видя ее холодность, и объяснить ей, что таким образом жить невозможно в супружестве, — просить ее хоть принеоливать себя и постараться к нему

привыкнуть. Но герою моему не только не удавалось вполне объясниться с женою, но даже заговорить об этом. Юлия вечно была занята: она то капризничала и сердилась на Павла, то хлопотала о своем туалете, то принимала гостей или собиралась на бал; и только иногда — что, может быть, случалось не более двух или трех раз — она делалась как бы внимательнее к мужу и заговаривала с ним ласково. Обрадованный Бешметев тотчас приступал к объяснению; но Юлия слушала его довольно невнимательно и почти всегда перебивала просьбой — дать ей денег или познакомиться с каким-нибудь новоприезжим молодым человеком.

Так проходили дни за днями. Павел, как робкий любовник, подмечал каждое слово жены, каждое движение, каждый взгляд ее и старался их перетолковать в свою пользу. «Вот она, кажется, начинает привыкать ко мне и любить меня», — думал он, но тотчас же, вслед за тем, кидался невольно ему в глаза такой поступок Юлии, который очень ясно выказывал не только отсутствие любви, но даже уважения.

Мучения Бешметева еще не ограничивались этим: он уже ревновал Юлию к довольно опасному человеку, к общему мучителю местных губернских мужей — Бахтиарову. Губернский лев бывал у них довольно часто, но с какой целью, решить было трудно, потому что с Юлией он был только вежлив; но зато сама хозяйка очень много обнаруживала к гостю внимания. Она обыкновенно без всякой скрытности с большим нетерпением ожидала его приезда, с самым глубоким вниманием прислушиваясь к каждому его слову, не пускала его, когда он собирался ехать домой, и ревновала его ко всем городским дамам. В его отсутствие она старалась со всеми говорить об нем и приходила в искренний восторг, говоря об его наружности или припоминая рассказываемые им анекдоты.

Незадолго до смерти старухи Бахтиаров сделался гораздо внимательнее к Юлии и начал бывать у ней без Павла. Я не в состоянии описать тех мучений, которые переживал Бешметев. Несколько раз он думал отказать Бахтиарову от дому; но положит ли этим конец? Ему очень хотелось расспросить людей, что делает Бахтиаров, когда бывает у жены в его отсутствие; но и этого герой мой не решался сделать из деликатности: ему казалось, что подобными расспросами он унизит и себя и Юлию.

Нечаянный приезд Лизаветы Васильевны значительно успокоил ревность Павла, во-первых, потому что Бахтиаров с первого же дня начал к ним ездить реже и снова сблизился с Масуровым; а во-вторых — Лизавета Васильевна была на этот раз откровеннее и вполне посвятила Павла в тайну своих отношений к Бахтиарову и своих чувствований к этому человеку. Она рассказала брату, как губернский лев с первого ее появления в обществе начал за ней ухаживать, как она сначала привыкла его видеть, потом стала находить удовольствие его слушать и потом начала об нем беспрестанно думать: одним словом, влюбилась, и влюбилась до такой степени, что в обществе и дома начала замечать только его одного; все другие мужчины казались ей совершенно ничтожными, тогда как он владел всеми достоинствами: и умом, и красотою, и образованием, а главное, он был очень несчастлив; он очень много страдал прежде, а теперь живет на свете с растерзанным сердцем, не зная, для кого и для чего. С юных лет он хотел быть чем-то выше посредственности и, может быть, достигнул бы этого; но люди и страсти испортили его на первых порах. Вот в чем уверял ее Бахтиаров и просил у ней сочувствия, просил ее врачевать его больное сердце своею юною любовию. Лиза сочувствовала, тем более что это все так возможно, так походит на многих героев романов, которые она читала. Предусмотрительная Перепетуя Петровна заметила любовь племянницы к Бахтиарову и довольно тонко начала с того, что ласково вошла с нею в искреннее объяснение по этому предмету. Доверчивая Лиза призналась тетке, что Бахтиаров говорил ей о любви своей и что она сама его тоже любит. Старая девушка, услышав, какой опасности подверглась ее племянница, всплеснула руками и подняла на целый дом тревогу: разбранила не слишком деликатно Лизу за ее будто бы безнравственные поступки и, призвав сестру и зятя, торжественно объявила им, что дочь их погибла, потому что ее поймал в свои сети модник Бахтиаров. Старики перепугались и уже всем хором принялись бранить Лизу, толкуя ей, каждый по-своему, что мужчина имеет право говорить о любви только невесте; если же он скажет это не невесте, то тотчас же должен сделать предложение; в противном случае он низкий человек и ищет только одной гибели девушки. В пример приведена была

какая-то Машенька Жилова, которую увез музыкальный учитель и потом бросил, а это уморило старика ее отца, уморило потом и ее самое. Лиза плакала в продолжение всех этих выговоров, плакала и остальной весь день, а к вечеру написала Бахтиарову письмо, в котором, пересказав о случившемся, просила его на другой же день сделать ей предложение и успокоить папеньку, маменьку и ее. На это письмо Бахтиаров на другой день прислал самый страстный ответ, в котором, проклиная судьбу, признавался, что он жениться не может, потому что женат, но умолял Лизу любить его попрежнему и не проклинать его. Лиза целую неделю после этого открытия не осушала глаз, но видеть Бахтиарова уже более не хотела. Каждодневные визиты, дюжина самых страстных писем, даже несколько ночных прогулок под окнами со стороны губернского льва остались без всякого успеха. Ему не удавалось ни видаться, ни поговорить с m-lle Бешметевой. Родственная Перепетуя Петровна, чтобы окончательно исправить беду, не замедлила приискать для племянницы жениха в особе Михайла Николаича Масурова. Старики согласились; Лиза тоже согласилась, и через неделю была сыграна свадьба, а через месяц молодые супруги уехали в дальнее имение Масурова, в котором, по его словам, были три каменные усадьбы.

Лизавета Васильевна не переставала любить Бахтиарова. Мужа она не уважала. Встречу ее с Бахтиаровым и дальнейшую тактику с той и другой стороны мы видели уже прежде. В деревню уехала Лизавета Васильевна после свидания с теткою, от которой она узнала все городские толки; но, кажется, главною причиною ее отъезда было то, что бедная женщина стала бояться самое себя. Живя в деревне, она приходила в состояние полного отчаяния: ходила в весеннее время по сырой земле в одних башмаках, с целью получить горячку; ездил верхом на невыезженных лошадях — и вот теперь расстроила свое здоровье совершенно. Бахтиаров писал к ней несколько писем, над которыми плакала она по целому дню, но не допускала себя прочесть их и даже нераспечатанными отправляла обратно. Но теперь она чувствует себя более способною владеть собою и не допустит Бахтиарова заговорить с нею о любви; но не видеть его совершенно — у ней недостает сил.

Вот что рассказала Павлу Лизавета Васильевна.

Что касается до Юлии, то она в настоящее время тоже страдала не менее других. Лишенная правильного, или, лучше сказать, всякого нравственного воспитания, она имела свой идеал мужа, к которому, конечно, никаким образом не мог подходить неуклюжий и неловкий в обращении Павел. Внутренних его достоинств, которые бы могли составить счастье другой женщины, Юлия не могла ни понять, ни оценить. Она вышла замуж, главное, затем, что этот брак выгоден. Но и в этом отношении она ошиблась: Павел был небогат и нечиновен. Часто она проплакивала почти целые ночи после встречи в обществе с другою какою-нибудь молоденькой дамою в богатом нарядном платье, приехавшею шестерней в карете с чиновным, но не старым еще мужем, с которым обходятся запанибрата все сильные в губернии. Но еще невыносимее были для нее слухи о новых партиях, делаемых ее сверстницами, которые, как она была убеждена, не стоили ее башмака, а между тем выходили за красивых и богатых людей. Кроме того, она, как мы знаем, была влюблена, еще в девушках, в того же счастливица — Бахтиарова, который так жестоко оскорбил ее самолюбие своим невниманием. Выходя замуж, она думала досадить губернскому льву, быть с ним как можно холоднее и ласкаться в его присутствии к Павлу. Все это легко бы было исполнить для Юлии, потому что Бахтиаров бывал у них довольно часто. Но вышло совсем иначе; в присутствии его она сделалась еще холоднее к мужу и как бы невольно заговаривалась с гостем и по целым часам не спускала с него глаз, а недели через две уже решительно убедилась, что она обожает этого человека, и дала себе слово употребить все средства, чтобы и его заставить полюбить себя. Юлия начала действовать без всякой осторожности: видимо старалась остаться с Бахтиаровым наедине, заговаривала с ним о любви. Однажды, в беседе tête-à-tête¹, Бахтиаров, молча и довольно нецеремонно, взял у Юлии руку и поцеловал ее. М-те Бешметева хотела было рассердиться, но фронт посмотрел на нее таким убедительным взором, что она только вздохнула. Приехавшая в это время с визитом одна почтенная дама прервала эту сцену. Уезжая, Бахтиаров спросил у Юлии, когда она будет дома одна.

¹ с глазу на глаз, (франц.)

— Послезавтра поутру, — отвечала она.

В продолжение этих двух дней Юлия одумалась и дала себе слово держать Бахтиарова в почтительном отдалении и только влюбить его в себя и заставить его, на досаду прочим дамам, предпочтительно перед всеми заниматься ею одною в обществе. В назначенный день она приняла его в гостиной, с умыслом растворив дверь в соседнюю комнату, в которой сидела горничная и что-то шила. Бахтиаров заметил эту предосторожность и с кислую гримасою уселся против Юлии. Разговор начался на французском языке. Юлия, в сильном волнении, призналась льву, что она его давно любит, но любовью чистою, что будто бы его не любила так ни одна женщина. Бахтиаров был совершенно спокоен и только немного скучен; впрочем, он уверял Юлию, что он тоже ее любит давно, но жениться на ней не мог по одной тайной причине, холоден с нею был потому, что боялся увлечься бесполезною страстию.

Приезд Лизаветы Васильевны изменил ход происшествий, потому что изменил совершенно Бахтиарова, который стал гораздо реже ездить к Бешметевым и целые дни попрежнему просиживал у Масуровых; с Юлией же он более не заговаривал о любви.

Истинно страдала бедная Юлия, терзаемая досадою, любовью, обиженным самолюбием и ревностью. Не видя почти целую неделю Бахтиарова, она решилась написать ему письмо на французском языке, которое и имею честь представить в переводе:

«Что ты со мною сделал? Я плачу, я умираю, я чувствую все муки ада, потому что не вижу тебя. Если ты меня не любишь, скажи мне, умертви меня, и я тебя буду благословлять, потому что теперь я умираю каждую минуту. О, приди, приди! Дай мне тебя видеть, пересказать тебе все, что я чувствую! А если нет... я умру. Видишь, я забываю стыд, самолюбие и пишу к тебе.

Вся твоя».

Юлия в этом письме хотела поразить Бахтиарова силою страсти, но ни подозрения, ни ревности, ни самолюбия не хотела высказать. Павел в этот день на весь вечер ушел к сестре. Юлия отправила письмо с своей пре-

данною торничной, которая, впрочем, забежав в кухню, не преминула рассказать прочей братии, что барыня послала ее с какою-то записочкой к Бахтиарову. Отправив свое послание, Юлия, в ожидании ответа, без преувеличения начала переживать муки ада. Ей вдруг сделалось стыдно и страшно своего поступка: что, если Бахтиаров не любит ее и только обманывает? Что, если он будет показывать это письмо своим знакомым и об этом узнает весь город и папенька Владимир Андреич? Юлия расплакалась и молила бога, чтоб ее послание каким-нибудь образом не дошло по своему назначению. Она решила даже уехать к отцу, побыть у него целый вечер; но... Бахтиаров явился. Юлия задрожала; она даже была не в состоянии отвечать на его обычное приветствие и сидела, как уличенная преступница.

— Вы желали меня видеть, — сказал он, усаживаясь очень близко около хозяйки.

Юлия была не в состоянии ничего отвечать.

— Вы любите меня, — продолжал он, беря ее за руку.

Юлия потихоньку выдернула руку и отодвинулась; но Бахтиаров опять взял ее руку.

— А вы, так меня не любите, вы меня обманываете, — проговорила она со слезами на глазах.

— С чего же это вы взяли? Я вас очень люблю, — проговорил лев и хотел Юлию взять за талию.

Но она быстро встала и перешла на другой конец комнаты.

— Я не хочу, чтобы вы так любили меня, — сказала она.

— Как же вы хотите? — спросил Бахтиаров.

— Я хочу, чтоб вы меня любили, как брат, как друг, чтоб вы только гуляли со мной, говорили; мы станем вместе читать, заниматься музыкой. Я вас люблю чистою любовью.

На слове чистая любовь Бахтиаров сделал гримасу.

— Adieu, madame ¹, — проговорил он, взявшись за шляпу.

Юлия взглянула ему в глаза.

— Куда же вы? — спросила она.

— Куда-нибудь, — отвечал фронт. — Я не могу вас видеть, я не должен даже вас видеть, потому что я слишком

¹ Прощайте, сударыня, (франц.)

страстен, слишком люблю вас. В письме. вашем вы гораздо более обнаружили чувств: стало быть, вы меня обманывали...

— Нет, я писала, что чувствовала, ты сам это очень хорошо знаешь.

— Adieu, madame, — проговорил опять Бахтиаров.

— Постой, выслушай меня, — сказала Юлия, взяв его за руку, — разве это не любовь, что я о тебе только и думаю, что ты для меня я не знаю что такое?

— Право? — спросил Бахтиаров.

Приехавший от сестры Павел остановил дальнейшее развитие их объяснений. Бахтиаров успел уже пересечь в почтительное отдаление от хозяйки. Разговор не начался, всем было неловко.

Павел на этот раз почти не обратил никакого внимания на то, что застал губернского льва наедине с женою, он думал о бедной Лизавете Васильевне, которая рассказала ему, что Бахтиаров перестал к ним ездить и прислал к ней письмо, которое она, против собственной своей воли, приняла и прочитала. Бахтиаров писал, что он отказывается от свидания с нею, потому что страсть его возрастает с каждым днем; что он уже долее не в состоянии владеть собою и готов, несмотря на ее холодность, при ее муже броситься к ее ногам и молить о любви. После этого письма Бахтиаров целую неделю не бывал у них. Лизавета Васильевна говорила, что она уже привыкла не видеть его, что Бахтиаров сделал это потому, что благороден и не хочет погубить ее. Сказав это, бедная женщина расплакалась и проплакала целый вечер.

XIV

СОПЕРНИЦЫ

Кураев, наконец, уехал в Петербург, а Павел определился на службу. Случилось это следующим образом: Владимир Андреич, как мы видели еще в первой главе, советовал зятю, не рассчитывая на профессорство, определиться к должности, а потом начал убеждать его сильнее и даже настаивать, говоря Павлу, что семейный человек не то, что холостой, — он должен трудиться каждую минуту и не имеет никакого права терять целые годы

для слишком неверных надежд, что семьянину даже неприлично сидеть, как школьнику, за учебником.

— Павел Васильич, — говорил Владимир Андреич своим внушительным голосом, — мы вам отдали дочь не для того, чтобы она терпела нужду; тем более, от чего проистекает эта нужда? Извините меня, просто от вашей лени. Что вы теперь делаете? — Ничего! Я вам должен прямо сказать: вы не можете быть профессором, вы, верно, уже все перезабыли; но вы можете, и по вашим способностям и по вашему воспитанию, быть хорошим чиновником. Полноте, милый мой, выкиньте из головы ваши бредни и завтра же поедете со мною к доброму и почтенному Назанову; он вас полюбит и выведет в люди.

Павел не возражал тестю, потому что в словах Владимира Андреича, пожалуй, было много и правды. Грустно и тошно сделалось моему герою, когда он попристальнее взгляделся в самого себя и свое положение: заниматься науками он действительно не мог; для чего же он трудился десять лет? Чем вознаграждены эти труды? В обществе он до сих пор не имеет никакого значения, а в домашней жизни... В домашней жизни он мог бы быть счастлив, но Юлия, жестокая Юлия, она решительно не любит его, она не может даже выслушать его, когда он начнет ей говорить о самом себе или даже о чем бы то ни было, не говоря уже о том счастье, которое могло бы возникнуть из взаимной любви, дружеских вечерних бесед, из этой обоюдной угодливости и проч. и проч. Ничего этого не было, а между тем нужда, этот бич даже счастливых супругов, начала уже ощутительно показываться в их жизни. Деньги были все прожиты, наделано тысячи три долгов, карета сломалась, одну лошадь совершенно испортили — все бы это следовало исправить, а на что? Денег всего пятьдесят рублей, которых едва достанет на неделю. «Бог с ним, с профессорством, — решил Павел, — определяюсь на службу и стану трудиться».

Здесь я должен заметить, что при этих размышлениях Павлу, несмотря на всю его неопытность в практической жизни, невольно пришло в голову: отчего Владимир Андреич сам ничего не дал за дочь, почему все заботы складывает на него, а в то же время решительно не оценивает ни его благородства, ни его любви к Юлии; что Владимиру Андреичу следовало бы прежде внушить дочери, чтобы она любила и уважала мужа, а потом уже

и от него требовать строгого и предусмотрительного исполнения обязанностей семьянина.

Но, как бы то ни было, Павел решился служить и на другой же день объявил о своем намерении тестю. Тот сейчас же свез его к Назанову, занимавшему довольно значительное место, который, собственно из одного расположения к Владимиру Андреичу, после нескольких недель испытания и приготовления дал ему место столоначальника. Павел начал работать неутомимо: написанные им доклады и бумаги невольно кидались в глаза отчетливостью, краткостью и ясностью изложения; дела принятого им стола пошли гораздо быстрее и правильнее, одним словом, в какие-нибудь два или три месяца Бешметев успел заслужить, что называется, канцелярскую славу; начали даже поговаривать, что вряд ли начальство не готовит его в секретари. Все эти служебные подвиги герой мой совершил с величайшим усилием над самим собою, или, лучше сказать, над своим сердцем. Он был привычен и способен ко всякому занятию, но трудно было ему просиживать почти целые дни, не выдавшись с Юлией: он не знал, что она делает, а главное, его мучило подозрение, не сидит ли у ней Бахтиаров. Как бы желая рассеять себя, он еще прилежнее и внимательнее начинал работать целое утро, целый вечер до поздней ночи. Возвращаясь домой, находил Юлию постоянно печальною и чем-то расстроенною. Она тоже боролась с своим сердцем. Бахтиаров сдержал свое слово и не бывал у них. М-те Бешметева ровно две недели не давала воли этому бедному сердцу и только посылала к Бахтиарову то за книгами, то за нотами, который все это присылал к ней, но сам не являлся. Наконец, в ней не стало больше силы не видеть его; она написала к нему письмо, в котором умоляла его прийти к ней. Послание это отправлено было с тою же горничной.

Поутру в этот день случилось одно ничтожное и неважное происшествие, имевшее, как увидит читатель, довольно важное последствие. Юлия собиралась ехать с визитами и велела себе, между прочим нарядом, подать тюлевый воротничок, который и был подан; но оказалось, что надеть этого воротничка не было никакой возможности, потому что он скверно вымыт и еще хуже того выутюжен. Юлия Владимировна очень рассердилась на горничную, которая, в оправдание свое, донесла госпоже, что

воротничок этот мыла не она, а ключница Марфа. Юлия Владимировна позвала Марфу и спросила ее, как она смела так скверно вымыть. Старая и почтенная ключница, очень обижавшаяся тем, что ее заставляют, как простую прачку, полоскать всякую дрянь, объяснила, что она лучше мыть не умеет и что уже она стара, и потому с нее грех спрашивать, как с молоденькой. Юлия, конечно, еще более рассердилась за подобную дерзость и закричала на Марфу, говоря, что она ее заставит мыть хорошо, и назвала ее, в заключение своего монолога, мерзавкою. Марфа с своей стороны тоже очень рассердилась и возразила госпоже, что она не мерзавка, что ее никогда так не называла — царство небесное! — старая барыня и что отчего-де Юлия Владимировна не спрашивает ничего с своего приданного человека, который будто бы уже скоро очумеет от сна, а требует только с людей барина, и что лучше бы-де привести с собою молодых горничных, да и распорядиться ими.

— Вон пошла, скверная! — закричала Юлия Владимировна и плюнула. — Ах ты, негодная! Сегодня же заставлю Павла Васильича наказать тебя. Вон пошла, тебе говорят, — выгоните ее вон.

Марфа, не переставая говорить и расплакавшись, ушла в девичью, ворчала целое утро и не явилась даже к столу, говоря, что она оплеванная, а ввечеру отправилась к людям Лизаветы Васильевны. Юлия Владимировна была вспыльчива, но не зла. Когда возвратился Павел, она даже забыла рассказать ему про грубость Марфы, и, кажется, тем бы все и должно было кончиться; но Марфа сидела очень долго у прислуги Лизаветы Васильевны, жаловалась на барыню, рассказывала утреннее происшествие и, к слову, рассказала много кой-чего еще и другого, а именно, что барин хоть ничего и не видит, а барыня-то пришаливает с высоким барином, с Бахтиаровым, что у них переписка, что все будто бы за книжками посылает свою приданную дуру. Ан дело-то не то, вот и сегодня отправлена к нему записочка. Петрушка своими глазами видел в щелку, как они целовались.

— Ведь в него и наша-то влюблена, — заметила горничная Лизаветы Васильевны на слова Марфы и вечером, раздевая барыню, никак не утерпела, чтобы не рассказать ей новости, сообщенной Марфою, и с некоторыми даже прибавлениями. Лизавета Васильевна, выслушав

весь этот рассказ, сначала вспыхнула, а потом страшно побледнела, как будто бы вся кровь бросилась к сердцу.

— Кто же это тебе наболтал? — спросила она.

— Ключница ихняя, она не станет врать; сегодня целый вечер сидела у нас и все, все, что ни есть, рассказала.

— Да отчего же они знают, что у них переписка?

— Ну как, матушка, не знать! Вот и сегодня послала свою горничную опять с записочкою.

— И сегодня? — едва могла выговорить Масурова.

— И сегодня, — отвечала горничная. — А этта так все за книжками будто бы посылала к нему, раза по два в день. Ну, а уж известно, какие книжки-то.

— Все это пустяки; у меня не смейте никому болтать, — проговорила Лизавета Васильевна и выслала горничную от себя.

Несколько минут она не могла прийти в себя, так поразила ее сообщенная горничною новость. «Неужели это правда? — думала она. — Неужели Бахтиаров обманывал ее? Неужели он такой интриган — он, который был при ней всегда так холоден со всеми другими женщинами? Неужели он влюблен в Юлию и интригует с нею? Нет, это не может быть: они из пустяков обыкновенно выводят свои заключения. Может быть, она так только приветлива с ним, как хозяйка; но эта переписка? При слуге не придет в голову выдумать о переписке». Вот что думала Лизавета Васильевна, а между тем сердце ее разрывалось на части. Сила любви, говорит Жорж Занд, заключена в нас самих и никак не обуславливается достоинством любимого человека, которого мы сами украшаем из собственного воображения и таким образом любим в нем свой призрак. Лизавете Васильевне Бахтиаров казался чем-то выше всех других людей. Отторгнувшись от его исканий еще до замужества своего, отторгаясь и теперь от них вследствие нравственного инстинкта, она все-таки не переставала любить и уважать его. В своих отношениях с ним она видела что-то поэтически-прекрасное; она воображала, что они оба страдальцы, родные по душе, но отторгнутые обстоятельствами, хотя и должны жить далеко друг от друга, но с непрестанною мыслию один о другом, с вечною и неизменною любовью. Вот что она думала прежде; но что же выходит теперь: он обманывал ее, как обманывал другую, третью; можно ли,

любя одну, интриговать с другою? В состоянии ли, например, она не только полюбить другого мужчину, — но, боже мой! — даже подумать о другом, кроме него, тогда как он, может быть, теперь, в эту минуту, счастлив с другою, с которою смеется над нею и над ее любовью? Напрасно рассудок говорил бедной женщине, что это не должно ее беспокоить, что, отторгнувшись от Бахтиарова, она не имеет никакого права обязывать его, как мужчину, на верность, что это даже лучше, потому что предохранит ее самое навсегда от падения. Но сердце не слушало, оно тосковало, грустило и ревновало. Приехал Михайло Николаич и, как обыкновенно, немного пьян; он начал было длинный рассказ о том, что кто-то без всяких уважительных причин прибил кого-то стулом. Но Лизавета Васильевна, ссылаясь на болезнь, просила мужа идти в свою комнату. Тот ушел, но только не в свою комнату, а велел заложить лошадь и опять куда-то уехал.

На другой день поутру, часу в двенадцатом, Масурова отправилась к брату. Я не могу здесь умолчать о том, что единственной причиною этой поездки был рассказ горничной девки. «Я, верно, застаю его у нее, — думала Лизавета Васильевна, — а если нет, то нарочно буду заговаривать о нем и увижу, как она будет себя вести». Приехав к Бешметевым и увидя у крыльца лошадь Бахтиарова, она тихо прошла лакейскую, в которой никого не было, и еще осторожнее пошла по зале. Дверь в гостиную была притворена, и оставалось небольшое отверстие. Лизавета Васильевна не могла утерпеть и, не входя в комнату, заглянула в щель. Все сомнения рушились: Бахтиаров сидел на диване рядом с Юлией, которая одною рукой, опирающеюся на стол, поддерживала свою голову, а другою держала затянутую в перчатку руку льва. Она была грустна и в заметном волнении! Что же касается до Бахтиарова, то он тоже смотрел довольно пристально на Юлию, но с каким именно выражением, Масурова не могла уже заметить, потому что сама едва удержалась на ногах. Дрожащими руками схватилась она за косяк двери и несколько минут пробыла как бы в бессознательном состоянии. Придя несколько в себя, она отошла от двери, начала довольно громко кашлять и с этими уже предосторожностями вошла в гостиную. При входе ее хозяйка сидела у окна за пальцами, Бахтиаров оставался на прежнем месте, Юлия в смущении поздоровалась

с сестрой и просила ее сесть. Несколько минут продолжалось странное молчание.

— А брат где? — спросила, наконец, Лизавета Васильевна.

— Он на службе, — отвечала Юлия. — Как теперь ваше здоровье?

— Мне лучше.

Здесь разговор прекратился на несколько минут.

— Как здоровье Михайла Николаича?

— Он здоров.

И опять разговор прекратился.

— Какое у вас миленькое платье! Где брали?

— У Кривоногова.

— У него все товары со вкусом.

— Нельзя сказать!

Опять молчание, которое прервала уже Лизавета Васильевна.

— Что вы теперь подделываете? — спросила она.

— Ничего особенного, вышиваю подушку.

— А я так ужасно скучаю: книг совершенно нет. Вы, я слышала, та *sœur*, берете книги у Александра Сергеевича, — сказала Лизавета Васильевна, указав глазами на Бахтиярова.

При этом намеке Юлия вся вспыхнула. Что же касается до губернского льва, то в первую минуту он надулся, но потом на устах его появилась улыбка, как будто бы ему был приятен намек Масуровой. Возобновившийся потом, после непродолжительного молчания, разговор также как-то не вязался, но зато очень много говорили глаза: Бахтияров, не говоривший почти ни слова, несколько минут пристально смотрел на Лизавету Васильевну, которая, видно, была не в состоянии вынести его взгляда и потупилась; Юлия, повидимому, глядевшая на свою работу, в то же время прилежно следила за Бахтияровым и, поймав его продолжительный взгляд на Масурову, посмотрела на него с немым укором. Губернский лев тотчас начал глядеть на потолок. Лизавета Васильевна, с своей стороны, тоже все видела и, наконец, встала.

— Куда же вы? — спросила Юлия тем тоном, которым обыкновенно говорят хозяева гостям, когда искренне желают, чтобы они поскорее убирались восвояси.

— Домой. Дети одни. Прощайте, та *sœur*, *adieu*, *monsieur*, — проговорила Масурова и уехала.

Во всей этой сцене Масурова, как мы видели, по возможности владела собою. Но когда она возвратилась домой, силы ее оставили; бледная, истерзанная, упала она на кресло и долго сидела в таком положении, а потом позвала было к себе Костю, игравшего у окошка бумажною лошаdkою, хотела ласкать его, заговаривала с ним, но все напрасно — слезы невольнo текли по щекам ее. «Господи!» — проговорила она, оттолкнула от себя ребенка и ушла в свою комнату. Приехал Михайло Николаич и не мог добиться от жены ни одного слова. Она сидела задумавшись и, кажется, решительно не понимала и не видела, что происходит вокруг нее.

По отъезде Масуровой Бахтиаров и Юлия несколько минут молчали.

— Она все знает, — сказала, вздохнув, Бешметева. — Вот видишь ли, — продолжала она, устремив на Бахтиарова нежный взор, — что я еще сделала? — ничего, а между тем злые люди клеветают на меня. Но я теперь спокойна; совесть меня не укоряет; если бы даже и папенька узнал, я бы и тому сказала, что я люблю тебя, но люблю благородною любовью. Я не понимаю, что у вас, мужчин, за страсть отнимать у женщин спокойствие души, делая из них, чистых и прекрасных, каких-то гадких существ, которых вы сами будете после презирать.

Бахтиаров не обратил, кажется, должного внимания на этот прекрасный монолог, потому что занят был какими-то собственными соображениями, и при последних словах он встал и взялся за шляпу.

— Куда же? — спросила Юлия.

— Нужно. Надо поздравить одного именинника, — отвечал лев.

— Опять меня оставляешь, бог с тобой!

— Нужно. Увидимся.

— Скоро?

— Скоро.

— Постой, два слова. Было у тебя что-нибудь с Масуровой?

— Решительно ничего.

— Лжете вы, monsieur, она в вас влюблена по уши, а теперь ревнует.

— Ты думаешь?

— А ты не видишь будто бы... Ох, какой ты хитрец!

— Adieu, — проговорил франт и, как бы желая загладить свою холодность, взял руку Юлии и крепко поцеловал ее...

Долго, очень долго смотрела Юлия вслед ему и потом в раздумье села за пяльцы, но не могла вышивать, потому что в подобном состоянии только для вида садилась за работу.

Между тем Бахтиаров приехал домой. Здесь я считаю себя обязанным представить читателю моему тот монолог, который произнес он сам с собою ходя взад и вперед по своему залу. «Чудная эта женщина — Масурова, — думал он, — какие у ней прекрасные манеры! Насколько она лучше этой Бешметевой! А эта решительно дрянь: в каждом слове, в каждом ее движении так и лезет в глаза провинцией; покуда молчит, еще ничего: свежа... грудь хорошо развита... и, должно быть, довольно страстная женщина... Но Масурова... черт знает что за женщина. Вот три года, как я за ней ухаживал, и как она выдерживает! Не может же быть, чтобы это было одно кокетство; ну, а если это проистекает из нравственного чувства, из какого-то природного благородства? Но страннее всего, я сам с нею теряюсь, я не могу быть ни решительным, ни настойчивым, делаюсь каким-то приторным вздыхателем, то есть отъявленным дураком. Сегодня она решительно ревнует. Давно бы мне схватиться за эту мысль. Притворюсь спокойным, заведу у ней под носом интригу, а женщины из ревности, что в переводе значит из самолюбия, решаются на все. Интереснее всего, что и эта госпожа Бешметева толкует о каком-то идеализме».

Затем губернский лев еще глубже начал вглядываться в свое сердце, и нижеследующие мысли родились в его голове: «Я просто ее люблю, как не любил ни одной еще в мире женщины. Как иначе объяснить, что я по целым вечерам припоминаю то время, когда она была еще девушкой? Что это было за умное и милое существо! Как был я счастлив, просиживая у них в их душных комнатах целые дни и наслаждаясь только тем, что глядел и любовался на нее! Даже теперь я женился бы на ней и, право, был бы, по возможности, счастлив. Мой расчет верен: какая и в настоящем своем положении она нежная мать и терпеливая жена».

Результатом этих размышлений было то, что Бахтиаров решил ехать к Масуровым.

Время до семи часов показалось ему очень долго; он беспрестанно глядел на часы и, наконец, не дождавшись, отправился в шесть с половиною. В расчете его было не застать Масурова дома, но, сверх ожидания, Михайло Николаич оказался налицо. Увидев Бахтиарова, он искренне обрадовался.

— А, ваше баронство! — вскричал Масуров. — Лиза! Барон приехал. — Я вас все зову бароном; у вас в лице есть что-то такое важное... баронское. Милости прошу. Мы с женою часто о вас говорим. Я вас уж с неделю не видал... Ну, думаю, мой барон, должно быть, какую-нибудь баронессу обхаживает. — Говоря таким образом, Масуров ввел своего гостя в гостиную. Прозвать приятеля бароном Михайло Николаич выдумал экспромтом, от радости, что его увидел. Лизавета Васильевна сидела за самоваром. Она поклонилась гостю довольно сухо.

— Честь имею представить вам господина барона, — говорил Масуров. — Прошу покорнейше к столу. Я надеюсь, что ваше баронство не откажет нам в чести выпить с нами чашку чаю. Милости прошу. Чаю нам, Лиза, самого сладкого, как, например, поцелуй любви! Что, важно сказано? Эх, черт возьми! Я когда-то ведь стихи писал. Помнишь, Лиза, как ты еще была невестой, я к тебе акростих написал:

Лицом прелестна, как богиня
Или как будто б сам амур,
За все, за все тебя я обожаю ныне,
А прежде все влюблялся в дур.

Этот акростих Михайло Николаич тоже создал экспромтом.

— Что, ведь недурно?.. Ну, а ваше баронство, вы, я думаю, переписали акростихов всякого рода: и к Катенькам, и к Машенькам, и к Лизанькам — ко всему женскому календарю. Нынче, впрочем, я очень начал любить Перепетую, потому что имя это носит драгоценная для меня особа, собственно моя тетка. На днях дала триста рублей займа. Что же вы трубки не курите? Малый, дай трубку, вычисти хорошенько, горячей водой промой, знаешь!.. Люблю я вас, Александр Сергеич, ей-богу, славный вы человек!

Бахтиаров поклонился.

— Право, ей-богу, — продолжал Масуров, — я очень склонен к дружбе. Будь я подлец, если не готов вот так,

как теперь мы сидим, прожить десять лет в деревне. Жена... приятель, — черт возьми! чего же больше?

Так говорил без умолку Масуров, очень обрадованный приездом Бахтиарова. Он потом рассказал, что в Малороссии даже и были такие два помещика и жили почти таким образом в деревне, один женатый, а другой холостой, и что прожили, кажется, двадцать лет, никуда не выезжая. Бахтиаров заметно мало слушал хозяина, и все внимание его было обращено на хозяйку. Лизавета Васильевна занималась с сидевшим около нее Костей, с которым случилось весьма печальное приключение: он забил в рот огромный кусок кренделя, намоченный в горячем чае, и обжегся. «Выброси», — говорила мать, но Костя не выпускал и со слезами на глазах продолжал управляться с горячим куском. Наконец, терпения не стало: он заплакал. Мать взяла его к себе на руки и утешала, говоря, что это ничего, что все прошло. Ребенок утешился и, став к матери на колени, начал с нею играть, заливался громким смехом и притопывал ножонками.

Вот на что смотрел с искренним чувством Бахтиаров.

— Юлия Владимировна приехала, — сказал вошедший слуга.

— А! — закричал Масуров и бросился встречать гостью.

Лизавета Васильевна взглянула на Бахтиарова и вышла в залу. В лице губернского льва ясно обозначилась досада.

Здесь я должен вернуться несколько назад. Бешметева, по отъезде Бахтиарова, осталась, как мы знаем, в странном состоянии духа. Ей очень хотелось скорей его опять увидеть и поговорить с ним. У ней едва достало терпения дожидаться того времени, в которое Павел обыкновенно снова уходил в вечернее присутствие. Наконец, время это пришло. Юлия тотчас же написала к Бахтиарову страшно страстную записку, в которой заклинала его прийти к ней на вечер. Воротившаяся горничная донесла, что Бахтиарова нет дома и что он сейчас куда-то уехал со двора. Юлия едва не умерла от досады. Но где ему быть? Куда он уехал? Неужели он отправился к Масуровым? — И в сердце Юлии Владимировны забушевало то же чувство ревности, которое, за несколько часов, так сильно мучило Лизавету Васильевну, и она, подобно той, взду-

мала съездить к невестке и посмотреть, что там делается. Но на лошади уехал Павел. Нетерпение Юлии было слишком сильно. Она не в состоянии была даже подождать экипажа и пешком отправилась к Масуровым. Шла она, видно, очень быстро, потому что, придя в лакейскую, принуждена была сесть и едва уже переводила дыхание.

— Сестрица, прекраснейшая из всех сестриц! — говорил Масуров, целуя ее руку. — Ужасно как я люблю целовать ваши ручки. Что это какие вы бледные? Не опять ли истерика?

— Нет, я пешком пришла... устала. — Кто у вас?

— Никого нет, всё свои.

— Кто же?

— Один только Бахтиаров.

Юлия вздрогнула, но, впрочем, встала и пошла в залу, где ее встретила хозяйка.

— Вот как я вам скоро отплатила визит — даже пешком пришла. Павел уехал, но мне хотелось пройтись.

Войдя в гостиную, Юлия небрежно кивнула головою Бахтиарову и села на диван. Михайло Николаич не замедлил усесться близ нее.

— Помните, сестрица, как я вас снегом-то оттирал, — начал он. — Вы такие были тогда хорошенькие, что просто ужас...

— А теперь что же? — спросила Юлия.

— А теперь еще лучше — честное слово! Знаете что, сестрица, признаться вам? — продолжал Масуров.

— В чем признаться?

— Я в вас влюблен.

— Право? Отчего же вы давно мне этого не скажете? Бедненький! Мне вас очень жаль.

— А вы, я думаю, кузина, меня терпеть не можете?

— Напротив; вы сами у нас никогда не бываете.

Юлия Владимировна любезничала с Масуровым для того, чтобы досадить Бахтиарову, но, к вящему ее мучению, заметила, что тот почти не обращает на нее внимания и разговаривает вполголоса с Лизаветой Васильевной. Ей очень хотелось к ним прислушаться. Но голос Михайла Николаича заглушал все их слова.

Юлия справедливо желала послушать разговор Бахтиарова с Лизаветой Васильевной, который был весьма многозначителен.

— Я не мог исполнить своего слова и не видеть вас, — говорил вполголоса и с чувством Бахтиаров.

— Вы, верно, приехали к мужу, — отвечала тоже вполголоса Масурова.

— Нет, я приехал вас видеть.

— Мегсі.

— Позвольте мне опять бывать у вас, видеть вас хоть ненадолго, хоть на минуту.

— Как вы смешны, Бахтиаров!

— Чем же?

— Тем, что — говорите теперь...

Бахтиаров насупился. В это время на него взглянула Бешметева.

— Monsieur Бахтиаров, есть с вами лошадь? — спросила она.

— Есть, — отвечал тот.

— Довезите меня до дому — я пешком.

Бахтиаров несколько минут думал.

— С большим удовольствием, — отвечал он и отошел от Лизаветы Васильевны.

Здесь я должен заметить, что Юлия решила на опасную и не весьма приличную поездку с Бахтиаровым с целью досадить Лизавете Васильевне. Тот, с своей стороны, согласился на это с удовольствием, имея в виду окончательно возбудить ревность в Масуровой.

После вышеописанной сцены всем сделалось как-то неловко: Лизавета Васильевна потупилась; Бахтиаров сел подаль и продолжал по временам взглядывать на нее. Юлия была в тревожном состоянии и едва могла выслушивать любезности Масурова, который уверял ее, что он никому в мире так не завидует, как Павлу. Через четверть часа Юлия уехала вместе с Бахтиаровым. Масуров очень просил было взять его с собою и позволить ему встать на запятки; но запятки были заняты лакеем. М-те Башметева села в экипаж, почти не помня себя от ревности. В противном случае, как я уже и прежде успел заметить, она никак бы не позволила себе сделать подобного неосторожного поступка.

— И после этого вы скажете, что у вас ничего нет с Масуровой? — сказала она, схватив своего обожателя за руку и крепко сжав ее.

— Что же такое у меня с ней?

— Как что? Зачем ты сегодня к ним приехал?

— Так, от нечего делать.

— Послушай, зачем ты меня обманываешь? Если не любишь, скажи мне прямо. Что у тебя за желание терзать и мучить бедную женщину, которая тебя боготворит?

После этих слов Юлия принялась потихоньку плакать.

— Перестаньте, Юлия; вы до безумия ревнивы, — говорил Бахтиаров. — Пойдемте, мы приехали.

Бешметева опомнилась.

— Где мы? — спросила она, заметив, что это был не их дом.

— Выходите, madame, — говорил вышедший уже Бахтиаров.

— Что ты хочешь со мной делать? — почти вскрикнула Юлия. — Ни за что... ни за что в свете! Лучше умру, а не пойду!

Бахтиаров пожал плечами и захлопнул дверцы экипажа.

— К Бешметевым, — сказал он кучеру и, не поклонившись Юлии, ушел в дом.

XV

ПАВЕЛ ВСЕ УЗНАЛ

Лизавета Васильевна сделалась больна. Болезнь ее была, видно, слишком серьезна, потому что даже сам Михайло Николаич, который никогда почти не замечал того, что делается с женою, на этот раз заметил и, совершенно растерявшись, как полоумный, побежал бегом к лекарю, вытащил того из ванны и, едва дав ему одеться, привез к больной. Врач этот пользовался в городе огромною известностью. Он был человек еще не старых лет, был немного педант в своем ремесле, то есть любил потолковать о болезнях и о способах своего лечения, выражаясь по преимуществу на французском языке, с которым, впрочем, был не слишком знаком. Он щупал несколько секунд пульс больной, прикладывая ухом к ее груди и потом с очень серьезным лицом вышел в гостиную, где, увидев Масурова с слезами на глазах, сказал:

— У ней воспаление в легких.

— Что же, это опасно? — спросил Масуров.

— Как вам сказать? — каков будет исход болезни; но вот видите, я бы желал, главное, знать основную причину болезни. Позвольте мне с вами переговорить.

— Сделайте милость, — отвечал Масуров.

— Во-первых, я вам объясню, что воспаление в легких есть двойное: или чисто чахоточное, вследствие худосочия, и в таком случае оно более опасно, но есть воспаление простое, которое условливается простудой, геморoidalною посылкою крови или даже часто каким-нибудь нравственным потрясением, и в этом случае оно более излечимо; но дело в том, что при частом повторении этих варварских воспалений может образоваться худосочие, то есть почти чахотка. Теперь позвольте вас спросить: супруга ваша золотушна?

На этот вопрос Михайло Николаич решительно ничего не мог отвечать.

— Не жаловалась ли она по крайней мере часто на грудную боль?

Михайло Николаич сказал, что жена больше жаловалась на головную боль.

Врач задумался.

— Не было ли у них прежде кашля, кровохарканья? — спросил он.

Михайло Николаич не знал и этого. Лизавета Васильевна никогда не говорила мужу о своих болезнях.

— Впрочем, я вам скажу, — продолжал доктор, — что способы лечения одинаковы, но мне хотелось бы основательнее узнать, потому что я поставляю себе за правило — золотушные субъекты, пораженные легочным воспалением, по исходе воспалительного периода излечивать радикально, то есть действовать против золотухи, исправлять самую почву.

Блеснув таким образом перед Масуровым медицинскими терминами, врач велел пустить больной кровь, поставить к левому боку шпанскую мушку и прописал какой-то рецепт.

Масуров всю ночь не спал, а поутру послал сказать Павлу, который тотчас же пришел к сестре. Михайло Николаич дня три сидел дома, хоть и видно было, что ему очень становилось скучно: он беспрестанно подходил к жене.

— Ну, ведь тебе лучше, Лиза? Ведь ты, по виду-то, ей богу, совсем здорова. Хоть бы посидела, походила, а то

все лежишь. Встань, душка: ведь лежать, ей-богу, хуже. Вот бы вышла в гостиную, посидела с братцем; а я бы съездил — мне ужасно нужно в одном месте побывать.

Лизавета Васильевна улыбалась.

— Да ты поезжай.

— Нет, душа моя, — я дал себе слово, покуда ты лежишь, ни шагу из дому. Павел Васильич, сделайте милость, сядемте в бостончик, я вас в две игры выучу, или вот что: давайте в штос — самая простая игра.

Павел не решался играть ни в бостончик, ни в банк, говоря, что он ненавидит карты. Михайло Николаич от скуки принялся было возиться с Костей на полу, но и это запретил приехавший доктор, говоря, что шум вреден для больной. Масурову сделалось невыносимо скучно, так что он вышел в гостиную и лег на диван. Павлу, который обыкновенно очень мало говорил с зятем, наконец сделалось жаль его; он вышел к нему.

— Каким образом сестра захворала? — спросил Бешметев.

— Должно быть, простудилась, — отвечал Масуров, — я уж это и не помню как; только была у нас вот ваша Юлия Владимировна да Бахтиаров, вечером сидели; только она их пошла провожать. У Юлии-то Владимировны лошади, что ли, не было, — только она поехала вместе с ним в одном экипаже.

— С кем? — спросил, вспыхнув, Павел.

— С Бахтиаровым; а Лиза вышла провожать их на крыльцо, да, я думаю, с час и стояла на улице-то. Я и кричал ей несколько раз: «Что ты, Лиза, стоишь? Простудишься». — «Ничего, говорит, мне душно в комнате». А оттуда пришла такая бледная и тотчас же легла.

— А в котором часу Юлия уехала? — спросил Павел.

— Да очень еще рано — только что мы чай отпили, ну, ведь вы знаете, весна время сырое. Я помню, раз в полку, в весеннюю ночь, правду сказать, по любовным делишкам, знаете... да такую горячку схватил, что просто ужас. Ах, черт возьми! Эта любовь! Да ведь ужас и женщины-то! Они в этом отношении отчаяннее нас — в огонь, кажется, полезут!

Павел на этот раз очень недолго оставался у сестры и скоро ушел домой.

Прошла неделя. Лизавете Васильевне сделалось лучше. Доктор объявил, что воспаление перехвачено.

Услышав, что у ней уже с полгода есть небольшое кровохаркание, и прекратив, как он выражался, сильное воспаление, он хотел приняться лечить ее радикально против золотухи. Между тем Павел день ото дня делался задумчивее и худел, он даже ничем почти не занимался в присутствии, сидел, потупя голову и закрыв лицо руками. Его мучила ревность... страшная, мучительная ревность. Случайно сказанные слова Масуровым, что Юлия уехала от них в одном экипаже с Бахтиаровым, не выходили у него из головы. Через несколько дней борьбы с самим собою он, наконец, решился спросить об этом жену.

— Вы на днях от сестры приехали с Бахтиаровым?

— Да, он довез меня в своем экипаже, — отвечала Юлия совершенно спокойным голосом.

«Или она дьявол, или она невинна! Я бы на ее месте при таком вопросе умер от стыда», — подумал Павел и уже не спрашивал более жены. Подозрения его еще более увеличились от некоторых вопросов Лизаветы Васильевны — так, например, она спрашивала: «Кто у них часто бывает? Нельзя ли Павлу переменить место и ехать в Петербург, потому что в здешнем городе все помешаны на сплетнях и интригах», — а также и от некоторых замечаний ее, что Юлия еще очень молода и немного ветрена и что над нею надобно иметь внимательный надзор. Благородная Лизавета Васильевна была не в состоянии сказать брату прямо того, что она знала; но, с другой стороны, ей было жаль его, ей хотелось предостеречь его. «Но к чему это поведет? — думала она. — Может быть, зло пройдет, и он не узнает». А что думала о самой себе, на это может отвечать ее болезнь.

Наконец, у Павла неостало более силы переживать свои мучительные сомнения. «Скажу, что пойду на целый вечер к сестре, а сам возвращусь потихоньку домой, — он, верно, у ней, — и тогда... тогда надобно будет поступить решительно; но, боже мой! как бы я желал, чтоб это были одни пустые подозрения». Вот что думал герой мой, возвращаясь домой обедать. Придя к себе, он боялся взглянуть на Юлию: ему было совестно ее, ему казалось, что она уже знает его намерение и заранее оскорбляется им. Юлия была действительно в этот день чем-то очень встревожена.

— Ты рано ли сегодня придешь? — спросила она Павла.

— По обыкновению, — отвечал Павел.

У него едва достало силы проговорить это слово.

Читатель, конечно, догадывается, что Павел не занимался в присутствии своими делами и сидел насупившись.

— Зачем это вы, Павел Васильич, ходите, когда у вас голова болит? — сказал молодой писец. — И нам бы полегче было, и мы бы не пришли — у нас очень мало дел-то.

— Я сегодня уйду рано: у меня очень голова болит, — отвечал Павел.

— Павел Васильич, и мне нужно уйти, у меня дяденька именинник.

— Вишь какой подхалим, вечно выпросится, — подхватил другой, необыкновенно белокурый и страшно рябой писец.

Павел ушел через полчаса. Он шел домой быстро и, кажется, ничего ясно не сознавал и ничего определенно не чувствовал; только подойдя к дому, он остановился. Не лучше ли вернуться назад и остаться в счастливом неведении! Но как будто бы какая внешняя сила толкала его. «Что будет, то будет», — подумал он и вошел в лакейскую, в твердом убеждении, что непременно застанет Юлию в объятиях Бахтиарова. Он прошел залу, — в ней было темно; прошел гостиную — и там темно. Весь дом был пуст, только в девичьей светился огонек. Павел вошел туда.

— Никого нет дома? — спросил он.

— Никого-с, — отвечала, встав на ноги, Марфа.

Павлу очень хотелось спросить, где барыня, но он опять не решился.

— Дайте мне свечку в гостиную, — проговорил он каким-то странным голосом и вышел из девичьей.

Свеча была подана.

«Где же она? — подумал он. — Я непременно должен спросить: где она? Есть же на свете люди, которые сделали бы это не думав».

— Марфа! — закричал Павел необыкновенно громким голосом.

Марфа предстала.

— Есть какое-нибудь там вино?

— Есть, Павел Васильич, — мадеры, что ли, прикажете?

— Давай мадеры!

Марфа принесла целую бутылку и рюмку, но Павел потребовал стакан и, не переводя духу, выпил стакана три. Вино значительно прибавило энергии моему герою. Посидев несколько минут, он неровным шагом вошел в девичью и позвал Марфу в гостиную: Марфа вошла за ним с несколько испуганным лицом.

— Где барыня? — спросил Павел, не подымая глаз на служанку.

— Я не знаю, батюшка.

— Врешь, ты знаешь... где барыня?

— Батюшка, Павел Васильич! Наше дело рабское.

— Где барыня? — повторил Павел.

— Павел Васильич! Я маменьке вашей служила, я не могу вам льстить. Оне изволили уехать, батюшка Павел Васильич.

— Куда?

— Наше дело подчиненное, вы со мной можете все делать, а я скрыть не могу, потому что я маменьке вашей служила и вам служу.

— Куда же она уехала, тебя спрашивают?

— Оне изволили уехать, Павел Васильич, не в доброе место. Горько нам, батюшка Павел Васильич, мы не осмеливались только вам докладывать, а нам очень горько.

— Говори все!

— Если вы изволите приказывать, я не смею ослушаться, — оне изволят быть теперь у Бахтиарова. Я своими глазами видела — наши пролетки у его крыльца. Я кучеру-то говорю: «Злодей! Что ты делаешь? Куда барыню-то привез?» — «Не твое, говорит, дело, старая чертовка»; даже еще выругал, разбойник. Нет, думаю я, злодеи такие, не дам я господина своего срать, тотчас же доложу, как приедет домой!

Через несколько минут Павел уж был близ квартиры Бахтиарова. Пролетка его действительно стояла у крыльца губернского льва. Кучер, разобидевший Марфу, полулежал на барском месте и мурлыкал тоненьким голоском: «Разлапушка-сударушка».

— С кем ты здесь? — проговорил Павел, быстро подойдя к нему, и толкнул его в бок.

Кучер вскочил, вытянулся и побледнел.

— С кем ты здесь? — повторил Павел.

— Я-с... на лошади-с... — отвечал кучер.

— Где барыня? — сказал Павел.

— Не могу знать, Павел Васильич, — отвечал кучер.

— Где барыня? — закричал уже Павел и, схватив кучера за ворот, начал с несвойственной ему силою его трясти.

— Батюшка Павел Васильич, я не могу ничего знать! Они изволили сюда уйти.

Павел выпустил его из рук и несколько минут глядел на него, как бы размышляя, убить ли его, или оставить живым; потом, решившись на что-то, повернулся и быстрыми шагами пошел домой. Дорогой он напрямик прорезывал огромные лужи, наткнулся на лоток с калачами и свернул его, сшиб с ног какую-то нищую старуху и когда вошел к себе в дом, то у него уж не было и шляпы. Кучер остался тоже в беспокойном раздумье...

— Вот что, — проговорил он, почесывая затылок, — пожалуй, ведь и в части высечет. Вот тебе и синенькая. Эка чертова оказия вышла!

Придя домой, Павел тотчас же написал к жене письмо следующего содержания:

«Я знаю, где вы. Там вы, с вашим любовником, конечно, счастливее, чем были с вашим мужем. Участь ваша решена: я вас не стесняю более, предоставляю вам полную свободу; вы можете оставаться там сегодня, завтра и всю жизнь. Через час я пришлю к вам ваши вещи. Я не хочу вас ни укорять, ни преследовать; может быть, я сам виноват, что осмелился искать вашей руки, и не знаю, по каким причинам, против вашего желания, получил ее».

Написав это письмо, Павел несколько минут сидел на одном месте, потом встал, быстро вошел в комнату матери, которая сделалась его кабинетом, и взглянул на бритвенный ящик... Но в это время что-то стукнуло. Павел вздрогнул, обернулся, и глаза его остановились на иконе божией матери, перед которой так часто молилась его мать-старуха. Он бросился перед образом на колени. Выражение лица его умилилось, спасительные слезы полились из глаз. Долго и как бы забыв все, молился Павел, а потом, заметно уже успокоившись, вышел в

гостиную, позвал к себе горничную Юлии и велел ей собрать все вещи жены.

Чтобы хоть несколько оправдать совершенно неприличный поступок Юлии, я должен вернуться назад и объяснить нижеследующие обстоятельства.

Мы видели уже, как в последний раз расстался Бахтиаров с Юлией. В продолжение целой недели он не ездил к Бешметевым, но, видимо, беспокоился о здоровье Лизаветы Васильевны, потому что каждый день стороной наведывался о ней. Напрасно Юлия посылала к нему за книгами, писала к нему полные отчаяния записки: Бахтиаров книги присылал, но сам не ехал и приказывал сказать, что он болен и никуда не выезжает. «Я пойду к нему; для его здоровья я решусь на все! Пусть он поймет, как я его люблю, — может быть, он, бедненький, умирает теперь, и я должна забыть все». Приняв такое намерение, Юлия, как и прежде, начала переживать муки ада. Не сознавая почти ясно того, что делает, призвала она кучера, дала ему ни с того ни с сего пять рублей на водку, а часов в шесть вечера, велев заложить лошадь и выехав из дому, приказала везти себя к Бахтиарову. Дорогой, впрочем, она придумала: «Приду, взгляну на него, скажу ему, что я пожертвовала для него всем, чтобы только видеть его, и тотчас же уеду домой».

Между тем как Юлия принимала и исполняла свое намерение, губернский лев, как говорится, проводил этот день глупо. Поутру он встал, от скуки ли, или от чего другого, в дурном расположении духа и часу до двенадцатого хандрил, а потом придумал, для рассеяния, угостить свою особу завтраком на крепкую руку. Вследствие чего призван был повар, который объявил, что у него готовится необыкновенного свойства бифштекс, который и был тотчас же спрошен, и к оному потребованы бутылки две вина. Часу ко второму пополудни все это было употреблено дочи́ста, а затем, пообедав, насколько достало сил, Бахтиаров под пасмурную погоду заснул и часу в шестом проснулся уже в совершенно дурном состоянии духа и с неимоверною жаждой, которую он и решил утолить холодным шампанским с сельтерскою водой. В это самое время лакей доложил, что приехала какая-то дама. Бахтиаров едва успел запахнуть надетое на нем широкое пальто, как явилась Юлия. Она вошла не-

много сценически, как входят трагические актрисы в последних актах драм.

— Ты, конечно, не ждал меня, — сказала она, беря франта за руку, — но я пришла, чтоб видеть тебя, — продолжала она, усаживаясь на диван и устремляя на льва отчаянно нежный взор.

Не знаю, что думал Бахтиаров; но только несколько минут он глядел на гостью с довольно странным выражением.

— Неужели ты и теперь сомневаешься в моей любви?

— Юлия! Я вас очень рад видеть, — проговорил, наконец, хозяин, — позвольте, впрочем, я скажу, чтобы никого не принимали.

И вслед за тем, вышед на несколько минут, он вернулся к своей гостье и уселся рядом с нею.

— Право, вы очень милы, — продолжал он, — что решились посетить меня в моей хандре. Долой вашу шляпу и давайте ваши ручки, — они удивительно хороши.

— Я к тебе на минуту; я хотела только тебя видеть, и прощай.

— Вот пустое! Куда вам торопиться-то? Кто может знать, что вы у меня?

— Я сама знаю, какие я глупости делаю, и никогда себе этого не прощу.

— Пустое вы говорите, Юлия, какие это глупости. Малый! Давай нам скорей шампанское и воду. Выпейте со мною вина, я сегодня в удивительном расположении духа пить вино.

— Но ты ведь болен, друг мой, — может быть, тебе это будет вредно.

— Мне вино никогда не бывает вредно. Мы с вами будем пить вместе.

— Я не могу.

— Вот пустяки. А если я буду просить у вас как жертвы?

— Если требуешь как жертвы — изволь; но только сейчас же поедем ко мне.

— Хорошо.

Вино было подано.

В это самое время подано было также и письмо Павла к Юлии, которая, прочитав его, побледнела и передала Бахтиарову. Тот, в свою очередь, тоже заметно сконфузился.

— От кого же он узнал? — проговорил он после нескольких минут размышления.

— Я не знаю, — отвечала Юлия.

Бахтиаров вошел в залу. Стоявший в лакейской кучер объяснил ему все.

— Он сам здесь был у крыльца, — сказал Бахтиаров, возвратившись к совершенно растерявшейся Юлии.

— Что мне теперь делать? — спросила она.

— Вам надобно ехать.

— Я боюсь, Александр, — возразила Юлия, — поедем вместе со мною; скажем, что мы катались и я к тебе захала на минуточку.

— Вот прекрасно! Вы хотите, чтобы при вас же была дуэль.

— Ах, я боюсь, Александр!

— Что ж вы боитесь?

— Я не знаю. Я прежде его никогда не боялась. Если он меня убьет?

— Вот что выдумала! Много что побранитесь, еще сами прикрикнете на него и скажите, в самом деле, что катались.

— Я скажу, что тебе дала лошадь, а сама где-нибудь была.

— Ну и чудесно.

Юлия встала, надела шляпку, но остановилась; ей, видно, очень не хотелось ехать.

— Ах, Александр! До чего ты меня довел! Что теперь со мною будет?

— Вы сами очень неосторожны, Юлия.

— Вот прекрасно! Я же виновата. Ты ужасный человек; ты решительно не понимаешь меня. Как же мне быть осторожной, когда я одним только тобою дышу, когда ты моя единственная радость? Я ненавижу моего мужа, я голоса его слышать не могу! Что же мне делать? Научи меня, как разлюбить тебя.

— Можно любить и быть более скрытною.

— Нет, Александр, я не могу скрываться, я сегодня же скажу ему, что я люблю тебя, и пусть он делает, что хочет, — пусть убьет меня, пусть прогонит. Я решительно не могу без тебя жить. Друг мой, милый мой! Возьми меня к себе, спаси меня от этого злодея; увези меня куда-нибудь, — я буду служить тебе, буду рабою твоею.

— Все это иллюзии; вы, Юлия, еще слишком молоды.

— Нет, друг мой, это не иллюзии, а любовь. Послушай, если муж меня прогонит — разве ты не обязан меня взять к себе? Разве ты уже не отнял теперь у меня доброго имени?

— Вам пора ехать, Юлия.

— Если он меня прогонит или будет кричать, я сегодня же приду к тебе. Я не в состоянии с ним жить.

Бахтиаров ни слова не сказал на это. После нескольких минут нерешительности Юлия уехала.

— Черт возьми! — проговорил сам с собою губернский лев. — Эта сумасшедшая женщина, пожалуй, навяжется мне на руки. Она совершенно как какая-нибудь романическая героиня из дурацкого романа. Надобно от нее решительно отвязаться. Я предчувствую, что она сегодня непременно придет. Уехать разве куда-нибудь? Так завтра приедет; надобно как-нибудь одним разом кончить. Напишу я к ней записку и отдам Жаку, чтобы вручил ей, когда пожалует. Даже комнаты велю запереть, чтобы в дом не пускали, а то, пожалуй, усядется да станет дожидаться.

Решив таким образом, Бахтиаров тотчас же написал записку к Юлии.

«Я не могу принять вас к себе, потому что это повлечет новое зло. Муж ваш узнал, — следовательно, наши отношения не могут долее продолжаться. Увезти вас от него — значит погубить вас навек, — это было бы глупо и бесчестно с моей стороны. Образумьтесь и помиритесь с вашим мужем. Если он считает себя обиженным, то я всегда готов, как благородный человек, удовлетворить его».

Бахтиаров позвал человека, оделся, отдал ему записку и велел передать ее Юлии, если она приедет; про себя велел сказать, что он уехал на несколько дней и приказал запереть комнаты.

Догадливый Жак смекнул, в чем дело. Он тотчас же запер двери и, закурив сигарку, уселся на рундуке крыльца.

— Матушка Юлия Владимировна! Ваше высокоблагородие! Заступитесь за меня, сделайте божескую милость, примите все на себя: вам ведь ничего не будет. Я, мол, его

через силу заставила. Ваше высокоблагородие! Заставьте за себя вечно бога молить!

Все это говорил кучер, везя Юлию домой, которая и сама была в таком тревожном состоянии, что, кажется, ничего не слышала и не понимала, что вокруг нее происходит; но, впрочем, приехав домой, она собралась с духом и довольно смело вошла в гостиную, где сидел Павел.

— Что это такое значит ваше письмо? — проговорила она, снимая шляпку и садясь на диван.

Павел, видно не ожидавший жены, встал в недоумении при ее приходе, а при последних словах решительно остолбенел.

— Я ездила прокатиться и заехала к нему — велика важность! — У него часто бывают дамы.

— Юлия! Вы так молоды и так... — начал Павел.

— Что такое?

— И уж так бесстыдны!

— Сам ты, бесстыдный человек, выдумал какую историю! Мало ли чего вам наскажут ваши люди?

— Я вам писал и теперь повторяю: я не могу с вами жить.

Юлия посмотрела на мужа.

— Что ж! Вы хотите меня прогнать?

— Не прогнать, а предоставить вам полную свободу, — вы можете сейчас же ехать, куда вам угодно.

— Вы этого не можете сделать — я ваша жена, вы должны меня содержать.

— Я вас обеспечу, дам вам содержание, но жить с вами не хочу.

— Ах, боже мой! Как вы меня испугали! Я очень рада, — сделайте милость, только обеспечьте меня.

— Я это знал и потому прошу вас сейчас же ехать.

— Что такое?

— Я сейчас вас прошу выехать из моего дома.

— Куда ж я поеду?

— Куда угодно.

— Что ж, ты с ума сошел или пьян?

— Я не сошел с ума и не пьян, но повторяю вам, что вы должны сию же секунду оставить меня, — деньги и все ваши вещи собраны.

— Смотри, что выдумал; я думала, что он так говорит. Ах ты, дрянь!

— Вы можете браниться, сколько вам угодно, потому что такой женщине все прилично.

— Какая же я, по вашему мнению?

— Развратная и бесстыдная.

— Так вот же тебе за это, — вскрикнула Юлия и плюнула на мужа.

Павел побледнел и затрясся.

— Послушай, глупая женщина, я добр, но могу быть и бешен.

Глаза его горели, на губах показалась пена. Юлия отскочила и упала на кресло.

— Он меня убьет! — Люди! Люди! Он меня убьет!

Прибежало несколько человек, но Павел был уже в зале и, схватив себя за волосы, как полоумный, прижался к косяку.

— Я не могу с ним жить, он меня убьет сегодня же ночью! Где мои вещи? Подайте их сюда! Я сейчас еду. Женился насильно, да еще убить хочет; я завтра же к папеньке напишу письмо. Если б я даже любила Бахтиярова, что ж такое? Не тебя же любить. Благородный человек скрыл бы. Велите заложить лошадей, я сейчас еду, а завтра напишу папеньке письмо, бумагу подам и вытребую себе следующую часть.

— Вы будете получать и без бумаги приличное от меня содержание, — отвечал Павел из залы.

Юлия надела шляпку, забрала свои вещи и вместе с горничною куда-то уехала. Но через полчаса она явилась. И в этот раз уже едва вошла в залу. Горничная вела ее под руку. Войдя в гостиную, Юлия приостановилась и, вырвавшись из рук служанки, совершенно без чувств упала на пол. Павел, услышав стук, вошел в гостиную и увидел Юлию почти мертвую на полу. Служанка бросилась принести спирт и позвать прочих, чтобы поднять барыню. Бешметев на этот раз решительно не обеспокоился обмороком жены и возвратился к себе в комнату.

Юлия пришла в себя, но истерическое состояние еще продолжалось. Она плакала навзрыд, и, несмотря на то, что стоны ее доходили до ожесточенного супруга, он не только не пришел к ней помириться, но, напротив, послал к ней горничную и велел спросить ее, когда она его оставит. Служанка не решалась передать этого барыне. Но

Павел написал жене записку, в которой прямо просил ее выехать из его дома. Юлия на это отвечала ему словесно, что он дурак, что она, назло ему, нарочно не поедет и что если он хочет, так пусть сам убирается вон.

Этим объяснением кончился роковой для моих супругов день.

XVI

БАХТИАРОВ

До сих пор я имел честь представлять губернского льва или в обществе, или в его интересных беседах с дамами, или, наконец, излагал те отзывы, которые делали о нем эти дамы; следовательно, знакомил читателя с этим лицом по источникам весьма неверным, а потому считаю нелишним хотя вкратце проследить прошлую жизнь, в которой выработалась его представительная личность, столь опасная для местных супругов. Отец его был помещик двух тысяч душ. До пятидесяти лет прожил он холостяком, успев в продолжение этого времени нажать основательную подагру и тысяч триста денег; имение свое держал он в порядке и не закладывал, развлекаясь обыкновенно псовой охотой и двумя или тремя доморощенными шутами, и, наконец, сбирал к себе раза по три в год всю свою огромную родню и задавал им на славу праздники. Но под старость, к ужасу своей родни, мечтавшей уже о грядущем после него наследстве, он женился на молоденькой француженке, жившей в гувернантках у его соседа. Первым и единственным плодом этого брака был наш губернский лев. Несмотря на обидные толки обманутой в ожиданиях родни, ребенок, заимствовав от матери черные глаза и нежную кожу, видимо, наследовал крепкие мышцы и длинный рост папеньки. Не минуло еще ребенку семи лет, как старик отец умер. Бахтиарова тотчас же переехала в Петербург, чтобы заняться воспитанием сына. Еще десяти лет Саша, красивый как амур, щегольски танцевал всевозможные танцы, говорил на трех языках, ездил мастерски верхом и дрался на рапирах. Дальнейшее воспитание сына Бахтиарова вздумала докончить в Париже. Услышав это намерение, вся родня пришла в отчаяние, пророча, что сиротка сам непременно будет года через три парижским ветошником, потому что

матушка, конечно, не замедлит промотать все состояние с каким-нибудь своим старым любовником. Злопророчество это отчасти начало сбываться, потому что Бахтиярова, тотчас же по приезде в Париж, отдала сына одному дальнему ее родственнику, профессору какой-то парижской школы, с видимою целью свободнее насладиться удовольствиями парижской жизни. Двадцать тысяч в один месяц утонуло в модных магазинах, и, может быть, к концу года к этому числу прибавился бы еще нуль, но судьба берегла сироту. Француженка простудилась на одном гулянье и умерла тифом. Саша остался в полном распоряжении своего наставника, который был по породе и по душе истый немец. Систему воспитания он имел свою, и довольно правильную: он полагал, что всякий человек до десяти лет должен быть на руках матери и воспитываться материально, то есть спать часов по двадцати в сутки, поедать невероятное количество картофеля и для укрепления тела поиграть полчаса в сутки мячиком или в кегли, на одиннадцатом году поступить к родителю или наставнику, под ферулой которого обязан выучить полупудовые грамматики и лексиконы древнего мира и десятка три всякого рода учебников; после этого, лет в восемнадцать, с появлением страстей, поступить в какой-нибудь германский университет, для того чтобы приобрести факультетское воспитание и насладиться жизнью.

Такого рода системе воспитания хотел подвергнуть почтенный профессор и сироту Бахтиярова; но, к несчастью, увидел, что это почти невозможно, потому что ребенок был уже четырнадцати лет и не знал еще ни одного древнего языка и, кроме того, оказывал решительную неспособность выучивать длинные уроки, а лет в пятнадцать, ровно тремя годами ранее против системы немца, начал обнаруживать явное присутствие страстей, потому что, несмотря на все предпринимаемые немцем меры, каждый почти вечер присутствовал за театральными кулисами, бегал по бульварам, знакомился со всеми соседними гризетками и, наконец, в один прекрасный вечер пойман был наставником в довольно двусмысленной сцене с молодой экономкой, взятою почтенным профессором в дом для собственного комфорта. Убедившись решительно последним обстоятельством в присутствии страстей в молодом воспитаннике, немец решил отправить его в один из германских университетов. Юноша, с своей стороны, очень

этому обрадовался, потому что немец, а главное дело, его кухня, несмотря на привлекательную экономку, страшно ему надоели, и таким образом месяца через два он уже был в Германии.

Наставник снабдил Бахтиарова целою дюжиной рекомендательных писем к знаменитым ученым. Но он не явился ни к одной из них и даже, может быть, не поступил бы и в университет, если бы еще существовавшая в то время бурша не подействовала сильно на его воображение. Он тотчас же переменял модный парижский фрак на полуиспанский колет, запаса лосиною курткой и рапирами, начал выпивать невероятное количество пива, курить крепкий кнастер и волочиться за немками. Прошло два года. Бахтиаров по слуху узнал философские системы, понял дух римской истории, выучил несколько монологов Фауста; но, наконец, ему страшно надоели и туманная Германия, и бурша, и кнастер, и медхен; он решился ехать в Россию и тотчас же поступить в кавалерийский полк, — и не более как через год из него вышел красивый, ловкий и довольно исполнительный офицер.

Обеспеченность состояния, прекрасные манеры и почти ученое воспитание сблизили Бахтиарова на дружескую ногу с некоторыми из его аристократических товарищей. Но честолюбивому корнету хотелось более — ему хотелось попасть в тот заветный круг, в котором жили его друзья, посмотреть поближе на тех милых женщин, о которых они беспрестанно говорили и в которых были влюблены. Его представили, но замечен он не был. Бахтиаров, впрочем, принадлежал к числу тех людей, которые не отступятся от своего намерения при первой неудаче. Он поклялся заставить себя заметить и с этой целию вздумал удивить Петербург богатством: покупал превосходные экипажи, переменял их через месяц, нанял огромную и богатую квартиру и начал давать своим породистым приятелям лукулловские обеды, обливая их с ног до головы шампанским и старым венгерским.

Слух о невероятных издержках его достиг до будау-ров, его стали замечать, остроумие его начало смешить; и таким образом прошло три года. Но между тем как честолюбивый корнет предавался обаяниям общества, в котором все так льстило его самолюбию, так приятно развлекало, так умно и так ловко умело заинтересовать и ум

его и сердце, родительское состояние приходило к обычному концу, то есть к продаже за долги с аукционного торга. Бахтиаров был слишком умен, чтобы дойти донельзя. Рассчитав в одно прекрасное утро, что он уже никак не может жить долее таким образом, решил сразу переменить образ жизни и, убедя почти вполне своих приятелей, что он в сплину и что ему все надоело, скрылся из общества и принял, для поправления ресурсов, составлять себе выгодную партию.

Звезда его еще не угасла. Он успел сыскать себе, сообразно с своими планами, невесту. Это была богатая купеческая вдова, некогда воспитанная, по воле родителей, в каком-то пансионе и потом, тоже по воле родителя, выданная за купца с бородою, который, впрочем, умер от удара, предоставив супруге три фабрики и до миллиона денег. Пять лет купчиха вдовствовала, питая постоянно искреннее желание выйти замуж за молодого, красивого и здорового офицера. Всеми этими качествами в избытке владел Бахтиаров, и потому неудивительно, что он очень скоро успел в своих исканиях и получил, по совершении брака, сверх титула супруга, тысяч пятьдесят на собственные его расходы. Как ни выгоден был этот брак, но все-таки честолюбие корнета, принадлежавшего некогда к иному кругу, должно было сильно пострадать; потому на другой же день брака, к ужасу богатой вдовы, он подал в отставку, с намерением тотчас же переехать в Москву. Как молодая супруга ни убеждала не снимать мундира, который к нему так шел, он его снял, и таким образом через несколько месяцев они переселились в Москву. Целый год для обоих прошел сносно. Бахтиаров развлекался в клубах, обедал в гостиницах, а остальное время выезжал рысаков и присутствовал на бегах. М-ме Бахтиарова между тем наряжалась донельзя и ездила на всевозможные гулянья.

Наконец, все это надоело Бахтиарову; выпросив у жены всеми неправдами довольно значительную сумму, он разошелся с ней и решил переехать в провинцию. С этою целию он купил в той губернии, где мы первый раз с ним познакомились, имение и переехал туда, с намерением осуществлять на практике свои агрономические сведения. Но вышла неудача. Как поля ни отдыхали в шестипольной системе, как ни сеялся клевер, как ни укатывался овес — ни хлеба, ни овса, ни сена не только

что не прибывало, но, напротив того, года через два агроном должен был еще с февраля месяца начать покупку хлеба и корма. Проклиная жестокий климат и дурную почву, Бахтиаров переселился в губернский город и с первого же появления в свете сделался постоянным и исключительным предметом разговоров губернских дам, что, конечно, было результатом его достоинств: привлекательную наружность его читатель уже знает, про французский, немецкий, английский языки и говорить нечего — он знал их в совершенстве; разговор его был, когда он хотел, необыкновенно занимателен и остроумен, по крайней мере в это верили, как в аксиому, все дамы. И в самом деле, Париж, например, он знал, как свою деревню, половину Германии пешком выходил и целые два года жил в лучшем петербургском обществе. Но я, как беспристрастный историк, должен здесь заметить, что с дамами он вообще обращался не с большим уважением, и одна только Лизавета Васильевна составляла для него как бы исключение, потому ли, что он не мог, несмотря на его старания, успеть в ней, или оттого, что он действительно понимал в ней истинные достоинства женщины, или, наконец, потому, что она и станом, и манерами, и даже лицом очень много походила на тех милых женщин, которых он видал когда-то в большом свете, — этого не мог решить себе даже сам Бахтиаров.

XVII

ДЕРЕВНЯ

На другой день после описанной мною между Павлом и Юлиею сцены оба они были больны. Бешметев, видя, что жена не хочет его оставить, решил сам от нее уехать, с благородным, впрочем, намерением — предоставить ей половину своего состояния. Приняв такое намерение, он еще ранним утром выпросился в отпуск, с тем чтоб на другой же день уехать, и велел Марфе сказать об этом жене. Лично они не видались. Юлия испугалась не на шутку. Разойтись с мужем! Но что об этом скажут в свете, а главное — как примет это Владимир Андреич? И, наконец, за что же он так с ней поступает? Что такое она сделала? Однако надобно было что-нибудь предпринять; Павел решительно собирался в деревню. — Не про-

свить же у него прощения! И кто теперь без папеньки внушит дураку? На этой самой мысли застала ее старинная наша знакомая Феокиста Саввишна, которая только ей одной известными средствами уже знала все недавно описанное происшествие до малейших подробностей и в настоящее время пришла навестить людей в горе.

— Сейчас только услышала от вашей девушки, что вы не так здоровы, — говорила она, поздоровавшись с хозяйкой, — давно собиралась зайти, да все некогда. У Маровых свадьба затевается; ну, ведь вы знаете: этот дом, после вашего папеньки, теперь, по моим чувствам, в глаза и за глаза можно сказать, для меня первый дом. Что с вами-то, — время-то сырое — простудились, верно?

— Я очень несчастлива, Феокиста Саввишна, — отвечала Юлия, закрыв глаза.

— Что это, Юлия Владимировна, что такое с вами?

— Муж не хочет жить со мною.

— Павел Васильич? Да что это ему сделалось?

— Ревнует меня — нельзя мне шагу сделать: вчера поехала я кататься; вдруг ему пришло в голову, что я заезжала...

— Куда же это, он думает, вы заезжали?

— Ну, к этому мерзавцу Бахтиарову.

— Скажите пожалуйста, — говорила Феокиста Саввишна, качая головою, — какая ревность! Но, впрочем, я вам скажу, не огорчайтесь очень, Юлия Владимировна, — мужчины все таковы: им бы все самим делать, а нам бы ничего.

— Но он не хочет жить со мной, — перервала Юлия, — едет в деревню. Поговорите ему: что он, с ума, что ли, сошел, что благородные люди так не делают, что это подло, что он меня может ненавидеть, но все-таки пусть живет со мной, по крайней мере для людей, — я ему не помешаю ни в чем.

— Ой, Юлия Владимировна! Как вас можно ненавидеть? — Так, в горячности, — больше ничего. Извольте, я поговорю, только сначала сторонкой кой-что поразузнаю и сегодня же дам ответ. Вам бы давно ко мне прислать, — как вам не грех? Случилось этакое дело, а меня не требуете; вы знаете, как я предана вашему семейству — еще на днях получила от Владимира Андреича письмо: поручают старую коляску их кому-нибудь продать. — До приятного свидания.

Выйдя от Бешметевых, Феоктиста Саввишна начала обдумывать свои действия во вновь предпринятом ею на себя подвиге. Она очень сожалела, что на этакый случай в городе нет Перепетуи Петровны, которая, рассердившись на племянника, все лето жила в деревне и даже на зиму не хотела приезжать в город, чтобы только не видеть семейного сраму, и которая, конечно бы, в этом деле приняла самое живое участие и помогла бы ей уговорить Павла. Но делать нечего. Сваха отправилась к Лизавете Васильевне: лично самой говорить Павлу она считала и неудобным и бесполезным.

Масуровой только что перед приходом Феоктисты Саввишны рассказала горничная, что случилось у Бешметевых. Она встревожилась и хотела послать за братом.

— Матушка, что это у ваших-то надделалось? — начала прямо Феоктиста Саввишна. — Я сейчас от них, Юлия Владимировна в слезах, Павел Васильич огорчен, — и не видала его. Говорят, он совсем хочет уехать в деревню, а супругу оставить здесь. Сами посудите — ведь это развод, на что это похоже? Мало ли что бывает между мужем и женою, вы сами по себе знаете. А ведь вышло-то все из пустяков. Вчерась поехала кататься с этим вертопрахом Бахтиаровым.

Лизавете Васильевне было очень неприятно, что происшествие это знала уже и Феоктиста Саввишна, но делать было нечего.

— Я ничего хорошенько не слыхала, — отвечала она, — это, верно, какие-нибудь пустяки.

— Какое, матушка? Я сейчас от них, — возразила Феоктиста Саввишна, — Юлия Владимировна со слезами просила меня пересказать вам. «Вы знаете, говорит, как я люблю и уважаю сестрицу; я бы сама, говорит, сейчас к ней поехала, да не могу — очень расстроена. Попросите, чтобы она поговорила брату не делать этого. Ну, уж коли ему так хочется ехать в деревню, можно ехать вместе».

— Если брат думает ехать в деревню, то, конечно, поедет с женой, — отвечала Лизавета Васильевна.

— В том-то и дело, что хотят ехать одни; это-то и беспокоит Юлию Владимировну. Пошлите-ка за ним, родная, да поговорите с ним. Я бы ему сама сказала, да мое дело стороннее, как-то неловко. Я вот хоть тут за ширмами посижу, а вы ему поговорите.

— Когда же он хочет ехать?

— Да сегодня в ночь или завтра утром.

Лизавете Васильевне самой хотелось видиться с братом, но только без Феокисты Саввишны. С другой же стороны, она знала, что госпожу Пономареву отклонить от какого бы то ни было дела, в котором она уже приняла участие, не было никакой возможности, а потому ограничилась только тем, что отослала сваху в мезонин к детям и тотчас же послала за братом. Прошел час, другой, третий — Павел не являлся. У деятельной Феокисты Саввишны неостало терпения дожидаться, и потому она, отправившись, куда ей было нужно, обещала вечером непременно забежать.

Часу в третьем пришел Павел.

Несколько минут брат и сестра молчали.

— Ты, братец, поссорился с женой? — спросила, наконец, Елизавета Васильевна.

Павел молчал.

— Ты не огорчайся, друг мой, — мало ли что бывает в семействе? Я с моим благоверным раза три в иной день побранюсь. Правда ли, что ты хочешь один ехать в деревню?

— Да, я сегодня в ночь еду.

— Один?

— Один.

— Не делай, братец, этого — это грех. Ты мужчина — должен быть великодушен.

— Я могу великодушно простить слабость, но никогда — порок.

— Но отчего же прощает мне мой муж?

— Какое сравнение!

— Одно и то же. Я также любила другого человека.

— Не говори мне этого, Лиза. Ты ангел.

— Хорошо, я не буду говорить, только дай мне слово ехать с ней вместе в деревню. Как хочешь понимай ее сам, но общественно ее бесславить ты не имеешь права, потому что сам женился на ней против ее воли.

Последние слова, кажется, очень поколебали решимость Павла.

— Мне трудно с ней жить, Лиза. Я теперь ее очень хорошо понял и больше не могу ее любить.

— Не говори, брат, — все время. Ты прежде ее любил, теперь не любишь, а после опять будешь. Так же

и она прежде тебя не любила, а теперь полюбит. Поверь, мой друг, в браке связует нас бог, и этими узами мы не можем располагать по собственному произволу.

— Лиза, вели мне дать вина, мне очень грустно, — прервал вдруг Павел.

Лизавета Васильевна посмотрела с удивлением на брата и велела, впрочем, подать вина. Бешметев залпом выпил целый стакан.

— Целый год я приносил этой женщине жертвы, — начал он, — целый год она ничего не видела и не понимала; даже теперь, я уверен, она не раскаивается, а вот еще ты хочешь, чтобы я принес ей новую жертву.

— Не для нее, брат, но для меня — я тебе советовала жениться, и на моей совести ваше счастье.

— Я действительно неправ, — продолжал Павел, — что женился наобум, не понимая ничего; но теперь я ее знаю. Вот что она такое, выслушай меня, Лиза: она необразованна, дурного характера, не любит, даже терпеть не может меня и, тяжело сказать, развратна. Должен ли я жить с ней?

— Должен. Мало этого, ты должен ее исправить: на твое попечение она отдана богом: Еще раз прошу тебя — прости ее и не оставляй.

— Изволь, Лиза: но только здесь я не могу оставаться: мне стыдно стел.

— И не оставайтесь, сегодня же поезжайте в деревню.

— Но я не могу с ней говорить.

— И не говори. Я ей напишу или велю сказать. Когда ты думаешь выехать?

— Завтрашний день.

Брат и сестра расстались.

Не более как через полчаса после ухода Павла явилась к Лизавете Васильевне Феоктиста Саввишна и, к удивлению своему, услышала, что у Бешметевых ничего особенного не было, что, может быть, они побранились, но что завтра утром оба вместе едут в деревню. Сваха была, впрочем, опытная женщина, обмануть ее было очень трудно. Она разом смекнула, что дело обделалось, как она желала, но только от нее скрывают, чем она очень оскорбилась, и потому, посидев недолго, отправилась к Бешметевой.

— Ну вот, матушка, дело-то все и обделалось, извольте-ка собираться в деревню, — объявила она, придя

к Бешметевой. — Ну уж, Юлия Владимировна, выдержала же я за вас стойку. Я ведь пошла отсюда к Лизавете Васильевне. Сначала было куды — так на стену и лезут... «Да что, говорю я, позвольте-ка вас спросить, Владимир-то Андреич еще не умер, приедет и из Петербурга, да вы, я говорю, с ним и не разделаетесь за этакое, что называется, бесчестие». Ну, и струсили. «Хорошо, говорят, только чтобы ехать в деревню».

— Я, пожалуй, в деревню поеду, — отвечала Юлия, которая сама чувствовала, что в городе ей оставаться не так-то ловко, тем более что может встретиться с ужасным Бахтиаровым. — Видели вы мужа? — спросила она.

— Как же, грустный такой: он ведь вас очень любит. Что, он теперь дома?

— Кажется, дома.

— А вот я с ним поговорю. — С этими словами Феоктиста Саввишна отправилась в комнату Павла.

— А вы в деревню изволите собираться, Павел Васильич, — надолго ли, отец мой?

— Не знаю.

— Да супруга-то с вами ли едет? — прибавила она вполголоса. — Оне что-то ничего не говорят.

— Мы оба едем, — отвечал Павел.

— Так-с, в коляске?

— В коляске.

Переговорив таким образом, сваха пришла к Юлии и посоветовала ей велеть горничной тотчас же укладываться. Таким образом, на другой день поутру супруги вышли, каждый из своей комнаты, не говоря друг с другом ни слова, сели в экипаж и отправились в путь.

Небольшая усадьба Бешметева не отличалась ни живописным местоположением, ни широким довольством капитальных помещичьих усадеб. Она была в страшной глуши, окружалась со всех сторон лесом и болотами. Небольшой барский дом, или, скорее, флигель, несколько людских строений, амбар, погреб, сарай да покосившаяся набок толчая — вот и все тут. В продолжение своего путешествия супруги мои, вместо того чтоб объясниться и яснее разузнать роковое для них происшествие, ни слова почти не сказали об этом и переговарили только о совершенно посторонних для них предметах, — так, например,

о поповшемся им на пути скверном мосте, об очень худой корове, о какой-то необыкновенно живописной в стороне усадьбе, и, наконец, убеждали вместе хозяина постоянного двора, заломившего с них тройную цену за ночлег.

Приехав в усадьбу, они начали с того, что взяли себе совершенно отдельные комнаты, на противоположных концах дома, и каждый из них поместился в своем отделении по-своему. Юлия повесила на маленькие окна драпировку, расставила на комодке свои модные вещицы и, впялив канву, решила вышивать какого-то длинноногого рыцаря. Что касается до Павла, то он разложил свои книги, в намерении заниматься. Между собой они видались только за столом, и то не всегда, и почти ничего не говорили друг с другом. Вот какова была внешняя жизнь Бешметевых, и, конечно, она была результатом того, как они понимали друг друга. Юлия своею порочною изменою, — в пороке жены Павел нимало уже не сомневался, — эта некогда обожаемая Юлия в один мах упала с пьедестала, на котором герой мой прежде держал ее в своем воображении. Будь на месте Павла другой муж, более опытный в житейском деле, тот, без сомнения, предварительно разузнал бы все хорошенько и, убедившись, что ничего серьезного не было, не произвел бы, конечно, никакой тревоги, а заключил бы все дело личным наставлением, при более грубом характере — двумя-тремя тузами коварному существу. Но не так взглянул на это Павел, пуританин по своим понятиям, образовавшимся в одностороннем воспитании, и изъятый сам от юношеских дурачеств своею вялою и флегматическою природою. В чувствах к жене он как-то раздвоился: свой призрак, видимый некогда в ней, он любил попрежнему; но Юлию живую, с ее привычками, словами и действиями, он презирал и ненавидел, даже жить с ней остался потому только, что считал это своим долгом и обязанностию. Юлия, с своей стороны, еще более стала не любить Павла. В своих отношениях с Бахтиаровым она не видела ничего преступного; напротив того, она постоянно боролась и осталась верна мужу. Но так строго и за что же осудил ее этот безалаберный человек? Что такое она сделала? Ничего — она любила другого, но не его же, болвана, любить: он дурак, решила она и не хотела оставить его оттого только, что боялась общества и папеньки.

К этим горьким размышлениям моей героини присоединялась еще страшная ненависть к Бахтиарову, о котором она не могла равнодушно вспомнить.

Прошла неделя, другая, третья и, наконец, месяц. Обоим супругам сделалось невыносимо скучно. Юлия решительно не знала, что делать: наскучавшись, даже заплакавшись, она обыкновенно принималась вышивать рыцаря, у которого, вследствие того, в какие-нибудь две недели обозначились даже ноги и уже начиналась лежащая у этих ног собака. Павел, думавший заниматься, ничего не делал, но обыкновенно лежал и думал; предметом его размышлений были, по преимуществу, женитьба и Юлия. Он, как нарочно, вспоминал все не слишком чистые поступки Владимира Андреича, дававшего только советы и не сделавшего лично для дочери ничего; вспоминал все невнимание и даже жестокосердие, которое обнаруживала Юлия в отношении к его больной матери, всю нелюбовь ее и даже неуважение, оказываемое ею в отношении его самого, наконец ее грязную измену и то презрение, которое обнаруживал Бахтиаров к бесстыдной женщине. О поступке губернского льва с Юлией Павел был уведомлен от людей, с которыми он уже не стыдился говорить о жене. Герой мой, в своем желчном расположении, в бездействии и скуке, не замечая сам того, начал увеличивать обычную порцию вина, которое он прежде пил в весьма малом количестве. Обед был, как я и прежде замечал, единственное время, в которое супруги видались. К этому-то именно времени Павел и делался значительно навеселе. В подобном состоянии неприязненное чувство к жене возрастало в нем до ожесточения, и он ее начинал, как говорится, шпиговать.

— Что, Константин, — говорил, например, он, обращаясь к стоящему лакею, — не хочешь ли, братец, жениться?

— Никак нет-с, Павел Васильич, — отвечал тот.

— Отчего же, братец? Ничего — будет только на свете лишний дурак.

— Сохрани бог, Павел Васильич, — возражал лакей.

— Дал мне бог ум и другие способности, — рассуждал потом Павел вслух, — родители употребили последние крохи на мое образование, и что же я сделал для себя? Женился и приехал в деревню. Для этого доста-

точно было есть и спать, чтобы вырасти, а потом есть и спать, чтобы умереть.

— Кто же вас заставлял жениться? — возражала Юлия.

— Собственная глупость и неблагоприятная судьба.

Юлия пожимала только плечами.

— Сегодня именины у Портновых, и у них, верно, бал, — сказал однажды Бешметев.

В этот день он был даже пьян.

— Как вам, Юлия Владимировна, я думаю, хотелось бы туда попасть!

Юлия не отвечала мужу.

— Вы бы там увиделись и помирились с одним человеком; он бы вас довез в своем фаэтоне, а может быть, даже вы бы и к нему заехали и время бы провели приятно.

Юлия не могла этого вынести и залилась слезами.

— Подлый и низкий человек! — в состоянии была только проговорить она и ушла к себе в комнату.

Целый день она после того плакала. Павел не обратил сначала внимания на слезы и уход жены; но, выпавшись, ему, видно, сделалось совестно своих слов: он спрашивал у людей, что делает жена. Ему отвечали, что лежит в постеле, плачет и несколько раз принимала гофманские капли.

Дня три после этого супруги не видались. Юлия не могла понять, что сделалось с мужем. Она прежде была уверена, что он в нее влюблен, и поэтому она может делать все, что ей угодно, и что ей достаточно ласково взглянуть на него, чтобы осчастливить на целую неделю; но что ж выходит теперь? Он осмеливается ей делать беспрестанные обиды. Откуда в нем эта дерзость? Марфа разрешила ее сомнения.

— Не плачьте, матушка, — сказала она, утешая плачущую Юлию после одной новой выходки Павла: — ведь это он сказал так... не в своем разуме: хмельненек был маленько.

— Как хмельненек? Разве он пьет? — спросила Юлия.

— Пьет, матушка, и порядочно-таки этим занимается, — отвечала служанка.

— Господи! Только этого недоставало! — вскрикнула Юлия, всплеснув руками. — Он дурак, злой и пьяница; теперь он говорит колкости, а там и бить начнет.

Она решилась было написать обо всем к отцу, но потом раздумала: Владимир Андреич, вероятно, будет спрашивать Павла, а тот, уж конечно, напишет ему все, а этого ей очень не хотелось. Не зная решительно, что будет с нею вперед, она дала себе слово не уступать Павлу и на колкости его, насколько станет сил, отвечать бранью и угрозами. Таким образом, неприязненное расположение моих супругов друг к другу росло с каждым днем. Сколько оба они страдали, я не в состоянии описать. Оба худели и бледнели с каждым днем; для Юлии не проходило дня без слез, а Павел, добрый мой Павел, решительно сделался мизантропом. В обыкновенном состоянии он страдал и тосковал, а выпив, начинал проклинать себя, людей, жену и даже Лизавету Васильевну, с которою совершенно перестал переписываться и не отвечал ни слова на ее письма.

XVIII

СОСЕДКА

Между тем переезд Бешметевых в деревню послужил значительным предметом для толков. Молва о случившемся происшествии между Бешметевым и Бахтиаровым дошла до соседей прежде еще их приезда. История эта в различных местах рассказывалась различно. Одни говорили, что Юлия, влюбившись в Бахтиарова, ушла к нему ночью; муж, узнав об этом, пришел было за ней, но его выгнали, и он был столько глуп, что не в состоянии был ничего предпринять; что на другой день поутру Юлия возвратилась к мужу, потому что Бахтиаров, которому она, видно, наскучила, прогнал ее, и что теперь между ними все уже кончено. Более же подозрительные умы говорили, что интрига не кончена, что это только один отвод, что Бахтиаров скоро приедет к ним в деревню. Как бы то ни было, над Павлом все смеялись, а Юлию обвиняли в безнравственности. Дамы, особенно позначительнее, говорили вслух, что они даже не заплатят визита, если новая соседка вздумает приехать к ним. Но Бешметева ни с кем не знакоилась. «И прекрасно делает, — говорили те же дамы, — по крайней мере этим она доказывает, что она умная женщина и, понимая себя,

не хочет собою компрометировать других». Впрочем, я должен сказать, что, несмотря на подобные обидные взгляды, были некоторые дамы, которым очень желалось познакомиться с Бешметевыми, особенно с тех пор, как все уже убедились, что новые соседи не думают знакомиться ни с кем.

По преимуществу это желание овладело одной почтенною помещицей и самою ближайшею соседкой Бешметевых, Катериной Михайловной Санич. Дама эта была уже старуха и с незапамятных годов вдовствовала в своей усадьбе, поправляя всю жизнь расстроенное покойным супругом состояние. Происхождения она была темного и, как говорил слух, выйдя весьма двусмысленно в Петербурге замуж за немолодого уже Санич, переехала с ним в деревню, привезя с собою и того времени столичные моды и столичный тон. С самого приезда обнаружила она мягкосердое к несчастиям ближних сердце и решительную склонность протестовать против мнений соседей. Выгнаны ли кто управляющего за пьянство и плутовство, спасалась ли жена от жестокосердого мужа, отказывала ли какая-нибудь дама молоденькой гувернантке за то, что ту почтил особенным вниманием супруг, — всех принимала к себе Санич и держала при себе, покуда судьба несчастных жертв не устраивалась. Услышав о приезде Бешметевых и о случившейся с ними неприятной истории и затем узнав, что деревенские дамы не хотят этой новой соседке заплатить даже визита, она начала с того, что во всеуслышание объявила нижеследующее свое решение: «Дама эта поступила дурно, но они не должны ее судить строго, потому что это может случиться со всякой, и потому она Бешметеву примет, сама к ней поедет; а как бы это ни показалось другим, для нее все равно».

— Верно, думает занять у них денег, — заметил один сосед, имевший склонность каждый поступок человека перетолковывать в дурную сторону.

Желание, хотя и невысказанное, познакомиться с Бешметевыми разделяли также бедные дворянки, для получения законного права выносить на моих героев всевозможные сплетни, за которые они обыкновенно получают от своих покровителей место за столом и поношенные платья. Эти личности уже несколько раз порывались войти

в дом Бешметевых, но Павел велел отказывать всем. Даже, может быть, добрейшей госпоже Санич не удалось бы исполнить ее христианского дела, познакомиться с Бешметевыми, если бы сама судьба не распорядилась таким образом, что знакомство это началось решительно без всякого ведома с той и другой стороны.

Юлия Владимировна приехала к обедне в свой приход, почтенная Санич была там и после обедни, как бы случайно, не замедлила подойти к Бешметевой. Разговор, как водится, начался с пустяков, с хорошей погоды; затем Катерина Михайловна была так любезна и внимательна, что Юлия разговорилась, ярко описала новой знакомой скуку деревенской жизни, к которой она еще совершенно не привыкла. Санич не преминула объяснить, что она очень хорошо знает Владимира Андреича и донельзя его уважает. Одним словом, дамы познакомились. Катерина Михайловна пригласила соседку, без церемонии, по-деревенски, для того только, чтобы провести еще несколько приятных часов в столь милом для нее знакомстве, — ехать к ней. Юлия, поблагодаря за ее лестное расположение, согласилась на предложение с удовольствием. Таким образом, обе дамы поехали в одном экипаже.

Здесь я должен объяснить, что милосердая Катерина Михайловна в это время дала приют в своем обширном доме одному безместному французу-гувернеру, которого завез в эту глушь один соседний помещик за довольно дорогую плату, но через две же недели отказал ему, говоря, что м-г Мишо (имя гувернера) умеет только выезжать лошадей, но никак не учить детей. Почтенный отец семейства до того желал отделаться от наставника, что даже отказался от данных ему вперед трехсот целковых и просил только м-г Мишо убраться, куда ему угодно. Гувернер был в весьма затруднительном положении; у него не было ни копейки, и я не знаю, чем бы все это для него кончилось, если бы милосердая Катерина Михайловна, узнав о новой жертве, не послала к нему тотчас лошадей с приглашением приехать к ней. Француз, разумеется, не замедлил согласиться и, предоставя о будущем заботиться своей судьбе, приехал и поселился весьма комфортабельно в нижнем этаже дома своей покровительницы, прося ее беспрестанно занять где-нибудь, хотя напрокат, сына или дочку, которых бы он, по его словам, удивительно воспитал. Проживая таким образом, он обыкновенно

рассказывал различные комеражи, происходившие в доме почтенного, но выгнавшего его помещика. Старуха помирала со смеху, слушая рассказы своего милого француза, который был действительно мил. Имел ли он собственно достоинства воспитателя, я не знаю; по крайней мере если их и имел, то тщательно скрывал таковые. Но зато он владел другими достоинствами, а именно: имел чисто французскую выразительную физиономию, был прекрасно одет, щегольски ездил верхом и мастерски стрелял, играл довольно недурно на фортепиано, а главное — наделен был способностью болтать по целым дням на всевозможные тоны и насвистывать целые оперы, причем обыкновенно представлял оркестр, всех певцов и даже самый хор. По-русски m-г Мишо говорил чисто, что и заставляло думать, что вряд ли он и не родился в России; но, впрочем, сам он уверял, что произошел на свет на берегах Сены, и даже в Сен-Жерменском предместьи, откуда для развлечения приехал в Россию и принялся образовывать юношество. Вот какого человека встретила Юлия в доме своей новой знакомой.

Старуха еще дорогой рассказала Бешметевой о своем милом жильце и, приехав, тотчас же познакомила их. Разговор сейчас завязался. M-г Мишо не замедлил пропеть комическим тоном несколько арий из «Лючии», представил оркестр из «Фра-Диаволо», потом описал породу нормандских лошадей, описал также ужасное происшествие, постигшее один французский фрегат, попавший в плен к диким, и в заключение нарисовал карикатуру одного знакомого соседа. Юлии было невыразимо весело; она забыла свои неприятности, забыла мужа, смеялась и говорила беспрестанно. Милосердая хозяйка тоже покатывалась со смеху, слушая бесценного m-г Мишо, который не ограничился еще этим, но, перестроив себя на печальный лад, продекламировал несколько стихотворений из Виктора Гюго, причем, возведя очи к небу, вспомнил о своей невесте, будто бы два года тому назад умершей, и потом, расчувствовавшись, уселся за фортепиано и проиграл две арии из Шуберта.

Таким образом, день прошел весьма скоро. Юлии не хотелось ехать; она готова была остаться тут еще день, неделю, месяц. Когда она села в экипаж, сердце ее замерло при одной мысли, что она после такого приятного

общества должна воротиться в свою лачугу, встретиться с несносным супругом.

Приехав домой, впрочем, она не видала Павла и встрети-лась с ним уже на другой день за обедом. Бешметев даже не спросил жены, где она была целый день.

На третий день Юлия сама уже решила сказать мужу, что завтрашний день придет к ним отплатить визит Санич, с которою она познакомилась в прошлое воскресенье. Павел на это ничего не отвечал, но только на другой день, еще часу в десятом утра, уехал в город.

Катерина Михайловна приехала в четверг и, после обычных приветствий, спросила Юлию о муже. Бешметева несколько сконфузилась и нашлась только сказать, что Павел по очень важным делам уехал в город, но что, приехав, он непременно придет с нею представиться к Катерине Михайловне, которую он будто бы безмерно уважает. Посидев часа два, Санич уехала, взяв с Юлии честное слово быть у нее в следующее воскресенье. Юлия обещалась, решившись, впрочем, не везти мужа к новой знакомой, а если та спросит об нем, то солгать или на болезнь, или на что-нибудь подобное. Поэтому она ничего и не говорила Павлу, который, приехав из города, вел себя попрежнему, то есть целые дни не видался с женою, а за обедом говорил ей колкости. Юлия дала себе слово не обращать внимания на дурака и сносила все молча, даже не слушая того, что он говорит.

В следующее посещение Бешметевой к Санич француз превзошел сам себя; по крайней мере в отношении к Юлии он так был любезен, что та как бы невольно проговорила с ним целый вечер, и когда она собралась домой, то Мишо объявил ей решительное намерение прово-жать ее верхом и защищать, в случае какой-либо опас-ности, до последней капли крови. Сказано и сделано. До самых последних ворот француз галопировал подле ко-ляски Бешметевой и при прощании объявил, что на днях же явится с визитом. Бешметева, не подумав, согласи-лась на это посещение; но, приехав домой, она вспомнила о Павле, об этом отвратительном Павле. «Что же та-кое? — подумала она. — Я ему скажу завтра решительно, и он, верно, куда-нибудь уедет. Не стеснять же себя для него на каждом шагу».

На этой мысли Юлия успокоилась.

ХІХ

ОТЪЕЗД

Павел, несмотря на то, что даже и не спросил Юлии о новом ее знакомстве с добрейшею Катериною Михайловою и милым m-г Мишо, знал уже все. Петрушка, подсмотревший некогда в щелку, как Юлия целовала Бахтиарова, подсмотрел и на этот раз и, как водится, сообщил в людской с всевозможными подробностями о посещении Юлиею соседки, о самой соседке и, наконец, и о ловком учителе. Все это подслушала Марфа и тем же вечером сообщила барину. Таким образом, Бешметев узнал, что Юлия целый вечер говорила по-французски с гувернером, что этот гувернер играл на фортепианах, а Юлия Владимировна слушала, что, наконец, Мишо провожал ее верхом до самых воротец в озимое поле. Для мнительного и решительно предубежденного против своей супруги моего героя было слишком достаточно. «Это, верно, новая интрига», — решил он и дал себе слово на этот раз не быть таким дураком, как прежде, и не пускаться к себе этого нового мерзавца в дом. Приняв это намерение, он почти ни слова не говорил с женою и даже, во избежание неприятных с нею встреч, придумал уйти с раннего утра на целый день охотиться. M-г Мишо, как нарочно, приехал в этот день с первым визитом. Юлия, обрадованная тем, что гость приехал так кстати, то есть без мужа, встретила его очень любезно и, конечно, так же бы любезно провела с ним целый день, если бы не услышала часу в первом, что Павел воротился. Ожидая каждую секунду, что милый супруг войдет и, может быть, сочинит сцену, она совершенно растерялась, и потому, как m-г Мишо ни был занимателен и любезен, Юлия, ссылаясь на головную боль, сделалась молчалива и решительно не в состоянии была поддерживать разговор. Гувернер догадался и скоро уехал; на него произвела самое невыгодное впечатление нелюбезность хозяйки, которая, вместе с ее некомфортабельною гостиною, решительно уронила ее в его глазах. Он с первого свидания счел ее, по ее развязным манерам и умению выражаться на французском языке, дамою *сomme il faut*¹, имеющею свой будуар

¹ хорошего тона, (франц.)

с известными прихотями, хороший завтрак и цельное вино. Но что же вышло? — Она живет только что не в кухне, ничего не дала ему пить и есть, а главное, была молчалива, как сова, при всей его любезности.

Здесь я должен объяснить, что Павел воротился домой совершенно случайно. Собравшись на охоту, он сыскал себе предварительно довольно опытного руководителя в особе соседнего мужика Фаддея, перебившего на своем веку бесчисленное множество пернатых и около полусотни медведей. Фаддей за любезное ему дело принялся, как и надобно ожидать от истого охотника, горячо, то есть провел моего героя верст пять по болоту, убил двух уток и одного даже бекаса и хотел уже вести барина еще далее к месту, где, по его словам, была уйма рябчиков. Бешметев, вооруженный ружьем, был одним только жалким зрителем успехов своего спутника и устал до невероятности. Услышав, что ему предстоит отойти от дома еще верст пять, решительно отказался и возвратился домой через силу, с полным убеждением, что охота не может служить ему времяпрепровождением. Войдя в дом, он еще в лакейской заметил модное пальто и, не спрашивая, догадался, кому оно принадлежит. Он ограничился только тем, что посмотрел на ружье и, вернувшись к себе в комнату, бросил его на пол с такою силою, что ствол выскочил из ложи.

Однако надобно было что-нибудь предпринять: послать лакея сказать французу, чтоб он убирался, откуда пришел, или позвать Юлию и требовать от нее, чтоб она сейчас же выпроводила гостя, или, наконец, войти самому и оказать ему явную невежливость, например спросить его, зачем он пожаловал? Между тем как таким образом Павел, выходя из себя от досады и ревности, придумывал средства, какими следует выпроводить m-г Мишо, тот уехал, и потому герой мой решился все выместить на Юлии, а вместе с тем, не замечая сам того, выпил несколько рюмок водки. Юлия не менее супруга была рассержена. «Господи, — говорила она сама с собою, — до чего довел меня этот урод? Я не могу принять постороннего человека в свой дом, провести два часа в неделе приятно. Он меня истерзает, живую положит в могилу».

С такого рода чувствованиями супруги сошлись к обеду и несколько минут не говорили друг с другом ни слова.

— Если сегодняшний господин, — начал Павел, обращаясь к лакею, — когда-нибудь придет еще, то сказать ему, что его не велено пускать.

— Если Мишо придет, — возразила Юлия, насколько стало у ней силы, решительным голосом, — то сказать ему, что я его принимаю.

— А я приказываю сказать, — перебил Павел, — что его не велено пускать, — слышишь ли? — а если не пойдет, так вытолкать его в шею! Кто хочет с ним видеться, так могут найти место в поле, на улице, у него в спальне, только не в моем доме.

В продолжение всей этой речи Павла Юлия дрожала и при последних словах, будучи не в состоянии ничего отвечать на несправедливую обиду, упала со стула в страшной истерике. Павел не бросился к жене, как он это делал прежде; он даже не позвал к ней на помощь и ушел к себе в комнату. С Юлией был неподдельный и сильный истерический припадок: она рыдала на целый дом. Несколько минут Павел сидел в каком-то ожесточенном состоянии и потом, видно, будучи не в состоянии слышать стоны жены, выбежал из дома и почти бегом пошел в поле, в луг, в лес, сам не зная куда и с какою целью. Пробежав версты три, наконец утомился, упал на траву и, как малый ребенок, начал рыдать. Трудно перечислить и определить те чувствования, которые породили эти слезы; это были ревность, злоба, жалость, раскаяние, одним словом все то, что может составить для человека нравственный ад. Но отчего страдали и терзали друг друга эти два человека? Странно сказать, но оно справедливо. От одного только непонимания один другого, разницы в воспитании и решительной неопытности в практической жизни.

Между тем Юлия проплакалась. Слезы облегчили ее, и затем, несколько успокоившись, она решила тотчас же ехать к Катерине Михайловне, рассказать ей все и просить у ней совета, что ей делать. Долее жить с Павлом, она уже видела, что для ней нет никакой возможности.

В это самое время милосердая Катерина Михайловна была в исключительно филантропическом расположении духа вследствие того, что ей принесли оброка до полуторы тысячи ассигнациями и неизвестно откуда явился кочующий по помещикам разнощик с красным товаром, и потому старуха придумывала, кому из горнич-

ных, которых было у ней до двух десятков, и что именно купить на новое платье, глубоко соображая в то же время, какой бы подарок сделать и милому m-г Мишо, для которого все предлагаемые в безграмотном реестре материи, начиная от английского трико до индийского кашемира, казались ей недостойными. В это самое время приехала Юлия. Катерина Михайловна обрадовалась до невероятности, выбежала встретить гостью еще в лакейскую и, заметив, что у Бешметевой заплаканы глаза и что она очень бледна, перепугалась и тотчас же спросила:

— Что это с вами, бесценная моя? Вы больны или плакали? Боже мой! Не умер ли кто-нибудь из близких вам?

На этот радушный вопрос Юлия ни слова не отвечала и только, сжав руку у доброй Катерины Михайловны, просила отвести ее в отдаленную комнату и позволить поговорить с ней наедине. Просьба эта, конечно, сейчас же была исполнена. В самой отдаленной и даже темной комнате, предназначенной собственно для хранения гардероба старухи, Юлия со слезами рассказала хозяйке все свое горькое житье-бытье с супругом, который, по ее словам, был ни более ни менее, как пьяный разбойник, который, конечно, на днях убьет ее, и что она, только не желая огорчить папеньку, скрывала все это от него и от всех; но что теперь уже более не в состоянии, — и готова бежать хоть на край света и даже ехать к папеньке, но только не знает, как это сделать, потому что у ней нет ни копейки денег: мерзавец муж обобрал у ней все ее состояние и промотал, и теперь у ней только брильянтовые серьги, фермуар и брошки, которые готова она кому-нибудь заложить, чтоб только уехать к отцу. Катерина Михайловна, исполненная, как известно моему читателю, глубокой симпатии ко всем страданиям человеческим, пролила предвзвешенно обильные слезы; но потом пришла в истинный восторг, услышав, что у Юлии нет денег и что она свои полторы тысячи может употребить на такое христианское дело, то есть отдать их m-те Бешметевой для того, чтоб эта несчастная жертва могла сейчас же уехать к папеньке и никак не оставаться долее у злодея-мужа. Юлия, разумеется, на все это согласилась с удовольствием и благодарностию. Приняв такое намерение, обе дамы начали придумывать, как бы все это сделать без шума и без огласки. Катерина Михайловна решительно объявила, чтобы за вещами послали ее человека, а между тем сама

хоть недельку бы у ней отдохнула и подкрепилась к такому дальнему вояжу. Юлия и на это согласилась. Послан был человек с запискою от Бешметевой к ее горничной, которой было поручено, забрав вещи Юлии, тотчас же приехать к Катерине Михайловне, а если будет спрашивать барин, так ему сказать, что она ничего не знает, а только ей так приказано.

Предпринятое дамами намерение они не открыли никому и даже м-г Мишо сказали только, что Юлия приехала к Катерине Михайловне на несколько дней. Француз с своей стороны, хотя уже и разочарованный в м-те Бешметевой, однако очень обрадовался, узнав, что она прогостит несколько времени у м-те Санич.

Чувство удовольствия одушевило еще более и без того уже довольно одушевленного м-г Мишо, поэтому в тот вечер он превзошел всякую меру любезности. Не говоря уже об анекдотах, о каламбурах, об оркестре из «Фелеллы», просвистанном им с малейшими подробностями, он представил даже бразильскую обезьяну, лезущую на дерево при виде человека, для чего и сам влез удивительно ловко на дверь, и, наконец, вечером усадил Юлию и Катерину Михайловну за стол, велел им воображать себя девочками — м-те Санич беспамятною Катенькою, а Юлию шалуней Юленькою и самого себя — надев предварительно чепец, очки и какую-то кацавейку старой экономки — их наставницею под именем м-те Гримардо, которая и преподает им урок, и затем начал им рассказывать нравственные анекдоты из детской книжки, укоряя беспрестанно Катеньку за беспамятство, а Юленьку за резвость. М-г Мишо так был мил в этой шутке, так уморительно гримасничал, что даже лакеи и горничные, выглядывавшие из-за дверей, не могли удержаться от смеха, а сама хозяйка и Юлия смеялись почти до истерики. Юлия не только не беспокоилась, но даже почти совсем забыла в этом приятном обществе свое неприятное положение, тем более что приехавшая горничная и привезшая ей вещи объявила, что Павел даже и не спросил, куда и зачем это везут.

Павла мы оставили бежавшим из дома от стонов и рыданий жены. Несколько успокоившись, он начал придумывать, каким бы образом помириться с Юлией, против которой он чувствовал себя на этот раз совершенно неправым. Но каким образом это сделать? — Заговорить

с ней? Но она, конечно, не будет отвечать. Прийти прямо и просить у ней прощения? Это смешно, да и он не в состоянии до того унизиться. Написать ей записку, в которой сказать ей, что он ее ревнует и просит ее, чтоб она откровенно призналась, если любит этого француза, и в таком случае предложить ей, не стесняя более ни себя, ни его, разехаться, и что он, с своей стороны, предоставит ей полную свободу и даже часть состояния. С таким намерением возвратился он домой. Первый его вопрос был: что барыня? И каково же было его удивление, когда он услышал, что Юлия, которую он ожидал увидеть в страшной истерике или по крайней мере в слезах, вскоре же после его ухода уехала, и уехала к Санич, то есть к французу, а после того прислала записку с горничной, чтоб та привезла ей все вещи! Так, стало быть, все это притворство, комедия, и что теперь уже она вполне обличила себя, потому что уехала к Санич и требует своих вещей, вероятно с намерением бежать с Мишо. Что, если и этот обожатель поступит так же с этою безнравственною женщиною, как и Бахтиаров, то есть прогонит ее? Неужели же и на это новое бесчестие он должен смотреть равнодушно? «Лучше не останусь живой, — думал Павел, — чем позволю ей переступить порог моего дома. Суди меня бог и люди, я с ней не буду более жить!» Решившись на это, Бешметев призвал Марфу и Константина и строго приказал им не пускать решительно жену, ни ее посланных в дом и не принимать никаких писем. То же было сказано и собравшейся горничной Юлии, которая, впрочем, как мы, видели, не передала этого барыне. Подобное решение, видно, было слишком тяжело моему герою. С каким-то отчаянием бросился он на постель и, не смыкая глаз, пролежал целый вечер и целую ночь.

Посидев несколько минут, Юлия просила Катерину Михайловну позволить с ней поговорить наедине, которая, конечно, сейчас исполнила ее желание. Таким образом, обе дамы опять очутились в отдаленной и темной комнате, где Юлия начала умолять Санич завтрашний же день чем свет отпустить ее в Петербург, говоря, что она слышала, будто бы Павел хочет приехать и силою ее взять. Как ни жаль было добрейшей Катерине Михайловне расстаться с Юлией, но делать нечего; она сама очень хорошо понимала, какая может произойти неприятная история, если муж приедет и вздумает взять Юлию

силою. Согласившись отпустить Бешметеву, она тотчас же принялась хлопотать об экипаже, собственно предназначенном для развозки несчастных жертв и в котором Юлия должна была доехать до губернского города. Юлия же, с своей стороны, приказала горничной укладывать все свои вещи. Все эти приготовления обе дамы делали со всевозможною скрытностью. Но м-г Мишо проведал и начал расспрашивать, что такое это значит, сначала людей, а потом приступил и к Катерине Михайловне, которая, для христианского дела, решилась даже солгать и объявила любопытному французу, что Юлия на несколько дней едет домой, потому что у ней болен муж, и что дня через три она возвратится к ней и уже прогостит целый месяц.

Вечер прошел довольно скучно; хозяйка грустила, что она должна будет расстаться с Юлией, которая должна одна, в таком ужасном положении, проехать такое длинное пространство, и, наконец, придумала сама проводить несчастную жертву хоть до губернского города. Юлия тоже не могла без ужаса себе представить, как поедет она одна, а главное, как примет папенька ее поступок. Француз был недоволен тем, что дамы что-то такое замышляют и скрывают от него. Часов в десять все разошлись, Юлия с хозяйкой в ее спальню, а француз в свой нижний этаж. Катерина Михайловна, оставшись с Юлией наедине, начала с того, что подала Юлии полторы тысячи и очень обиделась, услышав, что та хочет дать ей в них расписку; а потом, когда Юлия хотела у ней поцеловать руку, она схватила ее в объятия и со слезами на глазах начала ее целовать и вслед за тем объявила, что сама она едет провожать ее до губернского города.

Еще м-г Мишо покоился мирным сном и даже видел очень приятные сны, как две дамы, с предварительными слезами и прощанием, уселись в экипаж и отправились в дальний путь.

XX

ОПЯТЬ РОДСТВЕННИЦА

В той же самой гостиной, в которой мы, несколько лет тому назад, познакомились с почтенною Перепетуей Петровой и ее знакомою Феокистой Саввишной, они попрежнему сидели на диване, и попрежнему Перепетуя

Петровна была в трауре. Обе они тождественно пополнили, и разговор был между ними, как и прежде, на печальный лад.

— Легко сказать, — говорила Перепетуя Петровна, — в какие-нибудь три года перенесла я три потери.

— И говорить ничего не могу и утешать не смею, — перебила Феоктиста Саввишна, — одно только скажу: берегите себя. Что вы теперь остались? Круглая, можно сказать, сирота, а я по себе знаю, что такое одиночество, особенно для женщины, когда не видишь ни в ком опоры.

— Матушка моя, — возразила Перепетуя Петровна, — о прочих я не говорю: старики уже были; все мы должны ожидать одного конца. Но Павел-то, голубчик мой! Только бы, что называется, жить да радовать всех, только что в возмужалость начал приходить...

При последних словах старуха зарыдала.

— Полноте, Перепетуя Петровна, успокойтесь, умоляю вас, не кладите вы на себя руки, ведь это грех, — говорила Феоктиста Саввишна.

— Ох, господи боже мой! — отвечала Перепетуя Петровна. — Жила в деревне, ничего того не знала, не ведала, слышу только, что была какая-то история, что переехали в усадьбу, и больше ничего. И вы вот, Феоктиста Саввишна, бог с вами! хоть бы строчку написали.

— Не говорите этого, Перепетуя Петровна, не претендуйте на меня, — перебила Феоктиста Саввишна, — вы знаете, я думаю, мой характер, где не мое дело, а особенно в семейных неприятностях, я никогда не вмешаюсь; за это, можно сказать, все меня здесь и любят, потому что болтовни-то от меня пустой не слышат. Что я вам могла написать? Одно только огорчение доставить; так уж извините, — как вы там хотите понимайте меня, а мне ваше-то здоровье дорого не меньше своего.

— Знаю, голубушка моя, все ваше расположение очень хорошо понимаю и ценю; да вы ведь знаете мою родственную любовь: самой себя, кажется, для их счастья не пожалела бы. Да вышло-то все не так, как не послушались старой тетки-то. Недели через две уже узнала, что она из деревни-то от него уехала. Что, думаю, мне делать? Однако написала к нему письмо, и письмо, знаете, такое строгое: «Сейчас, пишу, приезжай ко мне». Не тут-то было: ни сам не едет, ни письма не шлет; я

другое — и на это ничего; пишу в деревню к Лизе — та отвечает, что тоже ничего не знает и собирается сама к нему ехать. Я — в город, к тому, к сему, вас тогда не было; никто ничего не знает. Вдруг, говорят, Владимир Андреич приехал, а на другой день и сам явился... Я так и обмерла: ну, сами посудите, каково было встретиться после этаких происшествий. «Что такое, говорит, почтеннейшая Перепетуя Петровна, ребятишки-то наши наделали?» — «Не знаю, говорю, батюшка, вам лучше должно быть известно». — «Все, говорит, пустяки: вам бы, Перепетуя Петровна, по родственному-то вашему расположению, тому и другому намылить голову, да еще и поучить, как надобно жить в супружестве; свою-то я уж поучил и привез ее теперь с собою, а со своим-то вы поуправьтесь, так дело и поправим. Мое, говорит, при отъезде было первое и последнее слово: слушайте и уважайте Перепетуя Петровну». — «Нет, говорю, Владимир Андреич, я прежде и не это сказала, да знаете, какую неприятность получила, так благодарю покорно!»

— Какой, можно сказать, — перебила Феокиста Саввишна, — Владимир Андреич примерный отец: из Петербурга прискакал. Нынче родители-то выдадут дочку замуж, да и не думают — живи себе, как хотят.

— Кто говорит? — подхватила Перепетуя Петровна. — Конечно, человек умный, понимает все. — Ах, боже мой! На чем я остановилась? Памяти совсем нет.

— Ну уж извините, и я не помню, — отвечала Феокиста Саввишна, — нынче и я совсем растеряла соображение.

— Да вот, как Владимир Андреич ко мне приехал, сидим, разговариваем. Юлия Владимировна тоже приехала; ну, этакая, знаете, почтительная на этот раз, нечего сказать, очень довольна: целует руки, тетенька, говорит, поучаствуйте в нашей жизни; мы, говорит, люди молодые. И придумали мы, сударыня ты моя, за ним послать экипаж — мою бричку, будто бы от меня. Только что мы этак решили, я еще не успела хорошенько заснуть — тоска такая; вдруг в полночь будят: что такое? Говорят, Константин приехал, так и обмерла заранее; является, и — знаете нашу прислугу, никакой ведь не имеют осторожности — с первого слова, ни с того ни с сего: «Павел Васильич приказал долго жить, третьего дня изволили скончаться». Ох, господи боже мой! Как сидела

на постеле, так и упала, и только уж на другой день в состоянии была расспросить хорошенько. Холера, говорят, в полторы сутки свернула.

— Что мудреного? Что мудреного? У меня так четыре кухарки умерли. Как найму, так и умрет — на пьяниц она как-то все больше нападала.

— Известное дело: что уж у пьяного взять, и распотеет, и холодного напьется, и съест какую-нибудь дрянь. Всего вреднее грибы: я, признаться сказать, до них большая охотница, а в холеру-таки не ела.

— А что, Перепетуя Петровна, вам, по расположению вашему, сказать мне можно: правду ли говорят, что Павел Васильич испивал?

— Было, Феоктиста Саввишна, — отвечала со вздохом Перепетуя Петровна, — и порядочно было, особенно под конец; в семейных неприятностях закатит за галстук, да и пойдет, говорят, ее писать — такая и этакая, все отпоеет: мало ли что ему, может быть, известно было, чего мы и не знаем. От этого, говорят, она его и оставила.

— Послушайте, Перепетуя Петровна, — перебила Феоктиста Саввишна, — они, должно быть, давно этого ужасного порока придерживались. Помните, как вы мне говорили еще задолго до свадьбы, что он уединение любит, я тогда, конечно, говорить не хотела, а сама с собой подумала: пьет, думаю, и пьет, должно быть запоем. У меня были такие знакомые, на вид ничего, а пьют, и только так благородного общества чуждаются, да кой-что еще заводят; этого-то я смертельно боялась: думаю, будет скоро и *это* — а убьет это Перепетую Петровну.

— Нет, — возразила Перепетуя Петровна, — этого-то бы я уже никак не допустила, сама бы своими руками расплескала рожу, хоть купчиха какая будь.

— Где, матушка, теперь Лизавета Васильевна?

— С мужем в деревне теперь живет; вы ведь, я думаю, слышали, им наследство досталось. И какой, можно сказать, благородный человек Михайло Николаич! Как только получил имение, тотчас же все на детей перевел; конечно, Лиза настояла, но другой бы не послушался. Она-то, голубушка моя, все хилеет, особенно после смерти брата.

— Как Павла-то Васильича имение теперь?

— Все жене отдал, еще при жизни сделал ей купчую. Владимир Андреич приезжает ко мне благодарить, а я,

признаться сказать, прямо выпечатала ему: как бы, говорю, там ни понимали покойника, а он был добрый человек, дай бог Юлии Владимировне нажать мужа лучше его, пусть теперь за Бахтиярова пойдет, да и посмотрит.

— Да где его взять-то теперь? В Одессу уехал, провалиться бы ему с головой, проклятому! Не любила, сударыня, этого человека, точно разбойник какой; скольким он, можно сказать, неприятностей сделал? Вот хоть бы, между нами сказать, вы, ведь на меня не рассердитесь, как и Лизавету-то Васильевну он срамил!

— Не говорите лучше мне про этого мерзавца: чтобы околеть ему, проклятому...

— Ведь этакой был, можно сказать, бесстыдный человек; после этой истории, как я слышала, начал опять ездить к Михайлу Николаичу. Хорошо, что ведь Лизавета-то Васильевна женщина с характером — просто не велела его пускать в дом, да и только; а то ведь, пожалуй, и тут что-нибудь бы было.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ХОЗАРОВ И МАРИ СТУПИЦЫНА

БРАК ПО СТРАСТИ

I

Мелкие натуры только претендуют на любовь и неудачно драпируются плащом Ромео и Юлии.

В одном из московских переулков, вероятно, еще и теперь стоит большой каменный дом, на воротах коего некогда красовалась вывеска с надписью: *Здесь отдаются квартиры со столом, спросить Госпожу Замшеву*. Осеннее солнце, это было часу в десятом утра, заглянуло между прочим и в квартиры со столом и в комнате, занимаемой хозяйкою, осветило обычную утреннюю сцену. Госпожа или, лучше сказать, девица Замшева сидела перед столом и пила чай; перед нею, несколько в почтительном отдалении, стояла баба. Нельзя сказать, чтобы обе эти женщины, хотя и были освещены волшебным светом солнца, представляли живописные фигуры. Почтеннейшая хозяйка, девица с лишком за сорок, одетая в какой-то не совсем опрятный капот-распашонку, имела лицо страшно рябое и очень тоненькую и жидкую косу, которые обыкновенно называются мышинными хвостами. Костлявые руки девицы Замшевой, вообще немного плоской и худой, носили на себе остаток утренней возни с провизией. Про бабу и говорить нечего: это был какой-то грязный комок, комок, впрочем, плотный и здоровый.

— Так ты сделаешь суп из телятины, — начала хозяйка, — сосиски под капустой и зажаришь голубей да еще из вашей говядины выбери получше кусочек и сварищи и завари кашу.

— Всем всяво давать? — спросила баба.

— Опять всем; разве я тебе, глупая, не толковала, — возразила хозяйка, — во второй номер пошли всего и спроси, чего угодно. Сибариту дай только супу и сосисок. Ферापонту Григорьичу пошли щей, сосисок и каши. В четвертый номер отошли только супу без телятины и кашу, да смотри, как можно меньше масла.

— Да вчера и то чуть не прибили, — заметила баба.

— Вот прекрасно, рассуждаешь еще! Не твое дело, — возразила хозяйка.

— Да ведь дерутся; этта черноволосый-то в кухню прибежал: лаялся, лаялся, ажно ухват схватил!

— Велика важность: ухват схватил, им же хуже! В пятый номер ничего не посылай, кроме супу: человек больной, ему диета нужна. В шестой номер пошлешь всего и спросишь: чего хотят, да голубей отправь парочку: он охотник.

— Не запомню, Татьяна Ивановна, вся ваша воля, не запомню, — отвечала кухарка.

— Ну, так и есть, перемешай опять.

— Вся ваша воля, памяти на алтын нет.

— Поди, этакий деревенский неуч! Еще не без чего четвертый год в Москве живешь, — возразила с сердцем Татьяна Ивановна. — Дай мне умыться, — сказала она и начала доставать из комода мыло, полотенце и угольный порошок. Кухарка между тем достала из-под кровати таз с огромным умывальником. Распустив совершенно капот-распашонку, Татьяна Ивановна первоначально натерла зубы угольным порошком, выполоскала их потом и вслед за тем принялась обмывать руки, лицо и даже грудь. Почти целое ведро было издержано на омовение ее сорокалетних прелестей, которые потом, как водится, были старательно обтерты полотенцем, а кухарка отослана к исполнению ее прямых обязанностей. Оставшись одна, Татьяна Ивановна принялась убирать волосы. Приведя голову в порядок, она вынула из комода пузырек с белою жидкостью и начала оною натирать лицо, руки и шею; далее, вынув из того же комода ящичек с красным порошком, слегка покрыла им щеки. Украсив таким обра-

зом свое лицо и возложив на себя известное число юбок, Татьяна Ивановна, наконец, надела свое холстинковое почти новенькое платье, и — странное дело, что значит женский туалет! перед вами как будто появилась другая женщина; не говоря уже о том, что рябины разгладились, стали гораздо незаметнее, что цвет лица сделался совершенно другой, что самая худоба стана пополнила, но даже коса, этот мышинный хвост сделался гораздо толще, роскошнее и весьма красиво сложился в нечто вроде корзинки.

Одевшись совершенно, Татьяна Ивановна намеревалась приступить к подвигу хождения по нумерам для собиранья денег с своих постояльцев.

Из последующих сцен мы убедимся, что это был действительно подвиг, подвиг трудный и редко сопровождающийся должным успехом. В эпоху предпринятого мною рассказа у девицы Замшевой постояльцами были: какой-то малоросс, человек еще молодой, который первоначально всякий день куда-то уходил, но вот уже другой месяц сидел все или, точнее сказать, лежал дома, хотя и был совершенно здоров, за что Татьяной Ивановной и прозван был сибаритом; другие постояльцы: музыкант, старый помещик, две неопределенные личности, танцевальный учитель, с полгода болевший какою-то хронической болезнью, и, наконец, молодой помещик Хозаров. Татьяна Ивановна, как могли мы заметить из предыдущего ее разговора в отношении обеда с кухаркою, неодинаким образом третировала своих постояльцев. Она разделяла их на три класса: на *милашек*, на *так себе* и на *гадких*. К числу *милашек* принадлежали: двое помещиков и музыкант, который был, впрочем, тайный милашка, и о нем она даже мало говорила; к *так себе* относились: сибарит и танцевальный учитель; к *гаджим*: две неопределенные личности.

Постояльцы, с своей стороны, именовали Татьяну Ивановну: *почтеннейшая*. Выйдя из своей комнаты, Татьяна Ивановна подошла к первому номеру, то есть к сибариту.

— Что, можно? — спросила она, приотворив немного двери.

— Можно, — отвечал голос изнутри.

— Да вы в постели?

— То есть я на кровати.

— Ну, так прикройтесь.

— Войдите, прикрылся.

Для объяснения такого рода переговоров я должен здесь заметить, что малоросс, несмотря на громкое титло сибарита, имел не совсем полный комплект утренних и ночных принадлежностей человека. Они ограничивались одною ваточною шинелью, которую он обыкновенно подстилал под себя, не прикрывая себя сверху ничем.

Несмотря на уверения постояльца, что он прикрылся, девица Замшева не верила и входила в комнату, стараясь быть к кровати жильца спиною, и в том же самом положении начинала с ним вести дальнейшие переговоры.

— Я к вам.

— А что?

— Нет ли у вас денег?

— Увы! Татьяна Ивановна, совершенно нет.

— Да как же мне-то делать?

— Не знаю, моя почтеннейшая!

— Вы за три месяца не платили.

— Вы себя обсчитываете, почтеннейшая, с процентами больше, чем за три; что делать! Я бы вам сейчас отдал за четыре, но нема пенензы!

— Ах, какой вы смешной! Да что теперь я-то буду делать?

— Одно только: выслушайте меня, почтеннейшая Татьяна Ивановна! Неужели же вы думаете, чтобы я, имея деньги, отказал себе в трубке табаку; но я теперь не курю, следовательно теперь у меня нет денег.

— А третьего дня на что в трактир ходили, и пьяный еще Матрену, бесстыдник этакий, обругал?

— Ах, Татьяна Ивановна! Не растравляйте раны! Это был сон, и сон прекрасный, но он миновался и сегодня не повторится.

— Да не со сна же вы опьянели? Где денег-то взяли?

— Денег у меня не было, но ко мне явился благодетельный гений и сказал: «Надень мой сюртук, мои калоши, пойдем в трактир, пей и ешь».

— Все вы лжете: откуда вам денег-то пришлют?

— Ну, это другой вопрос. Денег должны мне прислать, во-первых, отец, во-вторых, тетки, в-третьих, братья, в-четвертых, сестры.

— Да, вот так и ждите.

— Непременно пришлют!

— Ну, смотрите, больше нынешнего месяца не стану ждать, — отвечала Татьяна Ивановна и с тою же предосторожностью начала выходить из номера.

— Татьяна Ивановна, а Татьяна Ивановна! — кричал ей вслед сибарит, — пришлете мне сегодня обедать?

— Не знаю.

— Пришлите, пожалуйста, да чтобы суп-то был немного повкуснее, а то в простой воде больше жиру; хоть хлеба присылайте побольше.

Татьяна Ивановна на эти слова ничего не ответила и следующий за тем номер прошла мимо; в нем проживал секретный ее милашка, музыкант, она к нему никогда не заходила по утрам. В ближайший номер девица Замшева вошла без всяких предосторожностей, с выражением лица более веселым, совершенно добрым и несколько даже почтительным. В этом номере жил милашка — старый помещик, значительно толстый и сильно обросший усами и бакенбардами. Комната его по своему убранству совершенно не походила на предыдущий номер: во-первых, на кровати лежала трехпудовая перина и до пяти подушек; по стенам стояли: ящики, ящички, два тульские ружья, несколько черешневых чубуков, висели четверня московских шлей с оголовками и калмыцкий тулуп; по окнам стояли чашки, чайник, кофейник, судок для вин, графин с водкой и фунта два икры, московский калач и десяток редиски. Сам помещик, в толсто настеганном шерстяном халате, сидел перед новеньким огромным самоваром из красной меди и кушал чай. Сзади его лакей в домотканном чепане поправлял на оселке бритву.

— Кто там? — закричал милашка-помещик, услышав скрип дверей.

— Хозяйка, — отвечал лакей.

— А!.. — произнес помещик. — Что скажете, голубушка? Не хотите ли чаю?.. Ванька! Поддай ей чаю.

— Я пришла наведаться, хорошо ли вам.

— Ничего... идет; только клопов или блох много.

— Блохи, должно быть, беспокоили вас. Клопов здесь совершенно нет. Я вот здесь третий год живу, а никогда ни одного клопа в глаза не видала, — отвечала Татьяна Ивановна. — Не знаю, как бы вам помочь в этом: крапивы разве под простыню положить? Говорят, это помогает.

- Ничего не надо, и так сойдет; а вот что, голубушка, супов-то мне своих не подавай: мерзость страшная.
- Я думала, что вы изволите любить.
- Какого тут черта любить! Вари мне щи, да и голубями не изволь потчевать: я этой мерзости совсем не ем.
- Слышала, батюшка Ферапонт Григорьич, слышала: с сегодняшнего же дня велела готовить стол по вашему вкусу. У нас ведь нельзя-с, стоят больше иностранцы.
- Ну, иностранцев и корми супами; а мне этих по-мой не надобно.
- Слушаю-с, — отвечала хозяйка. — А вы, я вижу, еще покупочку сделали, — прибавила она, оглядывая комнату, — хомутики изволили купить?
- На целую четверню хватил, матушка. Ванька, покажи хозяйке хомуты. Ну, посмотри, во сколько оценишь?
- Не могу сказать, Ферапонт Григорьич: совершенно неопытна в конских вещах.
- Да ты посмотри, какой ремень-то, совершенный бархат.
- Вижу, батюшка, ремень отличнейший; но, признаться сказать, мне больше всего нравится шляпка, что для супруги изволили купить.
- Ха-ха-ха!.. Ты ведь думала, что я ее на Кузнецком купил?
- Да вы и то беспрерывно на Кузнецком купили, по фасону видно.
- Ха-ха-ха!.. На Ильинке за двадцать пять рублей. Даром, матушка, что деревенщина, не надуют.
- А я было к вам пришла, Ферапонт Григорьич...
- А что?
- Да деньжонок...
- Вот тебе на! Я ведь тебе и то за целый месяц дал вперед.
- Нужно, батюшка, видит бог, нужно; ну, хочется, чтобы всем было покойно.
- Нет, мадам, больше не дам.
- Батюшка, Ферапонт Григорьич, не погубите, совершенно погибаю: все перезаложила, с позволения сказать, юбку третьего дня продала на толкучке.
- Да ведь и то я тебе задавал вперед.
- Благодетель мой, вы еще здесь пробудете. Сделайте божескую милость: дайте.

— Экая ведь ты нюня! Ну, на, десять рублей.

— Одолжите, благодетель, двадцать.

— Не дам, пошла вон! — закричал, осердившись, помещик. — Дармоеды этикие московские, — прибавил он вполголоса.

— Батюшка, Ферапонт Григорьич, нужда. Неужели бы я осмелилась вас беспокоить, если бы не крайность моя.

— Ну, ладно, прощай, мне бриться пора.

Татьяна Ивановна пошла.

Для объяснения грубого тона, который имел с Татьяной Ивановной Ферапонт Григорьич — человек вообще порядочный, я должен заметить, что он почтеннейшую хозяйку совершенно не отделял от хозяек на постоянных дворах и единственное находил между ними различие в том, что те русские бабы и ходят в сарафанах, а эта из немок и рядится в платье, но что все они ужасные плутовки и подхалимки.

В ближайшем номере помещались двое гадких ее постояльцев. В комнате их, как и в будуаре сибарита, ничего не было, кроме двух диванов, одного стола и стула. Эти два человека жили, кажется, очень дружно между собою и целые дни играли в преферанс, принимаясь за это дело с самого утра и продолжая оное до поздней ночи. По наружности они были частью схожи: оба были одеты в страшно запачканные халаты, ноги одного покоились в валеных сапогах, а у другого в калошах; лица были у обоих испытые, нечистые, с небритыми бородами и с взъерошенными у одного черными, а у другого белокурыми волосами.

Во время прихода Татьяны Ивановны они были за обычным своим делом, то есть играли в преферанс. Хозяйка вошла к ним в номер с физиономией гордой и строгой.

— А вы уж с раннего утра и за карты! И праздника-то на вас нет, греховодники этикие, — сказала она, подходя к столу.

На эти слова игроки ничего не отвечали.

— Ты в чем играл? — спросил один из них товарища.

— В червях — без одной, — отвечал другой.

— Нечего тут в червях; денег давайте лучше, — проговорила хозяйка.

— Купил, — сказал один игрок.

— Бубны, — перебил его партнер.

— Да что это, глухи, что ли, вы стали? Я пришла за деньгами.

— Пас и не приглашаю, — сказал игрок.

— Бесстыдники этакие! Еще благородные, а хотят чужой хлеб даром есть.

— Ну, ну, потише, почтеннейшая! — сказал один из постояльцев. — Куплю.

— Нечего потише... Что вы, племянники, что ли, мне, вас даром держать?

— Пикендрясы, — проговорил его товарищ.

— Да что я вам на смех, господа, что ли, далась? — сказала, начиная не на шутку сердиться, Татьяна Ивановна. — Сегодня же извольте съезжать, когда не хотите платить денег, а не то, право, в полицию пойду, разорители этакие!

Среди игры среди забавы,
Среди благополучных дней! —

запел один из игроков.

— Бескозырная, — прибавил он.

— Вист с болваном, — отвечал другой и тоже запел:

Среди богатства, чести, славы!

Татьяна Ивановна совершенно вышла из себя и плюнула.

— Провалиться мне сквозь землю, если я дам вам сегодня обедать; топить не стану; вьюшки оберу, разбойники этакие... грабители... туда же в карты играют: милостинками, что ли, друг другу платить станете? — говорила она, выходя из номера.

— Ваня, — сказал один из постояльцев, — гривенник есть у тебя?

— Есть, — отвечал другой.

— Ладно, а то, брат, дура-то не пришлет обедать.

— Ничего... Хлеба купим... Пики!

Между тем Татьяна Ивановна отправилась в другой номер, в котором проживал ее постоялец *так себе* — танцевальный учитель; он, худой, как мертвец, лежал на диване под изорванным тулупом.

— Что, вам лучше ли? — сказала, войдя, Татьяна Ивановна. Больной кивнул отрицательно головой.

-- Да вы бы в больницу ехали.

— Завтра.

— Да что завтра? Вот уже третий месяц говорите все: завтра.

— Денег нет!

— Продали бы что-нибудь.

— Все уже продано.

— То-то и есть, все продано; денег нет, а еще рому покупали в семь рублей, да еще и пьяны напились.

— Для испарины.

— Да для испарины не допьяна пьют. Больной человек, а туда же кутите. Марфутка сказывала, что едва вас оттерла.

— Я всю бутылку выпил. Что делать? С горя!

— Ну, а мне-то как же? За целый месяц ни копейки не платили, а ведь, я думаю, я каждый день нарочно для вас суп варю.

— Дайте поправиться.

— Полноте с вашим поправлением. Ноги-то, я знаю, у вас хороши, да губы-то к вину очень лакомы. Нет ли хоть сколько-нибудь?

— Ни копейки нет.

Татьяна Ивановна махнула рукой и вышла из комнаты.

В соседнем номере проживал третий ее милашка. Мало этого: он был, как сама она рассказывала, ее друг и поверял ей все свои секреты. Занимаемый им номер был самый чистый, хотя и не совсем теплый. В самом теплом номере проживал скрытный ее милашка — музыкант. В то время, как Татьяна Ивановна вошла к другу, он сидел и завивался. Марфутка, толстая и довольно неопрятная девка, исправлявшая, по распоряжению хозяйки, обязанность камердинера милашки, держала перед ним накалинные компасы.

— А вы все франтите? — сказала Татьяна Ивановна, входя в комнату.

— С добрым утром, почтеннейшая! Прошу принять место и побеседовать, — отвечал тот, старательно укладывая свои волосы в щипцы.

— Марфа вам нужна?

— Нет, я сам завьюсь.. А что?..

— То-то, я хотела вам велеть кофею принести.

— Мерси, тысячу раз мерси, почтеннейшая. С большим удовольствием выпью, — сказал милашка, протягивая хозяйке руку.

— Для милого дружка и сережка из ушка, — сказала Татьяна Ивановна. — Поди свари, — прибавила она, обращаясь к Марфе.

Та вышла.

Так как этот друг Татьяны Ивановны должен в моем рассказе играть главную роль, то я обязанным себя считаю поподробнее познакомить читателя с его наружностью, отчасти биографией и главными наклонностями. Сергей Петрович Хозаров, поручик в отставке, был лет двадцати семи; лицо его было одно из тех, про которые говорят, что они похожи на парижские журнальные картинки: и нос, например, у него был немного орлиный, и губы тонкие и розовые, и румянец на щеках свежий, и голубые, правильно очерченные и подернутые влагою глаза, а над ними тонкою дугою обведенные брови, и, наконец, усы, не так большие и не очень маленькие. Про прическу и говорить нечего: она была совершенно по моде того времени, то есть на теме приглажена, а на висках и на затылке разбита в букли. В лице его, если хотите, все было хорошо, свежо, даже правильно и гармонировало одно с другим; но в то же время чего-то недоставало, что вы желаете и любите видеть в лице человека. О подобных физиономиях существуют два совершенно противоположные мнения. Одни говорят, что это красавцы, миленькие, даже молодцы, мало этого, Аполлоны Бельведерские; другие же называют их смазливými рожищами, масками, расписными купидонами и даже форейторами, смотря по тому, какой у кого эпитет ближе на языке. О герое моем представлю вам, читатель мой, избрать какое будет угодно из вышеупомянутых мнений. Кроме своей приятной наружности, Сергей Петрович владел еще многими другими достоинствами. Служа в полку, он слыл за славного малого, удивительного мастера танцевать и вообще за человека хорошо образованного, потому что имел очень приличные манеры, говорил по-французски, владел пером и сочинял стихи, из коих двое даже были напечатаны в каком-то журнале, но главное — он имел необыкновенно много вкуса. При первой возможности молодой поручик так мило отделявал и меблировал свою квартиру, что приезжавшие к нему, разумеется, с мужьями, дамы ахали от восторга и удивления; экипаж у него был один из первых между всеми господами офицерами; жженку Хозаров умел варить классически и вообще с неподражаемым

умением распоряжался приятельскими пирушками и всегда почти, по просьбе помещиков, устраивал у них балы, и балы выходили отличные. Две только слабости имел молодой человек: во-первых, он был очень влюбчив, так что не проходило месяца, чтобы он в кого-нибудь не влюбился, и влюблялся обыкновенно искренне, но только ненадолго; во-вторых, имел сильную склонность и большую в то же время способность — брать займы деньги. Над первую его слабостью товарищи подтрунивали и называли его *Сердечкиным*, вторым же недостатком даже тяготились, особенно в последнее время, так как эта склонность в нем со дня на день более и более развивалась. По выходе в отставку Хозаров года два жил в губернии и здесь успел заслужить то же реноме; но так как в небольших городах вообще любят делать из мухи слона и, по преимуществу, на недостатки человека смотрят сквозь увеличительное стекло, то и о поручике начали рассуждать таким образом: он человек ловкий, светский и даже, если вам угодно, ученый, но только мотыга, любит жить не по средствам, и что все свое состояньишко пропи- ровал да пробарствовал, а теперь вот и ждет, не выпадет ли на его долю какой-нибудь дуры-невесты с тысячею душами, но таких будто нынче совсем и на свете нет. Конечно, читатель из одного того, что герой мой, наделенный по воле судеб таким прекрасным вкусом, проживал в номерах Татьяны Ивановны, — из одного этого может уже заключить, что обстоятельства Хозарова были не совсем хороши; я же, с своей стороны, скажу, что обстоятельства его были никуда не годны. Имение его уже окончательно было продано, в Москву он приехал с двумя тысячами на ассигнации; но что значат эти деньги для человека со вкусом? Капля в море! В настоящее время Хозаров жил старым кредитом во всевозможных местах, где только ему верили. К Татьяне Ивановне он явился после не совсем приятной истории с м-г Шевалдышевым, у которого он первоначально стоял, и явился, как говорится, с форсом, а именно, в отличном пальто и с эффектною палкою, у которой на ручном конце красовалась позолоченная головка одного из греческих мудрецов. Первоначально он потребовал лучший номер, раскритиковал его как следует, а потом, разговорившись с хозяйкою, нанял, и в дальнейшем разговоре так очаровал Татьяну Ивановну, что она не только не попросила денег в задаток, но даже

после, в продолжение трех месяцев, держала его без всякой уплаты и все-таки считала милашкой и даже передавала ему заимообразно рублей до ста ассигнациями из своих собственных денег. Любить его, несколько корыстно для самой себя, она не смела и подумать, но чувствовала к нему дружбу и гордилась этим. Милашка же, с своей стороны, высказывал сорокалетней девице самые душевные свои тайны. Что касается до помещения Сергея Петровича, то и оно обнаруживало главные его наклонности, то есть представляло видимую замашку на франтовство, комфорт и опрятность; даже постель молодого человека, несмотря на утреннее время, представляла величайший порядок, который царствовал и во всем остальном убранстве комнаты: несколько гравюр, представляющих охоту, Тальму в костюме Гамлета, арабскую лошадь, четырех дам очень недурных собой, из коих под одной было написано: «весна», под другой: «лето», под третьей: «осень», под четвертой: «зима». Все они развешаны были совершенно симметрично. В углу стояло что-то вроде горки, в которую было вставлено несколько чубуков с трубками, в числе коих было до пяти черешневых с янтарными мунштуками. На столе, перед которым сидел Сергей Петрович в старых, но все-таки вольтеровских креслах, были размещены тоже в величайшем порядке различные принадлежности мужского туалета: в середине стояло складное зеркало, с одной стороны коего помещалась щетка, с другой — гребенка; потом опять с одной стороны — помада в фарфоровой банке, с другой — фиксатуар в своей серебряной шкурке; около помады была склянка с одеколоном; около фиксатуара флакончик с духами, далее на столе лежала небольшая портфель, перед которой красовались две неразлучные подружки: чернильница с песочницей. По одну сторону портфели лежал пресспапье, изображающий лягавую собаку, который придавливал какие-то бумаги; с другой стороны находился тоже пресспапье с изображением кабаньей головы; под ним ничего уже не было, и оно, видимо, поставлено было для симметрии. Много еще было других предметов, обличающих стремление к модному комфорту; так, например, по стене стоял турецкий диван, под ногами хозяина лежала медвежья шкура, и тому подобное.

— Вы сегодня едете куда-нибудь? — спросила Татьяна Ивановна.

— Не знаю еще, — отвечал Хозаров.

— А вчера были там?

— Был.

— Ну, что?

— Ничего хорошего; я недоволен вчерашним вечером.

— Что такое?

— Она не любит меня!

— Ой, не говорите этого, Сергей Петрович, не говорите, ни за что не поверю: вы просто скрываете. Вы, мужчины, прескритный народ в этих вещах.

— Нет, вы выслушайте наперед и растолкуйте мне, как это понять? Приезжаю я, как вы знаете, в семь часов. В зале никого. Я прошел к Катерине Архиповне. Она сидит одна; разумеется, сажусь и начинаю рассказывать разные разности, как можно громче смеюсь, хохочу, — не тут-то было! Прошел целый час, наконец являются две старшие дылды; а ее все-таки нет! Я просто думал, что больна; но сами согласитесь, не ехать же домой. Уселся с барышнями в карты; смеюсь, шучу, а внутри, знаете, так и кипит: ничего не помогает; проходит еще час, два — не является. Наконец, уж я не вытерпел. «Здорова ли, я говорю, Марья Антоновна?» И как бы вы думали, что мне ответили? «Кошку свою, говорят, сегодня целый вечер моет с мылом». Я чуть не лопнул от досады. Во-первых, это глупо, а во-вторых, неприлично. Хорошо, думаю, мадемуазель, я вам отплачу, и тотчас же начал говорить любезности Анете. Та, как водится, принялась закатывать свои оловянные глаза, и пошла писать... Вдруг является, немного, знаете, бледная, грустная, поклонилась и села около матери, почти напротив меня. Я ни слова и продолжаю любезничать с Анетой. Та совсем растаяла, только что не обнимает...

— Послушайте, Сергей Петрович, — перебила Татьяна Ивановна, — вы ужасный человек. За что вы мучаете этого ангела?

— Помилуйте, Татьяна Ивановна, что вы говорите? Она меня мучит.

— Нет, вы этого не говорите, — возразила хозяйка, — она, бедненькая, вероятно, это время мечтала о вас, а вы, злой человек, сейчас уж и стали заниматься с другой.

— Но послушайте, Татьяна Ивановна: любя человека, разве вы в состоянии были бы в каких-нибудь трех шагах просидеть два часа и не выйти, и чем же в это время

заниматься: дурацким мытьем какой-нибудь мерзкой кошки!

— Конечно, я бы этого не в состоянии была сделать, потому что никогда кокетства не имела.

— Вот видите, вы сами проговорились; стало быть, она только кокетничает со мной.

— Этого не смейте при мне и говорить, Сергей Петрович! Она вас любит.

— Да из чего вы видите?

— Из всего; во-первых, вы говорите — она пришла немного бледная и потом села напротив, чтобы глядеть на вас.

— Ну, нет... Таким образом перетолковывать можно все, — произнес Сергей Петрович, которому, впрочем, последние слова хозяйки, кажется, очень были приятны.

— Послушайте, — начала Татьяна Ивановна, одушевившись. — Я любила одного человека... полюбила его с самого первого раза, как увидела. Он жил в одном со мною доме, и что же вы думаете? Я целую неделю не имела духу войти к нему в комнату.

— Это о соседе вы говорите? — спросил с улыбкою Хозаров.

— Ой, нет! О другом, — возразила, вспыхнув, Татьяна Ивановна.

— Не может быть! Верно, о нем.

— Нет, право, о другом; про этого только так говорят... Конечно, он ко мне равнодушен, да нет, не по моему вкусу!

— Все это прекрасно, Татьяна Ивановна, да мои-то дела плохи.

— Вовсе не плохи. Головой моей отвечаю, что она вас любит и очень любит. Это ведь очень заметно: вот иногда придешь к ним; ну, разумеется, Катерина Архиповна сейчас спросит о вас, а она, миленькая этакая, как цветочек какой, тотчас и вспыхнет.

— Вы когда к ним пойдете, Татьяна Ивановна? — спросил Хозаров.

— Право, не знаю. Катерина Архиповна ужасно просит бывать у них почаще; сегодня думаю вечером сходить, показать им одной моей знакомой продажную брошку; недавно еще подарена ей, да не нравится фасон.

— А что, если б я попросил вас сделать для меня большое-пребольшое одолжение?

— Что такое?

— Вот дело в чем: надобно же узнать решительно, любит ли она меня, или нет?

— Объяснитесь.

— Объясниться я не могу, потому что мне решительно не удастся говорить с ней. Эти две старшие дуры, Пашет и Анет, просто атакуют меня, и я вот что выдумал: недели две тому назад она спросила меня, чем я занимаюсь дома? Я говорю, что дневник писал. Она, знаете, немного сконфузившись, вдруг начала меня просить, чтобы я его показал ей; я обещался; дневника, впрочем, у меня никакого не бывало никогда; однако, придя домой, засел и накатал за целые полгода; теперь только надобно передать. Возьмитесь-ка, передайте.

— А что вы в дневнике написали?

— Ничего особенного. Пишу, как я увидел ее, полюбил, записаны все ее слова.

— Ведь вы этак ее, Сергей Петрович, совсем погубите! — возразила Татьяна Ивановна. — Это ужасно для девушки получить такое письмо, особенно от человека, которого любит!

— Это не письмо, а дневник; тут она нигде прямо не называется.

— Догадается, Сергей Петрович, сейчас догадается.

— Конечно, догадается. Для того и написано, чтоб догадалась. Сделайте одолжение, Татьяна Ивановна, передайте.

— Ох, Сергей Петрович, в грех вы меня вводите.

— Не в грех, почтеннейшая, а в доброе дело, — возразил Хозаров.

— Конечно, про вас я не могу ничего сказать, — отвечала хозяйка, — вы имеете благородные намерения, а другие мужчины, ах! как они бедных женщин жестоко обманывают.

Сергей Петрович между тем бережно поднял пресс-папье, изображающий лягавую собаку, и, вынув из-под него чисто переписанную тетрадку, начал ее перелистывать.

— Почитайте, пожалуйста, Сергей Петрович, что вы тут написали.

— Нельзя, Татьяна Ивановна, тайна.

— Вот прекрасно! Да разве у вас может быть от меня тайна? Не пойду же, когда вы так поступаете.

— Ну, слушайте. Вот, например, начало: «Первого января я увидел в собрании одну девушку, в белом платье, с голубым поясом и с незабудками на голове».

— Это она самая; я ее видела в этом платье; еще, кажется, подол воланами отделан.

— Может быть; но слушайте: «Она меня так поразила, что я сбился с такта, танцуя с нею *вальс*, и, совершенно растерявшись, позвал ее на кадрили. Ах, как она прекрасно танцует, с какою легкостью, с какою грациею... Я заговорил с нею по-французски; она знает этот язык в совершенстве. Я целую ночь не спал и все мечтал о ней. Дня через три я ее видел у С... и опять танцевал с нею. Она сказала, что со мною очень ловко вальсировать. Что значат эти слова? Что хотела она этим сказать?..» Ну, довольно.

— Ах, какой вы плут! Вы просто обольститель! Почитайте, батюшка, почитайте еще.

— Да что вам любопытного?

— Почитайте, пожалуйста! Я очень люблю, как про любовь этак пишут.

— Ну, вот вам еще одно место: «Сегодня ночью я видел сон; я видел, будто она явилась ко мне и подала мне свою лилейную ручку; я схватил эту ручку, покрыл миллионами пламенных поцелуев и вдруг проснулся. О! если бы, — сказал я сам с собою, — я вместе с Грибоедовым мог произнести: *сон в руку!* Я проснулся с растерзанным сердцем и написал стихи. Вот они:

Прощай, мой ангел светлоокой!
Мне не любить, не обнимать
Твой гибкий стан во тьме глубокой,
С тобой мне счастья не видать.
Я знаю, ты любить умеешь,
Но не полюбишь ты меня,
Мечту иную ты лелеешь;
Но буду помнить я тебя.
Ты мне явилась, как виденье,
Как светозарный херувим,
Но то прошло, как сновиденье,
И снова я теперь один».

— Прекрасно! Бесподобно! — крикнула Татьяна Ивановна. — Батюшка Сергей Петрович, спишите мне эти стишки!

— После, Татьяна Ивановна, после; я наизусть их знаю.

— Ну, что после, напишите теперь.

— Право, после, теперь лучше потолкуем о деле. Я запечатаю вам в пакет; вы поедете, хоть часу в седьмом, сегодня; ну, сначала обыкновенно посидите с Катериной Архиповной, а тут и ступайте наверх — к барышням. Она, может быть, сидит там одна, старшие все больше внизу.

— Это можно; я у них по всем комнатам вхожа; они меня, признаться, с первого раза, как вы меня отрекомендовали, очень хорошо приняли. Будто сначала выйду в девичью, а там и пройду наверх.

— И прекрасно! Только что вы скажете? Как отдадите?

— Да что сказать? Скажу: от Сергея Петровича дневник, который вы просили. Не беспокойтесь, поймет...

— Конечно, поймет. Чудесно, почтеннейшая! Дайте вашу ручку, — сказал Сергей Петрович и крепко сжал руку друга-хозяйки.

— Только какой вы для женщин опасный человек, — сказала Татьяна Ивановна после нескольких минут размышления, — из молодых, да ранний.

— А что? — спросил с довольною улыбкою постоялец.

— Да так. Вы можете просто женщину очаровать, погубить.

— Мясник, Татьяна Ивановна, пришел, — сказала Марфа, входя в комнату.

— Ах, батюшки! Как я с вами заболталась! Прощайте, я было за деньгами к вам приходила.

— Нет, почтеннейшая, ей-богу, нет.

— Ну нет, так и нет; пакет ваш теперь отдадите?

— Через час пришлю.

— Ну, хорошо, прощайте.

Выйдя от Хозарова, Татьяна Ивановна остановилась перед номером скрытого милашки и несколько времени пробыла в раздумье; потом, как бы не выдержав, приотворила немного дверь.

— Придете обедать? — сказала она каким-то чересчур нежным голосом.

— Нет, — отвечал голос изнутри.

— Почему же?

— Ноты пишу.

— Ну вот уж с этими нотами! А чай придете пить?

— Нет, пришлите водки.

Татьяна Ивановна затворила дверь, вздохнула и прошла к себе, велев, впрочем, попавшейся навстречу Марфе отнести во второй номер водки.

Сергей Петрович, оставшись один, принялся писать к приятелю письмо, которое отчасти познакомит нас с обстоятельствами настоящего повествования и отчасти послужит доказательством того, что герой мой владел пером, и пером прекрасным. Письмо его было таково:

«Любезный друг, товарищ дня и ночи!

Я уведомлял тебя, что еду в Москву определяться в статскую службу; но теперь я тебе скажу философскую истину: человек предполагает, а бог располагает; капризная фортуна моя повернула колесо иначе; вместо службы, кажется, выходит, что я женюсь, и женюсь, конечно, как благородный человек, по страсти. Представь себе, *mon cher*¹, невинное существо в девятнадцать лет, розовое, свежее, — одним словом, чудная майская роза; сношения наши весьма интересны: со мною, можно сказать, случился роман на большой дороге. Прошедшего года, в этой дурацкой провинции, в которой я имел глупость прожить около двух лет, я раз на бале встретил молоденькую девушку. Просто чудо, *mon cher*, как она меня поразила! В ней было что-то непохожее на других, что-то восточное, какая-то грезовская головка. Я с нею протанцевал несколько кадрили и тут убедился, что она необыкновенно милое, резвое дитя, которое может нашего брата, ветерана, одушевить, завлечь, одним словом, унести на седьмое небо; однако тем и кончилось. Поехав в Москву из деревни, на станции съезжаю я с одним барином; слово за слово, вижу, что человек необыкновенно добродушный и даже простой; с первого же слова начал мне рассказывать, что семейство свое он проводил в Москву, что у него жена, три дочери, из коих младшая красавица, которой двоюродная бабушка отдала в приданое подмосковную в триста душ, и знаешь что, *mon cher*, как узнал я после по разговорам, эта младшая красавица — именно моя грезовская головка! Я не мог удержаться и тогда же подумал: «О, судьба, судьба! Видно, от тебя нигде не уйдешь». Он снабдил меня письмом к его семейству, с которым я теперь уже и сошелся по-дружески, познако-

¹ дорогой мой, (франц.)

мясь вместе с тем и со всем их кружком. Дела идут недурно; одно только меня немного смущает, что у них каждый день присутствует какой-то жирный барин, Рожнов; потому что кто его знает, с какими он тут бывает намерениями, а лицо весьма подозрительное и неприятное.

Так-то, mon cher, я женюсь, и непременно женюсь! Да, мой друг, я теперь убедился, что наша прошлая жизнь — все пустяки! На что мы, холостяки, похожи? Грязь, грязь — и больше ничего! Нет ни одного отрадного явления, нет человека, с кем бы разделить чувства. Такое ли счастье человека, который сидит в прекрасном кабинете, сладко полудремет, близ него милое, прелестное существо — вот это жизнь! Кроме сих и оных моих делишек, я здесь в порядочном кругу; особенно один дом Мамиловых. Представь себе, аристократический тон во всем: муж страшный богач, более полугода живет в южных губерниях и занимается торговыми операциями, жена красавица и, говорят, удивительная фантазерка и философка. Теперь я с ними еще не так короток, но, однако, очень дорожу их знакомством и постараюсь сблизиться.

Прими уверение в совершенном моем почтении и преданности, с коими и остаюсь покорный к услугам

Хозаров».

II

В зале, о которой упоминал Хозаров, за большим круглым столом, где помещался самовар с его принадлежностями, сидели Катерина Архиповна и ее семейство, то есть: Пашет, Анет и Машет. Впрочем, в среде этого семейства помещалось новое лицо, какой-то необыкновенно высокий мужчина, который, конечно, кинулся бы вам в глаза по своему огромному носу, клыкообразным зубам и большим серым, навывкате и вместе с тем ничего не выражающим глазам. По загорелому его лицу нетрудно было догадаться, что он недавно с дороги. Это подтверждалось и тем, что в комнате было расставлено несколько дорожных вещей. Катерина Архиповна, дама лет около пятидесяти, черноволосая, немного сердитая на вид и с довольно крупными чертами лица, была, кажется, в весьма дурном расположении духа. Две старшие

дочери, Пашет и Анет, представляли резкое сходство с высоким мужчиной как по высокому росту, так и по клыкообразным зубам, с тою только разницею, что глаза у Пашет были, как и у маменьки, — сухие и черные; глаза же Анет, серые и навывкате, были самый точный образец глаз папеньки (читатель, вероятно, уж догадался, что высокий господин был супруг Катерины Архиповны); но третья дочь, Машет, была совершенно другой наружности. Это была небольшого роста брюнетка с выразительными чертами лица, с роскошными волосами, убранными для вящего очарования à l'enfant¹, с черными и живыми глазами и с веселой улыбкой.

При внимательном, впрочем, наблюдении в девушке можно было заметить сходство с матерью, замаскированное, конечно, молодостью, здоровьем, невинностью и каким-то еще чуждым началом, не замечаемым ни в одном из членов семейства. Катерина Архиповна, как я прежде объяснил, была не в духе: как-то порывисто разлила она чай по чашкам и подала их дочерям, а предназначенный для супруга стакан даже пихнула к нему. Антон Федотыч Ступицын, имя родоначальника семейства, принял довольно равнодушно так невежливо препровожденный к нему стакан и принялся пить чай с большим аппетитом. Отпив половину стакана, он потихоньку встал, взял трубку и закурил.

— Фу, батюшки, опять с своим куреньем, — сказала Катерина Архиповна, отмахивая от себя табачный дым.

— Ничего, душа моя, я так... немножко, — отвечал Антон Федотыч, тоже размахивая дым.

— Это у него ничего, как из трубы... Жили бы там себе в деревне и курили, сколько хотелось: так нет, надобно в Москву было приехать.

— Нельзя было, душа моя. Генерал просто меня прогнал; встретил в лавках: «Что вы, говорит, сидите здесь? Я, говорит, давно для вас место приготовил». Я говорю: «Ваше превосходительство, у меня хозяйство». — «Плюньте, говорит, на ваше хозяйство; почтенная супруга ваша с часу на час вас ждет», — а на другой день даже письмо писал ко мне; жалко только, что дорогою затерял.

¹ по-детски, (франц.)

В продолжение всей этой речи Катерина Архиповна едва сдержала себя.

— Я хочу вас, Антон Федотыч, спросить только одно: перестанете вы когда-нибудь лгать или нет?

— Что лгать-то, — отвечал немного смешавшийся Ступицын, — спроси Пиронова; при нем вся эта история была.

— Нечего мне Пиронова спрашивать; двадцать пятый год я, милый друг мой, вас знаю; перед кем-нибудь уж другим выдумывайте и лгите. Ну, зачем вы сюда приехали? Для какой надобности?

— Да ведь я тебе говорил, душа моя, что генерал...

— Не говорите вы мне, бога ради, про генерала и не заикайтесь про него, не сердите хоть по крайней мере этим. Вы все налгали, совершенно-таки все налгали. Я сама его, милостивый государь, просила; он мне прямо сказал, что невозможно, потому что места у них дают тем, кто был по крайней мере год на испытании. Рассудили ли вы, ехав сюда, что вы делаете? Деревню оставили без всякого присмотра, а здесь — где мы вас поместим? Всего четыре комнаты: здесь я, а наверху дети.

— Да много ли мне места надобно? Я вот хоть здесь...

— Скажите на милость: он здесь — в зале расположится; одна чистая комната, он и в той дортуар себе хочет сделать. Вы о семействе никогда не думали и не думаете, а только о себе; только бы удовлетворять своим глупым наклонностям: наесться, выспаться, накурить полную комнату табаком, и больше ничего; ехать бы потом в гости, налгать бы там что-нибудь — вот в Москву, например, съездить. Сделали ли вы хоть какую-нибудь пользу для детей, выхлопотали, приобрели ли что-нибудь?

— Да я думал... — начал было Антон Федотыч.

— Ничего вы не думали, — перебила Катерина Архиповна, — солгали где-нибудь, что в Москву едете, да после и стыдно было отказаться.

Последние слова очень сконфузили Ступицына.

— Мне нечего стыдиться, — проговорил он.

— Знаю, что вы давно стыд-то потеряли. Двадцать пятый год с вами маюсь. Все сама, везде сама. На какие-нибудь сто душ вырастила и воспитала всех детей; старших, как помоложе была, сама даже учила, а вы, отец семейства, что сделали? За рабочими не хотите хорошенько присмотреть, только конфузите везде. Того и жди,

что где-нибудь в порядочном обществе налжете и заставите покраснеть до ушей.

— Бранитесь, бранитесь, как хотите; эту песню я уже двадцать пять лет слушаю, — проговорил, махнув рукой, Антон Федотыч.

— Да вы хоть кого из терпения выведете, — возразила Катерина Архиповна. — Не сиделось вам в деревне, в Москву прискакали; на почтовых, я думаю, ехали. Вот я просмотрю оброчный счет. Привезли ли счет-то по крайней мере?

— Привез; сто рублей всего собрано.

— Знаю я вас, милостивый государь, сто рублей. Я, впрочем, усчитаю. Хоть бы вы это рассудили: что я, для удовольствия, что ли, живу здесь?

— Кто вас знает, зачем вы здесь живете.

— Как же — для любовников! Посмотрите-ка, сколько их в пятьдесят-то лет завела. Скажите на милость: он не знает, зачем я здесь живу! Знаете ли по крайней мере, что у нас в Москве тяжба? Это-то вы хоть знаете ли?

— Конечно, знаю.

— Так что же-с, вам, что ли, мне поручить хлопотать? Фамилию свою хорошенько не умеете подписать.

— Вы уж очень учены; где нам! — возразил Антон Федотыч.

— Конечно, лучше вашего все понимаю; как угорелая езжу по добрым знакомым да кланяюсь и прошу, чтоб растолковали да научили. Вот с завтрашнего дня все вам передам: хлопочите, ходатайствуйте. Слава богу, свой стряпчий приехал, можно успокоиться: обделает дело.

— Я военный человек, статских дел не знаю.

— Скажите, какой воин, — ветеран заслуженный; много ли изволили ран получить? В каких сражениях были?

— Ругайтесь, как хотите ругайтесь, я уж не стану и говорить, — произнес со вздохом Антон Федотыч и опять махнул рукой.

— Ну, думала, — продолжала Катерина Архиповна: — приехала в Москву, наняла почище квартиру, думала, дело делом, а может быть, бог приведет и дочерей устроить. Вот тебе теперь и чистота. Одними окурками насорит все комнаты. Вот в зале здесь с своим прекрасным гардеробом расположится, — принимай посторонних людей. Подумали ли вы хоть о гардеробе-то своем? Ведь

здесь столица, а не деревня; в засаленном фраке — на вас все пальцем будут показывать.

— Что мне гардероб-то, ведь я не молоденький, — возразил Антон Федотыч.

— Да вы отец семейства; по вашей наружности будут судить и о прочих.

— Я сошью себе фрак; всего сто рублей.

— Конечно, как вам не сшить? Сто рублей для вас пустяки. Вместо того чтобы жить в деревне да сколачивать копейку, чтобы как-нибудь, да поблагороднее, поддерживать семейство, — не тут-то было: в Москву прискакал, франтом хочет быть; место он приехал получать. Вот, не угодно ли? Есть свободное: в нашей будке будочник помер.

— Ну, бог с тобой, расписывай, — проговорил уже потерявший совсем терпение Антон Федотыч, махнул рукой, вздохнул и вышел из комнаты на крыльцо.

Здесь я должен заметить, что всю предыдущую сцену между папенькой и маменькой две старшие дочери, Пашет и Анет, выслушивали весьма хладнокровно, как бы самый обыкновенный семейный разговор, и не принимали в нем никакого участия; они сидели, поджав руки: Анет поводила из стороны в сторону свои большие серые глаза, взглядывая по временам то на потолок, то на сложенные свои руки; Пашет свои глаза не поводила, а держала их постоянно устремленными на мамежку или на лежавший около нее белый хлеб — доподлинно я не знаю; одна только Машет волновалась родительскою размолвкой, или по крайней мере ей было это скучно.

Все, что ни говорила Катерина Архиповна своему супругу, все была самая горькая истина: он ничего не сделал и не приобрел для своего семейства, дурно присматривал за рабочими, потому что, вместо того чтобы заставлять их работать, он начинал им обыкновенно рассказывать, как он служил в полку, какие у него были тогда славные лошади и тому подобное. Генерала он только видел, но тот ему ни слова не говорил о месте; а приехал в Москву единственно потому, что, быв в одной холостой у казначея компании и выпив несколько рюмок водки, прихвастнул, что он на другой же день едет к своему семейству в Москву, не сообразя, что в числе посетителей был некто Климов, его сосед, имевший какую-то странную привычку ловить Антона Федотыча на словах, а потом

уличать его, что он не совсем правду сказал. Услышав, что Ступицын возвестил о поездке в Москву, сосед не упустил случая и возгласил во всеуслышание: «Солгал, брат Антоша, не поедешь ты в Москву». — «Это уж представьте мне лучше знать», — возразил уклончиво Ступицын. — «Опять повторяю при всей честной компании: не поедешь ты в Москву», — проговорил еще громче Климов. — «А вот увидим», — отвечал опять уклончиво Ступицын. — «Нечего тут видеть, а вот что, — продолжал Климов, — ты сказал, что завтра поедешь; завтра, брат, я сам еду в Москву; едем вместе, и вот пари: поедешь — моя дюжина шампанского, не поедешь — твоя!» — «Идет», — отвечал Ступицын, и тут же два соседа ударились по рукам. На другой день Ступицын пораздумал и уже решился было потихоньку уехать в деревню; но Климов приехал к нему со всей честной компанией. Не ехать, значит, надобно было отдать пари. «Что будет, то будет, лучше поеду», — подумал Антон Федотыч. К этому решению его еще более подстрекали имевшиеся в кармане сто рублей, привезенные было для отправления к супруге.

Климов проиграл: Антон Федотыч, сильно подгуляв, поехал с ним в Москву.

Для большего уяснения характера этого человека, я должен сказать, что Ступицын вовсе не мог быть отнесен к тем неприличным лгунам, которые несут бог знает какую чушь, ни с чем несообразную. Напротив того, он говорил весьма бытовые и обыкновенные вещи, но только они с ним не случались и не могли даже случаться. Судьба, или, лучше сказать, Катерина Архиповна, держала его, как говорится, в ежовых рукавицах; очень любя рассеяние, он жил постоянно в деревне и то без всяких комфорта, то есть: ему никогда не давали водки выпить, что он очень любил, на том основании, что будто бы водка ему ужасно вредна; не всегда его снабжали табаком, до которого он был тоже страстный охотник; довольствовались более на молочном столе, тогда как он молока терпеть не мог, и, наконец, заставляли щеголять почти в единственном фраке, сшитом по крайней мере лет шестнадцать тому назад. Всем этим лишениям Антон Федотыч покорялся терпеливо и не предпринимал ничего к выходу из подобного положения. Невинным и единственным его развлечением было то, что он, сидя в своей комнате, создавал различные приятные способы жизни, по-

среди которых он мог бы существовать: например, в одно холодное утро, на ухарской тройке, он едет в город; у него тысяча рублей в кармане; он садится играть в карты, проигрывает целую ночь. На другой день зовет к себе гостей; до приезда еще их выпивает крепкой очищенной водки. Друзья съезжаются; он угощает их с шампанским и с мороженым превосходным обедом; вечером заставляет играть своих музыкантов, которых у него тридцать человек. Пошалив таким образом, на другой день принимается за дело: ходит по постройкам, а вечером пишет письма в Петербург, чтобы ему выслали четыре ящика вина, — словом, живет на широкую ногу, русским баринном. Все такого рода мечтания так укоренились в голове Ступицына, что он сам начинал в них верить, как в действительность, и очень любил их высказывать себе подобным; но, увы! эти себе подобные, если они хоть немного знали Антона Федотыча, не говоря уже о семейных, эти себе подобные обрезывали его на первом слове: «Полно, брат, врать, Антон Федотыч», «Замололи вы, Антон Федотыч». Более же деликатные, особенно из дам, отходили от него обыкновенно в самом начале разговора. Были и такие проказники, которые говорили: «Поври что-нибудь, Антон Федотыч». — «Сами извольте врать», — отвечал добросердый Ступицын.

Катерина Архиповна была прекрасная семьянинка, потому что, несмотря на все неуважение к мужу, которого она считала самым пустым и несносным человеком в мире, сохранила свою репутацию в обществе и, по возможности, старалась скрыть между посторонними людьми недостатки супруга; но когда он бывал болен, то даже сама неусыпно ухаживала за ним. Пиля его, как говорится, каждодневно, она всегда относилась к нему во втором лице множественного числа и прибавляла частичку «с». Кроме того, надобно отдать ей честь, она была самая расчетливая и неутомимая хозяйка и добрая мать: при весьма ограниченных средствах, она умела жить чистенько и одевала дочерей хотя не богато, но, право, весьма прилично. Двух старших она любила так себе, посредственно, но младшая была ее идол; для нее она готова была принести в жертву двух старших дочерей, мужа, все свое состояние и самое себя. Над всеми и над всем она была госпожой в доме и только в отношении Мари делалась рабою, и рабою беспрекословною.

Постоянные хлопоты по хозяйству, о детях, вечная борьба с нуждою, каждодневные головомойки никуда не годному супругу — все это развило в Катерине Архиповне желчное расположение и значительно испортило ее характер; она брюзжала обыкновенно целые дни то на людей, то на дочерей, а главное — на мужа. Две старшие дочери, Пашет и Анет, очень любили новые платья, молодых мужчин и питали самое страстное желание выйти поскорее замуж; кроме того, они были очень завистливого характера. Анет, как и папенька, любила сказать красное словцо, Пашет же была очень молчалива и наследовала от папеньки только сильный аппетит. Обе эти девицы были влюблены по нескольку раз, хотя и не совсем с успехом; маменьки они боялись, слушались ее и уважали; вследствие того и в отношении папеньки разделяли вполне ее мнение, то есть считали его совершенно за нуль и только иногда относились к нему с жалобами на младшую, Машет, которую обе они терпеть не могли, потому что она была идолом маменьки, потому что ей шили лучшие платья и у нее было уже до пятка женихов, тогда как им не досталось еще ни одного. Что касается до Мари, то она, по словам Катерины Архиповны, еще не сформировалась, была совершенный ребенок и несколько месяцев только перестала играть в куклы и начала читать романы.

Антон Федотыч, которого мы оставили на крыльце, все еще сидел там и не входил в комнату. Средство это он, особенно в холодное время года, употреблял издавна и всегда почти для себя с успехом. Во-первых, уходя на крыльцо, он удалялся от супруги; во-вторых, освежался на воздухе от головомойки и, наконец, в-третьих, возбуждал к себе в Катерине Архиповне участие. Спустя четверть часа она обыкновенно говорила: «Что, сумасшедший-то там стоит? Простудится еще: эй, девочка, мальчик! Подите скажите барину, что он там стоит?» Барину сказывали, и он возвращался торжествующий и спокойный, потому что Катерина Архиповна после этого обыкновенно его уже не журила и даже иногда говорила, чтобы он выпил водки. В настоящее время Катерина Архиповна, видно, очень рассердилась; прошло уже более четверти часа, как Ступицын сидел на рундучке крыльца, а она не высылала; Антону Федотычу становилось очень холодно; единственный предмет его развлечения — луна —

скрылась за облаками. Вдруг в темноте слышались шаги.

— Ах! — вскрикнул вслед за тем женский голос.

— Ух, черт возьми! — произнес с своей стороны Ступицын, схватившись за живот, в который ударилась чья-то нога.

— Кто это? — повторил тот же голос.

— А ты кто? — спросил Ступицын.

— Я пришла к знакомым моим, — сказал женский голос. — Вы здешний?

— Здешний. Кого вам надо?

— Катерину Архиповну.

— Жену мою?

— Вы супруг Катерины Архиповны?

— Точно так.

— Ах, боже мой, извините, я очень хорошая знакомая Катерины Архиповны. Честь имею рекомендоваться: Татьяна Ивановна Замшева.

— Позвольте и мне, с своей стороны, представиться: Антон Федотыч Ступицын. Что мы здесь стоим? Милости прошу!

Хозяин и гостья вошли в залу, в которой никого уже не было. Татьяна Ивановна и Антон Федотыч смотрели несколько времени друг на друга с некоторым удивлением. Обоих их поразили некоторые странности в наружности друг друга. Антону Федотычу кинулись в глаза необыкновенные рябины Татьяны Ивановны, а Татьяна Ивановна удивлялась клыкообразным зубам и серым навывкате глазам Ступицына. Оба простояли несколько минут в молчании.

— Могу ли я видеть почтеннейшую Катерину Архиповну? — проговорила Татьяна Ивановна.

— Не знаю-с; она там у себя. Я сейчас спрошу, — отвечал Ступицын и вышел. К супруге, впрочем, он не пошел, но, постояв несколько времени в темном коридоре, вернулся.

— Она чем-то занята, милости прошу садиться, — проговорил он и, указав госте место, сам сел на диван.

— По семейству, вероятно, соскучились и изволили приехать повидаться? — начала Татьяна Ивановна.

— Да, повидаться захотелось, — отвечал Антон Федотыч, — раньше нельзя было; у меня нынче летом были большие постройки: тысяч на шесть построил.

— На шесть тысяч?

— Почти на шесть. Два скотных двора на каменных столбах — тысячи в две каждый, да кухню новую построил в пятьсот рублей. Нельзя, знаете, усадьба требует поддержек.

— Без всякого сомнения; однако у вас и усадьба должна быть отличная.

— Изрядная. Хлебопашество, главное дело, в хорошем виде: рожь родится сам-десять; это, не хвастаясь, можно сказать, что я устроил. Прежде, бывало, как сам-пят придет, так бога благодарили.

— Скажите, что значит хозяйство.

— Хозяйство вещь важная, глубокомысленная в то же время, — сказал Ступицын.

— Нынче без ума нигде нельзя, — заметила Татьяна Ивановна.

Разговор на несколько минут остановился.

— Да это бы ничего, — начал опять Ступицын, — за хозяйством бы я не остановился, да баллотировка была, так, знаете, нельзя.

— Вы изволили баллотироваться?

— Нет, то есть меня очень просили в предводители, да не мог — отказался.

— Отчего же это не захотели послужить?

— Нельзя-с, семейные обстоятельства; впрочем, на одном обеде мне очень выговаривали... совестно, а делать нечего.

— Конечно, Антон Федотыч, в семействе иногда и не хочешь, а делаешь.

— Не иногда, а всегда. Вы имеете детей?

— Я девица.

— А батюшка жив?

— Помер. Я живу одна — сиротой... Каковы дороги?

— Кажется, хороши: шоссе отличное, а проселков я почти и не заметил. У меня очень покойный экипаж.

— Бричка, верно?

— Нет, коляска; совершенная люлька; прочности необыкновенной, и, вообразите, я ее купил у соседа за полторы тысячи и вот уже третий год езжу, ни один винт не повредился.

— Приятно в таких экипажах ездить, — заметила Татьяна Ивановна. — Вот мне здесь случалось с знако-

мыми ездить, так просто прелесть. Нынче, я думаю, этих экипажей прочных не делают.

— Есть и нынче, только дóроги. Нынче, впрочем, все вздорожало. Вот хоть бы взять с поваров: я платил в английском клубе за выучку повара по триста рублей в год; за три года ведь это девятьсот рублей.

— Легко сказать: девятьсот рублей! Впрочем, я думаю, и повар вышел отличный?

— Бесподобный. Он у нас теперь в деревне; так вот беда: захочешь иногда этакий для знакомых сделать обед, закажешь ему, придет: «Вся ваша воля, говорит, я не могу: запасов нет». Мы думаем его сюда привезти. Вот здесь он покажет себя; милости прошу тогда к нам отобедать.

— Покорнейше вас благодарю, я уж и так много обласкана вниманием Катерины Архиповны. А я заговорила и не спросила: здоровы ли Прасковья Антоновна, Анна Антоновна и Марья Антоновна?

— Слава богу. Я, признаться сказать, очень рад, что они сюда переехали, а то в деревне от женихов отбою нет.

— Ну, этим для родителей тяготиться нечего.

— Даша! — послышался голос Катерины Архиповны. — Где барин?

— В зале, с Татьяной Ивановной разговаривают, — отвечала горничная.

— Теперь, я думаю, можно к Катерине Архиповне? — спросила гостья.

— Можно, я думаю, — отвечал Антон Федотыч, остановленный голосом супруги.

Татьяна Ивановна ушла. Антон Федотыч сидел несколько минут в каком-то приятном довольстве от того, что успел себя показать новому лицу и еще даме. Посидев несколько времени, он вдруг встал, осмотрел всю комнату и вынул из-под жилета висевший на шее ключ, которым со всевозможною осторожностью отпер свой дорожный ларец и, вынув оттуда графин с водкою, выпил торопливо из него почти половину и с теми же предосторожностями запер ларец и спрятал ключ, а потом, закури́в трубку, как ни в чем не бывало, уселся на прежнем месте.

Подобного рода контрабанду Антон Федотыч употреблял в своей безотрадной жизни при всяком удобном случае, то есть когда у него случалось хоть сколько-нибудь

денег. Для этой собственно цели имел он особую шка- тулку, которую тщательно запирает и никому не показы- вал, что в ней хранится.

Татьяна Ивановна, войдя к хозяйке, которая со всеми своими дочерьми сидела в спальне, тотчас же рассыпа- лась в разговорах: поздравила всех с приходом Антона Федотыча, засвидетельствовала почтение от Хозарова и затем начала рассказывать, как ее однажды, когда она шла от одной знакомой вечером, остановили двое мужчин и так напугали, что она после недели две была больна горячкою, а потом принялась в этом же роде за разные анекдоты: описала несчастье одной ее знакомой, на кото- рую тоже вечером кинулись из одного купеческого дома две собаки и укусили ей ногу; рассказала об одном зна- комом ей мужчине — молодце и смельчаке, которого ночью мошенники схватили на площади и раздели донага.

— Ах, какие вы ужасы рассказываете, — сказала Ка- терина Архиповна.

— Как же вы от нас пойдете? — заметила Мари.

— А как бог приведет; признаться сказать, очень по- трушиваю, да уж повидаться очень хотелось, — отвечала Замшева.

— Вы извозчика возьмите, — сказала хозяйка.

— Ай, нет, Катерина Архиповна, ни за что в свете, — возразила гостья и здесь рассказала происшествие, слу- чившееся с одною какой-то важною дамою, которая ехала домой на извозчике и которую не только обобрали, но даже завезли в такой дом, о котором она прежде и поня- тия не имела. После этого рассказа ужас овладел всеми дамами.

— Хорошо, что мы никогда на извозчиках не ездим, — сказала мать. — Когда мы выезжаем, — прибавила она, обращаясь к Татьяне Ивановне, — то знакомые обыкно- венно на своих лошадях нас возят.

— Мамаша! Татьяну Ивановну, пожалуй, оберут, — сказала Мари, принимавшая больше всех участия в в госте, — она бы у нас ночевала.

— В самом деле, ночуйте у нас, — проговорила хо- зяйка, — да только где?

— У меня в комнате, — отвечала Машет.

— Ах, боже мой, что вы беспокоитесь; мне, право, очень совестно, что доставляю столько хлопот, — отвечала жеманно Татьяна Ивановна. — Какой у вас ангельской

доброты Марья Антоновна! — прибавила она вполголоса Катерине Архиповне.

— Очень добра, — отвечала мать, с удовольствием глядя на дочь. — Вы ночуете в ее комнате; у ней наверху особый кабинетик.

— Ночую, Катерина Архиповна, — отвечала Татьяна Ивановна, — я очень боюсь идти.

Перед ужином Антон Федотыч вошел, наконец, в комнату жены и уселся на отдаленное кресло. Впрочем, он ничего не говорил и только, облизываясь языком, весело на всех посматривал. Заветный ящик еще раз им был отперт.

— Что это глаза у вас какие странные? — заметила Катерина Архиповна.

— Ветром надуло, — отвечал Антон Федотыч.

За ужином Катерина Архиповна ничего не ела, потому что все еще была расстроена. Машет отучили ужинать в пансионе; Анет никогда не имела аппетита, а Татьяна Ивановна отказывалась из деликатности. Одна только Пашет с папенькой ратоборствовали: они съели весь почти суп, соус, жареное и покончили даже хлеб и огурцы. После ужина барышни и Татьяна Ивановна, простившись с хозяевами, отправились вверх. Антону Федотычу, впредь до дальнейших распоряжений, повелено было спать в зале на диване, с строжайшим запрещением сорить. Пашет и Анет, не простившись с сестрою, ушли к себе наверх в общую их спальню. Татьяне Ивановне было послано в кабинете Мари на кушетке. Гостья за причиненные хлопоты еще раз извинилась перед Катериною Архиповною, которая не утерпела и пришла поцеловать и перекрестить своего идола.

— Ах, какие вы, Марья Антоновна, хорошенькие, — сказала Татьяна Ивановна, когда девушка разделась.

Та, улыбнувшись, прыгнула в постель и начала укутываться в теплое одеяло.

— Я к вам с поручением, — начала Татьяна Ивановна, подойдя к кровати. — Я принесла вам от Сергея Петровича дневник, который вы просили, — прибавила она, подавая конверт.

Мари сначала с каким-то испугом взглянула на поспрядницу, а потом, вся вспыхнув, схватила пакет и спрятала его под подушки.

Татьяна Ивановна хотела было говорить, но Мари показала ей на соседнюю комнату и приложила в знак мол-

чания пальчик к губам. Татьяна Ивановна поняла, что это значит: она кивнула головой, отошла от кровати и улеглась на своем ложе. Прошло более часа в совершенном молчании. Татьяне Ивановне показалось, что Мари заснула, ее самое начал сильно склонять сон. Вдруг видит, что девушка, потихоньку встав с постели, начала прислушиваться; Татьяна Ивановна захрапела. Мари, видно, этого и поджидавшая, потихоньку встала с постели, вынула из-под подушек дневник и на цыпочках подошла к лампаде. Дрожащими руками она распечатала пакет, поцеловала тетрадку и быстро начала читать. С каждой строчкою волнение ее увеличивалось; щеки ее то бледнели, то горели ярким румянцем. Она, кажется, готова была заплакать. Дочитав до конца, она схватила себя за голову и потом снова начала перечитывать. В середине тетрадки, а именно на том самом месте, как могла заметить Татьяна Ивановна, где были написаны знакомые нам стихи, она еще раз поцеловала листок. Прочитав другой раз, девушка опять на цыпочках подошла к своей кровати и улеглась в постель; но не прошло четверти часа, она снова встала и принялась будить Татьяну Ивановну, которая, будто спросонья, открыла глаза.

— Возьмите, — сказала шепотом Мари, подавая ей тетрадку.

— А что же? — спросила Татьяна Ивановна.

— Здесь сестрицы найдут.

— Да вы сами-то напишите ему что-нибудь.

— Не могу.

— Так что же мне ему сказать?

— Скажите, что *merci* ¹.

Проговоря это, девушка сунула дневник под подушку Татьяне Ивановне и тотчас же улеглась в постель.

«Какая миленькая и умненькая девушка», — проговорила сама с собою Татьяна Ивановна и совершенно осталась довольна своим успехом: она все видела и все очень хорошо поняла.

Возвратившись домой ранним утром, девица Замшева тотчас же разбудила своего милашку Сергея Петровича и пересказала ему все до малейшей подробности и даже с некоторыми прибавлениями.

¹ благодарю. (франц.)

III

Четвертого декабря, то есть в Варварин день, Хозаров вместе с Татьяною Ивановною был в больших хлопотах: ему предстоял утренний визит с поздравлением и танцевальный вечер в доме Мамиловых, знакомством которых он так дорожил. Туалетом своим он занялся с самого утра, в чем приняла по своей дружбе участие и Татьяна Ивановна. Первая забота Хозарова была направлена на завивку волос, коими уже распорядилась не Марфа, а подмастерье от парикмахера, который действительно и завил мастерски. Девица Замшева, исполненная дружеских чувствований к Хозарову, несмотря на свойственную ее полустыдливость, входила во все подробности мужского туалета.

— Что хотите, Сергей Петрович, — говорила она, — а сорочка нехороша: полотно толсто и сине; декос гораздо был бы виднее.

— Какие вы, Татьяна Ивановна, говорите несообразности! — возразил Хозаров. — Кто же носит декос?

— Все носят: я жила в одном графском доме, там везде декос.

— Ошибаетесь, почтеннейшая, верно, батист: это другое дело.

— Слава богу, уж этого-то мне не знать, просто декос, — декос и на графе, — декос и на графине.

— Заблуждаетесь, почтеннейшая, и сильно заблуждаетесь. Голландское полотно лучше всего.

— Лучше бы вы, Сергей Петрович, не говорили мне про полотно, — возразила Татьяна Ивановна, — полотно — полотно и есть: никакого виду не имеет... В каком вы фраке поедете? — спросила она после нескольких минут молчания, в продолжение коих постоялец ее нафабриковал усы.

— Разумеется, в черном, — отвечал тот.

— Наденьте коричневый; вы в том наряднее, да у черного у вас что-то сзади оттопыривает.

— Нет, почтеннейшая, вы в мужском наряде, извините меня, просто ничего не понимаете, — сказал Хозаров. — Нынче люди порядочного тона цветное решительно перестают носить.

— Что и говорить! Вы, мужчины, очень много понимаете, — отвечала Татьяна Ивановна, — а ни один не умеет к лицу одеться. Хотите, дам булавку; у меня есть брильянтовая.

— Нет, не нужно; а лучше дайте мне денег хоть рублей десять; не шлют, да и только из деревни, — что прикажете делать! Нужно еще другие перчатки купить.

— Право, нет ни копейки.

— Ни-ни-ни, почтеннейшая, не извольте этого и говорить.

— Да мне-то где взять, проказник этакий? — говорила Татьяна Ивановна, опуская, впрочем, руку в карман.

— Очень просто: взять да вынуть из кармана, — отвечал постоялец.

— Ах, какой вы уморительный человек, — сказала она, пожав плечами, — какие вам послать? — прибавила она.

— К Лиону, почтеннейшая, к Лиону: в два целковых, — отвечал тот.

— Хорошо. Скоро будете одеваться?

— Сейчас.

— Ну, так прощайте.

— Adieu, почтеннейшая!

— Зайдете показаться одетые?

— Непременно.

— А туда зайдете?

— Нет.

— Прекрасно... очень хорошо! Ах, вы, мужчины, мужчины, ветреники этакие; не стойте, чтобы вас так любили. Сегодня же пойду и насплетничаю на вас.

— Ну нет, почтеннейшая, вы этого не делайте.

— То-то и есть, испугались! А в самом деле, что сказать? Я сегодня думаю сходить... Катерина Архиповна очень просила прийти помочь барышням собираться на вечер. Она сегодня будет в розовом газовом и, должно быть, будет просто чудо! К ней очень идет розовое.

— Вы скажите, почтеннейшая, что я целый день сегодня мечтаю о бале.

— Хорошо... Впрочем, вы, кажется, все лжете, Сергей Петрович.

— Вот чудесно!.. Не дай бог вам, Татьяна Ивановна, так лгать. Я просто без ума от этой девочки.

— Ну, уж меньше, чем она, позвольте сказать; она не говорит, а в сердце обожает. Прощайте.

— Адицу, почтеннейшая; да кстати, пошлите извозчика нанять.

— Какого?

— Пошлите к Ваньке Неронову; он у Тверских ворот стоит; рыжая этакая борода; или постойте: я к нему записочку напишу.

«Иван Семеныч! Сделай, брат, дружбу, пришли мне на день сани с полостью, и хорошо, если бы одолжил серого рысака, в противном же случае — непременно вороную кобылу, чем несказанно меня обяжешь. — *Хозаров.*

Р. S. О деньгах, дружище, не беспокойся, на следующей неделе разотчусь совершенно».

Взяв эту записочку и еще раз попросив постояльца: зайти и показаться одетым, Татьяна Ивановна ушла. Хозаров между тем принялся одеваться. Туалет продолжался около часа. Натянув перчатки и взяв шляпу, Хозаров начал разыгрывать какую-то мимическую сцену. Сначала он отошел к дверям и начал от них подходить к дивану, прижав обеими руками шляпу к груди и немного и постепенно наклоняя голову; потом сел на ближайший стул, и сел не то, чтобы развалясь, и не в струнку, а свободно и прилично, как садятся порядочные люди, и начал затем мимический разговор с кем-то сидящим на диване: кинул несколько слов к боковому соседу, заговорил опять с сидящим на диване, сохраняя в продолжение всего этого времени самую приятную улыбку. Посидев немного, встал, поклонился сидящему на диване, кинул общий поклон прочим, должно быть, гостям, и начал выходить... Прекрасно, бесподобно! Это была репетиция грядущего визита, и она, как видит сам читатель, удалась моему герою как нельзя лучше.

В доме Мамиловых, тоже с раннего утра, происходили хлопоты: натирали воском полы, выбивали мебель, заливали маслом кенкетки, вставляли в люстру свечи, официант раскладывался в особо отведенной комнате с своею посудой. В одной только спальне хозяйки происходила не совсем праздничная сцена: Варвара Александровна Мамилова, по словам Хозарова, красавица и философка, в утреннем капоте и чепчике, сидела и плакала; перед ней лежало развернутое письмо и браслет. Варвара Александровна, дама лет около тридцати, действительно была

хорошенькая; по крайней мере имела очень нежные черты лица, прекрасные и чисто небесного цвета голубые глаза; но главное — она владела удивительно маленькой и как бы совершенно без костей ручкою и таковыми же ножками. Лежавшее перед ней письмо было от мужа, от этого страшного богача, занимающегося в южных губерниях торговыми операциями, и оно-то заставило именинницу плакать. «Поздравляю вас, друг мой Варвара Александровна, — писал супруг, — со днем вашего ангела и посылаю вам какой только мог найти лучший браслет, а вместе с тем вынужденным нахожусь, хотя это будет вам и неприятно, высказать мое неудовольствие. Начну с прошедшего. Во-первых, заискивали во мне вы, а не я в вас; во-вторых, в самый день сватовства я объяснил, что желаю видеть в жене только семьянинку, и вы поклялись быть такой; я, сорокапятилетний простак, поверил, потому что и вам уже было за двадцать пять; в женихах вы не зарылись; кроме того, я знал, что вы не должны быть избалованы, так как жили у вашего отца в положении какой-то гувернантки за его боковыми детьми, а сверх того вы и сами вначале показывали ко мне большую привязанность: но какие же теперь всего этого последствия? Чрез какой-нибудь год вы заболели нервной болезнью, хотя по лицу этого совершенно было незаметно, и начали ко мне приступать, чтобы я переехал с вами в Москву, — я и это сделал. Столичный воздух пришелся вам как нельзя лучше по комплекции: с другой же недели мы стали ездить по собраниям и по театрам. Такого рода жизнь, хотя была и убыточна, но при мне позволительна, теперь же другое дело: вы живете одни и повторяете то же самое и без меня; открыли даже в вашем доме, как я слышал, на целую зиму вечера и в два месяца прожили пять тысяч рублей. Во избежание всего этого, с будущей весны, то есть по окончании квартирного контракта, я намерен переехать с вами на постоянное житье в К., где сосредоточу все мои дела. Целую вас, пребываю — такой-то...»

Вот какое было поздравительное письмо страшного богача, и, конечно, всякий согласится, что это дерзкое и оскорбительное послание могло заставить плакать даму и с более крепкими нервами, чем Варвара Александровна. Сначала она бросила было на пол присланный ей в подарок браслет и велела отказать официанту, которому

заказан был вечер, но потом, проплакавшись, распорядилась снова о вечере и подняла с полу браслет, а часу в первом, одевшись, и одевшись очень мило и к лицу, надела даже и браслет и вышла в гостиную, чтобы принимать приезжающих гостей с поздравлением. Впрочем, впечатление письма было, видно, довольно сильно, потому что, как Варвара Александровна ни старалась переломить себя, все-таки оставалась несколько грустна и взволнованна. Все почти перебывали у ней из ее круга; был и Бобырев, образованный купец, и статский советник Желюзов, и приезжали трое офицеров вместе; наконец, прислала и Катерина Архиповна своего супруга поздравить именинницу.

Антон Федотыч, вымытый, выбритый, напомаженный и весь, так сказать, по воле супруги, обновленный, то есть в новой фракной паре, в жилете с иголки и даже в новых сапогах, не замедлил показать себя новой знакомой, и на особый вопрос, — который Варвара Александровна сделала ему о Мари, потому что та нравилась ей более из всего семейства, он не преминул пояснить, что воспитание Мари стоило им десять тысяч.

После всех приехал мой герой Хозаров. Мило было посмотреть, как вошел молодой человек в своем черном фраке, бархатном жилете и лакированных сапогах! Какие у него были прекрасные перчатки; как свободно, как даже грациозно он раскланялся, даже гораздо лучше, чем сделал это на репетиции. Кроме того, он был так свеж, такие имел миленькие усы, так кстати заговорил с хозяйкою о погоде, что, конечно, читатель мой, глядя на него, вы никак бы не догадались, что он выехал из номеров Татьяны Ивановны, по ее только великодушию имел перчатки и писал дружескую записку к извозчику о снабжении его экипажем: вы скорее бы подумали, что заговаривать по-французски и делать утренние визиты его нарочно возили учиться в Париж. Родятся же люди с подобными светскими способностями! Ну, какое, например, особое получил воспитание мой герой? Сначала родители держали его в деревне, и то больше в девичьей или в лакейской; потом, на десятом или одиннадцатом году, отдали в корпус, где он почти самоучкой выучился немного говорить по-французски и в совершенстве овладел танцевальным искусством, — но ведь только и всего! Потом поступил он в полк, где, конечно, старался постоянно быть в

хорошем обществе, и, стремясь закончить свое воспитание, читал очень много романов, и романов по преимуществу переводных, чтобы уже иметь окончательно ясное понятие о светско-европейской жизни.

Варвара Александровна в этот раз обратила на молодого человека должное внимание. Отличным танцором она знала его и прежде; но разговаривать с ним ей как-то еще не удавалось. Поговоря же с ним в настоящий визит, она увидела, что он необыкновенно милый и даже умный молодой человек, потому что Хозаров так мило ей рассказал повесть Бальзака «Старик Горио», что заинтересовал ее этим романом до невероятности.

— Где вы сегодня обедаете? — спросила она гостя.

— Дома, — отвечал тот.

— Voulez-vous manger notre soupe?

— Avec grand plaisir, — отвечал Хозаров.

— Mais, outre cela, passerez-vous avec nous la soirée?

— Votre très-humble serviteur! ¹

После приезжали еще кое-кто: являлся, между прочим, и толстяк Рожнов, внушавший такие опасения Хозарову; но никого хозяйка не удостоила приглашением на обед и звала только на простенький вечер.

Таким образом, Сергей Петрович и Варвара Александровна обедали почти вдвоем, в присутствии только весьма молчаливой из немок экономки.

Время шло очень приятно: хозяйка окончательно развеселилась и была очень любезна с гостем; беседа их, как водится между образованными людьми, началась о театре, о гуляньях, о романах и, наконец, склонилась на любовь.

— Любви нет! — сказал Хозаров.

— Отчего же вы так думаете? — спросила хозяйка.

— Потому что женщины не умеют любить.

— Скажите лучше: мужчины не в состоянии чувствовать любви; они — эгоисты, грубы, необразованны; они в женщине хотят видеть себе рабу, которая только должна повиноваться им, угождать их прихотям и решительно не иметь собственных желаний, или, лучше сказать, совершенно не жить.

¹ — Не угодно ли с нами пообедать?

— С удовольствием.

— А может, и вечер с нами проведете?

— Ваш покорный слуга! (франц.)

— Однакож мы видим, что все мужчины угождают женщинам?

— Да, это бывало во времена рыцарства, когда мужчины были нравственны, благородны, великодушны, храбры.

— Напротив... — возразил было Хозаров.

— А какими вы женитесь, господа? — перебила хозяйка, — какими-то нравственными стариками, неспособными не только чувствовать, но даже понимать чувств! У вас в голове только дела и деньги! Вам дается молодое и свежее существо, которое стремится вас любить, жить любовью, но вы, — ах, боже мой! — и говорить смешно, что вы видите в жене: комфорт, удобство, ключницу!.. Что же остается бедной женщине? С кем ей разделить свое сердце? где истратить эту юную жизнь, которая кипит в ней... И вот она, разумеется, кидается в свет и начинает утешать себя мишурными пустяками: нарядами, балами, театрами; но разве может занять это ее ум и сердце? Она весела только по наружности, но внутри страдает. Но этого еще мало: вы, мужья, хотите отнять у них и эти воображаемые развлечения; вам жаль денег, которыми вы, по всем правам, должны бы были платить за отсутствие чувств; вы, господа, называете нас моточками, ветреницами и оканчиваете тем, что увозите куда-нибудь в глушь, в деревню! И тогда прощай, бедное существо — оно заживо погребено.

— Я на это имею другой взгляд, — возразил Хозаров. — Женщины сами скрывают свои чувства; они сами холодны или притворяются такими. Я знаю одну девушку; она любит одного человека; он это знает верно; но до сих пор эта девушка себя маскирует: когда он написал к ней письмо, она прочитала, целовала даже бесчувственную бумагу, но все-таки велела в ответ сказать одно холодное merci.

— Я не понимаю этого, — сказала Мамилова, — и думаю, что она не любит.

— Вы думаете?

— Даже уверена, потому что, когда женщина любит, она вся — откровенность; не чувствуя сама, она выскажется во всем: во взгляде, во всех своих поступках, даже в словах!

— Однакож это случилось!

— Не с вами ли?

— А если бы со мной?

— Жалею о вас!

— Почему?

— Потому что вас не любят.

— Может быть! По крайней мере я люблю.

— А если вы любите, так и спешите любить, не теряйте ни минуты; ищите, старайтесь нравиться, сватайтесь, а главное — не откладываете в дальний ящик и женитесь. Пройдет время, вы растеряете все ваши чувства, мысли, всего самого себя; тогда будет худо вам, а еще хуже — вашей будущей жене.

— Я могу еще любить, — возразил Хозаров.

— Может быть, вы молоды... Сколько вам лет?

— Двадцать семь.

— Да!.. Но только уж пора жениться — и очень пора!.. Пройдет год, другой, и вы будете похожи на других. Боже мой! — продолжала хозяйка одушевленным голосом, — даже на самых первых порах брака какими вы бываете, мужчины! Вам скучны ласки этого юного существа, и вот — вы начинаете обманывать: жалуетесь на желчь, на сплин; но приезжает приятель, с которым какие-нибудь у вас есть дела, и сейчас все проходит; откуда является энергия, деятельность, потому что тут говорит ваша собственная корысть. Вы всеми вашими помышлениями посвящены только вашей меркантильной жизни, а жене остается один только труп, остов человека, без чувств, без мысли. Нашу любовь, нашу живость, нашу даже, если хотите, болтливость, вы не хотите понять; называете это глупостями, ребячеством и на первых порах тушите огонь страсти, который горел бы для вас, и горел всю жизнь.

— Вы говорите все это весьма справедливо про браки, которые совершаются по расчету; но другое дело — брак по страсти.

— Но где вы возьмете в сорок лет страсти, — возразила хозяйка, — когда уже вы в тридцать лет чувствуете, как говорят иные, разочарование? И что такое ваше разочарование? Это не усталость души поэта, испытавшей все в жизни; напротив материализм, загрубелость чувств, апатия сердца — и больше ничего!

— В отношении разочарования я совершенно с вами согласен, — сказал Хозаров. — Это такая нелепость, которой я решительно не допускаю. — Последние слова герой

мой произнес искренне; он действительно в самом себе не чувствовал ничего подобного разочарованию; ему даже весьма не нравились знаменитые романы: *Онегин* и *Печорин*. Он всегда называл их баснями. Долго еще разговор продолжался в том же тоне; наконец, хозяйка, кажется, утомилась резонерствовать. Хозаров, как светский человек, тотчас же заметил это и потому раскланялся и уехал. Домой прибыл он несколько взволнованный; на него сильное впечатление произвела философка-именинница. Раздевшись и усевшись в свое вольтеровское кресло, он погрузился в тихую задумчивость. Вошла Татьяна Ивановна.

— А вы не будете обедать? — спросила она.

— Нет, — отвечал тот, — я обедал у именинницы. Вот Татьяна Ивановна, я встретил женщину, так женщину!

— Кого это?

— Варвару Александровну Мамилову... Чудо! Вообразите себе: говорит, как профессор; что за чувства, что за страсти! И вместе с тем эти синие чулки бывают обыкновенно страшные уроды; а эта, представьте себе, красавица, образованна и учена так, что меня просто втупик поставила.

Татьяна Ивановна покачала головою.

— Лучше вашей Мари никого нет на свете, — сказала она.

— Мари нейдет тут в сравнение, — отвечал Хозаров. — Мари ангелочек-девочка; на ней можно жениться, любить ее, знаете, как жену; но это другое дело: эту надобно слушать и удивляться.

— Лучше бы вы этого не говорили. Досадно слушать! — возразила Татьяна Ивановна. — Просто, вы повеса, волокита. Вот бы вам завлечь бедную девушку, потом бросить ее и влюбиться в другую даму.

— Нет, это не то, — проговорил Хозаров и снова задумался.

Посидев немного, Татьяна Ивановна простилась с постояльцем и отправилась к Катерине Архиповне помогать барышням одеваться. Мы оставим моего героя среди его мечтаний и перейдем вместе с почтеннейшею хозяйкою в квартиру Ступицыных, у которых была тоже страшная суетня. Две старшие, Пашет и Анет, начали хлопотать еще с самого обеда о своем туалете; они примеривали башмаки, менялись корсетами и почти до ссоры спорили,

которой из них надеть на голову виноград с французской зеленью: им обоим его хотелось.

— Тебе совсем нейдет зелень, — говорила Анет с серыми глазами, — ты брюнетка; ты гораздо лучше будешь в пунцовых шу.

— Извините, я уже и то на трех вечерах была в лентах, а вы всегда в цвстах.

Спор двух девушек дошел до маменьки, которая их помирила тем, что разломил виноградную ветку на две и, каждой отдав по половине, приказала им надеть, вместе с зеленью, и пунцовые шу¹.

Обе сестры, споря между собой, вместе с тем чувствовали страшное ожесточение против младшей сестры и имели на это полное право: Катерина Архиповна еще за два дня приготовила своему идолу весь новый туалет: платье ей было сшито новое, газовое, на атласном чехле; башмаки были куплены в магазине, а не в рядах, а на голову была приготовлена прекрасная коронка от т-те Анет; но это еще не все; сегодня на вечер эта девочка, как именовали ее сестры, явится и в маменькиных брильянтах, которые нарочно были переделаны для нее по новой моде. Весьма естественно, что Мари, имея в виду такого рода исключительные заботы со стороны матери, сидела очень спокойно в зале и читала какой-то роман. Антон Федотыч, так же, как старшие дочери, был искренне озабочен своим туалетом: он сам лично — своею особою — наблюдал, как гладилась его манишка, которая и должна была составлять перемену в его costume против того, в котором он являлся к имениннице утром.

Между тем как происходили все эти хлопоты, и между тем как волновались ими Пашет, Анет и Антон Федотыч, Катерина Архиповна сидела и разговаривала с Рожновым.

— Что мне делать, Иван Борисыч? — говорила хозяйка.

— Я сам не знаю, что делать и вам и мне, — отвечал тот, — но я вам опять повторю: я богат, не совсем глуп, дочь ваша мне нравится, а потому, может быть, и сумею, сделать ее счастливою.

— Все это я знаю, но она еще замуж не хочет, — отвечала Катерина Архиповна.

¹ пышные банты (франц.).

— Нет-с, это не то: она замуж хочет, только не за меня.

— Я вас очень хорошо понимаю, Иван Борисыч, и очень была бы рада, — отвечала Катерина Архиповна.

— Я знаю, что вы-то бы рады, — отвечал Рожнов, — впрочем, подождем, не сделает ли чего время?

— Подите поговорите с ней, полюбезничайте, — сказала старуха. — Вы к ней очень невнимательны.

— Вот еще что выдумали! Стану я любезничать! Она и без того, кажется, видеть меня равнодушно не может, — проговорил толстяк и задумался.

Явилась Татьяна Ивановна. Мари, увидев свою поверенную, взяла ее за руку и посадила около себя.

— Что вы не собираетесь?

— У меня все готово, — отвечала девушка.

— Как вас ждет один человек, так просто ужас: сегодня целое утро только и говорил, как увидеться с вами, — сказала Татьяна Ивановна.

Девушка покраснела, однако ничего не отвечала и принялась читать роман. Татьяна Ивановна начинала несколько раз опять заговаривать о Хозарове, но ответом ей было только смущение, и потому девица Замшева решилась отправиться к двум старшим. Здесь она нашла обширное поле для своей деятельности. Обе девицы были в совершенном отчаянии от дурно выглаженных кисейных платьев, но Татьяна Ивановна взялась помочь горю: со свойственным только ей искусством sprыснула весьма обильно платья, начала их гладить через тонкую простынь, и таким образом платья вышли отличные. Часа за два началось одеванье трех сестер. Татьяна Ивановна беспрестанно перебегала из комнаты двух старших в кабинет младшей, которую, впрочем, одевала сама мать. Толстяк все это время сидел один в зале. Антон Федотыч тоже одевался. Старуха, одев своего идола, снарядилась сама очень скоро, и к девяти часам все были готовы. Рожнов предложил всему семейству ехать в его возке, а сам с Антоном Федотычем отправился на извозчике. Татьяна Ивановна проводила всех до крыльца и на этот раз, не боясь мошенников, отправилась домой.

Когда семейство Ступицыных в сопровождении Рожнова вошло в залу Варвары Александровны, там было уже довольно гостей. Хозаров стоял, прислонясь к косяку дверей в гостиную, и рисовался. Среди всей этой новопри-

бывшей семьи по преимуществу кинулась всем в глаза Мари; она была очень мила в своем розовом новом платье и в маменькиных переделанных брильянтах. Две старшие, поздоровавшись с хозяйкою, тотчас же адресовались к моему герою и адресовались так провинциально, с такими неприятными и странными ужимками, что Хозаров совершенно сконфузился и, сделав сколько возможно насмешливую улыбку, пробормотал несколько слов и ретировался в залу; но и здесь ему угрожала опасность: Антон Федотыч схватил его за обе руки и начал изъяслять — тоже весьма глупо и неприлично — восторг, что с ним увиделся. Хозаров окончательно растерялся и не нашел ничего более сделать, как выйти вон из залы. По возвращении его кадрили уже началась. Две старшие девицы Ступицыны были ангажированы офицерами; следовательно, от них не могла ему угрожать опасность. Его беспокоил один только Антон Федотыч, который стоял в противоположном углу и с улыбкою посматривал на всю публику. Увидев Хозарова, он, видимо, замышлял подойти к нему, но, к счастью сего последнего, Ступицын был со всех сторон заставлен стульями, а потому не мог тронуться с места и ограничился только тем, что не спускал с Хозарова глаз и улыбался ему.

«Какое милое существо, а в каком дурацком семействе родилось!» — подумал про себя Сергей Петрович, глядя на хорошенькую Мари, танцующую с третьим офицером. Осмотрев внимательно ее роскошный стан, ее пухленькие ручки и, наконец, заметив довольно таинственные и много говорящие взгляды, он не выдержал, подошел к ней и позвал ее на кадрили.

Между тем хозяйка, осматривавшая в лорнет всех гостей, увидела во второй кадрили Хозарова, танцующего с Мари, и с той поры исключительно занялась наблюдением над ними. Она видела все; но ни Хозаров, ни Мари не заметили ничего. В герою моем вдруг воскресла на время усыпленная впечатлением Варвары Александровны страсть к Мари, тем более, что он, взяв ручку *грезовской головки*, почувствовал, что эта ручка дрожала.

— Вы меня ненавидите, — сказал поручик, становясь с своей дамой на избранное место.

Мари ничего не отвечала; она только взглянула на него, но взглянула так, что Сергей Петрович понял многое

и потому слегка пожал ее ручку. Ему отвечали тоже легким пожатием.

— Вы не сердитесь на меня за мою тайну, которую писал я вам в дневнике? — проговорил он.

— Нет, — отвечала девушка.

— А вы знаете, о ком я писал?

— Не знаю.

— О вас.

Мари вся вспыхнула.

— Могу я вас любить? — спросил он шепотом.

— Да, — отвечала тоже шепотом девушка.

— А вы?

Молчание...

— А вы? — повторил Хозаров.

— Да... — едва проговорила она и стремительно бросилась делать шен.

По окончании кадрили Хозаров, расстроенный и расстроенный в такой мере, что даже взерошил свою прическу, стал опять у косяка. К нему подошла хозяйка.

— Я все видела, — сказала она, — вас любят, вы напрасно сомневаетесь, и любят вас так, как только умеет любить молоденькая девушка; но знаете, что мне тут отрадно: вы сами любите, вы сами еще не утратили прекрасной способности любить. Поздравляю и радуюсь за вас.

Хозаров на такого рода лестные отзывы ничего не мог даже ответить и только молча и с внутренним самодовольством прижал к груди свою шляпу и поклонился.

Ступицыны скоро уехали с вечера. Катерина Архиповна заметила, что идол ее немного побледнел, и потому тотчас же пристала к Мари с расспросами: что такое с ней? Мари объявила, что у нее голова болит и что ей бы очень хотелось ехать домой. Старуха тотчас же повелела всей остальной семье собраться. Как это ни было горько Пашете и Анете, так как обе они были приглашены теми же офицерами на мазурку; как, наконец, ни неприятно было такое распоряжение супруги Антону Федотычу, который присел уже к статскому советнику Желюзову и начал было ему рассказывать, какие у него в деревне сформированы прекрасные музыканты, однако все они покорились безотменному повелению Катерины Архиповны и отправились домой.

Спустя неделю после Варварина дня Ступицын вознамерился всем знакомым Катерины Архиповны сделать визиты. Многие породило в голове Антона Федотыча подобное желание: во-первых, ему хотелось еще раз показать почтеннейшей публике свой новый фрак; во-вторых, поговорить с некотормко знающими его лицами и высказать им некоторые свои душевные убеждения и, наконец, в-третьих, набежать где-нибудь на завтрак или на закуску с двумя сортами водки, с каким-нибудь канальским портвейном и накуриться табаку. Последняя причина едва ли была не главная, потому что заветный погребец его — увы! — давно уже был без содержания; наполнить же его не было никакой возможности: расчетливая Катерина Архиповна, сшив супругу новое платье, так как в старом невозможно уже было показать его добрым людям, поклялась пять лет не давать ему ни копейки и даже не покупала для него табаку. Решившись, на основании вышеупомянутых причин, делать визиты, Антон Федотыч имел в виду одно только не совсем приятное обстоятельство: он должен был ходить пешком, потому что Катерина Архиповна и на извозчика не давала денег. Это заставило Ступицына решиться посетить не вдруг всех, а делать визита по два или по три в день, рассказывая при этом случае, что ему доктор велел каждое утро ходить верст по пяти пешком. В первый день зашел он к статскому советнику Желюзову, но здесь его не приняли, и он направил стопы к Хозарову. Может быть, его и здесь не приняли бы, но он вошел вдруг и застал хозяина за туалетом.

— Боже мой! Извините вы меня! — вскрикнул Хозаров, запахивая халат и стараясь прибрать туалетные принадлежности.

— Сделайте милость, не беспокойтесь, — возразил гость, — иначе я лишу себя приятного удовольствия побеседовать с вами и уйду.

— Как это возможно! — возразил, с своей стороны, хозяин. — Но все-таки мне очень совестно: я теперь живу на биваках; мое отделение передельывают; я сюда перешел на время, в этот сарай.

— Я этого не скажу, — говорил Ступицын, усаживаясь на ближайший к хозяину стул. — Комната мне нра-

вится, очень веселенькая. Обоями нынче все больше оклеивают!

— Да, но это что за помещение?.. Семейство ваше как, в своем здоровье?

— Благодарю вас, слава богу. Мари что-то все хмурится. Позвольте мне попросить у вас трубки.

— Ах, сделайте милости! — вскрикнул хозяин и сам было бросился набивать гостю трубку; но тот, конечно, не допустил его и сам себе выбрал самую огромную трубку, старательно продул ее, наложил, закурил и сел, с целью вполне насладиться любимым, но не всегда доступным ему удовольствием.

— Бесподобный табак! — сказал он, втягивая дым.

— Очень рад, что вам нравится.

— Как, однако, свежо на дворе! — сказал гость, усладившись курением. — Я хожу ведь пешком: доктор велел; нельзя, знаете, без моциону, — такие уж лета; чего доброго, пожалуй, и удар хватит.

— Так на дворе, вы изволите говорить, холодно?

— Весьма свежо. Я так, знаете, прозяб, что даже и теперь не могу согреться.

— Не прикажете ли чаю, или кофе?

— Нет-с, благодарю покорно: то и другое мне стройжайше запрещено доктором. Рюмку водки, если есть, позвольте!

— Ах, пожалуйста! — сказал хозяин и вышел, чтоб попросить у Татьяны Ивановны для гостя водки. Девушка Замшева, услышав, что у Хозарова Антон Федотыч и желает выпить водки, тотчас захлопотала.

— Дайте водочки, почтеннейшая, да нет ли графинчика получше, да и закусить чего-нибудь — сыру или сельдей, и, знаете, подайте понаряднее: на поднос велите постлать салфетку и хлеб нарезать и разложить покрасивее.

— Знаю, Сергей Петрович, знаю. Уж не беспокойтесь. Велю подать водки, миног, сыру и колбасы; да не худо бы винца какого-нибудь?

— Очень хорошо и винца — рубля в полтора серебром бутылку, — отвечал Хозаров. — Ах вы, милейшая моя хозяйюшка! — говорил он, трепля ее по плечу.

— То-то и есть, — отвечала Татьяна Ивановна, — дай вам бог другую нажать такую. Вот посмотрим, как-то вы отблагодарите меня, как женитесь.

— Тысячу рублей подарю вам, — отвечал Сергей Петрович.

— Хорошо, посмотрим, — отвечала хозяйка и побежала хлопотать о закуске.

Хозаров между тем возвратился к гостю, который закурил уже другую трубку и, развалясь на диване, пускал мастерские кольца.

— Извините меня, — сказал хозяин, — я захлопотался. Вот наша холостая жизнь: вообразите себе, двое у меня людей в горнице, и ни одного налицо нет, так что принужден был просить подать завтрак хозяйскую девушку.

— Это часто случается и у нас; у меня вот здесь немного людей, а в деревне их человек пятнадцать, а случается иногда, что даже по целому дню трубки некому приготовить.

В это время Марфа, одетая по распоряжению Татьяны Ивановны в новое ситцевое платье, принесла закуску, водку и вино.

— Прошу покорнейше, — сказал хозяин.

— А я вас прошу не беспокоиться: распоряджусь, — отвечал гость и залпом выпил рюмку водки, закусив миногию.

— Прекрасная эти миноги закуска! И кисловато и приятно, — сказал он, прожевав кусок. — Говорят, это маленькие змеи?

— Не знаю. Не прикажете ли винца?

— Нет, позвольте мне еще рюмку водки: все как-то не могу хорошенько согреться! Это штриттеровская?

— Нет, домашняя.

— Скажите, какая прекрасная, — заметил гость, закусывая сыром. — Теперь можно трубки покурить и винца потом выпить, — проговорил он и, закутив трубку, хотел было налить себе в рюмку.

— Не прикажете ли лучше в стакан? Это вино со-вестно пить рюмками, — сказал хозяин, желавший угостить гостя и заметив, что сей последний не любит выпить.

— Не много ли будет стаканчиками? — сказал гость, выпив рюмку. — Вы сами не кушаете; надобно начинать ведь с хозяина.

— А вот я и сам выпью, — сказал тот, налив стакан и ставя его перед Ступицыным, а себе рюмку.

Антон Федотыч пришел в совершенно блаженное состояние от такого любезного приема.

— Как мне приятно, что я имел честь с вами познакомиться. С первого раза, извольте ли помнить, как мы встретились, я почувствовал к вам какое-то особенное влечение.

— Благодарю вас покорно; я, с своей стороны, также дорожу знакомством вашим и всего вашего милого семейства.

— Да-с, я могу похвалиться моим семейством, — начал Ступицын, у которого в голове начало уже шуметь, — одно только... ах, как мне тут неприятно! Даже и говорить про это больно!

— Что такое-с?

— Так, знаете-с: свои семейные несообразности.

— Но... в чем же?

— Это, я вам доложу, большая история, — проговорил Ступицын, вздыхая и махнув рукою. — Я, пожалуй, вам расскажу; но прежде, нежели начну, позвольте мне вас попросить выпить со мной по стаканчику мадеры.

— С большим удовольствием, — отвечал хозяин и налил себе и гостю по стакану вина, которыми они чокнулись и выпили.

— Я вас, Сергей Петрович, с первого раза полюбил, как сына, а потому мог открыть вам душу. Катерина Архиповна моя... я про нее ничего не могу сказать... Семьянинка прекрасная, только неровна к дочерям: двух старших не любит, а младшую боготворит.

— Скажите, пожалуйста!

— Да-с, вот какой случай. А что прикажете делать? Я хоть и отец, а помочь не могу. Короче вам сказать: была у нас двоюродная бабка, и, заметьте, бабка с моей стороны; препочтеннейшая, я вам скажу, старушка; меня просто обожала, всего своего имущества, еще при жизни, хотела сделать наследником; но ведь я отец: куда же бы все пошло?.. Все бы, конечно, детям — только бы поровну, никто бы из них обижен-то не был. Так как бы вы думали, что сделала супруга? Перед самою почти смертью подбилась к старухе да уговорила ее, обойдя меня, отдать одной младшей, Машет, а мы и сидим теперь на бобах. Вот что значит неравная-то любовь! Но ведь я отец: мне горько и обидно... и себя, конечно, жалко, да и старшие-то чем же согрешили?

— Скажите, пожалуйста, — произнес Хозаров, — и большое имение?

— Триста душ в кружке, как на ладони, да каменная усадьба.

— И всем уж теперь владеет Мария Антоновна?

— Давно, по всем актам, но это еще мало: имение теперь под опекою у матери; ни копейки, сударь вы мой, из доходов не издерживает, — все в ломбард да в ломбард на имя идола: тысяч тридцать уж засыпано.

— Тридцать тысяч! — воскликнул от восхищения Хозаров.

— Ровнехонько тридцать. Но всдь мне горько: я отец... Я равнодушно видеть старших не могу, хуже чем сироты. Ну, хоть бы с воспитания взять: обеих их в деревне сама учила, ну что она знает? а за эту платила в пансион по тысяче рублей... Ну и это еще не все...

— Что же еще такое? — спросил Хозаров, более и более начинавший интересоваться рассказом Ступицына.

— И это еще не все: нашла ей жениха, почти насильно влюбила его в нее; он полгода уже как интересовался старшей; переделала, сударь ты мой, это дело в свою пользу — да и только! Теперь тот неотступно сватается к Машеньке.

— Сватается к Марье Антоновне?

— Неотступно! Сюда за ними нарочно приехал: вы, верно, его знаете, — Рожнов!

— Этот толстяк! — воскликнул Хозаров.

— Да что такое толстяк? Тысяча ведь душ-с... человек добрейший... умница такая, что у нас в губернии никто с ним и не схватывается.

— Так, стало быть, Марья Антоновна помолвлена?

— Кажется, еще нет. Я, признаться, и не знаю, потому что я и входить не хочу в их дела: грустно, знаете, очень грустно, право, а нечего делать: мать!.. кто ее может судить и разбирать. А и теперь Пашет и Анет все я содержу — это я могу прямо сказать. Но у меня небольшое состояние: всего сто душ; я сам еще люблю пожить, — ну вот, например, в карты играю, и играю по большой; до лошадей охотник и знакомых тоже имею; а она из своих ста душ ни синя пороха не дает старшим, а все на своего идола. Обидно, Сергей Петрович, невыносимо обидно! Позвольте мне еще водки выпить.

Ступицын выпил еще водки и начал немного покачиваться.

— Что мне делать, как мне быть? — рассуждал он как бы сам с собою. — К несчастью, они и собой-то хуже той, но ведь я отец: у меня сердце равно лежит ко всем. Вы теперь еще не понимаете, Сергей Петрович, этих чувств, а вот возьмем с примера: пять пальцев на руке; который ни тронь — все больно. Жаль мне Пашет и Анет, — а они предобрые, да что делать — родная мать! Вы извините меня: может быть, я вас обеспокоил.

— Ах, как вам не совестно! Напротив — мне очень приятно, — отвечал хозяин.

Гость принялся было отыскивать картуз, но остановился.

— Не могу идти домой, не могу видеть неравенства, — и в ком же? в родной матери, которая носила всех в утробе своей девять месяцев... — Здесь Ступицын немного остановился. — Сергей Петрович, милый вы человек! — продолжал он, — я обожаю вас, то есть, кажется, готов за вас умереть. Позвольте мне вас поцеловать!

— С большим удовольствием...

Новые приятели облобызались.

— Сергей Петрович! Позвольте мне у вас отдохнуть, не могу видеть неравенства.

— Сделайте одолжение, — сказал Хозаров, в душе сбродованный такому намерению Ступицына, потому что тот, придя в таком виде домой, может в оправдание свое рассказать, что был у него, и таким образом поселить в семействе своем не весьма выгодное о нем мнение. Он предложил гостю лечь на постель; тот сейчас же воспользовался предложением и скоро захрапел.

В какой мере были справедливы вышесказанные слова Ступицына, мы увидим впоследствии; но Хозаров им поверил.

«Триста душ, тридцать тысяч и каменная усадьба... недурно, очень недурно», — повторил он сам с собой, и между тем как гость его начинал уж храпеть на третью ногу, Хозаров отправился к Татьяне Ивановне.

— Ну что, ушел? — спросила хозяйка.

— Нет, пьян напился, и водку и вино — все выпил и лег спать, — отвечал постоялец. — Бог даст, как женюсь, так и в лакейскую к себе не стану пускать: пренесносная

скотина! Впрочем, Татьяна Ивановна, нам в отношении Мари угрожает опасность, и большая опасность.

— Что вы это? Какая опасность?

— Да такая опасность, что вряд ли она не помолвлена!

— Не может быть, ой, не может быть. Да за кого, Сергей Петрович? Не за кого быть помолвленной.

— А за Рожнова?

— За этого толстого господина? Постойте, батюшка Сергей Петрович, пожалуй, это и на дело похоже. Когда они собирались на вечер, Марья Антоновна была такая грустная, а этот господин сидел с Катериной Архиповой и все шепотом разговаривали...

— Это скверно, — произнес Хозаров. — Впрочем, у них в этот день ничего не могло быть решительного, потому что я в этот же вечер объяснился ей в любви и получил признание.

— Ну, вот видите, стало быть, пустяки: может быть, мне только так показалось; она не ветреница какая-нибудь: этого про нее, кажется, никто не скажет, но только все-таки, Сергей Петрович, скажу вам: напрасно теряете время, пропустите вы эту красотку.

— Не слыхали ли вы, Татьяна Ивановна, что у нее есть усадьба?

— Как не быть усадьбы! Отличнейшее поместье. Нынче одни дворы конюшенные выстроить стоило пять тысяч; хлеб родится сам-десять.

— И это верно вы знаете?

— Как самое себя.

— Вы действительно, почтеннейшая, говорите справедливо, — сказал Хозаров после нескольких минут размышления. — Я глупо и безрассудно теряю время.

— Глупо, Сергей Петрович, и совершенно безрассудно, — повторила Татьяна Ивановна.

— Помолюсь-ка я богу да пойду объяснюсь с Катериной Архиповой. Этому болвану и говорить нечего: он, кажется, ничего не значит в семействе.

— Именно так, — утвердила Татьяна Ивановна.

Хозаров несколько времени ходил по комнатам в задумчивости.

— Знаете, что мне пришло в голову? Я сделаю предложение письмом: говорить об этих вещах как-то щекотливо.

— Письмом гораздо лучше, и они пунктуальнее ответят, — отвечала Татьяна Ивановна.

— Жалко, что у меня в комнате эта свинья спит. Разве идти в кофейную Печкина и оттуда послать с человеком? Там у меня есть приятель-мальчик, чудный малый! Славно так одет и собой прехорошенький. Велю назваться моим крепостным камердинером. Оно будет очень кстати, даже может произвести выгодный эффект: явится, знаете, франтоватый камердинер; может быть, станут его расспрашивать, а он уж себя не ударит в грязь лицом: мастерски говорит.

— Превосходно вы выдумали, — сказала Татьяна Ивановна. — А то отсюда даже и послать некого: ведь не Марфутку же? В таком деле черную девку посылать и неловко.

— Ну, куда ваша Марфутка годится! Ей впору и в лавочку бегать. Я думал было попросить вас, но как-то нейдет, не принято в свете.

— Мне совершенно невозможно. Я бы, конечно, душой рада, да не принято. После, пожалуй, схожу, хоть сегодня вечером, и поразузнаю, как между ними это принято; может быть, и сами скажут что-нибудь.

— Это действительно, вы ходите и поразведайте. Adieu, почтеннейшая!

Возвратясь в свой номер, Хозаров тотчас же оделся, взял с собой почтовой бумаги, сургуч, печать и отправился в кофейную, где в самой отдаленной комнате сочинил предложение, которое мы прочтем впоследствии. Письмо было отправлено с чудным малым, которому поручено было назваться крепостным камердинером и просить ответа; а если что будут спрашивать, то ни себя, ни барина не ударить лицом в грязь.

Между тем как Антон Федотыч, подгуляв у Хозарова, посвящал его во все семейные тайны и как тот на основании полученных им сведений решил в тот же день просить руки Марьи Антоновны, Рожнов лежал в кабинете и читал какой-то английский роман. Прислуга толстяка сидела в лакейской и пила чай; у него их было человека три в горнице и человека четыре в кухне, и то потому только, что выехал в Москву налегке, а не со всем еще домом. Про лакеев Рожнова обыкновенно говорили в губернии, что таких оболтусов и никуда не годных лентяев надобно заводить веками, а то вдруг, как будто бы

какой кабинет редкостей, не составишь. В настоящее время вся эта братия хохотала во все горло над молодым, с глуповатой физиономией, парнем, который в свою очередь, хотя тоже смеялся, но, видимо, был чем-то оконфужен.

— Эй, сеньоры, чему вы там смеетесь? — сказал барин.

Ответа не было.

— Григорий, а Григорий!

— Чего-с? — отозвался, наконец, голос из лакейской.

— Соболаговолите, сеньор, сюда пожаловать.

Появился самый младший из лакеев.

— Чему вы там смеялись? — спросил Рожнов.

— Над фореитором, — отвечал тот и снова захохотал во все горло.

— Чем же это он вас насмешил?

— Влюблен-с, — едва выговорил от смеха лакей.

— Скажите, пожалуйста, какой злодей, — сказал Рожнов. — В кого же он влюбился?

— В горничную Марьи Антоновны. Все спрашивает нас, скоро ли вы изволите на них жениться.

— А она что же?

— И она неравнодушна-с: большие между собой откровенности имеют, — отвечал лакей. — Она меня тоже все спрашивает, скоро ли будет ваша свадьба, а не то, говорит, у барышни есть другой жених, — как его, проклятого? Хозаров, что ли? в которого она влюблена.

— Влюблена в Хозарова? — спросил толстяк.

— Должно быть, так, — отвечал лакей.

Рожнов тотчас же встал, в несколько минут оделся, сел в сани и очутился у Катерины Архиповны, которая сидела у себя в комнате одна.

— То, что я предугадывал, — начал Рожнов, — случилось: Мари влюблена в эту восковую рожу, Хозарова.

— Мари влюблена в Хозарова? Что это... с чего это пришло вам в голову? Откуда вы почерпнули эти известия? — сказала Катерина Архиповна несколько даже обиженным голосом.

— Не могу вам сказать, именно из каких источников почерпнул эти сведения, но все-таки повторяю, что это верно; верно по моему собственному наблюдению, верно и по слухам, которые до меня дошли.

— Мари влюблена... ребенок, который еще ничего не понимает; она влюблена? — говорила мать.

— Вот это-то мне досаднее всего, — возразил Рожнов, — как же вы, женщина, и не понимаете другую женщину, и еще дочь свою? Хоть бы, например, себя-то припомнили: неужели в осьмнадцать лет вы ничего не понимали?

— Она — исключение, Иван Борисыч, — перебила Катерина Архиповна, — это необыкновенный еще ребенок; в ней до сих пор я не замечала кокетства, а если бы вы знали, какие вещи она иногда спрашивает, так мне совестно даже рассказывать.

— Все-таки я вам расскажу, что она влюблена. Но, впрочем, что же я вас предостерегаю? Может быть, вам самим нравится эта наклонность?

— Вам грех это думать, Иван Борисыч. Вы очень хорошо знаете, что мое единственное желание, чтобы Мари была вашей женой. Может быть, нет дня, в который бы я не молила об этом бога со слезами. Я знаю, что вы сделаете ее счастливой. Но что мне делать? Она еще так молода, что боится одной мысли быть чьей-либо женой.

В продолжение этой речи у старухи навернулись слезы.

— Ну полноте, не огорчайтесь, — сказал толстяк, — я это сказал так... пускай ее теперь влюбляется в кого угодно; авось придет очередь и до меня.

— Мамаша! Записочка от Сергея Петровича, — сказала, входя в комнату Анст и подавая матери письмо. — Камердинер их пришел и просит ответа, — прибавила она и вышла.

Старуха и Рожнов вздрогнули; та принялась читать, но на половине письма остановилась, побледнела как полотно и передала его Рожнову, который, прочитав послание моего героя, тоже смутился.

Несколько минут продолжалось молчание. Старуха как будто бы не помнила сама себя. Рожнов тоже; но, впрочем, он скоро опомнился и, взглянув насмешливо на Катерину Архиповну, начал снова перечитывать письмо.

— Вы со вниманием ли прочли это прекрасное послание? — сказал он.

— Я еще опомниться, Иван Борисыч, не могу; этакой наглости, этакого бесстыдства я вообразить не могла.

Мари в него влюблена! Скажите, пожалуйста! Мари дала ему слово!

— Мари действительно в него влюблена и действительно дала ему слово, — перебил Рожнов, — только мы-то с вами, маменька, немного поошиблись в расчете: Мари, видно, не ребенок, и надобно полагать, что не боится выйти замуж. Я не знаю, чему вы тут удивляетесь; но, по-моему, все это очень в порядке вещей.

— Но, Иван Борисыч, я этого не желаю, — возразила Катерина Архиповна.

— Да, если вы не желаете, это другое дело; но, впрочем, действительно ли вы не желаете, когда желает этого Марья Антоновна? Однако погодите! Я намерен вам вслух прочесть это письмо; оно так прекрасно написано, что, может быть, и убедит вас переменить ваше намерение. «Милостивая государыня, Катерина Архиповна! — начал читать толстяк. — Робко и несмелою рукою берусь я за перо, чтобы начертить эти роковые для меня строки. Давно, очень давно, Катерина Архиповна, люблю я вашу младшую дочь; сердце мое меня не обмануло: она меня тоже любит и уже почти дала мне слово».

— Удивительно, как красно написано! — сказал толстяк, остановясь читать. — Неужели эти «роковые строки» не трогают вашего материнского сердца, Катерина Архиповна?

Старуха ничего не отвечала и сидела, как уличенная преступница. Толстяк продолжал читать: «Ваше слово, ваше слово, почтеннейшая Катерина Архиповна! Одного вашего слова недостает только для того, чтобы обоих нас сделать блаженными».

— Перестаньте, Иван Борисыч, пожалуйста, перестаньте, — перебила Катерина Архиповна, — лучше скажите, что мне делать?

— Сделать их блаженными.

— Имейте, Иван Борисыч, сожаление к моим чувствам, — возразила старуха. — Где же тут любовь с вашей стороны? Это, я думаю, и до вас касается, а вы, вместо того чтобы посоветовать мне, только смеетесь.

— Что же мне вам советовать?

— Да ведь я должна что-нибудь решительно ответить; мне должно отказать, а я теперь ничего и не понимаю.

— А вы думаете отказать?

— Конечно, отказать.

— А! Это другое дело! Я берусь даже вам продиктовать письмо.

— Сделайте божескую милость, войдите в мое положение! — сказала Катерина Архиповна и тотчас же принялась под диктовку толстяка писать письмо к моему герою. Оно было следующего содержания:

«Милостивый государь, Сергей Петрович! За ваше предложение я, из вежливости, благодарю вас и вместе с тем имею пояснить вам, что я не могу изъявить на него моего согласия, так как вполне убеждена в несправедливости ваших слов о данном будто бы вам моей дочерью слове и считаю их за клевету с вашей стороны, во избежание которой прошу вас прекратить ваши посещения в мой дом, которые уже, конечно, не могут быть приятны ни вам, ни моему семейству».

Вот какой ответ получил мой герой с чудным малым и сначала пришел в сильное ожесточение, тотчас же вознамерился ехать к Катерине Архиповне и объясниться с ней, но, сев в сани, раздумал и велел себя везти к Мамиловой.

Варвара Александровна была дома и сидела в своем кабинете одна. Она очень обрадовалась приезду гостя.

— Как вы милы, monsieur Хозаров, — сказала хозяйка, — что посетили затворницу.

Monsieur Хозаров на этот раз не был, по обыкновению, любезен, потому что, поклонившись, и поклонившись, разумеется, довольно грациозно, сел и задумался.

— Что с вами? — спросила внимательная хозяйка.

— Сегодня одна из лучших надежд моих лопнула и взорвана на воздух, — сказал он и прибавил: — о, люди, люди!

— Вы хандрите, ха-ха-ха! И вас посетила желчь. Поздравляю вашу будущую жену, — сказала Мамилова.

— Я не хандрю, но я ожесточен.

— Проигрались, верно, — заметила хозяйка. — Мужчины всегда приходят в отчаяние, когда проигрывают.

— Я проигрывал в жизнь мою полжизни, но оставался так же спокоен, как издержав целковый, — отвечал Хозаров с благородным негодованием, — но сегодня я проиграл мою лучшую надежду.

— Не понимаю вас, — сказала хозяйка.

— Потому что вы не верите в чувства мужчин, — возразил Сергей Петрович.

— Да, я и забыла: вы влюблены... Скажите, бога ради, что с вами? Мне очень интересно узнать, как мужчины страдают от любви. Я об этом читала только в романах, но, признаюсь, никогда не видала в жизни.

— Если вам угодно будет говорить в этом тоне, то вы, конечно, ничего не узнаете от меня: я буду молчалив, как могила.

— Ну, не сердитесь. Я знаю, что вы лучше других, лучше многих. Вы еще молоды. Скажите, что вас так растрогало?

— Вы знаете мои отношения к Мари Ступицыной?

— Да, знаю: она влюблена в вас!

— Может быть, но сегодня я узнал, что ее хотят выдать замуж, и знаете за кого? за Рожнова, которого она терпеть не может, который скорее походит на быка, нежели на человека, и все оттого, что у него до тысячи душ.

— Но что же вы-то делаете?

— Что же мне делать? Я, любя ее и желая спасти от этого ужасного для нее брака, сегодня же сделал ей предложение.

— Bravo! Так и следует поступить благородному человеку! Какой же результат?

— Результат... стыдно и говорить. Прочтите сами, — сказал Хозаров, подавая Варваре Александровне письмо.

— Результат обыкновенный, — сказала она, прочитав письмо. — Вот вам отцы и матери... Как они безумно располагают счастьем дочерей: тысяча душ — и довольно! Что им за дело, что это бедное существо может задохнуться в этом браке? Как не быть счастливой при тысяче душах! Что за дело, что нет тысячи первой души, которая одна только и нужна для счастья женщины? А эту любовь, которая живет в ней, она должна умертвить ее!.. Ничего, это очень легко; все равно что снять башмак... И что такое значит разлучить навеки два существа, которые, может быть, созданы друг для друга?.. — На этих словах Варвара Александровна остановилась и задумалась.

Сергей Петрович, созданный для Марьи Антоновны, в продолжение всего этого монолога сидел, тоже задумавшись.

Долго еще Варвара Александровна говорила в том же тоне. Она на этот раз была очень откровенна. Она

рассказала историю одной молодой девушки, с прекрасным, пылким сердцем и с умом образованным, которую родители выдали замуж по расчету, за человека богатого, но отжившего, желчного, в котором только и были две страсти: честолюбие и корысть, — и эта бедная девушка, как южный цветок, пересаженный из-под родного неба на бедный свет оранжереи, сохнет и вянет с каждым днем.

Барвара Александровна так живо рассказала эту историю, что герой мой положительно догадался, что этот южный цветок не кто иной, как она сама.

Прощаясь с гостем, Мамилова обещалась побывать на другой день у Ступицыных и поговорить там о нем.

Молодой человек с чувством благодарности пожал руку нового своего друга.

В номере своем он нашел маленькую записку от Ступицына следующего содержания:

«Душевно благодарю вас за угощение и надеюсь, что все останется между нами в тайне

А. Ступицын».

Кроме того, он застал там Татьяну Ивановну.

— Сергей Петрович, что это у вас наделалось? — начала хозяйка, видимо чем-то весьма взволнованная. — Я сегодня такой странный прием получила у Катерины Архиповны, что просто понять не могу; меня совсем не пустили в дом; а этот толстяк Рожнов под носом у меня захлопнул двери и сказал еще, что меня даже не велено принимать.

— Все кончено, Татьяна Ивановна, — сказал герой мой, садясь в кресло.

— Нет, не кончено и не может быть кончено, — возразила Татьяна Ивановна. — Марья Антоновна будет ваша, если захотите.

— Каким образом?

— Очень просто... увезите.

— Увезти?.. Да, конечно, можно; но, впрочем, утро вечера мудренее: мне очень хочется спать.

Герой мой, утомленный ощущениями дня, действительно очень устал и потому, выпроводив Татьяну Ивановну, тотчас же разделся, бросился в постель и скоро заснул.

Существует на свете довольно старинное и вместе с тем весьма справедливое мнение, — мнение, доказанное многими романами, что для любви нет ни заповорей, ни препятствий, ни даже враждебных стихий; все она поборае и над всем торжествует. Это старинное мнение подтвердилось еще раз и в настоящем моем рассказе.

После сделанного Хозарову отказа Катерина Архиповна долго еще совещалась с Рожновым, и между ними было положено: предложение молодого человека скрыть от всех, а главное — от Мари; сделать это, как казалось им, было весьма возможно. Хозарову уже отказано от дома, и теперь только надобно было выпроводить Татьяну Ивановну, которая, пожалуй, будет переносить какие-нибудь вести. Почтеннейшая девица не замедлила явиться в этот же день, и Рожнов взялся сам отказать госте и, видно, исполнил это дело весьма добросовестно, потому что Татьяна Ивановна после довольно громкого разговора, который имела с ним первоначально в зале, потом в лакейской и, наконец, на крыльце, вдруг выскочила оттуда, как сумасшедшая, и целые почти два переулка бежала, как будто бы за ней гналась целая стая бешеных собак.

Мало этого, чтобы прекратить всякую возможность для Мари видеться с Хозаровым и в посторонних домах, Катерина Архиповна решила притвориться на некоторое время больною и никуда не выезжать с семейством. Но что значат человеческие усилия против могущества все преобладающей и над всем торжествующей любви? Между тем как мать и влюбленный толстяк думали, что они предостерегли себя со всех сторон от опасности, опасность эта им угрожала отовсюду.

Проснувшись на другой день, Хозаров внимательно рассмотрел свое положение. Во-первых, он убедился в том, что решительно влюблен в Мари; во-вторых, тридцать тысяч, каменная усадьба и триста душ, — как хотите, это вовсе не такого рода вещи, от которых можно бы было отказаться равнодушно. Но что предпринять? На совещание о том, что предпринять, была приглашена Татьяна Ивановна, очень хорошо еще помнившая ужасный прием в доме Ступицыных, вследствие чего и была против всех их, разумеется, кроме Мари, в каком-то

ожесточенном состоянии. Она советовала Хозарову увести Мари и подать просьбу на мать за управление имением; а Рожнова сама обещалась засадить в тюрьму за то, что будто бы он обругал ее, благородную девицу, и обругал такими словами, которых она даже и не слыхивала.

Но Хозаров смотрел на это с другой стороны и хотел действовать в более логическом порядке. Первоначально ему хотелось написать к Мари письмо и получить от нее ответ.

Но каким образом передать письмо? Татьяне Ивановне, как видит и сам читатель, не было уже никакой возможности идти к Ступицыным; но она так ненавидела Катерину Архиповну, так была оскорблена на ее крыльце, что, на зло ей, готова была решиться на все и взялась доставить письмо. Как ни верил Хозаров в способность Татьяны Ивановны передавать письма, но все-таки он пожелал знать, какое именно она избирает для этого средство. Оказалось, что средство было очень легкое и весьма надежное: у девицы Замшевой есть приятельница — тоже девица — торговка, которая ходит почти во все дома и была уже несколько раз у Ступицыных и будто бы очень дружна с горничною Марьи Антоновны и даже кой-что про эту голубушку не совсем хорошее знает. Об остальном догадаться не трудно: стоит Хозарову написать письмо, вручить его девице-торговке, а та уже свое дело сделает и принесет даже ответ и за весь этот подвиг возьмет какие-нибудь два целковых.

— Вы напишите ей письмо почувствительнее, а главное дело — напишите ей про мать: какая она ей злодейка и какого счастья лишает ее на всю жизнь.

— Знаю, как написать, — отвечал Хозаров и, расставшись с хозяйкой, тотчас же принялся сочинять послание, на изложение которого героем моим был употреблен добросовестный труд. Три листа почтовой бумаги были перемараны, и, наконец, уже четвертый, розовый и надушенный, удостоился остаться беловым. Письмо было написано с большим чувством и прекрасным языком.

Вот оно:

«Мари! Я осмеливаюсь называть вас этим отрядным для меня именем, потому что вашим наивным да, сказанным на вечере у Мамиловой, вы связали вашу судьбу с моей. Но люди хотят расторгнуть нас: ваша мать

приготовила другого жениха. Вы его, конечно, знаете, и потому я не хочу в этих строках называть его ужасного для меня имени; оно, конечно, ужасно и для вас, потому что в нем заключается ваша и моя погибель.

Вчерашний день, я не знаю, сказано ли вам, я просил вашей руки. Простите, что сделал это, не сказав предварительно вам; но когда любишь, то веришь и надеешься. Мне отказано, Мари, — отказано самым жесточайшим манером!.. О Мари! Мне отказано в надежде владеть вами, мой ангел; отказано и в доме.. Не знаю, как остался я вчерашний день в своем уме и имею сегодня силы начертить эти грустные строки. Теперь все зависит от вас. Вас не отдают мне люди, отдайте мне сами себя и напишите мне ответ. Одно слово, моя ненаглядная Мари, одно слово твое воскресит в душе моей умершие надежды. Остаюсь влюбленный Х.....в.

P. S. Та же женщина, которая доставит вам это письмо, может принести мне ответ ваш».

Неменьшая опасность для сердца Мари — и сердца, уже несколько, как мы видели из предыдущих сцен, влюбленного, — угрожала с другой стороны, это со стороны Варвары Александровны. В самое то утро, как Хозаров писал письмо к предмету его любви, Мамилова писала такое же к предмету ее дружбы, какой-то двоюродной сестре, с которою она была в постоянной переписке. Так как письмо это было написано тоже прекрасным пером и отличалось глубиной мыслей, а главное — близко относилось к предмету моего рассказа, то я и его намерен здесь изложить с буквальной точностью.

«Ma chère Claudine!

Давно я не писала к тебе, потому что писать было нечего. Ты знаешь, что я не имею собственной жизни: сердце мое, это некогда страстное и пылкое сердце, оно как будто бы перестало уже биться; я езжу в оперу, даю вечера, наряжаюсь, если хочешь, но это только одни пустые рассеяния, а жизни, самой жизни — нет и нет... тысячу раз нет... Ты, конечно бы, теперь не узнала меня я сделалась какая-то мизантропка; но я люблю людей, я могу жить счастьем других, этим единственным утешением для людей, лишенных собственного счастья, и вот

тебе пример. Есть у меня один знакомый, некто monsieur Хозаров. Представь себе, chère Claudine, юношу в полном значении этого слова, хорошенького собой, с пылкими и благородными чувствами, которые у него выражаются даже в его прекрасных черных глазах: он влюблен, и влюблен страстно, в молоденькую девушку, Мари Ступицыну, которая тоже, кажется, его *обожает*, и знаешь, как обыкновенно *обожают* пансионерки. Чего, подумаешь ты, недостает для того, чтобы, для обоюдного счастья, связать этих людей, созданных один для другого, узами брака? Но их расторгают, — расторгают с тем, чтобы одну продать за золотой мешок сорокалетнему толстяку, в котором столько же чувств, как и в мраморной статуе, а другого... другого заставить, в порыве отчаяния, может быть, броситься в омут порока и утратить там свою молодость, здоровье, сердце и ум, одним словом — все, все, что есть в нем прекрасного. Но я, испытавшая горе на самой себе, я буду действовать на мать и на отца девушки, на нее самое, на молодого человека, чтобы только заставить сберечь их в сердцах своих эту любовь, эту дивную любовь, которая может усыпать цветами их жизненный путь.

Прощай, та chère, пиши чаще! Остаюсь твоя *Barbe*».

Написав это письмо, Мамилова в тот же вечер решилась отправиться к Ступицыным и начать действовать в пользу двух существ, созданных один для другого. Слуга, пойдя докладывать о ее приезде, долго не возвращался, а возвратившись, объявил, что в доме, должно быть, что-нибудь случилось, потому что он едва добился толку, но приказали, впрочем, просить. Первый человек, встретивший гостью, был сам Антон Федотыч, который подошел к ней на цыпочках, поцеловал ее руку и шепотом просил ее пожаловать в комнату Катерины Архиповны.

— Что такое у вас? — спросила гостья.

— Машет больна, с четырех часов в истерике, — отвечал Антон Федотыч.

— Я этого ожидала, — сказала Варвара Александровна и вошла в следующую комнату, где увидела хозяйку и двух старших дочерей ее, смиренно сидящих по углам. Все они тоже шепотом поздоровались с гостьей.

— Что с вашей Мари? — спросила она у старухи.

— Сама не понимаю, что случилось, — отвечала мать, — с самого утра в ужасной истерике, и ничто не помогает. Я думаю, с полчаса рыдала без слез, так что начало дыхание захватываться.

— Должно быть, испуг, — заметил Антон Федотыч, — она крыс очень боится, вероятно, крысы испугалась.

Мамилова сомнительно покачала головой.

— Вы, я думаю, Катерина Архиповна, знаете или по крайней мере догадываетесь о причине болезни Марии. Может быть, еще и не то будет, — проговорила она.

Катерина Архиповна посмотрела несколько минут на гостью, как бы желая догадаться, что та хочет сказать и к чему именно склоняет разговор.

— Я не понимаю вас, Варвара Александровна, — сказала она.

— По моему мнению, очень немудрено, — подхватил Ступицын, — она у нас, знаете, этакой нервной комплекции.

— Перестаньте, пожалуйста, вы с вашими мнениями, — перебила Ступицына, — лучше бы посидели в зале: может быть, кто-нибудь подъедет, а там никого нет, потому что Ивана я послала за флёрдоранжем. — Антон Федотыч поднялся со стула. — Пашет и Анет, подите наверх, в вашу комнату, — продолжала старуха, — и послушайте, покойно ли спит Мари.

Получив такое приказание, паленька и две старшие дочери тотчас же отправились к своим постам.

Катерина Архиповна с умыслом распорядилась таким образом, чтобы остаться наедине с гостьей и послушать, что она еще скажет про Мари, и если это про сватовство Хозарова, то отделать эту госпожу хорошенько, так как страстная мать вообще не любила участия посторонних людей в ее семейных делах, и особенно в отношении идола, за исключением, впрочем, участия Рожнова, в рассуждении которого, она, как мы знаем, имела свою особую цель.

— Я все слышала, — начала Мамилова тотчас же, как они остались наедине, — и, признаюсь, от вас, Катерина Архиповна, и тем более в отношении Мари, я никогда этого не ожидала: очень натурально, что она, беденькая, страдает, узнав, как жестоко вчерашний день решена ее участь.

— А, вы говорите, — сказала Ступицына самым обидно-насмешливым голосом, — про это глупое предложение этого мальчишки Хозарова? Уж не оттого ли, вы полагаете, Мари больна, что я вчерашний день отказала этому вертопраху даже от дома? В таком случае я могу сказать вам, что вы ошибаетесь, Варвара Александровна, Мари даже не знает ничего: я не сочла даже за нужное говорить ей об этом.

— Вы ей не говорили, — возразила с своей стороны тоже довольно насмешливо гостья, — но она знает. Поверьте мне: женщине, которая любит, говорит ее инстинкт, ее предчувствие.

— Мне очень странно, Варвара Александровна, — сказала мать, — слышать от вас такое, даже обидное для девушки, заключение, тем более, что Мари еще ребенок, который даже, может быть, и не понимает этого.

— Не сердитесь на меня, Катерина Архиповна, и поймите, что я хочу вам сказать: дочь ваша любит и любит до безумия, и вы, страстная мать, припомните мои слова: вы сведете ее в могилу.

— Сделайте милость, бога ради, прошу вас, не говорите подобных ужасных вещей! — перебила мать, начавшая уже выходить из терпения.

Но Маилова продолжала:

— Я говорю, что чувствую: выслушайте меня и взгляните на предмет, как он есть. Я знаю: вы любите вашу Мари, вы обожаете ее, — не так ли? Но как же вы устраиваете ее счастье, ее будущность? Хорошо, покуда вы живы, я ни слова не говорю — все пойдет прекрасно; но если, чего не дай бог слышать, с вами что-нибудь случится, — что тогда будет с этими бедными сиротами и особенно с бедною Мари, которая еще в таких летах, что даже не может правильно управлять своими поступками?

— Я опять вам скажу, Варвара Александровна, что я не понимаю, к чему вы все это говорите, — возразила Катерина Архиповна. — Мне пророчите смерть, дочь мою, говорите, я сведу в могилу, и бог знает что такое! Я мать, и если отказала какому-нибудь жениху, то имею на это свои причины.

— Мне известны эти причины, — сказала гостья. — У вас в виду другой жених: старый, толстый, богатый. Но что такое значит богатство? Что такое деньги? Это яд, который отравляет жизнь женщины. Не губите, Катерина

Архиповна, вашей дочери, не продавайте ее за деньги, если не хотите отравить ее жизнь.

Катерина Архиповна потеряла уже всякое терпение и готова была выйти из границ приличия, в которых старалась себя держать как хозяйка дома.

— Я не продавала и не продам моей дочери, Варвара Александровна, и не хочу ее губить. Для вас, кажется, наши семейные дела должны бы быть посторонние, и потому, прошу вас, прекратите этот неприятный для меня разговор.

— Извольте, если он вам неприятен, я прекращу, но все-таки скажу, что дочь ваша любит Хозарова.

— А я вам скажу, что она его не любит, потому что получила не такое романтическое и ученое воспитание. Нельзя же, Варвара Александровна, по себе судить о других.

— Тем хуже для вас, Катерина Архиповна, что вы, быв такой страстной матерью, не умели от вашей дочери заслужить доверия.

— Я двадцать пятый год, как мать, и мать троих дочерей. Вы, я полагаю, не можете и судить об этих чувствах, потому что никогда не имели детей.

— Не смею и равняться с вами в этом отношении и сказала только из желания счастья Мари.

— Никто, конечно, как мать, не пожелает более счастья дочери.

— И с этим я вполне согласна, что они желают, но всегда ли умеют устроить это счастье детей? Впрочем, я действительно, может быть, дурно поступаю, что вмешалась в совершенно постороннее для меня дело.

— Оно конечно, Варвара Александровна, вам будет гораздо лучше предоставить мне самой знать мои дела.

— Совершенно согласна и прошу у вас извинения, — сказала опять насмешливым голосом Варвара Александровна.

— И меня тоже извините, — отвечала хозяйка, — и я, как мать, может быть, сказала вам что-нибудь лишнее.

Здесь разговор двух дам прекратился. Варвара Александровна из приличия просидела несколько минут у Ступицыных и потом уехала, дав себе слово не переступать вперед даже порога в этот необразованный дом. Вечером к ней явился Хозаров: он был счастлив и не-

счастлив: он получил с торговкою от Мари ответ, короткий, но исполненный отчаяния и любви.

«Я вас буду любить всю жизнь, — писала она. — Мамаше как угодно: я не пойду за этого гадкого Рожнова. Вас ни за что в свете не забуду, стану писать к вам часто, и вы тоже пишете. Я сегодня целый день плачу и завтра тоже буду плакать и ничего не буду есть. Пускай мамаша посмотрит, что она со мной делает».

— Не правда ли, — сказал Хозаров, прочитав это письмо Варваре Александровне, — повидимому, это письмо небольшое, но как в нем много сказано!

— Тут неподдельный язык природы и наивность сердца, — отвечала та. — Впрочем, — продолжала она, — вам все-таки надобно отказаться от вашей страсти, потому что это такое дикое, такое необразованное семейство! Я даже не воображала никогда, чтобы в наше время могли существовать люди с такими ужасными понятиями.

— Все семейство никуда не годится, но Мари между ними исключение: она непохожа ни на кого из них.

— Это правда. Отец еще ничего — очень глуп и собою урод, сестры тоже ужасные провинциалки и очень глупы и гадки, но мать — эта Архиповна, я не знаю, с чем ее сравнить! И как в то же время дерзка: даже мне наговорила колкостей; конечно, над всем этим я смеюсь в душе, но во всяком случае знакома уже больше не буду с ними.

— Но что же я должен предпринять? — возразил Хозаров.

— Не знаю. *Entre nous soit dit*¹, вам остается одно — увезти.

— Увезти? Да, это правда!

— Непременно увезти, — подхватила Мамилова. — Вы даже обязаны это молоденькое существо вырвать из душной атмосферы, которая теперь ее окружает и в которой она может задохнуться, и знаете ли, как вам, обоим будет отраднo вспомнить впоследствии этот смелый ваш шаг?

— Знаю, Варвара Александровна, очень хорошо знаю; но теперь еще куда есть препятствие для этого.

¹ Между нами будь сказано, (*франц.*)

— Для любви не может быть препятствия, не может быть препон; ну, скажите мне, в чем вы видите препятствие?

— Препятствие в том отношении, если жена моя после будет чувствовать раскаяние, будет укорять меня.

— Никогда! Парирую мою жизнью, никогда. Женщины раскаиваются только в тех браках, в которые они вступают по расчету, а не по любви. В чем ваша Мари будет чувствовать раскаяние?

— Конечно...

— Нет, вы скажите, в чем и почему именно она будет раскаиваться?

Герой мой не нашел, что отвечать на этот вопрос. Говоря о препятствии, он имел в виду весьма существенное препятствие, а именно: решительное отсутствие в кармане презренного металла, столь необходимого для всех романтических предприятий; но, не желая покуда открыть этого Варваре Александровне, свернул на какое-то раскаяние, которого, как и сам он был убежден, не могла бы чувствовать ни одна в мире женщина, удостоившаяся счастья сделаться его женою.

Приехав домой, Хозаров имел с Татьяной Ивановной серьезный разговор и именно в отношении этого предмета, то есть, каким бы образом достать под вексель презренного металла. Сообразительная Татьяна Ивановна первоначально стала втупик.

— Ах, боже мой! — воскликнула она потом голосом, исполненным радости и самой тонкой и далекой прозорливости. — Ах, боже мой! — повторила она. — Совсем из головы вон! Нельзя ли напасть на Ферাপонта Григорича? Их человек мне сказывал, что они отдают капитал в верные руки.

— Но даст ли он? — заметил недоверчиво Хозаров.

— Да отчего бы, как я по себе сужу, не дать? Вы, вероятно, как женитесь, так не возьмете на свою совесть.

— Конечно, но, знаете, он, как я мог заметить, должен быть ужасный провинциал; пожалуй, потребует залога, а где его вдруг возьмем? У меня есть и чистое именье, да в неделю его не заложить.

— Это, пожалуй, может случиться, — заметила Татьяна Ивановна, — нынче в таких случаях ужасно стало дурно: прежде, когда я жила в графском доме, я в один день достала, у одной моей знакомой, десять тысяч,

а нынче десять рублей напросишься. Но что за дело — попробуйте!

— Именно попробую и попробую сейчас же, — сказал Хозаров, вставая.

— Что ж? Можно и сейчас, — подтвердила Татьяна Ивановна, — он дома; только чай еще начал пить.

Герой мой, довольно опытный в деле занимания денег, решил действительно тотчас же приступить к этому делу. С этою целью, одевшись сколько возможно франтоватее, он, нимало не медля, отправился к старому миладушке Татьяны Ивановны и застал того за самоваром.

— Честь имею представиться, — сказал, входя, Хозаров.

— А! Наше вам почтение, — отвечал Феропонт Григорич.

— Я давно желал иметь честь быть у вас и засвидетельствовать вам почтение, но, знаете, столица... удовольствия... дела... По крайней мере теперь, если я буду не в тягость...

— Помилуйте-с... ничего... прошу покорно садиться... не угодно ли чаю?

— Благодарю, я пил. Как вы проводите время?

— Понемногу. Вы, кажется, к...ий помещик?

— Точно так, то есть имение мое там, но сам я живу редко.

— Большое ваше имение?

— Нельзя сказать, что большое: пятьсот душ.

— А... однако пятьсот душ. А здесь вы изволите по каким причинам проживать?

— Как вам сказать? Я живу теперь здесь по причинам, если можно так выразиться, сердечным: я женюсь!

— В брак изволите вступать? А... доброе дело: нашего полка прибудет. Я сам также женатый человек, пятнадцать лет живу семьянином.

В дальнейшем затем разговоре Хозаров, видимо, старался подделаться под тон помещика. Он расспросил его подробно о его семействе и сам о своем тоже рассказал довольно подробно; переговорили и об охоте, и о лошадях, и о каком-то общем знакомом Вондюшине, который, по мнению обоих собеседников, был прекрасный человек для общества, но очень дурной для себя. По позднейшим сведениям, которые имел Хозаров об этом прекрасном для общества человеке, сей последний был в таком

жалком положении, что для пропитания своего играл на гитаре и плясал по трактирам.

Герой мой заметно начал нравиться Ферапонту Григорьичу своими интересными разговорами.

— Я к вам имел бы одну маленькую просьбу, — начал довольно смело Хозаров после нескольких минут молчания.

— В чем могу служить? — спросил помещик.

— Вы, кажется, имеете свободные деньги?

— То есть как деньги? — спросил удивленный Ферапонт Григорьич.

— По случаю женитьбы я имею надобность в деньгах; не можете ли вы мне ссудить тысячи три на ассигнации? — проговорил Хозаров опять довольно смело, устремив на соседа испытующий взор, так что тот потупился.

— С большим бы удовольствием, но я не имею денег, — отвечал, придя несколько в себя, Ферапонт Григорьич.

— Может быть, вы сомневаетесь, — начал снова Хозаров, — так как я еще имею честь так мало времени пользоваться вашим знакомством, но я могу представить вам поруку.

— Нет-с... помилуйте, вовсе не потому; но я вовсе не имею денег, и даже сам бы у вас с большим удовольствием занял.

— Но это, сами согласитесь, Ферапонт Григорьич, пустячная сумма, я могу вам представить благонадежную поруку и дать хорошие проценты.

— Помилуйте-с... я не понимаю, к чему вы так беспокоитесь; честью моей заверяю, что я не имею денег.

— Но как же мне говорили?

— Вероятно, с вами пошутили?

— Как же пошутили: подобными вещами не шутят.

— Нет-с, иногда шутят, мало ли есть проказников. Да не хозяйка ли вам наврала? Она ужасная врунья... Не прикажете ли трубки?

— Благодарю... я курил, позвольте вам пожелать покойной ночи.

— Уже?

— Спать пора.

— Не смею удерживать, благодарю за посещение; завтрашний день постараюсь быть у вас.

— Весьма много обяжете. До приятного свидания.

— И с моей стороны также, — проговорил помещик, раскланиваясь.

«Этакий, подумаешь, московский фронт, — сказал он сам себе по уходе Хозарова. — Видишь, на каких колесах подъехал: дай ему, чу, денег — пустячную сумму, три тысячи рублей, а самому, я думаю, перекусить нечего. Ну, Москва!.. Этакий здесь отчаянный народ... приломил к совершенно незнакомому человеку и на горло наступает; дай ему денег в заем; поручителя, говорит, представлю; хорош должен быть поручитель; какой-нибудь фронт без штанов! Ай да Москва! Нечего сказать — бьет с носка!.. Удивительно, какой здесь смелый живет народ!»

— Это такой скотина ваш Ферапонт Григорьич, — сказал Хозаров, входя к Татьяне Ивановне, — что уму невообразимо! Какой он дворянин... он черт его знает что такое! Какой-то кулак... выжига. Как вы думаете, что он мне отвечал? В подобных вещах порядочные люди, если и не желают дать, то отговариваются как-нибудь поделikatпее; говорят обыкновенно: «позвольте подумать... я скажу вам дня через два», и тому подобное, а этот медведь с первого слова заладил: «нет денег», да и только.

— Скажите, какой странный человек, — сказала Татьяна Ивановна. — Я и прежде замечала, должен быть скупец, и скупец жадный.

— Он мало, что скупец, он человек нетерпимый в обществе. Мне очень жаль, что я ходил к нему, а все по милости вашей.

— Да ведь я, Сергей Петрович, этого не думала, что он так поступит. Я наверное думала, что он даст; к нему как пристанешь, так он дает. Хорошо ли вы просили? Надобно с ним говорить поубедительнее.

— Вот прекрасно! Обыкновенно, как берут деньги в заем: не в ноги же ему кланяться, мне еще не до зарезу пришло; я найду денег; завтрашний же день возьму на какие-нибудь месяцы у Мамиловой.

— Чего же вам лучше... и прекрасно! — сказала Татьяна Ивановна. — Давно бы вам это придумать.

— Конечно, так. Женщины в этом отношении гораздо благороднее, они как-то деликатнее, лучше понимают эти вещи, а уж про Варбе Мамилову и говорить нечего: это какой-то феномен-женщина, и по сердцу и по уму — совершенный феномен.

Хозаров еще несколько времени беседовал с Татьяной Ивановной, и между ними положено было подождать несколько времени; к Мари написать завтрашний день записку, а между тем во всевозможных местах стараться занять денег.

В продолжение следующих за тем двух дней Марья Антоновна сдержала свое обещание, то есть плакала, лежала в постели и ничего не ела. До сих пор я еще ничего, с своей стороны, не говорил о героине моего романа, и не говорил, должен признаться, потому, что ничего не могу резкого и определенного сказать о ней. Что можно сказать о характере женщины, которая не совсем еще сформировалась? А Мари действительно была ребенок и весьма многого не понимала. Учившись в пансионе, например, она решительно не понимала ни второй части арифметики, ни грамматики и даже не понимала, что это такое за науки и для чего их учат. Бывши раз в театре, она с удивлением смотрела на даму, сидевшую в соседней ложе, которая обливалась горькими слезами, глядя на покойного Мочалова в «Гамлете». Простодушная Мари ничего тут не понимала, и ей было даже скучно до тех пор, пока в последнем акте не начали биться на рапирах, тогда ей сделалось страшно. В музыке Мари тоже не совсем все понимала и любила больше обращать внимание на виньетки и рисунки, которыми обыкновенно украшаются нотные обертки. На основании всех этих данных мы вполне можем согласиться с Катериной Архиповной, что Мари еще развивалась и покуда была совершенный ребенок. Против одного только я протестую, что будто бы молодая девушка не имела никакого кокетства, до сих пор не знает, что такое любовь, и боится одной мысли выйти за кого бы то ни было замуж. Во-первых, она имела кокетство, потому что еще с двенадцати лет очень любила вертеться перед зеркалом и умела весьма ловко потуплять глаза, когда в танцкласс привозили какого-нибудь Васеньку или Ванечку, не по дням, а по часам вырастающих из сшиваемых им курточек. В настоящее время она очень любила читать романы и весьма ясно понимала любовь; еще года два тому назад она была влюблена в учителя истории, которого, впрочем, обожал весь класс, но Мари исключительно. Во всю бытность в пансионе она постоянно рисовала голову Париса, на которую походил обожаемый учитель. К Хозарову она

чувствовала страсть и только о том и помышляла, как бы выйти за него замуж. Узнав, что Катерина Архиповна отказала ему, она очень рассердилась на мать и дала себе слово во что бы ни стало заставить старуху переменить свое намерение. Впрочем, Мари была, право, доброго характера; она умеренно пользовалась исключительной любовью матери, не весьма часто капризничала, сестер своих она не ненавидела, как ненавидели те ее, и вместе с тем страстно любила кошек. Но обратимся к моему рассказу. Я уже прежде сказал, что идола другие сутки ничего не ел. Страстная мать была как сумасшедшая: она решительно не знала, что ей делать и что предпринять. Старуха очень хорошо догадывалась, что бедное дитя сердится на нее за то, что она отказала Хозарову, но ей — матери-другу — ничего не говорит. Горько и обидно было ее материнскому сердцу; целые ночи она проплакивала и промаливалась, а по дням все свои огорчения принималась вымещать на старших дочерях, а главное — на Антоне Федотыче. Пашет и Анет начинали тоже приходиться в отчаяние, и, проплакав после маменькиной нотации целое утро, они принимались потихоньку в своей комнате ругать маменьку, папеньку и по преимуществу чертенка Машет, изъявляя общее желание, чтобы она поскорее или замуж выходила, или умирала. Антону Федотычу просто житья не было: мало того, что ему строжайшим образом было запрещено курить трубку на том основании, что будто бы табачный дым проходит наверх к идолу и беспокоит его; мало того, что Катерина Архиповна всей семье вместо обеда предоставила одну только три дня тому назад, жареную говядину, — этого мало: у Антона Федотыча был отобран даже матрац и положен под перину Машет; про выговоры и говорить нечего; его бранили за все: и за то, что он говорит громко, и каблуками стучит, и даже за какое-то бессмысленное выражение лица, совершенно неприличное для отца, у которого так больна дочь. Все это Антон Федотыч переносил первоначально со свойственным ему терпением и даже, стараясь принять участие в семейных хлопотах, сам бегал по несколько раз в день в аптеку; но, наконец, не выдержал и, махнув рукой, куда-то отправился на целый день. Катерина Архиповна в самом деле была непохожа сама на себя: она даже наговорила дерзостей добряку Рожнову, когда тот начал было ее утешать и

успокаивать. Она прямо ему сказала, что он никогда не был матерью и потому не может понимать ее горя, и что если он и любит Мари, то любит ее как мужчина... Рожнов замолчал и скоро уехал. Таким образом, страстная мать была оставлена всеми. На третий день поутру она, наконец, решилась объясниться с дочерью и узнать, что такое с нею. В переводе это значило: узнать, чего хочется идолу, и исполнить по ее желанию. Что делать? Такова уж натура всех страстных матерей.

— Что, душа моя, лучше ли тебе? — сказала Катерина Архиповна, тихонько входя в комнату больной и садясь на ближайший стул.

— Не знаю, — отвечал идол, повернув голову в подушку.

— Ты бы покушала чего-нибудь, а то желудок ослабнет, — повторила мать.

— Не хочу-с.

— Но, друг мой! Что такое с тобою, — позволь мне послать за доктором.

— Не хочу-с.

— Но.. друг мой!

— Не хочу-с... Пожалуй, посылайте! Я ничего не буду принимать и только еще буду плакать больше.

— Но за что же ты, Машенька, на меня сердишься, что же я тебе, друг мой, сделала? — сказала мать почти сквозь слезы.

— Я не сержусь.

— Нет, ты сердишься — я вижу; если ты что-нибудь чувствуешь, так кому же ты можешь сказать, как не матери: ты вспомни, мой друг, когда я тебе в чем отказывала? Мне горько, Машенька, что ты так переменилась ко мне... Друг мой, что такое с тобою? — проговорила Катерина Архиповна уже совершенно в слезах и, взяв руку дочери, поцеловала ее.

Мари тоже поцеловала руку матери, но не говорила ни слова. На глазах ее опять показались слезы.

— Ну, полно, друг мой, бога ради не плачь; а то, пожалуй, опять начнется истерика, — я сделаю, как хочешь, ты только скажи. Разве он тебе очень нравится?

— Да, мамаша.

— Но от кого ты узнала, что он сватался?

— Он мне сам сказал.

— Где же он тебе сказал?

— Не помню где.

— Ты выслушай меня, друг мой, но только не плачь, — это я говорю не серьезно, а так, — он совершенно неизвестный человек; может быть, он какой-нибудь развратный... мог... может быть, даже тебя обманывает?

— Нет, извините, мамаша, он меня любит.

— Разве он тебе говорил?

— Говорил.

— Где же?

— Не помню где.

Старуха задумалась.

— Вы ему напишите, мамаша, записочку, чтобы он приехал сегодня, а то он очень рассердится... Пожалуй, не будет к нам и ездить.

— Но, друг мой, к чему это поведет: неужели ты хочешь выйти за него замуж?

— Непременно за него, мамаша! Кроме его, ни за кого не пойду.

— А Иван Борисыч, Машенька?.. За что ты этого человека хочешь лишиться? Он очень добрый и благородный человек... тысяча душ, друг мой... ты будешь счастлива с ним, — тебе и теперь уже все завидуют.

— А вы что мне, мамаша, обещали, чтобы никогда не говорить про этого гадкого человека; я опять плакать начну.

— Ну, ну, я замолчу, не стану говорить, только ты встань, друг мой, и покушай...

— Нет, мамаша, не хочу.

— Но если я напишу ему записочку и буду звать к себе, — встанешь?

— Встану.

Старуха вздохнула и глубоко вздохнула: все надежды ее рушились. Долее уже не в состоянии была она продолжать разговора с дочерью и, придя в свою комнату, зарыдала и почти без чувств упала на голые доски кровати Антона Федотыча. Живое и ясное предчувствие говорило ей, что в этом браке ее идолу угрожает гибель и что она сама отрывает дочь свою от счастья, которое суждено бы ей было в браке с Рожновым, и сама отдает ее какому-то пустому щеголю и отдает, может быть, на бедность, на нелюбовь и тому подобное. Велико ли состояние Мари? Всего сто душ после бабки да тысяч

десять деньгами; десять тысяч, накопленные ее бережливостью. Из имени идола действительно, как говорил Ступицын, не издерживала Катерина Архиповна ни копейки. Отказывая во всем себе, Антону Федотычу и двум старшим дочерям, страстная мать из своих малых средств воспитывала Машеньку в пансионе, одевала ее гораздо лучше прочих и даже исполняла ее пустые прихоти; но за кого теперь она принуждена выдать свою любимицу — что это за человек? Вот что занимало теперь старуху после разговора ее с дочерью: остаться в прежнем намерении, то есть отказать Хозарову, она уже не имела сил, она уже не в состоянии была видеть, как Машенька плачет, страдает и ничего не ест. Но от кого бы по крайней мере узнать подробнее о женихе? Поручить Антону Федотычу, но он не умеет, да и налжет. Долго старуха думала и, наконец, решилась обратиться к Рожнову. Она и в этом случае рассчитывала на великодушные отверженного искателя и полагала, что его можно будет упротить съездить и разузнать о счастливом сопернике. С этой целью она сама поехала к толстяку и застала его по обыкновению лежащим на диване и читающим книгу.

— А! Сердитая маменька, — сказал тот, приподнимаясь, — какими судьбами?

— Я к вам с просьбой.

— Слушаю-с.

— Вы так любите наше семейство, я так обязана много вам, что даже не в состоянии, кажется, и отблагодарить вас, и надеюсь, что вы не откажете в моей просьбе.

— У вас нет денег? — сказал толстяк.

— Ах нет, но у меня Маша очень страдает.

— Ваша Маша не страдает, а сентиментальничает: страдаете тут вы... Ну-с, что же вам угодно?

— Я к вам с просьбою.

— Это я слышал.

— Она любит его.

— То есть она влюблена в него, и это я знаю.

— Что мне делать?

— Выдать ее за того, в кого она влюблена.

— Пожалуйста, не говорите так.

— Как же мне говорить?

— Вы говорите очень насмешливо.

— Прикажете плакать?

— Ах нет... что вы это говорите: мне хотелось бы узнать, что это за человек?

— Зачем же вам это знать?

— Что это вы говорите, Иван Борисыч, зачем мне знать? Я мать!

— Послушайте, Катерина Архиповна, в подобных вещах нужно выбирать два полюса: или решительно не выдавать дочь, если это невыгодно по вашим понятиям, или выдавать без всякого размышления, а так, потому только, что дочке этого желается.

— Но мне хочется узнать, что это за человек. Узнайте, Иван Борисыч, и скажите, я вам верю.

— Премного благодарен за ваше доверие; только я не поеду узнавать.

— Но как же я узнаю?

— Это уж ваше дело.

— Вы сердитесь, Иван Борисыч, но чем же я-то виновата?

— И я не сержусь, и вы не виноваты — отвечал он, — но только не поеду.

— Иван Борисыч!

— Не поеду-с.

У старухи покатались сначала слезы, потом она начала даже рыдать.

— О чем же вы плачете? — спросил толстяк.

— Все меня оставили; никто не хочет мне помочь, — говорила она, — никто не хочет даже узнать, что это за человек?

— Да зачем же вам?

— Как зачем!..

— Ну, а если я вам скажу, что он мерзавец?

— Как же это мерзавец?

— Да так, как обыкновенно бывают мерзавцы.

— Как вы это так говорите, в таком деле, Иван Борисыч; это, я думаю, на всю жизнь.

— Ну, не верите и прекрасно; вы оставайтесь при своем убеждении, а я при своем.

Катерина Архиповна больше не возражала: она догадалась, что Рожнов не мог быть беспристрастным исполнителем ее поручения, и потому тотчас же отправилась домой.

Толстяк, оставшись один, несколько времени ходил, задумавшись, взад и вперед по комнате.

— Григорий! — закричал он.

Явился лакей.

— Вели собираться.

— Куда-с? — спросил тот.

— В деревню.

— Вот тебе на... Да зачем-с?

— А тебе зачем знать, дуралей? — вскрикнул сверх обыкновения рассердившийся барин.

— Известное дело что мне: да коляска-то еще у кузнеца.

— Я дам вам у кузнеца, остолопы! Чтоб сегодня же у меня было все готово.

— Да что вы на меня кричите: спрашивайте с кучеров; мне что? — мое дело сесть да поехать.

— Ну, не рассуждать! Пошел... собирайтесь.

Слуга, впрочем, не пошел собираться, а, надев шапку и позвав другого лакея, отправились вместе в трактир.

Впрочем, как прислуга ни лениво собиралась, как ни представляла барину тысячу препятствий, но на другой день в одной из московских застав был записан выехавшим: надворный советник Рожнов в К...

VI

На другой же день после описанной в предыдущей главе сцены Катерина Архиповна, наконец, решилась послать мужа к Хозарову с тем, чтобы он первоначально осмотрел хорошенько, как молодой человек живет, и, разузнав стороною о его чине и состоянии, передал бы ему от нее письмо. Страстная мать уже окончательно не в состоянии была бороться с желанием дочери, тем более что Мари все еще ничего не ела и лежала в постели. Послание Катерины Архиповны, если не высказывало полного согласия на предложение моего героя, то в то же время было совершенно написано в другом духе, чем прежде ее письмо, — это была ласковая пригласительная записка приехать и переговорить об интересном и важном деле. Целый день был употреблен на отыскание Антона Федотыча, скрывавшегося где-то от семейных неприятностей; наконец, он был найден у трех офицеров, живших на одной квартире. Первоначально он, как водится, получил достождный выговор за свое ни с чем

несообразное поведение, а потом уже ему было объявлено и самое поручение, которому Антон Федотыч, с своей стороны, очень обрадовался. Пояснив супруге, что он все очень хорошо понял и потому прекрасно обделает это дело, тотчас же отправился к Хозарову и даже отправился, сверх ожидания, по распоряжению Катерины Архиповны на извозчике.

В этот же самый день, часу в четвертом пополудни, Хозаров вбежал так нечаянно и так быстро в номер Татьяны Ивановны, что она, лежа в это время на своей кровати и начав уже немного засыпать послеобеденным сном, даже испугалась и вскрикнула.

— Что это, почтеннейшая, вы изволите так бездействовать, тогда как я обделываю великие дела! — вскрикнул он, стакивая хозяйку за руку с постели.

Он был, видно, в весьма хорошем расположении духа и, как кажется, немного навеселе.

— Пойдите, проказник, дайте поправиться. Ах, какой вы шалун! Ну, что такое там у вас случилось?

— Случился случай случайнейший. Во-первых, *voyez-vous, madame!*¹ — сказал он, вынув из кармана футляр и раскрыв его перед глазами Татьяны Ивановны.

— Ах, какие прекрасные брильянты. Батюшка, ай, батюшка, посмотрите, средний-то с орех... Какие отличнейшие вещи! Где это вы взяли, купили, что ли?

— Это еще не все, мадам; я вам сказал прежде во-первых, но теперь во-вторых: *voyez!* — и он вынул из кармана бумажник, в котором было положено с тысячу рублей ассигнациями.

— Да что вы, проказник этакий, клад, что ли, нашли?

— Погодите, погодите, терпение, мадам, это еще не все: *regardez!*² — И он сдернул перчатку с руки, на большом пальце которой красовался богатый перстень.

— Ах, какой отличный солитер! Батюшка, Сергей Петрович, да где вы все эти богатства приобрели?

— Уж, конечно, не у вашего скота, Фералонта Григорьича, позаимствовался. Всем этим богатством, что видите, наградила меня заимообразно моя милая фея, моя бесценная *Barbe* Мамилова.

¹ взгляните, сударыня! (франц.)

² смотрите! (франц.)

— Варвара Александровна? Скажите, какая превосходнейшая женщина!

— Да-с, найдите-ка другую в нашем свете! С первого слова, только что заикнулся о нужде в трех тысячах, так даже сконфузилась, что нет у ней столько наличных денег; принесла свою шкатулку и отперла. «Берите, говорит, сколько тут есть!» Вот так женщина! Вот так душа! Истинно будешь благоговеть перед ней, потому что она, кажется, то существо, о котором именно можно сказать словами Пушкина: «В ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей».

— Ну, я думаю, и вещи тоже ценные? — сказала Татьяна Ивановна. — Ах, какая прелестная работа, — продолжала она, с любопытством рассматривая баул.

— Да-с, я вам скажу, что для этой женщины нет слов на языке, чтобы выразить все ее добродетели: мало того, что отсчитала чистыми деньгами тысячу рублей; я бы, без сомнения, и этим удовлетворился, и это было бы для меня величайшее одолжение, так нет, этого мало: принесла еще вещи, говорит: «Возьмите и достаньте себе денег под них; это, я полагаю, говорит, самое лучшее употребление, какое только может женщина сделать из своего украшения». А?.. Как вам покажется? Сколько в этих словах благородства, великодушия! Я, разумеется, намерен ей отплатить тем же и потому тотчас же поехал к маклеру и написал ей в три тысячи вексель; так даже и этого не хотела взять. Я убедил ее только тем, что я человек, и человек смертный, могу умереть и потому за ее великодушие не хочу на тот свет унести черной неблагодарности. Вот какова эта женщина, Татьяна Ивановна!

— Прекрасная должна быть дама! Вот, как я по всем словам вашим вижу, так, должно быть, предобрейшее она имеет сердце!

— И говорить нечего, она выше всяких слов. Но стойте, я никогда и нигде не позволял себе забывать людей, сделавших мне какое-либо одолжение: сегодняшнее же первое мое дело будет хоть часть заплатить моей Татьяне Ивановне, и потому не угодно ли вам взять покуда полтораста рублей! — сказал Хозаров. — Примите, почтеннейшая, с моею искреннею благодарностью, — продолжал он, подавая хозяйке пачку ассигнаций, и затем первоначально сжал ее руку, а потом поцеловал в щеку.

— Что это, бесстыдник какой, как это вам не со-
вестно?.. — сказала, сконфузившись, но с явным удоволь-
ствием девица Замшева. — Да постоит еще, повеса эта-
кой, расплачиваться, дайте прежде сосчитаться.

— Без счетов, почтеннейшая! — воскликнул Хоза-
ров. — Сегодня для меня такой веселый и торжественный
день, что я решительно не могу вести никакого рода сче-
тов. Будем жить и веселиться, ненадолго жизнь дана! —
произнес он и, вскочив, схватил Татьяну Ивановну и на-
чал с нею вальсировать по комнатам.

— Перестаньте, проказник этакой! Ай, батюшки, за-
вертели.. посмотрите, гребенка выпала, — говорила соро-
калетняя девица, делая быстрые туры с ловким танцором.

— *C'est assez, madame, merci, grand merci* ¹, — сказал
Хозаров, останавливая и сажая даму на стул.

Походя по комнате, он остановился перед хозяйкой.

— Мне пришла в голову прекрасная идея, — сказал
он, — я хочу вашим постояльцам дать маленькую вече-
ринку.

— Ой, Сергей Петрович, не советовала бы я вам, —
возразила Татьяна Ивановна, — народ-то, знаете, такой
все пустой, не вашего сорта люди; да и зачем вам?

— Нет, очень есть зачем: у меня тут есть особые
виды. Вот, например, если я вздумаю увезти Мари, а это
очень может случиться, в таком случае эти господа могут
оказать мне великую помощь; то есть одни будут свиде-
телями, другой господин кучером, третий лакеем. Подоб-
ные вещи всегда делаются в присутствии благородных
людей; а во-вторых, если будет оттуда, для спроса обо
мне, какой-нибудь подсыл, то теперь они на меня могут
бог знает что наболтать; но, побывав на пирушке, дру-
гое дело; тут они увидят, что я живу не по-ихнему, и не-
волью, знаете, по чувству этакого уважения и даже
благодарности отзовутся в пользу мою. Я намерен по-
звать их всех, кроме этого свиньи, вашего Ферапонта
Григорьича.

— Позовите и его: он хороший человек, только,
знаете, этакий деревенский, груб немного на словах.

— Ну, и то дело, — зла не надобно помнить.

— А музыканта позовете? — спросила Татьяна Ива-
новна не совсем твердым голосом.

¹ Довольно, сударыня, спасибо, большое спасибо, (франц.)

— Непременно; как же могу я его не позвать? Это было бы, кажется, низко и неблагородно с моей стороны.

— Он прекрасный человек и вас чрезвычайно любит. Ревнует даже меня к вам.

— Скажите, какой Отелло, — сказал Хозаров с улыбкой.

— Вы, мужчины, все таковы... Что же у вас будет на вечеринке?.. Когда думаете, так уж время приготовиться.

— Да, это правда. Впрочем, я большого не думаю: подать сперва чай, потом сварю жженку, а тут можно подать мороженое и какие-нибудь фрукты.

— Ой, не годится... совсем не годится... вовсе будет не по гостям вечер. Это ведь хорошо для каких-нибудь модных дам, а этим гораздо будет приличнее велеть приготовить чаю с ромом, да после велеть подать закуску с водкой и винца побольше.

— Но это будет как-то гадко, пошло... что-то такое купеческое.

— Вовсе не купеческое, а так, как обыкновенно между мужчинами.

— Нет, почтеннейшая, между мужчинами другого сорта это бывает не так; но, впрочем, хорошо... будь по-вашему; однако все-таки без шампанского нельзя.

— Ну, шампанское, конечно, будет очень прилично.

— Итак, почтеннейшая, первоначально отправляйтесь и возьмите, сколько по вашему соображению нужно будет, вина и извольте готовить чай, а я между тем пойду сзывать братию, и вот еще кстати: свечей возьмите побольше, чтобы освещение было приличное, я терпеть не могу темноты. А пронос¹: мне пришла в голову счастливая мысль! По всем нумерам таскаться и всякого звать особо — скучно, да и не принято в свете, а потому я всем этим господам напишу пригласительные записки, как обыкновенно это делается.

— Что же, можно и так, — сказала Татьяна Ивановна. — Ах, Сергей Петрович, как я вот посмотрю на вас, живали вы, видно, в богатстве, видали вы людей.

— Да, почтеннейшая моя, живал и видал людей, да и опять так заживу... Однако скажите мне имена и фа-

¹ Кстати: (франц.)

мили этих господ: на адресе надобно будет означить имена их и фамилии.

— А как их фамилии-то. В первом номере: сибарит — Виктор Прохорыч Казаненко; во втором — Семен Дмитрич Мазеневский; в третьем... этого вы знаете, — Ферапонт Григорьевич Телятин; в четвертом уж и позабыла, да! черноволосый — Разумник Антиохыч Рушевич, а белокурый — Эспер Аркадыч Нумизмацкий. Но, впрочем, лучше бы вы не приглашали их... неприятный такой народ.

— Нельзя, почтеннейшая, этого между порядочными людьми не принято: если приглашать, так приглашать всех. Дальше?..

— Да что дальше?.. Этот, я думаю, не придет.. больной человек.

— Но все-таки, как его?..

— Клементий, кажется, Иваныч или Кузьмич, должно быть, Иваныч.

— Ну, положим, Иваныч, а фамилия?

— Фамилия — Сидоров.

— Ну, Сидоров, так Сидоров. Прощайте, почтеннейшая, хлопочите и приготовляйте, — проговорил Хозаров и, соображаясь с составленным реестром, придя в свой номер, начал писать пригласительные билеты, утвердившие заключение Татьяны Ивановны касательно знания светской жизни, знания, которым бесспорно владел мой герой. Во-первых, эти билеты, как повелевает приличие света, были все одинакового содержания, а во-вторых, они были написаны самым кратким, но правильным и удобопонятным языком, именно:

«Сергей Петрович Хозаров покорнейше просит вас пожаловать к нему, сего же числа, на холостую пирушку, в семь часов вечера». На обороте были написаны, как водится, имена и фамилии приглашаемых. Такого рода распоряжение Хозарова, исполненное тонкой, светской вежливости, произвело на его сожильцов довольно странное и весьма разнообразное впечатление. Сибарит, прочитав пригласительную записку, сначала очень обрадовался. Ему уже заранее начал представляться холостой вечер с винами, с ужином, но вдруг задумался, потому что всякому хозяину недостаточно было пригласить сибарита, но ему надобно было вместе с тем прислать гостю сюртук, галстук и некоторые другие

принадлежности мужского костюма. Позови Хозаров так, просто, не по билетам, сибарит к нему рискнул бы отправиться в своем единственном друге — шинели. Но этот вечер должен быть, хотя и холостой, но парадный. Всю свою надежду гость возложил на Татьяну Ивановну и решился покорнейше просить ее доставить ему от Хозарова приличный костюм и таким образом дать ему возможность быть на вечере.

Секретный милашка Татьяны Ивановны — музыкант, по скромности характера, на своем лице, покрытом угрями, не выразил никакого чувства по прочтении приглашительного билета, а только лаконически ответил: «Приду», и принялся писать ноты. Феропонт Григорьич, получив приглашение, расхохотался. «А... каков в Москве народец, — начал он рассуждать сам с собой, — вчера денег просил взаймы, а сегодня вечер дает... Ну — мотыга же, видно! Еще не мошенник ли какой-нибудь? Нет, брат, не надуешь, не пойду: пожалуй, и в карман залезут».

— Ванька! Не слыхал ли ты, что такое у этого франта?

— Бал дает, сказывала хозяйка... Меня звали служить; полтинник, говорят, дадут-с, — отвечал возившийся около чемодана Ванька.

— Ну, так что ж? Ступай, дурак, коли ты будешь, так и я схожу, — сказал Феропонт Григорьич, — да смотри у меня не зевай; посматривай на меня, и как мигну тебе, так не выдавай!

— Зачем выдавать, — отвечал лакей.

— Схожу... ничего, схожу... и посмотрю, что там такое, — говорил Феропонт Григорьич. — Этакие, подумаешь, на свете есть ухарские головы! Вчера без копейки был, а сегодня вечер дает, и бог его знает где взял: может быть, кого-нибудь ограбил?..

Две неопределенные личности тоже не обратили должного внимания на приглашение, по крайней мере в первую минуту его получения. Это, может быть, произошло вследствие того, что черноволосый, остававшийся прежде почти в постоянном выигрыше, на этот раз заремизился, а потому очень разгорячился. Белокурый, в надежде выиграть, тоже разгорячился.

По окончании пульки они, хотя довольно односложно, но переговорили о вечере.

— Это зовут, — сказал черноволосый.

— Да, — отвечал белокурый.

— Будут ли картишки-то? — заметил черноволосый.

— Я думаю... только ты смотри, делай пальцами-то этак знаки.

— Известное дело, — не маленький, понимаю немного игру-то. Ты пойдешь в пальто?

— В пальто.

— Ну, ладно, а я во фраке.

Радушнее всех принял приглашение танцевальный учитель: несмотря на сильную ломоту, которую чувствовал во всем теле, он, прочитав записку, тотчас же вскочил с одра болезни и начал напевать известный куплет:

Кума шен, кума крест;
Кума дальше от комоду;
Кума чашки разобьешь, —

выделявая в то же время мастерские па из французской кадрили. Но дух его, стремящийся к рассеянию, недолго торжествовал над болеющим телом. Ревматизм от сильного движения разыгрался: учитель повалился на постель и начал первоначально охать, потом стонать и, наконец, заплакал.

Почтеннейшая Татьяна Ивановна, не ограничивая свои заботы хозяйственными приготовлениями, успела обежать все номера и всем объявить, что у Хозарова будет приятельская пирушка, потому что он скоро женится на миллионерке и потому хочет всех своих знакомых угостить. Сибариту достала сюртук; даже в Ферापонте Григорьиче успела поселить совершенно другое мнение о Хозарове; а милашке-музыканту, не знаю почему, сочла за нужное весьма подробно объяснить, сколько и какого именно рода приготовлено винных питий. На лице, покрытом угрями, появилось самое приятное выражение.

Между тем хозяин, задумавшись, сидел в своем номере.

Ему было грустно, что у него такая дрянная квартира, а потому он не может дать вечера своим знакомым дамам, как делывал это несколько раз в полку.

Настоящую же пирушку он затевал так, без всякого особого удовольствия, потому только, что привык жить хорошо и, почувствовав в кармане деньги, хотел показать себя этой дряни в настоящем свете.

Татьяна Ивановна просто совершала чудеса: зная наклонности своего милашки иметь все в порядочном виде, она достала где-то подсвечники из накладного серебра и серебряную сахарницу; у Ферапонта Григорьича выпросила, на свое собственное имя, совершенно новенький судок для водки и у одной знакомой достала гирную и прекрасную скатерть и дюжины полторы салфеток.

В восемь часов все было готово. Хозаров принимал всех в легоньком пальто, как надобно ожидать от светского человека, был очень вежлив к гостям. Сибариту, одетому в его собственный сюртук, он сжал дружески обе руки, с музыкантом даже поцеловался; Ферапонту Григорьичу, поблагодаря за лакея, как и следует, оказал исключительное почтение и тотчас же просил его сесть на диван. У каждой из неопределенных личностей пожал по руке с прибавлением: «Очень рад вас видеть, господа!» Что касается до гостей, то Ферапонт Григорьич сохранял какую-то насмешливую мину и был очень важен; музыкант немного дик: поздоровавшись с хозяином, он тотчас же уселся в угол; две неопределенные личности, одна в теплом пальто, а другая во фраке бутылочного цвета, были таинственны; сибарит весел и только немного женировался тем, что хозяйский сюртук был не совсем впору и сильно тянул его руки назад. Ванька в сопровождении Татьяны Ивановны внес чай со стаканами, между которыми уже красовалась бутылка с ромом.

— Прямо пригласите пуншем, — шепнула Хозарову Татьяна Ивановна, зная лучше его наклонности своих жильцов.

Хозаров сделал гримасу.

— Господа, прошу начинать с пунша, — сказал он. — Я человек холостой; у меня чай дурной, но ром должен быть порядочный. Ферапонт Григорьич, сделайте одолжение.

— Нет-с, благодарю; я не пью пуншу, — отвечал Ферапонт Григорьич. — «Нет, брат, не надуешь, — думал он сам про себя, — ты, пожалуй, напоишь, да и обделаешь. Этакий здесь народец, — продолжал рассуждать сам с собою помещик, осматривая гостей, — какие у всех рожи-то нечеловеческие: образина на образине! Хозяин лучше всех с лица: хват малый; только, должно быть, страшная плутина!» Другие гости не отказались, подобно

Ферапонт Григорьичу; они все сделали себе по пуншу и принялись пить.

Хозаров, как человек порядочного тона, начал чувствовать скуку в подобном обществе; с досады на себя, что ни с того ни с сего затеял подобный глупый зов, он и сам решился пить и спросил себе пуншу. Через несколько минут стаканы были пусты, по окончании которых почти у всех явилось желание покурить. Довольно полный комплект хозяйских чубуков мгновенно был разобран, и комната в несколько минут наполнилась непроницаемым дымом. Между тем распорядительная Татьяна Ивановна поднесла гостям новый пунш, который тоже был принят всеми, и даже Ферапонт Григорьич соблазнился и решился выпить с *ромашкой*. Сам хозяин тоже не отставал от гостей. Разговор оживился.

Черноволосая личность подошла к Хозарову и просила составить для него и для беловолосого приятеля партию в преферанс. Хозаров, с своей стороны, был готов, но только не отыскалось третьего партнера. Сибарит начал ходить по комнате и мурлыкать какую-то песню. Ферапонт Григорьич тоже оживился и, подзвав к себе своего Ваньку, велел подать себе еще пуншу. Но неусыпная девица Замшева видела и замечала все: она сама, в собственных руках, поднесла старому милашке стакан с крепчайшим пуншем, оделя таковым же и прочую компанию. Все сделались неимоверно живы и веселы; все закурили и заговорили, даже музыкант начал что-то нашептывать на ухо Татьяне Ивановне. Хозаров тоже заметно подгулял.

— Господа! — сказал он, вставая с своего места, — я вам очень обязан за сегодняшнее посещение и надеюсь, что с этого дня могу вас считать своими товарищами.

— Идет! — отвечал Ферапонт Григорьич, уже окончательно переменявший свое мнение о Хозарове.

— Конечно, можете, — отвечали все в один голос.

— Господа! Я, может быть, на днях буду иметь нужду в вашей помощи, потому что думаю увезти девушку, и вас, как товарищей, буду просить помочь мне.

— Bravo!.. — закричал сибарит, оканчивая уже третий стакан.

— Я готов, — заметил разговорившийся музыкант, который, по расположению Татьяны Ивановны, справлялся уже с пятым стаканом.

— Пожалуй, — проговорили вместе две неопределенные личности.

— Ну, знаете, я бы и готов, но ведь, мне быть... — сказал Ферапонт Григорьич.

— Я не смею вас и беспокоить. Вы женатый человек, а все женатые для меня священные особы: они неприкосновенны! Но дело в том, что я в одну прекрасную лунную ночь... — На этом слове Хозаров остановился, потому что в комнату вбежала Татьяна Ивановна.

— Антон Федотыч, — сказала она.

— Бога ради, господа, ни слова о том, что я говорил! Это отец моей невесты.

Едва успел проговорить эти слова хозяин, как в дверях номера, сквозь табачный дым, обрисовалась колоссальная фигура Антона Федотыча.

— Фу! как накурено, — сказал гость, — видно, что кавалерийская компания. Здравия желаем, — проговорил он, подходя к хозяину. — Мое почтение, господа, — продолжал он, раскланиваясь с гостями. — Очень рад, что имел удовольствие застать вас дома и, как вижу, в таком приятном обществе.

— Очень рад, мой драгоценнейший Антон Федотыч, — проговорил хозяин. — Прошу садиться. Не прикажете ли трубки... пуншу?

— Трубки и пуншу, то есть того и другого... можно-с... — произнес Ступицын. — Извините, — прибавил он, немного задев музыканта, который с большим любопытством осматривал нового гостя и вертелся около него.

— Иван! трубки и пуншу сюда! — сказал хозяин. — Позвольте мне вам представить: Ферапонт Григорьич Телятин!.. Антон Федотыч Ступицын!.. — проговорил хозяин, желая познакомить двух помещиков.

— Очень приятно, — сказал Ступицын.

— Весьма рад вашему знакомству, — отвечал Телятин; и оба они поместились на диване.

Антону Федотычу сейчас были предоставлены и трубка и пунш; но он на этот раз был несколько странен, потому что, вместо того чтобы приняться за пунш и войти в разговоры с Ферапонтом Григорьичем, он встал, кивнул как-то таинственно головою хозяину и вышел из комнаты. Хозаров, разумеется, тотчас же последовал за ним.

— Извините меня, — сказал Ступицын, — я имею

к вам маленький секрет: я слышал — на днях вы делали честь моей младшей дочери, и жена моя ничего вам не сказала окончательного. Я, конечно, как только узнал, тотчас все это решил. Теперь она сама пишет к вам и просит вас завтрашний день пожаловать к нам... — С этими словами Ступицын подал Хозарову записку Катерины Архиповны, который, прочитав ее, бросился обнимать будущего тестя.

— Вам бы надобно было действовать не так, — говорил Ступицын, — вам бы прямо тогда же сказать мне; я бы сделал это сейчас; но ведь, знаете, они — женщины, очень мнительны, боятся и сомневаются во всяких пустяках.

— Антон Федотыч! — начал с чувством Хозаров. — Я не могу теперь вам выразить, как я счастлив и как одолжен вами; а могу только просить вас выпить у меня шампанского. Сегодня я этим господам делаю вечерок; хочется их немного потешить: нельзя!.. Люди очень добрые, но бедные... Живут без всякого почти развлечения... наша почти обязанность — людей с состоянием — доставлять удовольствия этим беднякам.

— Я тоже такого характера, — отвечал Ступицын, — и мне очень приятно, что мы сходимся с вами в этом отношении. Бог даст, со временем мы будем затевать этакие, знаете, маленькие пирушки; это, по моему мнению, очень приятно.

— Послушайте, Антон Федотыч, я сегодня так счастлив, так счастлив, что даже ничего не понимаю. Пойдемте!.. Я надеюсь, что вы у меня будете пить.

— Выпьем-с, потому что я в жизнь мою еще не отказывал ни в чем моим знакомым; но только наперед ваше честное слово: Катерина Архиповна велела непременно просить вас завтрашний день откусать у нас. Будете?

— Буду, конечно, буду. Неужели же вы думаете, что я не буду? Меня зовут в рай, а я не пойду... Это было бы сумасшествие с моей стороны.

Будущий тесть и зять еще раз поцеловались и вошли в номер.

— Шампанского!.. — закричал Хозаров.

— Наперед бы водки, — заметил Ступицын, принимаясь за свой стакан пуншу.

— Ах, да... Татьяна Ивановна!.. Почтеннейшая!.. Пожалуйте нам водки!

Водка и закуска, конечно, были давно уже приготовлены, и приготовлены самым порядочным образом: кроме того, что закуска состояла из колбасы, сельдей, сыру, миног, к ней поданы были еще роскошное блюдо сосисок под капустою и полдюжины жареных голубей. Антон Федотыч первый принялся за водку; пожелав всем гостям всякого счастья в мире, он залпом выпил две рюмки водки, затем рюмку вина, еще рюмку вина и потом, освежившись рюмкою водки, принялся за роскошное блюдо с сосисками. Прочие гости тоже не положили охулки на руку. Два графина водки, четыре бутылки вина, колбаса, сельди и все прочее мгновенно было уничтожено. Очередь, наконец, дошла и до шампанского. Хозаров распорядился первоначально только на три бутылки вдовы Кликко, но, разгулявшись, велел принести еще полдюжины. Антон Федотыч разговорился донельзя и, познакомившись на короткую ногу со всеми и рассказав каждому что-нибудь интересное про себя, объявил, что у него на днях будет особенный случай и что он тогда поставит себе в непремьную обязанность просить всех господ пожаловать к нему откушать, надеясь угостить их удивительною бело-рыбницею, купленною чрез одного давнишнего его комиссионера в самом устье Волги. Окончание вечера было очень весело: все пели хором; музыкант единогласно был избран в регенты. Сибарит и Татьяна Ивановна тянули дисканта; две неопределенные личности пели тенором; хозяин изображал альта; Антон Федотыч и Ферапонт Григорыч, равным образом как и сам регент, держали баса. Пели первоначально: *В старину живали деды*, потом *Лучинушку* и, наконец: *Мы живем среди полей и лесов дремучих*; все это не совсем удавалось хору, который, однако, весьма хорошо поладил на старинной, но прекрасной песне: *В темном лесе, в темном лесе* и проч. Антон Федотыч начал отпускать удивительные штуки: не ограничиваясь тем, что пил со всеми очередную, он схватил целую бутылку шампанского и взялся ее выпить, не переводя духа, залпом — и действительно всю почти вытянул мгновенно; но на самом уже конце поперхнулся, фыркнул на всю честную компанию, пошатнулся и почти без памяти упал на диван. К Татьяне Ивановне все были необыкновенно вежливы: даже черноволосая личность начала с нею заигрывать; но ревнивый музыкант остановил его и чуть было не сочинил истории. Гости разошлись часу

в пятом. Антон Федотыч прежде всех уснул на диване. Все вообще были очень довольны: даже Ферапонт Григорыч ушел в самом миротворном расположении духа и, при прощании, целовался со всеми.

VII

Как ни подгулял Антон Федотыч, но, озабоченный поручением Катерины Архиповны, проснулся гораздо ранее своего хозяина и начал ломать свою голову, какую бы выдумать перед женой благовидную причину, вследствие которой он не ночевал дома. Но, увы! голова Антона Федотыча имела то несчастное свойство человеческих голов, что после всякой приятельской пирушки не только не в состоянии была ничего порядочного изобрести, но даже с толком отвечать на вопросы. Долго Антон Федотыч делал усилие, чтобы заставить вместилище разума мыслить, но оно не повиновалось и только болело во всевозможных углах.

«Что будет, то будет», — подумал Ступицын и, приведя, сколько возможно, свою наружность в приличный вид, отправился держать ответ перед супругой.

Катерина Архиповна была в сильном беспокойстве и страшном ожесточении против мужа, который, вместо того чтобы по ее приказанию отдать Хозарову письмо и разведать аккуратнее, как тот живет, есть ли у него состояние, какой у него чин, — не только ничего этого не сделал, но даже и сам куда-то пропал. Ощущаемое ею беспокойство тем было сильнее, что и Мари, знавшая, куда и зачем послан папенька, ожидала его возвращения с большим нетерпением и даже всю ночь, беденькая, не спала и заснула только к утру.

Часу в девятом Антон Федотыч, наконец, явился и, предчувствуя неминуемую грозу, хотел приласкаться к Катерине Архиповне и подошел было к ее руке, но рука была отдернута.

— Это что такое значит? Откуда вы изволили пожаловать?.. Боже мой! Что это у вас за лицо? Посмотрите, пожалуйста, в зеркало, какова ваша физиономия.

— Что физиономия?.. — спросил Ступицын.

— Да то физиономия; совершенно, как у мужика после праздника. Пили, что ли, вы всю ночь?

— Ничего физиономия.

— Вот прекрасно — ничего... весь опух... и ничего!

— Я угорел, — отвечал невпопад Ступицын.

— Он угорел; скажите, ради бога, он угорел!.. Где же это вы изволили угореть? Где вы ночевали-то? Отчего вы домой не пришли?

— Угорел...

— Да что вы такое говорите! Мне кажется, вы ничего не понимаете; я вас спрашиваю, где вы ночевали?

— У Хозарова.

— Да разве я вас ночевать туда посылала?.. Что я вам говорила? Что поручила? Помните ли вы это?.. Отдали ли по крайней мере письмо, которое я с вами посылала?

— Письмо?.. Письмо отдал.

— А узнали ли, что я вам говорила?

— Известно, что узнал.

— Ну, рассказывайте!

Как ни ломал Антон Федотыч свою странную голову для того, чтобы изобрести какой-нибудь приличный ответ, но ничего не мог придумать.

— Что рассказывать-то?.. — произнес он.

— Господи боже мой! — воскликнула, всплеснув руками, Катерина Архиповна. — Это превосходит всякое терпение: человек вы или нет, милостивый государь? Похожи ли вы хоть на животное-то? И те о щенках своих попечение имеют, а в вас и этих-то чувств нет... Подите вы от меня куда-нибудь; не терзайте по крайней мере вашей физиономией. Великое дело поручила отцу семейства: подробнее рассмотреть, как живет, где, и что, и как? Так и этого-то не сумел и не хотел сделать.

— Я вам говорю, что я рассмотрел... — возразил Антон Федотыч.

— Что же вы рассмотрели?

— Все рассмотрел, все отлично.

— Велика квартира?

— Велика.

— Сколько комнат?

— Одна.

— Как? Велика — и одна? Да что вы такое говорите? С ума, что ли, вы сошли? Или еще не проспались?

— Ну, ладно-с! — возразил Антон Федотыч, встал и пошел.

— Пойдите!.. Куда же вы идете?.. Скажите по крайней мере, будет ли Сергей Петрович сегодня?

— Будет, непременно придет, — отвечал Антон Федотыч и вышел.

Странная голова его мало того, что ничего не понимала, но начала еще кружиться, так что Ступицын почувствовал необходимую потребность выйти на свежий воздух.

— Этаким отвратительный человек, — говорила Катерина Архиповна, — вероятно, тот обрадовался и послал за шампанским, а этот безобразный урод и напился.

Часов в десять Мари проснулась, и первый ее вопрос, который она сделала матери, был: возвратился ли папенька, и придет ли сегодня Сергей Петрович?

— Придет, друг мой, непременно придет, — отвечала старуха.

Мари тотчас встала, спросила себе чаю с белым хлебом и потом начала одеваться. Она потребовала себе свое любимое шелковое платье и вообще туалетом своим очень много занималась; Пашет и Анет, интересовавшиеся знать, что такое происходит между папенькой, маменькой и Мари, подслушивали то у тех, то у других дверей и, наконец, начали догадываться, что вряд ли дело идет не о сватовстве Хозарова к Мари, и обе почувствовали страшную зависть, особенно Анет, которая все время оставалась в приятном заблуждении, что Хозаров интересуется собственно ею. Катерина Архиповна ушла к себе в комнату, затворилась и начала молиться. Антон Федотыч, чем более странная голова его приходила в нормальное состояние, тем яснее начал сознавать, в какой мере он дурно исполнил возложенное на него поручение, и что ему непременно последует от супруги брань, и брань такого сорта, какой он никогда еще не получал, потому что дело шло об идолу, а в этом случае Катерина Архиповна не любила шутить.

Пораздумавшись, он решился на целый день дать куда-нибудь тягу и явиться домой в то время, как у Катерины Архиповны поуходится сердце.

В одиннадцать часов все дамы, в ожидании торжественного представления жениха, были одеты наряднее обыкновенного и сидели по своим обычным местам. Все они, конечно, испытывали весьма различные ощущения. Старуха в своей комнате была грустна, Мари сидела

с нсю; она была весела, но взволнованна; в сердцах Пашет и Анет, сидевших в зале, бушевали зависть и досада.

Жених подъехал в щегольской парной карете, из которой проворно выскочил и, взбежав на крыльцо, сбросил свою шубу сопровождавшему его лакею и вошел. Пашет и Анет сухо ему поклонились; он прошел к Катерине Архиповне. При появлении его Мари вся вспыхнула; старуха силилась улыбнуться. Герой мой был тоже несколько взволнован и даже сел на предлагаемый ему стул не с обычною ему ловкостью и свободою. Катерина Архиповна посмотрела на дочь; та поняла и вышла. Несколько минут мать и жених сидели молча. Хозаров, очень хорошо уже поняв, что в семействе решено дать ему слово, решился не начинать первый; а старухе, кажется, было тяжело начать говорить о том, чего она не желала бы даже и во сне видеть.

— Вы сердитесь на меня, Сергей Петрович? — проговорила она.

— Напротив, я считаю за счастье, — отвечал Хозаров.

— Вы так меня тогда удивили, что я даже вдруг хорошенько сообразиться не могла и, как мать, даже испугалась.

— Я очень понимаю, Катерина Архиповна, ваши чувства — и даже сам бы на вашем месте поступил точно таким же образом. В настоящем случае позвольте мне, Катерина Архиповна, попросить у вас извинения в моей дерзости. Что делать. Любовь заставляет нас иногда забывать общественные условия.

— Скажите мне одно, Сергей Петрович, вы любите Мари? — спросила Ступицына.

— Катерина Архиповна! — отвечал Хозаров, прижав руку к сердцу. — Есть чувства, которых человек не в состоянии выразить словами. Мне не выразить моих чувств словами, я могу только сознавать их в сердце.

— Да постоянно ли вы будете любить ее, не переменитесь ли?

— Перемена во мне может произойти тогда только, когда из этой груди вынут мое сердце и вместо него поставят чье-нибудь другое.

— Это все женихи, Сергей Петрович, говорят так, а как женятся, так и выходит другое.

— Зачем же смешивать себя с толпою? Почему же не быть исключением? Я, Катерина Архиповна, не мальчик; я много жил и много размышлял. Я видел уже свет и людей и убедился, что человек может быть счастлив только в семейной жизни... Да и неужели же вы думаете, что кто бы это ни был, женясь на Марье Антоновне, может разлюбить это дивное существо: для этого надо быть не человеком, а каким-то зверем бесчувственным.

— Нет, Сергей Петрович, это и не звери, а люди делают; мало ли мы видим примеров: мужья разлюбляют прекрасных жен и меняют их бог знает на кого.

— Клянусь моей любовью к Марье Антоновне, которая, конечно, для меня дороже всего, клянусь этою любовью, что я всю жизнь буду любить их! — произнес Хозаров.

Разговор на несколько времени прекратился.

— Вот еще что я хотела сказать, Сергей Петрович, — начала старуха, — мы небогаты: у Мари всего бабушкина усадьба с какими-нибудь...

— Бога ради, Катерина Архиповна, не говорите мне об этих вещах, которых я и знать не хочу, — перебил Хозаров, очень, впрочем, довольный, что услышал о бабушкином состоянии, — я женюсь только на вашей дочери и желаю только владеть ими, а больше мне ничего не надобно.

— Очень верю, Сергей Петрович, вашему благородству, и поверьте, что я награжу Машеньку и награжу больше, чем даже следует по нашему состоянию, но достаточно ли это будет для семейной жизни?.. Имеете ли вы сами состояние?

— Я имею и свое состояние... вы видите, я живу — и живу в столице, — отвечал Хозаров, — но этого мало: имею же я некоторые способности, которые могу употребить на службу?.. И, наконец, у меня, Катерина Архиповна, две здоровые руки, которые готовы носить камни для того только, чтобы сделать Марью Антоновну счастливою.

— Не обманывайте меня, Сергей Петрович, вся моя жизнь, все мое счастье только в ней. Я не знаю, что со мною будет, если увижу, что я ошиблась; она еще молода, она сама не понимает, какой делает теперь важный шаг, но я мать; я должна ее руководить.

В продолжение этой речи у старухи навернулись на глазах слезы. Хозаров тоже был, кажется, растроган и прижал к глазам платок.

— Я ничего не могу говорить и только благоговею перед вашими материнскими чувствами, — отвечал он.

— Поклянитесь мне еще, что вы сделаете ее счастливою, — сказала Катерина Архиповна, взяв героя моего за руку.

— Еще раз клянусь моею любовью сделать вашу дочь счастливою! — произнес Хозаров.

— Берите ее — она ваша, — сказала старуха и, зарыдав, упала на диван.

Хозаров между тем взял руку будущей маменьки и несколько раз поцеловал ее с чувством. Далее затем призвана была Мари. Катерина Архиповна, не переставая плакать, объявила дочери о предложении Хозарова. Мари сконфузилась и бросилась обнимать мать, а потом подала жениху руку, которую тот, как водится, страстно поцеловал. В следующей затем беседе Сергей Петрович был нежен с невестою, в то же время старался как можно более изъяслять почтения и глубокого уважения к Катерине Архиповне и начал ее уже именовать *belle-mère*¹. Он не позабыл также и своих будущих *belles-sœurs*² и с ними, по-родственному, очень мило шутил, обещаясь на будущее время подмечать, кто им нравится, и нынешнею же зимою выдать их замуж. На это обе девицы объявили, что они еще не хотят замуж; но Хозаров, по правам близкого родственника, обещал, как делалось это в старину, выдать их насильно и уморительно описал эту сцену, как повезет он их с связанными руками в церковь венчать. Обе девицы, несмотря на чувствуемую зависть, расхохотались и утвердительно сказали, что не дадут себя связывать; одним словом, в это утро герой мой успел до невероятности всем понравиться. Невеста, как мы и прежде еще знали, его обожала; Пашет и Анет остались весьма довольными его любезностью и вниманием; даже сама Катерина Архиповна начала его понимать в другом смысле; из предыдущей сцены она убедилась, что будущий зять очень любит Мари, потому что он не только сам не спросил о приданом, но и ей не дал договорить

¹ теща, (*франц.*). Здесь — мамаша.

² своячениц (*франц.*).

об этом предмете. Заиская таким образом во всех членах семейства, Сергей Петрович начал просить позволения — съездить на несколько времени домой и распорядиться по некоторым экстренным домашним делам, обещаясь в шесть часов вечера явиться на приятнейшее для него дежурство у ног невесты.

Откровенно говоря, Хозаров не имел никаких экстренных дел; но ему хотелось побывать у Варвары Александровны, рассказать ей, что с ним случилось, и порисоваться перед нею своими пылкими чувствами.

Мамилова очень обрадовалась приезду друга.

— Где вы и что с вами? — спросила она гостя, подавая ему руку.

— Судьба моя решена — я женюсь, — отвечал тот.

— Право? Каким же образом это случилось?

— И сам не знаю; вчера получил пригласительную записку, а сегодня дано и слово.

— Слава богу, опомнились; это было бы с их стороны просто сумасшествие — отказать вам. Ну, что же вы, счастливы теперь?

— Я не понимаю еще хорошенько, что со мною; у меня как-то замерло сердце, и я ничего ясно не могу ни чувствовать, ни понимать.

— Вот вы мужчина, а говорите, что у вас замерло сердце; что же должна чувствовать женщина в эти страшные для нее минуты! Что ваша невеста — весела?

— Да, она очень весела; она еще очень молода и потому беспечна.

— Нет, это не потому что молода, но она любит вас... Ах, как это первое время тяжело для тех женщин, которые идут не по любви! После как-то свыкнешься с этою мыслью, но вначале — это ужасно.

— Что вы, Варвара Александровна, чувствовали в это время?

— Что я чувствовала?.. — отвечала со вздохом и несколько смутившись хозяйка. — Я ничего не чувствовала; я была тогда глупа, слепа, нема; я выходила, или, лучше сказать, это выходила замуж не я, а кто-то другая; я не понимала, что я для жениха моего так, игрушка, временная забава, и уже после, гораздо позже, когда воротить было невозможно, я поняла, что такое мужчина, и особенно мужчина в сорок лет. Но, впрочем, не спрашивайте меня: зачем вам знать историю моего сердца, она скучна

и неинтересна; я могу только сказать, что я не живу, а прозябаю.

— Знаете ли, что я думаю? Вам, с вашей поэтической душой, не следовало бы выходить замуж.

— Это почему вы так думаете?

— Потому, что вы так умны; ваше сердце столько возвышенно, что вам из мужчин нет равного: они все ниже вас.

— Ах, как вы ошибаетесь, Сергей Петрович! Как мало нужно для моего великого ума и для моего возвышенного сердца — одна любовь и больше ничего... Любовь, если хотите, среди бедности, но живая, страстная любовь; чтобы человек понимал меня, чувствовал каждое биение моего сердца, чтобы он, из симпатии, скучал, когда мне скучно, чтобы он был весел моим весельем. Вот что бы надобно было, и я сочла бы себя счастливейшей в мире женщиной.

— Неужели же Лев Павлович не отвечает на ваши прекрасные требования? Неужели он вашим благородным стремлениям не сочувствовал?

— Лев Павлович?.. Лев Павлович, как и все мужчины: он с самых первых пор или скучал, или даже смеялся над моими стремлениями. Он окружал меня богатством, удовлетворял мои прихоти, впрочем, всегда с оговорками, и потому полагал, что уже все сделал, что я даже не должна сметь ничего желать более. Но, бога ради, не спрашивайте меня: видите во мне вашего друга... старуху, которая вам желает счастья... и больше ничего! Расскажите мне лучше что-нибудь про себя: когда вы думаете назначить свадьбу?

— Я, с своей стороны, буду настаивать как можно скорее: знаете, любовь нетерпелива...

— Да, кончайте эту скучную процедуру скорее, будут толки, сплетни, и зачем вам допускать подобные пошлости в вашем браке, который не должен походить на другие свадьбы? Где вы думаете после жить?

— Без сомнения, в Москве, — отвечал Хозаров. — Неужели же ехать в эту ужасную провинцию?

— Не забывайте ваших старых друзей, а в том числе и меня, — сказала Мамилова.

Хозаров встал и поцеловал у ней руку.

— То, что вы сделали для меня, — сказал он с чувством, — так заключено глубоко в моем сердце, так срос-

лось с этим сердцем, что одна только смерть может уничтожить чувство благодарности... одно это одолжение деньгами...

— Не говорите, пожалуйста, об этих пустяках, — перебила хозяйка. — Знаете ли что? Я не люблю денег и считаю их решительно за какие-то пустяки: по-моему, кажется, отдать кому деньги или самому у кого-нибудь взять — это такая обыкновенная вещь, о которой не стоит и думать.

— Я в этом не согласен с вами. Деньги — рычаг всего. При деньгах можно все сделать.

Мамилова сомнительно покачала головой.

— Не спорьте, Варвара Александровна, в этом, а лучше скажите мне: чего нельзя сделать для своего удовольствия на деньги?

— А, например, найти, милостивый государь, друга, — перебила резко хозяйка. — Найдите с вашими всемогущими деньгами друга!

— Да, это другое дело; но, впрочем, есть пословица, что с деньгами и друзей много.

— Не друзей, Сергей Петрович, а льстецов, вы хотите, верно, сказать. Но друга, истинного друга не купите вы на деньги.

— Зачем же так углубляться в жизнь. Мы можем и льстецов считать за друзей; есть прекрасные на этот предмет стихи: «у дружбы есть двойчатка лесь: они с лица отчасти схожи».

— Ну, бог с ними — и с деньгами и с лестью, — все это не моего романа. Скажите лучше мне, как вы думаете вести себя с вашей будущей женой?

— То есть как? — спросил Хозаров. — Как обыкновенно, я полагаю, обращаются люди образованные, когда они любят.

— Бога ради, не обращайтесь так, как обращаются образованные и умные мужья. Это значит, с первого же раза, начать переделывать молоденькое и покорное существо на свой лад. Оно, конечно, будет повиноваться и подделываться под ваши понятия; но в то же время оно будет убивать самое себя. Ведите себя просто, как бог вас создал, занимайтесь с этим молоденьким созданием пустяками, которые ее занимают, болтайте с ней, играйте. Что вы смотрите на меня с удивлением? Если вы любите ее, то вам самим будет весело; а если нет, то и говорить

нечего. Поверьте мне, что если вы хотите быть счастливым в вашем браке, то и не должны себя вести иначе.

— Я люблю мою невесту, — и из этого слова можете ясно заключить, как я буду вести себя.

Долго еще продолжалась беседа между женихом и Варварой Александровной. Брачные отношения были разобраны ими в самых мельчайших подробностях: много, конечно, Варвара Александровна, обладающая таким умом, высказала глубоких и серьезных истин; много и герой мой, тоже обладавший даром слова, сделал прекрасных замечаний; но я не решаюсь передать во всей подробности разговор их, потому что боюсь утомить читателя, и скажу только, что Хозаров отобедал у Мамиловой и уехал от нее часу в шестом. Домой заехал он на минуту для того только, чтобы, пользуясь свободой жениха, переменить свой фрак на сюртук. Здесь, конечно, явилась к нему другой его друг — Татьяна Ивановна, и, конечно, Сергей Петрович поставил себе в обязанность и ей объявить весьма подробно о всем том, что касалось до женитьбы.

— Вот ваше дело обделалось, слава богу, хорошо, — сказала Татьяна Ивановна грустным голосом, — а я все-таки осталась обижена; меня, может быть, не будут и в дом к себе пускать.

— Вот пустяки, — кто из них смеет это подумать, я всех их заставлю вас уважать!

— Нет, Сергей Петрович, это невозможно, — возразила Татьяна Ивановна.

— А вот посмотрите, — отвечал Хозаров.

В шесть часов он отправился на приятнейшее для него дежурство, где невеста и Катерина Архиповна ожидали его с величайшим нетерпением. Впрочем, герой мой, как следует влюбленному жениху, заехал первоначально к Люке и взял там фунтов десять различных сортов конфет. Приехав, он был непомерно мил; зная из прежних разговоров, что Катерина Архиповна очень любит грецкие орехи в сахаре, будущий зять не преминул в кондитерской отобрать для тещи штук тридцать конфет именно этого сорта; невесте были привезены целые пять фунтов и сверх того в прекрасном картоне; для Пашет и Анет у Хозарова тоже были приготовлены конфеты, но он их не показал, а объявил, что привез им женихов, которых и держит покуда в кармане. Пашет и Анет сначала

помирали со смеху, а потом приступили к нему, чтобы он показал и не держал бы несчастных женихов в кармане.

Хозаров долго мучил любопытных двух девиц и, наконец, вынул и представил им женихов. Оказалось, что они были из красного леденца. Один из них, для Пашет, был, кажется, французский кирасир в шишаке и с руками, сложенными на груди крестообразно; для Анет же — в круглой шляпе и державший руки на подобие ферта. Кроме сего, к обоим женихам было приложено по целому фунту конфет.

Посмеявшись и пошутив таким образом с своими *belles-soeurs*, Хозаров начал заниматься с невестою и вступил во все права жениха. Первоначально он увел ее в залу и, взяв за талию, начал с нею ходить взад и вперед по комнате. Разговор между ними был следующий:

— Итак, Мари, наши желания увенчиваются успехом, — сказал Сергей Петрович, — теперь я могу вас спросить, давно ли вы меня любите?

— Давно... постойте... это именно с того вечера, как, помните, в Ко... на вечере я танцевала с вами польку.

— Вообразите, Мари, что значит симпатия! В этот же вечер решилаась и моя участь: увидя вас, я как будто переродился; во мне вдруг явилось желание жениться, чего мне прежде и не снилось... Вся моя прошлая жизнь показалась мне так пошла, так глупа, что я возненавидел самого себя.

— Что это значит симпатия? — спросила Мари.

— О! Это слово имеет большое в жизни значение, — сказал Хозаров. — Симпатия значит родство душ; так что, если расторгнуть эти две души, между которыми существует симпатия, то жизнь их будет неполна; в каждой из них как будто бы будет чего-то недоставать. Возьмите этот билетик, — продолжал он, развертывая конфетный билетик: — тут написано: «Я знаю, ты мне послан богом, до гроба ты хранитель мой». Тут есть полная мысль, но разорвите его пополам: на одной половине осталось: «Я знаю, ты мне послан богом», а на другой — «до гроба ты хранитель мой». Хоть в каждой есть смысл, но неполный, — таков смысл и двух разрозненных душ, связанных симпатическим родством. — Здесь герой мой остановился, заметя, что уж чересчур забрался в отвлеченности, которые Мари совсем не понимала, да и сам он не очень ясно уразумевал то, о чем говорил.

— Кто живет на луне? — спросила вдруг Мари. — Неужели и там есть люди? Им, я думаю, холодно.

— Ну, Мари, этот вопрос могут решить только ученые.

— Неужели же они знают, что там делается!.. Это очень далеко.

— У них для этого есть трубы, в которые они наблюдают.

— Кис, кис, кис!.. — вскрикнула Мари и, оставив жениха, бросилась к двери, в которой показался огромный рыжий кот. — Сергей Петрович, посмотрите, какие у него маленькие глазки — и какие он славные песни поет, — прибавила она, взяв кота на руки и поднося его к Хозарову, который сначала погладил кота, а потом взял его за усы и потихоньку потянул. Кот оскорбился и царапнул дерзкую руку. Хозаров отдернул. Маша покатила со смеху. Возня с котом продолжалась около четверти часа: Мари гладила его, заставляла танцевать, поднимая задние лапки, и, наконец, повязала ему голову носовым платком, отчего у кота действительно сделалась преуморительная физиономия, так что даже Сергей Петрович расхохотался.

После истории с котом речь зашла о новой польке-мазурке, которую Сергей Петрович уже щегольски танцевал, но невеста еще не знала. Хозаров начал ее учить, и оказалось, что Мари весьма способна и понятлива для танцевального дела: с двух-трех раз она выделявала па правильно и отчетливо. От танцев щеки ее разгорелись; шелковая мантилья спала и открыла полную, белую шею и грудь; черные глазки разгорелись еще живее, роскошные волосы, распустившиеся кудрями, падали на плечи и на лоб. Герой мой затрепетал, созерцая свою невесту, и потому, на правах жениха, посадил ее с собою на диван, обнял и начал целовать ее ручки, щеки, глазки, шейку и грудь. Мари слабо сопротивлялась. В это время через залу прошла Катерина Архиповна. Жених и невеста сконфузились.

Катерина Архиповна ничего им не сказала, но, пройдя в другую комнату, крикнула Анет и велела той идти сидеть в зале, и если куда нужно будет выйти, то послать туда сестру. Когда Анет пришла в залу, жених и невеста сидели все еще рядом, и Хозаров держал Мари за руку. Зависть, усыпленная на время любезностью Хозарова,

снова закралась в сердце девушки: с серьезным лицом уселась она на дальний стул и уставила свои глаза на оконный переплет, чтобы только не видеть счастья другой — счастья, о котором она когда-то сама мечтала.

— Ma belle-soeur! — сказал Хозаров, — что поделывает ваш сладкий жених?

— Не знаю, — отвечала сухо девушка, — я его куда-то засунула.

— А Павлы Антоновны?

— Она своему голову скусила, — отвечала с улыбкою Анет.

Сергей Петрович и Мари померли со смеху.

— O mon dieu, mon dieu ¹, — воскликнул Хозаров, — какая же жалкая участь ваших женихов! Вы своего потеряли, а Павла Антоновна даже скусила своему голову! Не поступайте вы, Мари, со мною так жестоко, — прибавил он, обращаясь к невесте, которая, с своей стороны, ничего не отвечала и только крепко пожала жениху руку.

Пашет в самом деле жестоко распорядилась с подарком Хозарова: наследуя от папеньки прекрасный аппетит ко всему съедобному, она первоначально съела все доставшиеся на ее долю конфеты, а потом принялась и за жениха; сначала откусила ему ноги, а потом, не утерпев, покончила и всего, и последний остаток — женихову голову в шишаке, вероятно, с целью продлить наслаждение, очень долго сосала. Анет не засунула своего жениха; она его, вместе со всеми подаренными конфетами, прибрала далеко, в самый потайной свой ящик, имея в виду со временем показать их какой-нибудь задушевной приятельнице и вместе с тем рассказать, что эти конфеты подарил ей один человек, который любил ее, но теперь уже не любит, потому что умер. Нам известно, что Анет, как и папенька, любила сказать красное словцо, то есть задушевные свои мечтания выдать за действительность.

Далее в этот вечер ничего уже не случилось более достопримечательного, кроме разве того, что Анет была сменена с своего дежурства пришедшим папенькою и потому тотчас же ушла к себе наверх. Антон Федотыч явился домой с головой, окончательно приведенною в нормальное состояние, и потому сильно трусил предстоящего ему объяснения с супругою. Увидев Хозарова, он

¹ Боже мой, боже мой, (франц.)

очень обрадовался, потому что по опыту уже знал, что Катерина Архиповна в присутствии посторонних не входила в крайности и ограничивалась только тем, что разве скажет ему небольшую колкость. Увидев, что Хозаров сидит рядом с Мари и даже держит ее за руку, — он сообразил, что дело уже покончено, вследствие чего и решился перед будущим зятем немного поважничать.

— Здравствуйте, Антон Федотыч, — сказал жених довольно фамильярно.

— А... наше вам почтение!.. Отчего не накрывают на стол: разве не знают, что я в одиннадцать часов ужинаю? — сказал Антон Федотыч, садясь на стул. — Нет ли, Сергей Петрович, с вами сигарок? Я свои захватил все с собою и потерял портсигар дорогой.

Хозаров подал тестю сигару, которую Антон Федотыч тотчас же и закурил.

— Ты не давай папеньке сигар, — сказала шепотом Мари, — маменька терпеть не может, чтобы он курил, потому что он все сорит.

Ужин Ступицыных на этот раз не походил на обычные их ужины. Катерина Архиповна распорядилась, чтобы к нему были приготовлены котлеты из телятины, и вечно жареная говядина заменена тетеркою. Кроме того, перед ужином была подана водка и потом поставлена на стол бутылка с мадерою. Антон Федотыч, разумеется, воспользовался случаем: он почти залпом выпил две рюмки водки, заставляя то же сделать и Сергея Петровича. За ужином Ступицын очень боялся того, чтобы жена не начала выговаривать, но все-таки сохранил присутствие духа и, вместе с Пашетой, уничтожил большую часть каждого блюда и выпил почти полбутылки вина. Прочие ничего не ели; Хозаров пил мадеру и разговаривал с невестой, которая, вероятно от волнения, тоже пила очень много воды. Катерина Архиповна и Анет были скучны.

VIII

«Chère Claudine!

Опять я давно не писала к тебе и опять по той же причине, что нечего писать. Каждый день мой есть томительное повторение вчерашнего, а вчерашние дни мои ты знаешь очень хорошо. Последнее время меня развле-

кала и занимала свадьба Хозарова, о которой я тебе уже писала. Наконец, они женились. Стыдно сказать, Claudine, но я люблюсь и завидую их счастью. О, как должно быть полно это счастье! Они так любят, так стоят друг друга, они восторжествовали над препятствиями, которые ставили им свет и люди. Вот уже более недели, как они обвенчаны и живут в маленьком, но прелестном домике на Гороховом поле. Я у них провожу почти целые дни. Если хочешь, они немного смешны: представь себе, целые дни целуются; но я, опять повторяю тебе, радуюсь за них; холодные светские умы, может быть, назовут это неприличным; — но — боже мой! — неужели для этого несносного благоразумия мы должны приносить в жертву самые лучшие минуты нашей жизни!.. А сколько на свете людей, для которых даже и не существовало и не будет существовать этого поэтического времени! Я моим птенцам сочувствую. Для самой меня, как я ни желала, как я ни мечтала об этом, не существовало подобных минут. На самых первых порах я сама была, да и заставили меня быть, благоразумною и приличною.

Прощай, мой друг! Твоя *Barbe Мамилова*».

Вскоре за сим письмом в маленьком, но прелестном домике происходила, по крайней мере вначале, самая утешительная, самая отрадная семейная сцена. Это было вечером: Сергей Петрович Хозаров, в бархатном халате, сидел на краю мягкого дивана, на котором полулежала Марья Антоновна, склонив прекрасную головку свою на колени супруга, и дремала. Хозаров тоже полудремал. Одна только Катерина Архиповна бодрствовала и вязала чулок. Страстная мать уже переселилась к молодым и спровадила Антона Федотыча с двумя старшими дочерьми в деревню.

— Мари, а Мари! Вставай, друг мой, — сказал Хозаров, которому, видно, наскучило сидеть в положении подушки.

Мари открыла ненадолго глаза, улыбнулась и опять задремала. Хозаров наклонился и поцеловал жену.

— Перестаньте, Сергей Петрович, тормошить ее... что это, какой вы странный! Не дадите успокоиться, — сказала Катерина Архиповна.

— Но что ж такое, мамаша? Я полагаю, что по вечерам спать очень вредно, — возразил Хозаров.

— Как это вы смешно говорите: вредно! Разве вы знаете, в каком она теперь положении; может быть, ей это даже нужно; может быть, этого сама природа требует.

— Мне самому бы, мамаша, встать хотелось.

— Да, вот это справедливее, что вам самому скучно. Ну, это, Сергей Петрович, не большое доказательство любви.

— Помилуйте, Катерина Архиповна, любовь доказывает не в подобных вещах.

— К чему же вы все это говорите так громко?.. Вероятно, чтобы разбудить ее. Я этого, признаюсь, не ожидала от вас, Сергей Петрович!

— Я не знаю, почему вам, мамаша, угодно таким образом перетолковывать мои слова.

— Я не перетолковываю ваших слов, и очень странно, если бы я, мать, стала перетолковывать что бы то ни было... А я все очень хорошо вижу и все очень хорошо понимаю.

— То есть вам угодно видеть и понимать все в дурную сторону.

Катерина Архиповна хотела было возразить, но остановилась, потому что Мари проснулась и села.

— Что ты, друг мой, видела во сне? — сказал Хозаров, беря жену за руку.

— Ничего... снились только премиленькие черные котятки — и пресмешные: я их кормила все молоком, а они не ели.

— Разве ты думала, друг мой, о котятках?

— Нет, сегодня не думала.

— Ты ужасное еще, Мари, дитя, — сказал Хозаров.

— Сам ты дитя! Почему же я дитя?

— Да так, мой друг, ты дитя; но только милое дитя, даже во сне видишь котят; это очень мило и наивно!

— Сами вы наивный. Куда же ты встал?

— Мне, друг мой, надобно съездить в клуб.

— Вот прекрасно... не извольте ездить; я сию дома, а он поедет в клуб — и я с тобой поеду...

— Друг мой, это не принято.

Катерина Архиповна, слушавшая всю эту сцену с лицом сердитым и неприятным, наконец вмешалась в разговор.

— Я не знаю, Сергей Петрович, как вы поседете в клуб, — жена ваша не так здорова, а вы ее хотите оставить одну... тем более, что она этого не желает.

— Но сами согласитесь, мамаша, что это странно.

— Для вас, может быть, действительно это странно; но что же делать, если она вас любит и желает быть с вами.

— Господи боже мой! Я сам ее люблю; но все-таки могу съездить в клуб.

— Поезжайте!.. Кто же вас удерживает? — сказала, наконец, Мари. — Мне все равно; я и с мамашей буду сидеть.

— Друг мой, нельзя же совершенно отказаться от общества! — возразил Хозаров.

— Поезжай, — сказала Машет и надулась.

— Семьянин, мне кажется, не должен и думать об обществе, — заметила резко Катерина Архиповна. — Кроме того, Сергей Петрович, чтобы ездить по клубам, для этого надобно, мне кажется, иметь деньги, а вы еще не совершенно устроили себя, у вас еще нет и экипажа, который вы даже обещались иметь.

Хозаров ничего не отвечал на этот намек и вышел в залу, по которой начал ходить взад и вперед, задумавшись. Спустя четверть часа к нему вышла Катерина Архиповна.

— Что же вы, Сергей Петрович, оставили вашу жену? Что вы хотите этим показать?

— Помилуйте-с... я дома и, как следует семьянину, не уехал в клуб, — отвечал Хозаров.

— Все равно: вы ушли от нее; вы пойдите посмотрите; она почти в истерике от ваших фарсов. Это бесчеловечно, Сергей Петрович... Зачем же вы женились, когда так любите светскую жизнь?

Хозаров ничего не отвечал теще и пошел в гостиную, где действительно нашел жену в слезах.

— Не плачьте, Мари! что это за ребячество, — сказал он, садясь около нее на диван и обнимая ее.

— А зачем же вы в клуб сбирались? Мне, я думаю, одной скучно, — отвечала Мари.

— Ну, не извольте же плакать от всяких пустяков; я не поехал — и довольно; лучше давай в ладошки играть.

Затем молодые начали играть в весьма занимательную игру, которую Сергей Петрович назвал *в ладошки*; она состояла в том, что оба они первоначально ударяли друг друга правой ладонью в правую и левой в левую; потом правой в левую и левой в правую, и, наконец, снова правой в правую, левой в левую, и так далее.

Такого рода замысловатую игру молодые продолжали около получаса. Марье Антоновне было очень весело. Катерина Архиповна, увидев, что молодые начали заниматься игрою в ладошки, ушла в свою комнату. Хозаров первый покончил играть.

— Ну, довольно! — сказал он.

— Давай, Серж, еще играть.

— Будет, милочка! Мне еще надобно с тобой поговорить о серьезном предмете. Послушай, друг мой! — начал Хозаров с мрачным выражением лица. — Катерина Архиповна очень дурно себя ведет в отношении меня: за всю мою вежливость и почтение, которое я оказываю ей на каждом шагу, она говорит мне беспрестанно колкости; да и к тому же, к чему ей мешаться в наши отношения: мы муж и жена; между нами никто не может быть судьей.

— Она на тебя сердится, Серж. Она говорит, что ты обманщик и все неправду сказал, что у тебя есть состояние.

— И это не ее дело, есть ли у меня состояние, или нет; она должна только отдать тебе твое и наградить тебя, как следует, — и больше ничего! Я даже полагаю, что ей гораздо было бы приличнее жить с своим семейством, чем с нами.

— Она говорит, что ни за что этого не сделает; сама будет управлять имением и жить с нами, а нам давать две тысячи в год.

— Вот тебе на!.. Прекрасно... бесподобно... Сама будет твоим имением управлять и нам будет выдавать по копейкам... Надзирательница какая, скажите, пожалуйста! Ты сделай милость, Мари, поговори ей, что это невозможно: я для свадьбы задолжал, и у меня ни копейки уже нет; мне нужны деньги; не без обеда же быть.

— Я уж ей говорила, Серж, по твоей просьбе; она говорит, что все у нас будет; только деньги тебе в руки

не хочет давать; она говорит, что ты ветрен еще, в один год все промотаешь.

— О, черт возьми! Опять это не ее дело! Состояние твое — и кончено... Что же, мы так целый век и будем на маменькиных помочах ходить? Ну, у нас будут дети, тебе захочется в театр, в собрание, вздумается сделать вечер: каждый раз ходить и кланяться: «Маменька, сделайте милость, одолжите полтинничек!» Фу, черт возьми! Да из-за чего же? — из-за своего состояния! Ты, Мари, еще молода; ты, может быть, этого не понимаешь, а это будет не жизнь, а какая-то адская мука.

— Что делать, Серж! Она очень рассердилась, что ты состоянием-то своим обманул, и на прошедшей неделе целый день плакала.

— Что ж такое, что я, может быть, и прибавил, или, лучше сказать, что, любя тебя, скрыл, что имение мое расстроено. Катерина Архиповна сама меня обманула чрез Антона Федотыча; он у меня при посторонних людях говорил, что у тебя триста душ, тридцать тысяч, а где они?

— Ай нет, Серж! У меня нет трехсот душ; всего только сто.

— Ну, а денег сколько?

— Денег, я не знаю; тебе мамаша подарила сколько-то?

— Да что она мне подарила? Полторы тысячи; это до тридцати тысяч еще очень далеко. Стало быть, мы все неправы.

— Да тебе кто это, Серж, говорил?.. Папаша?

— Антон Федотыч.

— Ну, вот видишь, он все говорит неправду. Меня сколько он раз маленькую обманывал: пойдет в город куда-нибудь: «Погоди, Мари, говорит, я принесу тебе конфет», — и воротится с пустыми руками. Я уж и знаю, но нарочно и пристану: «Дай, папаша, конфет». — «Забыл», говорит, и все каждый раз забывает, такой смешной!

— Все-таки, Мари, мне ужасно нужны деньги. Сделай милость, поди и попроси для себя у Катерины Архиповны хоть рублей семьсот, — проговорил Хозаров.

— А если она спросит, зачем мне деньги?

— Ах, боже мой, зачем!.. Ну, скажи, что хочешь бедным дать.

— Нет, не поверит! Семьсот рублей бедным, — этого много!

— Да, это правда — неловко. Скажи просто, что ты меня очень любишь и что завтрашний день — мое рождение.

— А разве в самом деле завтра твое рождение?

— Кажется, завтра, — ну, так как в рождение обыкновенно дарят, то и ты скажи, что хочешь подарить мне семьсот рублей; только, смотри, непременно настаивай, чтобы деньгами; вещей мне никаких не надо. Неужели она в этих пустяках откажет!

— Не знаю, Серж; семьсот рублей очень много; мамаша беспрестанно мне говорит, чтобы я берегла деньги, а тут скажет, что тебе на какие-нибудь пустяки дать столько денег.

— Ну, так ты вот как, мой ангел, объясни ей: скажи, что завтрашний день мое рождение и что ты непременно хочешь подарить мне семьсот рублей, потому что я тебе признался в одном срочном долге приятелю, и скажи, что я вот третью ночь глаз не смыкаю. А я тебе скажу прямо, что я действительно имею долг, за который меня, может быть, в тюрьму посадят.

— За что же это в тюрьму посадят?

— За то, что я несостоятельный должник.

— Ах, Серж, это страшно!

— Еще бы... Но что же делать? Я тебя так любил, что готов был занять не только семьсот рублей, но даже семь тысяч, чтобы только обладать тобой. Знаешь ли ты, друг мой, что в самую нашу помолвку я был без копейки!.. Кажется, не велика беда! Это может случиться с первым богачом в мире. Я, конечно, занял эту пустячную сумму; потом получил из деревни тысячу рублей. Вот и все деньги. Желал бы я знать, где Катерина Архиповна могла найти более расчетливого зятя, который на какие-нибудь полторы тысячи рублей сыграл бы свадьбу; так нет: подобного самоотвержения не хотят даже и видеть и понимать. Пришла в голову ложная мысль, что я мот, и больше знать ничего не хотят. Чувства жалости даже не имеют и, может быть, за ничтожные семьсот рублей заставят идти в тюрьму.

— Нет, Серж, как это возможно! Я пойду выпрошу у мамашы.

— Сделай милость, Мари, и если ты меня любишь, то попроси Катерину Архиповну — быть справедливее и великодушнее ко мне, и скажи прямо ей: «Если вы, мамаша, отдали ему меня, то неужели пожалеете каких-нибудь семисот рублей, чтобы сохранить его честь».

Проговоря это, Хозаров обнял и страстно расцеловал жену, которая тотчас же отправилась к матери. Во время прихода Мари Катерина Архиповна была занята чем-то очень серьезным. Перед ней стояла отпертая шкатулка, и она пересматривала какие-то бумаги, очень похожие на ломбардные билеты. Услышав скрип двери, она хотела было все спрятать, но не успела.

— Что это, мамаша, такое? — спросила Мари.

— Ничего, мой друг, разные документы.

— А деньги тут есть, мамаша?

— Нет, друг мой, это все бумаги.

— А в бумажнике что?

— Ничего, — тоже бумаги.

— Ах, мамаша! Зачем вы неправду говорите? Дайте мне посмотреть.

— Зачем тебе? Тут, право, ничего нет.

— Дайте мне, мамаша, денег; мне очень нужно семьсот рублей.

— Тебе семьсот рублей! Для кого же это тебе?

— Завтра Сергея Петровича рождение, и я хочу ему подарить семьсот рублей.

— Друг мой! С чего это тебе пришло в голову? Кто же дарит деньгами и особенно мужа? Если завтра действительно день его рождения, так мы поедем и купим ему какую-нибудь вещь по твоему вкусу.

— Нет, мамаша, пожалуйста, я не хочу дарить вещами, да и он не возьмет, у него очень много вещей, а вы дайте мне семьсот рублей.

— Послушай, Мари, это, верно, он научил тебя, — сказала Катерина Архиповна, поняв очень хорошо, с какой стороны ее атакуют. — Я вижу, что ты любишь его, — это прекрасно; но ты пойми, друг мой, что он ветреник и тебя в глаза обманывает. Ну, скажи мне, зачем ему семьсот рублей? Квартира у вас есть, столом я распорядюсь, нарядов я тебе сделала, кроме того еще прибавлю; сам он одет очень прилично. Ну, зачем ему деньги? Больше незачем, как на мотовство. Ты рассуди только

сама: состояние у тебя небольшое; может быть, будут у вас дети, а у него ведь ничего нет. Он нас во всем обманул. Ну, чем и на что вы будете жить? Служба бог знает еще когда будет, а ты, не видя, что называется, с его стороны ничего, станешь дарить ему по семисот на рождение.

— Мамаша, его посадят в тюрьму!

— Кого в тюрьму?

— Сержа.

— За что же в тюрьму?

— Он занял, мамаша, семьсот рублей... все ночи теперь не спит.

— Лжет, мой друг! Бесстыдно лжет; у него, может быть, долгу и не семьсот рублей; но и за то не посадят его в тюрьму, а деньги просто ему нужны на мотовство.

— Да, мамаша, вам хорошо говорить, а если его посадят?

— Не посадят, друг мой; клянусь моей честью, не посадят.

— Нет, мамаша, вы этого сами не знаете и не понимаете. Он говорит: неужели вы пожалеете семисот, когда вы отдали ему меня?..

— Ах, друг мой, — перебила Катерина Архиповна, вздыхая, — не отдавала я тебя, не желала я этого; богу так угодно. Не то бы было, если бы ты вышла за Ивана Борисыча: тот не стал бы тянуть деньги и сам бы еще свои употребил для твоего счастья. Ну, если он в самом деле должен, так пусть скажет: кому?

— Он должен, мамаша, одному приятелю.

— Ну, что же, приятелю? Не долги он, друг мой, хочет выплачивать, а ему самому нужны деньги: в клуб да по кофейням не на что ездить, ну и давай ему денег: может быть, даже и возлюбленную заведет, а жена ему приготовляй денег. Мало того, что обманул решительно во всем, еще хочет и твое состояние проматывать.

В продолжение этого монолога у Мари навернулись на глазах слезы.

— Друг мой Машенька, не огорчайся, не плачь, — проговорила старуха, тоже со слезами на глазах. — Я переделаю его по-своему: я не дам ему сделать тебя несчастной и заставлю его думать о семействе. Я это все предчувствовала и согласилась только потому, что видела, как ты этого желаешь. Слушайся только, друг мой, меня

и, бога ради, не верь ему ни в чем. Если только мы не будем его держать в руках и будем ему давать денег, он тебя забудет и изменит тебе.

— Он, мамаша, в самом деле какой-то странный! Или целует меня, или собирается куда-нибудь уехать.

— Этим ты, друг мой, не огорчайся; мужчины все таковы. Но главное дело: ему не надобно давать денег и надо заставить служить для того, чтобы он имел какое-нибудь занятие, — и я берусь это устроить; только, пожалуйста, не слушайся его и будь благоразумнее. Ну, вот хоть бы теперь: верно ведь, он тебя научил попросить у меня денег?

— Он, мамаша!

— Вот, видишь, — я это знала наперед; ты ему скажи, или лучше ничего не говори; я с ним за тебя поговорю.

— Мамаша! Да отчего же он переменялся ко мне?

— Он не переменялся, друг мой! Мужчины все таковы. В женихах они обыкновенно умирают от любви, а как женятся, так и начнут обманывать. Это, друг мой, ничего; его надобно заставить, чтобы он любил тебя, — и я его заставлю, потому что ни копейки не стану давать ему денег. Поверь ты мне, он опомнится и начнет слушаться и любить.

— А что же, мамаша, я завтрашний день ему подарю?

— Об этом ты не беспокойся. Я сама куплю приличную для него вещь, а сегодня с ним поговорю. Где он теперь, в гостиной, что ли? Ты посиди здесь, а я с ним поговорю.

Мари осталась в кабинете, а Катерина Архиповна отправилась для объяснения с зятем.

— Ваше завтра рождение, Сергей Петрович? — сказала она, входя в гостиную.

— Да, кажется, что завтра, — отвечал Хозаров.

— Вы даете, верно, вечер или что-нибудь такое для ваших знакомых?

— Я ни о каком вечере и не думал.

— Для чего же вам так нужны семьсот рублей?

— Какие семьсот рублей?

— Да такие, которые вы присылали свою жену требовать от меня.

— Мне ваших семисот рублей никогда не было да, конечно, и не будет нужно.

— Перестаньте, Сергей Петрович, притворяться; это еще возможно было в женихах, но не для мужа; теперь уже все ясно, и я пришла вас спросить, зачем вам так нужны семьсот рублей, за которыми вы присылали жену вашу ко мне?

— Жены моей я к вам, Катерина Архиповна, не посылал, а если она сама знает, что мне нужны семьсот рублей, так это, я полагаю, весьма извинительно, — потому что между мужем и женою не должно быть тайны.

— Вы должны какому-то приятелю?

— Да-с, я должен.

— Кому же это?

Хозаров смутился и молчал.

— Если уж я вам должен отвечать на это, — сказал он после нескольких минут размышления, — то извольте: человек, который обязал меня, не желает, чтобы это знали все.

— Я, кажется, платя за вас деньги, могу же спросить кому я должна их отдать?

Хозаров совершенно сконфузился.

— Если вы, мамаша, не верите, то как вам угодно; я, впрочем, кажется, и не просил у вас ваших денег.

— Все равно, вы прислали жену вашу просить у меня денег.

— Если жена моя желала снабдить меня деньгами, то, конечно, не вашими, а своими, которыми она, так как вышла уже из малолетства, имеет, я думаю, право располагать, как ей угодно.

— А... так вот вы к чему все ведете, Сергей Петрович! Теперь я понимаю, — сказала Катерина Архиповна, побледнев от досады, — только этого-то с вашей стороны и недоставало. Теперь я вас узнала и поняла как нельзя лучше, — и поверьте, что себя и дочь предостерегу от ваших козней. Нет, милостивый государь, вы не думайте, что имеете дело с женщинами и потому можете, как вам угодно, обманывать. Я сама живу пятьдесят лет на свете; видала людей и, позвольте вам сказать, имею некоторые связи, которые сумеют вас ограничить.

— Я даже не понимаю, Катерина Архиповна, к чему вы все это говорите.

— Нет, вы очень хорошо понимаете, а также и я понимаю; но вы ошибаетесь, очень ошибаетесь в ваших расчетах, и теперь я от вас настоятельно требую объяс-

нить мне, для какой собственно надобности вы подсылали ко мне вашу жену требовать денег?

— Я опять вам объявляю, что не подсылал к вам жены, но я ей только открылся.

— И вы утверждаете, что не подсылали ее ко мне?

— Я молчу-с и предоставляю вам думать, что угодно.

— Да, Сергей Петрович, конечно, уж лучше молчать, когда говорить нечего; можно обмануть молоденькую женщину, но я старуха.

Последних слов Сергей Петрович уж не слышал; он вышел из гостиной, хлопнув дверьми, прошел в свой кабинет, дверьми которого тоже хлопнул и сверх того еще их запер, и лег на диван.

Марья Антоновна, видевшая из наугольной, что Сергей Петрович прошел к себе, хотела к нему войти, но дверь была заперта; она толкнулась раз, два, — ответа не последовало; она начала звать мужа по имени, — молчание. Несколько минут Мари простояла в раздумье, потом пошла к матери.

— Он, мамаша, заперся, — сказала она.

— Что ж мне, друг мой, делать, не ломать же дверь? Он, может быть, еще и не такие фарсы начнет выделывать; от него надобно всего ожидать.

У Мари навернулись слезы.

— Ты-то за что мучишь себя и огорчаешься, друг мой?

— Как же, татап, если его в тюрьму посадят!

— Ах, друг ты мой, как ты молода! Ну, где слыхано, чтобы за семьсот рублей в тюрьму посадили?

— Мамаша, дайте мне, пожалуйста, денег.

— Нет у меня, Маша, для этого бесстыдного человека денег.

Мари разрыдалась. Старуха не выдержала, пошла в свою комнату и через несколько минут вернулась с пачкою ассигнаций.

— На, Маша, возьми, это твои деньги. Он мне прямо давеча сказал, что я даже не имею права располагать твоим состоянием.

Мари тотчас же перестала плакать, взяла деньги и поцеловала у матери руку, но зато расплакалась Катерина Архиповна.

— Отдавай ему, мой друг, хоть все; он еще и не то будет делать; будет, может быть, тебя учить и из дому меня выгнать.

— Нет, мамаша; он не смеет этого и думать, — возразила Мари.

— Он все смеет думать; он на все может решиться.

— Вы не сердитесь на него, мамаша... он, ей-богу, добрый.

— Видела я, друг мой, и очень хорошо поняла его доброту. У него, я думаю, теперь одна мысль в голове, чтобы как-нибудь разлучить меня с тобою и захватить твоё имение.

Старуха очень расстроилась и, подобно своему зятю, ушла в свою комнату и затворилась.

Мари тотчас же подошла к дверям мужнина кабинета и начала снова стучаться; но ответа, как и прежде, не последовало.

— Серж! Я тебе денег принесла, поди сюда, — проговорила она. — Что ты тут сидишь один в темной комнате?

Послышался шорох, замок щелкнул, и дверь растворилась.

— А, это вы, Мари? Я не узнал вашего голоса, — сказал Хозаров, выходя из кабинета.

— На деньги, я выпросила у мамаша.

— Нет, Мари, после всех этих историй я не могу принять от тебя денег.

— На, Серж, возьми. Куда же мне их? Я не то брошу их на пол.

— Ты можешь их бросить, сжечь, возвратить опять своей маменьке, но только я их не могу принять.

Говоря это, молодые входили в гостиную. Сергей Петрович сел на диван и задумался. Мари стала перед ним и обняла его голову.

— Ну, душка, не сердись... Возьми! Мамаша так только погорячилась, она очень скупа, — и ей вот жаль денег.

— Изволь, Мари, я возьму эти деньги, потому что, хотя они и лежат у Катерины Архиповны, но все-таки твои, и она их неправильно захватила по правам матери.

Сергей Петрович еще несколько времени беседовал с своею супругою и, по преимуществу, старался растолковать ей, что если она его любит, то не должна слушаться матери, потому что маменьки, как они ни любят своих дочерей, только вредят в семейном отношении, — и

вместе с тем решительно объявил, что он с сегодняшнего дня намерен прекратить всякие сношения с Катериной Архиповной и даже не будет с ней говорить. Мари начала было просить его не делать этого, но Хозаров остался тверд в своем решении.

Еще письмо Варвары Александровны:

«Я расскажу тебе, chère Claudine, один смешной и грустный случай: в прошлом письме моем я тебе писала о молодых Хозаровых, и писала, что выдаюсь с ними почти каждый день; но теперь мы не видимся, и знаешь ли почему? Наперед тебе предсказываю, что ты будешь смеяться до истерики: старуха-мать меня приревновала к зятю и от имени дочери своей объявила мне, что та боится моего знакомства. Она — эта молоденькая женщина — боится, что я могу нарушить ее счастье, когда я, сближаясь с ними, только и помышляла о счастье ее. Вот тебе, chère Claudine, люди! Они, видно, всегда и везде одинаковы; а знают ли эти люди, что сердце мое давно уже похоронено в могиле, что в памяти моей живет мертвец, которому я принадлежу всеми моими помыслами; но оставим мое прошедшее. Я его таю; я никому и никогда, кроме тебя, не поднимала еще с него завесы; но пусть они взглянут на мое настоящее: у меня есть муж, которого я уважаю, если не за сердце, то по крайней мере за ум; и вот эти люди поняли меня как пустую ветреную женщину, которая готова повеситься на шею встречному и поперечному... Я искала одной чистой и благородной дружбы, а они сочли, что мне надобна интрига; но бог с ними! Досаднее всего, что из-за меня, как сказывала их горничная моей девушке, вышла между матерью, Мари и мужем целая история: укоры, слезы, истерика и тому подобное. Что мне оставалось сделать в подобном положении? В душе моей я их не обвиняю: они только поняли меня ложно. Долго я думала, долго размышляла и, наконец, решила прервать с ними совершенно знакомство. Молодой человек, которого я и до сих пор еще люблю и уважаю, несколько раз приезжал ко мне, но я не велела его принимать; бог с ними, пусть будут они счастливы. О chère Claudine! Я теперь уже начала окончательно бояться людей.

Barbe Мамилова».

Прошло еще два месяца. Сергей Петрович Хозаров, одетый в щегольскую бекешку, вошел в квартиру девицы Замшевой и прямо прошел в занимаемый хозяйкою номер, которую застал в обыкновенных ее утренних разговорах с кухаркою.

— Здравствуйте, почтеннейшая, — сказал, входя, мой герой.

— Ах, Сергей Петрович, — вскрикнула хозяйка, бросившись убирать некоторые, не весьма благовидные, принадлежности ее туалета. — Ступай и делай так, как я тебе говорила, — прибавила она кухарке.

Стряпуха вышла.

Хозаров, не снимая бекешки, сел.

— Я вами очень недоволен, почтеннейшая; зачем вы каждый день ходите к теще и просите, чтобы она заплатила вам мой долг.

— Сергей Петрович! Нужда, видит бог, нужда! Что мне прикажете делать? Никто не платит; вы не поверите: как уехал Ферапонт Григорьич, ни с кого не получила ни копейки.

— Это вы все не то говорите, Татьяна Ивановна. Кто вам должен? — Я. Следовательно, вы и должны адресоваться ко мне.

— Да, батюшка Сергей Петрович, я знаю, что у вас денег нет. Катерина Архиповна, как жила с вами, прямо мне сказала: «Что ты, говорит, к нему ходишь, у него полушки за душой нет».

— Вы все говорите чушь, — возразил Хозаров. — Разве теща моя может знать, есть у меня деньги или нет?

— Сергей Петрович, не обижайтесь на меня, а выслушайте. Я прежде к вам ходила; у самих вас всегда просила; припомните, что вы мне говорили: «Подождите, говорили, у меня теперь нет, а я у маменьки выпрошу». Ну, поэтому я к ним и адресовалась. Заплатите, отец мой, право нужда; ведь не шуточка восемьсот рублей.

— Конечно, по вашим понятиям, восемьсот рублей ужасная сумма, но что это такое значит для мужчины? Плевок, нуль... и потому честью заверяю вас, что заплачу вам, и заплачу даже с процентами; только, бога ради, не извольте являться ни к жене моей, ни к теще за моим долгом.

— Да где же вы, Сергей Петрович, возьмете? Теперь открытое дело, что у вас ничего нет.

— Скажите, как вы прекрасно считаете в чужом кармане... Полноте, почтеннейшая, вздор молоть, не извольте беспокоиться об этих пустяках.

— Милый мой постоялец, как же мне не беспокоиться? У вас ведь, право, ничего нет. Ну, хоть бы службу какую имели или по крайней мере у меня квартирували, все бы надежда была впереди.

— У вас, Татьяна Ивановна, может быть, нет надежды, а у меня их на миллион.

— Нет, Сергей Петрович, не верю, нынче совсем миллионов на свете нет.

— Есть, Татьяна Ивановна, и даже больше чем миллионы. Припомните только мои обстоятельства перед свадьбою. А?.. В каком я тогда был положении? Уж, кажется, решительно без копейки, а что же вышло потом? В один день хватил три тысячи.

— Это случайность, Сергей Петрович.

— Нет, почтеннейшая, вовсе не случайность. Умная вы женщина, а не совсем жизнь-то понимаете. Вспомните, где я взял денег тогда?

— Да что припомнить? Как теперь помню, что взяли у Варвары Александровны; закладчик-то, у которого ее вещи, каждый день ходит ко мне.

— Я не про то говорю, почтеннейшая, ходит или нет к вам этот болван закладчик; но вы решите мне один вопрос: неужели же я с этой же стороны не могу достать и теперь денег?

— Не можете, Сергей Петрович, никаким образом не можете; тогда было другое дело, тогда вы были человек холостой.

— А если я вам представлю доказательство? Не угодно ли взглянуть! — проговорил Хозаров и подал Татьяне Ивановне маленькую записку, которую девица Замшева, хотя с трудом, но все-таки прочла.

— Ну, уж этого дела я не знаю, это ваше дело, — сказала она.

— Нет, вы скажите: понимаете ли тут главный смысл?

— Как не понять, известное дело: тайное свидание будете иметь. Только какой вы обманчивый человек, Сергей Петрович! Когда женились, так думали: вот станете боготворить жену; вот тебе и боготворить! — году не

прошло еще, а рога приставил; недаром я вас звала ветерником; сердце мое говорило, что вы опасный для женщин человек.

— Согласен, почтеннейшая, что опасный человек, но все-таки скажите, понимаете ли вы результат моих отношений к Барб Мамиловой?

— Нет, Сергей Петрович, наше дело темное, и понимать ничего не хочу.

— Ну, так я вам растолкую. Она любит меня; вы это видите.

— И напрасно любит, — перебила Татьяна Ивановна.

— Ну, уж это ее дело; а вы слушайте, — возразил Хозаров. — Она любит и богата; следовательно, любя меня, будет давать и денег.

— Сомневаюсь, Сергей Петрович, очень сомневаюсь, — сказала Татьяна Ивановна. — Если бы вы были холостой человек, другое дело; а теперь уж женатый. Женщины к женатым очень недоверчивы: это я знаю по себе.

— Нет, почтеннейшая, умный человек и женатый умеет поддержать себя. Умный человек не отступится от своих прав. Он скажет: «Если любишь, так и дай денег, а не то мужу скажу», так не беспокойтесь, расплатится; и расплатится богатейшим манером.

— Ой, Сергей Петрович, страшное, да и не дворянское вы затеваете дело!

— Я этого не затеваю; но говорю только один пример, чтобы успокоить вас. Скажите мне только, успокоились ли вы?

— Нет, Сергей Петрович, все еще сомневаюсь. Хоть бы срок назначили, отец мой! Право, большая нужда.

— Извольте! В записке, кажется, назначено свидание семнадцатого февраля; в тот же самый день, но только вечером, вы можете пожаловать ко мне, и я с вами разочтусь самым благороднейшим образом. Adieu, почтеннейшая! Но только уговор лучше денег, чтобы к теще и к жене за деньгами ни шагу.

— Не пойду, Сергей Петрович, ей-богу, не пойду. Хоть и трудно немного, но что же делать, перебьюсь!

Хозаров ушел.

В прескверное зимнее утро, семнадцатого февраля, на Тверском бульваре сошлись мужчина в бекешке и дама в салопе и шляпке; это были Сергей Петрович Хозаров

и Варвара Александровна Мамилова. Оба они, пройдя несколько шагов, остановились.

— Сама природа против меня, — сказал Хозаров, протирая глаза, залепленные снегом. — Мне очень совестно, что я в такую погоду беспокоил вас.

— Ничего, — отвечала Мамилова, — делая доброе дело, не надобно раскаиваться. Взойдемте в кондитерскую, — прибавила она и вместе с своим спутником вошла в известную, конечно, каждому читателю беседку на середине бульвара. Уселись они в отдаленной комнате. Мамилова тотчас же спросила себе огня, закурила папиросу и предложила такую же своему спутнику. В последнее время Варвара Александровна сделала еще шаг в прогрессе эмансипации: она стала курить. На первых порах этот подвиг был весьма труден для молодой дамы; у ней обыкновенно с половины выкуренной папиросы начинала кружиться голова до обморока: но чего не делает женщина, стремящаяся стать в уровень с веком! Мамилова приучила свои нервы и в настоящее время могла уже выкуривать по три папиросы вдруг.

— Итак, Сергей Петрович, — начала она, закулив папиросу, — вы писали мне, что у вас на сердце много горя и что это горе вы хотели бы разделить со мною. Я благодарю вас за вашу доверенность и приготовилась слушать. Мое правило — пусть с горем идут ко мне все люди; я готова с ними плакать, готова их утешать; но в радости человека мне не надо, да и я ему не буду нужна, потому что не найду ничего с ним говорить.

— Неужели же вы не пожелаете разделить даже счастье друзей ваших?

— Да, счастье друзей, это другое дело; но и то — нет; разве я не радовалась вашей радости, не хотела жить вашим счастьем? Но как это поняли? Ваша теща мне в глаза сказала, что посещения мои неприятны ее дочери и неприличны для меня. Я оставила ваш дом, я не хотела влить капли горя и неприятности в чашу ваших радостей и с этой минуты поклялась бегать счастливых людей. Я, конечно бы, даже никогда не увиделась с вами, но вы писали мне, что вы несчастливы, — и этого довольно, чтобы я пренебрегла всем и решилась с вами видеться, — и даже несколько романически: на бульваре и в беседке. Ну-с! Рассказывайте мне ваше горе, я слушаю.

— Горе мое, — начал Хозаров несколько театральным голосом и бросив на пол недокуренную папироску, — горе мое, — продолжал он, — выше, кажется, человеческих слов. Во-первых, теща моя демон скупости и жадности; ее можно сравнить с аспидом, который стережет сундук, наполненный деньгами, и уязвляет всех, кто только осмелится приблизиться к его сокровищу.

— Во-первых, Сергей Петрович, — возразила Мамилова, — это еще не большое горе, потому что теща для зятя, как я полагаю, лицо совершенно постороннее, тем более что она с вами уж не живет.

— Это ваша правда, она с нами не живет, — отвечал Хозаров. — Я настоял, наконец, чтобы она изволила существовать отдельно от нас и даже не бывала в моем доме, но какая от этого польза? Я не вижу только ее прекрасной особы; но ее идеи, ее мысли живут в моем доме, потому что они вбиты в голову дочери, которая, к несчастью, сама собою не может сообразить, что дважды-два — четыре.

— Бог с вами, Сергей Петрович! Что вы такое говорите? — возразила Варвара Александровна. — Неужели Мари так...

— Так проста, хотите вы сказать? Даже более чем проста. Она — глупа, Варвара Александровна, — глупа, как вот это дерево! — проговорил грустным голосом Хозаров и постучал по столу рукой.

Мамилова некоторое время ничего не отвечала.

— Из чего вы заключили, — начала она несколько даже строгим голосом, — что жена ваша глупа? Что вас так разочаровало в женщине, которую вы некогда боготворили, которую вы сами избрали в подруги ваших дней и, можно сказать, насильно вырвали ее из семейства, где она была счастлива и беспечна?

— Я этого вопроса с вашей стороны ожидал, Варвара Александровна; имея такой возвышенный взгляд на брак, вы не могли меня не спросить об этом; но когда я вам объясню подробно, то вы согласитесь со мною и оправдаете меня. Знаете ли, в чем мы проводим все время? Мы или в дурацкие ладошки играем, или бегаем по комнате, или, наконец, с котятками возимся, — и больше ничего! Ни одной, знаете, серьезной беседы, никаким искусством не занимается, — даже на фортепиано не умеет сыграть польки. Если бы вы знали, как читает она ро-

маны: вместо того, чтобы в романе следить за происшествиями, возьмет да конец и посмотрит. «Я уж все знаю», — говорит, да и бросит книгу; но я не говорю про русские романы: они не могут образовать человека; но она так же читает Дюма и Сю и других великих писателей. Вместо того чтобы образовать себя чтением, даже заучивать некоторые хорошие фразы — ничего не было! Посмотрит конец, и кончено дело.

— Из всего, что вы мне, Сергей Петрович, говорили, — начала Варвара Александровна, закурив другую папиросу, — я еще не могу вас оправдать; напротив, я вас обвиняю. Ваша Мари молода, неразвита, — это правда; но образуйте сами ее, сами разверните ее способности. Ах, Сергей Петрович! Женщин, которые бы мыслили и глубоко чувствовали, очень немного на свете, и они, я вам скажу, самые несчастные существа, потому что мужья не понимают их, и потому все, что вы ни говорили мне, одни только слова, слова, слова...

— Прекрасно-с, — перебил Хозаров. — Я отказываюсь от этих слов; но я имею другие несчастья. Вы говорите: образовать? Как я могу ее образовать, когда она смотрит на все глазами матери, понимает все провинциальным умом этой старухи. Скажу вам один пример: у Мари состояние, конечно, небольшое — всего сто душ и тысяч десять денег; но велико ли, мало ли это состояние, все-таки оно ее, предоставленное ей по всем законным правам, и потому должно находиться в общем нашем распоряжении, так как муж и жена — это два нераздельные существа. Весьма естественно, что я, желая жить самостоятельным семьянином, требовал, чтобы Мари взяла от матери принадлежащее ей имение, потому что желал бы и в усадьбе сделать некоторые улучшения и прикупить бы к ней что-нибудь, соображаясь с местностью; не тут-то было: с первых моих слов начались слезы, истерика, после которых мы не смеем и заикнуться об этом сказать маменьке, которой, конечно, весьма приятно иметь в своих руках подобный лакомый кусок.

— Знаете ли, Сергей Петрович, что бы я сделала на месте вашей жены? — перебила Варвара Александровна. — Я бы взяла, даже потребовала бы свое состояние от матери и отдала бы его вам; но уважать бы вас не стала; и даже, может быть, разлюбила бы...

— Вы не так поняли мои слова, Варвара Александровна, — возразил Хозаров, — вы, может быть, тут видите...

— Я тут вижу расчет, корыстолюбие, я тут вижу то, чего никогда не предполагала видеть в вас, и, простите меня, я начинаю в вас разочаровываться.

— Послушайте, Варвара Александровна! Глядя на этот предмет поверхностно, вы, конечно, вправе вывести такого рода невыгодное для меня заключение, но нужно знать секретные причины, которых, может быть, человек, скованный светскими приличиями, и не говорит и скрывает их в глубине сердца. Вы, Варвара Александровна, богаты, вы, может быть, с первого дня вашего существования были окружены довольством, комфортом и потому не можете судить о моем положении.

— Разве вы бедны?

— А если бы и так.

— Нет, вы скажите мне прямо, бедны вы или нет?

— Я не беден, я имел большие средства, но...

— Но вы промотались, не так ли?

— Да, может быть, это и так, но я хотел, Варвара Александровна, в семейной жизни успокоить себя, хотел сделаться порядочным человеком, потому что все это мне наскучило! Я женился на существе, которое любил, но в то же время имел в виду существенное; но как же меня поняли, как меня третировали? — Окрестили мотом и с первого же раза начали опасаться. Я очень любил Мари и, конечно, обожал бы ее всю жизнь, если бы она поняла меня; но что же прикажете делать, она лучше понимает свою мать и также видит во мне мота. Вот корень всех неприятностей между нами, которые зашли уже очень далеко! Вы только вспомните, как эти люди поняли вас и вместе с тем осмелились требовать от меня, чтобы я манкировал вашей дружбой, которая для меня, может быть, дороже всего на свете; конечно, я их не послушал, однако все-таки в умах их было это нелепое намерение. Я все это перенес, но вы спросите меня, каково мне все это было. Вы, конечно, имеете право думать, что я с умыслом избегал встречи с вами, потому что занял у вас три тысячи рублей и до сих пор не в состоянии еще с вами расплатиться.

— Грустно мне от вас, Сергей Петрович, это слышать, очень грустно! — сказала Мамилова.

— Нет, позвольте, это еще не все, — возразил Хозаров. — Теперь жена моя целые дни проводит у матери своей под тем предлогом, что та больна; но знаете ли, что она делает в эти ужасные для семейства минуты? Она целые дни любезничает с одним из этих трех господ офицеров, которые всегда к вам ездят неразлучно втроем, как три грации. Сами согласитесь, что это глупо и неприлично.

— Послушайте, — сказала Варвара Александровна, — если вы в самом деле так несчастливы, то я вас не оставлю: я буду помогать вам словом, делом, средствами моими; но только, бога ради, старайтесь все это исправить, — и вот на первый раз вам мой совет: старайтесь, и старайтесь всеми силами, доказать Мари, как много вы ее любите и как много в вас страсти. Поверьте, ничто так не заставит женщину любить, как сама же любовь, потому что мы великодушны и признательны!

— Женщине трудно доказать любовь, — возразил Хозаров, — она часто самой сильной страсти не понимает.

— Никогда!.. Готова спорить с целым миром, что женщина видит и чувствует истинную любовь мужчины в самом еще ее зародыше. Но чтобы она не поняла сильной страсти, — никогда!

— Я испытываю это, Варвара Александровна, на себе.

— Что ж вы думаете, что ваша Мари не сознает и не понимает вашей любви, если вы только истинно ее любите?

— Я говорю не про жену, — вы не хотите меня понять.

— Не про жену?.. Вы говорите это не про Мари?.. В таком случае я действительно вас не понимаю.

— В том-то и дело, Варвара Александровна, что женщины не понимают сильной страсти.

Варвара Александровна несколько минут смотрела на Хозарова с удивлением.

— Я вас сегодня совсем не понимаю, — проговорила она.

Хозаров пожал плечами.

— Вы или больны, или очень расстроены, и потому прощайте! — продолжала она, вставая.

— Одно слово! — произнес Хозаров. — Позвольте мне сегодня вечером быть у вас.

— Зачем? — спросила Мамилова, устремив на собеседника вопрошающий взор.

— Именем нашей дружбы заклинаю вас, позвольте мне.

— Хорошо; но только с условием: прийти в себя и не говорить того, что вам стыдно, а для меня обидно слушать.

Проговорив это, она подала Хозарову руку, которую тот с жаром поцеловал, но которую Варвара Александровна вырвала стремительно и проворно вышла из кондитерской.

Оставшись один, Хозаров целый почти час ходил, задумавшись, по комнате; потом прилег на диван, снова встал, выкурил трубку и выпил водки. Видно, ему было очень скучно: он взял было журнал, но недолго прочитал. «Как глупо нынче пишут, каких-то уродов выводят на сцену!» — произнес он как бы сам с собою, оттолкнул книгу и потом решился заговорить с половым; но сей последний, видно, был человек неразговорчивый; вместо ответа он что-то пробормотал себе под нос и ушел. Хозаров решительно не знал, как убить время.

— Эй, ты, болван! Дай мне лист почтовой бумаги, перо и чернильницу! — вскричал он молчаливому половому.

Тот подал, и герой мой принялся писать письмо к тому приятелю, к которому он писал в первой главе моего романа.

«Незаменимый для меня друг мой Миша!

Оба тянем мы, дружище, с тобою одну лямку; то есть оба женаты, и потому оба очень хорошо понимаем, что вся эта аркадская любовь не что иное, как мыльные пузыри, когда нет существенного, то есть денег! Другой бы на моем месте упал духом; но ты знаешь меня: я не люблю хандрить и ходить повеся нос, но умею всегда приискать какое-нибудь развлечение, которым нынче и служит для меня милашка — Мамилова. Она была в меня еще в холостого влюблена до такого сумасшествия, что ни с того ни с сего подарила мне три тысячи рублей; но тогда я был занят моей глупой женитьбой, и потому между нами прошло так, серьезного почти ничего не было, а только, знаешь, сентиментальничали в разговорах; но теперь другое дело: я постарел, поумнел; а главное —

мне нужно развлечение и деньги. Сегодня было у нас первое тайное свидание, после которого я тебе и пишу. Дело идет на лад; я сделал намек, после которого, конечно, сконфузились, даже рассердились немного и тому подобное. Однако я должен тебе сказать, *mon cher*, что женщины какое-то неуловимое существо. Это я ясно вижу на Варге Мамиловой. Вообрази себе: любит меня и любит до безумия; но скрывает и говорит черт знает какие отвлеченности, над которыми, конечно, я скоро восторжествую; но, при всем том, досадно и скучно. Сегодня вечером я опять пойду к ней и сделаю решительный приступ, о последствиях которого тебя извещу весьма подробно.

Хозаров».

Для сочинения и написания этого письма героем моим было употреблено полтора часа; потом он спросил себе легонький обед, бутылку портера и бутылку мадеры, и все сие употребил в достаточном количестве. Нетерпеливость возросла в нем донельзя, и потому он, не ожидая законного вечернего часа, то есть семи часов, отправился в четыре. Вероятно, герой мой был в сильно возбужденном состоянии: приехав к Варваре Александровне, он даже не велел доложить о себе человеку и прошел прямо в кабинет хозяйки, которая встретила на этот раз гостя не с обычным радушием, но, при появлении его, сконфузилась и, чтобы скрыть внутреннее состояние духа, тотчас же закурила папиросу.

— Первое мое слово будет просить у вас извинение, что я приехал не в урочный час. Что ж мне делать? Я не могу уже более владеть собою.

— Я вас рада видеть всегда, Сергей Петрович, — отвечала хозяйка.

— Послушайте, Варвара Александровна, вы немилосердны ко мне; но как бы ни было, как бы меня не поняли, я решился открыть вам тайну, которую я до сих пор скрывал даже от самого себя.

Мамилова взглянула на гостя с удивлением.

— Вы все-таки еще не пришли сами в себя, — сказала она, не спуская с него глаз, — и все-таки продолжаете говорить смешные нелепости.

Хозаров был на этот раз очень дерзок и продолжал:

— Всякие чувства можно скрывать некоторое время, но потом они должны обнаружиться. Я не люблю моей

жены, вы это слышали, и не люблю ее более потому, что боготворю и увлечен другою; одним словом: я люблю вас, и в ваших руках моя жизнь и смерть.

Последние слова герой мой произнес, уже стоя перед Варварой Александровной на коленях. Мамилова несколько минут ничего не отвечала и не отнимала своей руки, которую Хозаров взял и целовал.

— Больно, досадно и грустно мне все это слышать и видеть, Сергей Петрович! — сказала она. — Не стойте передо мною на коленях. Ей-богу, это очень водевильно и смешно. Я вас спрошу только одно: зачем вы все это говорите и делаете?

— Затем, что я боготворю вас, — возразил Хозаров, начиная приподниматься с коленопреклонного положения.

— А я вас не люблю, Сергей Петрович! Прежде я чувствовала к вам дружбу, искреннюю дружбу, но теперь я вас презираю и презираю потому, что вы похожи на других.

Хозаров встал и, ни слова не говоря, начал ходить по комнате.

— Из всего этого я вижу, — сказал он, — что вы не понимаете и не хотите понять того, что совершается в душе моей.

— Я боялась это и думать, Сергей Петрович, и я боялась потому, что все-таки вас уважала. Но если в самом деле в вас закралась эта несчастная страсть, то зачем вы мне говорите об этом, какую вы думаете иметь для этого цель? Вы думали успеть, вы думали сделать меня вашей любовницей, не так ли? О, боже мой, как мне горько слышать такое обидное для меня ваше мнение! Но, несмотря на это, я решаюсь объяснить вам, что вы ошиблись и жестоко ошиблись во мне. Я люблю не вас, а другого, которого вы не знаете и не можете знать, потому что он давно умер. Кроме того, я вам скажу словами Татьяны: «Я другому отдана и буду век ему верна»; и к вам, Сергей Петрович, могу питать одно только сожаление.

На эти слова герой мой ничего не отвечал, но снова встал перед хозяйкой на колени, первоначально расцеловал ее руку и потом вдруг совершенно неожиданно обхватил ее за талию и обхватил весьма дерзко и совершенно неприлично. Варвара Александровна вся вспых-

нула и хотела было вырваться; но Хозаров держал крепко, гнев овладел молодою женщиною: с несвойственною ей силою, она вырвала свою руку и ударила дерзкого безумца по щеке. Хозаров вскочил; Мамилова тоже и выбежала из комнаты. Несколько минут Сергей Петрович простоял, как полоумный, потом, взяв шляпу, вышел из кабинета, прошел залу, лакейскую и очутился на крыльце, а вслед за тем, сев на извозчика, велел себя везти домой, куда он возвратился, как и надо было ожидать, сильно взбешенный: разругал отпиравшую ему двери горничную, опрокинул стоявший немного не на месте стул и, войдя в свой кабинет, первоначально лег вниз лицом на диван, а потом встал и принялся писать записку к Варваре Александровне, которая начиналась следующим образом: «Я не позволю вам смеяться над собою, у меня есть документ — ваша записка, которою вы назначаете мне на бульваре свидание и которую я сейчас же отправлю к вашему мужу, если вы...» Здесь он остановился, потому что в комнате появился другой его друг, Татьяна Ивановна.

— Вот я и пришла, Сергей Петрович, — сказала девица Замшева.

Герой мой, и без того уже расстроенный, при виде друга-кредиторши затрясся от досады.

— А вам что еще надобно от меня? — вскрикнул он не совсем ласковым голосом, так что Татьяна Ивановна попятилась несколько назад.

— Да все о деньгах-то. Вы сами говорили мне побывать семнадцатого числа.

— Какие у меня деньги для вас? Что такое за деньги?

— Как какие деньги? Мои деньги, — которые вы зажили у меня.

— Что у вас зажито, давно отдано, — и потому извольте, почтеннейшая, убираться; я занят, мне некогда.

— Как отданы? Когда вы это отдали? Что вы это такое говорите? Не стыдно ли вам выдумывать этакие нелепости? Я думаю, вся Москва знает, как я вас содержала. Что вы это говорите?

— Я говорю, что извольте убираться, почтеннейшая, вон! Вот что я говорю.

— Нет, извините, я не пойду; я пришла за своим, а не за вашим; у меня есть расписка.

— Убирайтесь к черту с вашей распиской! Эдаких животных я по шее имею привычку гонять и с вами так же распоряджусь.

— Видали ли? Со мной так распорядиться? — сказала Татьяна Ивановна, тоже вышедшая из себя, показывая Хозарову два кукиша. — Подайте деньги мои, а не то в тюрьму посажу. Провалиться мне сквозь землю, если я теще не расскажу все ваши подлые намерения! Да и Варваре Александровне объясню, бесстыдник этакой, пусть знают, какие вы для всех козни-то приготовляете.

— Я говорю тебе: убирайся вон, пряничная форма! — закричал Сергей Петрович, вскакивая с своего места.

Почтеннейшая Татьяна Ивановна, видно, очень не любила, чтобы называли ее пряничной формой. Лицо ее побледнело, руки, ноги задрожали и губы посинели.

— Врешь, оболъститель, я не пойду! Не смеешь тронуть, извини: сама плевать умею! — закричала она звонким и резким голосом; но Хозаров, схватив ее за плечи, начал толкать из комнаты.

Девушка Замшева, с своей стороны, защищалась храбро; на получаемые толчки она отвечала, насколько достало у ней сил, тоже толчками. Но так как мужчины, действуя физической силою, всегда берут верх над слабыми женщинами, то и почтеннейшая хозяйка, несмотря на сильный отпор, была вытолкана неблагодарным постояльцем на крыльцо до самых дверей, которые перед самым ее носом были быстро захлопнуты. Сверх того она еще получила такой толчок, что не в состоянии была устоять на ногах и кувырком скатилась с лестницы.

При этом падении благородная девушка, вероятно, сильно зашибла ногу, потому что, когда она встала и, залившись горькими слезами, отправилась домой, то весьма заметно прихрамывала на правую ногу.

Х

В настоящей главе я должен вернуться несколько назад. После того случая, как Мари просила у Катерины Архиповны для мужа денег, между зятем и тещею окончательно нарушилось всякое родственное расположение: Хозаров донельзя взбесился на свою belle-mère и по-

клялся, во что бы то ни стало, выжить ее из дому, зная наперед, что ничем так не может досадить страстной матери. Для этой цели он первоначально перестал с Катериной Архиповной кланяться, говорить и даже глядеть на нее; но это не помогало: старуха жила попрежнему и сама, с своей стороны, не обращала на зятя никакого внимания. Хозаров решился делать и говорить все на зло ей: проговаривала ли она, что в комнате холодно, он нарочно отпирал форточку; если же она говорила, что слишком тепло, — в ту же минуту, отворялись все душики; но Катерина Архиповна оставалась хладнокровна, и все эти проделки Сергея Петровича, направленные на личную особу тещи, не принесли желаемого успеха. Герой мой решился мучить старуху тем, что стал при ней, на правах мужа, бранить Мари, которая была так еще молода, что даже не умела, с своей стороны, хорошенько отбраниваться и только начинала обыкновенно плакать. Этого Катерина Архиповна уже не в состоянии была переносить равнодушно; она обыкновенно заступалась за дочь и пропекала зятя, как говорится, на обе корки, но в этом случае Хозаров уже не обращал внимания и только смеялся, отчего еще более плакала Мари и выходила из себя Катерина Архиповна.

Все такого рода сцены для Мари оканчивались слезами, но для Катерины Архиповны это была пытка. Она доходила до полного ожесточения; она готова была разорвать зятя на куски и принуждена была ограничиваться только бранью, над которой он смеялся.

Далее затем, в одно прекрасное утро, герой мой затеял еще новую штуку: он объявил жене, что нанял для себя особую квартиру, на которой намерен жить, и будет приходить к Мари только тогда, когда Катерина Архиповна спит или дома ее нет, на том основании, что будто бы он не может уже более равнодушно видеть тещу и что у него от одного ее вида разливается желчь.

Маша, как водится, расплакалась, а потом пересказала все матери. Старуха сначала смеялась над новой проделкой зятя, но дочь плакала, и материнское сердце снова не вытерпело: она решилась объясниться с Сергеем Петровичем, но сей последний на все ее вопросы не удостоил даже и ответить и продолжал собирать свои вещи. Катерина Архиповна, разумеется, не могла не осердиться на подобного рода глупость и, наговорив

зятю дерзостей, ушла к себе в комнату, а через полчаса, призвав к себе дочь, объявила ей, что она сама хочет переехать на другую квартиру, потому что не хочет их стеснять. Мари первоначально испугалась этого решения матери и начала ее упрашивать не переезжать от них; но Катерина Архиповна растолковала дочери, что если ее мерзавец-муженек в самом деле переедет на другую квартиру, то это будет весьма неприлично и уже ни на что не будет походить. Маша успокоилась. Сергей Петрович, очень довольный успехом своей проделки, тоже успокоился и снова разложил свои вещи.

На другой день старуха переехала, но, видно, эта разлука с идолом была слишком тяжела для Катерины Архиповны, и, видно, страстная мать справедливо говорила, что с ней бог знает что будет, если ошибется в выборе зятя, потому что, тотчас же по переезде на новую квартиру, она заболела и заболела бог знает какую-то сложную болезнью: сначала у нее разлилась желчь, потом вся она распухла, и, наконец, у нее отнялись совершенно ноги. Мари целые дни начала проводить у матери, которая, с своей стороны, стараясь предостеречь дочь от влияния мужа, беспрестанно толковала ей, какой тот мот, какой он пустой и бесчувственный человек, и как он мало любит ее. Маша с каждым днем начала более и более соглашаться с матерью, — тем более, что Сергей Петрович действительно день ото дня становился к ней холоднее: кроме того, что часто уходил на целые дни из дому, но даже когда бывал дома, то или молчал, или спал, и никогда уже с ней не играл — ни в ладошки, ни в рыжего кота, и вместе с тем беспрестанно настаивал, чтобы она требовала от матери имения.

Последнее время Мари уже целые дни проводила у матери; ей было даже очень нескучно, потому что к старухе начал ходить один из числа трех офицеров — подпоручик Пириневский. Он был очень милый и веселый молодой человек и владел двумя прекрасными способностями, а именно: прекрасно рассказывал страшные сказки о различных царевичах и разбойниках и бесподобно пел тенором под гитару многие новые романсы. Мари он очень занимал. День ото дня молодые люди, сами не замечая того, начали сближаться: подпоручик начал уже называть Мари *cousine*, а она его *cousin*. Кроме того, между ними проявилось еще новое занятие: они начали

для практики танцевать вновь появившийся тогда танец *редову*. Катерина Архиповна, смотревшая сначала сквозь пальцы на сближение молодых людей, начала супиться и сделалась к офицеру очень суха; но Мари не обращала внимания и продолжала звать офицера ходить к ним каждый день. Однажды, это было именно на другой день после свидания Хозарова с Мамиловой, Мари оставила своего нового *cousin* обедать у мамыши.

Пириневский в этот раз ее очень занимал, и когда она его начала просить рассказать ей какую-нибудь еще страшную сказку, то он объявил, что простые сказки он все пересказал, но что сегодня прочтет ей наизусть прекрасную сказку Лермонтова про Демона.

После обеда молодые люди, один для чтения, а другая для слушания, уселись рядом на диване. Пириневский начал читать и действительно всю поэму знал весьма твердо на память и, кроме того, произносил ее с большим чувством. На том месте, где Демон говорит:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чью мысль ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне, —

на этом месте Мари его остановила.

— Перестаньте; страшно, — сказала она.

— Ничего-с, — отвечал офицер, — дальше будет еще страшней.

— Ну так не читайте, — страшно, а лучше расскажите мне, что же будет дальше, — она его полюбит?

— Непременно-с полюбит.

— Да ведь как же? Он, я думаю, страшный!

— Отчего же страшный! Может быть, и не страшный, — отвечал Пириневский.

— Ай, нет, он должен быть гадкий. Я бы его ни за что не полюбила.

— А кого же вы бы полюбили? — спросил молодой офицер.

— Конечно, можно полюбить только хорошенького... Спойте что-нибудь!

— Я гитары не взял.

— Ничего, спойте без гитары.

— Но я могу мамёнку обеспокоить, они, кажется, почивают.

— Ничего; она не услышит — спойте.

Офицер повиновался и довольно звучным, чистым тенором запел: «Ты, душа ль моя, красна девица». Взоры молодого человека ясно говорили, что он под именем красной девицы понимает Мари, которая, кажется, с своей стороны, все это очень хорошо поняла и потупилась. Затем молодые люди расселись по дальним углам и несколько времени ни слова не говорили между собою.

— О чем вы задумались? — спросила, наконец, Мари. Офицер не отвечал.

— Вам, может, скучно, — заговорила снова она после нескольких минут молчания.

— Я думаю, Марья Антоновна, о том, что нам скоро должно выступить из Москвы.

— Куда вам выступить?

— В Калугу... — отвечал офицер.

— Да вы не ездите.

— Нельзя-с, служба.

— Вот какие вы! Зачем же вы уедете?

— Вам разве жаль нас, Марья Антоновна?

— Еще бы, — отвечала молодая женщина, вспыхнув, и офицер тоже вспыхнул, и затем воцарилось молчание. Пириневский принялся рассматривать лежавшую на окошке «Библиотеку для чтения», а Мари сидела, задумавшись.

— Что вы смотрите, — сказала она, подойдя к офицеру, — найдите мне, какое вам слово больше нравится?

Подпоручик начал перелистывать журнал и, наконец, в отделе Словесности, видно, отыскал желаемое слово и показал его Мари, которая, посмотрев, очень сконфузилась, но, впрочем, взяла у офицера книгу и сама показала ему на какое-то слово и, отойдя от него, снова села на прежнее место. Показанные молодыми людьми друг другу слова были весьма значительные. Офицер показал на слова: «я вас люблю», а Мари на слово: «любите». За сим последовала какая-то странная и необъяснимая сцена. Пириневский встал, прошелся по комнате и потом, неизвестно почему, очутился рядом с Мари на диване, протянул как-то странно руку, в которой очень скоро очутилась рука Мари...

Но здесь я останавлиюсь и попрошу читателя перейти со мной в квартиру Варвары Александровны. После не-

приятного объяснения, которое имела она с Хозаровым, ей не спалось всю ночь; и даже на другой день — печальная и грустная — сидела она в своем кабинете. Человек доложил, что пришла какая-то Замшева и желает ее видеть.

— Проси! — сказала Мамилова.

Явилась Татьяна Ивановна, тоже грустная, взволнованная и несколько прихрамывающая на правую ногу. Целую ночь девица Замшева придумывала, чем бы отомстить Хозарову, и, наконец, решила подать его расписку ко взысканию и наказать на него Мамиловой, от которой, она думала, он получает деньги.

— Я, кажется, имею честь говорить с Варварой Александровной, — сказала, входя и приседая, Татьяна Ивановна.

— К вашим услугам, — отвечала Мамилова, закуривая папироску.

— Честь имею рекомендоваться: я девица Замшева, у которой Сергей Петрович, бывши холостым, квартировал.

— А!.. Что же вам угодно? — произнесла Мамилова, взглянув на Татьяну Ивановну довольно подозрительно.

— Он поручал мне, Варвара Александровна, заложить ваши вещи, но теперь уже давно срок истек, ни капитала, ни процентов они не платят, так я пришла вас предупредить.

— Благодарю вас, моя милая! В какой сумме мои вещи заложены?

— Две тысячи семьсот пятьдесят рублей с процентами; взято было только на один месяц; а теперь вот сколько времени прошло без всякой уплаты!

— Благодарю вас... Я знаю: мы поправим как-нибудь это дело.

— Сергей Петрович, вероятно, на вас и надеялись. Сами они, это уж известно, ничего не имеют, но говорят, что они от вас тысяч десять в год могут получить.

— От меня получить десять тысяч... Это почему?

— Да ведь как? Кто их разберет: они говорят, что могут; еще говорят, если захочу, так и не это получу; как липку, говорят, обдеру, так и тут ни слова не скажет, потому что влюблена.

Мамилова побледнела.

— Он говорил вам, что я в него влюблена? Он осмелился это сказать вам?

— Не мне одной, Варвара Александровна, он, я думаю, это целой Москве разблаговестил.

— Довольно... Бога ради, довольно! Или нет, скажите!.. Я должна выпить горькую чашу до дна... Сядьте и расскажите, что он вам еще говорил про меня?

— Варвара Александровна! Я очень хорошо понимаю ваше положение и потому пришла к вам, — сказала Татьяна Ивановна. — Он говорит ужасные вещи. Он говорит, что вы в него влюблены, или, прямее сказать: у вас с ним интрига, и потому он надеется с вас получить деньги. Я сама, Варвара Александровна, им обманута, потому-то мне и горько. Сначала ведь, как беснибудь обольстил: ну, пришел нарядный, ласковый, лживый, просто прелесть: ну, думала, человек с собой, отчего же не оказать доверия. А вот что вышло после: во сне не снилось такой обиды; на целый век хотел уродом сделать; как будто какую-нибудь развратную изуверчил. И с вами таким же образом хотел поступить. «Прибью, говорит, если денег не даст». В конце этого монолога у Татьяны Ивановны, от полноты горестных чувствований, на глазах появились слезы.

— Нет... Довольно... Заклинаю вас, довольно!.. Я не в состоянии более слушать ваших ужасных слов, — сказала, тоже очень расстроившись, Варвара Александровна. — Нет, это выше моих сил, — сказала она, вставая, — я должна сорвать с него маску, я сама отравлю его семейное счастье, которое устроила; я все расскажу жене и предостерегу по крайней мере на будущее время несчастную жертву общей нашей ошибки.

Варвара Александровна была, видно, сильно взволнована и, не помня себя, она даже докурила папироску до нельзя и обожгла себе губы.

— Ничего... — говорила она как будто бы сама с собою. — Люди жгутся сильнее огня. Не огорчайтесь, моя милая, — продолжала она, обращаясь к Татьяне Ивановне, — мы обе обмануты.

— Ваше дело, Варвара Александровна, другое; вы имеете состояние, а у меня только ведь собственные труды и больше ничего, — около тысячи рублей для меня не безделица. Не можете ли, благодетельница моя, мне

хоть частичку уплатить. Вас он, может, посовестится и заплатит вам.

— Ни за него, ни для него я не имею денег, — отвечала Варвара Александровна, — но если вы бедны, вот вам пятьдесят рублей, но только это от меня; его же вы можете и должны считать подлецом на всю жизнь.

Татьяна Ивановна весьма обрадовалась пятидесяти рублям; поцеловала в восторге у Варвары Александровны руку и потом, попросив не оставлять ее и на дальнейшее время своим расположением, отправилась домой.

Варвара Александровна тотчас же решила ехать к бабушке Ступицыной и, вызвав Мари, обеим им рассказала о низких поступках Хозарова. Нетерпенье ее было необычайно сильно: не дожидаясь своего экипажа, она отправилась на извозчике, и даже без человека, а потом вошла без доклада. Странная и совершенно неожиданная для нее сцена представилась ее глазам: Мари сидела рядом с офицером, и в самую минуту входа Варвары Александровны уста молодых людей слились в первый поцелуй преступной любви.

Пириневский и Мари, при появлении постороннего лица, отскочили один от другого. Варвара Александровна едва имела силы совладать с собою. Сконфузившись, растерявшись и не зная, что начать делать и говорить, спросила она тоже совершенно потерявшуюся Мари о матери, потом села, а затем, услышав, что Катерина Архиповна больна и теперь заснула, гостя встала и, почти не простившись, отправилась домой.

Там написала она следующее письмо к известной своей приятельнице:

«Chère Claudine!

Я дура, я сумасшедшая и безумная женщина; я носила до сих пор на глазах моих повязку, но которую теперь люди сорвали с меня, и я уже все ясно понимаю. Я ошиблась, chère Claudine, в моих Хозаровых, они дали мне новый урок. Они еще раз заставили меня выпить горькую чашу разочарования. Он — этот юноша, в котором я предполагала столько благородных чувствований — он отвратительный и жадный заемщик чужих

денег, — он развратный интриган, неспособный даже понять порядочную женщину. Он не сумел даже понять моей дружбы; но хотел, посмейся, Claudine, меня развратить и за порок мой заставить меня платить ему деньги. Про эту бабенку я и говорить не хочу. Она, кажется, только и умеет целоваться: целовалась прежде с женихом и с мужем непрерывно, а теперь начала целоваться и с другими поклонниками. Ах, с каким нетерпением я жду того времени, когда муж мой увезет меня в К., дальше от света, дальше от людей; ни в нем, ни между ними нет ни дружбы, ни любви!..»

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание печатается по тексту прижизненного собрания сочинений А. Ф. Писемского в четырех томах (изд. Ф. Стелловского, СПб, 1861—1867) и сборника «Комедии, драмы и трагедии» (М. 1874), подготовленных к печати самим автором. Опечатки и неточности, встречающиеся в тексте обоих изданий, исправлены по журнальным и другим прижизненным публикациям. Источники текста произведений, печатающихся не по названным изданиям, указываются в примечаниях.

БОЯРЩИНА

Роман впервые напечатан в журнале «Библиотека для чтения» за 1858 год (т. 147, кн. I и II).

Работа над ним продолжалась примерно с 1844 по 1846 год. Об этом свидетельствуют даты окончания «Боярщины», которые указывал сам автор. В «Библиотеке для чтения» Писемский пометил «Боярщину»: «1844 сентября 30. Москва», в издании Ф. Стелловского — «1845 года. Сентября 30. Москва»; в письме к переводчику своих произведений на французский язык В. Дерели он сообщал: «...первая повесть, мною написанная еще в 1846 году, была «Боярщина». В автобиографии также указывается, что «Боярщина» была закончена в 1846 году.

Очевидно, этот разнобой в датах — не результат ошибок памяти, скорее всего он указывает на различные стадии работы над романом. (Писемский постоянно колебался в определении жанра «Боярщины», называя ее до 1858 года то романом, то повестью.)

Первый вариант «Боярщины» был закончен, видимо, еще в 1844 году. Летом и осенью 1845 года Писемский был в Москве и, вероятно, продолжал работу над романом. Отсюда — новая дата: сентябрь 1845 года. В это же время с «Боярщиной» познакомился критик «Москвитянина» С. П. Шевырев. По его указаниям роман был переработан. «Повесть мою: «Виновата ли она?» — я, сообразно с вашими замечаниями, значительно изменил, — сообщал Писемский Шевыреву в письме от 13 марта 1847 года, — а именно: смягчил и облагородил, по возможности, многие сцены; а главное, обратил внимание на характер Ваньковского (мужа моей героини) и, если можно так выразиться, очеловечил его: Ваньковскому не удастся уже произвести над женою следствия, повредить Шамилову; ему противодействует князь. Он бесится, страдает, пьет, вследствие последнего обстоятельства делается болен, и он уже жалок, хоть и ужасен»¹.

Необходимо отметить, что перечисленные в этом письме правки могли относиться только к роману «Боярщина», который первоначально имел заглавие «Виновата ли она?»; ни в одном другом произведении Писемского не говорится, например, о следствии над женой героя.

Еще в марте 1857 года Писемский называл роман попрежнему «Виновата ли она?». «Денежная необходимость заставила меня, — писал он А. Н. Островскому, — вспомнить мой первый роман «Виновата ли она?»... «Библиотека для чтения», если только Фрейганг (цензор. — М. Е.) пропустит, дает мне за него 3000 руб. ...»² Видимо, только после того как вопрос о напечатании романа в «Библиотеке для чтения» был решен, Писемский дал ему новое название «Боярщина», поскольку прежнее — «Виновата ли она?» — было уже использовано для повести, опубликованной еще в 1855 году в «Современнике» (см. т. 2 наст. издания).

Письмо к Шевыреву позволяет судить, каков был роман до его переработки по указаниям критика. Это было резко обличительное произведение, выдержанное в духе гоголевской реалистической школы. Поэтому не случайно Шевырев — ярый противник «натуральной» школы — потребовал «смягчения» обличительного пафоса романа, «очеловечения» главного отрицательного персонажа — Ваньковского (в печатном варианте — Задор-Мановский).

В 1848 году Писемский пытался напечатать свой роман в «Отечественных записках», но даже в переработанном, «облагороженном» виде «Боярщина» не была пропущена цензурой.

¹ А. Ф. Писемский, Письма, М. — Л. 1936, стр. 24.

² Там же, стр. 109.

В 1850 году Писемский намеревался через посредство А. Н. Островского напечатать «Боярщину» в Москве. «Вот еще к вам одна моя просьба, — писал он 26 декабря 1850 года Островскому, — вы, может быть, помните мою повесть «Виновата ли она?» — ее не пропустила петербургская цензура; но я отчасти переделаю ее, то есть переменю заглавие, уничтожу резкие сцены; не пропустят ли ее в Москве. Я готов ее напечатать, где вам угодно, — в вашем альма-нахе, в Москвитянине, но только бы она не валялась; мне ее жаль, хотя я немного из нее вырос»¹. Сведений о посылке рукописи «Боярщины» Островскому не сохранилось. Вероятнее всего, Писемский не стал производить нового уничтожения «резких сцен», в результате которого роман утратил бы всякий смысл. «Боярщина» и на этот раз не увидела света.

Материалы романа (по всем данным в «смягченной» редакции 1846 года) Писемский, уже не веря в возможность его напечатания, использовал в нескольких своих произведениях. Это и побудило его при опубликовании «Боярщины» в «Библиотеке для чтения» дать следующее примечание: «Роман этот был мною написан десять лет тому назад. Не печатая его тогда, я смотрел на него как на материал и заимствовал из него для другого моего романа — «Богатый жених» одну или две сцены, которые в настоящем случае изменять и вообще маскировать это дело я не считаю себя вправе»².

В «Библиотеке для чтения» «Боярщина» напечатана, как можно судить по некоторым данным, не в той «облагороженной» редакции 1846 года, которая пересказана в письме к Шевыреву и из которой Писемский заимствовал материалы для «Богатого жениха» и других позднейших произведений (см. т. 2), а в редакции 1844—1845 годов. Такое заключение позволяет сделать, в частности, цитированное выше письмо к А. Н. Островскому от 30 марта 1857 года: «Я прочитал его (то есть роман. — М. Е.) совершенно как чужое произведение, — признался Писемский, — и он мне понравился: мне уже теперь с таким запалом не написать — много, конечно, в нем совершенно драло мои уши, как, например, вся похабщина, которую я где совсем вырвал, где смягчил; не веря, впрочем, себе, стал читать редакторству и критикам — все хвалят...»³

Если бы Писемский намеревался в основу печатного текста «Боярщины» положить редакцию 1846 года, то ему не пришлось бы «смягчать» или даже «вырывать» резкие сцены, потому что эта

¹ Письма, стр. 31.

² «Библиотека для чтения», 1858, т. 147, кн. I, стр. 1.

³ Письма, стр. 109.

редакция отличалась от предшествующей также и тем, что из нее было удалено многое, что Шевыреву могло показаться «неблагородным» и резким. В письме к Островскому речь идет, конечно, о редакции 1844—1845 годов, в которой, без сомнения, резких сцен и эпизодов было немало. Именно поэтому Писемский и опасался, что если не «вырвать» некоторые из этих сцен и не «смягчить» оставленные, то «Боярщину» не пропустит и более покладистая, чем в годы «мрачного семилетия», цензура 1857 года.

Предположение, что «Боярщина» напечатана в редакции 1844—1845 годов, подтверждается и высказываниями самого Писемского. Так, в письме к Шевыреву он говорит о том, что «очеловеченному» Ваньковскому (в печатном тексте Задор-Мановский) «не удастся уже произвести над женою следствие... ему противодействует князь». В печатном тексте «Боярщины» (часть II, глава V) описывается как раз следствие, производимое исправником по прошению Задор-Мановского. В письме сообщается, что Ваньковский «бесится, страдает, пьет, вследствие последнего обстоятельства делается болен, и он уже жалок, хоть и ужасен». В печатной редакции Задор-Мановский не впадает в запой. В десятой главе второй части, как бы специально в опровержение редакции 1846 года, рассказывается, что после неудачного визита к губернатору Задор-Мановский «ничего почти не ел, а все пил воду». Заболевает он не от запоя, как это было в редакции 1846 года, — его разбил паралич. Все это не имеет ничего общего с тем «очеловечением» Ваньковского, о котором сообщается в письме к Шевыреву. В печатной редакции перед нами не обиженный муж, ввавший в запой от тоски по жене, а деспот, обдуманно преследующий «распутную» жену. Это как раз такой образ, который не мог не вызвать осуждения Шевырева.

Таким образом, история создания первого романа Писемского представляется в следующем виде. В 1844—1845 годах была создана первая его редакция, выдержанная в духе «натуральной» школы. Под влиянием замечаний Шевырева в 1846 году роман был переработан, в результате чего критическая заостренность некоторых образов в известной степени притуплена. Из второй редакции Писемский и брал материалы для «Богатого жениха» и других произведений. Решив напечатать роман в «Библиотеке для чтения», он вернулся к редакции 1844—1845 годов. Поэтому «Боярщина» достаточно полно характеризует начало творческого пути Писемского.

При подготовке романа для издания Стелловского автор ограничился лишь стилистической правкой текста.

«Боярщина» в отличие от большинства произведений Писемского, опубликованных в 50-х годах, не обратила на себя внимания критики. Это произошло прежде всего потому, что общественные

вопросы, затронутые в романе, были уже освещены в ранее опубликованных произведениях писателя. Д. И. Писарев в своей статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» как бы мимоходом упоминает всего лишь об одном персонаже «Боярщины» — Эльчанинове. Он отметил резко отрицательное отношение Писемского к людям типа Эльчанинова: «Надо отдать Писемскому полную справедливость: он раздавил, втоптал в грязь дрянной тип драпирующегося фразера»¹.

Стр. 49. *притоманное...* — коренное, привычное.

Стр. 57. *...в терновом капоте...* — в капоте, сшитом из тонкой шерстяной, с примесью пуха, ткани — терно́.

Стр. 69. *Gaudeamus igitur* — будем веселиться (лат.) — началь-ные слова старинной студенческой песни.

Стр. 70. *Лауру...* — Лаура — имя возлюбленной знаменитого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374), воспетой им в сонетах.

Стр. 71. *Смольный монастырь...* — привилегированное женское учебное заведение в Петербурге — институт «благородных девиц». Размещался в здании бывшего монастыря.

Стр. 75. *С отрадой тайною...* — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ребенку».

Стр. 76. *...как новая Татьяна...* — имеется в виду героиня романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Стр. 100. *...О женщины! Ничтожество вам имя!* — цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

Стр. 101. *Служить-то бы я рад...* — измененные слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 118. *Кетчер* Николай Христофорович (1809—1886) — врач по профессии, поэт и переводчик. В 40-х годах был близок к кругу литераторов, группировавшихся вокруг В. Г. Белинского и А. И. Герцена.

Стр. 118. *Скотт* Вальтер (1771—1832) — английский писатель, автор многочисленных исторических романов.

Стр. 118. *Щепкин* Михаил Семенович (1788—1863) — великий русский артист, один из основоположников реализма на русской сцене.

Стр. 123. *...похлести...* — поворожи, поколдуй, в данном случае — постарайся исправить.

Стр. 144. *Я мертвецу святыней слова обречена* — Измененные строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Любовь мертвеца».

¹ Д. И. Писарев, Избр. соч., т. 1, М. 1934, стр. 138.

Повесть впервые напечатана в журнале «Москвитянин» в 1850 году (ч. V, №№ 19 и 20; ч. VI, № 21) без указания даты написания. В издании Стелловского «Тюфяк» датирован 29 апреля 1850 года.

Работу над повестью А. Ф. Писемский начал в конце 40-х годов; «...в 1846 г. я написал большую повесть «Боярщина», — сообщает он в автобиографии, — но повесть, посланная в «Отечественные записки», была прихлопнута цензурой 47-го года, а между тем я в деревне написал другой уже роман «Тюфяк». Но, разбитый в своих надеждах, не послал ее (повесть «Тюфяк». — М. Е.) никуда и решил снова начать службу». Если принять во внимание, что Писемский ошибся в дате: «Боярщина» была послана в «Отечественные записки» не в 1847, а в 1848 году, то можно предположительно считать, что вчерне «Тюфяк» был написан именно в этом году.

К весне 1850 года первая часть повести была окончательно отделана. Об этом Писемский сообщил 21 апреля 1850 года А. Н. Островскому: «Посылаю Вам, почтенный мой А. Н., произведение мое на полное Ваше распоряжение. Делайте с ним, что хотите. Я его назвал: «Семейные драмы»; но если это заглавие, или, лучше сказать, что бы то ни было в моем творении, будет несообразно с требованием цензуры или с духом журнала, — перемените, как хотите и что хотите. Роман мой назовите: просто Бешметев, Тюфяк, или каким Вам будет угодно окрестите названием... Я посылаю только первую часть моего романа, но Вы поручитесь редакции, что я вышлю при первом Вашем требовании и вторую, т. е. последнюю часть, которая уже вчерне написана, но не отделана окончательно; а оканчивать ее совершенно во мне недостает силы воли, так как я на этом поприще много трудился бесполезно. Но если редакция не доверит и будет требовать второй части, напишите, и я не замедлю ее выслать»¹.

Вторую часть повести Писемский обрабатывал летом 1850 года, 27 июня этого года он писал А. Н. Островскому: «Вторую часть я не успею выслать до Вашего выезда из Москвы; но Вы заверьте редакцию, что я не замедлю выслать и вторую, — пусть она мой роман принимает, цензурует и печатает»².

Идейный замысел повести Писемский определил в цитированном выше письме к Островскому от 21 апреля 1850 года: «Главная моя мысль была та, чтобы в обыденной и весьма обыкновенной жизни обыкновенных людей раскрыть драмы, которые каждое лицо переживает по-своему. Ничего общественного я не касался и ограничился

¹ Письма, стр. 27.

² Там же, стр. 28.

только одними семейными отношениями... Характеры моих героев я понимал так: главное лицо Бешметев. Это личность по натуре полная и вместе с тем лишенная юношеской энергии, видимо не сообщительная и получившая притом весьма одностороннее, исключительно школьное образование. В первый раз он встречается с жизнью по выходе из университета и по приезде домой. Но жизнь эта его начинает не развивать, а терзать; и затем он, не имея никого и ничего руководителем, начинает делать на житейском пути страшные глупости, оканчивающиеся в первой части безумною женитьбою. Прочие характеры, как я думаю, достаточно объясняют сами себя»¹.

В этих высказываниях Писемский усиленно подчеркивает обыденность сюжета: «ничего общественного я не касался»; с другой стороны, причины несчастий Бешметева он видит именно в условиях общественной жизни, которая «не развивает человека, а терзает его». Это кажущееся противоречие объясняется, повидимому, тем, что Писемский, работая над «Тюфяком», учел цензурную расправу с «Боярщиной» и всячески пытался создать впечатление, что в новой повести нет той социальной заостренности, как в романе. Он намеренно нейтрально озаглавил ее, социальная основа семейно-бытового конфликта выявлена в ней не с такой прямотой, как в «Боярщине», и в свете этих фактов первая часть цитированного письма к Островскому звучит как инструкция на случай разговора с цензором.

Цель была достигнута. «Тюфяк» прошел через цензуру, повидимому, без особых затруднений. 4 сентября Погодин получил рукопись повести², а в первой октябрьской книжке журнала она уже была напечатана.

Журнальные отзывы о «Тюфяке» были почти все положительными. Обозреватель «Отечественных записок» заявил, что «Тюфяк» — «лучшее произведение по части беллетристики в настоящем (то есть 1850. — М. Е.) году. В авторе мы видим не просто талант, но талант образованный. Его дар непосредственного представления жизни не скрывает от нас серьезного воззрения на жизнь»³.

Но уже в первых откликах критики были высказаны такие замечания, которые предвещали острую борьбу вокруг Писемского, развернувшуюся в середине 50-х годов. Так, Дружинин и критик «Отечественных записок» неодобрительно отметили сходство Масурова с героем «Мертвых душ» — Ноздревым. По мнению Дружинина, Писемский «испортил» образ Бешметева тем, что дал ему «вид типа давно избитого»⁴. Он уверял Писемского, что оригинальность ха-

¹ Письма, стр. 27—28.

² Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XI.

³ «Отечественные записки», 1850, т. 73, № 12, стр. 122.

⁴ «Современник», 1850, № 12, стр. 204.

рактера обуславливается не общественным воздействием на человека, а внутренним развитием психики каждого индивидуума. В заключение своего отзыва Дружинин писал о том, будто в «Тюфяке» отсутствует занимательность. Этот же упрек — отсутствие занимательности — высказал и Дудышкин в статье «Русская литература в 1850 году». Отдавая должное таланту Писемского, он в то же время обвинял его в излишней критической заостренности образов.

Важнейшим недостатком образа главного героя Дудышкин считал отсутствие у Бешметева, человека образованного, «способности действовать»¹.

Критик «Современника» отметил прежде всего то, что «Тюфяк» выгодно отличается от подавляющего большинства произведений, печатающихся в беллетристическом отделе «Москвитянина». Повесть Писемского, по его мнению, читается «с тем удовольствием, которое редко бывает результатом чтения повестей «Москвитянина». Написана она языком бойким и живым, полна наблюдательности и отличается светлым взглядом автора на предметы. Во взгляде этом столько ума, столько неподдельного, практического, здравого смысла, что автору, безусловно, во всем веришь и желаешь только одного, чтобы он писал больше и больше»².

Среди критических отзывов о «Тюфяке» необходимо отметить напечатанную в «Москвитянине» статью А. Н. Островского, в которой он подчеркивал художественное своеобразие повести. По мнению Островского, повесть удовлетворяет всем требованиям художественности. Ибо «в основании произведения лежит глубокая мысль... и вместе с тем так ясно для вас, что зачалась она в голове автора не в отвлеченной форме — в виде сентенции, а в живых образах, и домысливалась только особенным художественным процессом до более типичного представления, с другой стороны — в этих живых образах, и для первого взгляда, как будто случайно сошедшихся в одном интересе, та мысль ясна и прозрачна»³.

После того как были опубликованы «Брак по страсти», «Комик», «Богатый жених», «М-г Батманов» и в достаточной мере выявилась обличительная направленность творчества Писемского, А. Григорьев попытался опорочить эту направленность, противопоставив «Тюфяка» всем перечисленным выше произведениям. Григорьев утверждал, что «Тюфяк» в отличие от других произведений Писемского ничего общего с традициями гоголевской реалистической школы не

¹ «Отечественные записки», т. 74, январь, отд. V, стр. 25.

² «Современник», 1853, № 1, январь, критика, стр. 27—32.

³ А. Н. Островский, Полн. собр. соч., М. 1952, т. 13, стр. 151.

имеет, что Писемский в образе Бешметева высмеивает чрезмерные «претензии самовлюбленности я»¹.

Подробный и глубокий анализ «Тюфяка» сделан Д. И. Писаревым в его статье «Стоячая вода», написанной в связи с выходом в свет первого тома сочинений Писемского в издании Стелловского (1861). Писарев убедительно показал, что правдивая картина жизни дворянского общества, нарисованная Писемским в этой повести, неизбежно приводит к мысли, что «так жить, как жило и до сих пор живет большинство нашего общества, можно только тогда, когда не знаешь о возможности лучшего порядка вещей и когда не понимаешь своего страдания»².

При подготовке «Тюфяка» для издания Стелловского Писемский не внес в него существенных изменений, ограничившись лишь заменой некоторых слов и выражений. В этом издании повесть делится не на 19, как в первом собрании сочинений — «Повестях и рассказах», а на 20 глав. Увеличение произошло за счет разделения четвертой главы «Павел» на две главы: четвертую, с сохранением старого названия, и пятую «Неожиданная встреча».

Стр. 233. *Депансы* — издержки, расходы.

Стр. 240. *«Коварство и любовь»* — трагедия немецкого поэта И. Ф. Шиллера (1759—1805).

Стр. 248. *«Что ты, ветка бедная...»* — романс на слова И. П. Мятлева (1796—1844).

Стр. 258. *...изделие Жукова* — дешевый табак фабрики Жукова.

Стр. 326. *Елисейские поля* — страна, где пребывают души умерших героев и праведников (*греч. миф.*).

Стр. 328. *...камеражей* — сплетен (*франц.*).

Стр. 342. *Жорж Санд* (псевдоним Авроры Дюдеван 1804—1876) — знаменитой французской писательницы.

Стр. 366. *...и буриша, и кнастер, и медхен* — и студенчество, и табак, и девушки (*немецк.*).

Стр. 380. *Сен-Жерменское предместье* — район Парижа, где проживала аристократия.

Стр. 380. *...арии из «Лючии»* — то есть арии из оперы итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламермур».

Стр. 380. *«Фра-Диаволо»* — опера французского композитора Ф. Обера (1782—1871).

Стр. 380. *...арии из Шуберта* — Шуберт Франц Петер (1797—1828) — немецкий композитор.

¹ «Москвитянин», 1853, № 1, январь, критика, стр. 27—32.

² Д. И. Писарев, Избр. соч. в двух томах, т. I, М. 1934, стр. 112.

(Брак по страсти)

Впервые повесть напечатана в «Москвитяине», 1851, №№ 4, 5, 6, 7 (февраль, март, апрель), с посвящением Юрию Никитичу Бартеневу, родственнику писателя со стороны матери.

В автобиографии Писемский так охарактеризовал идейный замысел повести: «В 1851-м году я напечатал в нем («Москвитяине». — М. Е.) повесть «Брак по страсти» (на ту тему, что не все умеют любить и что многие принимают чувственность за чувство и на основании этого женятся и выходит черт знает что!)».

Работа над повестью начата, повидимому, еще в конце 40-х годов. Осенью 1850 года Писемский приступил к подготовке «Брака по страсти» к печати. В письме к А. Д. Галахову от 16 ноября 1850 года он сообщал: «...написано у меня много, но ничего не приведено в окончательный вид, а это для меня самый продолжительный и самый скучный труд. Теперь у меня готовится два рассказа — 1-й) «Брак по страсти» и 2-й) «Никитушка»¹.

В «Москвитяине» повесть заканчивалась «смягчающим» эпилогом: «Прошло много лет. Время, все приводящее в порядок время, рассеяло небольшие недоразумения между действующими лицами моего романа, и мало-помалу все пошло по пословице: тишь да гладь и божья благодать. Мамилова с Хозаровым помирились и на дальнейшее время представляли уже два примерно дружественные семейства. Варвара Александровна окончательно забыла мертвеца, изменила свое мнение в отношении старых и богатых мужей, поняла значение денег, перестала вдаваться в анализ супружеских отношений и, оставя в усладу себе рассуждения об изящных искусствах, слыла за очень умную женщину. Старик муж ее тоже перестал исключительно предаваться меркантильным выгодам и очень любил слушать, когда барыня его запустится в отвлеченные рассуждения с каким-нибудь умным человеком и иногда даже срежет того. Сергей Петрович благодаря передаче ему страшным богачом одного торгового дела значительно поправил свои обстоятельства и потому утратил дурную склонность занимать деньги и получил возможность удовлетворять своему прекрасному вкусу. Мари тоже значительно развилась: из невинного и простодушного существа она превратилась в свежую, веселую и довольно бойкую даму; перестала играть в рыжего кота и в ладошки, разлюбила страшные сказки и сделалась гораздо осторожнее в отношении молодых людей. Пашет

¹ Письма, стр. 30 (какая из повестей Писемского имела первоначальное название — «Никитушка», не установлено. — М. Е.).

и Анет, наконец, вышли замуж, и оба, право, счастливы: Пашет по силе характера руководствовала своим несколько ветреным мужем, и Анет своего обожала и на правах страсти тоже им руководствовала. Катерине Архиповне недолго, впрочем, было назначено наслаждаться устроившеюся судьбою ее идола и других дочерей: она умерла. Больше всех об ней плакал Антон Федотыч и, клюкнувши в день похорон жены, многим рассказал по секрету, что старуха оставила ему 50 душ и тысяч десятков накопленных денег. Она действительно оставила ему 20 душ, обязавши не продавать и не закладывать оных, а передать их по смерти детям».

Этот эпилог был написан на случай цензурных придинок. Когда Писемский узнал, что при прохождении повести через цензуру не встречалось больших препятствий, он написал М. П. Погодину, что этого эпилога «вовсе не следовало бы печатать, если не требовала цензура — я написал его на случай необходимости»¹.

При первой же возможности Писемский удалил эпилог из текста повести. В период подготовки издания «Повести, рассказы» (1853) он написал Погодину 28 марта 1852 года: «Насчет поправок моих сочинений, то они будут небольшие, у «Брака по страсти» надо выключить заключение и окончить письмом Мамиловой, а остальное я могу сделать в корректуре, которую прошу мне выслать»².

Однако при чтении корректуры он ограничился только исправлением опечаток и заменой нескольких слов и оборотов.

Более тщательной правке текст был подвергнут при подготовке его для издания Стелловского. Но и в этом случае исправления не внесли в повесть существенных изменений.

Стр. 404. *Тальяна Франсуа Жозеф* (1763—1826) — знаменитый французский актер.

Стр. 427. *Конкетки* — род канделябра.

Стр. 464. *Мочалов Павел Степанович* (1800—1848) — знаменитый русский артист-трагик.

Стр. 471. *Солитер* — крупный бриллиант.

Стр. 482. *В старину живали деды...* — начальные слова песни М. Н. Загоскина (1789—1852) из либретто оперы А. Верстовского «Аскольдова могила».

Стр. 482. *Мы живем среди полей...* — начальные слова песни М. Н. Загоскина из либретто оперы А. Верстовского «Пан Твардовский».

¹ *Письма*, стр. 527.

² *Там же*, стр. 538.

Стр. 515. *Дюма* — Дюма Александр (отец, 1802—1870), французский писатель, автор многочисленных романов развлекательно-приключенческого характера,

Стр. 515. *Сю Эжен* (1804—1857) — французский писатель-романист.

Стр. 525. У М. Ю. Лермонтова соответствующие строки в поэме «Демон» читаются:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.

Стр. 526. «*Библиотека для чтения*» — ежемесячный журнал реакционного направления, издавался с 1834 по 1865 год.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Еремия</i> — А. Ф. Писемский (Критико-биографический очерк)	5
Боярщина	49
Тюфяк	213
Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына (Брак по страсти)	303
<i>Примечания</i>	531

Алексей Феофилактович
ПИСЕМСКИЙ
Сочинения, т. 1

Редактор *В. Титова*
Редакция вступительной статьи *Е. Цехера*
Переплет и титул
художника *И. Николаевцева*
Художественный редактор *К. Буров*
Технический редактор *Ж. Примак*
Корректор *А. Типольт*

*

Сдано в набор 6/VIII 1955 г.
Подписано к печати 2/XII 1955 г. А06182.
Бумага 84×108¹/₃₂. 34 печ. л.=27,88 усл.
печ. л. 29,43 уч.-изд. л.+1 вклейка=29,48 л.
Тираж 300 000. Цена 9 р. 40 к. Заказ № 298.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
«Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

Scan Kreyder - 06.02.2018 - STERLITAMAK

Op. 487

FOUNDED AT
1956